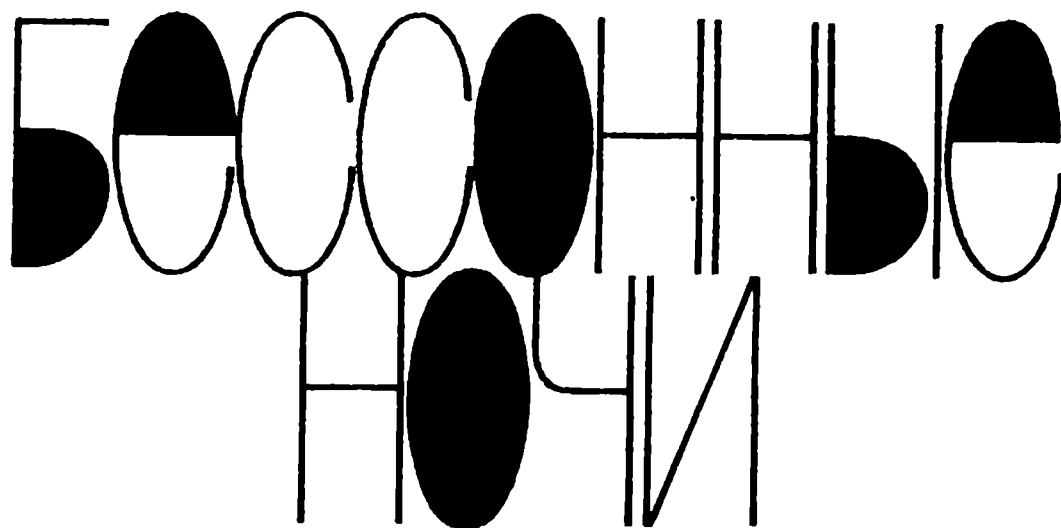


ВИКТОР ТЕЛЬГУГОВ

БЕССОННЫЕ
НОЧИ

ВИКТОР ТЕЛЬПУГОВ



ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1988

ББК 84Р7
Т31

Вступительная статья
М. СИНЕЛЬНИКОВА

Оформление художника
С. КУЗЯКОВА

Т 4702010201—423 24—89
028(01)—88
ISBN 5—280—00529—0

© Вступительная статья. Оформление. Издательство «Художественная литература», 1988 г.

ЭНЕРГИЯ «МАЛОЙ ПРОЗЫ»

Виктор Тельпугов принадлежит к числу писателей, дорожащих словом, испытывающих к родному языку глубокое, трепетное чувство.

В идеале такое свойство, разумеется, должно быть уделом всякого, кто причастен литературе. Однако на практике, увы, немало встречаешь сочинений, авторы которых обращаются с русским языком небрежно, пишут размыто, многословно. По контрасту с подобными сочинениями особенно остро сознаешь значимость художественного лаконизма, манеры письма, предполагающей выверенность, гармоничность, емкость слова.

Проза Виктора Тельпугова — именно такого рода. Голос писателя звучит чисто и внятно, располагает к доверию.

Право на читательское доверие Тельпугов заслуживает и своей биографией, отразившейся в творчестве, всем складом мирочувствования.

Родился Виктор Петрович Тельпугов в 1917 году в Москве, здесь провел детство и юность, учился, работал токарем, занимался планерным спортом. В 1940 году ушел в армию. Начало Великой Отечественной войны застало его рядовым бойцом 214-й воздушно-десантной бригады в приграничном районе Белоруссии. В боях был ранен. После госпиталя снова стоял за токарным станком — на военном заводе. Потом был редактором заводской многотиражки. В самом конце войны направлен на Высшие газетные курсы при ЦК ВКП(б). Работал в ЦК ВЛКСМ, в «Комсомольской

правде». Затем — профессиональная писательская деятельность.

Жизненный и творческий путь Виктора Тельпугова не отделим от пути его поколения, от трудных, напряженных, героических свершений страны. Гордость за сограждан своих, с честью прошедших через испытания, делом доказавших стойкую приверженность идеалам, глубоко проникает прозу писателя. Ее мир — мир светлых чувств, бескорыстия, взаимопомощи, сердечности.

Книгу, предлагаемую ныне читателю, открывает раздел, в который включены пять повестей. Они, безусловно, являются собой интересное, заслуживающее всяческого внимания чтение, существенную составную часть прозы В. Тельпугова. И все-таки возьму на себя смелость посоветовать — особенно тем, кто недостаточно хорошо знает творчество писателя, — начать знакомство с книгой не с повестей, а с рассказов, лирических новелл. Ну, скажем, с тех, какие собраны в разделе «Журавли над Москвой». Дело в том, что именно по произведениям «малой прозы» острее всего можно ощутить своеобычность художнического облика Виктора Тельпугова.

Жанр короткого рассказа — излюбленный жанр писателя. С него он начинал, ему остается верен и по сей день.

«...Настоящий короткий рассказ невелик только по объему, — писал как-то Тельпугов. — Мысли же и чувства, живущие в душах его героев, вовсе не должны уступать по глубине и значительности мыслям и чувствам героев повести или романа». И дальше — о том, как важна способность останавливать внимание на явлениях, которые на первый взгляд не несут в себе ничего особенного. «Но только на первый, мимолетный взгляд. Если же взглянуть пристально, даже то, что казалось не приметным, повернется вдруг неожиданной, сверкающей гранью». И еще высказывание, представляющееся существенным: «Смысл... не в том, что каждая мелочь, каждый случайно взятый эпизод непременно таят в себе заряд поэтической мысли, а в том, что и по одному штриху, по одной детали можно воссоздать целую картину».

Очень хорошо определены здесь возможности и требования жанра. И надо сказать, что творчество самого В. Тельпугова, лучшее из созданного им, служит убедительным подтверждением теоретических посылок. Путь, которым идет Тельпугов-новеллист, именно таков: от случая, эпизода, детали — к правде целого, правде картины, к объемному изображению характерных черт времени.

Первое, что бросается в глаза в его рассказах, конечно же, житейская достоверность и лиричность. Однако не только

в этих качествах дело. Есть и иное свойство, которое больше всего, пожалуй, обеспечивает выразительность, эмоциональное воздействие «малой прозы» Виктора Тельпугова.

Присмотримся к одному из характерных, давних уже рассказов — «В той степи...». Семилетняя девочка, единственная пока школьница в молодежном целинном совхозе, ездит учиться за сорок километров (школа в совхозе еще только будет строиться). Ездит поездом: два раза в сутки проходящие поезда делают остановку в степи, где нет даже платформы.

Житейская «подоплека» этой истории проста: совхоз договорился об остановке с железнодорожниками. Но показательно, что автор лишь упоминает об этом. Не практическая сторона занимает его — он стремится придать своему повествованию романтическую окраску. Все необычно, все взволнованно в первое сентябрьское утро. Чуть не весь совхоз явился «к зеленому кургану, где впервые в жизни дал тормоз далекий, клокочущий паром поезд».

— А ну, где тут ваша Люся? Давайте ее сюда! — крикнул в толпу спрыгнувший с подножки проводник в высокой форменной фуражке. — Будьте спокойны, доставим прямо к звоночку!

Паровоз вздохнул, отстукал традиционную чечетку, и состав исчез, растворился в густом настое пыли, дыма и ковыля».

Вслушайтесь: разве не звучит в этом описании интонация сказочника — торжественная, чуть лукавая? Как и в словах о том, что торчит на месте остановки дальних поездов «жидкая жердочка с шершавым фанерным флажком», на котором выведено: *«Станция Люся»*...

Романтическая одушевленность — вот что отличает поэтику новеллы. Одушевленность, возвышающая до сказа, до легенды такие случаи, истории, которые имеют вполне житейскую, бытовую основу. В сочетании, взаимопроникновении этих достаточно разноречивых начал во многом и заключено своеобразие писателя, обаяние его прозы.

Или вот еще история, явно поднимающаяся над уровнем обычного, — о том, как десантники, действовавшие во вражеском тылу, использовали для своих нужд немецкую пекарню. Храбрец солдат ночами тайно орудовал у печи, «впересменку» с фашистами. «...Сидит в пекарне волжанин и топит так, чтоб ни искорки не было видно». А последнюю выпечку «вместе с немецкой пулей принес... Выследили-таки его немцы, с танками автоматчики к пекарне двинулись, думали, там целая рота печет». А пекарь «живым-не-

вредимым к своим добрался в обнимку с горячим хлебом». Разрезали буханку — упала к ногам пуля. «Теплая еще...» («Возле Старых дорог»).

Позвольте, возможно, возразят мне, вы же только что сказали о житейской достоверности. Но разве применим этот тезис к такой вот, явно «сказовой» новелле? Или, может, уместнее было бы все-таки говорить о приверженности писателя к «чистой романтике»?

Чтобы прояснить все, стоит обратиться, пожалуй, еще к одной новелле — «Тополь». В ней поведано, как ожил, расцвел обрубок дерева, столб, врытый в землю гитлеровцами при сооружении ограды концлагеря. Ожил как раз тогда, когда эти места были освобождены от оккупантов. Люди, увидевшие на столбе набухшие почки, «вытащили из дерева длинные скрюченные гвозди... Как сумели, перебинтовали раны». Мертвый обрубок со временем стал могучим, прекрасным деревом.

Не правда ли, романтическая, даже притчевая история?.. Но в то же время — подлинная! Такой тополь действительно существует в Подмоскowie, под Старой Рузой.

Кстати, подлинна и основа событий, изображенных в рассказе «В той степи...».

Итак, факты, напоминающие легенды. Легенды, обращающиеся реальностью. А если попытаться выразить все это в единой формуле, то надо, наверное, сказать так: легендарная реальность. Сама наша жизнь — мирные будни страны, выпавшие на ее долю военные испытания — дает писателю-лирику, каким является В. Тельпугов, неисчерпаемый материал для повествования о благородных движениях человеческой души.

Рассказы, о которых шла речь, написаны В. Тельпуговым довольно давно. С той поры писателем сделано много. Творчество его развивалось, художественные поиски становились разнообразнее. Появилась потребность шире охватывать жизненные, событийные пласты, больше уделять внимания сюжетной динамике. Свойства, составляющие основу авторского видения, оставались неизменными, но они получали новое наполнение, новую объемность.

Все это совпало, в частности, с углублением в прозе Виктора Тельпугова мотивов памяти войны, связи времен и поколений, нравственного долга живых перед теми, кто отдал жизнь за Родину. В конце семидесятых и в восьмидесятых годах появились такие рассказы, как «Аверьяновские теремки», «Черные бурки», «Горская легенда», «Белый шелк».

...Скромная экспозиция: двое людей на лыжне. Неприятельный вроде бы разговор. Но вот возникает нечто, какая-то звенящая нота: «Брненский лес», «Брянский лес»... Первый — тот, где проходит сейчас лыжня, второй вызван памятью героя-рассказчика, воевавшего на Брянщине («точно такие же ели и сосны, такое же низкое зимнее солнце, продирающееся сквозь заросли»). Связь крепнет, разрастается. Оказывается, что для Вацлава, молодого чеха, сопровождающего советского гостя, Брянский лес — название хорошо известное: русская партизанская песня была любима его отцом.

А дальше у памятника с пятиконечной звездой, каких много на белом свете, Вацлав рассказывает спутнику о необычайной, хранимой как легенда, истории. Осенью сорок четвертого года советский десантник был сброшен сюда для связи с чехословацкими партизанами. Приземление его оказалось неудачным: завис на вершине огромного бука. Немцы окружили десантника, но он, скрываясь в ветвях, вел свой неравный бой так умело и бесстрашно, что вынудил их подкатить пушку. А потом русский боец обрубил ножом парашютные стропы и упал вниз, чтобы живым не дать врагу...

Вот он, тот самый бук. И вот он, Вацлав, один из тех мальцов, кого чуть позже, зимой сорок четвертого, согрел шелк советского парашюта. Крестьяне сняли парашют с дерева, но, смущается Вацлав, получилось так, что не смогли сберечь реликвию. Зима была лютой, а фашисты подчистую обобрали деревню. Пришлось самым маленьким сшить из шелка рубашки.

Понятно смущение Вацлава. Понятно и волнение героя-рассказчика, воочию ощутившего, как сошлись времена, каким дальним, мощным воздействием обладают справедливость, добро. «Дело, в конце концов, не в реликвиях», главное, из тех самых мальчишек «хорошие люди должны были вырасти. Очень хорошие».

«Укутанным в белый парашютный шелк» кажется рассказчику снежный январский лес под городом Брно. «Молча мы несколько раз обошли вокруг старого бука. Мне хотелось найти на нем шрам от пули или еще какой-нибудь след давних событий, но ничего обнаружить не удалось». Только ветви гнулись, раскачивались, скрипели под ударами ветра, и казалось, они «напрягают все силы, чтобы не уронить на землю свою ношу...».

Светлый, взволнованный рассказ, точный по настроению, по психологическому рисунку, примечательный многослойностью ассоциаций.

«Белый шелк» впервые увидел свет в одном из номеров «Правды». Хочу подчеркнуть это обстоятельство. Рассказы В. Тельпугова — всегда желанные гости на газетных полосах. И дело тут, понятно, не только в том, что они невелики по объему.

Мы нередко, и по справедливости, сетовали на издержки газетности. Однако ведь справедливо и другое: изначальный смысл понятия «газетность» очень и очень высок. В лапидарной форме, энергично, концентрированно сказать о важном, передать суть события, явления — для этого необходимо глубокое, искусное владение словом. Полностью относится это и к художественным произведениям, появляющимся в газетах. Связь с периодической печатью традиционна для советских писателей. С газетных публикаций началась жизнь многих произведений, ставших явлениями в истории нашей литературы. Один только пример. «Газетная лира» — так называется раздел двухтомника Ярослава Смелякова, одного из последних прижизненных изданий поэта. Стихи высочайшего класса, обращенные к злобе дня, напечатаны под этой рубрикой. Одно из них, известнейшее, называется «Разговор о главном».

Качества коротких рассказов Виктора Тельпугова — несомненно, качества истинной газетности. Той, когда говорят действительно о главном, пропагандистски четко обозначают мысль и когда не впадают при этом в плакатность, иллюстративную риторiku. Многослойность ассоциаций в рассказе «Белый шелк» — это многослойность художественности: прямые, точные линии публицистических сопоставлений прочерчены в ткани живописно плотной, полнокровной. Читая рассказ, хорошо ощущаешь отразившиеся в нем, сопряженные в едином действии закономерности времени — военного и нынешнего. Понимаешь: перед тобой воплощенная память о войне, память, преобразуемая в живой нравственный урок.

Впечатления военных лет имели и имеют для творчества Тельпугова особое значение. Все прочнее ощущается писателем приверженность литературному поколению, которое принято называть фронтовым. Тема войны не только определила звучание многих рассказов. Она воплотилась и в цикле повестей, над которым Тельпугов стал работать в начале семидесятых годов. Цикл этот — «Парашютисты», «Все по местам!», «Полынь на снегу» и совсем недавняя повесть «Ничего не случилось» — объединен общим героем и представляет собой, в сущности, историю молодого человека в военное лихолетье.

Еще одна повесть «Рапохин, Клавуня, Олег и другие» («Селеновая вахта», как называлась она при публикации в журнале «Юность») сюжетно стоит особняком, но по духу своему, несомненно, близка четверем другим: действие происходит незадолго до войны, и писатель, рисуя отношения людей, связанных напряженными, даже суровыми трудами и заботами, ощутимо передает атмосферу предгрозя.

Основная мысль военных повестей Тельпугова — мысль о долге, о необходимости в самых тяжелых испытаниях нести и утверждать светлое, гуманное начало. Именно так стремится жить солдат, токарь, комсомольский активист Сергей Слободкин, главный герой цикла, в судьбу которого вошло многое из биографии автора.

На оборонном заводе, находящемся недалеко от линии фронта и подвергающемся частым налетам вражеской авиации, по-своему переиначили сигнал воздушной тревоги. «Все по местам!» — так объявляет об опасности заводское радио. Формула эта недаром стала названием одной из повестей: она символична.

Направленный на завод после ранения, Сергей Слободкин не может ответить врагу «свинцом на свинец». Здесь, в цехе, в канонаде воздушных налетов, для гнева, для ярости есть только один выход: мужественная, самоотверженная работа. И Слободкин и его товарищи знают: «Самое главное — быть нужным. Еще лучше — необходимым. Человеком себя ощущать».

С подкупающей простотой документального рассказа говорит писатель о людях, чьи поступки, кажется, способны опровергнуть привычные представления о человеческих возможностях. Подросткам, женщинам приходится трудиться в крайне тяжелых условиях вредного производства. Но, как замечает работница гальванического цеха Мария Саввишна Панюшкина, «сейчас... вся Россия вредное производство. Не любит русский человек, когда над его головой «юнкеры» с бомбой летают. Вредно это ему».

Меток, выразителен язык, каким говорят люди в повестях, многое воспринявших от художественного лаконизма, собственного новеллистике писателя. Красноречиво и последовательно воплощает автор положительное жизненное кредо героев. В повести «Полюнь на снегу», в сцене, когда Слободкин вновь оказывается на фронте (с комсомольским заданием он послан во вражеский тыл, к партизанам), есть такой диалог: «Давай помогу... — обращается Слободкин к спутнику, идущему рядом по аэродромному полю. — Я привычный человек... Ну, давай, давай. Чего у тебя там?» —

«Рация». — «Так у меня ж плечо под нее специально подогнано. Ну-ка!»

Во всем, что пишет Виктор Тельпугов, есть обостренное ощущение гражданской, общественной задачи. Неподаром так привержен он изображению надежных, сильных характеров, героических поступков. Как-то, в связи с рассказом «Песнь о героях», Тельпугов заметил: «Это не только название конкретного рассказа, это моя творческая позиция. Меня окружали люди действительно героические, и я считаю своим долгом рассказать о них...» И еще, по другому поводу: «Я стал писателем благодаря тому, что был рабочим и был воином. В рабочей и военной среде нашел таких людей, которые тронули меня своим благородством, не бросающимся в глаза героизмом, своей человечностью».

По самой сути, самому складу творчества В. Тельпугову оказалась очень близкой и дорогой ленинская тема. Рассказы о Ленине, его соратниках, собранные в разделе «Первые слова», написаны в разные годы, некоторые (например, «Трубка геноссе Дождикова») совсем недавно. В целом перед нами впечатляющее повествование о глубочайших народных корнях ленинизма, о великой человечности Ильича.

И здесь, в этих рассказах, В. Тельпугов остается верен стремлению показывать значительное через простое, находить емкие детали, проливающие свет на самую суть явлений, — подобно тому, как многое осветило сияние граней выполненной русскими умельцами вазы, история которой описана в рассказе «Хрустальная ваза». Ленин изображен в неожиданной ситуации: половину воскресного дня провел он у Луначарского, ожидая... солнца. Луначарский пригласил Владимира Ильича взглянуть на необыкновенный хрусталь, «чудо из чудес». «Анатолий Васильевич сказал, что ваза особенно красива при солнечном освещении, а день, как назло, выдался мрачный, только под конец стало немного проясняться...» Каждая грань, каждый цветок переливались под солнцем, и было непостижимо, как могли сотворить такое человеческие руки... А дальше рассказано, как вазу эту собирались продать за границу: пять паровозов предложил за нее заморский меценат. Разруха, паровозы крайне необходимы. Но Ленин тверд: сокровище бесценно, его следует сохранить в России! Он думает о русском народном искусстве — о каслинских мастерах, о Палехе, Хохломе, Федоскине: «...если хорошенько разобраться, мы при всей своей бедно-

сти обладатели бесценных богатств...» Думает о мужестве и высоком бескорыстии революционных бойцов и о том, что, в сущности, им сродни умельцы, сотворившие хрустальную вазу: «Если сегодня, в этих адских условиях, люди способны на такое, то какие же шедевры подарят они миру завтра!»

Свет рассказа спроецирован в будущее. А фактура его вся принадлежит времени, к которому относятся описываемые события.

Некоторые новеллы цикла основаны на подлинных, документальных свидетельствах, воспоминаниях старых большевиков. Другие же — на былях и преданиях о Ленине, бережно передаваемых из поколения в поколение. «Легенда» — так и называется один рассказ. Снова, как видим, проявляется то присущее манере Тельпугова взаимопроникновение реального и романтического, о котором мы уже говорили. Были или не были в действительности события, описываемые в рассказах о Ленине? Вероятно, в каждом конкретном случае можно выяснить степень приближенности к подлинному историческому, биографическому факту. Но суть не в этом. Суть в том, что такие события с несомненностью могли быть. И ощущение этого — лучшее свидетельство художественной правдивости рассказов ленинской темы.

Делясь с читателями обстоятельствами создания некоторых рассказов, Тельпугов писал, с каким волнением воспринимались им моменты совпадения легенды и факта. После публикации «Хрустальной вазы» выяснилось, что легенда, положенная в ее основу, то одной, то другой своей подробностью подходила к подлинным событиям. Различными представлялись условия действия, но ленинский взгляд на явления жизни, воплощенный в основанном на легенде рассказе, вызвал сходные воспоминания у людей, чьи свидетельства можно считать вполне документальными. Нечто подобное произошло и с рассказом «В Березках звонит колокол». Бесхитростная, сердечная история о том, как мужики решили послать ходока к Ленину за... церковным колоколом (старый расплавился во время пожара) и что из этого вышло, история, поведенная писателю одним старым человеком, во многих деталях неожиданно совпала с воспоминаниями И. К. Ежова, находившегося в первые годы советской власти на ответственной хозяйственной работе.

Много привлекательного в прозе Виктора Тельпугова, цельной по художническим принципам, по проявлению гражданских, нравственных позиций.

Замечу, встречаются иногда у прозаика и такие рассказы, которым не хватает глубины: «случай» не несет в себе заряда многозначности, появляются сентиментальные интонации... Но это — лишь частные огрехи, вовсе не по ним составляют читатели впечатление о работе писателя.

...Раскройте книгу, как уже о том говорилось, в разделе «Журавли над Москвой». И прочтите одноименную — совсем маленькую, на полторы странички, новеллу.

Осень. Прозрачное небо. Журавлиная стая, тянущаяся к югу. Отчего так медленно она летит? Журавли экономят силы, считают ученые. Разумеется. Но только ли в этом дело? Вот глаза птиц, приближенные к нам воображением рассказчика: «...Вожак не мигая смотрит только вперед, за дымку горизонта, остальные тоже не мигая глядят вниз, окидывая долгим пристальным взглядом, может быть, в последний раз проплывающую под крыльями землю... Надо очень любить эту землю, чтобы расставанье с ней было таким трудным».

Пейзажная зарисовка? Нет, куда большее: обращение к гражданскому чувству, побуждение к раздумью над важным, над тем, из чего складывается сама жизнь человеческая.

Такое побуждение — удел настоящей литературы.

Михаил Синельников



ПОВЕСТИ



РАПОХИН, КЛАВУНЯ, ОЛЕГ И ДРУГИЕ



Г л а в а 1

Перед самой войной я работал в лаборатории контрольно-измерительных приборов. Учреждение сидело на окраине Москвы в непригодном помещении, окна которого выходили на полупустырь-полусад, прозванный нами «полупустыней».

Руководил лабораторией молодой, недавно окончивший институт инженер Отар Давыдович Елигулашвили.

Нам было поручено заниматься созданием опытных образцов фотоэлементов. Отсюда, из «полупустыни», начинали зоркие приборы свой путь в другие лаборатории. А может, и еще «кое-куда», многозначительно подчеркивал Елигулашвили и спрашивал: «Усвоили?»

...Лаборатория вступала в один из самых ответственных периодов своей жизни — начинала выпуск фотоэлементов принципиально новой конструкции. Это были круглые железные бляшки с мелкозернистой поверхностью, покрываемой селеном. Поверх селена наносился слой золота. Делалось это методом катодного распыления — бляшку на кронштейне подвешивали под толстой золотой пластиной, накрывали все это хозяйство стеклянным колпаком, а из-под колпака выкачивали воздух масляными и ртутными насосами. Когда вакуум достигал нужного уровня, включалась электросистема. Мельчайшие частицы отделялись от золотой пластины, летели вниз, и селеновое покрытие железной бляшки из темно-серого становилось постепенно нежно-золотистым. Этот «слоеный

пирог» — так окрестили мы новый фотоэлемент — был особо чувствителен к свету.

Золотая пластина была величиной с пачку «Казбека» и представляла собой, конечно, огромную ценность. Елигулашвили получил ее с большим трудом, и то ненадолго. Рассказал нам, как ему удалось где-то «там» (он поднял вверх палец, обросший до самого ногтя густой черной шерстью) доказать, что расход золота от наших манипуляций с ним будет настолько незначительным, что пластина практически не изменится в весе. Первые дни начальник после каждого сеанса распыления сам взвешивал пластину, и мы поражались: она действительно легче не становилась!

Золото полагалось по окончании работы очистить и промыть дистиллированной водой, затем высушить в муфельной печи. Мы добросовестно соблюдали все эти правила. Потом драгоценность убиралась в сейф до следующего раза.

Работа постепенно налаживалась. Елигулашвили увлекся новым делом и увлек подчиненных. Уж очень хорошо объяснил, какую роль будут играть фотоэлементы в самом ближайшем будущем. Теперь инженер проводил в лаборатории целые дни, а если вдруг и отлучится куда-нибудь — к каждому подойдет, в том числе и к новичку Олегу Мазурину, каждому словечко молвит: так, мол, и так делай. Мазурин даже распрямил свою сутулую спину. Он получил много всяких заданий, в число которых входила и операция по очистке, промывке и сушке золота. Скоро новичок научился делать это неплохо. Правда, прежде чем доверить Олегу сокровище, инженер долго инструктировал:

— Вот так надо. Только так, дорогой. И не торопиться, дорогой. А уж если торопиться, то только медленно, совсем медленно. Ты все понял, дорогой?

Олег утвердительно наклонял голову, тяжелые очки его сползали на самый кончик веснушчатого носа. Отар Давыдович сокрушенно восклицал:

— Слишком быстро понял! Значит, не понял, дорогой. Я же сказал: не спеши, дорогой. Давай все сначала!

И все действительно начиналось сызнова.

Мы все хоть и «медленно», но поторапливались — надвигались майские праздники, решено было встретить их как положено, правда, без собраний и ми-

тингов. Смешно было митинговать, когда народу раз-два и обчелся. Елигулашвили, старик Рапохин, Мазурин, я, еще два-три человека — вот и весь наш могучий коллектив. Да, чуть не забыл — еще Клавуня, уборщица. Зеленоглазое, доброе, обворожительное существо, питавшее почему-то особые чувства к Мазурину. Если принесет (а принесет обязательно!) чего-нибудь вкусного из дому — первым делом Олега угостит, а потом уж других. Я это точно установил. Если придет Клавуне посылка от родителей из астраханской деревни, самая крупная вобла непременно Олегу достанется. Впрочем, все это могло мне и померещиться. Не скрою, нравилась мне Клавуня. И не мне одному. Глядели на нее — не могли наглядеться. На ее щеки, по-детски розовые, на глаза с яркой прозеленью, огромные, быстрые. На синее, всегда одно и то же ситцевое платье, но свежестыранное, просвечивавшее синевой сквозь халат, на разбросанные по узким плечикам блестящие локоны. А она никого из нас, кроме Олега, почему-то не замечала. Это я тоже усек. Только на него посматривала, и то тайком. И что она находила в этом Мазурине? Жалела? Инстинктивно, по-женски вставала на защиту слабого? Все может быть... Работала Клавуня не хуже других. Во всяком случае, поданную Отаром Давыдовичем идею встать на предмайскую вахту поддержала, хотя и призналась честно, что значения слова «вахта» полностью не понимает. Елигулашвили объяснил ей очень хорошо и очень убедительно:

— Вахта — это когда к празднику обещают выпустить первые селеновые фотоэлементы и выпускают! Теперь понятно, дорогая?

Розовые щеки Клавуни стали пунцовыми.

— Теперь все очень-очень понятно, Отар Давыдович!

— Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно, — обведя подчиненных довольным взглядом, заявил инженер и сказал, что деваться нам теперь некуда.

А мы и не собирались никуда «деваться». Стали засиживаться в лаборатории до глубокой ночи. Даже старик Рапохин забыл о своих льготах.

— У вас же вредный участок, папаша! — пробовал урезонить старика Отар Давыдович. — Вы же ртутью насквозь пропитались, дорогой...

Рапохин огрызался, продолжая хлопотать возле капризных насосов Ленгмюра, которые благодаря стараниям мастера еще ни разу не подвели.

— А начальству грубить полагается, дорогой? — спрашивал Отар Давыдович.

— А учить старых людей? — парировал Рапохин.

Перебранка их, как ни странно, делу не была помехой. Уже через неделю вахты все мы валились с ног, и если бы не шутка, неизвестно, на чем бы держались. Лучше всех понимал это, кажется, Отар Давыдович. То здесь, то там сквозь шум работающих на полную мощь моторов слышался подбадривающий голос инженера.

— Кто же так делает, дорогой? У тебя образование какое? — спросил лаборанта, заметив какую-нибудь оплошность.

— Среднее техническое, — прозвучит смущенно в ответ. — Вы ж меня на работу брали...

— Брал, но у тебя, оказывается, мания величия, дорогой. В дальнейшем в анкетах пиши: незаконченное низшее, точнее будет. Вот так, так и так надо делать, дорогой.

Нет, мы положительно не узнавали своего начальства. Если раньше не могли дождаться, когда оно куда-нибудь закатится, то теперь с нетерпением ждали его появления в лаборатории.

Одним словом, все шло вполне прилично, твердо и уверенно шагала вперед наша вахта. Победа, казалось, недалеко, подоспеет как раз к празднику, а то и чуть раньше. На это тоже надежд не теряли. Но жизнь есть жизнь, особенно у тех, кто вступает в нее с «незаконченным низшим».

За две недели до Первой грянула беда. Часов в восемь вечера Отару Давыдовичу все-таки удалось отправить домой Рапохина, а через каких-нибудь пять минут, в самый разгар катодного распыления, из вакуумной донесся надсадный, испуганный крик Мазурина:

— Главный насос лопнул, ребята!.. Главный насос...

На этот вопль в вакуумную в распахнувшемся, как крылья, халате влетел Елигулашвили. Увидев лужи горячей ртути на полу, инженер загрохотал еще громче Олега:

— Раскрыть все окна! И все немедленно вон отсюда! И вернуть Рапохина! Сейчас же, сию минуту! Мазурин, ты что разинул рот, как...

Последних слов начальника Олег, к счастью, не слышал — с несвойственной ему стремительностью он уже мчался по пустырю к трамвайной остановке.

Догнать мастера ему, однако, не удалось. Через четверть часа, запыхавшийся, виноватый, стоял он перед Елигулашвили.

— И телефона до сих пор не провели? — тихо спросил инженер, хотя прекрасно знал, что Рапохину в телефоне отказано.

— Не провели, Отар Давыдович, — ответил Мазурин таким тоном, словно в этом был персонально виновен. — И живет на краю света. Полтора часа на «двойке» в один конец. И адреса у нас нет...

— Кретин!.. — хлопнув себя по лбу, застонал Елигулашвили.

— А Мазурин-то тут при чем, Отар Давыдович? — попробовал кто-то из нас вступить за Олега.

— Я кретин. Я, я, я!.. — вежливо пояснил свою мысль инженер. Помолчал и добавил: — Полнейший кретин! Встретили майские праздники...

— До праздников есть еще время, Отар Давыдович, — попытался я успокоить начальника.

— Помолчи, дорогой, — ответил инженер. — В горах говорят: когда люди молчат, больше думают.

Каждый из нас, конечно, понимал, насколько серьезна авария, какие влечет за собой последствия. Все придется начинать сызнова. Но прежде всего нужно отремонтировать насос Ленгмюра.

В ту ночь никто не ушел из лаборатории. Приказа такого не было. Елигулашвили даже сделал вид, будто собирается домой, проверив, достаточно ли плотно закрыта дверь в вакуумную с разлившейся ртутью, он, высоко закатав рукава, обстоятельно, молча мыл руки с мылом и щеткой, но никого из нас это не ввело в заблуждение. Мы все равно поняли: никуда Отар Давыдович сегодня не уйдет. Так и вышло. В полном противоречии с логикой он, закатав рукава еще выше, принялся за самую черную работу, какая только может быть в лаборатории. Сам таскал в аккумуляторную тяжелые батареи, сам ставил их на подзарядку. На лбу его надулись толстые синие жилы, халат из бело-снежно-белого сделался черно-белым. Мы скумекали:

начальнику надо было во что бы то ни стало отвести душу, хоть как-нибудь успокоиться. Честно сказать, мы все испытывали такую необходимость.

И вот незаметно, исподволь, в лаборатории, несмотря на позднее время, вновь закипела работа. Делали мы хоть и не главное свое дело, не фотоэлементы, но делали хорошо, добросовестно, может быть, так хорошо и так добросовестно, как никогда раньше. Приводился в порядок инструмент, доливался электролит в аккумуляторы, чистились моторы и шкивы масляных насосов. Работали сперва молча, сосредоточенно, потом — опять же чтоб отвести душу — и с шуткой, со смешком, а то и с руганью, но не слишком забористой. Клавуня тоже никуда не ушла от нас в ту ночь. К тому же окна лаборатории были широко распахнуты, и нам хорошо слышно было, как во тьме по пустырю с хихиканьем, с песней бродили парочки. Не знаю, не помню, завидовали ли мы им в те часы и минуты. Может быть, да, а может, и нет. Пришло упоение работой. Много лет спустя я понял — по-настоящему счастлив тот человек, кому знакомо это чувство.

Где-то далеко за полночь Отар Давыдович подошел к своему столику, на котором весенний ветер шевелил странички календаря, прищелкнул языком, нарочито спокойно спросил:

— Какое сегодня число, кто скажет?

— Четырнадцатое, Отар Давыдович, — выпалил кто-то.

— В смысле пятнадцатое, — поправил Елигулашвили. — Вопрос второй: какой день наступил?

— Выходит, воскресный, Отар Давыдович...

— Ответ правильный. Вопрос третий и последний: что мы делаем, дорогой? — Елигулашвили взглянул на Мазурина. Хотел, чтоб ответил именно он.

— Воскресник проводим, Отар Давыдович, — неожиданно нашелся тот и вдруг покраснел.

— Ответ совсем правильный, дорогой! Ты, оказывается, голова, государственно мыслящая личность!

Олег покраснел еще больше, начальник подбодрил его:

— Я серьезно, дорогой! Спасибо, дорогой! Всем спасибо! Премии дать не могу — план сорван. Но благодарность за воскресник выношу. Тебе, тебе и тебе. И тебе тоже, конечно! — Он легонько провел по свер-

кавшим локонам Клавуни.— Неплохой у нас коллектив, оказывается. А с этим проклятым насосом завтра что-нибудь придумаем, черт его подери!

— Но он лопнул совсем, Отар Давыдович,— подал голос Мазурин.— На куски разлетелся.

— Как это — на куски? Такого не может быть, дорогой. Мы приваривали его по всем правилам — не под натяжением, очко к очку, и стекло не засалилось, схватилось намертво, вот так! — Елигулашвили поднял большой палец.— Понял, дорогой?

Вместо ответа Мазурин повернул ладонями вверх свои обожженные, кровоточащие руки.

— Ты что делал там, дорогой?.. Ты с ума сошел, дорогой?! — Лицо Отара Давыдовича исказилось, в любимом словечке «дорогой» прозвенела никому из нас не знакомая нота.

— Это я расколол насос Ленгмюра, Отар Давыдович,— сказал Олег со спокойствием обреченного.— Стал пыль протирать и задел локтем. Он сперва треснул в горловине, я попробовал соединить, и вот...

Инженер, побледнев, молча шагнул к вакуумной, мощным, косым, как в бурке, плечом сильно прижал и так плотно закрытую дверь. Потом, достав из холодильника целую батарею бутылок с молоком, усадив перед ними Олега, голосом очень уставшего человека сказал:

— Пей, дорогой. Бывает...— И заставил Мазурина выпить три бутылки подряд — залпом, прямо из горлышка. И все объяснял: — При отравлении ртутью — самое первое средство. Как себя чувствуешь, дорогой?

Олег послушно пил, уверяя, будто все у него нормально, только стыдно за то, что так подвел всех и сорвал вахту.

— Что поделаешь, дорогой! — Инженер старался как мог успокоить Мазурина.— Утро вечера мудреней. Завтра что-нибудь сообразим.

Ночь между тем прошла тревожно, оттого что устали, перенервничали. До самого рассвета скрипели расползавшиеся под нами в разные стороны стулья и табуретки.

Когда рассвело, Елигулашвили, который в армии еще не служил, подал почему-то команду на армейский манер:

— Кончай ночевать, выходи строиться!

И действительно, выстроил нас, поглядел в опух-

шие наши лица, прошелся раза два перед нами, остановился возле Мазурина:

— Как дела, дорогой? Надышался ртутью, даже серый стал. Вот выпутаемся из этой истории, на Кавказ тебя отправлю, в горы, к деду моему, дорогой. Сразу станешь здоровее здоровых!

Грустная, недоверчивая улыбка скривила пересохшие губы Олега: если начальник шутит, стало быть, нашел выход из положения.

Но Елигулашвили ни до чего путного додуматься, оказалось, пока не сумел. Да и как суметь? Насосы Ленгмюра умеют делать считанные мастера, и они все нарасхват. Разбитый починить тоже некому, да и не поможет ему уже никакая починка; когда наконец пришла пора открыть дверь в вакуумную, убедились в том воочию — весь пол был забрызган мелкими склянками, плававшими в лужах ртути, теперь уже, слава богу, не горячей.

— Прежде всего соберем все это, — распорядился Отар Давыдович. — И чем скорее, тем лучше.

Никого поторапливать не потребовалось. Мы знали, что холодная ртуть хоть и менее вредна, чем кипящая, но шутки с ней все равно опасны. Ртуть есть ртуть. Стремительно бежала по полу от наших совков, мельчилась в бесконечные, верткие, ускользавшие дробины, которые, как от выстрела, глубоко врезались в паркет, в каждую его расщелинку. Мы ползали на четвереньках уже больше двух часов, но так и не собрали всей ртути — часть ее ушла под пол. Вооружившись стамесками, зубилами, чем попало, стали вспарывать паркет. Проклинали хозяйственника Росинского, который еще месяц назад обещал раздобыть линолеум, как того требовала техника безопасности. Обещал, а сам укатил в командировку — «выколачивать» где-то менделеевскую замазку, запасы которой подходили к концу и без коей в нашем деле тоже не обойдешься.

Через три часа сил уже не было ни у кого. Выбились из последних. Но накрепко вцепившиеся друг в друга паркетины все-таки подчинялись еще нашим ослабевшим рукам. В конце концов мы перепахали весь пол, собрали все до единой ртутины.

— Половина задачи — это уже кое-что! — хриплым голосом сказал Елигулашвили.

Никакой «половиной», конечно, еще и не пахло.

Мы прекрасно поняли, зачем начальнику понадобились эти слова. Настроение нам захотел снова поднять. А может, и себе заодно? Точно! И себе самому. Начальник, он тоже не железный. И ростом чуть выше Мазурина, и годами чуть старше, и голова у него небось больше всех болит.

— Отар Давыдович, выпейте, — кто-то из нас протянул инженеру бутылку молока.

Мы думали, откажется. Ничего подобного — пил как миленький. Тоже прямо из горлышка. И руки дрожали, и слышно было, как дробно стучало о зубы стекло.

Когда утро уже было в полном разгаре, входная дверь резко скрипнула, широко распахнулась, на пороге лаборатории нежданно-негаданно появился празднично одетый, в мягкой фетровой шляпе, при галстукe Рапохин. Таким мы еще никогда не видели старика. Он был даже, как нам показалось, несколько навеселе. Впрочем, мастер и не пробовал скрыть этого — вошел, задумчиво мурлыкая что-то невнятное, остановил веселый взгляд на удивленном начальнике и сказал:

— А у тебя, батенька, молочко на губах не обсохло. Да, да, да...

Это была, может быть, месть за вчерашнее, за то, как бесцеремонно выдворил старика Отар Давыдович отдыхать, когда все, вплоть до Клавуни, были еще на посту. Елигулашвили готов был принять эту месть безропотно — так обрадовался появлению мастера. Рапохин, не дожидаясь расспросов, объяснил свой неурочный визит в лабораторию:

— Вчерась дружки наведались. Посидели хорошо. Сегодня ни свет ни заря провожать их отправился. По дороге пивка свеженького приняли. На обратном пути гляжу — у вас тут все окна настезь. Что такое, думаю? Дай, думаю, загляну, проверю, все ли в родном коллективе в порядке. — Рапохин снял шляпу, полустрого-полулукаво смерил взглядом инженера. — Докладай, товарищ начальник, чего наработали тут?

— Дай сначала обнять тебя, дорогой! — Елигулашвили с распростертыми объятиями двинулся к Рапохину.

Старик увернулся:

— Да ты что, товарищ начальник? То уходи, Рапохин, прежде всех, то обниматься? Не пойму я тебя;

видно, впрямь староват стал. Уж не наломали ли дровишек без Рапохина?

— Наломали, дорогой... И еще каких дровишек! — Инженер взял старика за плечи, повернул его лицом к распахнутой двери в вакуумную, где были «наломаны дрова».

Рапохин скользнул в дверь. Все замерли. Слышно было только, как, спотыкаясь о разбросанные паркетины, ходит старый из конца в конец разоренных своих владений. Через несколько минут вышел к нам сразу протрезвевший и злой.

— Чувствовало мое сердце: именно нонче стрясется чего-нибудь.

— Рапохин, дорогой, не сердись, помоги, если можешь. Так вышло, дорогой, — не то проговорил, не то простонал инженер. — Я прошу тебя...

Рапохин прервал его:

— Ладно. Я ведь незлопамятный. — И снова направился в вакуумную.

Мы двинулись было за стариком. Он остановил нас на пороге:

— А помощников не требуется. Ежели справлюсь, то справлюсь и сам, ежели провалюсь — туда мне и дорога...

Дверь перед нами захлопнулась, и мы услышали, как дважды повернулся в замочной скважине ключ. А еще через несколько минут до нас донесся характерный звук вспыхнувшего газа в горелке.

Мы не знали, что задумал старик. Не новый же «Ленгмюр» будет варить? В принципе все мы были чуть-чуть стеклодувами — такая уж лаборатория. Сами, когда надо, паяли, перепайвали, сваривали и гнули стекло, сами чинили и перечинивали вакуумную установку, но наиболее сложные стеклодувные работы доверялись только одному специалисту — Кошкину, который приезжал из Гусь-Хрустального раз в месяц, и тогда гонялась за ним вся Москва. Впрочем, от Рапохина все можно было ожидать. Кто-то вдруг вспомнил, что Рапохин с Кошкиным давние дружки-приятели, кто-то опроверг это.

Кто-то сказал, будто иной раз и «сам Кошкин» обращался к Рапохину за подмогой. Я заметил, что никакой «сам Кошкин» никогда не взялся бы за изготовление насоса Ленгмюра в заводских условиях.

Так мы спорили, гадали, судили-рядили, а пламя газовой горелки между тем бушевало в вакуумной все сильнее и сильнее.

Елигулашвили много раз припадал к замочной скважине, но видел в нее будто бы только спину старика, согнувшегося над горелкой. Много раз пытался докричаться до Рапохина, но делал это по-детски смешно — кричал вроде бы и настойчиво, чтоб старик услышал, и в то же время не слишком громко, чтоб не помешать, не потревожить. Все знали, как не любит старый, когда ему говорят «под руку». Он бывал грозен в такие минуты, даже сам Елигулашвили его побаивался.

Не помню точно, как долго томились мы под дверью вакуумной. Но помню другое, отлично помню, как шум горящего газа постепенно стал слабеть, к его шипению начали примешиваться иные звуки — тихая мелодия старинного русского романса... Рапохин любил романсы, но почему-то стеснялся этого. Сегодня стесняться не хотел — был хозяином положения и решил позволить себе не таить своей слабости. Когда мы это поняли, повеселело у каждого на душе, полегчало.

Мурлыканье старика то усиливалось, то ослабевало, то переходило в мычание. Мы догадались: Рапохин зажал в зубах стеклянный мундштук — точно так, как это делал в свое время Кошкин, когда чинил лопнувшую в каком-нибудь ответственном узле вакуумную установку. Оплавит края, залатает образовавшееся отверстие и начинает поддувать изнутри, чтоб свариваемое место, пульсируя, выравнивалось. Так стекло со стеклом соединяется без «шва», намертво, остается чистым, светлым. При этом казалось, стеклодув всякий раз сам удивлялся, как он, такой маленький человечек, ростом с Мазурина, а то и с Клауню, может своими крохотными дрожащими ручками возводить из стекла целые замки.

К самому концу дня, когда длинные ножницы солнечных лучей выстригли последнее темное пятнышко в дальнем углу лаборатории, в вакуумной неожиданно все стихло, дверь из нее отворилась. На пороге стоял, взявшись за косяк, Рапохин. Вид у старика был измученный, но у него все-таки хватило сил дверь за собой плотно закрыть.

— Извиняюсь, что так долго, но дело серьезное, и вроде бы сотворил, — сказал он сдавленным голосом

и, пошатываясь, направился к распахнутому окну лаборатории, за которым опять мы слышали чей-то безмятежный, счастливый смех, чью-то песенку.

Всем не терпелось глянуть, что «сотворил» Рапохин, но он заступил нам дорогу:

— Отставить! Там ртуть еще облаками ходит.

Только в замочную скважину было дозволено поглядеть. Первым приткнулся к ней начальник.

— Неужели?! Рапохин, дорогой... — не оборачиваясь, прошептал инженер. — Неужели?.. Это же чудо, дорогой! Настоящий «Ленгмюр»?! Новый?..

— А ты что же думал? — буркнул Рапохин. — Сам агитацию всякую разводил, а теперь удивляешься?

Мы кинулись к скважине, чтобы увидеть содеянное стариком чудо. И увидели.

Отталкивая друг друга, мы обалдело пялили глаза на заново рожденный насос Ленгмюра. Уже заполненный ртутью, приваренный к установке, он напоминал серебряный корабль, взмывший на высокой волне бесчисленных стеклянных труб, кранов, баллонов всех размеров и конфигураций. Через узкую щель насос Ленгмюра казался просто красавцем. В том мог поручиться, пожалуй, даже Мазурин, который в толкотне тоже ухитрился поймать в засаленные свои окуляры созданный Рапохиным насос.

Елигулашвили был потрясен:

— Как так? Как ты смог, дорогой? И работает?!

— Будет работать, дорогой! — в тон начальству ответил Рапохин. — А не веришь — проверь. Непременно проверь, только не нонче, а завтра. Пусть проветривается до утра. — И еще раз прижал плечом дверь вакуумной и снова дважды повернул ключ, теперь уже с наружной стороны.

Тут Отар Давыдович все-таки сграбастал Рапохина в могучие свои объятия. Рапохин больше не сопротивлялся. По-моему, у него просто сил не было. Довольный, счастливый и не скрывавший своей радости, инженер громогласно объявил:

— Полный отдых всем! Тебе, тебе, тебе и тебе, дорогой...

Чтобы не было никакой ошибки, начальник коснулся плеча каждого, кого хотел немедленно отправить домой. Пропустил только меня и Мазурину.

— А эти как же? — по праву старшего спросил инженера Рапохин.

— И эти, конечно, и эти. Чуть позже только, да? — Отар Давыдович глянул на нас так, словно просил снисхождения. — Золото мы промыть забыли? Забыли. Непорядок! Вот промоют, высушат, запрут в сейф — и на все четыре стороны. На час всего дела самое большее, дорогой.

Глава 2

Чтобы не терять драгоценного времени, Олег тут же включил муфельную печь, я приготовился перегонять дистиллированную воду, запасы которой, как часто бывает в подобных случаях, кончились.

Через несколько минут мы остались с Олегом одни. Он долго возился с печью, температура которой, что тоже бывает в аналогичных ситуациях, никак не хотела подниматься. Примерно так же вел себя и аппарат по перегонке воды.

— Контакты, наверно, подгорели, — сказал Олег, заметив, что и у меня дело не ладится.

— У самого тебя контакты подгорели, — почему-то огрызнулся я. — Твое дело — муфель, за ним и гляди.

— Чего рычишь? — Олег поднял на меня удивленные и совсем засыпающие глаза.

— Не рычу, тебе почудилось.

— Нет, рычишь как бобик.

— Добрее бобика зверя нет.

Незло переругиваясь, мы все-таки делали то, что нам было поручено. Постепенно стал нагреваться перегонный аппарат, подала признаки жизни муфельная печь. В конце концов в пятилитровую бутылку упали первые капли дистиллированной воды. Медленно пополз вверх ртутный столбик над высоким асбестовым цилиндром разогреваемой Олегом печи. Мы приободрились. Если все пойдет дальше нормально, к ночи, глядишь, и мы отправимся по домам.

— Первые полсотни! — через некоторое время сказал Олег, близоруко стукнувшись очками о термометр, вмазанный в крышку печи.

Я подошел и увидел, что столбик термометра действительно сравнялся с отметкой «50».

— Комиссаришь? — обиделся Олег. — Комиссарь, комиссарь. За мной все комиссарят.

— Ерунду мелешь. Или засыпаешь? — Я потрянул Олега за плечи. — Попробуй у меня только засни!

— Ага, все-таки «у меня»? Значит, верно, комиссаром ко мне приставлен.

— Дурак ты, Мазурин.

Перебранка наша то затихала, то вспыхивала с новой силой: мы, как могли, боролись со сном.

— Сам дурак, — помолчав, огрызнулся Олег.

— Ты же сказал «комиссар». В комиссары дураков, по-моему, не назначают, — ответил я.

— Тебя не назначили — добровольно пошел. Давай, давай! Сколько капель нацедил? Скоро мыть надо бы золотишко-то.

— Сколько надо, столько и нацедил.

Воды было, однако, еще совсем мало — только-только стала покрывать дно бутылки.

Лишь в полночь удалось нам промыть золотую пластину и подвесить ее в муфельной печи.

— Прогреем как положено, засекай время, — сказал Олег и поудобнее примостился у муфеля, излучавшего теперь уютное тепло.

Я сел поближе к Мазурину, упершись локтями в стол.

...Проснулись мы от резкого запаха черного лака, которым была покрыта подставка под муфельной печью. Наши табуреты с грохотом разлетелись в разные стороны. Я кинулся рубить ток. Олег щипцами приподнял круглую крышку муфеля, она вырвалась и покатила по полу.

Вывхватив у Олега щипцы, я попытался извлечь ими золотую пластину из раскаленного жерла, но нестерпимый жар заставил меня отпрянуть назад. Кое-как защитив руки листом асбеста, я все-таки запустил щипцы внутрь печи, но ничего нашарить там мне не удалось.

— Там ничего нет, Мазурин!..

— Как нет?.. Ты что?..

— Там ничего нет...

Я выронил горячие щипцы. Комната наполнилась таким едким дымом, что мы уже не могли разговаривать, только хриплый, надсадный кашель вырвался из наших глоток.

Потолок лаборатории был озарен зловещим желто-золотым светом. Меня пронзила страшная мысль: «Золото... испарилось!» Я побоялся сказать об этом

Олегу, но был почти уверен — золото превратилось в пар, в ничто. Произошла катастрофа.

В перегонном аппарате вода продолжала кипеть. Крупными каплями она по трубочке быстро скатывалась в бутыл, подобравшись уже под самую горловину. Только теперь мы поняли, как долго проспали... Перепуганные, жалкие, стояли мы друг перед другом, не зная, что придумать, как поступить.

В окне, совсем близко — прямо за пустырем — занималась заря. Первый раз в жизни я не обрадовался восходу. Лучи его были почему-то особенно огненно-желтыми, з о л о т ы м и, словно в воздухе повсюду носились частицы драгоценного испарившегося металла.

В муфеле в этот миг что-то резко треснуло.

— Остывать начинает, — сказал я, не веря самому себе.

— А с чего бы ему трещать? — последовал вполне резонный вопрос.

Действительно, раньше, до какой бы высокой температуры ни разгоняли муфель, он остывал совсем по-другому.

— Скоро все увидим, он уже немного темнеет, — зачем-то соврал я, указывая глазами на печь, кратер которой пылал, как мне казалось, все жарче.

Муфельная печь была самодельной конструкции. Под руководством Отара Давыдовича мы соорудили ее из асбеста и каолина, вмазали внутрь керамическую огнеупорную банку, обмотанную спиралью из нихрома. Мы хорошо знали все повадки своего детища. Такого с ним никогда еще не бывало.

В глубине муфеля раздался еще более резкий и еще более зловеший треск... Словно кто-то невидимый молотом дробил печь изнутри. Мы беспомощно ждали, что будет дальше.

— И все-таки остывает! — Теперь я сказал уже правду — потолок над печью, даже высвеченный косым солнечным лучом, постепенно стал блекнуть.

Через некоторое время мы смогли заглянуть внутрь муфеля, где на проволочках обычно висела золотая пластина. Обычно висела... Лица наши полыхали от волнения и жара, но чем ниже склонялись мы над печью, тем мрачней становились.

— Может, на самом дне? — спросил я не то Олега, не то самого себя.

— Это было бы лучше всего,— прошептал Мазурин.

Я мысленно согласился с ним. В самом деле, если бы пластина только расплавилась, беда была бы поправимой.

Но когда печь остыла настолько, что можно было хорошенько ее осмотреть, мы поняли, в какую историю вляпались. На дне муфеля мы ничего не увидели.

— Натворили с тобой дел, Мазурин...

Олег вздрогнул, ссутулился еще больше, прошептал еле слышно:

— Бедная моя мама!..

Словам этим я очень удивился:

— Ты ж говорил, нет у тебя никого... Ни отца, ни матери.

— Никого и нет. Поговорка просто такая. С детдома еще. Вот, глянь.— Олег расстегнул ворот рубахи. На тощей, впалой груди его чьей-то нетвердой рукой было мелко вытатуировано: «Мама».— Но я не знаю ее, не видел никогда. И отца тоже.

Мне вспомнилось, что парень как-то действительно говорил про детдом, про судьбу свою, но тогда я пропустил все это мимо ушей, и сейчас мне вдруг стало мучительно стыдно.

— И родных никого?

— И родных. Да-а-авно уже.

— А как же ты?

— Как, как! Нас знаешь сколько таких разбросано по свету? Не знаешь. А я знаю. И могу, если интересно тебе, еще раз как-нибудь обо всем рассказать.

«Еще раз» — что это было? Укор? Или просьба: мол, не очень-то строго меня судите, вон я какой.

Никудышным я оказался психологом. Олег говорил со мной все спокойнее, все больше старался взять себя в руки. И наступило мгновение: он в самом деле совладал с собой, подавил в себе страх перед случившимся. Дождавшись, когда печь еще немного остынет, он спросил меня:

— Будем караулить наших или начнем сами?

— Что начнем? — не понял я.

— Давай расколотим муфель, глянем, что и как там внутри. А?..

Я не решался. Олег настаивал:

— Хуже не будет. Давай, а?

— Куда уж хуже,— полусогласился я.

— Тогда начнем,— заявил Мазурин и в отчаянии занес над муфелем какую-то железяку.

Я стал помогать ему. Через несколько минут лаборатория до потолка наполнилась едкой каолиновой пылью. Наши пальцы уже были сбиты в кровь, но мы долбили и долбили — рвались к золоту, которое, мы не теряли надежды, пусть не полностью, но сохранилось в утробе муфеля, еще продолжавшего излучать жар.

Обжигаясь, поторапливая друг друга, мы раскалывали печь на мелкие куски. И все ясней и ясней начинали понимать: золото если частично и осталось тут, то впиталось в пористое дно муфеля.

— Втравил нас в работенку Отар...— обливаясь потом, промычал Мазурин.

— Он здесь ни при чем. Нам с тобой было дело поручено.

— Что верно, то верно. Нам с тобой. Мне. А я проспал все на свете и даже сон увидел — будто сидим мы с тобой в «Арагви», едим шашлык, пьем коньяк, гуляем...

— Болтун ты, Мазурин,— не к месту усмехнулся я.

— Почему болтун? Точно.

— Потому что в «Арагви» ты, как и я, никогда не был, даже не ведаешь, ручаюсь, где он находится, шашлыка не пробовал, и запаха коньяка не знаешь, и даже во сне ничего такого пригрезиться тебе не могло.

— Коньяк пахнет клопами,— безапелляционно заявил Олег.

— Я же говорю: болтун.

— Но зато шашлык ел, честное пионерское! Один раз...

— Где же, интересно? В «Метрополе»? Или в «Национале»? — щегольнул я знанием названий популярных ресторанов.

— У братишки, на свадьбе...

Олег опять почему-то сказал неправду, но спорить с ним я больше не захотел. Только что уверял, будто никого близких у него давным-давно нет. И вдруг — «братишка». Жил Олег наш бедно, неустроенно, вечно стрелял у кого-нибудь трешку «до получки». Откровенно говоря, мне всегда было жаль парня. Никогда не отпускал я едких шуточек по его адресу, одергивал тех, кто занимался этим, хотя неуклюжестью, бестол-

ковостью своей он мог вывести из равновесия кого угодно. Кроме Клавуни, конечно. Она ему все и всегда почему-то неизменно прощала.

Я попробовал повернуть разговор в нужную сторону:

— А отвечать будем оба, слышь?

Олег очень рассердился:

— Иди ты знаешь куда...

— А вот то, что злиться умеешь, хорошо, Мазурин. Не совсем, значит, лапша!

— Сушить мне поручили. Я натворил все это. Так и скажу Отару...

— Он первым сегодня явится, так и знай, — не дал я договорить Олегу.

— Первым? — испуганно переспросил Мазурин и сразу сник. Губы его вздрогнули; он, поняв, что я заметил это, рванулся из комнаты.

— Ты куда, Олег? погоди! — крикнул я вдогонку, но он не остановился.

Минутой позже я увидел Мазурина бегущим по пустырю в сторону трамвайной остановки. Он бежал так быстро, как тогда за Рапохиным, а может, и еще быстрее. Я закричал в окно, чтоб вернулся. Олег не слышал или не хотел слышать. У меня не было сил его преследовать. К тому же решил: пусть побудет немного один. Человека в таких случаях обязательно надо оставить на какое-то время в покое. «В таких случаях? — удивился я собственной мысли. — Откуда тебе знать, что надо в таких случаях? Много их у тебя было? Да и случались ли вообще? А вот видишь, не было ни одного. То-то и дело! Решение, стало быть, принял неверное. Бросил недотепу на произвол судьбы...»

Теперь уже я мчался через пустырь. Верткая глиняная тропка вихляла под ногами, как лыжи на сыромятных ремнях. Пока добежал до остановки, раза два плюхнулся. Трамваи, судя по всему, еще не ходили. Во всяком случае, Мазурин никуда не уехал. Сидел на покрытой росой зеленой скамейке, весь перемазанный глиной.

— Носом пахал? — спросил я.

— Поскользнулся, — тяжело дыша, сказал он. — Ты тоже хорош.

— У меня-то хоть цель была.

— Меня догонял.

— Правильно. Догадался, ай да Мазурин! Понять не могу, отчего тебя ребята чудиком считают? Ты ж сообразительный. Гений! Спиноза просто!

Олег грустно улыбнулся:

— Будешь смеяться, но меня в детдоме так и звали — Спиноза... Не веришь? Звали. И знаешь, за что? Линзы умел шлифовать в нашей мастерской. Один старик научил. Степан Степаныч. Он же и Спинозой меня окрестил, когда дело пошло. Ну, а ребята подхватили. Только они насмехались, а он по-серьезному. Рука, говорил, у тебя, Мазурин, точная, правильная, как у Спинозы, а тот по линзам будто бы кудесником был.— Мазурин задумался, соскреб щепкой глину с одного ботинка, сказал мечтательно: — Сыскать бы сейчас мне этого Степаныча! Вот уж кто кудесник так кудесник! Он все может, на все руки мастер. На самом демидовском заводе когда-то первым плави́льщиком был.— В голосе Олега, как мне показалось, вдруг прорезалась новая нотка. Соскреб глину с другого ботинка и говорит: — Послушай, напарник, а ты одолжить можешь?

— Трешку? До получки? — съязвил я и съязвил, как тут же смекнул, не к месту.

— Тебя как человека спрашивают.

— Сам бы одолжил у кого-нибудь, посмотри.— Я дотронулся носком своего разорванного «сорохода» до такого же драного «сорохода» Мазурина.

— Нет, серьезно, послушай, одолжи, а? На самолет. Сколько может стоить билет до Ленинграда, как думаешь?

Я, удивленно глядя на Мазурина, замотал головой, а он продолжал соскребать глину с ботинок с такой тщательностью, словно первый шаг его после этого будет на трап самолета. Соскребал и твердил свое:

— К Степанычу, к Степанычу, только к нему! Он всегда говорил: если у тебя чего приключится-стрясетя, Спиноза, дуй прямиком ко мне в Питер...

— Ты толком что-нибудь объяснить можешь или нет? — перебил я Мазурина.

— Если одолжишь, объясню.

Я обещал подумать. Олег изложил свой план. Он показался мне совершенно нереальным, но другого ни у него, ни у меня не было. Молчаливые, угнетенные, мы вернулись в лабораторию, чтобы выполнить первую его часть.

Надо было прежде всего тщательно собрать все, что осталось от расколотой нами печи. Все, до единой крошки. В самом дальнем углу лаборатории стоял вылинявший пыльный фибровый чемодан, год назад забытый кем-то из командированных. Елигулашвили давно порывался вышвырнуть это барахло на пустырь и даже отдавал соответствующие распоряжения Клавуне, но чемодан каким-то чудом оставался на месте. Рапохин пошучивал: «Сгодится еще, он же новый совсем, разохся просто, так мы его при случае склеим».

И вот чемодан «сгодился». Мы извлекли его из угла и начали бережно укладывать в него все, что осталось от муфеля, осколок к осколку, крошку к крошке. За этим занятием застал нас приехавший прежде всех Рапохин. Пришлось ему первому поведать обо всем, что произошло в лаборатории этой ночью, и о том, что Олег «со всем этим» летит в Ленинград к Степану Степанычу.

Рапохин, который всегда немного заикался от волнения, выслушав нашу исповедь, вообще чуть не потерял дар речи. Он бросился к еще не закрытому нами чемодану, уставился на его содержимое, и испуганное стариковское «вы с-с-с ума с-с-сошли, вы с-совсем с-с-снятили...» завизжало как заезженная пластинка, у которой сбившаяся с курса иголка начала драть одну и ту же бороздку.

— А что делать, Рапохин? Другого выхода нет,— попробовал я урезонить старика, хотя затея наша мне самому представлялась теперь уже просто бредовой, но отступать было поздно и некуда.— Что делать, Рапохин? Что? — начал я другой иглой пахать другую борозду пластинки.

Старик запричитал:

— Вы понимаете, ироды, что н-н-натворили? Ни грамма не понимаете, дьяволы! За семь моих десятков такого не было! За всю жизнь не рас-с-считаетесь...

Рапохин продолжал в том же духе, мы обреченно слушали и вроде не слышали. Олег плотно, на обе заржавленные защелки, закрыл крышку чемодана, я помог перевязать его крест-накрест крученым электрическим шнуром (на всякий случай!), и мы отправились к моей тетке, у которой я не был давно, кажется с Нового года.

Придумав какую-то малоправдоподобную историю, я выклянчил у родственницы немного денег. Через

час мы уже шастали у касс Центрального аэропорта. Пока раздобывали билет, пока дожидались самолета, я времени зря не терял, бесконечно наставлял и инструктировал Мазурина:

— В багаж не сдавать. Глядеть в оба. За ручку не брать, а вот так, только так, понял? В обнимочку...

Я снова и снова показывал Олегу, как именно должен он держать и нести чемодан. На нас со всех сторон уже стали посматривать любопытные. Они, конечно, и догадаться не могли, что так бережно держал в охапке странного вида парень, перемазанный глиной, бедно одетый, с блуждающими от волнения глазами за толстыми стеклами непротертых очков.

Когда наступила минута прощания, Олег не мог выговорить ни слова. Я же просто не знал, что сказать бедолаге. Глядя вслед Мазурину, шагавшему на посадку, думал обо всем сразу: о безрассудности нашей затеи, о провалившейся вахте, о селеновых фотоэлементах, которым не суждено выйти к сроку, обо всем, чем все мы жили последние дни и часы. А еще — о будущем, в том числе и самом ближайшем. О предстоявшем объяснении с Отаром Давыдовичем, перед которым мне первому держать ответ. Пытался представить себе, как взорвется он, узнав о случившемся. И представить не мог. Твердо знал только: нам с Мазуриным несдобровать. И какое бы возмездие ни свалилось на наши головы, будет оно заслуженным. Беспечные, безответственные ротозеи из ротозеев, шляпы из шляп. Словом, готовил себя к самому худшему.

В подавленном настроении отправился в лабораторию. По пути молил бога, чтоб «двойка» катила потише. С какими глазами появлюсь перед Отаром Давыдовичем, перед всеми? Что и как скажу? Олега подводить нельзя. Все на себя возьму. Я, скажу, во всем виноват. Один я, и больше никто. Да так ведь оно и было в действительности. Никакого моего благородства не было, конечно, в том, что я намеревался заслонить собой мальчишку. Я пусть ненамного, но все-таки старше, опытнее, с меня и спрос. Когда так рассудил, на душе у меня стало вроде полегче. Все же не два человека пострадают, а только один. Простая арифметика эта пришлась мне по вкусу, я ухватился за нее и весь остаток пути, до самых дверей лаборатории репетировал предстоявшее объяснение с инженером.

«Кто старше из вас?» — стиснув зубы, спросит начальник.

«Я, — отвечу. — И вообще Олег бедный парень, у него нет ни отца, ни матери...»

«Это дела не касается, дорогой», — перебьет меня наверняка Отар Давыдович.

«То есть как это не касается? Касается! Да вы что? Подумайте, Отар Давыдович, это ваш кадр».

«Никакой он не кадр!» — рявкнет начальник и будет прав: не набрал еще силенок Мазурин наш, что факт, то факт, какой из него, к лешему, лаборант? Так, горе одно, слезы!

Тут я вставляю, конечно, словечко о том, что детдомовский он, что родители на гражданской войне погибли. И отец и мать. Образование у него не ахти какое, но причина все та же: жизнь, дорогой Отар Давыдович, жизнь! Крутовато сложилась. Круче некуда. Слепым кутенком Мазурин поплыл по волнам. До сих пор барахтается. Учить его надо. Он же параллельного от последовательного соединения аккумуляторов отличить не может, нормально это? Ненормально, Отар Давыдович. Стыд и позор всем нам! Одним словом, сильно винить нельзя малого, и вообще...

«Оставь ты свое дурацкое «вообще», дорогой! — крикнет начальник, потом помолчит, метнет в мою сторону грозный взгляд и спросит: — А ты точно знаешь, дорогой?»

«Насчет чего?» — прикинусь я непонятливым, хотя и ребенку ясно, что о гражданской войне речь.

«Точно знаешь насчет гражданской?» — повторит свой вопрос Елигулашвили.

«Знаю, — скажу, — Отар Давыдович, дорогой! Точно. Об остальном вам самому прекрасно известно...»

На этом месте своей репетиции стал я противен сам себе. Вместо серьезного разговора балаган какой-то получался. Нашел время шутки шутить! Отчего это? От нервов? Да, от них. Вот показались уже окна в красной кирпичной стене нашей лаборатории... Что меня ждет там, за ними?

С тяжелым сердцем распахнул я знакомую дверь и остановился, не решаясь переступить порога. Все были уже в сборе, на своих рабочих местах, как в самый обыкновенный день. Привычно гудели моторы в вакуумной. Даже перепаханный пол, казалось, приходил в себя после потрясения. Содранные доски все до еди-

ной были сложены вдоль стены в штабеля с такой аккуратностью, словно ждали паркетчика, который вот-вот явится и станет выкладывать из них длинные ровные «елочки», прилаживая торец к боковине, шип к шипу.

По черной, поблескивавшей варом обнаженной подкладке паркета из конца в конец лаборатории шагал Отар Давыдович. Его башмаки прилипали к вару, громко щелкали при каждом движении. Никто не услышал скрипа отворенной мною двери.

Я кашлянул. Елигулашвили резко обернулся, все рванулись ко мне. Смерив меня быстрым, чисто кавказским взглядом, начальник воскликнул:

— Наконец-то, дорогой! Ну,ходи же,ходи, дорогой, ты что, в гости пришел, да?

Я приготовился начать отрепетированное. Отар Давыдович опередил меня:

— Все знаю, дорогой. И про аварию, и про ленинградского мастера. Конечно, что такое Москва, дорогой? Так, большая деревня! Разве тут найдешь специалистов? Ленинград — совсем иное дело, дорогой, совсем иное...

Я смотрел на начальника и никак не мог понять, шутит он или говорит серьезно. Лицо инженера было бледным, но голос звучал спокойно, и во мне появилась маленькая, но надежда. Может, нет никакой катастрофы? В панику зря ударились? Вот не мечет же начальник громы и молнии? Не мечет.

Словно угадав мои мысли, Елигулашвили спросил:

— Испугались?

— Отар Давыдович, это я виноват. Я! Олег тут ни при чем!

— Врете! — рявкнул начальник. Он вдруг перешел со мною на «вы». Ничего хорошего мне это «вы» не сулило. — Врете и не краснеете. Если уж честно сказать, виноват во всем один человек — тов. Елигулашвили О. Д. Да, да! И уж ему-то вкаты как следует! Вахту затеял, людей измотал, в самый ответственный момент первым свой пост покинул... — Он наверняка хотел добавить, что важное дело двум растяпам доверил. Но не добавил, только еще злее глазами сверкнул в мою сторону. Повторил вопрос: — Сильно испугались? Только честно.

— Испугались, — сознался я. — Сильно.

— Вот это другой разговор! Люди должны правду говорить друг другу. Только правду, дорогой...

— Скажите, пожалуйста,— решил перебить я Отара Давыдовича,— дело наше плохо? Совсем? Да?

— Плохо. Совсем. Да. Мальчишество, авантюризм, дорогой! Поехать с таким грузом в незнакомый город, неизвестно к какому человеку! Не нахожу слов, дорогой...

— Отар Давыдович,— попробовал возразить я,— и город знакомый, и человек не посторонний. Олег знает его еще с детского дома.

— Как его фамилия? Адрес? Где и кем работает? — обрушился на меня целый град вопросов.

Ни на один из них у меня ответа не было. Буквально ни на один.

Отар Давыдович, сжав пальцы в кулак, постучал побелевшими косточками себя по лбу. Воцарилось тягостное молчание. Каждый, конечно, ждал, что еще скажет, как дальше поведет себя Елигулашвили. А он, видимо боясь выдать свое волнение, замолк. Лучше бы уж он ругал меня и Олега на чем свет стоит! Находил бы самые уничтожающие слова, я б не обиделся. Но он, не сказав больше ничего, сел за стол, распахнул перед собой какую-то книгу и сделал вид, что погрузился в чтение.

Чтобы хоть немного отвлечься, все искали и находили себе какую-нибудь работу. Опять и опять приводили в порядок инструменты, вновь и вновь подзаряжали и без того заряженные и даже перезаряженные аккумуляторы, снова и снова принимались гнать впрок дистиллированную воду, выравнивать и так безукоризненно ровные штабеля паркетин, выложенных вдоль стен.

Как все, я вскоре тоже занялся каким-то делом, но делал его машинально и потом даже не мог вспомнить, что именно.

Так прошло много часов. Еще один день клонился к вечеру. Еще один день селеновой вахты, так удачно начавшейся и так неожиданно рухнувшей.

Всех тревожила одна мысль. Об Олеге. Что он там? Как он там? Судя по всему, об Олеге думал и Отар Давыдович. О нем, безусловно. И дума та была невеселой, как и многие навалившиеся на нас тогда думы.

В ту пору, весны сорок первого, в воздухе уже пахло войной. Она еще не ворвалась в наш дом, на нашу

землю, но о ней все чаще и чаще начинали говорить между собой люди. Заходили разговоры о ней и у нас в лаборатории. Вахта не случайно возникла. Это была наша реакция на все, что происходило вокруг, и на грядущее, которое было не за горами. Елигулашвили, чей брат служил на западной границе и приезжал недавно в краткосрочный отпуск, рассказывал, как пылят дороги в соседнем государстве: враг стягивает силы — танки, артиллерию, готовится днем и ночью, ночью и днем.

— Пылят, пылят дороги по ту сторону кордона! — красноречиво подчеркнул Отар Давыдович, объясняя нам ситуацию.

— А по эту? — вырвалось у кого-то из нас, кажется у Рапохина. — По эту что делается?

— Что положено, дорогой, то и делается, — ответил начальник и почему-то рассердился. — Я что вам, нарком обороны? Одно знаю: работать надо лучше, от этого зависит многое.

— Мы ведь все понимаем, — вздохнул Рапохин. — Надо, значит, надо, Отар Давыдович, так и скажите.

— Так и говорю, дорогой. Надо. На-до!

Недлинным был тот разговор, совсем коротким, но в память врезался. Стали мы гайки туже подкручивать. И за дисциплину взялись, и за производительность.

Глава 3

Потянулись бесконечные дни ожидания того, чем и как закончится поездка Мазурина. Чего только не передумали мы, каких только чувств не извели! Каждый переживал, каждый высказывал свои предположения. И так судили-рядили, и этак. И, скажу откровенно, все больше как-то вкривь и вкось получалось, шиворот-навыворот. Особенно я себе места не находил. И еще почему-то Клавуня, хотя вида не подавала. Веки у нее были все время красными, голос, и раньше тонкий, почти детский, совсем истончился. Пищала Клавуня комариком. Но, как это ни странно, именно она попыталась уговорить начальника, пока суд да дело, о золоте шума не подымать.

— Я верю в Олега, Отар Давыдович. Никуда он не пропадет, вернется, — повторяла она, — вот увидите! Он хороший...

— Совсем прекрасный! — не скрывая раздражения, восклицал инженер. — Все хорошие, все прекрасные. И ты, и он, и он, дорогая. А когда и с чем явится? Глаза б мои не глядели на прекрасного этого!

Трудно было определить, что в словах тех перевешивало. Сочувствие? Надежда? Гнев? Скорее всего последнее, относившееся, уверен, и ко мне в равной степени, а может, и в большей. И не «может», а точно.

С утра до вечера ловил я на себе косые взгляды. И, казалось мне, чаще всего Клавунин заплаканный осуждающий взгляд.

Не знаю уж, Клавунина в том заслуга или еще чья, только шума начальник подымать действительно покуда не стал. Мы это точно знали. Проверили. И оценили. По душе пришлась выдержка Отара Давыдовича. Во мне самом все клокотало внутри. И гнев, и надежда, и сочувствие. Все перемешалось, все спуталось в один клубок, как в перекаленном муфеле. Больше всего в том клубке злости, наверное, было. На самого себя, разумеется, на кого же еще? Недоглядел, в панику ударился, глупостей натворил. С этой мыслью вставал, с этой мыслью ложился. А если точно сказать, не смыкал глаз почти целую неделю. Первым приходил в лабораторию, последним закрывал ее на замок. И целыми днями смотрел в окно, шарил и шарил глазом по верткой тропке пустыря, на которой рано или поздно должен же был появиться Мазурин с фибровым чемоданом! Во всей лаборатории твердо верили в это, помоему, только два человека: я и Клавуня. Она даже чаще меня бросала тревожные взгляды на тот пустырь. На ту трамвайную остановку.

И однажды утром...

Однажды утром, когда, по правде говоря, моей вере уже край подошел, я узрел-таки сквозь густую сетку весеннего перекрестного дождя неуклюжую фигуру человечка, семенившего по глине в нашу сторону. Я тихонько окликнул было Клавуню, да опоздал — она уже вплющилась лицом в стекло соседнего окна, плечики ее под разбросанными блестящими локонами еле заметно вздрагивали. По этим-то плечикам я и понял, что не ошибся.

Мазурин возник на пороге лаборатории — до нитки вымокший, изможденный, осунувшийся, почерневший. По чемодану его только и можно было узнать. По чемо-

дану, который он держал, как я учил, аккуратно, в обнимочку.

Сначала к Олегу Клавуня кинулась. Молча провела узкой ладошкой по его исхлестанным дождем вихрам и улыбнулась. Первый раз за все эти дни. Ее легонько оттеснил Отар Давыдович — и он тоже не нашел в этот миг нужного слова. Только минуту или две спустя прорвалась, зарокотала кавказская скороговорка:

— Что стоишь? Входи, дорогой! Как съездил, дорогой?!

Олег вошел, не выпуская из рук чемодана, плюхнулся на пододвинутый Клавуней стул, обвел всех своим не только близоруким, но сегодня еще и никому из нас не знакомым взглядом. Положив чемодан на мокрые, заляпанные глиной колени, решительно щелкнул сразу двумя металлическими замками. Фибровая крышка резко откинулась — мы увидели целую гору опилок. Нетерпеливый Отар Давыдович воскликнул:

— Это все, что осталось от золота, да?

Как обычно, не до конца было ясно, шутит начальник или нет. Впрочем, до шуток ли было? Серьезно, конечно, спросил, а если содержалось в том вопросе ноль целых пять десятых от шутки, то это, как говорится, только для собственной храбрости.

— Все, что осталось, Отар Давыдович, — сказал Олег, глубоко запустив обе пятерни в опилки, вычерпывая их из чемодана и сыпая возле себя прямо на пол. Загадочно уточнил: — Почти все, Отар Давыдович, почти все.

Еще минута-другая, и в ладонях Отара, как молния, полыхнул прямоугольный золотой слиток. Даже много в жизни повидавший Рапохин не поверил своим глазам. Взял из рук начальника золото, тяжело подбросил его в воздух и, тяжело поймав, спросил:

— Неужто оно?.. — И сам себе ответил: — Оно вроде? Тянет на тот вес. Верно слово, тянет! Смотрите...

Слиток, сверкая огнем, стал переходить из рук в руки, пока наконец вернулся к Отару Давыдовичу. Тот, еще раз взвесив сокровище на ладонях и покрутив головой, вздохнул — не то облегченно, не то недоверчиво.

— Я вижу, ты устал. Ты очень сильно устал, и все же два слова, дорогой, совсем очень коротких два слова: как это удалось тебе? А?

Олег сам, судя по всему, испытывал желание отчитаться перед начальством и товарищами прямо тут же, не откладывая. Отчет его был коротким.

— Еле-еле сыскал Степаныча. Со старой квартиры съехал. Нового адреса никто из соседей не помнил. Полгорода исколесил. Сперва не узнал меня дед, стал подсленоват, вроде меня. — Олег дотронулся до засаленных своих очков, инженер нетерпеливо поторопил в этом месте Мазурина:

— Не отвлекайся, дорогой, прошу тебя! Про это потом. Как все было с золотом?

— Я ему про беду нашу, а он — золото, говорит, ерунда! Как хорошо, говорит, что свиделись! Я ему снова про аварию, он опять за свое: не было бы счастья, да несчастье помогло!

— Еще короче можно, дорогой? — взмолился Елигулашвили. — Совсем короче!

— Могу, но тогда непонятно будет... — смутился Мазурин.

— Дай человеку высказаться, начальник, — вступил в разговор Рапохин. — Не перебивай! — Он хитровато подмигнул Олегу: дескать, дуй до горы, парень, давай дальше!

А дальше все было, оказывается, так. Выслушав Олега внимательно, Степаныч ухмыльнулся, сказал, что в Москве, конечное дело, свои мастера имеются, и еще какие! Но и питерцев не в дровах нашли. Забрал у Олега чемодан со всеми осколками. Отдыхай, говорит, с дороги, а я в мастерскую, к ребятам, которые блох подковывают. К вечеру, говорит, разберемся. К вечеру, однако, не успели, не справились и на следующий день. Что-то не заладилось там у них. Что точно, Олег не может сказать, но не заладилось, не заладилось, не заладилось... Целых три дня ходил Степаныч чернее тучи. Не ел, не пил, не спал, ни с кем дома, даже с Олегом, не разговаривал, только рычал на всех. И на Олега тоже. Мазурин совсем было пал духом, решил купить билет на Москву и очертя голову возвращаться. Сказал в последнее утро об этом Степанычу. Старик еще раз рыкнул на Олега, а в обед пришел повеселевший. Положил на стол тяжелый плоский сверток. Принимай, говорит, работу. Худо-бедно, выплавили ваше золотишко. Поезжай спокойно...

На этом Олег посчитал свой рассказ покуда исчерпанным. О самом главном хотели узнать? Получайте,

дескать, самое главное. Остальное-прочее другим разом, если будет кому интересно.

Кончились и вопросы начальника. Надо было скорее отправлять парня домой — отсыпаться за целую неделю. Инженер именно так, судя по всему, и хотел поступить. Но до того он должен был, разумеется, сделать еще одно важное дело: взвесить золото. Распахнув стеклянные дверцы шкафа, Елигулашвили снял чехол с весов, и привезенная Мазуриным пластина опустилась на их чашу. Все, кто был в лаборатории, сгрудились перед шкафом. Красная стрелка весов сперва решительно рванулась вверх, к контрольной отметке, но, далеко не добравшись до нее, так же решительно остановилась...

Самым удивительным было, пожалуй, то, что «недовес» этот менее всего огорчил двух человек — Отара Давыдовича и Олега. Они оба были совершенно спокойны.

Один сказал:

— Нестрашно, дорогой. У меня есть кинжал — рукоятка из чистого золота. Говорят, наследство, но что поделаешь? Смастерим рукоятку простую. Понял? И не волнуйся, все беру на себя. Как-нибудь рассчитаемся с государством.

Другой ответил:

— Спасибо, Отар Давыдович, большое спасибо! Вы очень добрый человек, но своего золота вам добавлять не придется. Ни одного грамма.

— Как это — ни грамма? Стрелку хорошо видишь, дорогой?

— Вижу.

— Хорошо, я спрашиваю?

— Хорошо, Отар Давыдович. Но вы просили рассказать вам только самое главное. Я так и сделал. Теперь про неглавное: пластину после отливки опиливали и строга́ли мастера в последний момент. И еще дырки по углам сверлили, чтоб все в точности, как прежде, было. Часть золота, значит, в стружку ушла.

— В стружку?.. — переспросил инженер.

— В стружку, Отар Давыдович. Но Степаныч сказал, чтобы Москва не волновалась: все до единой крохи будет собрано, сплавлено и привезено в ближайшие дни с одним верным человеком.

— Это правда, дорогой?

— Это правда, Отар Давыдович.

— Тогда совсем молодец, дорогой! Давай твои пять, дорогой, давай, давай, не стесняйся.

Инженер крепко пожал руку Олега.

Еще через минуту-другую была отдана команда всем готовиться к катодному распылению. Всем, кроме Мазурина. Ему было приказано немедленно ехать домой: полный отдых до завтра!

Селеновая вахта в лаборатории контрольно-измерительных приборов продолжалась. Настроение у нас было отличное, в полном смысле предмайское.

Не по-кавказски сдержанный Елигулашвили, делая очередные записи в журнале или вычерчивая чертежи, громко насвистывал что-то мажорное. Потом вдруг незаметно исчезал. Наверное, ездил докладывать о том, что работа идет успешно и завершится в срок, а то и прежде срока.

Рапохин сквозь шум моторов, никого не стесняясь, бесконечно намурлыкивал любимые свои романсы.

О Мазурине и говорить не приходится. Он был вообще именинником. И уже никому не казался беспомощным и нескладным. При всей своей близорукости Олег орлом озирает свой участок работы. Только толстые стекла очков посверкивали. Не знаю вот, замечали ли он при этом, какие взгляды бросала на него Клавуня? А она, пожалуй, смотрела в те дни и часы только на Олега. И не «пожалуй», а совершенно точно, точнее некуда! Только на Олега. Только на него одного и ни на кого другого.

Глаза Клавуни, и прежде поражавшие ослепительной прозеленью, теперь были зеленее зеленых. Они светились весной, лаской и обожанием.

ПАРАШЮТИСТЫ



Глава 1

Устали, намаялись парашютисты: по две учебных ночных тревоги в неделю, и после каждой — марш-бросок «с полной боевой» километров на двадцать. Кто служил, тот знает, что это за штука.

Старшина Брага говорит: польза для дела. Это ребята потом уже усвоили, что польза, а тогда тяжело кое-кому было от тех учений. И самому старшине, конечно. Но он был ко всему привычен — старослужащий. Услышит ворчанье, одно только слово скажет:

— Разговорчики!

И еще круче сделается. Подымет ночью, построит на морозе, проверит, все ли в порядке, — и, предположим, в баню. Да, да, и в баню по тревоге водил, и главным образом по ночам.

Помоется десант, распаренный, шагает до казарм, продираясь сквозь метель, а Брага:

— Запевай!

Тут, понятно, не поется. Тогда старшина остановит строй, новую команду подает:

— На месте шагом марш!

И опять:

— Запевай!

В конце концов одолеют ребята те самые ноты, которые требуются. Но и песня не греет на лютном ветру. Кто-нибудь потихоньку буркнет:

— Товарищ старшина, разрешите уши опустить?

— Что-о?..

Так спросит, что язык не повернется повторить. Топают десантники дальше с поднятыми ушами шапок, тем более что и он, старшина, шагает рядом. Только сапожки у него еще холоднее, чем у всех, — хромовые, куценькие, точно по размеру, в такие лишнюю портянку не подвернешь. Скрипит по холоду каблучками, подбадривает приунывшего:

— Уши, значит, опустить захотели! Ничего себе защитники Родины! Ну-ка, «Махорочку»!

И, не дожидаясь запевалы, сам выводит в морозном воздухе:

Эх, махорочка, махорка,
Подружились мы с тобой!
Вдаль глядят дозоры зорко —
Мы готовы в бой!..

Ночные тревоги чаще всего заканчиваются учебными прыжками. Если зазеваается боец после команды штурмана, старшина даст ему легонько коленом под то место, где спина теряет свое название, и «рассеянный» провалится в бомбовый люк «ТБ-3». Поймает глазом землю, рванет красное кольцо на груди и через мгновение услышит звонкий всплеск шелка за спиной. Парнишку встряхнет, как термометр, и начнет мотать по всему небу. Тут смотри в оба — даже при нормально раскрытом парашюте спускаешься со скоростью пять-шесть метров в секунду. Будь внимателен, не перебирай ногами, как на велосипеде, а развернувшись на лямках так, чтобы ветер дул тебе в спину, старайся принять землю мягко и сразу же гаси купол, иначе будешь носом пахать. И имей в виду: старшина, хоть и прыгнул после тебя, сейчас уже внизу и смотрит за тобой, не пропустит ни одного твоего промаха. Брага всегда раскрывает парашют возле самой земли и потому приземляется раньше всех.

Но сегодня никаких прыжков — воскресенье. Первая рота спит спокойно. Старшина не потревожит покоя роты, можно беззаботно нежиться до семи часов утра! В воскресный день побудка на час позже обычного.

В общей сложности за неделю недосыпают ребята чуть не целую вечность. Вот и наверстывают упущенное. Впрочем, Брага смотрит на это дело совсем по-другому. Он говорит:

— Одну треть жизни человек проводит в постели. Нормально такое? Никуда не годна и пословица: «Сол-

дат спит — служба идет». Я так понимаю: солдат спит — и служба его дремлет, проснулся солдат, взял в руки оружие — вот тут служба и зашагала.

Командир первой роты старший лейтенант Поборцев, как и Брага, в армии служит давно, многое знает и умеет. Это один из самых опытных парашютистов бригады. Когда начинаются прыжки, Поборцев почти всегда прыгает первым.

«ТБ-3» набирает обычную «учебную» высоту — восемьсот метров, — делает несколько разворотов, и сотни устремленных в небо глаз замечают в открытой дверце самолета собранную фигуру человека. Он делает шаг в воздухе, но не падает: одна нога остается в машине, другая находит точку опоры на самом краю плоскости. Вот он отделился, завертелся в воздухе, выбросил вперед руки, борется со стихией, ловит глазами землю. Нашел. Теперь она уже никуда не уйдет! Теперь будет только лететь на него со скоростью восемьдесят метров в секунду.

Но Поборцев все равно не рванет кольца раньше времени. Белое облачко за его спиной вспыхнет точно, когда ему положено.

Так прыгал Поборцев и в самый первый раз, когда свежее пополнение только прибыло под его начало в Песковичи и новичков надо было подбодрить. Так прыгал он и потом. Порой кое-кому иногда казалось, что он чуть-чуть бравивирует своей удалью. Очень уж лихо все у него получалось.

Особенно поразил всех Поборцев, когда началась отработка прыжков с малых высот.

— Вот мы с вами прыгаем, прыгаем — и зимой, и летом, и над лесом, и над водой, и с затяжкой, и без затяжки, — все это хорошо. Но настоящего боевого прыжка еще не сделали.

Командир уже и раньше намекал на то, что главное и сложное впереди, но где оно, это самое главное и сложное, никто толком не представлял. И вот Поборцев решил наконец, что настало время серьезных испытаний.

— Слушайте внимательно, — сказал он однажды. — Десантник должен быть готов к выполнению стремительных, неожиданных операций. На врага надо коршунном кидаться, чтобы он и опомниться не успел. Ну сами посудите, что получится, если я вас над полем боя буду как люстры развешивать? Перещелкают по одному

еще в воздухе. Давайте про восемьсот метров теперь забудем, попробуем, что такое сто пятьдесят.

— Сто пятьдесят? — ахнул кто-то.

— Как говорят некоторые, сто пятьдесят и кружка пива. Одним словом, считайте, метров двести будет. Завтра первым испробую эту дозу.

Когда на следующий день в три часа утра десантники прибыли на аэродром, Поборцев был уже там и прохаживался по зеленой, покрытой росой траве.

— Настроение, вижу, бодрое, — сказал он, поглядев на заспанные лица бойцов, — а это главное. Значит, прыганем!

Все было как обычно: и Поборцев шутил, как всегда, и бойцам передавалось его спокойствие. Удивило одно — на командире был только один парашют.

— Товарищ старший лейтенант, а запасной?

Моторы «ТБ-3» в этот миг уже взревели. Поборцев вместо ответа махнул рукой.

Только тут все поняли, какое сложное дело предстоит командиру. Прыгать будет с предельно малой высоты, и если основной парашют не раскроется, для запасного просто не останется времени.

Самолет с Поборцевым на борту ушел в зону. Машина развернулась, низко прошла над местом выброски и тут же направилась на посадку. Столпившиеся внизу едва уловили момент прыжка. Шелковый купол вспыхнул уже возле самой земли, но сразу же за динамическим ударом последовал удар ног парашютиста о землю. Было такое ощущение, что парашют не успел как следует наполниться воздухом. Ребята кинулись через пашню, чтобы помочь Поборцеву. Увидев сбежавшихся бойцов, он замахал руками, а первые слова, которые произнес, поразили всех:

— Осечка!..

— Товарищ старший лейтенант, вы же замечательно прыгнули! — не очень уверенно воскликнул кто-то.

— А по-моему, дрянь самая настоящая, — выпутываясь из строп, проворчал Поборцев.

Все стояли вокруг командира и молчали. Не могли и в толк взять, шутил он или говорил серьезно. Но Поборцев не шутил. Бойцы впервые видели его таким строгим. На худом, жестком, совсем еще молодом лице его, как всегда, была видна только единственная морщина — она проходила от одного виска к другому, че-

рез весь белый лоб, но никогда не казалась такой резкой и глубокой, как сегодня.

— Таких прыжков у нас быть не должно. Не имеем права без необходимости рисковать жизнью.

Поборцев посмотрел вокруг уже совсем спокойно и сказал как о само собой разумеющемся:

— Придется повторить.

Он тут же, на поле, уложил свой парашют и снова зашагал к самолету.

Если первый прыжок показался командиру отработанным не во всех деталях, то второй едва не кончился трагически. Поборцев захотел, видимо, раскрыть парашют на какую-то долю секунды раньше, но не рассчитал — купол бросило на хвостовое оперение, зацепило, и десантник «завис».

На борту самолета уже поняли, что произошло, и мучительно искали выхода. Но что можно было предпринять? Случись такое во время обычного прыжка, можно было бы действовать по совершенно ясному плану. Самолету следовало подняться повыше, а парашютисту достать из кармана всегда имеющийся у него в запасе кривой нож, отрезать лямки и раскрыть запасной парашют. Можно было бы с помощью эволюций самолета в воздухе попытаться сбросить стропы с хвоста. Но ни одна из известных мер сегодня не могла быть использована. Надо было найти другой выход.

Как стало известно потом, с земли на борт передали: «Выйти к реке и идти вдоль нее. Высоту сбавить до минимальной». Сделано это было для того, чтобы в случае, если стропы соскочат сами, человек упал бы все-таки в воду, а не на землю.

Поборцев разгадал маневр: оказавшись над волнами Лебяжки, он отрезал стропы...

К месту его падения мгновенно устремились санитарные машины, грузовики...

Каково же было изумление десятков людей, когда навстречу им из воды, покачиваясь, вышел Поборцев — бледный, но, как всегда, невозмутимый.

— Товарищ командир! Живы?!

— Жив, кажется.

Только после этих слов он грузно опустился на землю.

Всю ночь не могли уснуть бойцы под впечатлением случившегося. Даже Брага долго вертелся на своей койке.

— Думал я, хлопцы, не побачимо мы бильше командира. «Дывлюсь я на небо тай думку гадаю...»

— Какую, товарищ старшина? — спросил кто-то.

— Откуда в человеке силы берутся? Вот я с ним сколько лет уже, а понять того не могу. Он же ж, хлопцы, израненный скрозь. Под Халхин-Голом мотался, финскую прошел, с польскими панами дело имел, в небе Прибалтики его тоже видели! А як на крыло самолета ступит — крепче его будто нет во всем свете! Такой один целой бригады стоит!

Бойцы молчали.

Через несколько минут тишину казармы снова нарушил неторопкий украинский говорок Браги:

— Слободкин, спышь?

— Сплю, товарищ старшина.

— Зовсим?

— Уже и сон начинаю видеть.

Все знали, в каких отношениях были Сергей Слободкин и Брага. Молодой, недавно пришедший в роту боец никак не мог привыкнуть к трудной десантной жизни. С парашютом прыгать боялся, его уже два раза «привозили» обратно. Старшину беспокоило это не на шутку.

Вся рота как рота, после команды штурмана ребята дружно высыпаются из люков «ТБ-3», только один Слободкин в страхе забьется в самый дальний угол самолета и сидит там, пока не почувствует, что колеса снова тарахтят по земле. Тогда выползает на свет божий и говорит:

— Не могу.

— Страшно? — спрашивает летчик.

— Не могу — и все.

— Значит, страшно. Честно скажи, что кишка тонка.

Старшина и так пробовал и этак. И на комсомольское собрание вытаскивал Слободу, и подшучивал над ним на каждом шагу — ничего не помогало. Поэтому все очень удивились, услышав, что на шутку Браги Слободкин ответил шуткой. А старшина даже обрадовался:

— Ну, раз шуткуешь, стало быть, ты еще человек! Сон, значит, начинаешь видеть?

— Сон, товарищ старшина.

Брага, обхватив колени руками, присел на койке.

— О чем же?

— Все по уставу, товарищ старшина, о службе,

о ночных тревогах, о маршах, ну и о прыжках, конечно. Будто прыганул-таки!

— Правильный сон! Так держать, Слобода! Хоть во сне стрыбані, порушь свой испуг, Христа за-ради.

Старшина удовлетворенно вздохнул, повернулся на другой бок:

— А теперь дайте тишину, хлопцы, скоро ранок уже.

Брага зарылся в одеяло и почти сразу заснул. За ним заснули и все другие. Только Слободкин ворочался до самой команды дневального: «Подъем!», так, наверно, и не увидев в ту ночь своего «уставного» сна.

После этого ночного разговора отношения между старшиной и Сергеем начали меняться. Брага, очевидно, решил предоставить событиям развиваться так, как сами пойдут: довольно, мол, давить на Слободкина — не маленький, сам поймет. Слободкин, почувствовав это, повеселел.

— Это Брага жизни ему поддал! — смеялись ребята.

Сергей молчал, но в душе его что-то зрело и зрело — все это видели. Однажды после вечерней поверки, накануне очередных прыжков, он сказал ребятам:

— Если я завтра опять... сбросьте меня, как сукиного сына, не жалейте.

— Смеешься? — спросили ребята Слободкина.

— Упираться буду — все равно швыряйте.

Перед прыжками вообще плоховато спится, а тут еще Слобода со своими штучками-дрючками. Проворочались парашютисты в ту ночь, не заметили, как подъем подошел. Трех еще не вызвонило, как дневальный горлышко прополоскал.

Встали нехотя, зябко поеживаясь, ну а у Слободкина вообще вид был такой, будто он и не ложился.

До аэродрома ехали молча. Только перед самой посадкой в самолет кто-то спросил горемыку:

— Не передумал?

— Нет, — пробовал ответить он как можно тверже, но в голосе его все-таки сорвалась какая-то струнка.

Все решили: будь что будет, а толкнуть его толканем. Пусть наконец испробует.

Сговор молчаливый получился, без лишних слов. Тем крепче и надежнее он был. Слободкин почувствовал это.

Ребятам смягчиться бы, отменить свой приговор, но где там! Будто бес в них какой вселился: сбросим — и все!

Поднялись. Летят. В полумраке искоса на Слободкина поглядывают.

Когда штурман подал команду: «Приготовиться!», подобрались поближе к люку и стали смотреть на бежавшие внизу поля. Слободкин, обхватив обеими руками одну из дюралевых стоек, тоже смотрел вниз, но не на землю, а себе под ноги.

Все поняли: не прыгнет.

Вот уже команда: «Пошел!» Парашютисты один за другим исчезают в ревущем квадрате люка. Вот из двадцати в самолете осталось десять, семь, пять...

Ребята пытаются увлечь за собой Слободкина. Тщетно.

Только вечером узнали, почему двум десяткам здоровяков не удалось сдвинуть с места одного человека: с перепугу он пристегнулся карабином к дюралевой стойке.

Об этом рассказал сам Сергей.

— Злитесь? — спросил он в наступившей после отбоя тишине.

— А-а... — многозначительно вздохнул кто-то.

— Значит, злитесь. А зря. Не от страха я на карабин заперся.

— Тогда, значит, от ужаса.

— Ну вот, я же говорю, злитесь, а когда человек зол, он не просто зол, он еще и несправедлив.

— Ты нам еще мораль читать будешь?

— Мораль не мораль, а объяснить должен.

— Ты зарапортовался совсем. То «прыгану», то «швыряйте меня», а то уперся — и ни с места. Да это же срам на всю бригаду! Чепе! Завтра в округ, а то, глядишь, и в Москву доложат.

— Я кому угодно скажу: не от страха. Честно. Просто обидно стало: все люди как люди, а мне, как последнему трусу, коленом под зад...

— Эти штучки, Слободкин, мы уже знаем! — рявкнул Кузя, самый справедливый человек на свете, в том числе и в первой роте. — Ты же просил скинуть?

— Просил.

— Ну?

— Ну а потом передумал, сам решил прыгать, без всяких толкачей. Принципиально.

— Ну и прыгал бы себе на здоровье.

— Пока все прыгнули, пока я отцепился...

— «Пока», «пока»... — передразнил Сергея Кузя. — Вот я сам за тобой прослежу.

Ничего вроде бы особенного не было в Кузе, никаких не значилось за ним подвигов, как, например, за Поборцевым, прошедшим большую солдатскую школу, но Кузя в сознании ребят стоял с командиром рядом из-за своего прямого, твердого характера.

Когда Кузя сказал Слободкину: «Я сам за тобой прослежу», тот понял — теперь пощады не жди.

В тот день, когда были объявлены новые прыжки и пришла пора Слободкину взбираться в самолет, бедняга и не пытался скрыть охватившего его волнения. Хотел махнуть кому-то рукой на прощание, но у него получился такой беспомощный жест, что у каждого сжалось сердце.

Вечером бойцы собрались в ленинской комнате для разбора учений.

В самом начале своего выступления старший лейтенант Поборцев сказал, что прыгнули все отлично, в том числе и Слободкин, за которого волновалась вся рота.

Слободкин молчал. Только молчал уже не так, как там, в самолете — совсем по-иному. Вид у него был такой, будто он ничего особенного сегодня не совершил — всего лишь первый шаг к тому, чтобы стать таким же, как его товарищи, как Брага, Кузя, как десятки и сотни других.

— Теперь Слобода со всей ротой в ногу шагает! — сказал перед отбоем в курилке Кузя и вкусно, смачно затянулся махоркой.

Глава 2

Первая рота спала крепко, видела сладкие сны. Как же еще спать, когда намаялись до чертиков? Какие же еще видеть сны, если тебе двадцать, а кое-кому и неполных?

Самый сладкий сон снился, конечно, Слободкину. Он тогда пошутил, что видел сон «по уставу», а сегодня именно такой ему и пригрезился. Будто подошел к бомбовому люку, оттолкнул локтями всех своих «опекунов», посмотрел, не стоит ли кто за спиной, и, убе-

дившись в том, что ни одно колено в него не нацелено, ринулся в разверстую пасть дюраля — перепуганный насмерть и торжествующий...

Когда он проснулся, у него было такое ощущение, что сон продолжается — вся рота только и говорила о прыжке Слободкина. Как отстранил всех от себя, как оглянулся, как бросился в люк...

Рота тем воскресным утром проснулась задолго до семи, без всякой команды дневального. И все Слободкин был виноват, его вчерашний прыжок.

Слобода, счастливый, лежал на койке и принимал поздравления.

— Ты, чертяка, весь мир потряс! Весь мир и старшину нашего Брагу Ивана Федоровича, — подвел итог поздравлениям Кузя. — Надо бы выпить по этому случаю, да вот беда — нет ни у кого горилки, — подлаживаясь под украинский говорок Браги, продолжал Кузя. — Ну, так и быть, получай пол-литра из моего энзе.

Под дружеский хохот всей роты Кузя достал из тумбочки флакон тройного одеколона, вылил содержимое в алюминиевую кружку, разбавил водой из бачка и с торжествующим видом, шлепая босыми ногами, подошел к Сергею.

— Пей, Слобода, мировой коньяк «десантино». Пей, но не напивайся, один глоток, остальное — по кругу.

Слободкин отхлебнул, закашлялся, передал кружку соседу по койке.

— Экономь, братцы, горючее! — покрикивал Кузя.

Шутки шутками, а немало глотков оказалось в той кружке. Добралась она и до дневального, когда тот уже приготовился крикнуть: «Подъем!»

— Символически, — успокаивал дневального Кузя, — сами понимаем: на посту нельзя.

Дневальный увертывался от ребят, хотя по всему было видно — и ему страсть как охота разделить всеобщее торжество.

Когда уже вся рота, дурачась, пела «Шумел камыш...», в казарму вошел Поборцев. Но он не рассердился. Подсел на край койки Слободкина и сказал:

— Поздравляю. Примите и мой подарок: через две недели увольняйтесь в город на целые сутки. Довольны?

— Спасибо, — совсем не по уставу ответил Слободкин.

Давно у Сергея не было такого праздника, как сегодня. Весь день он писал письма и балагурил с приятелями. Напишет письмецо — и к друзьям в курилку. Покурит, почистит и без того до блеска надраенные сапоги, поговорит о том о сем — и снова к столу.

— Ты как Наполеон у нас, — смеялись ребята, — тот, говорят, по сто писем в день строчил.

Слободкина этим удивить было трудно, он и в обычные-то дни писал в каждую свободную минуту, а сегодня у него был особый резон переплюнуть любого Наполеона. Да и адресов много: матери в Москву, другу на Дальний Восток, другому другу в Ленинград, а главное — той, кому посвящены все его мысли и дела, имени которой не знал никто в роте. На конвертах он старательно выводил: «И. С. Скачко». Но писарь, через которого шла вся корреспонденция роты, уже догадался, что «И» это вовсе не «Иван» и не «Илья».

Слободкин сидел в красном уголке первой роты и писал: «Добрый день, Иночка! Я был трусом. Слышишь? Самым настоящим. И мне не стыдно сегодня в этом признаться. А вчера я все-таки прыгнул. Сам, без всяких толкачей. Командир доволен. Через две недели дает увольнительную на целые сутки! Представляешь? Я так рад, что не могу сообразить сейчас, много ли времени до нашей встречи. Сколько часов? Сколько тысяч минут? Скорей бы, скорей летели дни, часы, минуты! А потом — целые сутки вместе! Ты знаешь, Инка, я сейчас такой храбрый, что, кажется, расцеловал бы тебя при всем честном народе. Чур, это между нами: командир узнает — отберет увольнительную...»

Слободкин перечитывал письмо, разрывал на мелкие клочки, принимался за следующее. Оно опять начиналось словами: «Добрый день, Иночка». Только о прыжках в нем уже ни слова. Нельзя же, в самом деле, рассекречивать часть, сто раз об этом говорено. Ну, а раз нельзя о прыжках, так и о трусости и о храбрости ни к чему. Слободкин писал: «Я жив, здоров, чего и тебе желаю». А потом уничтожал и это письмо. Принимался за новое: «Милая, милая Иночка! Мне дают увольнительную, я приеду в Пинск и опять скажу все те слова, которые тебе так понравились: дорогая, хорошая моя, я люблю тебя».

Ни одного письма Слободкин в это воскресенье так и не отправил. Просто он стал действительно считать дни и часы. Считал и потом — на марше, на стрельбах

и, да простит его замполит Коровушкин, на политзанятиях...

Потянулись самые длинные дни и часы Слободкина. Если бы не служба, не железная необходимость выполнять свой солдатский долг, эти дни и часы, наверное, вообще никогда б не кончились.

Но служба есть служба, она из земли подымает солдат и кидает в бой, а с живыми и подавно не церемонится. Началась новая неделя, а с нею новые тревоги, новые учения.

Уже в понедельник, во время очередных занятий по укладке парашютов, по роте прошел слух — завтра прыжки.

Спокойно встретил эту весть Слободкин: ни один человек в роте больше не смотрел на него сочувственно, ни один! Он и сам теперь мог бы кого-нибудь пожалеть, только вот кого? Новеньких не было, и ожидалось не раньше осени. Правда, осень уже не за горами. Это особенно чувствовалось во время полета — с высоты хлеба выглядели совершенно желтыми, спелыми, почти совсем готовыми к жатве.

Бомбардировщики с десантом на борту шли над полями. Гудели моторы, гудела земля под широко распростертыми крыльями.

Парашютисты поглядывали на землю — она казалась им как никогда могучей и необъятной — так беспределен был ее размах, так вольно колосилась она на сотни километров окрест. Такой хотелось навсегда запомнить ее ребятам, которым не раз приходилось принимать ее на свои бока, пересчитывать ее колдобины ребрами.

«Приготовиться! Сейчас начнем!» — поднял флажок штурман. Ребята еще тесней сгруппировались возле люка. А земля все бежит и бежит, сливаясь в эти последние перед прыжком секунды в сплошную желтую массу. И не так далеко, по ту сторону границы, пылят и пылят дороги. А над ними «только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог». От солдатских сапог, от танков, от орудий на конной и мототяге — с высоты это хоть и в дымке, но видно в хорошую погоду. Только вот непонятно: зачем, откуда и, главное, куда все это движется, спешит, обгоняя друг друга? Ведь с немцами у нас договор. Совсем недавно подписан. Какого же

лешего? Завтра на занятиях надо спросить замполита Коровушкина, а сейчас — пошел!

Штурман подал новый сигнал, и один за другим срываются вниз ребята. Тут только и гляди, чтоб не расшибить лоб в тесном проеме люка, малоприспособленном для прыжков. А зазевался, не рассчитал движений — обливайся кровавыми слезами до самой земли. Так бывало уже. Но десантники не горюют, не сетуют. Коли надо, так надо. Прыгай с самолетов, какие есть, бог увидит — хорошие пошлет. Это по секрету от Коровушкина. Он считает, что лучше наших самолетов не было и нет. С ним никто и не спорит. Все в бригаде даже гордятся техникой. И сами ее совершенствуют.

Главный рационализатор — полковник Казанский. Последнее его изобретение — «троллейбус». Непонятно? Только на первый взгляд, а на самом деле — гениально. Прыгать в узкий бомбовый люк не только трудно — неудобно во всех отношениях: происходит большое рассеивание парашютистов в воздухе. Двадцать человек растянутся на два километра. В боевой обстановке попробуй-ка соберись для мгновенных согласованных действий. Вот полковник и придумал этот самый «троллейбус». От фюзеляжа к концам плоскостей натягивается стальной трос. По команде штурмана на плоскости выходят парашютисты — десять на одну и десять на другую. Первый идет до самого конца, за ним остальные. Вот все двадцать, вцепившись в трос, пригнувшись, чтоб не сорвало раньше времени мощным воздушным потоком, стоят — приготовились, ждут. Вторая команда штурмана. Все разом разжали пальцы, и — двадцать парашютистов в воздухе. Одновременно прыгнули, одновременно приземлились! Кучно, компактно, можно сразу же приступить к выполнению поставленной задачи, поддерживать, выручать друг друга. «Троллейбус» Казанского — так и запомнили в бригаде на всю жизнь это чудо находчивости, изобретательности, солдатской предприимчивости.

Десантники на аэродроме. Здесь же и Казанский. Вид у него загадочный, не иначе задумал что-то новое, невиданное. Может, «троллейбус» усовершенствовал и сам решил прыгнуть вместе со всеми, для тренировки? Он обожал прыжки, давно уже под его значком мастера висел на тонком колечке серебряный ромбик с трехзначным числом. Но полковник все прыгал —

на страх врагам рабочего класса, как он любил выражаться, ну и, конечно, на зависть молодым. Это уж они сами так сформулировали, для себя. Казанский об этом не знал, но не чувствовать на себе восхищенных взглядов ребят не мог и защищался от них, как умел.

— Страшно? — спросит.

Те только рты откроют, чтобы ответить, а он:

— Ну конечно же страшно! Человеческий организм сопротивляется прыжкам. А что поделаешь? Надо!

Так он это скажет, что страх сам собой пропадает даже у тех, кто действительно из робкого десятка.

Сергей был уверен, что с обычным своим вопросом Казанский обратится сегодня к нему. Но полковник ничего не сказал, только посмотрел на Слободкина многозначительно. Тот смущенно поправил какие-то складочки на обмундировании и вдруг тихо, но совершенно отчетливо сказал, уставившись под облака:

— Что поделаешь! Надо...

— Вот теперь я вижу, что вы солдат! Поздравляю, Слободкин, от всего сердца. А сегодня у нас «троллейбус», не сробеете?

— Нет.

— Хотя и страшновато?

— Хотя и страшновато, — в тон ему ответил Сергей.

Прыжки прошли хорошо. Они всегда особенно хорошо проходили, когда Казанский прыгал вместе со всеми.

Целыми взводами приземлялись на один «пятачок». Полковник был доволен и не скрывал этого.

— Война начнется — цены вам не будет, — сказал и Коровушкин на политзанятиях вечером.

— Война? Как — начнется? — забросали его солдаты вопросами.

— Оружие «потенциального противника» на занятиях изучаем? И язык его? — спросил Коровушкин.

— Изучаем. Ну и что? С немцами у нас договор. Недавно подписан.

— Договор будем соблюдать, — твердо сказал Коровушкин. — Обязательно будем. А если они его нарушат, первый ответ перед нами будут держать, перед воздушной пехотой.

Он сказал это так, будто людей важнее парашютистов нет во всей державе. Да и все они так считали. А как же еще?

Стоят ребята опять на крыле бомбардировщика, смотрят на землю, проплывающую внизу, сердце каждого вздрагивает от пронзившей его мысли: «Твоя это земля, твоя! Ты за нее в ответе». Правая рука на кольце. Левая крепко сжимает стальной трос, идущий от фюзеляжа к концу плоскости. Только одна секунда нужна тебе, чтобы кинуться на врага. Одна секунда. Все готово, нужна только команда, только взмах флажка штурмана, и пошел!.. А ну-ка, суньтесь, кому охота!

Во время последней отработки «троллейбуса» особенно отличился, конечно, Кузя. Полковник поблагодарил его. На вечернем построении было объявлено, что Кузе за особые успехи в боевой и политической подготовке предоставляется отпуск. И какой? На целых пять дней! Послезавтра он поедет домой, в Москву, где у многих родные, близкие.

Вся рота стала готовить Кузю в эту поездку. Ребята строчили письма, забрасывали Кузю десятками адресов, и отпуск его грозил превратиться в сущее наказание. Но Кузя не унывал, он готов был собрать поручения со всей бригады, со всего соседнего авиационного полка и самым добросовестным образом выполнить их, лишь бы побывать в Москве. Служба службой, а тоска по дому точит сердце каждого солдата, даже такого, как Кузя, которого на любом занятии всем в пример ставят.

Особенно одолевал Кузю Сергей:

— К маме, прошу, забеги. Расскажи ей, как нам тут служится. В письмах всего не объяснишь.

Один вопрос Слободкина удивил Кузю:

— Ты в Москву через Пинск?

— Как же еще? Другого пути пока нет.

Слободкин с таинственным видом протянул другу похрустывающий треугольник.

— Брось на вокзале.

Кузя повертел конверт перед глазами и сказал:

— К маме в Москве зайду. Письмо в Пинске опускаю. Только открой секрет: кому ты все строчишь?

— Кому, кому! Тебе что, трудно?

— Нет, почему же? Но ты все-таки скажи. Влюблен? Да?

— Не надо, сам отправлю, раз так...

— Ну ладно, ладно. Знаю, кореш у тебя в Пинске, и ты ему каждый день пишешь. Верно? Кореш?

— Кореш.

— Скачко И. С.?

— И. С.

— Иван, что ли?

Слободкин неожиданно для самого себя тихо ответил:

— Инесса.

— Имя какое-то редкое.

— Обыкновенное. Инесса, Ина,— почему-то обиделся Слободкин.— Только ты молчал бы, раз догадался.

Кузя, как мог, успокоил Сергея:

— Видишь ли, догадался не я один, догадалась целая рота, и давно уже, но молчать я умею. И рота умеет молчать.

Слободкин не ответил. Вид у него был совершенно обескураженный.

— Ну, хорошо, хорошо,— сжалился Кузя,— нет у тебя никого в Пинске, кроме кореша. Так и запишем: нет никакой Ины.

— Тише ты! — взмолился Слободкин.— Ну есть, есть. И что из того? Кому интересно? Только мне да ей.

— Ишь ты какой! Все ребята свои письма из дома вслух читают?

— Читают.

— Ты слушаешь?

— Слушаю.

— А в свои дела пускать никого не желаешь? Здорово, значит, тебя забрало, если ни с кем не делишься. Точно я говорю?

— Точно.

— Ну, тогда прощается,— похлопал по плечу Сергея Кузя.— Красивая?

— По-моему, очень.

— Фото! — протянул ладонь Кузя.

— Да я... Да у меня...

— Фото, говорят тебе.

Слободкин долго рылся в карманах гимнастерки, будто и в самом деле не помнил, есть ли у него фотография. Наконец извлек крохотную, с почтовую марку, карточку.

— Иван Скачко?

— Ага.

— Ничего. Очень даже ничего. Одобряю.

...В эту ночь Слободкин рассказал Кузе историю своей любви. Их койки стояли рядом, у самого окна, и, когда все в роте заснуло, Сергей зашептал над самым ухом товарища:

— Познакомились мы случайно в Пинске. Помнишь, когда под Новый год к шефам ездили?

— Я не ездил.

— Ты-то в наряде был, а вот мне повезло.

— Так уж сразу и повезло?

— Ты слушай, она такая хорошая... Я думаю теперь о ней все время. Где бы ни был — на занятиях, на стрельбах, в самолете, — из головы не выходит. Ночью вижу ее.

— Кто ж такая?

— В школе учится.

Кузя тихонечко свистнул.

— Но ты не подумай, не девчонка какая-нибудь. Умница, и ямочка на щеке.

— Ямочка?

— Когда улыбнется, уползает вот сюда, — Слободкин показал, куда именно уползает ямочка.

— Криворотая, что ли?

— Дурак ты, Кузя. От счастья это, понимаешь?

— От счастья?

— Ну да, от счастья. Неужели непонятно? Вот ты с парашютом лучше всех прыгаешь, но в жизни совсем не разбираешься.

— А ты откуда знаешь, что от счастья?

— Она сама пишет: «Твоя счастливая И.». В каждом письме. Хочешь, покажу?

— Чужие письма читать не полагается. Я человек интеллигентный.

— Интеллигентный? А когда ребята свои письма вслух читают, слушаешь?

— Когда читают, слушаю, но сам носа не сую.

На рассвете Сергей зашелестел перед приятелем десятками писем. Каждое действительно кончалось словами: «Твоя счастливая И.».

— Значит, по-настоящему? — спросил Кузя.

— По-настоящему. Только чтобы рота ни в каком случае...

— Вот затвердил: рота, рота... Рота, она не каменная, все поймет, если надо.

— Я тебя умоляю.

— Не умоляй, я тайну хранить умею. Но рота, повторяю, кое о чем догадалась.

— Ты шутишь?

— Почему шучу? Ни людям, ни тем более ротам с любовью шутить не полагается.

Они рассмеялись — тихо-тихо, как смеются только очень счастливые люди. Даже дневальный ничего не услышал.

Провожали Кузю всей ротой, всем наличным составом. Наверное, ни один дипкурьер в мире не возил с собой чемодана, так туго набитого письмами.

Вернулся Кузя ровно через пять дней, но успел справиться со всеми поручениями. Были, конечно, своевременно отправлены и письма, предназначенные И. С. Скачко. Именно письма, а не письмо, ибо Слободкин в последнюю минуту вручил Кузе целую пачку посланий, помеченных одним и тем же всей роте запомнившимся адресом.

Сперва на вопросы ребят Кузя отвечал коротко и лишь вечером в курилке немного разговорился.

— Москва как Москва. Всё на месте. Только одна вещь меня покорила.

— Какая?

— Немцы.

— Что немцы?

— Прохожу по улице Горького, от площади Пушкина к Моссовету. Представляете?

— Ну-ну?

— Поравнялся с Леонтьевским переулком. Он оттуда весь, до самого конца, просматривается. В глубине немецкое посольство стоит. На посольстве — флаг. Огромный. Со свастикой от края до края. Я как увидел, аж дрожь по всему телу. Фашистский флаг в самом центре Москвы.

— Да-а-а... — задумчиво протянул Слободкин. — Но в то же время что поделаешь — договор. Взаимное ненападение.

— Я политграмоту знаю, — оборвал его Кузя. — Договор. Ненападение. Насчет договора дело ясное. Заключен, подписан, ратифицирован. Но фашист есть фашист. И дороги пылят не случайно. Согласны?

— Согласны.

— То-то и оно. Но надо было еще видеть, как он висит, этот флаг, — продолжал Кузя.

— Как же?

— Трудно придумать что-нибудь более наглое. Древко торчит из стены горизонтально, — Кузя вытянул перед собой руку. — С него почти до самого тротуара —

огромное полотнище. Всякий, кто проходит мимо по-
сольства, должен низко наклонить голову.

— Ну, это ты уж перехватил! — воскликнул кто-то.

— Да нет же, ребята! Я спектакль этот разгадал
сразу. Все у них тонко и точно рассчитано, как в театре.

— А наши?

— Ни один милиционер пальцем не шевельнет.

— Милиция тут ни при чем.

— Одним словом, не по себе мне стало от этого.

— Меры принял? — полушутя-полусерьезно спро-
сил Слободкин.

— Принял.

— Какие?

— Плюнул, выругался.

— Ну вот и молодец!

— Но ведь зло берет: только всего и мог, что плю-
нуть.

— Но ведь и выругался?

— Это уж будьте спокойны!

Разговор был окончен, но долго еще не расходились
ребята из курилки. Молча тянули одну папиросу за
другой. Каждый думал о своем. Кто о доме, кто о род-
ных, кто о рассказе Кузи про свастику. Но все в ко-
нечном счете думали одну общую невеселую думу.
О войне, нависавшей над страной с неумолимой не-
избежностью. Военная игра, в которую солдаты играли
каждый день, каждый час, все больше поворачивалась
к ним гранью настоящей войны.

На полигоне испытывали новые, пятидесятимилли-
метровые ротные минометы, принятые в это время на
вооружение и в немецкой армии. Парашютисты осваи-
вали незнакомое оружие. Делалось это в таком спешном
порядке, будто война должна начаться не далее как
завтра, в крайнем случае — послезавтра.

Стреляли учебными деревянными минами. Дер-
вяшки иногда застревали в стволе, и приходилось их
доставать с большими трудностями и предосторожно-
стями. Иногда и без предосторожностей.

Одна из мин застряла как-то в миномете, который
пристреливал сержант Шахворостов, человек нетерпе-
ливый и резкий. Нарушая всякие правила безопасно-
сти, он заглянул в ствол миномета. Мина, изменив
положение в стволе, проскочила вниз, на боек. Прогре-

мел выстрел. Через мгновение Шахворостов, широко разбросив руки, лежал на земле. Даже кровь не успела хлынуть, только несколько капель ее упало на зеленый ворот гимнастерки.

Разве могли в то утро предположить десантники, какие реки крови скоро разольются по земле? Не догадывались даже, но вид и цвет этих нескольких капель вселили еще большую тревогу в их сердца. Смерть уже охотилась за ними. На каждом шагу.

Этой осенью Шахворостов должен был демобилизоваться и ехать на Дальний Восток, к своей невесте, которая ждала его. Уже был куплен вскладчину, втайне от Шахворостова, синий бостоновый костюм — «приданое» (Кузя купил, когда ездил в Москву). Уже готовили ребята и другие подарки, сочиняли поздравительные стихи, фотографировали Шахворостова, надев на него синюю командирскую пилотку, чтобы еще более бравым выглядел сержант перед невестой.

Хоронили Шахворостова на кладбище, расположенном неподалеку от казарм.

На песчаный холмик рядом с цветами была положена синяя пилотка, поблескивавшая на солнце эмалевой звездочкой.

Над кладбищем прошли бомбардировщики. Они летели низко и тихо, бросая на землю косые ширококрылые тени.

А дороги за кордоном все пылили и пылили. Гудели моторы, громыхали колеса, звенели подковы.

Все более напряженным становился и без того изнурительный темп учений наших десантников. Тревога! Тревога! Тревога! И марш-бросок после каждой. Если такое совпадает с днем сухого пайка — собирай все свои силушки. Рыжая селедка, кремень сухаря, да кружка жидкого чая. Вот и весь дневной рацион. Стискивай зубы, подтягивай ремешок. Ну и песню, конечно, давай. Вынь да положь песню.

И как это все-таки мудро многое на свете устроено! Все уже выпотрошены. До конца. Старшина требует от бойцов невозможного. Откуда же взять эти силы, чтобы песня слетела с пересохших селедочных губ? Чтобы натруженные плечи распрямились, чтобы ноги обрели устойчивость? Запевают нехотя, со злостью даже. Вернее, не запевают, а вторят старшине — еле слышно. Проще говоря, чуть шевелят языком, чтобы не придрался старшина, не разгневался, не остановил строя.

Но вот происходит чудо. Шаг за шагом, вздох за вздохом. Все громче и стройней голоса, все увереннее ритм и такт. Про Катюшу. Про трех танкистов. Про махорочку...

Вырвалась, выстрадалась песня! Теперь уже не сникнет, пока не доведет до привала. И только тут оставит солдата, и то ненадолго. Привалы короткие, ой как короткие привалы! Только лег, расстегнул ворот, утонул в колеблемой стрекозами траве, не успел поделиться табаком с соседом, а старшина уже на ногах. Глаза бы в ту минуту на него не смотрели! Но не отведешь ведь глаз от старшины. Вот и смотришь на него! И от усталости даже не слышишь его голоса, по движению губ догадываешься:

— Подъем!..

Если встанешь точно в том месте, где лежал, если каждый встанет точно там, где свалила его усталость, — будет уже готовый строй. По четыре в шеренге. Чуть подровнял, подправил кое-где — и двигай дальше. Запевай любимую. Любую запевай, только запевай, запевай, запевай поскорее, чтобы совладать с предательской усталостью.

— Подъем!..

И все в строю. Строй двинулся, зашагал, запел. Его теперь не остановишь. Даже если песня кончится. Одну песню сменит другая, другую — третья...

Глава 3

Сегодня опять, как всегда в воскресный день, никаких прыжков и учений. Первой роте снова снятся сладкие сны.

Слободкин блаженно улыбается сквозь сон. Ему и сам бог велел. В прошлую субботу он побывал в Пинске, повидался с Иной и всю неделю после этого поглядывал на всех счастливо и смущенно. Тайна «И. С. Скачко» окончательно разгадана в первой роте. Слободкин не стесняясь начинает писать на конвертах: «Ине». У ротного почтаря буквально рябит в глазах от посланий с бесконечно повторяющимся адресом.

— Ине? Опять? — при всех громко спрашивает он Слободкина.

— Ине. Опять, — отвечает Сергей. Громко. При всех.

-- Ну давай, давай.

Браге снится отпуск, наверно. Старослужащий. Давно дома не был. А тянет, ох как тянет к родному порогу, на Харьковщину, к Зеленому Гаю. Привык к роте, сроднился с бойцами, со службой, но иногда заскучает, застонет сердце, ничем не уймешь. Вот и грезится Браге, будто дома он. Идет от вербы к вербе, от хаты к хате, старикам кланяется, девчатам подмигивает, но не всем, с выбором, а сам выискивает глазом ту чернявую, которая еще помнит, не может не помнить его. Сейчас найдет, окликнет... Узнает ли? Первый раз Брага Зеленым Гаем в военной форме идет. И значка парашютного на нем никто не видел еще. Вот все и спрашивают: «Кто такой? Откуда взялся хлопец?» А под значком -- подвеска блестящим ромбиком, на подвеске ротный умелец выбил цифру 40. Кто из зеленогаевцев знает, что это такое? Никто, наверное, и не догадывается, что Брага сорок раз кидался в бомбовый люк самолета, сорок раз испытывал на себе тяжесть динамического удара, а он даже без полной боевой выкладки пятьсот килограммов весит, ну а со снаряжением и того больше, как тряханет — только держись, не растеряй своих косточек. Потому-то так гордо позвякивает подвесочка под значком.

Сейчас заметит Брагу чернявая, выглянет вон из того оконца. Старшина замедляет шаг, поправляет пилотку, раздергивает складочки гимнастерки под ремнем...

Что снится Кузе? Он ведь совсем недавно из отпуска. Но и Кузя тоже скорей всего видит свой дом в Москве, на Серебрянической набережной. Видит старую мать, с которой так мало побыл из пяти коротких отпускных дней. Все бегал по городу, выполняя поручения ребят...

И вдруг все эти сны спутал, скомкал один бессердечный, ничего, кроме службы, знать не желающий человек.

— В ружье! — прогорланил дневальный Хлобыстнев.

Но первый раз за все время службы ни один солдат не поднялся по этой команде. Только едкие, злые шуточки полетели изо всех углов казармы:

-- Ты что, ошалел? Загляни в календарь, прежде чем глотку драть!

— Дневального на мыло!..

— В ру-жье! — еще раз настойчиво рывкнул Хлобыстнев.

Рота лежала. Больше никто не ругался, не ворчал. Ребята просто перевернулись с боку на бок и, возмущенные глупой выходкой, пытались заснуть.

В это мгновение отворилась скрипучая дверь, рядом с дневальным встал командир роты. Они пошептались, поглядели вокруг, и новое «в ружье!» сотрясло воздух казармы.

Сто двадцать одеял взлетели вверх одновременно, сто двадцать человек метнулись к тумбочкам, к сапогам, выстроившимся в проходах между койками. А потом — к пирамидам, к оружию.

Дневальный почему-то уже не мог остановиться. Рота уже выбегала строиться, а он все кричал и кричал свое осипшее, уже нелепое, уже никому не нужное «в ружье!».

Он так и остался стоять у тумбочки. Один в пустой казарме, среди воцарившейся тут тишины. Впрочем, тишина была недолгой. Где-то завывала сирена. Раскрытыми парашютами влетели в глубину казармы белые оконные занавески. Сирена выла и выла с короткими паузами, от этого звук ее множился, казался хором десятков сирен, пытавшихся перекричать друг друга, перекрыть рокот самолетов, шум выстрелов. Да, да, это были выстрелы, дневальный все явственнее улавливал их сквозь гул, нараставший с каждой минутой. Но и этот шум скоро был задавлен новыми. Уже ухали тяжелые взрывы. Все ближе, ближе, где-то совсем рядом.

Не зная, что делать, Хлобыстнев кинулся закрывать окна. В эту минуту одно из них хлопнуло с такой силой, что обломки стекла ударились о противоположную стену. В общем грохоте это произошло совсем беззвучно, и дневальный удивился тому, как тихо могут биться двухметровые стекла. Он даже подумал, не показалось ли ему это, но кровь уже заливала его иссеченное осколками лицо.

— Скорей, скорей! — услышал он у самого уха голос Браги. Они были уже за порогом казармы, когда стены ее, сверху донизу раскроенные силой фугасного взрыва, рухнули.

Небо стало полосатым от трассирующих пуль. Самолеты с крестами шли на небольшой высоте. Это Хлобыстнев разглядел, пока Брага делал ему перевязку.

— Что это, товарищ старшина?..

Слова его потонули в грохоте новых взрывов. Брага, схватив за руку Хлобыстнева, бросился с ним в придорожную канаву. Потом они поднялись и двинулись в сторону леса.

Они бежали по смятой, полегшей траве, которая тысячами зеленых стрелок указывала дорогу к сборному пункту бригады.

На бегу, обернувшись, чтобы взглянуть на полыхавший за спиной городок, Брага крикнул Хлобыстневу:

— Ну вот, кажись, и началось.

— Не может быть! Просто так, без объявления?

— Какое тебе еще объявление?

Они достигли леса в тот момент, когда бригада строилась. Отдавались последние распоряжения. К аэродрому дорогой сейчас не пройти. Двигаться нужно лесом, но быстро, очень быстро.

Марш-бросок... Сколько раз уже совершали его парашютисты от казарм до аэродрома, от аэродрома до казарм! Сколько пролитого пота, сколько белых погон из соли выступило на зеленых плечах гимнастеров! И вот снова марш-бросок. Но таких еще не было. В конце тех, прежних маршей, какими бы трудными они ни оказывались, солдата ждал отдых, быстротечный, но обязательно полный отдых всем. А теперь?

Никогда еще дорога к самолетам не казалась Хлобыстневу такой бесконечно длинной, как сегодня. Повязка на каждом шагу сползала со лба, закрывая глаза. В раны на лице проникал пот, остановленное Брагой кровотечение начиналось снова и снова. Хлобыстнев бежал самым последним, низко наклонив голову, временами почти теряя сознание. Не меньше часа потребовалось ему, чтоб присоединиться к своим, уже добравшимся до опушки леса, вплотную примыкавшего к летному полю. Тут он в полную меру ощутил, что поднял роту в это воскресное утро совсем не по учебной тревоге. Рота лежала в приаэродромной высокой траве, кажется, вместе с другими ротами, а вот самолетов на поле Хлобыстнев что-то никак не мог разглядеть. Или повязка опять на самые глаза налезла? Сдвинул мокрую, набрякшую марлю повыше — ничего кроме рыжих воронок разглядеть перед собой не мог. Кроме рыжих чадающих воронок и бесформенных рваных кусков дюралья.

— Спалил, порушил, паразит, всю нашу технику,— услышал Хлобыстнев голос старшины.

На аэродроме редко бывает тихо, но такой жуткой тишины, какая наступила тут сейчас, вообще никогда еще не было. Скрежет рваного металла на ветру делал тишину еще более зловещей и грозной.

Глава 4

...Когда солнце поднялось над лесом, из соседней деревни пришло несколько тракторов. Шум их моторов приободрил людей. На взлетное поле вышли десантники. Обломки самолетов оттаскивали в сторону. Парашютисты и летчики стали землекопами. Поборцев и другие командиры работали вместе со всеми. Даже раненый Хлобыстнев, которому сделали новую перевязку, нашел себе дело. Поборцев, увидев дневального, подошел к нему.

— Как себя чувствуете?

— Нормально,— ответил Хлобыстнев, запрокинув голову так, чтобы повязка не мешала ему видеть командира.

Кровотечение прекратилось, и раненому, судя по всему, действительно стало лучше.

— Буду работать, как все.

— А не тяжело?

— Обойдется.

— Ну что ж, тогда вам не очень сложное, но задание: вернитесь в Песковичи, обследуйте все и доложите. С вами пойдет Кузнецов. Найдите его и отправляйтесь.

Хлобыстнев пошел разыскивать приятеля. Кузя сидел, привалившись к сосне. Левая щека его была перевязана. Он что-то зло подбрасывал на ладони.

— Что с тобой? — спросил Хлобыстнев.

— Ты лучше скажи: с тобой что?

— Меня стеклом просто, в казарме еще.

— И меня, к сожалению, не на поле брани.— Он поднес свою ладонь к глазам Хлобыстнева.— На-ка вот, посмотри.

— Откуда это?

— Отсюда вот.— Кузя дотронулся пальцем до своей забинтованной щеки.— Чуть всю фугаску не проглотил.

— Прямо в щеку влепило?

— Я и опомниться не успел, как почувствовал вкус крови. Отхаркался, а на земле вместе с тремя зубами упала вот эта чертовина. Если бы мне кто-нибудь сказал, что на войне с первой минуты придется чугун глотать такими кусками, я бы не поверил.

— А ты думаешь, я бы поверил, что можно быть раненым в родной казарме?

Уже полным ходом шла война, а им все еще не верилось, что ученье кончилось, что теперь им предстоит по-настоящему, жизнью своей, защитить родную землю. Они еще по привычке отводили душу шутками, хотя получались те шутки уже совсем невеселыми.

Кузя и Хлобыстнев шагали в Песковичи молча, лишь изредка останавливаясь, чтобы перевести дух. Двигались по той дороге, лесом, которая на каждом шагу хранила следы утреннего марша. То здесь, то там под ноги попадались недокурные папиросы, а потом они набрали и на притаившийся в траве плоский штык автоматической винтовки.

Кузя, преодолевая боль, нагнулся, поднял находку, расчехлил и выругался:

— Раззяву сразу видно.

Хлобыстнев вздохнул: на войне, дескать, может быть всякое.

— Теперь все на войну станут сваливать. Ты погляди на это вот. — Кузя еще раз расчехлил штык. — Эта ржа тут давно завелась, до войны еще...

До войны... Слова эти, сказанные сейчас как бы между прочим, поначалу пропущенные мимо ушей, вдруг приковали внимание обоих.

— До войны, ты сказал? — Хлобыстнев поправил сползшие на глаза бинты. — Как-то чудно звучит это: до войны...

— Очень чудно.

Оба опять помолчали. Кузя пристегнул найденный штык к поясу.

— Пригодится еще. Пошли, да побыстрей.

Им не терпелось увидеть, что стало с городком, что уцелело в нем. Не могли же бомбы порушить все за одно утро: десятки зданий, склады, красу и гордость всего городка — недавно построенный Дом культуры.

Вон гора, за той горой еще одна, потом Песковичи — прикидывали они. Но ни один, ни другой никак не могли разглядеть знакомых очертаний парашютной

вышки, которая вот с этого места уже бывала обычно видна.

Кузя, поплевав на руки, полез на дерево. Оставшийся внизу Хлобыстнев окликнул его, когда тот добрался до вершины.

— Ну как?

— Не вижу никаких Песковичей...

Кузя спустился на землю, они пошли дальше.

Вскоре им открылась вся картина разгромленного бомбежкой городка. В суматохе утренней тревоги они разглядели не все, что случилось. Думали, рухнула только их казарма, ну в крайнем случае еще пара соседних... А тут повсюду только воронки и щебень...

Кузя и Хлобыстнев с большим трудом нашли то место, где несколько часов назад была их казарма. Они определили это по старой перекошенной раките, которая чудом уцелела, но казалась еще более кривобокой.

— Ракита? — спросил Хлобыстнев.

— Как видишь! — почему-то рассердился Кузя.

Ветви старого дерева, как руки, безжизненно упали к земле. Светлая изнанка узких листьев обнажилась, и ракита сделалась похожей на бесформенный кусок алюминия.

Налетел ветер. Опаленные огнем ветви заскрежетали.

Ветер постепенно усиливался, завыл, и вдруг начал швырять под ноги десантников охапки бумажных треугольников.

— Письма! — воскликнул Кузя.

Это было похоже на чудо, но в разоренном дотла, сожженном городке уцелели именно письма. Кувыряясь и подпрыгивая, они рвались сейчас в сторону аэродрома, будто стремясь вернуться к тем, кто их написал.

Они обошли всю территорию городка. Все обследовали, собрали все письма и направились в обратный путь. Для экономии сил решили идти короткой дорогой — через луга. Фашистские самолеты больше не появлялись, и приятели надеялись через полтора часа быть на месте, но скоро поняли, какую совершили ошибку.

Вражеский истребитель пронесся над головами Кузи и Хлобыстнева в тот момент, когда они считали

себя в безопасности. Сделав разворот, машина тут же вернулась.

Они побежали, то падая, то поднимаясь, по мелкому кустарнику. Но самолет не отпускал их, делая заход за заходом. Парашютисты почувствовали себя в клетке. Куда бы они ни устремлялись, повсюду на пути стояла железная изгородь, прутья которой вонзались в землю.

Увидев невдалеке огромный дуб, Кузя и Хлобыстнев побежали к дереву, надеясь найти защиту от пуль за его могучим стволом. Но осатаневший летчик продолжал атаку за атакой. Двое метались вокруг ствола, третий, в самолете, неотрывно следовал за ними, то приближаясь, то удаляясь, стрекоча пулями по листьям дуба так, что они пачками сыпались на землю.

Не выдержав, Кузя вскинул автомат и дал очередь по стервятнику. Самолет исчез так же неожиданно, как появился.

Поглядев ему вслед, приятели увидели далеко на горизонте зарево и услышали длинную серию взрывов. Даже в ясный солнечный день огонь, подымавшийся над городом, был виден совершенно отчетливо, и отблески его падали на лица так резко, как будто горевший Пинск находился не за много километров отсюда, а в непосредственной близости.

— Эх, Пинск, Пинск... — вздохнул Хлобыстнев. — И где только наша авиация?

— Авиация в бою, — мрачно отозвался Кузя, — но ты сам видал, какие у него самолеты.

— Какие?

— Не прикидывайся дурачком, Хлобыстнев.

— Не читай мне лекций. Не на политзанятиях.

— Не на полит, — согласился Кузя, — а ты сообрази все-таки лучше. У него летчик в бронированной кабине сидит. А наши еще в гражданскую под задницу сковородку подкладывали, чтобы от захода снизу защититься. Это тебе известно?

— Сковородку?! — переспросил Хлобыстнев.

— Да, самую обыкновенную, на какой бабушка твоя блины пекла.

— Ну, это ты кому-нибудь расскажи.

— Точно, сковородку. Русский мужик всегда был хитер на выдумку. Но одной выдумки мало. О самолетах больше надо бы там думать. — Кузя многозначительно вознес палец над головой.

— Ну и гусь! — на ходу воскликнул Хлобыстнев. — Чуть войну не проспал, а теперь на самый верх заматывается!..

— Я чуть не проспал?

— Не я же. Дневальным ты был, и ты с заспанной рожей «в ружье!» орал.

Кузя и Хлобыстнев говорили сердито, горячо, как люди, лично ответственные за то, как началась война.

Перепадка эта была прервана неожиданно — новый рокот моторов прокатился над полем.

Метр за метром, теряя высоту, со стороны Пинска летел немецкий бомбардировщик, яростно отстреливавшийся от двух «ястребков».

Немецкий самолет загорелся первым, все-таки успев напоследок прошить очередями крупнокалиберных пулеметов своих преследователей. Все три машины рухнули почти одновременно. Один за другим в наступившей тишине прокатились три взрыва, три огромных дерева дыма выросли на месте их падения.

А над Пинском все ширилось зарево.

Парашютисты еще раз с горечью поглядели в сторону горящего города и снова двинулись в путь.

Глава 5

Вернувшись к своим, Кузя и Хлобыстнев не узнали аэродрома. За несколько часов летчики, парашютисты и колхозники заровняли многие воронки, а сейчас расчищали взлетную полосу.

Доложив начальству о результатах своего похода в Песковичи, Кузя и Хлобыстнев устроились отдохнуть на опушке леса. То и дело тут стали появляться товарищи по роте и батальону. Вроде между прочим подойдет то один, то другой и спросит:

— Ну, как там?

Получив указание до поры языков не распускать, ребята отвечали односложно:

— По-разному.

Только голоса у них были такие, что никто даже и не переспрашивал.

— А у вас тут что?

— Работаем.

— Что о войне говорят? — обратился Кузя к одному из подошедших.

— Война идет полным ходом.

— Политинформация была?

— Была.

— Что сказали?

— То и сказали, что идет.

— Ты толком объясни, не виляй,— рассердился Кузя.

— По всей карте от верха до низа.— Парень сделал охватывающее движение руками, после которого все слова оказались лишними.

Кузя и Хлобыстнев решили скрыть найденные на пожарище письма; пусть ребята не падают духом. Доложили об этом Поборцеву.

Тот не понял их:

— Кисейные барышни! Приказываю — письма раздать. Впрочем, отставить. Я сам.

Вечером, когда был выполнен ритуал поверки, командир роты при свете луны высыпал на разостланную плащ-палатку охапку белых треугольников. Он и в обычные-то дни был не очень разговорчив, а тут превзошел самого себя. Поглядел на вытянувшихся перед ним бойцов, на горку неотправленных писем и спросил:

— Ясное дело, товарищи?

— Ясно...— сорвалось у кого-то.

И еще кто-то буркнул:

Так ясно никогда еще не было.

— А вот носа вешать никто команды не давал.

— И это ясно, товарищ старший лейтенант.

— Ну вот, теперь совсем другой разговор.— Поборцев аккуратно оправил гимнастерку, как он всегда это делал, желая показать, что все, дескать, в порядке, в задумчивости прошелся перед строем и еще раз провел большими пальцами за поясным ремнем так, чтобы ни одной складочки под ним не осталось.— У кого какие вопросы?

— Когда будем немцев бить, товарищ старший лейтенант? — опять подал голос тот, кому все было ясно.— И как теперь с самолетами?

— Что с самолетами, вы сами видели, и когда им замена будет, не знаю. Придется пока на земле воевать.

С наступлением темноты звуки взрывающихся бомб с новой силой докатились до леса, в котором укрылись парашютисты. Похоже было на то, что бомбили не только Пинск — всю белорусскую землю.

Первый винтовочный выстрел грянул здесь в эту же ночь: немцы выбросили десант.

Кто бывал на войне, тот знает, нет ничего более трудного, чем ночной бой в лесу. Особенно если это вообще твой первый бой. Тут уж гляди в оба, чтобы не стал он последним. А ведь очень просто: стреляют и с одного фланга, и с другого, и даже сзади. Ну а если кому-то придет в голову мысль пустить в ход гранаты, тут вообще ад начинается.

Так случилось и в этом бою. Гранаты, ударяясь о ветви деревьев, не долетали до цели, рвались над головами своих.

Слободкин потом уже заметил, что каждый бой смывает с узкой полоски земли самых лучших ребят. В пылу сражения этого нельзя обнаружить, даже собственной раны не почувешь. Тебе кажется, все идет как должно идти: рывок, короткая перебежка, и сосед твой, как и ты, кидается на землю, плотно припадает к ней, чтобы ловчей прицелиться, снова рвануться вперед и снова кинуться наземь, — а он, может, уже и не встанет, лежит, насквозь прошитый пулей.

Кузя где-то совсем рядом. Слободкин его не видит, но знает — он здесь.

И вдруг сквозь треск перестрелки — стонущий голос Кузи.

Слободкин подымается во весь рост, бежит к нему, падает рядом, тормошит товарища за плечо:

— Кузя, Кузя!..

— Ну чего раскричался? — хрипит тот в ответ. — В ногу мне угодило...

— Больно?

— Ничего не чувствую.

Слободкин достает флягу, подносит ее к Кузиным губам. Но тот лежит так, что вода, не попадая в рот, выливается на землю.

— А ты-то цел? — превозмогая боль, спрашивает Кузя.

Слободкин не успевает ответить — невесть откуда наваливается на него тишина. Сверхъестественная, совершенно необъяснимая тишина, оборвавшая бой. Только птицы долго-долго щебечут где-то на самых верхушках деревьев. Вот ветви их уже не шелестят в ночном и низком небе — в высоком утреннем. И раскачиваются там так мягко и в то же время так решительно,

будто норовят стряхнуть с себя даже эти птичьи голоса, чтобы совсем стало тихо. Совсем...

Неловко распластавшись в высокой траве, Слободкин вдруг увидел ползшую к нему девушку. Она принялась бинтовать ему бок. Когда перевязка была закончена, прошептала:

— Ну вот, а теперь примемся за вашего Кузю. Так вы его, кажется, величаете? Вот он, полюбуйтесь.

Девушка отодвинула низкую ветку орешника, и Слободкин увидел приятеля. Он лежал в двух шагах — бледный, осунувшийся, злой.

Пока девушка меняла Кузе повязку, Слободкин осмотрелся. Это место ничем не напоминало ему поле вчерашнего боя. Слободкин показал Кузе глазами на сестру, как бы спрашивая: откуда, мол? Тот ничего не ответил.

— Ну а теперь за водой схожу, — сказала девушка. — А вы тут ни звука чтобы! Шоссе от нас в двух шагах. На нем немцы, я сама видела.

«Шоссе? Немцы? Куда нас занесло? Где рота? Где наши?» — пронеслось в голове у Кузи.

— Эй! — тихо окликнул он человека в форме артиллериста, ссутулившегося под соседней орешинкой. — Ты кто такой? Ходить можешь?

— Ходить не велено, но если табак есть, побеседовать можем.

Кузя пошарил в кармане, наскреб щепотку махорки.

— Топай.

Худой незнакомый боец подполз на коленях, опираясь на одну руку, другую, забинтованную, прижимая к груди.

Скрутили по сигарке, затянулись.

— Докладывай, — сказал Кузя. — Откуда такой?

Вид у артиллериста был странный. На изможденном, белом лице глаза западали так глубоко, что невозможно было разглядеть, какого они цвета. Пилотки на голове не было — только косой след загара, пересекавший лоб от виска до виска. На гимнастерке пятна крови перемешались с пятнами масла.

Артиллерист продолжал жадно курить. Чтобы не обжечься, он перехватил почти дотла сгоревшую сигарку сложенной вдвое травинкой и делал одну затяжку за другой.

— Теперь порядок. Столько часов без курева! А вы? — спросил артиллерист, давая тем самым понять, что самое главное он высказал, а остальное, дескать, — детали, не имеющие большого значения.

В тон артиллеристу Кузя ответил:

— А мы последнюю махорку тебе отдали.

Разговор явно не клеился. Стена взаимной подозрительности встала между ними, и разрушить ее было сложно.

Помолчали.

Выручил характер Кузи.

— Это где же ты такие баретки отхватил? — после паузы спросил он, глядя на сбитые в кровь босые ноги артиллериста.

— Там, — беззлобно ответил артиллерист. — Там и не такое можно было отхватить.

Постепенно разговорились.

Началось с того, что Слободкин с Кузей сбивчиво, с пятого на десятое, попытались восстановить события минувших суток.

Парашютный городок и Пинск одними из первых подверглись нападению врага. Потом немцы бросили под Песковичи свой десант, и ночью в лесу наши десантники получили первое боевое крещение. Трудный был бой, сложный, только не довелось Слободкину с Кузей участвовать в нем до конца.

— Но наши где-то рядом, — уверенно сказал Кузя. — А твои?

— Мои... — Артиллерист не знал, что ответить.

— Зовут тебя как?

— Сизов.

— Да ты не стесняйся, выкладывай все как есть, мы же сами, видишь, какие.

И артиллерист рассказал все как было.

— Деревню Днище знаете?

— Ну?

— От нее рукой подать до границы. В ночь на двадцать второе отправились мы на стрельбы. По шестнадцать учебных на орудие. От казарм до полигона не ближний край, пока добрались, светать начало. Получили ориентиры, изготовились. Начали. Половину боезапасов израсходовали, перекур объявили. Сидим под кустиком, дымим. Кони пасутся...

— Ближе к делу, — перебил его Кузя. — Давай суть самую.

— Сидим, значит, мы, покуриваем, — повторил Сизов, взглянув на нетерпеливого Кузю. — Слышим — стрельба. Из таких же, как наши, бьют, серьезного калибра. Откуда? — думаем. Ни о каких «соседях» говорено не было. Чудная, выходит, вещь. Посылаем конную разведку — не возвращается. Звоним в штаб округа — молчок. А снаряды меж тем начинают ложиться в нашем расположении. Не учебные. Враг, значит, с границы повалил. Нам бы ответить, рубануть как следует, да не можем — деревяшки в стволах.

— Ну и как же вы? — опять не вытерпел Кузя.

Но артиллерист не спешил. Рассказывая всю неприглядную правду первых часов войны, он мучительно искал слова, чтобы нечаянно не обидеть тех беззаветных бойцов, которые ничем решительно не были виноваты в том, что произошло на границе. Солдаты не боялись боя, они искали встречи с противником, не остановились бы и перед самой смертью. Но были обстоятельства, преодолевать которые оказалось выше их сил.

— Так вот и встретили мы войну, не сделав ни одного выстрела, — продолжал артиллерист. — А когда до казарм дотопали, там щебенка одна. Мы в лес и подались. Куда же еще деваться?

— А ранило тебя где?

— Ранило там еще. Не знаю, как ноги унес.

— Это ты до казарм со своим ранением топал? — тихо спросил Кузя.

— Потопаешь. Да я и сюда не знаю как дошкандыбал.

— А что это за девочка тут?

— Из какого-то медсанбата, говорит.

— Она-то молодцом, — нарочно чуть погромче сказал Кузя. — Это теперь медицина наша персональная. С нею нас четверо?

— Четверо, — подтвердил артиллерист.

— Еще немного — и отделение. — Кузя вытянулся на земле, грудь, как в строю, расправил. И вдруг боль перекосила его лицо.

Когда начнется война и когда тебя ранят в первые же двадцать четыре часа или двадцать четыре минуты, хорошо оказаться рядом с таким вот Кузей. Он и дух твой поддержит, и все на свои места поставит. Сизов тоже парень что надо. Парашютисты не сразу, но нашли с ним общий язык, начали вместе думать, как быть

и что делать. Лучше всего, конечно, быстрее обратиться к своим.

— Только вот как быть с медициной? — спросил артиллерист.

— Мы все ей растолкуем, что к чему. Поймет: девочка, но не ребенок. Найдет и она свою часть, — не очень уверенно сказал Слободкин.

— Учтены не все детали, — заметил Кузя, а про себя подумал: смогут ли они, трое раненых, встать на ноги и идти? Идти не до автобусной остановки — бог знает сколько километров по болотам, лесам, бездорожью. Серьезны ли их ранения? — Надо бы посоветоваться с медициной, — сказал он вслух.

Он окликнул девушку и, когда та приблизилась, начал разговор:

— Значит, воюем?

Получилось не очень-то деликатно. Девушка сердито посмотрела на Кузя.

Он даже смутился, второй его вопрос был не лучше первого:

— А где ваша часть?

— Там же, где ваша, — отрезала она, и все трое поняли, что перед ними такой же солдат, как они, а то, что косы из-под пилотки, так это в порядке вещей.

— Правильно сказала, молодец! — поддержал ее артиллерист. — Как звать-то тебя?

— Инна.

Слободкин вздрогнул, Кузя спросил:

— Инесса? А фамилия? Не из Пинска случайно?

И тут же понял, как нелеп его вопрос.

— Нет, не Инесса, — ответила девушка, — а Инна. Через два «эн» пишется. Фамилия Капшай. Из Гомеля я. А что такое?

— Да нет, ничего, так просто, — пробормотал Кузя.

— Это уже нечестно, — обиженно сказала девушка, — сразу начинаются какие-то секреты. Вы мне не верите? Так и говорите прямо.

Пришлось рассказать Инне о ее тезке. Больше всего девушку тронуло то, что Слободкин каждый день писал письма в Пинск. Она даже не поверила сперва, но когда Слободкин подтвердил, что не врет, вздохнула:

— Вот это любовь! А где она сейчас? И что теперь будет с любовью?

— С любовью ничего не будет, — опередил Слобод-

кина артиллерист.— Отвоюем — найдем друг друга. А вот с письмами подождать придется.

— С письмами придется подождать,— поддержал Кузя, но, взглянув на мрачно потунившегося Слободкина, ободряюще заключил, подводя разговор к главному: — Только не здесь же нам ждать. Пробираться надо к своим. Во что бы то ни стало — в путь!

Инна заявила сперва категорически:

— Сейчас? Ни в коем случае!

— Что ж, нам немца тут дожидаться? Сама говоришь — рядом он,— рывкнул Слободкин.

— Но ведь вы раненые...— начала было Инна, однако Кузя оборвал их перебранку.

— Разговорчики! — совсем как Брага выпалил он. — Собираемся в путь!

Инна вынуждена была постепенно смириться. Стала помогать раненым подняться на ноги, сделать первые, самые трудные шаги, разыскала подходящие палки — костылики Слободкину, Кузе, Сизову.

И они тронулись в путь.

Медленно, часто останавливаясь, чтоб дать передышку то одному, то другому, они побрели на восток, прислушиваясь к каждому звуку.

Так началась их новая, лесная, жизнь. Сколько продлится она? Этого никто из них не знал. Они скоро вообще потеряли всякую ориентацию во времени и пространстве. Где фронт? Где свои? Долго ли придется искать их? Они прислушивались ко всему — к лесу, к небу, к шуму на дороге, параллельно которой двигались. Все, что они слышали и видели вокруг, стало каким-то неестественным, будто нарочно придуманным.

И только раны, причиняемая ими боль все время возвращали к реальности.

Хуже всего были дела у Сизова. Рана его гноилась все сильнее. Перевязывая Сизова, Инна каждый раз сокрушалась. Однажды, меняя бинты, она заметила зловещую черноту на руке артиллериста и под секретом сообщила об этом Слободкину и Кузе.

Чернота на руке быстро распространялась. Через день Сизов уже метался в бреду, из груди его вырывались только два слова:

— Мама... Люба...

— Что с ним? — спросил Инну Слободкин.

Инна отвернулась. Плечи у нее вдруг стали совсем узкими, детскими. Не оборачиваясь, сказала:

— Ему поможет только лед. Лед или холодная вода. Вон там, у шоссе, есть родник, я видела.

После этих слов Кузя тяжело поднялся, взял в одну руку котелок, в другую палку и, хромая, пошел в ту сторону, куда показала Инна.

Сжав в руке автомат, Слободкин направился вслед за другом.

Скоро лес начал редеть, и в просветах между деревьями блеснул на солнце асфальт. Выбрав удобную позицию, приятели залегли.

— Шоссе? — спросил Слободкин так тихо, что не расслышал собственного голоса. — А почему же нет никого?

Вместо ответа Кузя толкнул Слободкина, и оба замерли: прямо перед ними, на обочине, одна за другой вырастали фигуры всадников. Слободкин машинально начал считать:

— Один, два, три...

Кузя вонзил ногти в руку приятеля так, что тот чуть не взвыл от боли. Но все-таки сосчитал всех десятерых.

Немцы, громко разговаривая, остановились возле воды, подступившей почти к самой дороге, спешились. Больше всего Слободкина поразили почему-то лошади. Огромные, рыжие, с лоснящимися от пота тяжелыми крупами, они были похожи на бронзовые памятники. Немцы тоже были рослые, широкоплечие верзилы. Автоматы в их руках казались детскими игрушками. Только отполированная, вытертая по углам сталь поблескивала жестко и холодно.

Так близко Слободкин и Кузя еще не видели врага. Можно было различить все, даже мельчайшие детали снаряжения. Можно было слышать, как позвякивают шноры. Забыв об опасности, парашютисты глядели и слушали, будто старались лучше запомнить, как выглядят те, с кем предстоит скрестить оружие.

Немцы поили коней. Слободкин никогда не думал, что лошади пьют так долго и так много. А Кузя шепнул ему, что это, оказывается, очень хорошо.

— Пусть хлебают, сколько влезет. Чем больше, тем лучше.

— Почему?

— День жаркий, кони в мыле, вода ледяная.

— Ну?

— Вот тебе и ну. Конь от такого — с копыт.

Когда немцы наконец удалились, Кузя сказал:

— Теперь будешь меня страховать.

Он пополз к роднику, далеко выбрасывая вперед руку с зажатым в ней котелком. При каждом движении дужка стучалась о пустой котелок, но Кузя этого не слышал. Не слышал он и слов Слободкина, несшихся ему вдогонку:

— Да тише ты, чертушка, тише!..

Набрав воды, Кузя поднялся во весь рост и не торопясь заковылял обратно. Только поравнявшись со Слободкиным и опустив котелок с драгоценной влагой, он вдруг распластался в траве.

— Теперь-то уж чего? То по-пластунски, а то строевым. Соображаешь?

— Соображаю. Но ползать с полным котелком я не умею.

Холодные компрессы действительно немного уняли страдания Сизова. Но ненадолго. Через час он застонал снова. Жадно облизывая сухие губы, бормотал уже что-то бессвязное. Любу и маму теперь не звал.

Пришлось снова отправиться за водой. А потом еще и еще.

Дождавшись просвета между двигавшимися по шоссе колоннами немцев, Слободкин и Кузя подползали к роднику, потом снесли к Сизову.

Умер он в мучениях и так быстро, что Слободкин, Кузя и Инна не сразу поверили в его смерть. Артиллерист уже лежал вытянувшийся, оцепеневший, а они все еще суетились вокруг него.

Тихо поплакав где-то в сторонке, Инна первая пришла в себя, сказала, что Сизова надо похоронить.

Не осознав еще до конца случившегося, принялись за дело. Копали по очереди плоским штыком, тем самым, который Кузя нашел в первый день войны. Земля была мягкая, но, прошитая корнями трав и деревьев, поддавалась плохо, работа еле двигалась.

Отдыхали через каждые две-три минуты. Особенно Слободкину было трудно: удары отзывались сильной болью в боку. словно не в землю, а в самого себя он втыкал раз за разом плоский штык. Но Сергей, закусив губы, долбил и долбил.

А Кузя окровавленными пальцами тем временем драл корни, и злость закипала в нем все больше.

Он еще и не знал тогда, что двадцать миллионов Сизовых придется схоронить России.

К вечеру они двинулись дальше.

Было решено при первой возможности подходить вплотную к шоссе. Надо бить врага всеми имеющимися средствами.

Всеми имеющимися средствами? Наивно, конечно, звучали эти слова! Что они имели? Какие средства? Перед ними враг — на колесах, в броне, вооружен и нагл. У них — один штык, два автомата, никакого транспорта, на своих двоих ковыляют, подстреленные и измотанные. И все-таки — бить врага! Но как? Знали только одно: надо!

Первая боевая операция началась неожиданно.

Переползая через кювет, чтобы выбраться на шоссе и просмотреть его как следует в обе стороны, Кузя зацепился за длинный обрывок крученого стального троса и тут же вернулся в придорожные заросли.

— Я считаю, нам повезло.— Кузя покрутил над головой концом троса.— Перекинем через дорогу, натянем, закрепим как следует. А?

— И что же дальше? — спросила Инна.

— Дальше — ничего, собственно. Дальше — ждать.

— Ждать долго не придется,— поняв и одобрив идею друга, сказал Слободкин.

— Вот именно. Тут важно момент выбрать.

Когда Кузя начал вязать первый узел, руки его почему-то дрожали. И чем больше нервничал он, тем настойчивее выпрямлялся трос, никак не желавший лезть в петлю. Общими силами все-таки завязали.

— Ну а теперь,— сказал Кузя,— самое сложное — второй узел. Натянуть посильней надо, и намертво.

Кузя выполз на шоссе, держа в руке свободный конец троса, огляделся и тихонько крикнул:

— Давай! Попробуем, пока нет никого.

Кое-как натянули.

— Теперь можно,— убежденно сказал Кузя.

— Что можно? — опять не поняла Инна.

— Мотоциклы можно встречать.

Первыми, конечно, танки пошли...

Едва успели убрать трос и укрыться в кювете, как все вокруг заскрежетало, залязгало. Сплошная серо-зеленая масса в облаках бензина и пыли поплыла перед глазами.

А тут еще комары! У них тоже хватка разбойничья:

ни свет, ни дым им не помеха — накинулись, облепили, впились. И кто бы мог подумать, что хоботы у комаров железные? И с зазубринами еще! Вонзит и пилит, пилит, дьявол, пополам череп твой распилить готов. И гудит еще. Гудит так, будто гром гусениц перегудеть хочет. Приставит свою сирену к самым ушам, и танки куда-то уходят, словно с гудрона на дерн перепрыгнули, исчезли совсем. Может, и в самом деле конец чертовой колонне? Нет еще. Вылетел комар из ушной раковины, освободил там место для танкового грома — и все сызнова.

Сколько длилось это? Час? Или два? Или три? Время остановилось. Только комары грызли и танки шли. Не сочтешь, не переждешь. А переждать надо. Дождались. К вечеру, когда уже смеркаться стало. Поглядели вслед уходящим танкам, отерли лица от комарья — кровь с потом пополам на рукавах зачернела. Уставились друг на друга — узнать не могут: прорези глаз сдавлены, опухольями, еле-еле зрачок через них продирается.

Кузя выполз на середину шоссе, привстал сначала на корточки, затем и во весь рост. Огляделся.

— Натягивай! Должно же нам повезти все-таки. Или бога нет на свете?

Натянули. Затаились. Всю ночь караулили, до рассвета. И снова не повезло. Опять железо залязгало.

Уже новый вечер на землю сходил, когда танки отгрохотали.

Примерно через полчаса слышали вдалеке мотоциклетный стрекот.

— Натягивай! Живо!..

Натянули еще раз. Из-за поворота появились мотоциклисты. Они шли на большой скорости.

— Трое, — мгновенно среагировал Кузя.

Слободкин вскинул автомат и стал целиться. Руки не слушались, и он не видел ничего, кроме мушки, которая никак не желала совместиться с прорезью прицела.

В отчаянии чуть не опустил автомат — немцы были уже совсем рядом. Он уставился почему-то в каску первого из них. В каску, которая, сорвавшись вдруг с головы срезанного тросом немца, загромыхла по асфальту. Только это ясно и видел: каска, вращаясь и подпрыгивая, несколько мгновений металась по шоссе, потом сорвалась в кювет.

Стало тихо.

— Ты жив? — услышал Слободкин над собой голос Кузи.

— Жив...

— А ты? — Кузнецов дотронулся до плеча Инны, уткнувшейся лицом в траву.

— Жива. А что?

— Уходить надо.

Они поднялись вслед за Кузей и направились в лес.

— А эти?.. — вдруг остановился Кузя. — Так бросать их нельзя, — решительно заявил он.

— Что делать? — спросил Слободкин.

— Вернемся и уберем.

— Я не могу, — сказала Инна.

— Подождешь здесь.

— И ждать не могу. Страшно одной.

— Тогда с нами, — решительно сказал Кузя.

Убитых немцев сволокли с дороги. Автоматы подобрали. Отвязали трос. А вот что делать с мотоциклами? Тяжелые, они не поддавались обессиленным от усталости и волнения рукам. Кузя и Слободкин не раз падали с ног, пока наконец столкнули с Инниной помощью мотоциклы в кювет. Но когда отдышались, Кузнецов скомандовал:

— Замаскировать надо.

Наломали веток, забросали ими машины.

— Теперь вроде ничего, — сказал Кузя. — Потопали!

Они заковыляли прочь от дороги. Прошли метров триста, не больше, — Инна вдруг взмолилась:

— Я больше не могу.

— И я, — не то прохрипел, не то простонал Слободкин.

Кузнецов сам еле на ногах стоял, грузно опираясь на палку.

— Отдохнем. Заслужили, — страдальчески морщась, согласился он, потер ногу выше бинтов. — Теперь не стыдно людям на глаза показаться.

Они заночевали там, где остановились. Только сон не приходил долго. Лежали молча друг подле друга.

Кузя первым обрел спокойствие:

— Надо было насчет жратвы у них поглядеть. У немцев-то.

Слободкин громко сглотнул, ничего не ответил.

— А я есть не хочу совсем, — сказала Инна. — Как подумаю о еде, тошнит даже.

— Да перестаньте вы! — возмутился Слободкин. — До утра как-нибудь дотянем, а там видно будет.

— Ну вот и хорошо, — согласился Кузя. — А утром попробуем зайти в какую-нибудь деревню.

— Утром? — удивился Слободкин.

— Ну, сначала разведаем, понятное дело. Если немцев нет, войдем и при свете.

— А если есть? — спросила Инна.

— Тогда дождемся ночи и войдем все равно.

— Опасно, — сказал Слободкин.

— Другого выхода нет.

Опять замолкли, погрузившись каждый в свои мысли.

— Нет, вы разговаривайте, разговаривайте, а то жутко как-то, — призналась Инна.

— В лесу бояться нечего, а в деревню мы со Слободкиным сходим.

— Нет, уж идти, так всем вместе. Я без вас в лесу не останусь.

Заснули только под утро. Но сон тот недолгим был и тревожным. Первой Инна проснулась, а может, и вовсе она не сомкнула глаз?

— Нам не пора?

— Пора, — сказал Кузнецов и поглядел на небо. — Часов шесть уже, если не больше. — Кряхтя и постанывая, он начал подыматься. — Ну что делать будем? В деревню?

— В деревню.

— Только сперва я вам сделаю перевязки, — остановила их Инна, расстегивая медсумку.

Бинтов у нее уже мало осталось, лекарств и того меньше, а раны у парней гноились. Инна старалась скрыть свое беспокойство, не умолкая говорила о чем-нибудь, пока перебинтовывала сначала Кузю, потом Слободкина.

Каждый из них молчал, не проронив ни стона, боясь, чтоб из-за его раны не задержались они тут. Скорее в путь!

Опять подобрались к самому шоссе и пошли вдоль него, продираясь сквозь кусты, яростно отмахиваясь от комаров, проваливаясь в болото. Шли долго, с частыми остановками. На шоссе было совершенно тихо.

— Спят еще, — решил Кузя.

— В деревне спят? — удивилась Инна.

— Не в деревне, а немцы. В деревне-то, поди, нарабатались.

— Да какая теперь работа, если немцы кругом,— сказал Слободкин.— Не представляю даже, что там может сейчас твориться.

Через некоторое время набрали на проселок, свернули на него. Сразу стало спокойнее на душе: тут уж где-то совсем близко деревня. Вскоре и в самом деле на взгорке увидели несколько белых мазанок. Но, несмотря на утренний час, ни дымка над крышами, ни единого признака жизни не обнаружили. Огородами прокрались к ближнему сараю. Там было пусто. Из сарая, оглядевшись, подползли к крайней избе. Кузя, прислушавшись, сказал:

— Ни души.

Все трое поодиночке прошмыгнули в распахнутую дверь. На полу были разбросаны какие-то вещи, рыжий язычок лампады перед образами лизал темноту.

— Ничего не пойму,— не то прокричал, не то прошептал Кузнецов,— куда все подевались? Эй! Есть кто-нибудь?

— Ой, лихо нам, лихо...— прохрипел с печи старческий голос.

— Кто тут? Хозяин, вставай, свои мы.

Я не хозяин.— Из-за шторы показалось помятое, бледное лицо старика.— Немец хозяин теперь. Ишь чего натворил. И добро все уволок, и людей распугал, и сказал: повесит на суку каждого, кто в колхозе. А мы все в колхозе. Ну, народ в лес и подался. Только я вот, убогий, один. А вы сами-то отколь?

— Солдаты мы, папаша.

— И девка солдат?

— Тоже с нами.

Старик свесился с печи, изумленно уставился на Инну.

— Сколько те лет-то?

— Восемнадцать.

Старик перекрестился.

— А мамка твоя где?

— В Гомеле.

— Голодные небось?

Ребята промолчали.

— В огороде бульба. Копайте сами. Больше нечем угощать. Все обобрал, до последней крохи. Курей порезал. Копайте и уходите— не ровен час опять набежит.

— А вы-то как же, папаша? Может, подать вам чего?

— К ночи старуха придет, она и подаст.

Он сбросил с печи мешок, на котором лежал.

— Копайте, говорят. Проворней только.

Поблагодарили старика и вышли. Кругом было все так же тихо.

— Как на кладбище,— сказал Кузя.— Куда же все-таки люди ушли? Почему ни один в лесу не попался?

— Лес велик, встретим еще,— отозвалась Инна.— Мне старого жалко.

Они забыли про все — про голод, про усталость, про боль. В груди закипало такое чувство, какого еще не испытывали. Это ж надо! «Не хозяин я здесь». Лежит человек на сложенной своими руками печи, а хозяином тут немецкий солдат оказывается!

Кузя выругался.

Инна отвернулась.

— Тут и мы виноваты,— решительно заявил Кузя. Слободкин поглядел на него — не ослышался ли?

— Мы, мы! — убежденно повторил тот.— Парашютисты! Первая скрипка! Где она, первая? Не слышно ее что-то. Раскидало нас. Ходим-бродим по лесу, голодные, побитые, костер разжечь и то боимся.

На Кузю страшно было взглянуть. Сжав кулаки, он глядел в сторону шоссе. Казалось, появишься там сейчас немцы — ринется на любые танки хоть с голыми руками.

— Гады... — прохрипел он в бессильной злобе.

— Я предлагаю накопать все-таки картошки,— сказала Инна и неумело начала дергать ботву. Кузя почему-то рассердился:

— Да не так же, не так!

Инна обиделась, она отвернулась.

— Вот как надо! Вот как! — Кузнецов, отставив раненую ногу в сторону, наклонился и с остервенением ухватился за картофельную ботву, высоко над головой поднял вырванный куст с обнажившимися клубнями.

Да так и застыл, прислушиваясь к какому-то далекому, едва различимому звуку. Звук приближался быстро, уже через несколько секунд все трое поняли: самолет.

Картофельный куст выпал из рук Кузи. Он отряхнул с ладоней землю, сорвал с плеча автомат. Еще через мгновение шагнул в сторону, лег на спину. Самолет шел точно на деревню.

В нарастающем грохоте отчетливо прозвучала дробь Кузиноного автомата.

— По мотору бил? — спросил Слободкин, когда все стихло.

— По мотору.

— Все равно зря. Это если целый батальон строчить будет, кто-нибудь, может, и угодит куда надо.

— А ты бы лучше взял да попробовал, — огрызнулся Кузя.

Стихший было рокот мотора стал нарастать с новой силой.

— Ну, теперь не зевай! — рявкнул Кузнецов.

И все трое они повалились в ботву.

Слободкин уже ничего не слышал — ни самолета, ни Кузи. Слова Поборцева возникли почему-то у него в памяти: «Угол упреждения, ясно? Угол упреждения, сила ветра, скорость полета... И голос собственной ярости: «Ну давай же, давай, растяпа!»

Две строчки трассирующих пуль понеслись навстречу самолету. Вот сверкающие гигантские ножницы лязгнули перед самым пропеллером.

Не ответив ни единым выстрелом, самолет понесся мимо.

— Почему он не стреляет? Почему не стреляет? — вырвалось у Слободкина почти истерическое.

— А ты не волнуйся. Вот развернется третий раз и даст жизни, — успокоил его Кузнецов. — Я к нему привыкать начинаю: организованный, экономный, дьявол. Боезапас даром не тратит. Это мы с тобой пуляем, куда бог пошлет. Так что же, собьем мы его или нет?

— Собьем! Собьем! Спокойно только... — Это Инна голос подала.

— Попробуем. — Кузя передернул плечами, разравнивая под собой землю. — Никуда не уйдешь, сволочь. Нас накроешь и сам накроешься.

Слободкин инстинктивно повторил движение Кузнецова. Рыхлая огородная земля раздалась под плечами, и ему стало удобно, как в туннеле.

— Ну, теперь давай!

— Умолкни! — цыкнул на него Кузя. — За мной следи.

Начинался третий заход. Немец пустым уходить не хотел. Но перед ним снова лязгнули ножницы Слободы и Кузи. И вдруг мотор поперхнулся, завиз-

жал. Из-под капота вырвался черный дым, и вот не подвластные больше летчику крылья понесли самолет в лес, прямо на верхушки деревьев.

Раздался глухой удар. Ребята вскочили на ноги, побежали к месту падения. Откуда только силы взялись, и куда подевалась боль от ранений! Успели вовремя: выкарабкавшийся из покореженного самолета летчик уже ковылял в сторону.

— Стой! — крикнул Кузя.

Немец остановился, повернулся всем корпусом, расстегнул кобуру пистолета, но так и замер в этой позе.

Он был ошеломлен — девчонка, двое русских солдат с немецкими автоматами.

— Рус?!

— А ну, давай оружие! — Кузя запустил руку в кобуру на бедре немца, извлек оттуда огромный пистолет вороненой стали и второй раз за этот день выругался.

— Ты что? — удивился Слободкин.

— Ракетницей пугать думал. Не на таких на-
рвался.

Слободкин увидел, что в руке у Кузи действительно самая обыкновенная ракетница.

Немец побагровел, сунул руку за борт комбинезона, но Кузнецов снова опередил его:

— Отставить!

И шваркнул затвором автомата. Летчик поднял правую руку над головой.

— Обе, обе! Цвай! — скомандовал Кузя.

Летчик замотал головой и застонал, дотронувшись правой рукой до левой чуть выше локтя.

— Ничего, ничего! На нас погляди. — Кузя показал немцу на бинты — свои и Слободкина: — Видишь? Чья это работа? А? Твоя, может?

Немец по-прежнему держал высоко поднятой только одну руку.

— Обыскать его, — приказал Кузнецов Слободкину.

Превозмогая физическое отвращение, Слободкин начал шарить у немца в карманах, которых оказалось бесчисленное множество.

— А это уже не ракетница, — сказал он, доставая браунинг с гравировкой.

— Именно оружие, — подтвердил Кузя, — не у нас первых шkodит.

Взял у Слободкина браунинг, подбросил его на ладони, спросил:

— Воевал, значит? Ланге зольдат? Говори.

Немец молчал.

— Видал? Важничает еще! Чего вы к нам приперлись, гады? Говори, последний раз спрашиваю.

Немец покачал головой, давая понять, что отвечать не намерен.

Кузя, хромая, сделал несколько шагов назад, приказал отойти Инне и Слободкину.

Фашист понял, что это значит, но пощады не запросил. Так и стоял с одной высоко поднятой правой рукой, — казалось, вот-вот крикнет «Хайль Гитлер!». Но не крикнул. Не успел просто.

В лесной тишине автоматные выстрелы показались оглушительными. Инна даже уши зажала.

— Надо осмотреть машину.

Кузя сказал это подчеркнуто спокойно и деловито, словно стараясь отвлечься от происшедшего. Так же по-деловому, вникая в каждую мелочь, он обошел со всех сторон сбитый самолет, забрался в кабину, порылся там и нашел планшет, туго набитый бумагами.

— Главное богатство тут, — похлопал он по лоснящейся полости планшета и перекинул его через плечо. — Карта на карте. А сейчас...

— А сейчас, — не дал ему договорить Слободкин, — немедленно в деревню. Копать картошку.

Они повернули обратно. Голод опять погнал их. Рассудок выключился вдруг совершенно. Один инстинкт работал.

Пока добрались до деревни, мешок потеряли. Пришлось Слободкину с Кузей снимать с себя гимнастерки. Набили их картошкой и только тогда, вконец измученные, побрели в лес.

Там парни долго отлеживались. А Инна за кустами потихоньку от них собирала валежины.

— Давайте все-таки распалим огонь, испечем бульбу, — сказала она, возвратясь с охапкой хвороста. — Что поделаешь. Или с голоду помрем, или повоюем еще.

Разожгли. Сухие валежины не давали дыма.

Дождаться, пока испечется картошка, не хватало терпения. Выхватывали из огня черные раскаленные картофелины и, обжигаясь, грызли их, полусырые, еще хрустящие.

Наелись, заснули, забыв обо всем. Спали долго, никто не знал в точности, сколько. Солнце вернулось на прежнее место, когда Кузя открыл глаза. Он огляделся вокруг, поежился со сна, заговорил сам с собой:

— Одно из двух — или полчасаика сыпанули только, или целые сутки отмерили.

— Полчасаика, — ответил Слободкин спросонья.

Кузнецов запустил руку в золу костра.

— Не-ет, тут не полчасаиком пахнет. Все выстудило давно. Подъем, братцы!

Они выгребли из золы всю оставшуюся от вчерашнего пиршества картошку, стали есть уже не спеша, переговариваясь.

— Во-первых, надо связаться с местным населением, — рассуждал Кузя. — Больной старик не в счет, он плохой нам помощник. Во-вторых, необходимо как можно скорей напасть на след своих. После того ночного боя, конечно, рассредоточились, но потом все равно будет общий сбор. Обязательно. Где? Все это мы разведать должны и — скорее, скорее! География у нас теперь в кармане. — Кузя расстегнул кнопку планшета, в руках у него зашелестели карты всех цветов и масштабов. Он ткнул пальцем в оказавшуюся среди них политическую карту Европы и прочитал: — «Могилев, Рогачев, Борисов...» Все разобрать можно.

— Ты совсем немцем заделался, — сказал Слободкин.

— Нужда заставит, чертом станешь. А знаете, братцы, какое счастье я вчера испытал?

— Ну?

— Немца мы не просто сбили — немецкими автоматами! Это многого стоит. От своего же оружия сгинул. А! Я даже хотел ткнуть ему автомат в нос, чтоб понял...

— Ну и надо было, — перебил его Слободкин.

— Гуманность заела. Дурацкая наша, русская.

— По-гуманному можно с людьми, — вздохнула Инна. — Этот зверем пришел.

— Бить их надо, — согласился Кузя. — Убивать. Кузя снова склонился над картой:

— Кричев, Шклов, Чернигов...

— А Пинск? А Песковичи? — перебил Слободкин.

— Гомель где? — спросила Инна. — Есть Гомель?

— Гомель! — Кузя остановил черный от золы и картошки палец на пересечении узких линий. — А вот Пинска что-то не видно...

Они стали вместе шарить по карте.

— Ощущение у меня отвратительное, — вздохнул Кузя.

— Что такое!

— Не могу точно передать. Представить только! Карта нашей земли по-немецки заговорила... Вламываются они в города, меняют названия на свой лад. И Чернигов уже не Чернигов, а Чернигоф... «Могилеф, Рогачеф, Борисоф» — тут так и написано. — Он брезгливо отбросил карту.

— Ну, это зря уже, — сказала Инна. — При чем тут карта?

— Очень даже при чем, — стоял на своем Кузя. — На цвет обратили внимание?

— На что?

— На цвет! — рассердился Кузя. — И себя и нас одной краской. Ничего не скажешь, хорошо подготовились, все взвесили.

Слободкин с Инной наклонились над картой и увидели: фиолетовая муть растеклась по всей Белоруссии, до самого края листа...

— Теперь понятно? — спросил Кузя.

— Теперь — да. — Инна наподдала ногой карту, потом нагнулась, чтобы порвать ее вовсе и тем отвести душу, но Кузя остановил девушку:

— И все-таки спокойствие прежде всего. Придет время, порвем, спалим даже, чтоб клочка от нее не осталось. А сейчас...

Он взял из рук Инны карту, распрямил ее на земле, и снова черный палец его зашуршал по складкам бумаги.

— Мы вот здесь приблизительно. Или вот здесь...

— Так где же? Здесь или здесь?

— Вы меня спрашиваете? — удивился Кузя.

— Конечно. Ты за командира у нас, — ответил Слободкин.

— Глупости! Какой из меня командир? Давайте думать вместе. Главное сейчас — определиться. Какой сегодня день?

Слободкин и Инна переглянулись.

— То-то! Серьезные все вопросы. Счет верстам и дням потеряли. Не годится так. Ну-ка прикинем. Началось в воскресенье.

— В воскресенье.

— Воскресенье — раз. Понедельник — два. Втор-

ник — три. Среда — четыре. Четверг — пять... Так, что ли?

— У нас началось в субботу, — сказала Инна. — Я спала после дежурства, и вдруг...

— Мы все спали, но это было раннее утро воскресного дня.

— Как хотите, но у нас началось именно в субботу. В субботу поздно вечером.

— Ну ладно, не будем спорить из-за одного дня. Итак, сегодня что у нас? Пятница? Суббота? Или...

— Я не знаю, — сказала Инна. — У меня давно уже все перепуталось.

— И у меня, — сознался Слободкин.

— Честно говоря, у меня тоже, — вздохнул Кузя. — Допустим, сегодня ровно неделя.

— Суббота, значит? — спросила Инна.

— Я и так уже сбился, — осуждающе поглядел на нее Кузя. — Ну ладно, пусть будет суббота.

Они спорили еще долго, пока окончательно не перемешали все дни и числа.

— А все-таки у страха глаза велики, — вдруг мрачно сказал Кузя.

— О чем ты? — не понял его Слободкин.

— Ни о чем, а о ком. О нас с вами. Только с перепугу можно стать такими простофилями, как мы. В деревне были?

— Были.

— Как она называется? Даже этого не узнали.

— У старика-то?

— Хотя бы.

— Да он...

— «Да он», «да он»! Чудики мы, вот и все. Придется еще раз судьбу испробовать. Так и надо таким разиням.

— Это ты кого так? — спросил Слободкин.

— Не ее же, конечно, — он сердито кивнул на Инну, — наше соображение с тобой где?

— Да-а... простое ведь совсем дело. Я согласен идти еще раз.

— Я сам схожу, — тоном, не терпящим возражений, сказал Кузя. — И сейчас же.

— Ты с ума спятил! Сейчас — ни в коем случае!

— Нет, нет, только сейчас. Нельзя больше терять ни минуты.

Он ушел, хромя. Казалось, его не будет целую

вечность. Слободкин и Инна приуныли, приготовились ждать до вечера, но случилось по-иному. Примерно через час зашуршали сухие листья под нетвердыми ногами Кузи и он предстал перед глазами друзей:

— Собирайтесь! Нашел человека.

Слободкин и Инна заспешили за Кузей. Скоро они оказались на поляне, посредине которой сидела старуха, такая же древняя, как тот старик в деревне. Перед старухой стояло лукошко с грибами.

Подошли поближе, заговорили:

— Здравствуйте, бабушка.

Она поглядела очень спокойно, но недоверчиво, прошамкала:

— Вам кого?

— Своих, бабушка.

— А где свои-то? Своих нету давно.

— И в деревне тоже?

— И в деревне. А вы отстали?

— Отстали, бабушка. Но мы догоним еще.

Старуха с сомнением оглядела их:

— Шибко идет. На колесах.

— Нам бы с вашими поговорить, с деревенскими.

Старуха помолчала, потом, как бы рассуждая сама с собой, спросила:

— Свои, значит?

— Ну конечно, свои,— шагнула вперед Инна.

— Пойдемте со мной. Только ноги вот не мои совсем.

— Да и мы тихоходы, бабушка,— сказал Слободкин.

Инна взяла старуху под руку. Они двинулись в самую чащу. Через каждые несколько шагов останавливались, чтоб передохнуть.

— К старику хотела сходить, проведать, как он там, да уж ладно, к ночи схожу,— сказала старуха.

— А старик ваш где? В деревне?

— Вот и горе-то.

Инна насторожилась:

— Вы уж, бабушка, ступайте тогда в деревню, а хотите — мы вас проводим.

— Ишь чего удумали! Он вас живо проводит! Проводил уж немало. Схоронить не успели еще...

— Старичка вашего мы видели, бабушка,— сказал Кузя.— Он в крайней хате, на печке сидит?

— На печке, на печке. Наши были у него намеренно. Живой вроде. Живой? А?

— Живой, живой, бабушка. Его бы надо в лес переправить.

— Он с печки никуда. «Хочу, говорит, помереть в своем доме».

— Ну вот что, бабушка, — за всех решил Кузя. — Мы еще к нему ходим. Вот с вашими повидаемся, поговорим обо всем, потом проведем вашего мужа.

— Какого мужа? Сосед, говорю.

— Сосед?

— Сосед.

— И что же? Так вовсе один и живет?

— Один.

Минут через сорок Кузя, Слободкин, Инна и их провожатая стояли в кольце людей, покинувших родные дома. Вопросы сыпались со всех сторон. Кто такие? Откуда? Куда? Что на фронте? И где он, фронт?..

О себе Кузя, Слободкин и Инна рассказали, конечно. А вот фронт? Что там сейчас? И где он, в самом деле? Им вдруг стало стыдно за то, что не могут дать ответа. Деревенские поняли и попробовали, как могли, утешить:

— Там знают, наверно.

— Где?

— В Москве. Там все знают.

Но утешительного в тех словах было мало. На душе еще горше сделалось. У Кузи вырвалось:

— Не бежим мы, не думайте...

— Христос с вами! Нешто мы попрекаем? Насмотрелись на всякое. Израненные скрозь, больные, в чем душа держится, а идут, свою часть догоняют. Да нешто догонишь? На одних грибах-то? Много в лесу развелось грибников вроде вас, горемычных. Идут голодные, огня не разжигают, едят все сырое — грибы, коренья, ягоды. Ах, сыночки, сыночки, что же делать с вами? Куда девать?

— Никуда нас не надо девать, — мрачно сказал Кузя. — Нам бы табачку на дорожку, а еще...

— А еще?

— А еще расскажите, где мы. — Кузя почему-то смутился. — Шоссейка рядом какая?

— Варшавка.

— Варшавка? Так вот нас куда занесло!..

Кузя поглядел на Слободкина и Инну.

— А мы думали...

— Точно, Варшавка. Он по ней днем и ночью.

— Ну, ночью-то не особо, днем — верно, прет всю. Значит, Варшавка? Так, так? так... Ну что ж, это лучше даже. А деревня?

— Каршиловские мы.

— Не слыхал что-то. А ты, Слобода? — наморщил лоб Кузя.

— И я тоже.

— А Песковичи знаете?

— Это где же будет?

— Там, — неопределенно махнул рукой Кузя.

— А девочка откуда?

— С нами она.

— Что ж творится на белом свете? К мамке надо бы, не на войну.

Инна молчала-молчала и вдруг разобиделась:

— Мне медсанбат догонять надо.

Незнакомое слово «медсанбат» произвело впечатление. Очевидно, деревенские подумали, что медсанбат — это какое-нибудь учреждение, находящееся далеко от линии фронта. Сколько таких медсанбатов встретили потом Слободкин, Кузя и Инна на дорогах войны! Именно далеко от линии огня, в глубоком тылу, но не в том тылу, где спокойно и тихо, а во вражеском, где от тебя до смерти рукой подать.

Глава 7

Вечером того же дня, перед тем как расстаться, деревенские собрали солдатам в дорогу корзину кое-какой еды. Две чистые простыни пожертвовали «медицине» на бинты. И про табак не забыли.

В ту минуту казалось, что продуктов хватит на неделю. Но слова баб и стариков о «грибниках» подтвердились. Уже на следующее утро повстречали двух пограничников, изможденных и ослабевших.

Они тут же, за один присест, съели все, что было в корзине. Как поели, так и свалились, внав в глубокое забытие. Разморило ребят. Лес огласился таким храпом, что стало страшно: Варшавка, от которой Кузя, Слободкин и Инна старались теперь не отходить, была рядом. Чтобы восстановить тишину, пришлось разбудить новых знакомых. Это оказалось не таким простым делом.

Кое-как растолкав пограничников, получили заве-

рение, что шума больше не будет. Не прошло и нескольких минут, как те снова захрапели. Всю ночь только и делали, что будили бедолаг, а под утро, выбившись из сил, сами заснули. Но не все. Позднее Кузя и Слободкин узнали, и то совершенно случайно, что Инна совсем не сомкнула глаз в ту ночь.

После этого авторитет «медицины» в глазах Кузи и Слободкина возрос еще больше. Наутро, когда знакомили Инну с пограничниками, Кузя так и сказал:

— Она у нас молодец в отряде.

— Точно, — поддержал его Слободкин. — Подписываюсь.

— Насчет Инны?

— И насчет отряда. Как это мне раньше в голову не пришло? Мы ведь и вправду отряд, а теперь тем более. Сила!

Рассказали друг другу о своих мытарствах. Подсчитали «штыки» и решили действовать сообща. Даже название отряду придумали. Так пограничники Кастерин и Васин стали бойцами лесного отряда «Победа».

Очень поправились им затея с тросом. Они все время поторапливали парашютистов:

— Давайте вместе попробуем.

Трос лежал недалеко от шоссе, замаскированный, как самое секретное оружие. Кузя показал его новому пополнению, объяснил, как вязать, как натягивать. Стали вести усиленное наблюдение за Варшавкой, выбирать место, где и когда лучше устроить засаду.

Обстановка между тем усложнялась. Немцы с каждым днем становились все осторожнее, и застать их врасплох было трудно.

А листовки отряда «Победа» и подавно насторожили фашистов. Идея пришла на ум Кузе.

— Я бы сам сочинил, да нет у меня таланта такого. Вот, может быть, Инна?

Думали, что откажется, но Инне даже польстило доверие. Скоро был готов текст первой листовки. В ней было сказано: «Уходите, фашисты, с Варшавки! Не уйдете — будем бить вас днем и ночью. Отряд «Победа».

— Я ж говорю, — подбодрил засмущавшуюся Инну Кузя, — не девочка, а целое управление пропаганды и агитации!

Теперь надо было как можно скорее приступить к делу.

Тут уж проявился Кузин талант. Он аккуратно

нарезал кусочки березовой коры. Из-под его ножа так и сыпались ровные белые прямоугольники, мало чем отличавшиеся от настоящей бумаги. А огрызок карандаша отыскался у Васина.

За один день было изготовлено несколько десятков листовок. Их разбросали по шоссе на участке длиной километров в пять. Васин, которому на другой день было поручено проверить «засеянный» листовками участок, вернулся с задания довольный.

— Ну как? — кинулись к нему все с расспросами. — Ключуло?

— Еще как!

— Все в цель попали? Ни одной листовки на всех пяти километрах?

— Не то чтобы ни одной, но наши почти все в яблочко.

— Толком говори, Васин!

— Какие все стали нервные! Война только-только начинается, а мы уже нервишки поразмотали.

Васин запустил руку за пазуху, вытащил оттуда чуть покособившийся лист бересты.

— Читайте!

— Так, значит, лежат? Зачем же ты поднял, чудило?

— Читайте, вам говорят! — гаркнул Васин.

Кузя взял листовку из рук пограничника, прочитал вслух:

— «Смерть фашистским захватчикам! Партизанский отряд «Удар по врагу».

Вот ведь что, оказывается, происходит! Люди не выпустили оружия из рук — собираются в лесу по двое, по трое, становятся отрядами...

Воодушевленные этим, решили во что бы то ни стало сегодня же повторить операцию с тросом.

Но на шоссе от зари до зари несли патрульную службу немецкие бронемашины. Пришлось действовать со всеми предосторожностями. В темноте натянули трос, стали дожидаться рассвета. Как только немного рассвело, вышли из засады — проверить, хорошо ли все сделано. Тут же последовал мощный пулеметный удар: на обочине, замаскированный ветками, всю ночь, оказывается, стоял броневик.

Пули зацокали по асфальту. Ребята кинулись прочь с дороги, но не врассыпную, что было бы самым правильным, а все скопом, на крутой песчаный взгорок, будто их никогда ничему не учили... А пули, конечно,

за ними — по тому же взгорку. Добежали до гребня, повалились наземь. Оглянулись из-за укрытия, видят — распят Васин на песке, как на кресте. Руки в стороны, из зажатых кулаков песок струйками льется. Гимнастерка уже черная от крови, а немецкий пулемет все надрывается.

Потом все стихло. Броневи́к бесшумно тронулся с места. Кузя, Слободкин и Кастерин из всех автоматов открыли огонь по колесам удалявшейся машины. Но она так и ушла невредимой.

Оттащили Васина в лес. Думали, ранен только, придет в себя. Но как ни хлопотали над ним, Васин не подавал признаков жизни.

— Глупо все как получилось! — сокрушенно сказал Кастерин. — С того света вроде выбрались, своих повстречали — и вот поди ж ты... Сами, конечно, виноваты — подставились.

— Сами, — согласился Кузя. — Простить себе не могу.

— А ты-то тут при чем? — спросил Кастерин.

— Он у нас за старшего, — пояснил Слободкин.

— А... Тут все хороши. Раззявы, — в сердцах махнул рукой Кузя.

Целый день они были под впечатлением случившегося. Что бы ни делали, о чем бы ни говорили, мысль все время возвращалась к Васину, к тому, как нелепо он погиб.

Даже еще одно новое пополнение, с которым наутро вернулся Кузя из разведки, не сразу подняло сникший дух в отряде. А привел с собой Кузя не кого-нибудь — двух бойцов с голубыми петлицами.

Они рассказали, что произошло после того первого ночного боя в лесу, как развивались дальше события. Сражение с немецким десантом было выиграно. Вражеские парашютисты были рассеяны, частично взяты в плен. От пленных узнали планы немецкого командования. Эти ценнейшие сведения передали в округ. Получили приказ: всем выходить на излучину Днепра.

Эти двое, которых привел Кузя, «подметали», как они выразились, последние крохи: прочесывали леса, извещая парашютистов о месте сбора.

— На ловца, как говорится, и зверь бежит, — сказал один из них. — Ну, вам все ясно? Мы дальше топтали.

— Зверь, говоришь? — переспросил Слободкин,

оглядев товарищей, и впервые заметил, что вид у всех действительно был самый что ни на есть зверский: обросли, обтрепались, исхудали. Особенно нелепо выглядел Кузя. Борода у него росла не по дням, по часам.

— Фотографа не хватает, — сказала Инна. — Остался бы на память портрет.

Что-то было грустное в этой шутке. Или Инна немного влюбилась в Кузю и чувствовала, что надвигается расставанье, или обстановка действовала?

А расставанье в самом деле приближалось. Вот выйдут к излуине Днепра, предстанут пред начальством, получают благодарность за то, что в лесу времени зря не теряли, а еще скорей — нагоняй за то, что так медленно собирались, — и айда на переформировку, переэкипировку и прочее «пере» — куда-нибудь за тридевять земель.

Инну тоже поджидали перемены. Вот-вот отыщется ее медсанбат или объявится новый, которому она позарез необходима, который без нее и в войну вступить по-настоящему еще не решился.

Но все-таки, что бы ни случилось, они долго еще будут вспоминать свою лесную жизнь, полную невзгод и лишений, но в то же время и прекрасную: ведь именно здесь, в белорусском лесу, в белорусских болотах, учились они бить врага.

— Верно я говорю, Кузя? — спросил Слободкин.

— Про что?

— Про лес, про болото.

— Верно. И все же обидно. В своем краю, в своей стране идем по лесам, крадемся, как воры, с голоду подышаем, собственный ремень изжевать готовы. Не обидно разве?

— Обидно. И все же смерть идет по пятам за ним, не за нами.

— Смерть — она дура и потаскуха — за кем угодно увяжется.

— Это тоже верно.

— Кузя, что с тобой? Ты не рад, что ли? Мы же скоро к своим выходим.

— Что к своим выходим, хорошо. А все остальное...

— Что остальное?

— Далеко слишком немец пропер.

— Насколько пропер, столько ему и обратно топать.

— Это точно. Но до той поры мы еще нахлебемся.

«Скорей, скорей к излуцине Днепра, к своим», — поторапливали они самих себя и Кастерина. «Медицину» торопить не надо было — попевала за своими «хромушами».

Наступила пора оторваться от Варшавки. Но напоследок они решили еще раз оставить немцу память о себе.

Кузя начал развивать возникший у него план:

— Заляжем у самой дороги и будем ждать...

— Мотоциклы опять, что ли? — перебил Слободкин.

— Я твои мысли все наперед знаю, — сказал Кузя. — Про обоз размечтался? Скажи, угадал?

— Хотя бы и про обоз.

— Ну и я же о нем. Чтобы и хлеба, и зрелищ. Так вот, значит, заляжем и будем лежать, пока обоз не появится.

— Долго ждать придется. А курсак-то пустой.

Кузя рассердился:

— Курсак пустой не у тебя одного.

— Правильно! — вмешалась Инна. — Не будем хныкать.

— Дальше давай, Кузнецов, — решительно сказал Кастерин и строго поглядел на Слободкина. — Кузнецов у нас старший?

— Допустим.

— Не допустим, а старший. Слушай! — Кастерин слегка толкнул Слободкина в плечо. — А ты говори, — глянул он на Кузю.

— Я сказал уже: выберем место, заляжем, будем караулить обоз.

— Насчет места ты не сказал, — буркнул Слободкин.

— Вот это совсем другой разговор! — опять хотел толкнуть его Кастерин.

Слободкин инстинктивно отшатнулся.

— Тише ты его, — остановил руку Кастерина Кузя, — он ведь все равно не скажет, что у него чугун в боку. Конспиратор великий. Как себя чувствуешь, Слобода?

— Идите вы все к лешему! Про обоз давай...

Кузя объяснил, как представляет себе налет на немецких обозников.

— Я ж говорю — старший, — резюмировал Кастерин.

— Подходит,— согласился Слободкин.

Общими силами кое-что уточнили.

— Тут самое главное — не зарваться,— сказал Кузя.— Как говорится, вовремя приплыть, вовремя отчалить.

Когда начало темнеть и Инна закончила ежедневную перевязку, вышли из леса, подошли вплотную к шоссе, залегли в кустах. Договорились спать по очереди. Бесконечно тянулись часы ожидания.

— Ты почему не спишь? — шепотом спросил Слободкин Кузю.— Твой черед ведь.

— А ты почему?

— Мое время вышло уже. Я по звезде слежу.

— По звезде? Ты что, сквозь облака видишь?

— Вон там, на горизонте, светится одна.

Кузя на локтях подтянулся поближе к приятелю.

— Где?

Слободкин взял Кузину руку, показал ею на звезду, которая действительно еле теплилась на самом краешке неба.

От меня тоже видно,— подал голос Кастерин.

— Значит, так-то вы спите? — сказал Кузя.— А договорились ведь. Только «медицина» отдыхает, так получается? Ну, ей при всех графиках положено.

Полежали несколько минут молча.

— А звезды уже нет,— слышался девичий шепот.

— «Медицина»?!

— Не зовите меня больше так. Я такой же человек, как все.

— Ты прелесть у нас, Инка,— задумчиво сказал Слободкин.— Ты мне напоминаешь...

— Отставить! Подъем! — властно рявкнул Кузя.

Впрочем, и без его команды так на так бы и получилось — проснулась Варшавка. Загудела, залязгала — сначала вдалеке, потом ближе, ближе и скоро вся налилась железным громом...

Опять потерян был счет часам и минутам. Скоро солнце со всех сторон начало обшаривать жидкие кусты, в которых спрятались четверо. Пекло нещадно, без перерыва, без жалости. А на небе, как назло, ни единого облачка. Только комариная ряска между землей и солнцем. Все опухли опять до чертиков. Пожалели даже, что так близко к дороге легли, но в лесок перебраться уже не было никакой возможности, хоть и недалеко он был и все время манил своей тенью.

— А какие у немцев обозы? — наклонившись над самым ухом Кузи, спросил вдруг Слободкин.

Кузя наморщил лоб. «В самом деле, какие? Конные? Вряд ли».

— На машинах, ясное дело, — видишь, танки как шпарят. На конях разве угонишься?

— Но разведчики у них ведь верхом, ты же знаешь.

— Да-а... Ну, не будем гадать, посмотрим.

Когда солнце было совсем высоко, на шоссе вдруг неожиданно стихло. Наверное, добрых полчаса стояла полнейшая тишина, даже комары куда-то исчезли.

— Может, зря стараемся? — неожиданно громко спросил Кузю Слободкин.

— Тише ты, чертушка! — цыкнул на него Кузя. — Молчи и слушай.

— Я молчу.

— И слушай, тебе говорят.

— Ну, слушаю.

— Я слышу уже, — встрепенулась Инна.

Насторожились. Кузя привстал на корточки и тут же снова резко припал к земле.

— Обоз!..

Из-за поворота дороги прямо на них двигались крытые фургоны, в которые были впряжены гигантские рыжие лошади.

«Опять рыжие», — подумал Кузя и почему-то глянул на Слободкина. Тот неотрывно смотрел на фургоны и беззвучно шевелил губами.

«Неужели опять считает? — пронеслось в голове у Кузи. — Совсем забыл тогда у него спросить, помогает ли это, когда мурашки по коже. А ну-ка попробую... одна, две, три...»

Слободкин больно саданул его в бок:

— Соображаешь?

— Веселей так! — огрызнулся Кузя. — Десять, одиннадцать...

— Тише, чудик, кому говорят?

Он рывкнул это так, что передняя лошадь, которая была уже близко, нервно прижала уши.

— Раз, два, три... — Это Кузя уже не лошадей считал, секунды отсчитывал: пронесет или нет? — Сейчас будем хвост рубить, — сказал Кузя опять слишком громко.

Правда, этого уже никто не заметил: высокие кованые колеса высекали из выщербленного асфальта такой

гром, что можно было чуть ли не кричать. Об этом Кузя уже не успел подумать: кто-то из четверых не выдержал, дал первую очередь, хотя конец обоза еще не появился. Ну, а раз начал один, значит, все должны...

На какую-то долю секунды Кузе вдруг показалось — все пропало, бездарно и непоправимо. Все смешалось, спуталось. Но очередь вспыхивала за очередью, граната летела за гранатой, обоз разорвался надвое, потом обе его половины рванулись в разные стороны.

Рядом с засадой остались стоять два фургона. Ездовые, прошитые пулями, сидели в тех позах, в каких их застала смерть.

— Страшно... — когда все стихло, сказала Инна.

— Слушай мою команду! — крикнул Кузя. — Взять только самое необходимое. И живо, живо!

Далеко в лесу, когда пришли в себя и отдышались, Кузя спросил:

— Кто все-таки первый поднял эту заваруху?

— Паника не у нас была, а у них, — сказала Инна.

— Значит, ты?

— Во-первых, не я...

— Во-вторых? — не дал ей договорить Кузя.

Слободкин заступился за Инну:

— Победителей не судят.

— Вы зря всполошились, я, может, благодарность хотел вынести тому, кто первый начал.

— Ну ладно, сочтемся еще. Давайте барыши посчитаем, — деловито вставил слово Кастерин.

Кузя присел на корточки, извлек из-за пазухи и торжественно положил перед собой, как величайшую драгоценность, несколько банок консервов.

— А у вас что? Выкладывайте.

Оказалось, все, не сговариваясь, взяли одно и то же.

Кузя помрачнел:

— Или действительно голод не тетка, или мы самые настоящие дурни... Хоть бы пару автоматов еще на развод догадались...

Кузе не ответил никто. Голод в самом деле брал свое. Часть банок была тут же открыта, содержимое — уничтожено. Только после этого обнаружили, что консервы были необычные, таких еще ни разу никто из них не видывал.

— Ловко придумано, — покрутил перед собой пустую банку Кастерин. — Кузнецов, глянь-ка.

Тот внимательно осмотрел банку. На доньшке ее был укреплен небольшой граненый ключ, рядом имелось отверстие — точно по форме ключа. Кузя осторожно ввел ключ в скважину, повернул. Внутри что-то хрустнуло, зашипело, через минуту Кузя резко отдернул руку.

— Что такое?

— Горячая, как огонь.

Кастерин недоверчиво поднял упавшую банку и тут же отбросил:

— Ну и немец, ну и хитер! Заводная!..

Все сгрудились над диковинной банкой. Когда она немного остыла, Кузя вспорол ножом ее дно. На траву вылилась белая молочного цвета, каша, а за одним дном показалось другое.

— Все просто в общем-то, — сказал Слободкин. — Между одним и другим дном запаяли негашеную известь и обычную воду. Разделили их переборкой. Поворот ключа, вода соединилась с известью — получай, солдат, горячее блюдо. — Он протянул Кузе новую банку. — Испробуй.

Кузя отсоединил ключ, повернул его на пол-оборота в отверстие, консервы быстро разогрелись.

Спать легли сытые, довольные удачным налетом на немцев. Только Кузя, зарываясь в еловые ветки, проворчал свое командирское:

— По консервам-то мы спецы...

— Спи, спи, — успокоил его Кастерин. — Без жратвы тоже чего навоюешь!

Под утро пошел сильный дождь. Кузя проснулся первым, стал расталкивать лежавшего подле него Кастерина:

— Простудишься, все простудимся так. Буди ребят!

Кастерин вскочил, похлопал себя по промокшим бокам.

— Теплый дождик, пусть дрыхнут пока. А вот с этим что делать будем?

Он положил перед Кузей пачку картонных мокрых коробок.

— Что это? Галеты?

— Какие галеты! Ослеп, что ли?

Кузя взял в руки одну из коробок, повертел перед заспанными глазами и вдруг вскрикнул:

— Неужели?

— Наконец-то сообразил! Тол, самый настоящий.

Ты думал, солдат Кастерин ничего, кроме консервов, не узрел в фургоне?

— Я сам в суматохе одну тушенку хватал.

— Я тоже спешил, но про главное помнил... — продолжал он, бережно прижимая к груди мокрые коробки с толом.

Кузя готов был уже извиниться перед Кастериным, но тот вдруг испуганно засуетился:

— Огонь разводи! Живо!

— Ты что, спятил?

— Разводи, говорят! Если размокнет, его уже не высушишь, дьявола.

Кузя попробовал еще что-то сказать, но Кастерин почти кричал:

— Нам взрывчатка нужна, понимаешь? Сейчас просушить еще можно.

Кузя долго не мог распалить огонь — руки не слушались. Наконец из-под дыма над мокрыми ветками хвои показалось пламя. Кастерин набросал сверху валежника и аккуратно положил на него все пачки тола.

Кузя шарахнулся в сторону.

— Не пугайся, десант. Ничего не будет страшного. Подсохнет — и все, ручаюсь. Испробовано уже. Эх ты, вояка...

Это было уже чересчур. Кузя собрал всю свою волю и сел у огня рядом с Кастериным. Он ясно видел, как покоробился и обгорел картон на толовых шашках, как стали обнаруживаться их желтоватые, почти белые на огне углы...

— Так и не взорвутся? — недоверчиво спросил он Кастерина.

— Взорвутся, когда надо, а сейчас подсохнут — и все. Но пересушивать тоже не надо.

— А что?

— Пересушивать опасно, — сказал Кастерин и голой рукой выхватил из огня одну шашку. — Эта готова, держи.

Кузя взял ее, перекидывая с одной руки на другую, отполз в сторону. Но Кастерин позвал его обратно.

— Сюда вот клади, — показал он на золу возле самого костра. — И держи вторую.

— И вот это тоже, — раздался Иннин голос.

На руке Кузи повисла небольшая, со школьный портфельчик, сумка с красным крестом. «Медицина» тоже, оказывается, не об одних консервах думала.

Перед тем, как совсем оставить в покое Варшавку, они еще раз подошли к ней вплотную. Кузя снова нарезал бересты, Инна написала новый текст листовки, в которой говорилось, что немцам скоро придет конец.

— Они теперь этот почерк знают, — похвалил девушку Кузя.

— А что, разве неразборчиво? — не поняла его Инна.

— Нет, нет, вполне разборчиво.

Кузя перевязал пачку листовок стеблем осоки и метнул ее из кустов на дорогу. Листовки веером рассыпались по асфальту.

— Точность снайперская, — сказал Кастерин.

— Не зря бабы нас картошкой и хлебом кормили, — поглядев на Кузю, сказал Слободкин.

— Картошкой и хлебом? — переспросил Кастерин, забывший вкус и того и другого. — И как получается? Есть можно?

Сказал и громко сглотнул.

— Проходит, — вполне серьезно ответил ему Кузя. — Что-то мы про жратву разболтались? А? Надо срочно сменить пластинку. И пошли, братцы, пошли!

Двинулись в путь. Решено было наказывать того, кто первый заведет разговор о еде. Шли молча, о голоде не говорили и даже не думали. Думали совсем о другом — о том, что с каждым шагом все ближе излучина Днепра, а там — свои. Встретят, накормят, развяжут кисеты...

— Накормят? Кто это бухнул, признавайся! Ты, что ли, Кастерин?

— Последний раз. Больше не буду.

— Дать ему два наряда вне очереди.

— Сбавить ему вдвое за честность...

Но постепенно все приумолкли. Лесные скитальцы уже не шли, а тащились по топким комариным болотам, все больше теряли силы. У Слободкина нестерпимо болело ребро, не давая ему покоя ни днем ни ночью. Кузе не давала передышки нога. Инна пробовала хоть как-то облегчить страдания ребят, но ничего не могла сделать. И трофейные медикаменты не помогали. Ей оставалось только одно — утешать ребят. Опять был потерян счет времени, как после того, первого, ночного боя в лесу.

И вдруг... В какой день это случилось? В какой час? В какую минуту? Этого никто из них не мог потом припомнить.

В воздухе еще и не пахло Днепром, к излучине которого они так упорно продирались, еще гнилой запах бесконечных болот дурманил до тошноты и без того кружившиеся головы, когда в одной из чащоб отряд «Победа» набрел на взвод десантников. На целый взвод!

Увидев перед собой около трех десятков бородачей с голубыми петлицами, счастливые скитальцы кинулись навстречу однополчанам, чтобы скорее обнять их, расцеловать. И обняли и расцеловали. И только тогда поняли, что взвод-то это не какой-нибудь — их родной, собственный! Подраненный, обтрепавшийся, обросший бородами чуть не до самого пояса, но именно свой, долгожданный, кровный взвод! С оружием. С командиром во главе.

— Ребята! Гляньте! Кузя! Нет, вы только гляньте! И Слобода-борода в придачу! — неслось со всех сторон.

— Вы ли это, ребята?..

— А вы?

— И мы — мы.

— Ну, если так, зачисляю вас на довольствие, хотя никакого приварка не обещаю пока.

Это сказал уже не кто-нибудь — сам Брага! И, косо вглянув на Инну и Кастерина, строго спросил:

— А это что за народ? Какого полка люди?

— Нашего, товарищ старшина, — ответил Кузя. — Сейчас все объясним. Полк не полк, но лесной отряд перед вами, «Победа» называется. А вы живы-здоровы, товарищ старшина?

— Полагается, Кузнецов, здоровым быть и даже живым. Сколько не виделись? Почти месяц? Около того. Ну, хватит, кончаем лесную жизнь, к своим выходим. Подтянуть ремешки, и вообще вид, внешний вид мне дайте! Как чувствуете? Сапоги, я вижу, разбили.

Нет, месяц положительно маленький срок, чтобы люди изменились. Особенно такие, как Брага.

— Товарищ старшина, а дальше-то как? — спросил Кузя.

— Из штаба распоряжение — нажать на все педали. По пути в бои больше не ввязываться, только разведку вести, брать «языков».

И вдруг совершенно неожиданно достает Брага из вещмешка пару сапог.

— А ну-ка примерь.

И Кузя — самый счастливый человек на свете:

— Спасибо, товарищ старшина!

— Скажи спасибо господу богу.
— Ну, спасибо тебе, господь бог, если такое дело.
— Теперь береги. Других не будет до самого конца войны. Ты знаешь, на сколько одна пара дается?

— Знаю.

— Носи аккуратней. Здесь — с кочки на кочку, а в Берлине асфальт. Да и тут есть дороги хорошие...

Рад-радешенек Кузя, ходит от одного человека к другому.

Подошел к Инне, похвалился. Она обнову одобрила.

— А колено ваше как? Сильно болит?

— Сейчас почти не болит.

— Ах, сейчас? — делает Инна ударение на этом слове. — А говорили — совсем не болит.

— Сейчас совсем не болит.

— Нечестно это.

— Честно — не болит уже.

— Ну, вот-вот — уже! О чем я и говорю.

— Не сердитесь. Ведь ваша профессия такая гуманная.

Они незаметно для себя перешли на «вы».

— Именно поэтому и сержусь. Такими вещами не шутят. Слушаться будете?

Кузя не успел ответить. Появился опять старшина:

— Слушай мою команду! Через десять минут выступаем.

Глава 9

Самая тяжелая вещь в отделении — РПД. Ручной пулемет Дегтярева. Сначала килограммов шесть или семь в нем, не больше. Потом, с каждым новым километром становится все тяжелей, ртутью наливается ствол до отказа, ртутью — диски, ртутью — трубочки сошников. Антапки и те по полпуда каждая! И вот на плече у тебя уже целое орудие вместе с лафетом. А сколько в тебе лошадиных сил? Нисколько. В тебе и самых обычных-то, человеческих, совсем не осталось. И у Прохватилова их больше нет, у знаменитого первого номера. «Достань воробушка» и в кости широк, а поди ж ты, выдохся. Кирза о кирзу шварк-шварк, вот-вот совсем остановится. Останавливается. Остановился уже.

— Больше не могу. Кто следующий? Слобода?

— Слобода.

РПД, кажется, лег ему прямо на кость несносной своей железякой и еще подпрыгивает. Ну почему, почему он подпрыгивает при каждом шаге и отдается болью в раненом боку? Поглядеть бы сейчас на этого конструктора товарища Дегтярева...

— Потерпи, Слобода, не ругайся. Вот влезем сейчас все-таки в бой, тогда не будет цены этому «дегтяреву». Боевое охранение уже залегло...

— Прохвятилов! — Слободкин тащит РПД навстречу первому номеру.

А он уже тут как тут. Выбирает самое удобное место, как Брага его учил. Чуть в стороне и на взгорке. Очереди короткие. Прицельные. Только короткие и только прицельные. Патроны все на счету, каждый должен быть послан точно. Иначе, как говорят немцы «капут гемахт»! Вон их сколько лезет. Пронюхали, выследили...

Сложный опять будет бой. Хоть и разреженный, а все же снова лес. Зенитками деревья стоят. Но ребята уже пообвыкли малость. Того уж теперь не будет, что в первом лесном бою, когда десант на десант. И не ночь еще. А если бы даже и ночь? Теперь уже знают, что к чему.

Прохвятилов позицию выбрал точно. И второй номер у него под бочком. И гранаты лететь будут правильно, если дело до них дойдет. Кажется, дойдет все-таки: левый фланг не оттянулся вовремя. Теперь терять и секунды нельзя. Давай, карманная артиллерия, выручай, столько раз ведь уже выручала. РПД тебя поддержит. А ну, Прохвятилыч, вынеси-ка его вон туда, оттуда тебе и вовсе все видно будет. Короткими перебежками или ползком, по-пластунски. Все равно как, только скорей. Не тяжело тебе? Не тяжело. В руках игрушка, не пулемет. Слава товарищу Дегтяреву!

И Прохвятилову спасибо: на самом пределе был, но успел. И второму номеру спасибо.

А вот о правом фланге забывать тоже нельзя, за правый тоже все головой отвечают. Вон что тут случилось: гранаты -- на левый и РПД -- на левый. А немец, он тоже не дурак, каждый промах твой видит, оплошность всякую.

И опять Прохвятилов ползи, да живей, и чтоб диски твои не отстали. Не отстанут! Под вторым-то номером кто? Слобода под вторым. А ну-ка разряди! Разряди, Слобода, чтоб знали...

Прохватилов что-то очень плотно прижался к земле. Широко зашарил большой белой рукой по звенящим гильзам.

— Что с тобой, Прохвятилыч?

Не ответил. Не расслышал, что ли? Но пулемет ведь затих.

— Прохватилов!..

Наконец отозвался:

— Разряди, Слобода, чтоб знали, гады!

И опять тонко звякнули гильзы под белой рукой.

Стал Слободкин за первого. А вторым будет кто? Кузнецов? Этот может за любого сработать. Да и каждый сможет, только это уже не на стрельбище, тут команды могут не дать и скорее всего не дадут никакой команды.

— Не спеши! — Это уже Кузя возле самого уха Слободкина.

— Бей короткими, слышишь, короткими...

И замолк.

Слободкину некогда ни спросить, ни оглянуться.

— А ну-ка позволь. Я эту механику тоже знаю. — Это Кастерин.

Сколько длился этот бой? Час? Или день? Или два, может быть?

Ручной пулемет Дегтярева снова налился ртутью — и ствол, и диски, и сошники. Без Прохватилова стал он еще тяжелее. Таким тяжелым не был никогда. А тащить еще далеко. Где она, эта излучина? И что еще ждет там? Неизвестно. Может, правда, крылышки? Пора уже в бой настоящий, парашютный, когда действительно коршуном на врага. С малой высоты, пусть совсем малой, той, страшной. Теперь овладели ею. И «троллейбус» пусть пронесется над головами фашистов. Наделает шуму. Пора, пора...

Вчера пленного допрашивали. Наглец наглцом. Ждали — пощады запросит. И не подумал. Допросили чин чином, записали все.

— Штее ауф! Собирайся!

Встал, закурить захотел. Дали ему махорки. Задымил, сел на пенек — нога на ногу.

— Можно спросить?

— Давай.

— Почему отступай русский?

— Что-что?!

— Отступай почему? Столько силы, столько каро-ших зольдат...

Кто-то не выдержал:

— В расход его — и все тут! Ишь какие разговоры ведет!..

— Нет, нет, пускай скажет. Очень даже интересно, что они думают.

— Почему отступаем, говоришь? А договор у нас с кем? Ну, отвечай!..

Немец вдавил каблуком в траву недокуренную па-пиросу, и злая усмешка перекосила его, и без того косорылого.

— Договор... Мы и вы зольдат. Мы и вы...

С каждым словом все откровеннее, все циничнее. И вдруг перешел на чистейший русский:

— Летчики ваши отважные, а самолеты ваши были...

Тут ребят разобрало совсем:

— В расход его!

— Нечего церемониться!

Отвели в сторону. Одной пули хватило бы, не гля-ди, что верзила такой, но кто-то разрядил чуть не всю катушку. Чтоб на душе полегчало.

Может, он и правду сказал, что в договор тот слишком верили? Может, верно насчет самолетов?.. Отставить! Сейчас бы парашют за спину — и айда! По двадцать человек на каждую плоскость. Можно и по двадцать пять. И — пошел! Теперь бы только глядеть на штурмана, глаз не спускать. Флажок! Потом другой! Хорошие были самолеты. Были? Почему были? Впрочем, конечно, были...

Ну и пленный попался на этот раз! Сколько брали уже — один на другого похож, а этот перебудоражил сердца. Такого надо бы на развод оставить, не пленный, а находка. Сатанинская сила в ребятах проснулась.

К самолетам, скорей к самолетам!

— Плохие? Были, говоришь? Мы еще покажем тебе!

Шли ночью и днем. Только ветки по глазам. Только каждый день новая дырка на ремне. И подошвы от кирзы в болотах поотмокали.

«К Днепру, к Днепру, к Днепру!» — стучат сердца... Или это с голодухи в висках стучит?

Безлюдные кругом места. Ни своих, ни чужих. Когда своих нет, плохо. Когда немца нет, еще хуже:

значит, в слишком глубоком тылу. Впрочем, свои кое-где еще попадают. Вот это кто на поляну вышел, заросший, страшный?

— Свой?

— Братцы!

— Откуда такой?

— Из земли я, хлопцы, верно слово, из земли... —

И засмеялся дико так.

Наскребли махорки.

— Да успокойся ты, Христа ради. Говори, откуда?

Покурив, рассказал.

Отстал от своих. Отощал, в деревню зашел. А в деревне немцы. По-русски к нему:

«Командир?»

«Рядовой».

«Коммунист? Партизан? Комиссар? Признавайся».

«Солдат я».

«Комсомол?»

«И не комсомол».

«Врет он все! Расстрелять эту русскую сволочь!..»

Руки за спину. Повели. Далеко вести поленились. Метров триста самое большое. Лопату в руки.

«Конай».

«Зачем?»

«Сам себе могилу».

«Могилу?.. Сам себе?!»

Поплевал на ладони и начал. А солнце в спину светит, показывает тенью, сколько ему, приговоренному, места нужно. Никогда не думал, что такой высокий. В строю всегда на левом фланге стоял. Глядит на тень и все копает, копает. На один штык, на два штыка в землю ушел.

«Карашо, рус, очень карашо. Будет потом тебе сигарет».

А сами уже закурили. Недалеко конвоиры стояли, рядом совсем, дымок до него долетел. Тут голова и закружилась. Присел на край ямы. Живой еще, а ноги в могиле. И закицело внутри. «Нет, гады, нет, так просто не захороните!» Встал, опять поплевал на ладони — и еще на один штык. А сам все на немцев глаз. Покуривают, разговаривают, на русского внимания не обращают уже.

— И откуда только у меня храбрость взялась! Вынул из песка лопату, отряхнул и... по каске, по каске, по

другой! И — в лес. В чащобу самую. Вот и все, хлопцы, весь сказ, верно слово...

И опять засмеялся — тихо и жутко.

Жутко стало на душе и у всех, кто слушал.

— Нутро надорвалось с того дня, — дотронулся он до груди. — Жгет и жгет днем и ночью.

Старшина положил руку ему на плечо:

— Идти можешь?

— Могу еще вроде.

— Тогда шагай помаленьку. Если с духу собьешься, мне скажи. Привалы у нас редко.

— Не собьюсь.

Тронулись дальше. Много людей, а дума у всех одна: о только что услышанном.

Кузя оттер Слободкина на ходу плечом в сторонку и говорит:

— Я знаешь, что вспомнил?

— Ну?

— Флаг тот на посольстве в Леонтьевском.

— Опять? Флаг — это пустяки.

— Началось с небольшого вроде. Захотел немец, чтоб перед фашистской тряпкой головы мы склонили. Теперь он желает, чтобы мы в яму сошли на его глазах. Молча, безропотно. Да еще яму ту самую вырыли. До какой же степени озвереть надо, чтобы спектакли такие разыгрывать! — Кузя замолчал, чуть отстал от Слободкина, потом снова с ним поравнялся. — И еще знаешь, о чем подумалось?

— О чем?

— Надо было тогда, в Леонтьевском, не просто плюнуть и мимо пройти.

— А что ты мог один-то?

— Почему один? Нас много шло — улица, Москва целая!

— Все так, Кузя, но ведь договор у нас был. Обязательства были.

— Я так и знал! Месяц воюем, а не научились ничему еще. Ну что ты мне про договор этот зудишь? Немец к Москве, говорят, рвется, а мы все о договорах вспоминаем.

— Во-первых, до Москвы его никто не допустит.

— Согласен.

— Во-вторых, ведь не мы нарушили договор. Мы свято его соблюдали.

— «Свято», «свято»! Ты солдат или Христос?!

— Мы люди.

— Опять началась политграмота! Да война же идет, война.

Кузя взволнован до такой степени, что спорить с ним невозможно. Слободкин и не спорит больше.

— Ну а насчет спектаклей ты прав. Спектакли он разыгрывать любит.

— Точно.

Кузя становится самим собой, к нему возвращается его обычное спокойствие. С таким человеком согласишься по любой трудной дороге шагать. По любой самой трудной, бесконечной дороге. Вроде этой вот, например, что к излучине Днепра ведет. Сколько дней уже, сколько ночей! И сколько еще осталось? Еще столько? Или полстолька?

— Четверть столечка нам топать еще, — смеется Кузя.

Смеется, сам еле стоит, а смеется так заразительно, будто ноги не стерты в кровь, будто и в помине нет никакого ранения.

— Еще столько вот, полстолечка, четверть столечка еще!..

Это слышит и подхватывает Брага. Он вообще всегда все слышит и видит, что творится вокруг, на все мгновенно реагирует, а пропустить мимо ушей острое слово просто не в состоянии.

— Одним словом, ногой поддать, хлопцы. А чтобы еще короче было, запевай любимую. Только про себя и не все сразу.

Шутка передается из уст в уста, докатывается до каждого самого отставшего, еле плетущегося в хвосте. Колонна движется быстрее — дотягивает до следующего привала.

Вот он, привал. Как подкошенные рухнули бойцы, где застала их команда. Даже Брага глубоко впечатался в высокую траву. Комара и то отогнать не может. Десять минут полнейшей тишины. Но как только поднялись, зашагали, Брага опять за свое:

— Так где же любимая, хлопцы? Или уши мне в болоте позаложило?

— Не заложило, товарищ старшина, — в тон ему отвечает Кузя.

— А шо ж тоди?

— Поем, как приказано, про себя и не все сразу.

— Но про махорочку?

— Про нее, конечно.

— Больше вопросов нет.

— А где бы, товарищ старшина, в самом деле махорочки?

— Это там, хлопцы, там! Все будет — и самосад, и крылышки, и бой настоящий, наш, прямо с неба в самую кашу!

— Вашими устами да мед бы пить!

— Почему моими? Мед можно любыми устами. Но я сейчас не о меде думаю — простой ключевой бы отведавать, а то всё кофе да кофе, — старшина занес надо ртом мятую-перемятую баклажку с черной болотной жижей, — харч невеселый. Но я знаю, кому жалобу писать.

— Кому?

— Мне и пишите: я старшина, за все в ответе.

Улыбнулся солдат, а улыбнулся — легче стало солдату, бойчее ноженьки зашагали.

Даже Слободкин мрачные мысли свои, кажется, отогнал. Не совсем, конечно, куда от них денешься? Хоть бегом беги — на пятки наступят. Все о том — где его Ина сейчас? Что с ней? Сердце стучит все тревожнее. То письма, письма, письма с каждой почтой — и вдруг сразу ни строки целый месяц. Это пострашнее всякой болотной жижи. Жижу долго тянуть можно, а такое вот сколько выдержишь? Еще месяц? Два? Страшно подумать даже. Лучше не думать совсем. И Слободкин шагает, шагает, шагает — не думает больше об Ине. Чего ему о ней думать сейчас? Легче станет? Не станет. Сколько ни думай, ничего не изменишь.

...Может, уехала в деревню? К родным? Наверняка уехала. Сейчас она в безопасности. Ходит в ночное небось. Она человек трудовой, все умеет. Не пропадет. А может, в госпитале? Медсестрой? Или на завод пошла? Учеником токаря или слесаря. Стоит у станка, рассчитывает шестеренки, резьбу резать приспособляется. Ну уж, так сразу и резьбу! Сначала будет гайки гнать, учиться резцы затачивать, до резьбы когда еще дело дойдет! Резьба — самая сложная штука. Ничего трудней не придумаешь. Или чугуны точить — адова работенка! Резцы садятся один за другим. Не женское это дело. У Ины руки нежные, узкие, кожа на них белая, тонкая, чуть заденет, бывало, в саду, за

малейшую веточку зацепится — уже кровь. Нет, с такими руками чугун не поточишь...

Идет Слободкин, думу думает — о том о сем...

Ну вот о лесе, например. В лесу всегда хорошо. Даже сейчас, в эти дни. Идешь — от палящего солнца скрыт и от самолетов тоже. Даже теперь покойно в лесу. Будто и нет никакой войны, будто и не было. Просто двинулись ребята в поход. Идут, любят — березы вокруг стоят красивые. Тонколистые, нежноручные, белокожие...

Какие, какие? Нежноручные? Белокожие? Нет, о лесе тоже нельзя. Лучше еще о чем-нибудь.

И не знает Слободкин, что за тридевять земель отсюда, в другом лесу, идет сейчас девушка. Руки у нее нежные, узкие, кожа на них белая, тонкая. Идет, напевает грустную песенку. И вдруг — что это? Поднесла к глазам ладошку, а на ладошке кровь — одна-единственная рубиновая бусинка. Но вот она пухнет, растет, еще миг — и побежит струйка. Девушка подносит ладошку к губам, оглядывается на подруг и быстро слизывает капельку. «Вдруг подумают: «Неженка, белоручка», — разговаривает сама с собой. А ведь еще пилить и пилить, делянку только-только начали. И все дуб, дуб, дуб. Железо, а не дерево. И норма большая, и бригадир говорит, что спиливать надо под самый корень, не так, как вчера.

И гложет одна неотступная, неотвязная мысль: где он сейчас? Что с ним? За месяц ни одного письма, ни единой строчки, и писать теперь некуда.

Судьба забросила Ину Скачко в далекие края так неожиданно, что и опомниться не дала.

Вчера работали в лесу первый раз. Сказали, что дрова нужны детскому саду военного завода. Но и без этого понятно: сил не жалеи. И не жалели. Поэтому сегодня и нет их совсем. С непривычки. Спина не гнется, руки не держат пилу, ноги подкашиваются. В бригаде двенадцать девчонок. Бригадир тринадцатая. Все на заготовках впервые. Бригадир только делает вид, что поопытнее других, а сама как глянула на делянку, так и ахнула:

— И все это нам?!

— Кому же? — как умели, успокоили подружки. — Нам да тебе, если не побрезгуешь черной работой.

— Я тоже пришла не кашу варить.

— Тем более что варить не из чего, — опять утешила бригада бригадира.

Ина слушала и не слышала. Работала не хуже других, старалась, но мысли были далеко-далеко. Там, где милый ее сейчас. Остановится на минуту, разогнет занемевшую спину и почему-то представит себе такой именно лес, с такими же вековыми дубами, и дружок ее, укрытый и защищенный ими, стреляет по врагу. Оттого, что защищен и укрыт, теплее делается на душе. Во всяком случае, можно терпеть разлуку. Собраться со всеми силами и терпеть. Сколько ее еще будет, этой войны? Много? Много, конечно. Только хорошее быстро проходит, плохое долго тянется.

— Это что за философия? — спросила Ину подруга, когда та поделилась с ней невеселыми мыслями. — Ты это вычитала или сама?

— Сама.

— Ну и зря. А я во всем стараюсь находить хорошее.

— И в войне тоже?

— Не в войне, конечно. Не такая я глупая. А о войне, если хочешь, я так скажу: ей скоро конец будет.

— Хорошо бы.

— Точно тебе говорю, и оглянуться не успеем. Я об этом даже стихи сочинила. Хочешь?

— Стихи? Интересно!

— Вот послушай.

Девушка отложила в сторону пилу, поднялась во весь рост, оправила смятое ситцевое платье, почему-то зажмурилась и прочла только две строки:

Сюда и свисту пуль не долететь,
Но весть о мире долетит мгновенно.

Ина посмотрела на нее удивленно и немного разочарованно:

— И это все?

— Все пока.

— А о чем это?

— Как о чем? О нашем лесе, о том, что ждать нам, может быть, не так долго. Непонятно?

— Теперь понятно. Не под рифму только.

— Рифма будет. Это начало самое.

— А ты про любовь можешь? — Ямочка, вдруг возникшая на щеке Ины, медленно поползла под прядку волос возле уха.

— Про любовь?

Ина повторила:

— Да, про любовь. Красивую и высокую. Про которую только в стихах и можно. Ты кого-нибудь любила?

— Что ты, что ты! — испуганно воскликнула сочинительница.

— А я вот, представь...

— Честное слово?

— Да.

— Глупости говоришь. Этого не может быть. Кто же он?

— Ты не знаешь его и знать не можешь. По имени Сергей, по фамилии Слободкин.

— Как, как? Слободкин? Очень смешная фамилия, по-моему!

Ина обиженно отвернулась.

— Ну не сердись! Не хватает еще из-за какого-то Слободкина отношения портить.

— Я запрещаю тебе так говорить о нем. Слышишь? Он сейчас, может быть, в самолете на врага летит, а ты...

— Ты бы так сразу и сказала.

— Я и рта не успела раскрыть — ты со своими дурацкими шуточками. Неужели все поэты такие?

— Прости, пожалуйста, действительно глупо вышло. Летчик, что ли?

— Парашютист...

Последние слова девчат тонут в визге пилы, которую они с остервенением начинают таскать по шершавой коре нового дуба. Пила подпрыгивает, вырывается из рук и никак не хочет слушаться.

Противно визжит пила, скачет. А сколько еще дубов! Стеною стоят. Один другого коренастей и крепче. Один другого железней.

Ина хочет сказать подруге, что Сережа ее хороший, что лучше его нет никого на свете, но пила нашла, наконец, то место, которое давно бы ей надо найти, — вгрызлась в сырую неподатливую древесину. Теперь не до слов уже, ни до чего. Только ровный, чеканный такт. Сильный рывок на себя, потом мгновение отдыха, пока пила бежит к напарнице. Потом еще рывок. И еще мгновение отдыха. И так без конца, пока глаза не защиплет от пота...

После такого не до стихов. Умучена вся рабсила. Крепко спит в кособоком шалашике. Даже на рассвете

не просыпается, когда холодный туман заползет во все уголки леса и выпадет росой на каждой былинке.

Утром, едва открыв глаза, Ина вспоминает стихи:

Сюда и свисту пуль не долететь,
Но весть о мире долетит мгновенно...

— А ты знаешь, — шепчет она подружке, — все-таки это неправильно. Как бы далеко мы от фронта ни были, он для каждого из нас близко, рядом совсем. Зажмурь глаза и услышишь, как пули свистят. Зажмурь.

— Зажмурила.

— Свистят?

— Вот ты, Инка, действительно поэт. Стихи писать пробовала? Признавайся. У тебя должно получиться.

— Если бы я писала, то только о любви.

— К Слободкину?

— Тише ты!..

— Не пугайся, все спят еще. А фамилия в общем-то и не такая уж смешная. От слова «слобода» происходит?

— В одном из последних писем он признался мне, что в роте его все так и зовут — Слобода.

— Его, наверно, любят в роте.

При слове «любят» ямочка на щеке Ины снова медленно поползла под прядку волос, сквозь которые просвечивало заалевшее ухо.

— Не знаю. Наверно...

— А писем, значит, нет?

— Новых нет с того самого дня, а старые я все с собой привезла. Полчемоdana, согласишься?

— Что-что? Полчемоdana писем?! Счастливая ты все-таки, Инка.

Ина хотела было сказать, что именно так она и подписывала каждое письмо Сереже, но передумала, только вздохнула. Так глубоко, что прядка волос на миг отлетела в сторону. Ямочки под ней больше не было. И глаза были совсем не узкие, как минуту назад. Голубые, широко открытые, они смотрели куда-то вдаль, не мигая. Казалось, девушка боялась даже моргнуть: моргнешь — и сразу покатятся слезы, частые, крупные, уже подступившие к горлу...

Заметив это, подруга спохватилась:

— А ведь утро совсем! Пора вставать. Девчата, подъем!..

Кособокий шалашик наполнился смехом, будто и не было никакой войны. Просто выехали девочки за город, и сейчас начнется счастливый, радостный день. Один из самых радостных и счастливых в жизни.

Только вот подняться трудно. Болят руки и ноги, все тело стонет, и ноет, и не желает слушаться. И все-таки — подъем!

— Подъем, подъем! Лесорубы!

Это бригадира голос. За ночь он немного устоялся, стал уже не таким писклявым, как накануне. От сырого, холодного воздуха появилась в нем даже чисто бригадирская хрипотца, которой вчера явно не доставало.

...Новое утро начинается в дубовом лесу. В пение птиц постепенно, исподволь, вливаются новые звуки. Поначалу очень робко, но с каждой минутой все увереннее слышится жужжание стальных пил, уханье падающих деревьев. Упадет спиленный дуб — будто глубокий вздох вырвется из дремучей чащи. И лесорубы вздохнут — на душе у лесорубов легче станет. Так и вздыхают они, девчата и лес, друг перед другом. Глубже всех Ина, конечно. И чаще всех.

— Ничего, Инка, не горюй, свидитесь еще, — утешает ее подруга.

— Я знаю, верю в свою судьбу. И вообще верю.

— Ну и правильно. Без этого жить нельзя. Особенно сейчас. Особенно нам, бабам.

Эти последние слова девушка говорит совершенно серьезно, будто и впрямь что-то сразу, одним мигом, переменилось в девчачьей судьбе навсегда. К беззаботной юности возврата нет и не будет.

Глава 10

Новое утро началось и в другом лесу. Только здесь не вставали, а ложились спать. Большой переход закончили парашютисты и с первыми лучами солнца, заглянувшего под кроны деревьев, остановились, попадали в траву, и казалось, никакая сила не в состоянии их поднять.

Но так только казалось. Уже через полчаса уставших и сразу уснувших людей поставил на ноги чей-то тихий, еле слышный шепоток:

— Разведка вернулась...

Повскакали, будто и не было бессонных, голодных ночей и дней.

— Так быстро? Не может быть...

— Может. Докладывает уже командиру.

Солдатское ухо остро. Проверили — точно, докладывает, доложила разведка: линию фронта прошли сегодня ночью, сборный пункт найден!

— А как же прошли? Непонятно что-то, ребята.

— Все понятно: линия — это в открытой степи, а здесь, в лесах и болотах, какая, к лешему, линия?

— А наши? Где они? Может, просто...

— Подъем! — Это уже старшина подводит итог недоуменным спорам.

Опять легкими стали пулеметы, винтовки и диски. И ноги не вязнут больше в болоте. Может, кончилась эта проклятая трясина и ноги на твердой земле? Может быть. Только этого сейчас уже никто не замечает. Конечно, под сапогом не асфальт, но шагается все быстрее и быстрее. Все легче.

Поляна, еще одна — лес заредел, засветлел, и вот побежал навстречу подлесок, река блеснула, открылось небо, чистое, большое, распахнутое, как парашют.

Еще минута, другая — и увидели, наконец, своих.

Даже Кузя, этот спокойнейший из спокойных, ковыляя, бежал впереди всех и что-то кричал, но и сам-то, конечно, не слышал собственного голоса в общем шуме. Еще через минуту его вскинули на руки, и тут у Кузи вдруг заболели сразу все его унявшиеся было раны.

— Тише вы, черти, тише!

Как терпел он и держался до сих пор, никому не показывая своей боли, неизвестно. И Слободкин такой же — весь в бинтах, а марку держит.

Обидно, конечно, но Слободкин и Кузя тут же угодили в руки врачей.

Старшину Брагу тоже увели на перевязку, но он скоро опять появился в роте. Бегал, как всегда, хлопотал, проверял наличный состав. Когда была подана команда первой роте строиться, Брага уже все знал, вывел свой дебет-кредит.

Построились, по порядку номеров рассчитались. В полной тишине старшина доложил Поборцеву:

— Товарищ старший лейтенант, по вашему приказанию рота построена. В строю находятся...

Хоть и строго по уставу все было, но «в строю» многих еще не доставало, очень многих. По одному,

по двое добирались до сборного пункта еще дней пять или шесть. Раненые, голодные, злые.

Врачи разлучили Кузю и Слободкина. В лесу было разбито несколько санбатовских палаток. Над ними витал резкий запах лекарств. Медики пустили в ход все свои зелья, лишь бы побыстрее вернуть в строй всех раненых, перераненных, отравившихся всякой всячиной, просто ослабевших.

Слободкин оказался в палатке почему-то один. Как только ему сделали перевязку, он почувствовал усталость, с которой уже не мог справиться.

«Не вставать, не ходить...» — это к нему, что ли, относится? К нему, кажется. А может, и нет...

С этой мыслью он уснул. Спал долго, наверное, целые сутки или даже больше. Проснулся от звука двух голосов.

Один из них сразу показался Сергею знакомым. Прислушался. Ну конечно же — дружка его хрипловатый глас!

Где-то совсем рядом, за колеблемой ветром стенкой палатки, кто-то строго отчитывал Кузю:

— Вы сколько дней без врачебной помощи?

— Не знаю.

— Не знаете? Тогда я вам скажу. Три недели у вас осколок в ноге, минимум! С этим не шутят. Что с вами делать прикажете?

— Осколок достать, меня отпустить...

Слободкин решил идти на выручку к другу. Поднялся, добрал до соседней палатки, присел перед входом на корточки. Из-за спины доктора на него смотрели глубоко ввалившиеся, потускневшие глаза Кузи. Тот увидел приятеля, сделал движение, чтобы подняться, но руки врача властно легли на его плечи.

Врач обернулся, сердито поглядел на Слободкина. Кузя незаметно подал знак: отчаливай, мол, но ненадолго, сам понимаешь.

Пришлось Слободкину отступить, а потом снова сделать попытку увидаться с Кузей. На этот раз возле Кузиной палатки встретился с Инной Капшай.

— Надо же! — воскликнул Сергей. — Все-таки, значит, прямиком в ваши драгоценные ручки? Ну как он?

— Это вы сами с ним поговорите, — сказала Инна.

— А врач?

— Врач записал: две недели постельного режима — и то с учетом военного времени, а вообще-то...

Оттеснив Инну, Слободкин прошмыгнул в палатку.

— Ну как ты тут?

— Нормально. Вот лекарства, вот склад металлолома.— Кузя скосил глаза в сторону белой тряпицы, на которой лежало несколько осколков, похожих на антрацит.

— Значит, была операция?

— И ты туда же? Да оно само из меня повылазило.

— Не верьте ему,— вмешалась Инна,— такие операции в нормальных условиях под общим наркозом проводят.

— Ну вот, теперь пошел разговор об условиях! Сказали бы лучше, что слышно. Самолеты есть?

— Самолеты, самолеты! — снова перебила Кузю Инна.— Вы же раненый, понимаете? Теперь уже по-настоящему, не как там.

— Самолеты есть? — повторил свой вопрос Кузя.

— Скоро будут. Со дня на день,— ответил Слободкин.

— Честно?

— За кого ты меня принимаешь?

— Тогда сегодня.

— Куда ты торопишься? Еще не все из леса вышли. Полежи немного, все образуется, тогда и решим.

Инна слушала, слушала и рассердилась:

— Вы с ума сошли! Совершенно сошли с ума!..

Кузя не обращал на нее никакого внимания. Его сейчас интересовали только самолеты.

Инна вышла из палатки, и они остались вдвоем. Кузя немедленно перешел на шепот:

— Ты не подумай, что я шучу. Сегодня же ночью меня тут не будет. Не затем я сюда пробивался, чтобы в госпиталях отлеживаться.

— А раны твои?

— Если пустят, как на собаке позарастают. А ты как?

— Так же и я.

— А что конкретно слышно о самолетах? Может, их кто-нибудь из наших уже видел?

— Кое-кто видел вроде бы. Небольшие, новые. Только что с завода. Даже лаком пахнут,— приврал Слободкин, хотя отлично понимал, что никаким лаком пахнуть самолеты не могут.

Знал это превосходно и Кузя, поэтому проворчал:

— Брехун.

— Ну ладно, не будем спорить. Да и шутки понимать нужно. Ходить можешь?

— Сколько угодно.

— Верю, верю. Но не сейчас. Вот стемнеет, я за тобой приду. Согласен?

— Не согласен.

— То есть как это?

— Брехун. Не придешь.

— Ну не веришь — как хочешь.

— Я верю, когда правду говоришь, не верю, когда врешь.

— Я вообще никогда никого не обманывал.

— Поклянись.

— Отстань!

— Поклянись, — настаивал Кузя.

— Ну ладно, клянусь, черт с тобой.

— Вот это другой разговор. Вдвойне рад такое от тебя слышать.

— Почему же вдвойне?

— Во-первых, поклялся, во-вторых, грубо со мной говоришь.

— Непонятно.

— Только с совершенно здоровыми людьми говорят вот так, с больными не так обращаются.

Кузя оставался Кузей даже сейчас. Спорить с ним было бесполезно.

— Так, значит, клянешься?

— Твоя взяла, поклялся уже, но остаюсь при своем мнении.

— Мнение твое меня в данном случае не интересует.

Теперь настала очередь Слободкина обижаться, и он сказал:

— Не интересует — тогда ищи себе в выручалы кого-нибудь другого, а я...

— Нет, нет! Мне нужен именно ты.

— Почему же именно?

— Ты сам ранен.

— Моя рана — царапина.

— Разные раны бывают, разные царапины. И вообще, давай ближе к делу. Во сколько заходишь?

— В двадцать три ноль-ноль.

— Вот теперь я вижу, ты действительно друг. Схлопочи где-нибудь сапоги, совсем человеком будешь.

— А твои?

— Мои куда-то упрятали. Сюда только попади!.. Слободкин обещал Кузе что-нибудь придумать.

— В крайнем случае рвану без сапог. А еще лучше — сходи к Браге и все честно скажи. Он, если надо, из-под земли достанет.

Слободкин направился к Браге, хотя мало верил в успех.

Узнав, в чем дело, Брага замахал было руками, но когда услышал, что сапоги нужны не кому-нибудь, а Кузе, заговорил совсем по-другому:

— Не ложится ему? Ясно! Разве такой улежит, когда рота в парашютный бой собирается? Ты, например, улежал бы?

— Не улежал уже.

— Ах, хлопцы, хлопцы, ну що мени з вами робить? А? Цэ вам не каптерка в Песковичах.

Поворчал-поворчал, потом вдруг спрашивает:

Сорок перший?

— Не помню, товарищ старшина...

— Кто из вас помнить должен? Старшина, конечно. Ну тогда знай — сорок перший.

Брага посетовал еще немного на трудности обстановки, потом сказал:

— Пошли.

Они отправились, конечно, в каптерку. Это учреждение немедленно возникало там, где появлялся старшина. В лесу ли, в болоте ли, расположились на ночной отдых или дневной привал, уже через десяток минут после остановки старшина занят делами ОВС — обозно-вещевого снабжения. Сначала собирает все в одно место «лишнее» — у кого портянку сверхкомплектную, у кого подковку к сапогу, у кого что. Глядишь, и малая походная каптерка уже начинает работать. Все предвидит, все учтет старшина — и когда ты без сапог останешься, и когда без скатки. Все предусмотрит, на каждый случай припасено у него словцо, которое посолоней, и на каждый случай доброе.

— Чтобы это в последний раз!

— Понятно, товарищ старшина.

Сделает какую-то отметку на измусоленном клочке бумаги.

— До Берлина чтоб хватило! Смекаешь?

Откуда он брался тогда, этот Берлин? Только из уст старшины про него и слышали. А все-таки было

приятно. Сказанет старшина «Берлин» — словно перелом в войне наступает. Так и сегодня.

— На, получай для дружка своего, — шепнул он Слободкину, выволакивая из-под куста пару кирзовых.

Сапоги оказались дрянными, почти совсем разбитыми, и не похоже было на то, что соответствуют они нужному размеру. Но Слободкин и за такие благодарен.

— Откуда это, товарищ старшина? Нельзя ли еще? Брага круто перевел разговор на другую тему:

— В роту-то когда?

— За нами дело не станет.

— Ну-ну, вы с места-то не рвите. Поаккуратней. Ты-то, гляжу, ничего, а ему бы еще полежать. И до рентгэна надо бы...

Утром Кузя и Слободкин были в роте. Поборцев встретил их поначалу грозно:

— Откуда такая команда?

— Из медсанбата, товарищ старший лейтенант, — за двоих доложил Кузя.

— Кто разрешил?

Все присутствовавшие при этой сцене притихли, ждали, что скажет Кузя. А он посмотрел на стоявших вокруг товарищей, на Слободкина и опять за двоих ответил:

— Никто не разрешил, товарищ старший лейтенант.

— А как же?

— Сбежали...

— Что-что?..

— Сбежали, товарищ старший лейтенант.

— Вы это серьезно?

Слободкин сделал шаг и встал рядом с Кузей.

— Мы легкораненые, товарищ старший лейтенант...

— Вы отвечайте на вопрос. Сбежали?

— Сбежали.

Поборцев в ответ так же неожиданно и так же подкупающе откровенно сказал:

— Ну что ж, понять вас, по совести говоря, могу.

Так Кузя и Слободкин снова вернулись в свою роту. А рота готовилась к боевым действиям «по специальности». Ребята воспрянули духом, когда поняли, что снова становятся парашютистами. Правда, выброски массового десанта пока не предвиделось, но зато не-

большие группы для выполнения особых заданий срочно формировались и приводились в полную боевую. Конечно, массовое десантирование, к которому парашютисты готовились в мирное время, устроило бы их гораздо больше, но обстановка на фронте пока подсказывала другие формы борьбы с врагом.

Поборцев объяснил подробно, чем это вызвано. А потом старшина от себя кое-что добавил:

— Мы над Берлином дернем еще колечко. А куда — дрибнесенько! На других самолетах, но не дюже великих.

Как откапывал он такие слова в своем украинском языке, ребята не знали, но какое бы слово ни молвил, любое было понятно без всяких объяснений.

Итак — дрибнесенько. Но и это совсем неплохо, кто понимает. Представить только: группа в составе трех человек получает задание — выброситься в районе Гомеля, взорвать мост, по которому идут немецкие войска! А в группе, предположим, Брага, Кузя, Слободкин. Хорошая группа? Отличная! Таких групп создается много. У каждой свое задание.

Но до того, как лететь, всем дается общий отдых — три дня.

— Три дня и три ночи, — уточняет Брага. — Жаль, нет моря под боком — целый отпуск бы получился.

И обращаясь непосредственно к Кузе:

— Везет тебе, Кузнецов: из отпуска в отпуск! Недавно в Москве побывал...

Недавно? Услышав это, Кузя задумывается. Действительно, вроде бы не так уж много времени прошло с тех пор, как он мерил шагами улицы и переулки Москвы, выполняя поручения товарищей, а сколько случилось за короткий срок всякого! Сколько протопано в сторону от границы, в глубь нашей земли! Сколько горя встречено! И конца не видно еще...

Старшина становится вдруг сердитым:

— Все-таки тот ваш немец прав был — слишком быстро мы отступаем, слишком легко города сдаем.

— Мы с вами ни одного города не сдали, товарищ старшина, — поправляет Слободкин.

— А Песковичи?

— Спалил их немец.

— Было б все в порядке, так не спалил бы. И мы не ползали б по лесам, как комашки.

— Мы тут все-таки ни при чем.

— Один ни при чем, другой ни при чем. Кто при чем? Просто зло берет, сколько мы отмахали.

— Но мы ведь не виноваты. Так сложилось. Теперь на малые самолеты — и в бой.

-- Все равно душа болит. Болит, понимаешь?..

Старшина хотел еще что-то сказать, но сдержался.

В этот момент где-то коротко, но отчетливо ворохнулся орудийный гром и тут же замер. Старшина насторожился:

— Наши или нет?

— Одно из двух, товарищ старшина, — отозвался Кузя, до сих пор мрачно молчавший.

— Вот за что я тебя люблю, Кузя: муторно на душе, на фронте еще хуже, а ты настроя не теряешь.

— Не теряю, товарищ старшина. Настрой — это как город: потеряешь — вернешь не скоро.

— Я ж говорю, молодец! — хрипло хохотнул Брага, но видно было: нынче он все-таки сам не свой. — Настроение солдата — это на фронте все.

Старшина достал кисет, развязал, протянул Кузе:

— Завернем?

И опять Кузя почувствовал: болит душа у старшины. Болит не только сегодня, и вчера, и позавчера болела, но он обычно не показывает это на людях, а вот сегодня не в силах совладать с собой.

— Товарищ старшина, а у вас что-то случилось?

Кузя посмотрел на старшину. Брага такой же, в сущности, человек, как все в роте. Только некогда ему о себе подумать. Неизвестно было даже, есть ли у него семья, есть ли дом. Оказывается, дом есть. При этом слове Кузя задумался. Есть или был? Брага ведь с Украины родом, а Украина, как и Белоруссия, уже давно вся в огне. Спросить? Или не надо? Не надо. Зачем? Если нужно, Брага сам скажет.

Брага ничего не сказал. Ни о чем не спросил его Кузя. Они молча курили, думая каждый о своем, только два разных дымка над их головами свертывались в один — голубоватый, летучий, не растворявшийся в воздухе, несмотря на то что его сносило ветром, который несильно, но настойчиво дул с той стороны, где все слышней начинал ворочаться гром орудий.

— А вот теперь сразу и наши, и чужие, — сказал Кузя, — хорошо слышно.

И действительно, канонада закипала в двух противоположных сторонах. Впечатление создавалось та-

кое, будто десантники находились где-то как раз посредине, между двух огней.

— Наши там,— сказал, шагнув с кочки на кочку, Кузя, и вдруг лицо его перекосилось от нестерпимой боли.

— Э-э, хлопец, куда ж ты годишься! — Брага пристально посмотрел в глаза Кузнецову.

— А что?

— Ты же сказал — здоровый.

— Здоровый. Нога вот только...

— На задание не идешь.

— Товарищ старшина! Здоровый я, здоровый!..

— Я думал, ты честный человек, поверил тебе, а ты, оказывается... Кто за тебя отвечать будет?

— Я ж не маленький, товарищ старшина. Все понимаю.

— Ни черта не понимаешь. О себе беспокоишься. Как бы тебя кто в слабости духа не обвинил. А о деле не думаешь. С такой ногой любую операцию завалить можно. Несознательный ты элемент, Кузнецов. Я тебе как человеку уважение сделать хотел, а ты... И Слободкин твой такой же. Вот разделаюсь с тобой и примусь за него. Где он? Скрылся уже? Учужал, в чем дело.

— Где-то тут он, товарищ старшина.

— Далеко от меня не уйдет. Разыщу и доставлю до докторов.

— Товарищ старшина...

— И слушать не хочу. Отставить!

Кузя хорошо знал характер Браги. Уж если он что решил, так тому и быть.

— Давай покурим еще раз на прощанье,— сказал старшина.

Курили долго, сердито сплевывая едкие табачные крошки с языка, обжигая пальцы и косясь друг на друга.

— Теперь пошли,— сказал Брага, глотнув последний клубок дыма.

— Обратно?

— Сам понимаешь.

Когда они приблизились к палатке, пропахшей лекарствами, Брага последний раз внимательно поглядел в глаза Кузе.

— Прощаемся.

Они обнялись. Брага не видел, как в этот момент снова от острой боли исказилось лицо Кузнецова.

Не видел и Кузя, каким печальным стал на мгновение взгляд старшины. Но только на мгновение. Потом они легонько оттолкнули друг друга.

— Бывай...

— Что сказать медицине? — спросил Кузя.

— Все на старшину вали. Старшина, мол, меня уволок, он же и вернул обратно. Приказал, чтоб лечили лучше. Повтори.

— Товарищ старшина...

— Повтори, тебе говорят.

— Чтоб лечили лучше...

— Правильно. Эх, Кузя! Сколько мы с тобой?..

— Ни много ни мало — два годика.

— Два годика и начало одной войны. Длинная она будет или короткая?..

Брага еще раз обнял Кузю и, резко повернувшись, пошел от него, не оглядываясь.

ВСЕ ПО МЕСТАМ!



Г л а в а 1

Ветер рвал шинель так, будто хотел разодрать на-двое. Слободкин шел пригибаясь, заслоняя ладонью лицо, проваливаясь в снег, сбиваясь с дороги. Да и была ли вообще дорога? Волга стала рано, но не протоптали еще через нее ни одной уверенной тропки. Вот Слободкин и шагал наугад и на каждом шагу оглядывался: один берег, тот, что за спиной, все рядом и рядом, а тот, что впереди, словно приморозился к дальней дали.

У Слободкина возникло ощущение, будто он застыл в беспредельном пространстве. И от своего недавнего солдатского прошлого никуда не ушел, но и к новой судьбе не приблизился.

Он шагал, продираясь сквозь ветер, глотая морозный воздух — аж изнутри все выстудило.

Что и говорить, неприветливо встречала Слободкина Волга. Сурово, будто укоряла в чем-то. И это было всего обидней. Каждому ведь не расскажешь, как решали его судьбу доктора. Полистал-полистал председатель комиссии бумаги Слободкина и спросил:

— Так, так, так... Работать можете?

Слободкин смущенно пожал плечами.

— Как чувствуете себя сейчас?

— Хорошо!

Он сказал твердо, без запинки, а то еще, чего доброго, опять к медицине в лапы.

Кто-то из членов комиссии усмехнулся:

— Все они как сговорились!

Слободкин осмелел:

— Мне бы к своим, в десантную.

Председатель, будто не слышал его слов, принялся расспрашивать:

— Чем занимались до войны?

— В ФЗУ учился, не закончил...

— На станке работать умеете?

— На токарном немного.

— На каком?

— «Комсомолец» шефы нам подарили, списанный в расход. После занятий гайки на нем для рыбалки резали.

— Гайки? — оживился председатель. — Прекрасно! А что такое ДИП, знаете?

Слободкин задумался.

— Неужто не слышали? «Догнать и перегнать» — самооточка высшего класса!

— Помню, помню! Видел! С большим суппортом?

— Ну, наконец-то!

Председатель комиссии и Слободкин все больше увлекались разговором. На несколько минут они словно забыли про войну, про то, что до фронта рукой подать.

Здесь, в этой комнате, отгороженной от войны всего лишь тонкой дощатой переборкой, вспыхнул огонек давно отошедшей мирной жизни, и люди жадно прислушивались к родным, близким, необходимым и уже почти незнакомым, канувшим куда-то в вечность словам — станки, работа, рыбалка...

— А резец заточить сумеете? — продолжал председатель, и чувствовалось, как ненасытно сладко ему просто произносить эти слова. Как ласкают его слух ответы Слободкина, кажется уже совсем позабывшего, где и перед кем находится.

— Резец? Приходилось...

— И резьбу нарезать сможете?

Председатель именно так и сказал «резьбу», и это обрадовало Слободкина: значит, свой брат, рабочий.

Слободкин начинал чувствовать себя все более свободно, будто не грозная комиссия перед ним, а такие же, как он, обыкновенные люди, с ладонями, иссеченными железом, изъеденными наждаком и тавотом.

— И резьбу! — ответил Сергей. — По всем правилам заводской грамматики, которую тоже, как и дело свое, надо знать назубок.

— А шестеренки подберете?

— Шестеренки? Если придется...

Председатель постучал карандашом по столу, косо покрытому заляпанной чернильными кляксами скатертью, закурил.

— У кого есть какие вопросы?

Члены комиссии молчали.

Председатель смахнул табачные крошки с папки, в которой были подшиты бумаги Слободкина, и сказал:

— Так вот, Слободкин, на фронт мы вас еще пошлем. Но сперва надо поработать в тылу. Потом сами вызовем.— И тут же добавил: — Не мы, так другие вызовут. Слышите, как долбит?

Из-за деревянной стенки донесся далекий, прерывистый гул бомбежки.

Оправившийся от смущения Слободкин пришел в себя, стал доказывать комиссии, что он уже сейчас совершенно здоров, зачем его в тыл списывать, ему давно пора «туда». Но медики остались непреклонными: к строевой сейчас не годен — и точка.

Председатель поднял папку, словно взвешивая ее на ладонях. Разговор был окончен.

Левый берег Волги, до которого Слободкин наконец-то дотащился, сурово встретил одинокого путника. Ветер усиливался с каждой минутой, шинель надувалась, как парус, и Сергей все больше жалел, что выбрал именно кавалерийскую. Тогда, в каутерке госпиталя, шинель показалась ему самой подходящей: длинная, добротная, она обещала тепло, надежную защиту от холода и дождя, а сейчас, путаясь в ногах, мешала идти. Глубокий, до самого хлястика, разрез, казалось, подымался все выше, и стужа уже всю хозяйничала меж лопаток Слободкина.

Вот бы повстречать ему теперь человека, расспросить, как добраться до комбината. Да где там! Волжская степь пустынна, безлюдна. Особенно зимой, да еще под вечер. Слободкин шагал, окоченевший, голодный, злой, в сотый раз проклиная тот день, когда выпала ему нестроевая доля.

Сумерки все сгущались. Те «полчасика», которые Слободкину посулили на станции, давно кончились. Он мерил и мерил сугробы, но никаких признаков комбината не было. Не набрел он и ни на одну деревню, хотя кто-то из станционных сказал, будто деревни здесь кругом, «в крайнем случае впустят, в каждой

избе поселились эвакуированные — народ сознательный, сами прошли через лихо».

Когда стало совсем темно и последние силы уже покидали Сергея, он ударился грудью обо что-то невидимое. Пошарил рукой — больно укололся, но обрадовался: перед ним была туго натянутая колючая проволока. Комбинат!

Через несколько минут оказался у проходной, а еще через несколько — в заводоуправлении. Там было ненамного теплей, чем на улице, но Слободкин, переступая с одной окоченевшей ноги на другую, остановившись у двери с надписью «Отдел кадров», почувствовал, что еще не совсем богу душу отдал. Когда вошел в кабинет к начальнику, даже одна озорная мысль пришла в голову.

— Как добрался? — изучая документы Слободкина, спросил начальник.

— На троллейбусе, — не мигнув глазом, ответил Сергей.

— А ты шутник.

— Вот, смотрите, — Слободкин показал начальнику пораненную о колючую проволоку ладонь. — Хорошо, рейс оказался недлинным, а то пришлось бы вам калеку на работу брать или обратно в госпиталь.

— Нет уж, я тебя никуда не отпущу. Мне люди вот как нужны. Ты хоть знаешь, куда понал?

— На комбинат.

— Верно, помещение для комбината строили. Но въехать сюда довелось нам. Сейчас называют пока комбинатом. Для конспирации. Так и ты называй.

— Все понятно.

— А приехали мы сюда не так уж намного раньше тебя. И тоже почти что на «троллейбусе». — Начальник протянул Слободкину свои руки, все в ссадинах, кровоподтеках, с отбитыми, синими ногтями. — Все на них. Но станки сберегли, так что работать есть на чем.

Начальник рассказал Слободкину, как эвакуировались из Москвы в самое трудное время середины октября. Как под бомбежками везли людей и уникальное оборудование. Как прибыли сюда, как вместо готовых корпусов нашли только кирпичные стены — без окон, без дверей, без крыш. Как строили бараки и землянки, торопились скорей наладить производство.

— Завод наш много значит в войне. Без приборов все — и самолеты, и танки, и корабли — слепые котя-

та. Впрочем, ты сам из авиации, понимаешь. С каких прыгал?

— С «тэ-бэ-третьих».

— На них наши автопилоты стоят.

— Знаю.

— Знаешь, что именно наши?!

— Нет, что автопилоты, знаю.

— Ну и как?

— Когда нам первый раз показали, не сообразили даже, что к чему.

— Потом?

— Потом видим — головастая штука.

Начальник встал из-за стола, направился к шкафу, извлек оттуда распиленный пополам высокий черно-белый дюралевый ящик.

— Вот модель, полюбуйся. Вся премудрость в ней. Про гироскопический эффект смекаешь?

— Самую малость.

— Но все-таки морокуешь?

— Я же из авиации...

— То-то. Пошлю тебя в самый ответственный цех — в девятый. Согласен?

— Мне все равно, — почему-то сробел Слободкин.

— Как это все равно? Ты ясно говори, согласен или нет?

— А девятый — это какой?

— Контрольный. Он за все отвечает.

— Но ведь я токарь, а не мастер ОТК.

— Там всем работа найдется. Я тоже не такелажник, а руки, видишь, не заживают.

Начальник поднял трубку телефона и, пока набирал номер, продолжал разговор со Слободкиным.

— Сейчас я тебя на довольствие поставлю и койку в бараке организую. Завтра с утра приступай. У нас под конец месяца самая запарка... Алло, алло! Комендант?.. Устименко, сейчас к вам новое пополнение явится, устройте... Как не можете? Вы меня плохо слышите?.. Это Савватеев говорит. Да, Савватеев. Фамилия товарища Слободкин. Он фронтовик, так что как следует, ясно?

Что такое «как следует», Слободкин узнал позднее, а сейчас по измученному, уставшему телу его пробежала согревающая волна предчувствий чего-то необыкновенного, уютного, давно не виданного.

От начальника отдела кадров Слободкин направился к Устименко.

— Тю! Так же ж мени б сразу и казали! Кавалерия! Давай пять! — воскликнул комендант, увидев перед собой бойца в длиннополой шинели.

Слободкин протянул руку.

— Только я не кавалерист, пехотинец. Правда, воздушный.

— Да?.. Десант? А шинэлка?

— Это в госпитале меня так обрядили.

— Впрочем, все одно. И десант пехота, и кавалерия тоже пехота, тильки ей казали: «По коням!»

Устименко засмеялся — громко, раскатисто, как, наверное, смеялся где-то там, на своей Украине, и еще не успел разучиться.

— С вами не пропадешь, — сказал Слободкин.

— А зачем пропадать? Живы будемо — не помрем! Вот тильки вопрос: будемо ли живы?

Когда Слободкин ввернул в разговоре какое-то украинское словечко, Устименко просиял:

— Хлопчик! Размовляешь на ридной моей мове?!

— Старшина у нас был с Полтавщины. От него вся рота научилась.

— А писни не можешь спивать? Ой, хлопец, хлопец, душа моя стоне без писни! Без хлиба могу. Даже без горилки проживу, если недолго. А без нее вот тут сосет. — Он положил руку на грудь и вздохнул.

Устименко показался Слободкину чем-то похожим на старшину Брагу. Чувствовалось, что коменданту тоже пришлось по сердцу новое пополнение, — хоть и не кавалерист, и не украинец, а парень свой, вот только пристроить его некуда: в бараках теснотища, ни одной койки больше не втиснешь.

— Могу положить тебя пока в конторе.

— В конторе так в конторе, — ответил Слободкин.

Устименко спросил:

— Ты с мылом «КА» имел дело?

— Первый раз слышу.

— Тебе с дороги надо б в баню сходить. Десяток минут попаришься — целые сутки человеком себя чувствуешь.

Слободкина не пришлось долго упрашивать, тем более что Устименко вручил ему кусок этого самого мыла.

— Помоемся вместе. Миномет, а не мыло! Любую

тварь — наповал, только глаза береги! А обмундирование в дезкамеру. Через пивчаса ридна маты тебя не узнае.

Слова эти обернулись такой горькой правдой, какую и сам Устименко не имел в виду. Помылись, стали одеваться, и тут обнаружили, что отличная, комсоставская шапка Слободкина превратилась в дезкамере в бесформенный, съезжившийся клубок кожи и меха и не пожелала налезть на голову хозяина...

Слободкин попробовал пошутить — шутка получилась натянутой. Не нашелся и Устименко. Беспомощно развел руками, присвистнул и выругался.

— Шо ж робить? В нас тут не тильки шапку, жменью махорки достать проблема.

Слободкин вспомнил, как Брага не разрешал бойцам опускать уши шапок, когда рота возвращалась по морозу из бани. Сейчас он готов был примостить свой треух хоть на самый затылок, лишь бы он только держался, дьявол! Выругавшись вслед за комендантом, Сергей намотал на голову вафельное полотенце и в таком виде двинулся навстречу метели.

Так закончился первый день Слободкина на новом месте. Спал он в нетопленной конторе, одетый, обутый, не снимая своей «чалмы». Утром только перемотал ее половчее, подтянул потуже ремень и направился в девятый цех. По дороге Сергей понял, что он не один в таком наряде — то тут, то там попадались ему люди, одетые самым невероятным образом. Многие шли в самодельных тряпичных валенках, на иных были плащи, для тепла подпоясанные шпагатом, кепочки-ветродуйки, на ком-то он увидел даже сандалии. Человек был похож в них на гуся, спотыкавшегося на каждом шагу.

В толпе этих людей, обгонявших друг друга, по узкой, проторенной в снегу дорожке Слободкин добрался до корпуса, где находился девятый цех, с нелегким чувством перешагнул порог. Сперва думал, что сорвет с головы дурацкую чалму сразу, как только закроет за собой дверь. На деле вышло по-другому. Холод здесь был почти такой же, как на дворе.

Цех встретил Слободкина шумом и громом. Готовую продукцию тут же упаковывали к отправке. Шагая вдоль длинных рядов одинаковых по форме, выкрашенных в светло-желтый цвет ящиков, Сергей читал вы-

веденные на них зашифрованные адреса других заводов, находящихся, судя по всему, в разных концах страны. Скоро ему стали попадаться ящики с еще не законченными крышками, и он увидел квадратные черно-белые корпуса автопилотов.

Работающие вокруг люди не замечали Слободкина. Он прошел из одного конца цеха в другой раза два, прежде чем его остановил худой, заросший человек:

— Вы от Савватеева?

— Так точно, — по-военному ответил Слободкин.

— Будем знакомы. Я Баденков, начальник девятого. Это хорошо, что вас в мой цех направили. Вы токарь?

— Учился на токаря.

— Нам люди всех специальностей нужны, — оживился Баденков. — Девятый — самый главный на заводе. Испытываем автопилоты на точность, на выносливость. И тут же регулируем, устраняем недостатки. После нас уже нет никого.

Смерив новичка беглым взглядом, начальник спросил:

-- Устроились-то как? Куда вас приткнули?

— В конторе пока. Отоспался после дороги. Устименко мне даже матрац раздобыл.

— Это он вам, наверное, свой отдал. Матрацы здесь на вес золота.

Слободкин рассказал про вчерашнюю баню. Баденков расстроился.

— А вот это уже легкомыслие. Кто-кто, а комендант должен помнить, что меховые вещи в дезкамеру сдавать нельзя. У нас здесь холода знаете какие?

— Знаю уже.

— Нет, еще не знаете. Тут нередко бывает «минус сорок градусов мороза ниже нуля», как говорит Устименко. Он у нас человек в общем-то точный, обстоятельный, непременно и «минус», да еще и «ниже нуля» добавит, чтоб ошибки не было. Теперь не успокойтесь, пока шапку вам не раздобудет. И достанет, поверьте моему слову! Из-под земли, но выкопает. Неравнодушен к фронтовикам.

Они шагали по девятому цеху -- туда и обратно — вдоль ровных рядов желтых ящиков, которым, казалось, не было конца: место запакованных, которые рабочие куда-то относили на руках, тут же занимали другие.

Баденков показывал Сергею свои владения.

— Без нас с вами, Слободкин, все пропеллеры России останутся, все колеса. Запомните и поймите это хорошенько с самого первого дня. Если этого не уяснишь, не почувствуешь — пропадешь. Или в нетопленном бараке загниешь, или с голодухи на тот свет. Простите за откровенность... Каганов! Каганов! Идите-ка сюда! — прервав разговор со Слободкиным, громко окликнул кого-то Баденков.

К ним подошел бледный, остролицый человек в синем халате.

Каганов оказался мастером цеха, правой рукой начальника.

— Самый первый колдун, — сказал Баденков, — не смотрите, что вроде бы мальчик еще, это он только прикидывается.

«Мальчику» на вид было лет тридцать. «Интересно, — подумал Слободкин, — кем же они меня считают?»

Каганов, рассмотрев Сергея сквозь засаленные очки, сказал:

— Николай Васильевич, я думаю, мы новенького пока за станок поставим. Больше нету сил у меня за каждой мелочью к токарям бегать, укланчивать.

Тут Слободкин впервые немного струхнул: не осрамится ли? Внешне бодро, но на самом деле с содроганием сердца шел он за Кагановым в дальний и темный конец цеха, где в сыром углу примостилась красная от ржавчины самоточка.

Только было Слободкин, вздохнув, вооружился наждаком и масляной тряпкой, чтобы привести в божеский вид поступившую в его распоряжение технику, как Каганов дал первое, и притом совершенно срочное, задание:

— Сбегайте скоренько в пятую — там на вибраторе только что шестерни полетели, придется наращивать зубья.

И исчез так быстро, что Слободкин даже не успел узнать, что такое «пятая». Впрочем, догадаться о том, что «пятая» — номер бригады, было нетрудно, гораздо сложнее оказалось сыскать ее в цехе, разбежавшемся чуть не на версту. Попадавшиеся навстречу Слободкину люди все куда-то спешили, вид у них был озабоченный, занятой, каждому — явно не до него. На вопрос: «Где пятая?» — они на ходу, точнее на бегу, кивали в неопределенном направлении и торопились дальше — каждый по своим делам, со своей заботой.

Слободкин начинал испытывать чувство стыда. Вот они трудятся, у всякого свое задание, свой участок, своя цель. Он только путается под ногами, мешает работать. Совершенно беспомощен и никчем. Это они еще не знают, какой из него «токарь»! Что же будет потом?..

Невеселые мысли Слободкина увели бы его далеко, если бы на выручку не пришла сама бригада.

— Эй! Ты не пятую ищешь? — сердито окликнул его чумазый парень в телогрейке, промасленной до такой степени, что она казалась кожаной.

— Пятую.

— Я пятая. Где тебя столько времени черти носят? Тебе мастер что сказал?

— Шестерни полетели...

— «Полетели», «полетели»! — передразнил его чумазый. — Ты уж не подумал ли, что улетели совсем? Вот, полюбуйся, я сам их снял, пока ремонта твоего дожидался.

У ног Слободкина, прямо на земляном полу, лежали три щербатые шестерни — у каждой не было и половины зубьев.

— Твоя работа? — в свою очередь рассердился Слободкин.

— А я тут при чем? — рассердился парень.

— Если б уход за шестернями был, они бы еще сто лет прослужили. Так где же твоя бригада?

— Ты что, глуховат малость? Сказал же тебе — я и есть пятая.

— Ах вот оно что... — понял наконец Слободкин. — И большое у тебя хозяйство?

— Для одного человека вот так хватает! Испытываю автопилоты на вибраторах. Ну, давай, давай ремонтируй, некогда мне.

Чумазый исчез так же неожиданно, как появился.

Слободкин опять остался наедине с невеселыми мыслями. Они, как поломанные шестерни, поворачивались медленно, со скрежетом, одним искрошившимся зубом ломая другой. Вот получил задание, нашел пятую бригаду, выяснил размеры аварии. Приступай к делу, да побыстрей, не теряй ни минуты. Все верно, и все наперекосяк: какой бы он ни был плохой, но все-таки токарь, а мастер подбросил ему работенку чисто слесарную. И как это легко и просто у него получилось: «Придется наращивать зубья»! Конечно, придется.

Куда денешься? Но слесарного инструмента под рукой нет, и вообще Слободкин отродясь не починил сам ни одной шестерни. Видел только, как другие это делали. Правда, вспомнил сейчас все, до малейших подробностей. И как надо спилить остатки полетевших зубьев, и как просверлить отверстия для крепления новых, и как резьбу метчиком нарезать... И еще вспомнил Слободкин, что он солдат, что в любом, самом трудном деле должен, обязан даже найти выход. «Сообразить и доложить!» — учил его старшина Брага.

Поздно вечером, свалившись без сил на койку в промерзшей конторе, Слободкин не мог как следует вспомнить, где и как отыскал он метчики, сверла, напильник, в каких тисках зажал все три шестерни по очереди и всем трем не только «вставил» новые зубья, но и опилил их ровно, точно, аккуратно. Он делал все это с каким-то дьявольским наслаждением, словно доказывал Баденкову, Каганову, «пятой бригаде» и самому себе: руки его кое-что умеют, голова на плечи не только для этой дурацкой чалмы посажена.

Так прошел первый рабочий день Слободкина. День был знаменателен и тем, что принес ему знакомство еще с одним человеком в шинели — Прокофием Зимовцом. Уже в первую минуту они поняли, что судьба свела их вместе совсем не случайно. Известно, солдаты сходятся быстро и по каким-то особым, необъяснимым законам. Уже по тому, что Зимовец отсыпал из тощего кисета махорки для нового знакомого, тот почувствовал, что перед ним человек не только добрый, но и сам немало протопавший по солдатским путям-дорогам.

— Десантник? — спросил Зимовец.

— Откуда знаешь?

Круглое веснушчатое, на первый взгляд равнодушное лицо Зимовца оживилось.

— Да об этом уже весь цех говорит. Кого только тут нет! Теперь еще и воздушная пехота будет. Трудно тебе придется здесь — приварок не тот. Ты к десантным разносолам привык — у нас сырое тесто взамен хлеба, и то не каждый день.

— Как сырое?

— Очень просто. То дров нет, то муки. То и того и другого сразу. Сегодня как раз такой денек выпал. Мы их знаешь как зовем, такие дни?

- Ну?
- Разгрузочными.
- Зачем?
- Чтобы не так тошно было терпеть до следующего. Посмеемся — вроде легче станет.
- Был у меня в роте дружок Кузя, тоже все острил насчет разгрузочного да разгрызочного.
- Разгрызочного?
- Придумали вместе с ним, когда в окружении сырую картошку грызли. И еще грибы.
- Тоже сырые?
- Ага.
- Понятно.
- И тебе, чувствую, досталось?
- Отчасти.

Восстанавливая сейчас в памяти этот разговор, Слободкин подумал о Кузе. Где он теперь? Что с ним? Вернулся в роту? Или попал в другую — первую встречную, маршевую? Или напоследок и к нему придрались доктора и упекли в какую-нибудь дыру вроде этой? Слободкин никак не мог сравнить свое теперешнее положение с тем недавним, хотя тоже не героическим, но все-таки воинским. Тут, в одиночестве, он мог себе в этом признаться откровенно и честно. Конечно, никаких подвигов он лично не совершил. И Кузя, пожалуй, тоже. Но немца все же били? Били! И еще как! А теперь? Тыловик, нестроевик и еще много «ик», от которых, как задумаешься, нервная икота начинается. Или это от стужи?

Слободкин пробовал лучше закутаться шинелью, но холод подбирался к нему со всех сторон, особенно через разрез, и он снова и снова ругал себя за то, что выбрал кавалерийскую.

Но все мрачные мысли скоро вытеснила одна, не угасавшая в нем ни на минуту, тревожная, неотступная мысль об Ине. Что случилось с ней в первый день войны? Что произошло потом? Жива ли? Здорова ли? Как отыскать ее на этой земле, где все сдвинулось со своих обычных мест — и люди, и заводы, и даже целые города? И все продолжает еще двигаться, вращаться по какому-то непонятному кругу — без остановки, без передышки. И скорость круговерти все возрастает, ветер все сильнее свистит в ушах. Все сильнее, все отчетливей...

Слободкин начал прислушиваться к вою ветра за

окном, к ветру сумасшедшего вращения, и два звука слились в один — грозный, пронзительный, заглушающий все остальное.

Через некоторое время в нестерпимый вой этот ворвались неясные, отдаленные, потом все более отчетливые лающие звуки зениток — это уже был не плод воображения, а самая настоящая реальность.

Слободкин вскочил с постели, подошел к задраенному картонными ставнями окну, в узком просвете увидел исполосованное прожекторами небо.

В дверь стукнули. Слободкин вздрогнул от неожиданности.

— Эй! Хлопец, ты жив тут?..

Нового знакомого он узнал и в темноте — могучие плечи коменданта едва протиснулись в узкую дверь конторы.

— Вам тоже не спится? — спросил Слободкин как можно более ровным голосом.

— Некогда, веришь? Я к тебе зараз по дилу.

Комендант протянул Слободкину какой-то предмет, в котором тот наощупь узнал пилотку.

— Вот спасибо! Большое спасибо! — смущенно воскликнул Слободкин, подумал и, чтобы хоть чем-то отблагодарить коменданта, добавил на чистом украинском: — Вид всёго щирого сердца!

— Благодарить потом будешь. Ты кажи, гарна? — Устименко нахлобучил пилотку сперва на свою голову. — Гарнесенька! А ну, дай твою чуприну.

Слободкину пилотка оказалась великовата, но он сделал вид, что ни один головной убор за всю жизнь не сидел на нем так, как этот.

— А мени сдается — велыка. А?

— Нет, нет, в самый раз. Смотрите.

— Ну ладно. Теперь хоть на солдата похож. А ну, давай зараз побачимо, що на воле творится.

Они распахнули дверь и вышли. Не то ветром, не то взрывной волной пилотку тут же сорвало с головы Слободкина. Он кинулся за ней в сугроб.

Устименко сокрушенно пробасил:

— Велыка.

Над ними совсем близко провыла бомба. Слободкин незаметно поднес руки к вискам, чтоб еще раз не сдуло пилотку. Устименко повторил:

— Велыка, велыка...

— Нет, нет, нисколько... Это вам показалось.

— Ты про пилотку?

— Про пилотку.

— А я про фугаску. Скильки кило?

Слободкин сказал не очень уверенно:

— Пятьдесят...

— Пид сотню! — поправил его Устименко. — И не-далеко впала.

— С полкилометра, — прикинул Слободкин.

— Точно. Засекли они нас, хлопец. Кажну ничь, кажну ничь ходят, як к соби до дому.

— Значит, ночной смене больше всего достается?

— Всим хватает.

В этот момент два прожектора поймали в крест немецкий бомбардировщик, шедший на большой высоте, и повели его, не отпуская. К двум белым лезвиям прибавились другие. Сойдясь в один ослепительный пучок, они заставили самолет заметаться, и летчик сбросил, видимо, сразу весь свой груз — за Волгой через несколько секунд прокатилась длинная серия взрывов.

Зенитки захлопали с новой силой.

Казалось, вся степь вокруг комбината была огромным полигоном, заставленным орудиями, беспрестанно изрыгающими гром и огонь.

— А вы привыкли уже, — сказал Слободкин, глядя на то, как спокойно вел себя Устименко.

— Трохи. По цехам зараз знаешь радио шо говорить?

— «Воздушная тревога»?

— Ни. В нас свое придумали: «Вси по мистам!»

Г л а в а 2

Наутро Слободкин пришел в цех уставший после трудной ночи, но довольный тем, что на голове его торжественно восседала хоть и сползавшая то на одно, то на другое ухо, но все-таки пилотка.

Первым заметил это Зимовец:

— Слобода, поздравляю с обновой!

Слободкину это понравилось:

— Хорошо назвал меня, так всегда теперь зови, ладно?

Зимовец поглядел на приятеля удивленно.

— Меня в роте все так звали, особенно Кузя, дружок мой, — объяснил Слободкин.

— Ах вот оно что! Запишем. А меня знаешь как?

— Ну?

— Прохой.

— Почему же?

— Потому что Прокофий. Но ты меня Зимовцом величай, так как-то солидней.

Весь этот день Слободкин работал на станке, который еще накануне, после починки шестерен, постарался привести в какой-нибудь порядок. Кое-как оттер ржавчину. Не всю, конечно, не со всех частей, но все-таки на станок хоть глянуть стало можно. Перебрал резцы — калека на калек! Отковать бы их все заново, а потом закалить и заточить по всем правилам. Но об этом и речи быть не могло. В соседнем цехе высмотрел наждачный круг — разболтанный до последней степени. Бросовый, одним словом. Попробовал и его в дело приспособить. Подобрал валявшийся в углу железный костыль, начал на полных оборотах сбивать эксцентричность. Сперва ничего не получалось — острые иглы огня, наждака и металла секли лицо, норовили влететь в глаза. Пришлось орудовать вслепую, зажмурившись. Посшибал кожу на сгибах пальцев, но своего добился — камень бежал все ровнее, раскаленная от трения самодельная шарошка «дробила» меньше, наконец почти совсем успокоилась.

На исправленном круге Слободкин стал затачивать резцы. Теперь уже каждый из них еще больше выравнивал собой кромку быстро вращающегося камня. Чем плотнее Слободкин подводил жало резца к наждаку, тем более точным становился его бег вокруг собственной оси.

Слободкин все больше увлекался работой. Не замечал и кровоточащих ран на пальцах, только кашлял от едкой наждачной пыли. Сквозь сощуренные, воспаленные веки напряженно всматривался в предельно малый, почти несуществующий просвет между наждаком и застывшей на месте сталью, стремясь возможно более верно определить угол заточки. И горка приведенных в порядок резцов медленно, но верно росла на тумбочке.

Это было вчера. А сегодня уже со всех сторон, из всех бригад шли к Слободкину с делами — одно неотложнее другого, словно он всю жизнь только тем и занимался, что стоял у станка в девятом цехе.

С непривычки болела спина, подкашивались ноги, руки не хотели слушаться, но виду Сергей не подавал. Он уже утопал по колено в колючих синих стружках, но у него не было даже минуты отгрести их в сторону. Так и работал до самого перерыва.

Когда прозвенел звонок, пришел Зимовец и сказал:

— Ты как конь стреноженный. А ну, подыми копыто!

Прокофий помог ему высвободиться из цепких металлических пут.

— Поздравляю тебя, Слобода!

— С чем? — устало спросил Слободкин.

— В честь твоего первого дня на заводе дирекция дает обед всем рабочим.

— Первый день вчера был, — внес уточнение Слободкин.

— Ну, вчера ты только прицеливался, а сегодня вон сколько наворочал. Если не хочешь помереть с голоду, двигай за мной, живо! — И Зимовец решительно потащил Слободкина к выходу.

На лестнице их подхватил человеческий поток и понес куда-то вверх — ко второму этажу, к третьему...

На одной из лестниц движение застопорилось. Несколько минут, стиснутые со всех сторон толпой, стояли молча.

Зимовец, оглядевшись и поняв, что они далеко не последние, мрачно заметил:

— Посредине даже лучше стоять. Теплее.

— И это надолго? — с напускным равнодушием спросил Слободкин.

— За мисками — нет.

— А мы за мисками?

— Сначала за ними, потом за супом, потом за тестом.

Со ступеньки на ступеньку подымались люди. Усталые, изможденные лица. Казалось, расступись сейчас толпа — и кто-то, потеряв равновесие, не удержится на ногах. «Вот тот, в запотевших круглых очках, например», — подумал Слободкин. Чем внимательнее он присматривался к этому человеку, тем больше удивлялся. Стекла очков были похожи на две круглые белые ледышки, через которые увидеть что-нибудь было просто невозможно. А протереть стекла в толпе было нельзя. Впрочем, человек в очках, кажется, и не пытался этого делать — медленно, но верно тащил его люд-

ской поток туда, где все отчетливей погромыхивал алюминий. «Миски», — догадался Слободкин и почувствовал острый приступ голода.

Вскоре Сергей увидел, как, стоя на каком-то возвышении, человек в белом колпаке, ловко орудуя поварешкой, подбрасывал тягучие куски теста, и было хорошо слышно, как они звучно падали на дно подставляемых посуды.

Слободкин еще минуту назад верил и не верил в то, что придется есть тесто взамен хлеба, а тут вдруг решил, что ничего в этом нет такого, тесто, в сущности, тот же хлеб.

Словно угадав его мысли, Зимовец сказал, подбадривая приятеля:

— А печка в брюхе. Сама испечет.

Кто-то прошелся насчет дирекции. Кто-то поддакнул. Кто-то возразил:

— Дирекция ни при чем. Я третьего дня на совещании был у Либедянского, ему прямо в кабинет принесли то же самое. И порция была не больше нашей.

Суп наливали в те же миски, тем более что редкий человек не съедал «пайку» тут же, не сходя с места. Проглотил свою и Слободкин. Ему даже показалось, что давно не пробовал ничего более вкусного. А когда перед ним задымилась темно-зеленая мутная жижа, которую Зимовец авторитетно назвал гороховым супом, и вовсе повеселел.

— Теперь совсем другой разговор! — признался он Зимовцу по пути в цех. — Теперь и железо не таким холодным будет, а то просто руки прихватывает.

Поздно вечером, уходя из цеха, Слободкин задержался возле одной из установок, где шли испытания приборов. Он и раньше, у себя в воздушно-десантной бригаде, много раз видел автопилоты. Но тогда он смотрел на них только с любопытством, теперь не мог оторвать глаз. Ему показалось вдруг, что крохотный символический самолетик светился и плыл не в вакуумном пространстве внутри прибора, не за круглым защитным стеклом. В воображении Слободкина он превратился в тяжелый «ТБ-3», на котором они летали, из люков которого прыгали. Сейчас это была не деталь прибора — настоящий самолет летел в настоящем небе. А то, что он при этом еще и светился, придавало возникшему видению какую-то сказочность...

Как замороженный стоял Слободкин перед прибором, укрепленным на установке, резко раскачивавшейся в разные стороны, так, чтобы имитировать любые возможные эволюции самолета в воздухе. Автопилот глубоко заваливался то на один, то на другой бок — самолетик, покрытый светомассой, все время при этом сохранял свое положение в пространстве, показывая летчику, где его машина и где земля. И не только показывал — прибор подавал команду специальному устройству, и оно выравнивало рули без помощи человека.

«Чудо, настоящее чудо! — восхищался Слободкин. — Прибор, а думает, действует».

— Интересуетесь? — сквозь грохот услышал Слободкин и обернулся.

За его спиной стоял Каганов. И без того бледное лицо его было сейчас совсем восковым.

— Как вы себя чувствуете? — невольно вырвалось у Слободкина.

— В общем и целом.

— Наверное, устали?

Каганов все-таки решил перевести разговор на другую тему:

— Так, значит, интересуетесь? Вы же из десанта, все это вам знакомо уже.

— В общем и целом, — в тон ему ответил Слободкин. — Но если честно сказать, то не особенно. Только принцип действия автопилота нам объясняли, а все остальное — лес, совершенно темный.

— Принцип — это уже многое.

Каганов начал рассказывать Слободкину об автопилоте. И чем больше подробностей узнавал Сергей, тем восторженнее смотрел на прибор.

Давно уже следующая смена заступала, одних людей у испытательных установок сменили другие, а Каганов и Слободкин все разговаривали. Домой пошли вместе. Разговор продолжался и по дороге. Остановившись у одного из барачков, мастер сказал:

— Здесь я живу. Хотите посмотреть?

Слободкин смутился. Каганов взял его за локоть.

— Пошли, пошли! Ужина не обещаю, но плитка у меня есть, так что водички согреем.

Они вошли в коридор, освещенный маленькой лампочкой.

Круглые очки Каганова блеснули двумя тусклыми льдинками. «Совсем как у того, в столовой», — подумал Слободкин. Там, в цехе, мастер казался Слободкину уставшим, но сильным, мужественным человеком, а вот перешагнул порог барака и сразу сделался маленьким, незащищенным существом.

Впрочем, только несколько коротких секунд жило это ощущение. Каганов протер очки, толкнул плечом дверь в свою комнатенку, пропустил вперед Слободкина, бочком вошел сам, включил свет и как ни в чем не бывало сострил:

— Раздевайтесь!

Слободкин поглядел на стены, покрытые ином, и сказал:

— Не комната, а спальня мешок на гагачьем пуху! И по размеру такая же.

Каганов включил самодельную электроплитку, сооруженную из двух кирпичей и укрепленных между ними стеклянных трубочек с намотанными витками нихрома. Напряжение было такое слабое, что Слободкину показалось, будто нить вовсе оборвана. Он даже нагнулся над плиткой, намереваясь исправить повреждение, но Каганов сказал, что все в порядке и нужно только время.

Они погасили свет — в темноте постепенно обозначились бледно-розовые блики, еле различимые, прерывающиеся, будто кто-то поминутно включал и выключал рубильник на станции. Долго сидели у едва подающей признаки жизни плитки, грея над ней озябшие руки. Когда Каганов поставил на плитку чайник, малиновые блики исчезли вовсе.

Поеживаясь, Слободкин достал остатки махорки, поделился ею с Кагановым, и в комнату снова возвратилось призрачное, чисто символичное, но все-таки хоть глазом ощутимое тепло.

— Если и закипит, то часа через два, не раньше, — сказал Слободкин.

— А куда нам спешить? Подождем. Кстати, вы о себе еще ни словом не обмолвились.

О многом они поговорили в тот вечер.

Слободкин вспомнил свою службу в воздушно-десантной бригаде, друзей-парашютистов. Рассказал, как довелось им встретить войну, как дрались с немцами в белорусских лесах, как после ранения, отбившись от своих, они с дружкой Кузнецовым, которого

все в роте звали Кузей, продолжали бить немцев, как вышли из окружения и угодили в госпиталь, как пытались оттуда бежать и что из этого вышло.

Каганов рассказал о заводе. О том, как под бомбежкой грузили его на платформы, как под бомбами добивались сюда, как здесь почти каждую ночь над заводом воют фугаски.

— Сегодня тихо пока, но он свое дело знает. Завтра двойную дозу вкатит. Мы его изучили. В бараки и в те понасть норовит.

Чайник так и не закипел, вернее, у них не хватило терпения его ждать. Когда где-то в глубине его чрева раздались первые, еле уловимые звуки от движения воздушных пузырьков, Каганов разлил содержимое чайника в две алюминиевые кружки, бросил в каждую из них по крупинке сахара, и чаепитие началось.

— Алюминий тем хорош, — сказал Слободкин, — что и не очень горячий чай в нем кажется кипятком и даже губы обжигает. Потому солдат ценит алюминий больше золота.

— Драгоценный металл, — согласился Каганов. — А дюраль — его родной брат.

И он снова заговорил об автопилотах, о том, как наладили тут их производство.

— Даже цех ширпотреба имеется, и продукция — первый сорт.

Оказалось, что кружки, из которых они пили сейчас, изготовлены из отходов производства на самом заводе, что миски и ложки в столовой — того же происхождения.

Слободкин начинал проникаться все большим уважением к людям, с которыми довелось познакомиться за два первых дня. Голодные, холодные, неустроенные, они, если вдуматься, совершают подвиг. Он читал об этом в газетах, слышал по радио, но по-настоящему величие их труда почувствовал здесь — вчера и сегодня. Ему вдруг представилось, как миллионы людей проводят ночи в заиндевелых стенах, обжигают губы об алюминий, как делят последнюю щепотку махорки и крошки сахара, а утром, полураздетые, идут по снегу к своим станкам. И так вся Россия, вся страна.

— О чем вы? — спросил Каганов приумолкшего гостя.

— Да о многом. О том, что увидел у вас тут за эти дни.

Он рассказал Каганову, как довелось ему вчера мерить сугроб след в след за человеком в сандалиях.

Каганов вздохнул.

— Тут много всякого. Еще и не того насмотритесь. Самое главное, что народ не скис. Я на днях тоже догнал по дороге к станции одного такого в сандалиях. В самых обыкновенных, с дырочками. Идет себе, бормочет что-то. Рехнулся, думаю. «Эй, кричу, постой!» Оборачивается — щеки к скулам прилипли, глаза ввалились, но из глубины смотрят, представьте, спокойно, будто все в полнейшем порядке. «Не замерз?» — спрашиваю. «Местами», — говорит. «А ноги?» — «И ноги местами».

Каганов помолчал, подержал руку над почти совсем потемневшей проволокой плитки, потом сказал:

— Если в газете про такое написать, скажут — враки. Пропаганда и агитация, скажут. Согласны?

— Если так рассказать, как вы сейчас, — поверят. Я бы на вашем месте обязательно написал — прямо в «Правду». Пусть все прочитают!

— «Правда» — это далеко и высоко. У нас тут многотиражка выйти грозилась. Листовку откатали уже. «Пишите, говорят, про героев тыла».

— Вот вы про сандалии и дайте им. Все прочтут. Знаете, как это можно подать!

— Вы уж не журналист ли случайно?

— Был когда-то редактором стенгазеты.

— Так, может, вас сосватать в редакцию?

— Нет, нет, ни в коем случае! Я на станке хочу. Потом автопилоты испытывать. Что угодно стану в цехе делать, только не это.

— Ну, как знаете. А то парторг ЦК Строганов, недавно назначенный к нам на завод, по всем цехам ходит, ищет вашего брата. В рабкоры я вас все-таки предложу. Я от парткома за печать отвечаю. И тема для вас уже есть — напишите, например, про Попкова Васю.

— Это кто еще такой?

— Вот тебе здравствуйте! Да он вам, говорят, вчера в печенку въелся. Чумазый, небольшого росточка.

— «Пятая»?..

— Да, да, «пятая»! Не знаю, поверили вы ему или нет, но он ведь в самом деле один в пятой бригаде. Двоих дружков его в больницу свезли. Вот однолошадное хозяйство и образовалось. Стали ему напарников под-

бирать — он ни в какую. И в мирное время, дескать, друг дружку выручали, а сейчас и подавно один другого всегда заменит. Мы ему всякие доводы и резоны, а он свое: «До директора дойду, но пока не вернутся мои, сам тут справляться буду». И что же вы думаете?

— Настоял?

— Настоял! Комитет комсомола впутал, партком, но своего добился. Дошло действительно до директора — тот даже приказом это дело специально отметил. Так, мол, и так, в виде исключения и особенного энтузиазма комсомольца Василия Трифоновича Попкова... Тут мы, признаться, впервые и узнали, как его по батюшке величают. А то все Вася да Вася. От горшка два вершка, можно сказать. Но характером вымахал вон куда! И представьте — справляется. Я сперва караулил его — боялся, зашьется, напорет чего-нибудь. Целую смену, как бесенок, от установки к установке мечется, а дело у него тонкое, деликатное, постоянно-го внимания требует. Проверил и перепроверил много несколько раз — и с начала, и с конца, и вразбивку. Все точно, все параметры под неусыпным призором у него, под строжайшим контролем!..

— Повезло вам с парнем, — перебил мастера Слободкин, — а я думал — так, мужичок с ноготок.

— Все так поначалу считают. Потом присмотрятся — перед ними чуть ли не богатырь! Вот и вы смеетесь, не верите.

— Громкое слово очень.

— Громкое, верно. Но дело не в одном человеке в данном случае. Это явление — знамение времени, если хотите. На него смотрят другие, равняются. Тоже громкое слово, скажете?

— «Равняются» не громкое, — согласился Слободкин, — нормальное слово.

— Так я вам без преувеличения скажу, меня завидки берут, глядя на Попкова. Откуда столько энергии, столько силы? Остальная наша комсомолия за ним теперь хоть к черту на рога. В этом главное, в этом смысл его поступка, хотя сам он об этом и не знает и не ведает. Согласитесь, Слободкин, только высокие духом люди способны на такое. И куда ни посмотришь, в какой угол ни заглянешь, почти всюду встретишься с самой настоящей самоотверженностью. Есть у нас гальванический цех на заводе. Из всех вредных наивредней-

ший. Человек там в кислотных парах задыхается. Работают одни женщины.

— Почему только женщины? — удивился Слободкин.

— Ну, это как-то уж само собой сложилось. Считалось, видите ли, что в гальванике силы особой не требуется. А там, ежели по закону, укороченный день, дополнительный отпуск и молоко полагается. За вредность. Был я в том цехе недавно — там директор наш, Либедянский, митинг проводил. «Женщины, говорит, дорогие, ругайте нас и казните: плохо с молоком. И насчет шестичасового дня, сами видите, не получается. Давайте, дескать, вместе обсудим ситуацию...»

— Обсудили? — перебил Слободкин.

— Обсудили. Но как! Встает первой Мария Саввишна Панюшкина и заявляет: «От молока отказываемся и от шестичасового дня тоже. Добровольно. Так что не беспокойтесь, товарищ директор. Если разживетесь молоком, все ребятам, до последней капли, отдайте. Верно я говорю, бабоньки?» В один голос отвечают: «Верно. До последней капли». — «Но ведь вредное производство, — пробует ей возразить директор, — вы, Мария Саввишна, это лучше меня знаете». — «Знаю, говорит, но я вам по-нашему, по-рабочему, просто скажу: сейчас весь завод, вся Россия вредное производство. Не любит русский человек, когда над его головой «юнкерсы» с бомбой летают. Вредно это ему. Так что запишите, товарищ директор, — отказываемся. До самого конца войны, на сколько нужно, одним словом. И от молока, и от шестичасовки. А насчет отпуска что говорить? Какой теперь, к лешему, отпуск?»

Уже совсем ночью проводил Каганов Слободкина до конторы. Но и тут они не расстались.

— Обследуем теперь вашу хату? — спросил мастер.

— Заходите. То же самое, только еще минус плитка. Они вошли, осмотрелись, сели на койку.

Каганов, подышав в кулаки, сказал:

— Да уж, что минус, то минус. Надо вам срочно в обыкновенный барак перекочевывать. Там хоть надышат за ночь.

— Комендант обещал подыскать местечко.

— Завтра же напомню ему. Скажу: «Коченеет новое пополнение». Вы не обидитесь? Обид между друзьями быть не должно.

«А ведь и в самом деле, подумал Слободкин. За одну ночь они почти подружились. Как странно бывает в жизни. Даже имени Каганова он еще не знает. Да и тот не спросил, как зовут его. Никаких таких слов не сказали друг другу, не съели по пуду соли, только по крошке сахараина проглотили с водой...»

— А теперь давайте знакомиться, — словно угадав ход мыслей Слободкина, сказал Каганов. — Меня зовут Львом Ильичом, Левой, короче, а вас?

— Сергеем.

— А по батюшке?

— Не стоит.

Слободкин хотел и Каганова попросить, чтоб он звал его Слободой, как в роте, но постеснялся. Одно дело с Зимовцом фамиллярничать, а мастер есть мастер. Начальство.

Каганов снова догадался, о чем думает его новый приятель.

— Табели о рангах между нами не существует, договорились? А то я вас, ей-богу, продам в многотиражку, так и знайте.

Пришлось Слободкину рассказать про свое военное прозвище.

— Готовый псевдоним для выступления в нашей газете, — сказал Каганов.

— Самое обидное будет, если мы поссоримся из-за газеты, которой еще не существует в природе.

— Газета скоро выйдет, но мы не поссоримся и тогда. Спокойной ночи.

— А может... доброго утра?

Они одновременно потянулись к ставне — за ее картоном еще голубело холодное лунное небо, но на тропе, ведущей к заводу, уже появились первые фигурки людей.

Каганов глянул на часы и ахнул:

— Четверть седьмого... Ничего себе! Немедленно в цех!

— Как говорится, все по местам?

— Да. Сразу же, тем более что завтрака у нас не бывает.

— Это я понял уже. И ужина тоже.

— И ужина. Но опять поговорить как-нибудь вечером мне с вами хотелось бы. Может, придете?

— А если вместе с Зимовцом? Можно? — спросил Сергей.

— Конечно. Ко мне один знакомый обещал зайти, только что из Сталинграда. Я вам дам знать тогда. Просветимся, а то в газетах много общих слов.

— Вы же отвечаете за печать.

— Только за свою, заводскую. Уж в своей-то мы напишем все как есть, будьте спокойны.

— И про Сталинград?

— Конечно.

— Да ведь это, поди, военная тайна.

— Тайн разглашать мы не будем, но правду людям надо говорить обязательно. А то слухи начинают ползти, а это хуже всего на свете.

В эти последние несколько минут Каганов окончательно расположил к себе Слободкина. Больше всего ему пришлась по душе прямота мастера, его умение относиться к человеку с доверием.

Следующие дни работы Слободкина на станке оказались еще труднее. К токарю-ремонтнику бежали из всех бригад. Однажды перед перерывом к Сергею подошел Баденков и попросил, если можно, не ходить в столовую.

— Я договорился, вам обед принесут сюда. Выручите? Наш девятый в последнее время на каждой летучке у директора долбают. Сегодня просто до скандала дошло. Мы всех держим. Скоро с меня, да и со всех нас шкуры снимут...

Слободкин давно уже все понял и не нуждался больше ни в какой агитации, но Баденков, который только что пришел от директора, был в состоянии крайнего возбуждения и не мог остановиться:

— Я вообще хотел отменить перерыв в цехе, но там запретили. Сам Строганов звонил. Тогда я своей властью решил кое-кого накормить прямо тут, на рабочем месте.

— Ну и правильно,— вставил наконец слово Слободкин.— Я бы на месте директора вообще подумал о том, чтоб рабочих кормили в цехах. Нормальной столовой все равно нет.

— Я на всех совещаниях об этом твержу. Никто слушать не хочет. «У Баденкова, говорят, пунтик, магия реорганизации». Поддержите меня при случае! Вы фронтовик, к вашему мнению прислушаются.

Слободкин пожал плечами. Ему показалось противоестественным, что авторитетный на заводе человек,

начальник одного из основных цехов, ищет поддержки у новичка, который и дорогу-то в злосчастную столовую еще не запомнил.

— Ну, мы еще поговорим с вами, Слободкин. Ваша помощь мне необходима во многом.

Оставшись один, Слободкин целиком ушел в работу. Он забыл о голоде, о разговоре с начальником, о том, что не спал минувшую ночь. Быстро вращаясь, патрон станка обдавал лицо щекочущим запахом масла, от стружек исходило дразнящее тепло, и на сердце у Слободкина стало так хорошо, как он не помнил, когда и было...

Но вот кулачки патрона больно ударили Сергея по руке. Он понял, что просто-напросто спал. Спал без зазрения совести именно тогда, когда должен работать в два, в три раза быстрее.

Он собрал все оставшиеся силы. Но через несколько минут снова ощутил ветерок от патрона, вращающегося возле самого носа. Это было уже опасно. Сергей выключил мотор, сел на ящик возле станка, стал выскребать табачную пыльцу из кармана гимнастерки и никак не мог наскрести даже на самую тощую закрутку.

В этот момент перед ним с торжествующим видом появился Зимовец. В руках он держал дымящуюся миску.

— Наворачивай! И хлеб, и первое, и второе в одной посуде. Фирменное блюдо завода — галушки!

Слободкин благодарно улыбнулся Зимовцу, запустил руку за голенище, извлек оттуда блестящую, расплющенную от долгого ношения в сапоге ложку и принялся есть — быстро, смачно, но аккуратно, не роняя ни одной капельки. Добравшись до половины миски, спросил приятеля:

— А ты?

— Я там еще рубанул. Меня Баденков из очереди вытянул, черным ходом провел — у него земляк работает поваром. «Ешь, говорит, и Слободу выручай».

— Так и сказал — Слободу?

— По-моему, так.

— Брехун ты, Зимовец.

Слободкин доел. Блаженное тепло разлилось по всему телу, он понял, что теперь-то уж заснет как пить дать.

— Зимовец! А ты еще раз выручить не можешь?

— Миску снести? Снесу. Я за нее зажигалку в залог оставил.

— Поговори со мной, не то засну сейчас, и тогда уж сто Баденковых меня не разбудят. Ну, поговори, поговори...

— Так вот какая тебе выручка требуется? Некогда, Слобода, вкалывай. При первой возможности забегу.

Слободкин принялся за работу. Сон пытался вновь связать его по рукам и ногам. Сергей опять напряг всю свою волю, чтобы не поддаться усталости. Впрочем, и думать-то о том, что устал, было просто некогда. Дел все прибавлялось, самых неожиданных, от которых даже страшно становилось. С чем только не спешили к токарю-ремонтнику! А какой из него, к черту, ремонтник? Всем ведь не объяснишь, что фабзаяц. Самый настоящий фабзаяц, да еще с неоконченным курсом наук! Правда, он любит токарное дело и в ФЗУ после занятий не только гайки для рыбалки резал, а и кое-что посложнее вытачивал. Но ведь подзабыл — армия, фронт. А кое-чего и сроду не знал. Как быть, например, с двухзаходной резьбой? Он, конечно, видел, как ее нарезают. Теоретически ясно, хотя и не во всех тонкостях. Но сам он никогда, даже в мыслях, к двухзаходной не прикоснулся. И надо ж такому случиться — приволокли ему деталь с сорванной двухзаходной резьбой! От смущения даже в глазах потемнело. Даже вся «теория» полетела к чертовой бабушке.

Вспоминая потом этот случай, Слободкин не мог восстановить во всех подробностях, как он вышел из трудного положения. Помнил только, как пришлось заново затачивать резцы, как упрямая сталь не хотела больше слушаться. Как взбунтовался и сам наждачный круг — подчинившийся было воле Слободкина камень задрожал, «задробил» с новой силой. Об него не только сталь крошилась — вера Слободкина в свои возможности. И пожаловаться было некому, некому было душу излить.

Только на следующее утро он снова увидел Каганова. Мастер подошел к станку, когда Слободкин с Зимовцом, обжигая пальцы, роняя искры, по очереди докуривали куцую самокрутку.

— Ну как, Слободкин? Освоились? Все в порядке у вас?

Слободкину нравилось, что мастер ведет себя с ним просто, как равный с равным, и делами его интересуется искренне, поэтому ответил честно:

— Завалили работой, за настоящего токаря принимают, даже обед к станку носят, а я забыл все на свете. Вчера двухзаходную резьбу едва одолел.

Каганов удивился:

— Двухзаходную? Это ж для седьмого разряда работа!

— Для седьмого.

— А у вас?

— Пятый.

— И все-таки нарезали?

— После седьмого пота.

— Ну вот, в полном соответствии с этим вам должны бы оформить теперь и новый разряд — седьмой.

— Только поту не было, — вмешался Зимовец, — дрожал как бобик, я свидетель!

— Задрожишь! Я не токарь, но прекрасно понимаю, что такое двухзаходная. Поздравляю вас, Слободкин! И хорошо нарезали?

— В том-то и дело, что сикось-накось...

— Ну, ничего, наладится. Главное — в руки свои поверили. Когда ко мне-то зайдете? Может, сегодня?.. Да-да, именно сегодня. Помните? И вы, Зимовец, приходите. Придете?

Зимовец молча посмотрел на приятеля. Как он, дескать, так и я.

— Ну вот и отлично, — сказал Каганов. — Я один живу. После работы — хоть волком вой. Жду.

Часов в девять вечера Слободкин и Зимовец отправились к Каганову. Хозяин уже поджидал их. На электроплитке стоял покрывшийся мелкими каплями чайник.

Вскоре явился и знакомый Каганова — сталинградец. Внешне он ничем не отличался от заводских. Даже в полумраке было видно, как глубоко запали его глаза, как резко выступили скулы. Но Слободкину человек этот сразу показался необыкновенным, непохожим на всех. Что-то было во всем его облике от самого Сталинграда, которому выпало на долю столько тягот и испытаний уже с первых месяцев войны.

Они надеялись услышать подробный рассказ о мужественных людях города, но приезжий сам начал сразу с расспросов. Его интересовало все — и как работает завод, и как устроились на новом месте, и часто ли бомбит немец. И когда узнал, что часто, сказал:

— Над Сталинградом его посшибали несметное множество. Но летит, летит еще, ничего не боится — ни зениток, ни «ястребков». Чтобы посеять панику, швыряет вместе с бомбами пустые, рассверленные со всех сторон железные бочки из-под бензина. Почерневшее среди бела дня небо воет, выматывая из людей душу...

Слободкин глядел на сталинградца восторженно. Вот так надо рассказывать людям о войне!

Будто угадав его мысли, сталинградец сказал:

— А у нас кое-кто до сих пор громкими словами бросается. Уж столько речей, столько речей... Танков нужно больше, самолеты давай, а речей хватит...

Где-то около полуночи, когда собрались попить чаю, за окном завывала сирена. Выключив плитку, все четверо вышли из барака. Лучи прожектора упирались в низкие, притертые друг к другу тучи, нервно метались, словно не зная, что делать. Зенитки били дружно, напористо, но наугад. А немец, не видя под собой цели, бомбы бросать не стал. Швырнул две-три и ушел. Однако зенитчики огня почему-то не прекращали. Осколки с шипеньем и свистом падали на крыши бараков, к ногам вышедших людей.

Сталинградец рассердился:

— Зачем столько шума? Ведь ясно же — дальше прочапал.

Каганов вступился за зенитчиков:

— Поглядели бы вы на тех пушкарей! Девчонки. Маму не кличут, и на том спасибо.

— И то верно. Иногда и у нас так, но дело свое знают до тонкостей. Чуют, когда бомба летит, когда — бочка, а когда, отбомбив, порожний, одним мотором пугает, с разбегу кидается. Стоят, не робеют...

— Девчата и у нас молодцы, — перебил сталинградца Каганов, — ты их увидишь еще. Мы тут недавно работаем, вдруг слышим — загрохотало что-то со страшной силой. От усталости с ног валимся и никак не поймем — то ли снова налет, то ли хляби небесные разверзлись. И что же ты думаешь? Девчата собственно-ручно сбитый «юнкерс» на тресе волокут. Не целый,

конечно, растерзанный взрывом, но грохоту от этого еще больше! «Вот, говорят, вам металлолом».

— Действительно, молодцы, — согласился сталинградец. — Ну а как же насчет чая? На Волге воды жалеть не годится.

— Сегодня не даст попить как следует, — убежденно сказал Зимовец. — На обратном пути еще раз проведает.

Примерно минут через сорок, в самый разгар чаепития, тревога действительно повторилась. Низкие тучи к тому времени разогнало, немец повесил «люстры».

Кирпичные корпуса завода на фоне снегов были высвечены довольно отчетливо.

— Он, конечно, знает, куда и зачем пришел, — сказал сталинградец.

— Дорожка протоптана, — подтвердил Каганов.

И вот произошло то, чего все время опасались на заводе. Одна из бомб угодила в зазимовавшие возле берега нефтеналивные баржи. Нефть загорелась сперва неярко, пламя побежало вширь, приземисто. Потом желтые лоскуты его взметнулись так высоко, что в свете их и завод, и бараки стали видны как на ладони. Случайно так получилось у немцев или они узнали про баржи, но факт оставался фактом — гигантский факел пылал над заводом, и не было никакой возможности спрятаться от его неистового света.

Утром небо было черным от нефтяного дыма. И снега почернели. Почернели и еще больше посуровели лица людей.

Никто не знал покоя на заводе весь день и следующую ночь. Гасили пожары в цехах, в бараках, разгребали завалы, подбирали раненых, уносили убитых...

Нефть горела трое суток. И трое суток продолжалась тревога. Ночью бомбардировщики шли на огонь. Днем — на дым. Утром и вечером — и на дым, и на огонь. Никогда еще налеты на завод не были такими настойчивыми и жертвы не были так велики.

Когда выгорела вся нефть в баржах, кончились, видно, и силы у немецких летчиков. На четвертые сутки они не прилетели. Иссякли остатки сил и у тех, кто все это время работал под бомбами.

Слободкин еще не знал во всех подробностях о размерах разрушений, причиненных заводу и поселку. С тяжелым сердцем шел он с Зимовцом от пепелища

к пепелищу, подымал с земли дымящиеся головешки, подбрасывал их высоко и зло. Несмотря на то что он вместе с другими все эти ночи и дни только тем и занимался, что гасил огонь, растаскивал бревна и доски, к нему опять вернулось проклятое чувство беспомощности. И еще он злился оттого, что поймал вдруг себя на мысли: больше всего жаль ему... сгоревшей дотла конторы. В этом стыдно признаться даже Зимовцу, но в то же время это так, черт побери!.. Снова станет он обузой для людей, которым, ей-богу, не до него, своих забот у них больше, чем нужно. А Устименко теперь не поймать — бегаёт от землянки к землянке, от одного разоренного барака к другому. Наводит порядок, расселяет погорельцев. Вот уже где-то слышится его голос, осипший, усталый и тоже злой.

— Устименко сейчас не до тебя, — сказал Зимовец, когда комендант пронёсся мимо них с охапкой досок-горбылей. — Ему теперь на неделю аврала хватит. Ты знаешь, что я придумал?

— Землянку рыть?

— Это было бы самое лучшее, но больно долгая песня. Давай, Слобода, по-солдатски спать — на одной койке. А? Другого выхода нет. Соглашайся.

То ли оттого, что вконец измучился, то ли потому, что доводы Зимовца были действительно вескими, Слободкин спорить с другом не стал.

Г л а в а 3

По разному подействовали последние события на людей. Кое-кто смалодушничал, опустил руки.

Слободкин опять горько задумался. Парашютист. Специально обученный, тщательно подготовленный для борьбы с врагом. Сидит здесь, ждёт, когда прибёт его немец — за станком или ночью в бараке, под кавалерийской шинелью...

По его ли характеру такая жизнь? На военном заводе, для фронта работает? Но разве это работа? Какой он, к шуту, токарь? Ученик! Это Каганов так, чтоб утешить, сказал, будто ему за двухзаходную седьмой разряд полагается. Ерунда! И резал-то он совсем не так, как нужно было. А завтра принесут работу посложней — тогда что?

Весь день Слободкин был в самом мрачном настроении. И так обдумывал свою судьбу, и этак. Все нехорошо получалось. Все вкось и вкривь.

Поговорить с Зимовцом? Посмеется. Свой брат, фронтовик, а намекал уже как-то на то, что натура у Слободкина, дескать, слишком чувствительная. С Кагановым посоветоваться? Этот войдет в положение, но скажет, конечно, о долге завода и всего коллектива перед армией, перед страной.

К Савватееву попробовать сунуться? Идея! Этот может, по крайней мере, решить: кадры!

Слободкин стал искать подходящего случая, чтоб повидаться с кадровиком. Через несколько дней снова появился возле двери, обитой черной клеенкой. Дверь была на замке.

Слободкин постоял несколько минут, не зная, что делать, куда идти — вдруг откуда ни возьмись Савватеев.

— Ты ко мне?

— К вам...

— Что случилось?

Савватеев тщательно, два раза, повернул ключ в замке. Слободкин слышал, что он повернул именно два раза, и опять подумал: кадры! И взяла его почему-то оторопь. Савватеев спрашивает, как дела в цехе, как устроился. Слободкин отвечает, но никак не решается сказать о главном — о том, что заводская жизнь оказалась не по душе.

Савватеев неожиданно сам помог ему. Глянул вдруг на Слободкина хитровато и говорит:

— А я ведь все знаю!

— Про цех? Про барак?

— И про цех, и про барак, и про то, зачем пожаловал, тоже. Хочешь, скажу?

— Скажите...

— И скажу, не постесняюсь. Труханул ты, товарищ фронтовик! Да! Точно знаю. Сырого теста испугался. И еще барака нетопленного. Пожара. Трудностей, одним словом. Комсомолец называется. Хуже всякого беспартийного. Ну, другие на фронт просятся, им простиительно — незакаленный народ, слабый. Думают, для них на фронте все припасено — и хлеб, и сахар, и тушенка еще. Черта лысого! Ты же сам испытал.

— Испытал. Только я другое хочу сказать...

— И про другое знаю. Врага своими руками бить

мечтаешь? Так вот, запомни: войны выигрывают не одни солдаты. Рабочий класс еще есть на земле. Без него ни пехота, ни танки шагу не шагнут. Это ты можешь понять?

— Все понимаю, товарищ Савватеев, но я тоже человек. Все работают, все на месте, а я вроде подручного в цехе.

— Вот-вот-вот! Именно: «Все на месте!» — ухватился Савватеев за слово. — По радио слышал во время тревоги: «Все по местам!»? Смысл уловил? Или просто так, решил, для красного словца, мол, лозунг придуман?

— Уловил. Я и хочу по смыслу. Там мое место. — Слободкин выпрямился, встал перед Савватеевым по стойке «смирно».

Залюбовавшись выправкой Слободкина, Савватеев невольно перешел на военный язык:

— Отставить! Я такими разговорчиками вот как сыт! Будешь на заводе работать. Всё. Кру-гом...

Слободкин повернулся через левое плечо.

— Постой. Садись. Давай поговорим спокойно.

Они сели друг против друга. Помолчали. Слободкин заговорил первым:

— Товарищ Савватеев, трудно мне здесь, но не в том смысле, как вы думаете! Иждивенцем быть у вас не хочу.

— У кого «у вас»?

— Ну, у вас, у всех...

— А ведь верно говорят, что умные головы иногда дуракам достаются. Баденков им доволен, Каганов — и подавно, а он весь в сомнениях-рассуждениях. Вот что, Слободкин. Я лишних слов не люблю, не буду много говорить, все сам понимаешь. Скажу только, что фронт не исключен. Позовут — все там будем, и ты, и я, все до одного человека. У меня вот план один есть, но тебе сейчас разве до планов! Мозги набекрень.

— Какой план?

— Для серьезных людей.

— Скажите.

— Говорю: для серьезных людей.

Слободкин вздохнул. Савватеев посмотрел на него уже не так строго.

— Можно бы собрать человек десять — двадцать таких вот, рвущихся в бой.

— И что? — оживился Слободкин.

— И готовить их помаленьку. Как твое мнение?

— Я думаю, было бы здорово...

Савватеев вырвал из блокнота лист бумаги, подсел поближе к Слободкину.

— Хочешь — парашютистов готовь, хочешь — пулеметчиков.

— Я?..

— Ну не я же. В мое время десантов не было и пулеметы были не те. Так как, возьмешься? Подумай-ка. А ребят я тебе подберу сколько хочешь. Каждый день ко мне ходят.

— А материальная часть?

— Все обеспечу. И парашют достану, и самолет будет. Со временем.

— Согласен!..

Савватеев оказался человеком дела. Не прошло и двух дней, как Слободкин снова переступил порог знакомого кабинета. Только на этот раз по распоряжению Баденкова. Начальник цеха подошел к Слободкину во время работы, посмотрел на его худую, сгорбившуюся над станком фигуру и сказал с сожалением:

— Не дадут человеку к месту прижиться.

Слободкин удивленно покосился на Баденкова.

— Савватеев сейчас звонил. «Пришлите, говорит, вашего новенького после работы ко мне». Смекаешь?

Слободкин покачал головой.

— Ну, а я воробей битый, сразу смикитил. Только пустой это номер. До директора, до парторга ЦК дойду, если потребуется, но ни одного человека из цеха больше не отдам. Тем более...

Он хотел, видно, еще что-то добавить, но сердито махнул рукой и, уже уходя, как бы невзначай бросил:

— Ты тут не последняя пешка.

Начальник отдела кадров поднялся навстречу Слободкину.

— Думаешь, я забыл? Поговорили — и ладно? А я всех военпредов на ноги поставил, все телефоны оборвал за эти дни. И вот, полюбуйся!

Савватеев распахнул перед Сергеем дверцы шкафа, из глубины которого сверкнуло ярко-красное кольцо парашюта.

— Запасной! — воскликнул Слободкин.

Савватеев смутился:

— Что? Не годится?.. Сказали, подойдет — летчицкий...

— Да что вы, что вы! — восторженно пробасил Слободкин. — Как раз то, что надо!

— Ну слава тебе, господи! Угодил, значит?

— Угодили. — Слободкин осторожно извлек парашют из шкафа, положил его на стол Савватеева и сильно, наотмашь, дернул кольцо.

Белая пена шелка бесшумно заполнила все пространство стола. Слободкин запустил в нее пальцы, зачерпнул поглубже, поднес на ладонях к лицу, зажмурился.

— Чем пахнет? — серьезно спросил Савватеев.

— Белоруссией пахнет. Лесом, солнцем, полем, травой... И еще первой ротой...

— Вот теперь вижу — действительно угодил.

Слободкин вздохнул, помолчал, поворошил еще раз шуршащий шелк, потом стал укладывать парашют с такой тщательностью, будто готовил его к прыжку.

Савватеев внимательно следил за каждым движением Слободкина. Улучив момент, попробовал помочь разгладить одну из самых ответственных складок.

Слободкин удивленно посмотрел на Савватеева, ему показалось вдруг, что начальник только притворяется, будто ничего не смыслит в этом, а на самом деле прекрасно понимает, что к чему.

— Вы что, прыгали когда-нибудь?

— С печки на лавку. Но сын у меня два года в аэроклуб ходил до войны. Вечерами нам с матерью, бывало, уроки давал. Про всякие строны, тросы и люверсы. Правильно называю?

Слободкин взглянул на Савватеева с еще большим удивлением.

— Правильно, люверсы.

Без всякого перехода Савватеев спросил:

— Ну, как приняли в цехе? Баденков? Каганов? А Устименко? Ты в случае чего прямо ко мне заходи. Запросто.

Слободкин поблагодарил. Хотел намекнуть, что Баденкову не очень-то понравился этот звонок из отдела кадров. Савватеев опередил его:

— А сейчас шагай в цех. Баденкову скажи: посадил, мол, Савватеев анкету переписывать. Не по форме, дескать, была. Понял? Не будем раньше времени шум поднимать. Да и дела на заводе сейчас такие, что каждая пара рук на самом строгом счету. И уберем от лишних глаз до поры нашу технику.

Паращют скрылся за дверцей шкафа. Савватеев запер замок, протянул руку Слободкину:

— Держи.

А в дверях еще раз Сергей услышал простуженный голос начальника:

— Так строго между нами!

Поздно вечером Слободкин добрался до барака и пристроился на койке рядом с Зимовцом. Смертельно хотелось есть и спать. Зимовец окликнул его:

— Наломался?

— Было дело.

— Я тебя весь вечер жду. Не курил даже.

Слободкин услышал в темноте сладкий запах махорки.

Они закурили, по очереди затягиваясь одной сигаркой. Малиновый огонек медленно переходил из рук в руки, пока не прикипел к пальцам.

Слободкин сперва хотел рассказать своему другу о сегодняшнем разговоре с Савватеевым, потом решил не торопиться с этим. В голову лезли разные мысли. Сергей гнал их прочь, стараясь сосредоточиться на чем-нибудь таком, чем можно было бы поделиться с приятелем.

Зимовец почувствовал это, сам спросил:

— Что у тебя?

— Ничего. Думаю.

— О чем?

— О том, например, что обобрал тебя с ног до головы. Полкойки оттяпал, кисет выпотрошил.

Зимовец сердито повернулся с боку на бок, так что Слободкин чуть не слетел на пол.

— Поаккуратней! — проворчал Сергей. — Пустил жильца, теперь сталкиваешь.

— Я человека пускал, а не скотину, — буркнул Зимовец.

— Ладно, не злись. Пошутил.

— То-то. Думающее, стало быть, существо. Ну а раз так, то думай, когда говоришь.

— Ладно.

— Думаешь?

— Думаю.

— О чем? Кошки, что ли, скребут?

— Откуда ты взял?

— Говори уж, коли начал.

— Я не начинал.

— Вот и попался. «Не начинал» — значит, мог бы начать, да не перед кем душу вывертывать? Так, что ли, тебя понимать?

Слободкин промолчал. Зимовец обиделся:

— А еще друг называется.

«Может, сказать ему об Ине? Если мы действительно друзья, то рано или поздно все равно надо будет все выложить».

Слободкин рассказал Зимовцу, как впервые увидел Ину в предвоенном Клинске. Как написал ей письмо. Как писал потом каждый день и ежедневно получал ответы. Как вся рота переживала за него, а он думал, что никто ни о чем не догадывается. Как ездил в Клинск из Песковичей, в которых служил в воздушно-десантной бригаде, как нелегко было получать увольнительные. Как потом разом все оборвалось. Не стало коротких встреч, длинных писем — все кончилось. Потерялся где-то след человека, незаметно ставшего самым дорогим, с которым связалось все — настоящее, будущее, жизнь...

Слободкин сказал еще, что дальние родственники Ины жили до войны, кажется, где-то на Волге и что у них можно было бы при случае попробовать навести справки.

Приятели проговорили долго. Махорки больше не было, и малиновый огонек не мелькал между ними, но Слободкин и Зимовец не чувствовали ни голода, ни холода, ни усталости. Сама война, казалось, отошла куда-то и не напоминала о себе ни выстрелом зенитки, ни взрывом бомбы, ни сиреной — ничем решительно. Только выюга стонала совсем рядом, за тонкой переборкой барака. Может быть, именно поэтому немец и не прилетал. А может, сама судьба охраняла их, давала возможность развеяться.

Помолчали. После долгой паузы Зимовец вдруг сказал:

— Слушай, а может, я могу помочь разыскать твою Ину? Она комсомолка?

— Говоря по правде, не знаю, никогда почему-то об этом не спрашивал...

— Ну ладно, все равно мы через обком комсомола попробуем. У меня там секретарь знакомый, Саша Радволин.

— Тогда на тебя вся надежда. Ни днем ни ночью забыть ее не могу... А у тебя-то как, Зимовец? Молчишь про себя.

— Нет у меня никого.

— А семья где?

— И семьи нету... Разболтались мы с тобой что-то, а скоро подъем.

Он и не заметил, что сказал по-солдатски, а Слободкин обрадовался:

— Подъем!.. Когда-то ненавидел я даже слово это! А сейчас с наслаждением услышал бы. Гаркнул бы над самым ухом хрипатый Брага, мне и минуты хватило бы, чтоб одеться и встать в строй.

— Да... Все-таки житуха была, скажу тебе. А?

— Спрашиваешь! Гайки туго, конечно, закручивались, до предела, можно сказать. До сих пор стонут все косточки. И намаешься, бывало, — соль на плечах, а все равно хорошо. Кузя, дружок мой, даже в Москву, к матери ездил.

И снова заговорили приятели о том далеком, родном, что всегда согревает сердце солдата. Собственно, говорил Слободкин. Зимовец слушал, изредка перебивая вопросами. Но он готов был слушать сколько угодно, хоть десять ночей подряд. О поездке Кузи домой. Об Ине. О Москве. О том, как шагал по ней Кузя, выполняя поручения ребят и его, Слободкина, поручение. О том, как давно и недавно все это было. О матери Слободкина.

— Поседела она перед самой войной, словно чуяло ее сердце. Представляешь? Кузя на порог — в мае это было, в самых последних числах, — а она ему навстречу словно в белом платке. Кузя растерялся даже: я ему совсем другой портрет рисовал. Но виду, конечно, не подал. «Какая вы молодая...» — говорит...

— А она?

— Смеется. А сама фартук к глазам — и на кухню скорей, будто не терпится ей гонца от сына поскорей за стол усадить. И уже оттуда кричит что-то. Слов Кузя не слышит, идет на ее голос. А она уже справилась со своей слабостью, действительно стряпает что-то, только руки чуть-чуть дрожат, и тарелка летит на пол, разбивается вдребезги. «Это к счастью! — смеется опять и снова подносит фартук к глазам. — Ну как там сыночек мой? Как?..»

Зимовец слушал Слободкина внимательно, еще вни-

мательней, чем про Ину, и только в конце рассказа вздохнул.

— Все матери похожи одна на другую. Она где сейчас-то?

— В Москве. Вчера письмо ей отправил. Долго ли теперь почта ходит?

— А кто ее знает, не пробовал, некому,— снова вздохнул Зимовец.— А ты пиши, пиши, ей там легче будет, с письмами-то. Одна она у тебя?

— Отец нас оставил еще до войны. Не знаю, что у них там вышло, осуждать не буду, но мать убивалась сильно. Потом отошла немного. Замкнулась только. Когда в армию меня брали, как на тот свет провожала. Самое страшное на войне — это, по-моему, слезы материнские.

— Так ведь войны еще тогда не было.

— В воздухе пахло уже. Для меня она с тех слез и началась. Так мне сейчас, по крайней мере, кажется.

— Может, поспим все-таки немного? — спросил Зимовец.

Слободкин сказал в ответ что-то напускное, неестественно бодрое и сам смутился от своего тона.

— Не обращай внимания на меня. Расквасишься вот так и городишь черт знает что. А на душе действительно накипело. Мне бы только письмо получить от Ины. Да от матери. Двое у меня их на земле.

Поговорив еще немного, Слободкин с Зимовцом под самое утро все же уснули. Усталость взяла свое.

Проснулся Сергей от грохота. Ему вдруг почудилось, что дежурный по роте приволок охапку березовых дров и озорно швырнул их возле печки. Поленья раскатились по всему полу, до самых дальних углов, и продолжали еще там погромохивать, перекатываясь с боку на бок на суковатых горбушках.

Слободкин открыл глаза, всмотрелся в полутьму — несколько человек, чтобы скорее согреться, яростно пританцовывали на промерзшем за ночь полу барака. Вот и все дрова...

Сергей стал тормошить приятеля:

— Подъем, подъем! Гляди, рота уже на ногах.

— Рота?.. — встрепнулся Зимовец. — Смотри-ка, и верно! Ну что ж, встаем, выходим строиться.

Весь день Слободкин был под впечатлением этого утра. Стоял у станка, а сам про звонко рассыпавшиеся по полу дрова вспоминал. Толкался в очереди в сто-

ловку — мысль о первой роте и тут не покидала его. Все до одного ребята возникали перед его взором, выстраивались по росту точно так, как на поверке: Прохвятилов, Кузя, Гилевич, Исаев, Дашко... Будто и не расставался с ними, будто чувствует сейчас плечо каждого из них, вот так, как плечо Зимовца, стоящего рядом. Неужели это вернется когда-нибудь? Вернется, надо только уметь ждать и надеяться. А тесто — что ж, к тесту тоже привыкнуть можно. Привыкнем скоро. Привыкаем уже.

— Ты привык? — спросил он приятеля.

— К чему смотря, — вобрав голову в плечи, отозвался Зимовец.

— К тесту.

— К тесту можно привыкнуть. Хуже, когда и теста нет. Сегодня вроде бог миловал. Чуешь? Так тесто не пахнет!

— Голова даже кружится...

Влекомая запахом свежееиспеченного хлеба, очередь в столовую двинулась быстрее. Все сразу стало выглядеть по-иному. Даже стекла очков Каганова, которые снова мелькнули где-то перед Слободкиным, не показались ему сегодня ледышками.

Уже в цехе, у станка, Сергею сквозь запах горячих металлических стружек долго еще слышался аромат хлеба. И не потому только, что хлеб — это хлеб. От него пахло летом и еще чем-то неуловимо родным и сладким, что не имело названия, но жило в каждой крошке, в каждой трещинке поджаристой черной корки...

Он вспомнил сейчас, как они с Иной вышли однажды за город и заблудились. Они пробирались по ржаному полю и никак не могли выйти на дорогу, хотя были где-то совсем рядом со станцией, на которой Слободкин должен был вскочить на последнюю подножку последнего поезда. Они оба не на шутку испугались, но кто-то из них успел все-таки заметить, как вкусно пахнет рожь — совсем как хлеб из горячей печки. Кто из них сказал это? Она? Или он? Сказала она, кажется, но подумал он первый. Да, да, они оба смеялись потом, какие одинаковые мысли приходят к ним, да еще в одно и то же время.

Так вот, оказывается, чем пахнет хлеб! Счастьем! Как же он сразу не догадался об этом? Самым настоящим счастьем...

Слободкин, согнувшись над станком, целиком уйдя в работу, улыбался своим мыслям. Улыбался так откровенно, несдержанно, что у подошедшего к нему Каганова худое, с провалившимися глазами лицо тоже чуть повеселело.

— Молодец, молодец, здорово жмешь! — похлопал мастер его по плечу. — Я сразу понял, когда увидел тебя: золотые руки-то. А я к тебе знаешь зачем?

— Зачем?

— С Баденковым разговор у нас был. Готовься, сейчас на твою сознательность давить буду.

— А как это делается?

— Вот слушай. Ты солдат?

— Годный, обученный, обмундированный. — Слободкин поправил съехавшую набекрень пилотку.

— Без приборов немцев нам не разбить.

— Больно вы издалека начинаете. Говорите уж самую суть.

— Надо тебе одного паренька заменить. Заболел. Врачи говорят — надолго. Он у нас в морозилке работал. Заменишь?

— А на станке кто?

— Вот тут-то и начинается нажим на сознательность. От станка мы тебя совсем освободить не можем.

— Как это?

— На станке у нас в цехе никто, кроме тебя, не может, ты знаешь.

Слободкину понравились эти слова. Как ни говори, приятно. Только пришел на завод, а тебя уже ценят. Самое главное — быть нужным. Еще лучше — необходимым. Человеком себя ощущать.

— А где она, морозилка?

— Я знал, что ты согласишься. Но дело сложное, учти.

— Показывайте. Посмотрим, тогда и решим.

Для того чтобы попасть в морозилку, надо было пересечь длинный, засыпанный снегом двор и пробраться в каменный сарай. Именно пробраться — тяжелые двери были похожи скорее на ворота. Обе их створки были широко распахнуты, между ними громоздилась целая баррикада свеженаметанного снега.

Каганов и Слободкин перелезли через сугроб, осмотрелись. Низкие, нависшие потолки, через толстый слой инея на стенах едва пробивается краснота кирпича.

Каганов, взяв Слободкина за руку, повел его в самый дальний угол сарая, к застекленным сооружениям, изнутри которых сочился слабый электрический свет.

— Вот это и есть камеры для испытания автопилотов на холод. Минус сорок должно быть там во время работы. Только твой предшественник был рабом собственной добросовестности. Он считал, что чем холоднее вокруг, тем стабильнее режим самих камер. Так что двери сарая у него всегда нараспашку, даже научная база под это подведена. Дескать, чем меньше разница между внешней и внутренней температурами, тем безотказней будут работать камеры. Он прав в конечном счете, но ты представляешь, как тут натанцуешься! А надо еще внутрь установки лазить — там ко всему руку приложить. Словом, от человека до сосульки один шаг. Он тут и заболел, бедолага.

— Простудился?

— Да как еще! Я сто раз говорил ему, чтоб поберегся. Так нет же! Кругом дует, как в аэродинамической трубе, а он знай свое гнет. Вот и допрыгался. Организм слабый, сам понимаешь.

— А научная база, значит, все-таки правильная?

— В принципе — да. Чем холодней в этой сараюхе, тем легче поддерживать нужный режим в камерах. С этим кто спорит? И все же к черту на рога лезть не надо. Учти печальный опыт. Обмундирование у тебя тоже не полярное.

Каганов объяснил Слободкину, как и зачем испытываются автопилоты на разные температуры:

— Самолет попадает в любые, самые неожиданные условия. Может перегреться в бою, может застыть на аэродроме или во время вынужденной. Самая его чувствительная часть — приборы — должна быть готова к чему угодно. Вот мы их и закаляем. И жарим, и студим. Экзаменуем по всем статьям. Самое трудное состоит в том, что твоя морозилка мало приспособлена для испытаний. Часто портится, происходят аварии, устранять которые придется по ходу самому.

Каганов именно так и сказал «твоя морозилка», и это не ускользнуло от внимания Слободкина.

— А еще на заводе есть морозилки? — спросил Слободкин Каганова.

— Разумеется. Мы нарочно рассредоточили их на всякий случай. У нас дублированы многие важные

позиции, и не только в контрольном цехе. Ты это все увидишь еще и поймешь. Все продумано, учтено, несмотря на то что жить и работать в таких условиях приходится.

Мастер поглядел на заиндевелые стены сарая, поежился, потом решительно распахнул дверцу одной из камер. Крутые клубы белого воздуха, медленно перекачиваясь, стали выползать наружу, мешая смотреть, обжигая холодом лицо. Слободкин с трудом различил в глубине камеры белый столбик термометра. Видимо, он-то и был тут самым важным «фактором».

— Сколько? — спросил Каганов, заметивший, что его подопечный сориентировался правильно.

— Тридцать пять.

— Не годится. Нужно ровно сорок, не меньше. Сейчас начнем регулировать.

Мастер показал Слободкину, как регулируется режим камер.

— Но каждый прибор должен не просто «отсидеть» здесь свои два часа — в течение этого времени все системы его должны быть в работе, как во время полета. В камере есть ряд приспособлений, создающих автопилоту соответствующие условия. Вот шланги дутья. Присоединять их надо, когда прибор уже в камере. Вот так, смотри. Действуй быстро, аккуратно. Иначе и сам обморозишься, и весь холод наружу выпустишь, и на всей Волге температура станет еще ниже, чем сегодня, за что нам тоже спасибо не скажут, — улыбнулся собственной остроте мастер.

Загрузив прибор, Каганов захлопнул дверцу и стал через стекло наблюдать за термометром.

— Вот видишь, что произошло? Вроде бы не больше минуты провозился, а с температурой что? Замечаешь?

— Уже тридцать.

— В том-то и дело. Смекаешь, какая капризная штука? Теперь будем загорать тут минут... Впрочем, не буду гадать, засекай время.

— Засек.

Каганов подул в замерзшие ладони, постучал ногой об ногу.

— Чувствуешь, как пробирает? Притвори-ка все-таки двери, а то мы оба околеем.

Слободкин подошел к дощатым дверям сарая, с трудом закрыл их, повернул щеколду на ржавом гвозде.

— Ну вот, так-то лучше будет.

Каганов говорил, а сам не отрываясь смотрел на термометр.

Прошло не меньше часа, прежде чем ртутный столбик сдвинулся и стал медленно опускаться.

— Наконец-то! — обрадовался Каганов. — Теперь скоро начнем. Еще немного — и сорок.

— Хорошее слово, — сказал Слободкин, — солдатское.

— Какое? — не поняв, спросил Каганов.

— Сорок, говорю, хорошее слово. Неужто не слышали? Если тебе повезло и ты раздобыл щепотку махорки, кури, но сорок процентов оставь товарищу.

— Плохая дружба, — ухмыльнулся Каганов.

— Как плохая?

— Очень просто, плохая. Шестьдесят процентов себе и только сорок товарищу.

— Это только говорится так. На самом деле две затяжки себе, остальное — по кругу.

Слободкин вздохнул и сладко зажмурился, так захотелось ему сейчас этих двух затяжек. Одной даже. Половинки хотя бы.

— Был бы табак, я показал бы, как это делается. — Большие пальцы обеих его рук сами поползли вверх по согнутым указательным. — Дьявольски сладко!

— Курить? Или делиться?

— И то и другое.

— Не понимаю, — пожал плечами Каганов.

— Как курят или как делятся?

— Как курят. А поделюсь с удовольствием. Если получу по талону табак, забирай у меня.

Слободкин посмотрел на Каганова недоверчиво:

— Здесь разве дают?

— Обещают. К празднику. Ну а наши с тобой сорок должны быть железными, — сказал Каганов и снова поглядел на термометр, — никаких скидок. Стабильные сорок. Но при этих сорока чтоб работал автопилот, повторяю, без осечки. Все показания вносятся вот сюда. Все, до мельчайших отступлений. Брака в готовой продукции быть не должно. За это два человека в ответе — я и ты. — Каганов подумал и уточнил: — Ты и я. С завтрашнего дня приступай. Сегодня я малость тут сам поколдую.

— Значит, брак все-таки бывает?

— Живые люди над автопилотами спину гнут.

Полуживые, точнее. Ты их видел. А работают, не жалуются. На фронте, по-моему, легче человеку. Там хоть можно свинцом на свинец ответить. Мы же тут в общем-то беспомощны. Только сиреной можем подвывать.

— Я понял уже, что у вас тут за житуха,— сказал Слободкин.

— Только теперь не «у вас», а «у нас»,— поправил его Каганов.

Слободкин помолчал, глубоко вздохнул, потом вдруг спохватился:

— А камеру-то мы с вами упустили! Сорок уже, смотрите...

— Вот ты и начал осваивать новую должность! — обрадовался Каганов.— Хвалю! Давай приступим.

Мастер, взяв карандаш в негнущиеся пальцы, стал неловко записывать показания прибора.

— Можно, я помогу?

— Ну, пиши, пиши. Я диктовать буду. Итак, фиксируй: «Ротор бьет, самолетик светится плохо...» Записал?

Слободкин удивленно поглядел на мастера.

— Бракованный, не волнуйся. Вот, кстати, тебе и еще один ответ на вопрос о браке. Я нарочно из брака взял — для тренировки.

Слободкин разочарованно развел руками, но мастер настоял на том, чтобы испытания были проведены до конца, по всем правилам.

— Тебе ж потом легче будет, солдат. Смотри в оба. Завтра еще малость покручусь с тобой, и останешься ты с дедом-морозом один на один. Держись тогда! Поэтому зубри сегодня все наизусть, как таблицу умножения. Потом и спросить будет не у кого. И швец, и жнец, и на дуде игрец. И в цех, к станку, бегать будешь, и испытывать тут целыми партиями, и даже носильщиком сам у себя работать. Таскать сюда приборы. И отсюда тоже. Баденков считает, что так даже лучше. Обезлички, дескать, не будет. А то еще трахнет об пол какой-нибудь разиня, и не будем знать, кто именно. Начальник цеха у нас вообще человек осторожный, во всем строгий порядок любит. Автопилот, говорит, прибор чувствительный, носить его надо по одной штучке и только на руках, как ребенка.

Каганов показал, как носить приборы требует Баденков. Снеденав автопилот двумя полами порванного

демисезонного пальто, мастер стоял перед Слободкиным в неуклюжей позе.

— Ну и правильно,— неожиданно сказал Слободкин.— Сподручней. Дайте-ка я попробую.

Слободкин поднял полы шинели, укутал ими автопилот, сделал несколько шагов на месте. Вышагивал так старательно, что слышно было, как хлопают кирзовые голенища по тонким, исхудавшим ногам.

Глава 4

Утро следующего дня застало Каганова и Слободкина у морозильной установки. Они перенесли сюда из цеха часть ночной продукции — приборы выстроились вдоль кирпичной стены, двумя рядами.

Когда последний прибор занял свое место на полу и Каганов сказал: «Приступаем», Слободкин спросил мастера:

— Можно я сам?

— Да, да, именно сам,— ответил тот.— Я только подручный.

Мастер подавал приборы. Слободкин ставил их в камеры, присоединял к воздухопроводу, запускал гироскопы, следил за температурой. Когда все камеры были загружены, мастер заторопился в цех, где его ждали военнпреды. Слободкин знал, что это самые строгие люди на заводе и опаздывать на свидание к ним было не принято. Даже директор трепетал, говорят, перед ними. Поэтому Слободкин сказал:

— Ступайте, справлюсь. На ближайшие два часа задача ясна.

— Ну, добро. Я вернусь к концу испытания этой партии. А новую опять вместе загрузим.

Не знал Слободкин, какими длинными окажутся эти два часа.

Только было все отрегулировал, установил стабильную «сороковку», завыла сирена. Слободкин сперва не поверил, думал, ослышался. «Налет? Опять среди бела дня?» Но никакой ошибки не было. Сирена вопила где-то далеко, но все резче, все надсаднее. Не слышно было только сигнала радио, хотя на красной кирпичной стене сарая Слободкин вчера еще заметил памятную тарелку «Рекорда». Одним прыжком он подскочил к репродуктору, яростно дунул в его обросшую инеем

картонную воронку. От сотрясения нарушенные контакты соединились, и «Рекорд» заревел так, словно собирался наверстать упущенное: «Все по местам! Все по местам!»

Через несколько мгновений надсадный голос радио был заглушен залпами зенитных батарей. Сначала две или три из них распороли выстрелами воздух над головой Слободкина. За первыми снарядами почти без всякого интервала сорвались десятки, сотни — все небо оказалось в их громовой власти.

«Проворонили, прохлопали, чертушки!» — подумал Слободкин. Он распростер руки так, словно был в состоянии защитить приборы, посмотрел вверх и понялся — угол железной крыши сарая задрало взрывной волной прямо над камерами. Через зияющую брешь Слободкин увидел на небольшой высоте проносящиеся «мессеры». «Так вот в чем дело! Низом прорвались». В ярости он погрозил кулаком, сам не зная кому. Немцам? Или еще и тем, кто несет ответственность за воздушное наблюдение, оповещение, связь? Тем, кто виновен в том, что тревога дана так поздно?

За спиной Слободкина что-то резко рывкнуло. Он не успел обернуться, как почувствовал, что летит на красную кирпичную стену. Да, да, на кроваво-красную. Вот и руки его в красной кирпичной пыли, и сапоги, и шинель... А сама стена качнулась, поплыла в сторону вместе с выстроившимися вдоль нее приборами. Сейчас свалится, раздавит, расплющит все до единого...

Сколько длилось это? Минуту? Час? Слободкину потом казалось, что он мог бы определить, сколько фугасок разорвалось, пока он был без сознания, сколько раз огрызнулись на них зенитки. Сквозь какую-то пелену, приглушившую все звуки, он все-таки отчетливо слышал, как раскалывалась под ним земля. На десять частей. На двадцать, на сто... На одной из этих бесконечно малых частиц, как на крохотной льдинке, он все-таки уцелел. Он и несколько десятков приборов, сбившихся в кучу, чтобы занять как можно меньше места на коротком пространстве.

Когда Слободкин открыл глаза, первое, что он заметил, было столпотворение черных ящичков автопилотов. Плотно прижавшись друг к другу, они словно защищались от бомб и осколков. Он с удивлением обратил внимание и на то, какое положение занял

каждый прибор,— застекленная сторона каждого из них была закрыта стенкой стоящего рядом.

Пока Слободкин с удивлением разглядывал поразившую его картину, земля и небо зарокотали с новой силой. Он посмотрел вверх и увидел — тесным строем опять идут «мессеры».

«Не боятся! Ничего не боятся, сволочи!» И такая его взяла тупая, безысходная злость! На себя — за то, что бессилён перед ревущей стихией. На зенитчиков — девчонки, конечно, неопытные, сколько он уже видел таких, беспомощно суесящихся у батарей! Одна сейчас отчетливее всего встала перед его мысленным взором. Все вскрикивала: «Девоньки, девоньки!» — и боялась поднять глаза от земли. Какой уж тут, к лешему, угол упреждения и прочие премудрости, без которых нельзя сделать путного выстрела по движущейся мишени! Но главное — он сам-то хорош. Сам-то! Крутится как последний дурень в четырех кирпичных стенах и не знает, что делать. Увалень, башка набекрень! Ну и придумай же, сообрази хоть что-то, не будь растеряхой! Ты ведь такую школу прошел...

С этой мыслью Слободкин метнулся к холодильным камерам. «Будь что будет, испытания доведу до конца. По всем правилам». Он по очереди прильнул к стеклянным дверцам камер и сам удивился: в каждой — точно сорок! Такая заваруха кругом, а эти работают! Он машинально взглянул на часы — на них не было ни стекла, ни стрелок. Сколько прошло с момента включения камер? Как быть? И тут же решил: следить за режимом до прихода Каганова. И попробовал все-таки прикинуть время по выстрелам зениток. «Час без продыха не могут смолить. Вот и сориентировался».

Не успел Слободкин навести порядок в своем хозяйстве, как взрывная волна снова швырнула его к стене. Лежа лицом к камерам, он не слышал звука ломающегося стекла, но отчетливо, как в замедленной киносъемке, видел: словно алмазом вырезанная, звезда расплзлась по стеклу одной из камер и провалилась внутрь. Сейчас температурный режим всей установки будет нарушен, сорвется весь цикл...

Слободкин вдруг хорошо представил себе за этой кирпичной стеной соединения наших бомбардировщиков и истребителей, лишенных возможности оторваться от земли без приборов. Вот на какой участок постави-

ла его судьба! Он почувствовал себя сильным из сильных в ту минуту, способным события подчинять себе. Он ощутил несокрушимую мощь в своих руках сразу, как сорвал с плеч шинель и заткнул ею пробойну в стеклянной дверце морозильной камеры. Он сделал это с каким-то дьявольским наслаждением и сперва даже не почувствовал, как холод ожесточенно набросился на него. Он продолжал стоять у дверцы морозилки — в пилотке, в куцей гимнастерке — и радовался, что выход найден, испытания будут доведены до конца. Он так и скажет мастеру, когда тот явится: «Все в полном порядке». И еще он подумал о шинели. Как все-таки хорошо, что ему попала именно кавалерийская! Простой, пехотной нишечки не хватило бы на эту дырищу. Так что зря он жаловался в свое время. Ему чертовски повезло, чертовски! Он настойчиво продолжал затапливать серое непослушное сукно в каждый угол пробойны — конопатил так, чтоб ни одной щелочки не осталось. Порезанные стеклом руки кровоточили.

Холод между тем сковывал его тело все крепче, все туже.

Бомбежка кончилась. Вокруг наступила тишина, только сквозь дверцы камер было едва слышно, как были разогнанные до больших скоростей роторы автопилотов. Но этот звук мог лишь усыпить, и тут Слободкин по-настоящему испугался. Он попробовал потопать ногами, чтобы как-то согреть их, и сник еще больше: ноги больше не слушались и неизвестно, как еще держали его. Он утратил вдруг даже ощущение высоты. То ли он в яме стоит, то ли на огромных ходулях, шатких, зыбких, готовых вот-вот увязнуть в бездонном болоте...

Уже впадая в забытие, Слободкин услышал не то над самым ухом, не то откуда-то издалека хорошо знакомый и в то же время чужой голос:

— Ты что? Ты что, с ума спятил?!

Это был Каганов. Мастер, к счастью, пришел не один. Вдвоем с военпредом они оттащили Слободкина от камеры, с трудом напялили на него задубевшую на морозе шинель и под руки, как пьяного, поволокли в цех.

Выбежавший им навстречу Баденков не мог понять, что произошло с новым контролером, — Каганов и военпред рассказывали сбивчиво, перебивая друг друга. Не дослушав их, начальник цеха кинулся к какому-

то шкафу, извлек оттуда стеклянную колбу со спиртом, поднес ее ко рту Слободкина.

Слободкин поперхнулся, закашлялся, потом вдруг тихо простонал:

— Еще...

Не на шутку перепуганный Каганов сказал:

— Дайте ему, он заработал честно.

Баденков распорядился послать за доктором.

Несмотря на все принятые меры, к ночи пришлось отправить Слободкина в больницу, которая находилась километрах в пяти от завода, в крохотном городке Анисееве.

Глава 5

«Как ни крути, Зимовец, как ни верти, это тот же госпиталь, — писал Слободкин записку другу, пришедшему его проведать. — Госпиталь, да еще со строгим карантинном. Ты теперь видишь, как мне «везет»? По пятам медицина преследует. За махорку спасибо. Чувствую себя хорошо, но вставать не дают. И вообще режим. Как там у вас? У меня к тебе просьба: будет время — сбегай на почту. Вот-вот должно быть письмо от мамы. А про свое обещание помнишь?»

Зимовец читал и глазам не верил. Нянька уже успела сообщить ему, что у Слободкина, кроме контузии и обморожения, воспаление легких с высокой температурой. Но таким спокойствием веяло от каракулей друга, что не на шутку переволнованный за эти дни Зимовец и сам пришел в душевное равновесие. Он писал в ответ:

«В цехе порядок. Стекла вмазаны (это означало, что морозилка отремонтирована). Главным по «минусу» назначен я. (Это место в расшифровке тоже не нуждалось.) О письме уже справлялся — пока нету. А про «обещанное» забыл, конечно, в тот же день». (В этих словах у Зимовца прорвалась обида. Он хотел написать, что всегда и все свои обещания выполняет, только надо, дескать, иметь терпение, но растолковывать и без того ясные вещи не стал.)

Заканчивалась записка обнадеживающе: «Привет от всех курящих и особенно от некурящих!» Эти слова Слободкин должен был прочесть так: «Махорка будет еще!» Именно так он и прочел. «Жалко, что не

увидел Зимовца, его противной рожи. Про Ину помнит, оказывается, даже разбурчался, узнав, что могу о нем подумать, будто способен забыть главное».

У Слободкина в самом деле появилась надежда отыскать Ину, получить от нее весточку. В последние дни, после того разговора с Зимовцом, он все чаще думал: «А вдруг она где-то здесь, в одной из деревушек на заснеженных берегах Волги...»

А сегодня ему даже пришла фантазия... написать Ине письмо. Он и сам не понял, как это получилось, но карандаш уже бежал по бумаге.

«Инкин, милая. А что, если я сейчас напишу тебе письмо? Рехнулся? Спятил Серега твой, да? Война разъединила, растащила нас в первый же день. То ли рядом ты, то ли на другом конце земли. Адресов друг друга не знаем, а я достаю тетрадку в косую линейчку (ту самую, помнишь?) и пишу первую строчку, от которой у меня всегда сердце сжималось, даже тогда, в Песковичах. Но я все-таки вывожу именно эти слова: Инкин, милая! Соскучился, исскучался, нет никаких сил больше терпеть и ждать. Были силы — позавчера были, вчера, точно помню, сегодня уже с утра плескались остатки на донышке, но сейчас, вот в эту самую минуту, кончились, отплескались. Все. Верись? Верь и не верь. Солдат я, Инкин. Обыкновенный, парашютный, лесной, болотный солдат. А раз так, не верь мне насчет силенок. Про энзэ говорил тебе? Говорил. Неприкосновенный запас по уставу. Загашник, по-нашему. Так вот, знай, что бы ни случилось, сколько бы еще нас война ни мучила, ни растаскивала, терпения у меня хватит. Кончится одно — пороюсь, другое сыщу, кончится еще раз — опять пошурю и снова при ней, при силе. Так что ты обо мне не беспокойся, выдюжу разлуку, одолею. О себе думай. Есть ли в тебе этот энзэ? Что за вопрос, скажешь? Прости, если обидел. Не так и не то совсем хотел написать, карандаш сам выводит какую-то чепуховину. Не обращай внимания на мою болтовню. Ты не слова слушай, к сердцу прислушивайся. Слышишь, как стучит? Барабанит просто! Вот это дробь! Я с такой дробью встаю и ложусь. Зимовец иногда спрашивает, что это во мне так колотится, а ты даже и не знаешь, кто такой Зимовец, да? Расскажу при встрече. Только бы она состоялась. Обо всем расскажу. О том, как дрался с фашистами. О Зимовце. О заводе. О Волге, о том, как письма

писал тебе с заснеженных берегов и не знал, куда и как отправить».

Слободкин закрыл глаза и отчетливо представил себе — идет Ина в валенках по сугробу за вязанкой дров. Обязательно в валенках и непременно за дровами. Так хотелось ему. Пусть тепло ей будет. Пускай ласковая, добрая старуха — только ласковая и только добрая! — кличет ее по утрам: «Ин, а Ин! Вставай, будем печку топить». Прежде чем встать, Ина спрашивает бабу: «Письма так все и нет?» А этого Слободкин хотел пуще всего на свете. Чтоб непременно про письмо каждый день спрашивала. Чтоб с этого вопроса начинался каждый ее день. И чтоб на вопрос был ответ: «Нету пока, дочка». Что ей стоит, старой, словечко «пока» ввернуть где следует? Такое нужное, необходимое, без которого трудно, невозможно жить на свете, когда любишь и ждешь. Вот Зимовец сказал же это «пока». Сказал про письмо от матери. Но и про Ину, конечно, есть у него в запасе: «В следующий раз не выдержит Зимовец, сам о ней заведет разговор, напоминать больше не буду».

Но в следующий свой приход Зимовец был совсем краток:

«Привет тебе, Слобода, от всего девятого. Работаем, сам понимаешь. Ждем тебя. На всех остальных фронтах без изменений».

Слово «остальных» было жирно подчеркнуто. Это значило: писем из Москвы нет, сведений об Ине тоже.

Слободкин должен был понять и понял друга еще и так: положение вообще везде остается тяжелым. Об этом Слободкин сам знал, как говорится, из первоисточников. Каждый новичок подробнейшим образом выкладывал все, что у него накопилось, что наболело. Правда, надо было делать поправку на обстановку, на настроение людей, оказавшихся под крышей затерявшейся в снегах больницы.

Прочитал Слободкин письмо друга, и на душе стало совсем нехорошо. «На всех фронтах»! На всех... Да-а. Почти каждому человеку война принесла свои несчастья. У меня хоть мать еще жива и, слава богу, здорова. А Ина? С ней что?.. У Зимовца вообще никого нет. Ни он никого не ждет, ни его ни одна живая душа не дожидается. Из этих несчастий каждого в отдельности складывается общее, большое горе народа.

Слободкин думал еще вот о чем. Если бы не разлу-

чила его с Иной судьба, насколько сильнее был бы он сейчас! Какие бы еще лишения ни выпали на его долю, он справился бы. Он и так выдержит все, но с нею, с любимой, он был бы крепче во сто раз и был бы счастлив даже теперь, на этой развороченной, вздыбленной земле, где никому нет покоя ни днем ни ночью. Да ему хотя бы только узнать, что жива, что ждет его. Много это или мало — жива, здорова и ждет? Он спрашивал так себя, и тут же ему становилось стыдно. Что за вопрос! Это было бы просто огромно! Но вот знать бы, знать, быть твердо уверенным — ждет, ничего не случилось, жива, невредима...

Потянулись медленные, однообразные больничные дни, отличавшиеся один от другого лишь тем, что сегодняшний хуже вчерашнего, а завтрашний своей беспросветностью затмит, наверное, и нынешний, и все предыдущие. Удручающе были похожи одна на другую и ночи. Только бомбежки раз от разу усиливались, и по многу часов никто не смыкал глаз. Деревянное двухэтажное здание больницы гудело от взрывов и готово было вот-вот рассыпаться. Слободкин отчетливо представлял себе, как, грохоча и подпрыгивая, катятся по улицам бревна осточертевших ему стен. Иногда ему хотелось этого. И если бы не Зимовец с его редкими записками, которые Слободкин многократно перечитывал, наверное, он совсем опустил бы крылья.

Прихода друга он ждал теперь все с большим нетерпением. Вставать с кровати категорически не разрешали. Слободкин раздобыл у няни осколок зеркала и, лежа у окна, «ловил» улицу. Он обшарил ее всю, узкую, убегавшую к Волге. И все чаще натывался на воронки, на черный дым от пожара, на следы разрушений. Зимовец еще ни разу не оказался в фокусе «стереотрубы» Слободкина, но он часами не сводил глаз с близких и дальних подступов к больнице.

Няня, заметив это, сочувственно вздыхала:

— Дружка дожидаетесь?

— Он сегодня не может, — отвечал Слободкин и с равнодушным видом прятал зеркальце под подушку.

Но стоило няне выйти из палаты, «стереотруба» снова начинала свою работу.

Хлопот у Зимовца, ясное дело, до чертиков, но вдруг все-таки явится? Сам же сказал — привет от всего девятого? Значит, и от начальства тоже. А начальство все может. Одно только слово — и отпустят Зимовца рань-

ше. Зимовец потом отработает, я его знаю. Я сам, как только выпишут, за каждый пропущенный день — два буду вкалывать. За нами не пропадет...

Шарит, шарит осколок зеркала по белому снегу улицы. Нет Зимовца день, нет второй, нет третий. Скоро Слободкин со счета сбивается. Начинает делать зарубки на подоконнике — крохотные, в микроскоп не увидишь. Пальцем проведешь по доске — не почувствуешь, но зарубка все-таки уже есть. И вторая. И третья.

Слободкин все больше нервничает. Словив себя на этой мысли, вспоминает слова врача в батальоне выздоравливающих: «Нервишки, нервишки... У парашютистов нервов быть не должно». Приходят на память и его собственные слова, самому себе тогда сказанные: «Может, и в самом деле нервишки? Раньше, бывало, спал по команде. Теперь всю ночь глаз сомкнуть не могу. Где Ина? Что с ней? Посчитал бы сейчас мой пульс доктор! Вот именно — посчитал бы с е й ч а с. Сию минуту...»

Слободкин инстинктивно перехватывает пальцами запястье, ищет ту самую жилку, в которой пульс должен биться, и никак не может найти. В смущении смотрит на нового соседа по палате, седого, все время надсадно кашляющего человека лет шестидесяти.

— Слышь, отец, не знаю, где этот самый пульс находится.

Сосед долго молча смотрит на Слободкина, даже кашлять перестает. Потом говорит задумчиво:

— Счастье твое, раз не знаешь.

— Нет, правда?

— Верно слово. Наше дело стариковское, а на тебе еще, придет время, капусту возить будут. Ты, конечно, и сердца своего не чуешь?

— Сердца?

— Ну да. Где оно у тебя? Я же говорю, не знаешь. Опять твое счастье. С воспалением да с контузией справишься — и обратно кум королю.

— А у вас, папаша, чего?

— Разве их поймешь? Вот уже третий месяц мучают. Началось с пустяка, потом как пошли придирааться, как пошли...

— Давно немец долбит по Анисьеву?

— С тех пор, как про вас разнюхал. И завод-то ваш вроде не так велик, а шуму на всю Волгу. Листовки бросал, чтобы нас, городских, с заводскими поссорить.

— Ну и как городские?

— Ежели честно сказать, по-разному. Одни с полным пониманием, с совестью, другие — в скулеж. По-наехали, мол, всякие! Из-за них и жрать нечего, и покою не будет теперь.

Скурихин, так звали нового знакомого Слободкина, рассказал, как рабочие анисьевских вагоноремонтных мастерских, где он был сторожем, пришли на помощь заводу, эвакуированному из Москвы.

— Мы со старухой на что стесненно живем, и то на квартиру двоих пустили. Куда деваться-то? Разгружались под дождем и снегом. С семьями, с малыми детьми. Глянули — сердце кровью облилось. Также и другие наши рабочие. Вся беда — домишки у нас мал мала меньше, а тут сразу тыщи людей. Если одну десятую часть устроили, это еще хорошо. Остальных — по баракам да по землянкам. Ты сам-то где живешь?

— В конторе сперва ночевал. Теперь в бараке устроился. Дружок на свою койку пустил.

— Вдвоем на одной?

Слободкин кивнул.

— Ну и правильно! Как-то надо по силе-возможности. А то ведь...

Скурихин не закончил фразы.

Откровенно говоря, Слободкин не очень понял старика. То ли одобряет поступок Зимовца, то ли осуждает кое-кого из своих земляков за недостаточное внимание к эвакуированным.

Как бы продолжая прерванную мысль, Скурихин помедлив сказал:

— А старуха моя хоть куда! Молодым в пример ее ставят. И в госпиталь на дежурство, и ко мне сюда, и еще по донорству успевает.

— Как это? — удивился Слободкин.

— Обыкновенно. На Волге всю жизнь живем, на чистом воздухе. Кровь от этого первый сорт.

— Может, первой группы? — поправил сторожа Слободкин.

— Вот-вот, самой первой. Так с этой первой она нарасхват. И все ваши, ваши. Кровопивцы — и только! Марь Тимофеевна — ее тут всяк теперь по имени-отчеству знает. Не слыхал?

— Нет.

— Ты что, не с ними приехал?

— Я тут недавно совсем.

Скурихин, прищурившись, поглядел на Слободкина:
— Воевал, что ли?

Слободкин задумался. В самом деле — воевал он? Или нет? Решил со стариком начистоту.

— Не везет мне, папаша. Готовили меня, чтобы действовать в тылу. Вот я и действую. Но в каком только тылу и как?..

— Это от тебя не уйдет еще. Силенок сперва поднаберись. Тебя сейчас ветром с ног свалит. Вот старуха картошки принесет, я сам за тебя возьмусь.

Слободкин думал, Скурихин утешает, чтоб не так уныло было лежать под бомбами. Но уже на другой день действительно появилась картошка. В мундире, еще теплая, почти горячая и даже с солью.

Слободкин от угощения не отказался, только ел медленно, маленькими кусочками.

— Ты давай, давай, — подзадоривал Скурихин. — И с кожурой — в ней самые витамины!

Слободкин, держа в одной руке картофелину, другой незаметно шарил по подоконнику, десятый раз принимаясь считать зарубки.

Скурихин все-таки понял, в чем дело:

— Нынче явится.

Слободкин удивился:

— Откуда вы знаете?..

— Вспомяни мое слово. Расчет у меня простой. Месяц кончился. В последние дни штурмовали план, тут дружку твоему не до тебя было. Сейчас полегче станет. Это отродясь на всех заводах так. Кореш твой тоже солдат?

— Он в самом пекле был. Под Смоленском, под Вязьмой.

— Не бегал?

— Не понимаю.

— Ну, не драпал, говорю, на фронте-то?

— А-а... — сообразил наконец Слободкин. — Было такое дело один раз. Бежал Зимовец. Со всех ног летел.

— Из Смоленска? Или из Вязьмы?

— Из госпиталя.

— А ты, погляжу, без ума от своего Зимовца. Ну, тогда как пить дать к ночи явится.

Вечером действительно няня положила на тумбочку Слободкина небольшой сверток.

— Пришел твой. Ответа ждет. Только что-то больно торопится, всего на пять минут, говорит.

Няня вынула из кармана халата огрызок карандаша, протянула его Сергею.

Слободкин, не разворачивая свертка, в полутьме настрочил другу кратко: «Спасибо тебе, Зима! Всем ребятам спасибо. У меня все хорошо, а сегодня тем более. Приходи!»

Только после того, как няня ушла с запиской, Слободкин принялся за свертки.

Вот долгожданное письмо от матери. Вот послание самого Зимовца. Пахнувшая типографской краской какая-то газета. А это что такое? В руках Слободкина блеснул металлом плоский предмет. Неужели зажигалка? Так и есть!

— Теперь мы не только с куревом, но и с освещением! — радостно сказал своему соседу Слободкин, вскрыл конверт и, подсвечивая себе зажигалкой, стал читать.

Чем больше вникал в материнские строки, тем тревожнее становилось на душе.

Скурихин наблюдал сперва молча, не перебивая, потом все же спросил:

— Из дома, что ли?

— От мамы... Одна одна там осталась. Совсем одна. А письмо чудное. Будто все у нее есть, всем вот как обеспечена. Это в теперешней-то Москве! Правда, немца там пуганули как следует, но он еще близко совсем.

— А ты что хотел? Чтоб она расписала, как в очереди на морозе за куском хлеба стоит? Не напишет.

Слободкин уже не мог успокоиться. В его воображении рисовались картины одна мрачнее другой. Он и тогда, после поездки Кузи в Москву, понял, что мать живет трудно, но с тех пор прошло много месяцев. И каких! Враг побывал у самых стен столицы.

В эту ночь Слободкин принял решение во что бы то ни стало как-то помочь матери. Как и чем — он еще не знал. Но необходимо что-то срочно сделать.

Утром он написал ей письмо. В письме говорилось, что живет хорошо, ни в чем, буквально ни в чем не нуждается. Зима здесь суровая, но одет он как следует. В бараках тепло, чисто и даже уютно. О нем заботятся. И конечно, он здоров. Вот скучает только. Очень, очень скучает по дому. А ведь был в госпитале недалеко от Москвы. Недолго, правда, всего несколько дней. Просился, конечно, домой — не пустили. Такая досада!

Потом дальше повезли, на восток. Настроение было тогда дрянь, сейчас лучше гораздо. Главное — дела на фронте поправились. Немца в Москву не пустили, дали ему прикурить как следует. И еще скоро дадут. Товарищ Сталин сказал: «Недалек тот день, когда мы разгромим врага». Читала, конечно, слышала?

Слободкин, прежде чем отправить письмо, показал его Скурихину. Тот прочел не спеша, обстоятельно, несколько раз.

— В целом правильно. Отсылай. Хорошо бы еще и подсобить ей. Да как?

Слободкин молчал, не в силах что-либо придумать.

— Надо разузнать на заводе как следует, — сказал Скурихин, — не бывает ли okazji какой в Москву. Попроси Зимовца своего, пусть разведает. Картошки старуха еще принесет. Вот тебе и гостинец матери. Много ли ей нужно?

Слободкина все больше поражал Скурихин. Сам еле жив. А сколько добра в этом сердце, сколько желания помочь другому, в сущности совсем чужому, незнакомому человеку! С таким не пропадешь, думал Слободкин. Хотел даже насчет Ины ему рассказать, потом передумал. Чего зря болтать? Зимовец пишет, что заняться как следует ее розыском ему все еще некогда. Что верно, то верно. Некогда. Если только случай поможет напасть на след Ины. Оставалось одно — надеяться. И при первой возможности самому идти в обком комсомола.

Не стал Слободкин рассказывать Скурихину и о газете, присланной Зимовцом с завода. Там какой-то чу-дак расписал «человека в кавалерийской шинели» чуть ли не героем. Заметка так и называлась «Подвиг Слободкина». Сергей прочитал ее со смущением. Все вроде было точно, без выдумки. И про бомбежку, и про снятую на морозе шинель, и про контузию, но слова какие-то такие откапывал репортер, так лихо их поворачивал, что деваться было некуда — герой, да и только!

Но сам-то Слободкин прекрасно понимал: вся эта лихость газеты не к месту. Он был просто жалок, совершенно беспомощен, когда осколком пробило дверцу камеры. Если бы не Каганов с военпредом, все испытания вообще пошли бы прахом. Но ни о мастере, ни о военпреде в газете почему-то сказано не было.

Сергей внимательно изучил остальные статьи и за-

метки. Они понравились ему гораздо больше. Он узнал много интересного о жизни завода. Оказалось, что с их девятым цехом решил помериться силой седьмой, сборочный. Было напечатано письмо фронтовика, бывшего работника завода. Под письмом стояло: «Действующая армия». Эту короткую строчку Слободкин прочитал несколько раз. «Действующая армия... Действующая!...»

— Что ты там бубнишь? — спросил его Скурихин.

— Все о роте своей вспоминаю.

— Старая твоя рота сейчас неизвестно где, браток, ты к новой привыкай пока.

— Начал было привыкать, да вот куда угодил. Это хуже штрафной будет.

— А ты ворчун, Слободкин. Чего расходишься? Кормят тебя? Поят? Лечат? Почту даже стали носить. Свежих газет только не хватает.

«Заметил все-таки старик газету? Или нет? Заметил, понял, что показать ему не хочу, и теперь хитрит. А может, мне почудилось просто?»

Слободкин на всякий случай сунул газету под подушку. И поглубже. А сам принялся писать послание Зимовцу, готовясь к его следующему приходу: «Срочно ищи военпреда, едущего в Москву. Матери моей совсем, по-моему, плохо. Кило два-три картошки хочу ей послать. Откуда возьму? Анисьевский свет не без добрых людей. Подробней потом объясню, при встрече».

Правда, записка долго, несколько дней и ночей пролежала у Слободкина. Он сам читал, перечитывал ее, а Зимовец все не шел. Старуха же Скурихина навещалась чуть ли не ежедневно, и вскоре в тумбочке Слободкина уже громоздилась целая пирамида печеных картофелин...

Когда Слободкин наконец поправился и настал час расставания со Скурихиным, он сказал старику:

— Думал, в госпитале самое медленное время на земле. Ошибся на соломинку.

— Я тебе как-то сказал уже — не ворчи. Здоров — и слава богу. Теперь все образуется.

— Я не ворчу, а радуюсь. Да и вам стало лучше.

— Это все картошка старухина. Ты глянь на себя — округлился и вообще...

Слободкин достал из тумбочки зеркальце.

Старик засмеялся:

— Разве такая физиономия влезет? Тебе теперь трумо подавай!

Сколько пролежали они вместе тут? Немногим больше месяца. Но для Слободкина Скурихин вроде родного стал. Старый тоже привязался к нему.

— Навестишь разок? — спросил Скурихин, слабо пожимая руку Сергею.

— При самой первой возможности... И возьмите вот это. — Слободкин положил на тумбочку Скурихина зажигалку.

— Зачем еще? Тебе самому сгодится, а я все равно не курю.

— Возьмите, прошу вас.

Он хотел сказать многое старику, но вдруг застеснялся, сделал вид, что торопится, и уже с порога, не останавливаясь, словно боясь задержаться лишнюю минуту, произнес неожиданно охрипшим голосом:

— Супруге привет передайте. Вот такой! — Он широко развел руки в стороны. — А к окошку не подходите, ладно? Я няне слово дал, что не встанете.

Скурихин не ответил, только кивнул ему и отвернулся к стене.

На дворе уже во всем ощущалось приближение весны. Слободкина даже качнуло, как пьяного, когда он, проскочив под тяжелой капелью, сделал первый шаг по улице, к которой столько времени приглядывался из окна. В этот же миг он почувствовал, что Скурихин все-таки смотрит ему вслед из своего заточения. Оглянувшись и действительно обнаружив в проеме окна фигуру старика, погрозил ему пальцем и зашагал к Волге.

Часто оборачиваясь, Слободкин шел, не разбирая дороги, спотыкаясь о поваленные телеграфные столбы, то тут, то там перегородившие узкую улицу.

В последние дни налеты почти прекратились, но в воздухе густо перемешанный с бесчисленными и волнующими запахами весны все еще висел запах гари и смрада. На потемневшем талом снегу лежали длинные полосы рыжего песка, выброшенного из воронок. От этого небо казалось еще более голубым и высоким, облака еще более белыми.

Неожиданно Слободкин столкнулся с маленькой девочкой. Веснушчатая, в обвисших сборках рваного,

кое-как завязанного на спине платка, она удивленно подняла голову и спросила:

— Дяденька, а где твоё ружьё?

Если бы она знала, что значит для Слободкина этот вопрос! Он даже вздрогнул и смущенно оглянулся.

— Тебя как зовут?

— Соня.

— Мамка твоя где?

— На заводе. Она завтра придет. А папа не скоро. Он там.— Она махнула рукой в неопределенном направлении.

— Куда же ты идешь?

— Я гуляю, я никуда не иду.

Слободкин увидел на груди девочки подвешенный на веревочке ключ.

— Это от дома?

— От дома. Мне откроет дядя Саша. У нас замок тугой.

— А ты есть хочешь?

— Хочу.

Слободкин достал из кармана печеную картофелину — одну из тех, которые принесла для его матери жена Скурихина. Девочка робко протянула руку, но есть стала сразу же — жадно, прямо с кожурой. От этого губы, нос и щеки у нее сделались черными.

— Что ты так смотришь? — спросила она Слободкина.

— Веснушки твои ищу.

Улыбка на мгновение преобразила вытянутое детское личико.

Слободкин положил в ладошку Сони еще одну картофелину.

— Ешь.

— Это я мамке оставлю. Можно?

— Можно.

— А ты еще придешь?

— Постараюсь...

Слободкин постоял несколько минут, не зная, как закончить разговор, потом, сказав девочке, чтоб ни в коем случае не отходила далеко от дома, попрощавшись с ней, как со взрослой, за руку, пошел своей дорогой.

Сергей не узнал завода. Всюду еще были видны следы разрушений, но почти на каждом шагу попадались ему рабочие с носилками и лопатами в руках. Растаскивали завалы, засыпали воронки, ровняли дорогу. Где-то сквозь шум работы попробовала было прорваться песня, правда, сил у нее не хватило и она заглохла так же неожиданно, как началась. На покосившемся столбе колотился квадрат фанеры, по которому наискось углем было написано: «Все на субботник!»

— Разве сегодня не воскресенье? — спросил Слободкин каких-то парней, тащивших навстречу ему тяжелое бревно.

— Понедельник! — не очень приветливо отозвался один из них.

— А почему же субботник?

— «Почему», «почему»... Ты что, с неба свалился? Точно, с неба! Васька, это ж парашютист из девятого! Гляди-ка, на пользу пошла больница.

Ребята сбросили с плеч бревно.

— Жив, значит? Ну, давно бы так. Заждались тебя в твоём девятом. Токарь все-таки.

— Что нового на заводе?

— Бомбить стал меньше. План перевыполнили. Вот и все новости, пожалуй. Ну, нам работать пора. Привет!

Ребята подняли бревно. Уже на ходу один из них обернулся и крикнул Слободкину:

-- «Крокодил» вон возле главного корпуса вывесили, почитай — все узнаешь!

Сергей уже издали заметил фанерный щит, в центре которого красовался разрисованный лист ватмана. Ускорил шаг, подошел вплотную. Среди множества рисунков выделялся один: поднявшийся во весь рост крокодил в одной лапе держал букет цветов, в другой — отточенные вилы, три острия которых под кистью изобретательного художника образовали букву «Ш» в заголовке «Шагай вперед, к победам новым!». Рядом с рисунком стихи:

Шагай вперед к победам новым
Вот с этим знаменем в руках.
В труде упорном и суровом
Шагай — перед тобою враг.

Трудись, усталости не ведай,
Громи врага штыком, трудом,
Чтоб за победою победа
Входила в наш советский дом!

Слободкин стал рассматривать рисунки. Это были шаржи на людей, среди которых встречались знакомые ему рабочие, мастера, инженеры. Он узнал братьев Николая и Алексея Грачевых, сборщиков из десятого цеха, ветерана Сергея Сергеевича Степичева — лучшего на заводе регулировщика. И с особой радостью — своего мастера. Внешнее сходство было поразительным, несмотря на то что худая, тщедушная фигура Каганова превратилась под кистью художника в богатырскую, закованную в доспехи рыцаря. Бок о бок с этим богатырем, подбоченясь, стоял другой, тоже в латах, в кольчуге и шлеме. Стихи, посвященные рыцарям, как и все предыдущие, были написаны красной тушью и выдержаны в приподнятом тоне:

Ткачев, Каганов, ваши руки
Пожать бы мог и Фарадей!
Вы — кладезь творческих идей,—
Сказал бы этот муж науки!

Правда, Слободкин еще не знал, кто такой Ткачев, но человек он, судя по всему, уважаемый. «А может, в нашем цехе работает? Надо будет обязательно спросить у Зимовца или даже у самого мастера».

Почти весь номер «Крокодила» был заполнен шаржами. Только в самом конце прочитал Сергей несколько ядовитых строк. В них то прозой, то стихами говорилось о том, что «ночные смены до сих пор продолжают оставаться узким местом и надо наводить в них строгий порядок». Тут рисунка уже не было, и текст был написан не красной, а черной тушью, — очевидно, для того, чтобы подчеркнуть отрицательное отношение редакции к позорному явлению:

У нас теперь одна забота —
Чтоб лучше фронту помогать.
Ночная смена — чтоб работать,
А не за тем, чтоб сладко спать!

«Вот это совсем толково! Молодцы заводские газетчики, — подумал Слободкин, — в сатире кое-что получается. Хвалят наивно, иногда без меры (он опять

вспомнил заметку о своих злключениях у холодильных камер), а стружку снимают неплохо!»

Под всеми рисунками и текстами Слободкину бросилась в глаза старательно выведенная крупным курсивом строка: «Орган парткома завода. Выходит по пятницам». Слободкин удивился: «Каждую неделю выпускают «Крокодил»? Это же здорово! Значит, нормальная жизнь налаживается!»

Сергей зашагал по заводскому двору быстрее. Дойдя до своего девятого, заволновался. Сейчас увидит всех — Зимовца, Каганова, Баденкова. Соскучился без них. И без работы тоже. Кожа на пальцах стала до противности белой и тонкой. «Белоручка! Поглядел бы сейчас на меня кто-нибудь из роты. Кузя или Брага, например! Или, еще того пуще, ротный поэт Калинычев. Что сорвалось бы с его пера? Наверное, что-нибудь вроде облетевшей всю бригаду, но, слава богу, нигде не напечатанной частушки, сочиненной в тот день, когда я побоялся совершить свой первый прыжок с парашютом и был привезен обратно на землю».

Слободкин думал сейчас об этом спокойно. Потому что тогда же, вскоре после своего позора, прыгнул все-таки и больше уже никогда не трусил. Пересилил себя. Во всяком случае, никому не показывал своей слабости. Даже самому себе не признавался больше, что дрейфит, выходя на крыло самолета. Но Калинычев, конечно, силен! Классика в перелицовку пустил, лишь бы похлеще разделать товарища. Наверняка были бы нынче зарифмованы белые ручки! И опять справедливо. Куда денешься? Все воют, все работают, а Слободкин то ранен, то болен, то лечится, то выздоравливает...

— Ага, попался! — Холодные, цепкие пальцы плотно, как противогазная маска, залепили щеки и глаза Слободкина, запрокинули назад его голову.

— Зимовец, ты, что ли?..

Слободкин еле вырвался из объятий друга.

— А ты ничего, Слобода! Округлился. Сколько мы не виделись? Месяц? С гаком? И сколько в гаке?

— Мне самому так показался длинней месяца.

— Молодец, что духом не пал.

— А зачем падать? Я могу еще пригодиться кому-нибудь.

— Еще бы! Здесь такие дела, Слобода! Вчера на митинге директор говорил: знамя ГКО нам присудили.

Государственного Комитета Обороны! Как черти вкалывали все это время — в каждом цехе, в каждой бригаде. А теперь и подавно дадим духу: знамя!..

Зимовец схватил приятеля за руку, повел в цех. Первым попался им на глаза Каганов.

— Слободкин?.. Здравствуй! Ну как оно? Приступаешь? Второй раз в мое распоряжение, и второй раз вот как вовремя!

— Опять в морозилку?

— Что ты! Мы с этой проблемой теперь по-другому расправились. У главного технолога сто совещаний прошло, сто заседаний. Полная техническая революция. А станок твой опять ржавеет... Кого только не приспособляли к нему, кого только не сватали!

— Совсем, наверное, разладили? Хуже всего, когда много хозяев.

— Теперь один будет. — Каганов осмотрел Слободкина со всех сторон и даже похлопал его по плечу. — Читал газеты? Как тебя расписали-то! А? «Подвиг Слободкина»...

— В газетах или в газете? — мрачно переспросил Слободкин.

— Именно в газетах: и в нашей, заводской, и даже в «Комсомолке».

— А я про вас в «Крокодиле» прочел, — сказал Слободкин, чтобы скорее переменить тему разговора. — Хороший стих сочинили. И нарисовали — копия! Кто там с вами рядом, забыл?

— Как кто? Ткачев Лева! Лев Ильич, инженер-технолог. Только не он со мной, а я рядом с ним, — поправил Каганов, — это не одно и то же, понял?

— Не очень, — сознался Слободкин.

— О Ткачеве когда-нибудь узнает весь мир. Он тут под бомбами до такого додумался — закачаешься! Изобретение века!

— Теперь уж совсем непонятно.

— Видел ли ты, чтоб в плохую погоду во время ночной бомбежки навстречу «юнкерсу», несущему бомбы, поднимался истребитель?

— Видел «Як-1».

— Правильно, отдельные случаи есть, не спорю. Но при нынешнем уровне техники истребитель, даже самый первоклассный, ночью почти беспомощен. Все гироскопические приборы, какой бы идеальной конструкции они ни были, обладают существенными погрешностями.

Давно уже возник вопрос: может ли летчик без ориентации на небесные светила и землю получать точные показания горизонта, азимута, скорости, местоположения своего самолета? Оказывается, может! Теоретически это Ткачевым уже обосновано на все сто, дойдет дело и до практики. Ты понял, Слободкин? А ты, Зимовец?

— Только самую малость, — сказал Слободкин.

Зимовец покачал головой.

— Одним словом, будут наши истребители летать и драться в любую погоду, в любых условиях! Больше ничего пока сказать не могу. И вообще все это сугубо между нами. — Каганов внимательно посмотрел на приятелей — сперва на одного, потом на другого. — Усвоили?

— Это понять в состоянии, — ответил Слободкин.

— Вы хорошо объяснили, научно, — согласился Зимовец. — В любую погоду летать и драться — это здорово! Мечта каждого летчика, по-моему. Вы не слышали, как они зубами скрипят?

— Кто? — удивленно спросил Каганов.

— Ребята с «ястребков». Со мной лежал один в госпитале. Все мне спать не давал по ночам. Растолкаю, бывало, его: «Не скрипи, говорю, страх берет». Он полежит-полежит тихо — и опять как ножом по сердцу. Утром бледнющий, словно его только что привезли, а уж месяц со мной валяется с лишком. Врачи головами качают, понять ничего не могут. «Что, говорю, с тобой, кореш?» — «Сон, отвечает, страшный видел. Будто подняться никак не могу». Я ему в ответ: «Плюнь ты на все, подымайся, ходи, тебе ясно сказано — можно!» А он: «Встать-то дело нехитрое. Покурю вот и встану. Взлететь не могу, понимаешь? Они в любую ночь надо мной бомбы волокут на Москву, а я к земле приколочен. Командир полка сам решает, кого выпускать и в какую погоду...»

— Вот-вот, — оживился Каганов, — таких «приколоченных» сколько угодно. Летчики-то они прекрасные — техника от них отстаёт. Сейчас на заводе все это поняли. Заработала мысль как никогда. Одних рацпредложений гора! Разбирать не успеваем в бризе. Двое рабочих на сборке новый способ нанесения светомассы придумали — поразительный! Ни ударов, ни воды не боится, никакая коррозия не берет. Простые рабочие.

— Жоголев и Ручьев,— уточнил Зимовец.

— Правильно, Николай Васильевич Жоголев и Николай Емельянович Ручьев. Их теперь все на заводе знают. Сам директор при встрече земной поклон отвешивает. Из главка телеграмма пришла — поздравляют, премируют, желают новых успехов. А что до Ткачева, то он вообще голова. Когда-нибудь это все узнают и оценят. Но вернемся, что называется, с небес на землю. На чем мы остановились? Ах да, на заметках в газетах...

Зимовец перебил Каганова:

— Теперь Слобода письма начнет получать от девчат. Со всего Советского Союза! Получаешь уже? Признавайся?

— Письма?.. — многозначительно переспросил Слободкин и с укором посмотрел в глаза приятелю.

Ничего не подозревавший Каганов рассмеялся:

— Какая-нибудь энтузиастка уже ходит сейчас вокруг завода. Берегись, солдат, опомниться не успеешь, в женихи попадешь.

Зимовец, видя, что Слободкин нахмурился, заговорил о другом:

— Савватеев спрашивался о тебе несколько раз. Ты ему кружок парашютный обещал организовать?

— Обещал.

— Желающих, говорит, много. И ребята и девчата записываются. И комсомольцы, и беспартийные...

— Я свои обещания привык выполнять,— холодно сказал Слободкин.

— А ты не злился. Все, что было в моих силах, я сделал. Весь обком на ноги поставил. Весь сектор учета. Ищут.

— Так кого же все-таки? Обком? Или сектор?

— Я сказал уже тебе — злиться не на кого.

— В кружок-то хоть записался, по крайней мере?

— Запишусь.

— Вы о чем, братцы? — спросил ничего не понявший Каганов.

— Кружок парашютистов будет у нас на заводе. Слободкин — руководителем.

— А... Ну что ж, неплохо, отлично даже...

— Товарищ мастер! Вас главный диспетчер вызывает! — крикнула какая-то девушка, выбежавшая им навстречу из-за штабелей ящиков.

Каганов устало вздохнул:

— Никогда не дадут поговорить спокойно. Так вот, Слободкин, кружок дело все же десятое. Во-первых, станок, во-вторых, станок и, в-третьих, тоже он. Это я совершенно серьезно.

Слободкину показались обидными эти слова.

— Неплохой человек Каганов, да узковато смотрит на некоторые вещи,— проворчал он, когда мастер ушел.

— У каждого своя забота. Первое место, которое завоевал цех, у него вот тут сидит.— Зимовец похлопал себя по загривку.— Его художник в рыцарских латах изобразил, а рыцаря этого на каждой летучке знаешь как драят? Из-под доспехов тех только перья летят! Ощиплют, как куренка, снова латы напялят до следующей летучки-вздрючки. Так что ему парашютом голову не забивай пока.

— А тебе?

— Запишусь, запишусь, сказал ведь. Не знаю только, сам-то найдешь ли время для занятий? Спины разогнуть не дадут, учти. Вот, полюбуйся на своего красавца!

Они подошли к закоулку цеха, в котором посреди черной лужи стоял токарный станок. Его части были снова густо покрыты ржавчиной. Ключ торчал прямо в патроне. Дверца тумбочки висела на одной петле.

Слободкин выругался.

— Я же сказал тебе, работенки хоть отбавляй.— Зимовец нарисовал пальцем на ржавчине замысловатую фигуру.

— Разве о «работенке» речь? Станок до чего довели!

— Кругом протекает. Крыша продырявлена,— как бы оправдываясь за кого-то, сказал Зимовец.— Решето, а не железо. Ты же сам знаешь, почти каждую ночь были бомбежки. Спасибо, до конца не спалил. И еще хорошо, что теперь тише стало.

Сергей слушал Зимовца и словно не слышал. Он уже принялся за свой станок.

— Ну ладно, я потопал,— сказал Зимовец.— В обед увидимся. Кстати, столовка теперь не то, что тогда. Справляется. Город дровец подкинул.

Не успел Слободкин привести в порядок станок, как со всех концов цеха потянулись к нему бригады с нарядами. На углу каждой бумаги размашистым почерком Баденкова было начертано: «Срочно».

Слободкин вбил в крышку тумбочки дюймовый

гвоздь и на него стал накалывать бланки нарядов, чтобы не сбиться, не напутать чего-нибудь.

Стопка бумаг росла и росла, работа, наоборот, едва двигалась. Резцы то тупились, то вовсе ломались, то никак не хотели закрепляться в нужном положении. Руки за время болезни совсем отвыкли от работы, не желали слушаться, дрожали. Слободкин понял, что с треском проваливается, не справляется с возросшим темпом работы цеха.

Шел час за часом, голубые квадраты неба на сушпорте отчищенного станка давно стали серыми, едва различимыми, а Зимовец все не появлялся. Бригадир же народ замотанный, с ним не поговоришь, не посоветуешься. «Слободкин, привет!», «Давай, давай, Слободкин!» — и дальше всяк по своим делам. Каганов тоже как ушел, так больше и не вернулся. Только сквозь шум мотора из глубины цеха иногда доносился до Слободкина пронзительный девичий голос:

— Каганова к директору! Срочно в партком Каганова!..

Кажется, никогда в жизни не ждал Сергей обеда с таким нетерпением, как сегодня. Есть ему вовсе не хотелось, хотя за полдня во рту еще крошки не было. Просто надо было отдышаться, прийти в себя, потом попробовать как-то по-иному организовать свой труд. Даже в десанте во время изнурительных марш-бросков не мечтал он об отдыхе так, как сейчас. Там иной раз в болото падал от усталости. На замшелую кочку, как на подушку головой. Тут посреди нефтяной лужи готов был растянуться и не двигаться. Там командир, бывало, только глазом поведет, силы сами откуда-то появляются. Здесь командира рядом нет. Цеховому начальству не до него, а Зимовец пропал без следа, несознательный элемент. Да и что он смыслит, Зимовец, в токарном деле? И Каганов вместе с ним. Посо-чувствовать только могут, в положение войти. Больше всего на свете он не любил, когда его жалели. Из-за этой жалости он с Кузей один раз чуть не поссорился, с первейшим другом своим по роте. Это случилось, когда никак не мог заставить себя перебороть страх перед первым прыжком, а Кузя полез со своими утешениями. Со всей ротой едва не переругался, когда она, рота, за Кузей вслед поглядела на него слишком сочувственно. Никто не знал тогда, какая злость закипала в сердце Слободкина. В первую очередь на самого

себя, разумеется. Какой же он ничтожный, какой прижатый к земле, если любой может покровительственно похлопать его по загривку! И сказать еще при этом что-нибудь вроде «оно конечно»...

Сейчас перед непослушным станком он стоял такой жалкий в своей беспомощности! Оставалось только благодарить судьбу, что нет пока свидетелей его позора. Он и благодарил. Земные поклоны отвешивал. Нагнется за вырвавшейся и укатившейся черт ее знает куда деталью, а сам шепчет: «Слава тебе, господи, ни одна живая душа, кажись, не видела». Нагнется за другой — опять про себя бормочет: «Подольше бы вас, чертиков, не было! Не показывайтесь еще хоть часок. Еще полчасика. Еще минутку...»

Так думал Слободкин, но когда за спиной раздался голос Зимовца, рассердился совсем по-другому:

— Ну где тебя носит пелегкая столько времени?

— Неблагодарная душа! По твоим делам бегал во все концы, а ты...

— По каким еще?

— УДП оформлял. На, держи! — Зимовец сунул в руку Слободкина какую-то пеструю бумажку.

— Что это?..

— УДП, говорю. Усиленное дополнительное питание. Дали как бывшему фронтовику.

Слободкин повертел перед глазами непонятный листок.

— А у тебя есть это УДП?

— Было, когда чувствовал себя плохо.

— А кто знал про твое самочувствие? Ты что, жаловался? К врачам ходил?

— Нет, не ходил. Просто подошел ко мне как-то парторг Строганов и говорит: «Зимовец, на тебе лица нет».

— Ну ладно, допустим. Дальше?

— Дальше спрашивает: «Фронтовик?» — «Фронтовик», — говорю.

— Уже не сходится, — не без ехидства заметил Слободкин.

— Что не сходится?

— По фамилии знает, а что фронтовик, запамятовал? Да и гимнастерка на тебе, он же видит.

— Про фронт это он для других сказал. Он фронтовиков всегда в пример ставит.

— И что же, сам взял и выдал тебе УДП?

— Зачем сам? Он мне записку дал в завком. А там уж оформили, по всем правилам.

— Но меня он вообще видел один раз за все время, твой Строганов.

— Но знать о тебе знает. И не вздумай артачиться. Это же глупо, в конце концов!

Зимовец начал сердиться по-настоящему. Поймав его взгляд, Слободкин отступил:

— А!.. Пусть будет по-твоему. Только с условием.

— С каким еще условием?

— На нас на двоих. Как фронтовику тебе половину прописываю.

— Не много ли лишних слов вокруг сущего пустяка? Если бы ты знал, что это такое, УДП, ты бы, ей-богу, не тратил порошу попусту. Не слышал, как заводские остряки это дело расшифровали?

— Нет, не слышал.

— «Умрешь днем позже».

— Действительно остряки!

— С шуткой оно все-таки веселей как-то. Ты сам говорил.

— Это верно. Ну ладно, идем отведаем твоего «усиленного». А то мутит даже.

Зимовец был прав. По талону УДП Слободкину плеснули еще один неполный черпак зеленой жижи. Она так густо дымилась, что не успела остыть, пока Слободкин донес миску до стола и разлил порцию на двое.

— Ну вот, а ты отказывался, — заметив, как торопливо Слободкин работает ложкой, сказал Зимовец.

— Ты тоже хвалил УДП не особенно, — ответил ему Слободкин, — а за тобой не угонишься.

— Просто мне в цех надо скорей.

— И мне туда же. Вот и наворачиваю!

Работа после обеда пошла по-иному. Сергей почувствовал это с первых минут, с первых оборотов патрона. Мотор загудел ровнее, увереннее, приводной ремень вдруг перестал хлопать. Позднее Слободкин узнал, что во время обеденного перерыва ремень починил шорник, но сейчас готов был отнести и это за счет общего «улучшения погоды», как называл он для себя ту обстановку, которую застал на заводе после возвращения из больницы.

Что же тут, собственно, произошло в его отсутствие? В чем секрет перемен? Кто все это наладил, от-

регулировал, привел в порядок? Было так плохо, что Слободкин не знал, долго ли он, ко всему привыкший человек, выдержит. Теперь уже можно в этом признаться. А сейчас? Или это весна все виновата? Осветила солнцем, обогрела, родила надежды. Да, и она, конечно. Но главное было, несомненно, в том, что дела на фронте стали лучше. Вот и здесь все пошло по-иному.

Он говорил так с самим собой, и ему чудилось в эти минуты, что он слышит биение железного сердца. Железного и в прямом, и в переносном смысле слова. Да, железного. Вот оно гремит сейчас и в его станке. А там, за штабелями желтых ящиков для автопилотов, оно пульсирует в установках, проверяющих приборы на вибрацию. Слободкин отчетливо представил себе большие, сотрясаемые вибраторами столы, на которых закреплены приборы. Ритм их вибрации был ритмом сердца завода. Не слишком частым и не слишком редким — ритмом крепкого, здорового организма, перенесшего болезнь, но одолевшего ее и ставшего еще сильнее, еще жизнеспособнее.

Люди, работающие вокруг, показались Слободкину действительно чудо-богатырями из сказки. Не только Каганов, не только Ткачев. Они-то уж само собой. А тот, что в сандалиях по снегу? А Вася Попков, именуемый себя бригадой? А Баденков? А дружок его закадычный? Если б Каганов выполнил свою угрозу и в самом деле «продал» его в газету, он так и написал бы обо всех этих людях — богатыри. Ни холод, ни голод им не страшны, ни хворь, ни бомбежка их не берут. То есть берут, конечно, и еще как берут! Прямо за жабры. Но они не сдаются, лапок кверху не тянут — в этом и есть их сила. Железное сердце в железных людях. Подумать только! В таких условиях ни на минуту не остановили выпуск приборов и постепенно все наращивают и наращивают темп работы. Приборы конвейером идут на фронт. Не остановятся ни на миг колеса и пропеллеры России.

Хорошо на душе у Слободкина делалось от этих мыслей. К нему постепенно приходило ощущение, что и сам он среди этих людей что-то значит, чего-то стоит.

Длинным или коротким был этот день? Трудным или легким? Уже ночью, на койке барака, вспоминая его весь, час за часом, минута за минутой, Слободкин не мог ответить ни на один из этих вопросов. День был

бесконечно длинным. И пролетел мгновенно. Руки были от усталости. И дрожали от счастья. Им удалось наконец совладать со станком, справиться с его норовом! Вот и сейчас дрожат.

Слободкин поднес к лицу свои пальцы. Он не видел их в этот миг, но ему вдруг показалось, что они снова распухли, как тогда в больнице, после обморожения. Непослушные, чужие, они беспомощно перебирали темноту перед глазами.

В глубине барака кто-то чиркнул зажигалкой. Слободкин растопырил пальцы навстречу свету и удивился — руки как руки. Натружены только, намучены. Отвыкли от работы. Но сила в них вон какая! В сто раз больше, чем раньше. Он сжал кулаки и, пока желтое пламя зажигалки стало синим, тусклым и наконец совсем исчезло, успел увидеть отражение своих рук на противоположной стене барака. Их огромные тени заняли все пространство от пола до потолка.

— Эй! — крикнул Слободкин неизвестному курильщику.

— Чего тебе? — полусонно отозвался тот.

— Горючее есть?

— Давай двигай сюда, прикуривай.

— Да нет, мне просто свет нужен. Засвети еще разок. А?

Еще на короткое мгновение озарились зыбким светом стены барака. На одной из них, сверкающей инеем, снова мощно и гордо распростерлись две косые пятипалые тени...

Через несколько минут Слободкину уже снился сон. Такой же удивительный, как это видение с тенями. Он лежал на травяной росной поляне — спиной к земле, лицом к небу. За его плечами было все — вся Россия, вся Земля. Перед глазами бесконечное синее небо с горячим солнцем в зените. И вот он уже не на поляне, а распластан под форштевнем несущегося вперед корабля. За его спиной — шелест парусов. Прямо перед ним только облака и волны. Он, Слободкин, на самой передней точке этого парусного полета. И как все-таки замечательно, что у него такие огромные и сильные руки. Вот они становятся крыльями. Вот распахнуты над простором и рассекают воздух...

— Ты что, Слобода, размахался? Хочешь совсем меня скинуть? Да? — Голос Зимовца, спросонья осипший, гудит над самым ухом Слободкина.

Через минуту, засыпая снова, Зимовец успевает сказать приятелю:

— Тарас Тарасыч велел тебе завтра раньше на час выйти. Ты спишь или не спишь?

— Какой еще Тарасыч?

— У Каганова новый сменщик, тоже мастер, я тебе не рассказывал?

— Чего ему нужно от меня?

— Не знаю. Сказано — на два часа раньше, значит, на два.

— Сказано — на час, — уточняет Слободкин.

— Правильно! Теперь вижу, что не дрыхнешь, а притворяешься. Могу спать, не забудешь?

— Не забуду, спи. А зачем я ему все-таки сдался, твоему Тарасычу?

Зимовец не отвечает. Слободкин больше не спрашивает. Одна койка у дружков на двоих. Сон тоже, кажется, один, общий. Теперь Слободкин ворчит откуда-то из охватившей его дремы:

— Ты чего мечешься, Зимовец? Локтищи у тебя как штыки. Поаккуратней, слышишь?

Короткая ночь. Раннее, незаметно подкравшееся и тоже короткое утро. У Сергея настолько короткое, что он, торопясь в цех, не успевает даже с другом двух слов сказать. В конторке девятого его дожидается Тарас Тарасович Симуков, немолодой человек, с прямыми, торчащими бровями.

— Люблю точность! — воскликнул он, глянув сперва на Слободкина, потом на часы. — Так вот, товарищ Слободкин, имею ответственное поручение — организовать твою статью для областной газеты.

— Как — мою статью? — недоумевающе посмотрел на него Слободкин.

— Так. Ты фронтовик. Хотят люди твое слово слышать — об успехах завода и вообще...

— Какие люди?

— Народ, товарищ Слободкин. Массы.

— Вы, очевидно, что-то напутали...

— Ничего не напутал, все точно: в воскресном номере «Волжанки» должна быть твоя статья. И не волнуйся, пожалуйста, писать тебе не придется. Я уже все подготовил. Вот, от первой до последней строки. — Тарас Тарасович развернул веером перед Слободкиным

целую пачку листков, сверху донизу исписанных косым мелким почерком. — Читать будешь? Или доверяешь? Ты учти — я в этом деле собаку съел. За кого хочешь могу! За рабочего? С ходу! За колхозника? Пожалуйста! За директора нашего скажут — и за него напишу. Написал уже один раз...

— А за себя? — холодно спросил Слободкин.

Тарас Тарасович тут же нашелся:

— Я, дорогой, хоть и являюсь одним из командиров производства, но все-таки, как говорится, пока не та фигура. Им все имена подавай! Вот я и подбрасываю. Не ты первый, Слободкин, не ты последний. Давай подписывай. Я должен еще «самому» показать.

Какому «самому», Симукон не сказал, но было в этом слове столько многозначительности, что Слободкин должен был тут непременно дрогнуть и сдаться. Но он смотрел на Тараса Тарасовича удивленными глазами и молчал.

— Не понимаю, ничего не понимаю... — устало и равнодушно сказал Слободкин после паузы.

— Чего не понимаешь? Чего? — с трудом сдерживая себя, чуть не крикнул Симукон.

— Кому и зачем нужно такое?

— У нас все на энтузиазме народа держится. И мы обязаны энтузиазм раздувать любыми средствами, любыми силами. И печатью тоже. Разве трудно понять?

— Я, наверное, никогда не пойму такого. Энтузиазм, говорите? Но зачем же его «раздувать»? Да еще любыми средствами! Тут уж не энтузиазм получится, а ерунда какая-то...

Слободкин был убежден в своей правоте и пытался хоть в чем-то убедить Симукон. Но тот чем дальше, тем становился упорнее. Видя, что все его доводы не производят впечатления, Тарас Тарасович пустил в ход самый главный, на его взгляд, самый веский:

— Тебе, Слободкин, такое доверие оказано, такая забота проявлена о твоей персоне, а ты не ценишь хорошего отношения.

— Вы о чем?

— Подумай как следует.

— Станок доверили? Спасибо. Огромное.

— Не притворяйся. УДП получил? Ты знаешь, кто и как его выхлопотал?

Слободкин отстегнул клапан кармана гимнастерки, вытащил талон и швырнул его на стол перед опе-

шившим Симуковым. Рассказывая потом о случившемся Зимовцу и ругая его за то, что тот вверг его в неприятности с этим талоном — пропади он пропадом! — Слободкин ясно дал понять другу, что не унизился, сохранил чувство собственного достоинства в перепалке с «одним из командиров производства».

— Что же ты сказал ему? — спросил Слободкина Зимовец.

— Сказал, что работать иду. Что некогда тратить время на всякую чепуху.

— Ну и правильно. Он выслуживается, по моему, этот Тарас. Вот тебе два человека — Каганов и он. На одном заводе, в одном цехе, в одинаковом положении, а присмотришься — два полюса. У одного действительно о фронте все думы, другой только тем и занят, что перед начальством выпендривается.

— А зачем?

— Спроси его.

— Я таких не встречал еще.

— Считай, тебе повезло. Сколько хочешь их. Посмотри вокруг повнимательней. Вот знамя мы получили, да? Прекрасное дело. Но люди, подобные Симукову, видят в этом только повод для треска и шума. А что шуметь? Что галдеть? Нажимать дружнее надо, а не звонить в колокол.

— И работает он так же?

— Да как тебе сказать... Дело свое знает, опыт есть, но больше всего любит, чтоб его другим в пример ставили. Для этого у него все средства хороши. Не прочь и чужие заслуги себе приписать. Вот ты тогда в морозилке отличился. Он сказал на совещании у директора, что это наш, мол, девятый цех таких людей воспитывает. И еще себе в грудь кулаком при этом не забыл постучать.

— Зимовец, ты мне друг?

— Ну, допустим.

— Как друга, последний раз прошу — про морозилку больше ни слова. Надоело, ей-богу!

— Ладно, усвоил. Я тебе еще об Устименко хотел сказать. Это тоже своего рода Тарас Тарасыч.

— Устименко оставь в покое.

— К тебе-то он подкатился — будь здоров! И пилотку, и мыла кусок, и все такое прочее. Но посмотрел бы ты, как он с другими обращается, — с ремеслом, например. Ребята неделями в баню попасть не могут,

а он во всех инстанциях «рапортует»: полный порядок, мол. Такой лисы я еще не видел. Вот тебе уже два экземпляра? Два. А в целом что получается? Черное за белое часто выдаем.

Слободкин задумался. Помолчав немного, сказал:

— Я от матери письмо получил, ты знаешь. Пишет, что все хорошо у нее. Послушаешь — выходит, так хорошо, словно лучше никогда и не было.

— Это разные вещи. Мать тебя огорчать не хочет, только и всего. С Устименко, а тем более с Симуковым, ее не равняй.

— Что ты! Но в ответ я все-таки знаешь какое ей письмо накатал? Прочитал бы — ахнул!

— Ну и правильно. Была бы у меня мать, я б своей то же самое написал. Дескать, ничего мне, мамаша, не нужно, все у меня имеется, даже валенки.

— Почему именно валенки? — удивился Слободкин.

— Она о них больше всего убивалась. Отец у нас с гражданской без ног пришел. Отморозил. Мать потом всегда говорила: «Пойдешь, сынок, служить, я тебе валенки с собой дам».

Зимовец посмотрел на свои измызганные, заштопанные проволокой кирзовые сапоги, потом на такие же сапоги Слободкина, потом опять на свои.

— Не довелось старой собирать меня в армию, чужие люди провожали. Ты чего скис, Слобода?

— Я? Нет, что ты! Тебе показалось...

— Не показалось. Вижу ведь, скис. Не горюй, у тебя-то все в порядке пока.— Зимовец посмотрел в глаза друга пристально, внимательно.

Глава 7

Случилось так, что и второе письмо от матери Слободкин получил через Зимовца.

— Танцуй, Слобода! — торжественно потребовал он, размахивая письмом перед носом Слободкина.

— От мамы! — Сергей широко развел в стороны руки, то ли для того, чтобы действительно пуститься в пляс, то ли намереваясь обнять Зимовца.

— Не танец, а халтура, — проворчал тот.

— Прочитаю — спляшу.

Но чем внимательней вчитывался Слободкин в материнские строки, тем грустней становился.

— Случилось что-нибудь? — заметив резкую перемену в настроении друга, спросил Зимовец.

— Нет, ничего...

Зимовец дал ему возможность дочитать до конца, потом спросил:

— Опять «все хорошо, сыночек»?

— Опять.

— Да-а. Там тоже, конечно, того.

Если первое послание из Москвы только настрожило Слободкина, то сквозь строки этого он ясно почувствовал, как мать постоянно недоедает, недосыпает, нуждается в самом насущном. Он читал, перечитывал скудные материнские слова, и его воображению рисовалась картина мрачнее мрачной. Будто бы пришла мать с ночного дежурства в холодную, пустую квартиру. Поставила чай на электроплитку. Слободкин представлял себе все с такой наглядностью, что даже видел, как стекала холодная капля по стенке алюминиевого чайника, слышал, как, добравшись до еле тлевшей, бледно-малиновой спирали, она долго шипела и крутилась там, не в силах испариться. На первую каплю набегала другая, третья... Мать целый час дожидалась, когда закипит вода, но, так и не дождавшись, садится с кружкой к столу и пьет — без заварки, без сахара, заедая ломтиком черствого черного хлеба, уменщавшимся на ладони. Он представил себе и эту ладонь — крохотную, иссеченную глубокими складками.

— Ты пиши ей чаще, — сказал Зимовец, понявший настроение друга. — От меня привет передай. Есть, мол, тут личность одна — Зимовец Прокофий Ильич. Такой-сякой, разэтакий, парень в общем и целом ничего, только ночью сильно брыкается.

— Что ты! Как только узнает про нашу житуху, бросит все, пропуск оформит, примчится. Точно знаю.

— Ну, тогда пиши, что живешь в особняке и подают тебе по утрам кофе в постель.

Весь день Слободкин думал о матери, о том, как ей одной живется сейчас. Даже плакат с изображением седой, старой, много пережившей женщины заставил его вздрогнуть. Что бы такое придумать? Чем помочь? Зимовца спросить? Каганова? Нет, они тут бессильны. Скурихина? Неудобно. Его картошку тогда переправить не удалось: военпреды в Москву долго не ехали. А капля воды, сползшая со стенки чайника на спираль плитки, все шипит и шипит в ушах Слободкина...

Слободкин не мог вспомнить, как на следующее утро чуть свет оказался на рынке. На барахолке, которую ненавидел за то, что, имея деньги, там даже сейчас все можно купить — от хлеба до валенок. Так, по крайней мере, слышал он от рабочих в цехе. Цены были, по их рассказам, фантастические, никак не доходившие до сознания Слободкина. Особенно почему-то вздорожали якобы спички — в сотни раз по сравнению с их прежней стоимостью.

Сегодня, шагая вдоль рядов торгашей, он убеждался в этом воочию. За стакан обыкновенной махорки, к которой он решился на всякий случай прицениться, с него заломили такое, что Слободкин беззвучно выругался и пошел дальше, стараясь не глядеть на буханки рыжего хлеба, крынки топленого молока, бруски белого сала... Не глядеть на них, не слышать их одуряющего запаха. Просто так — пройти мимо всего. Из любопытства. Чтобы потом когда-нибудь вспомнить — до чего же это было дико и непонятно.

Впрочем, война есть война — все наружу, все без прикрас. В ком душа была чистая, светлая, она — наступит час, придет миг — еще ярче высветится. В ком дрянь бродила — до краев подыметесь. Как вот у того, например, что стоит, обнявшись с пшеничным караваем. Пальцы сплетены, аж посинели. Глаза нахальные. Таких Слободкин раньше только на карикатурах видел. А тут вот он, пожалуйста, живой. И какой еще живой!

Или вон та баба. Гогочет как лошадь. Здоровая, гладка! И щеки полыхают пунцово.

И сколько тут таких! Нагоняют и нагоняют цены. Все в заботах о том, как получше охмурить человека.

Над их толпами облаком плывет отвратительный гвалт. Кажется, разразись сейчас взрыв фугаски — и он потонет в клекоте луженых глоток.

Слободкин давно не бывал на рынке. Неужели и тогда, до войны, все было так же? Нет, конечно, именно теперь вся эта сволота выползла. Раньше ее почти не видно и не слышно было. Хоронилась до поры. Он не мог точно вспомнить сейчас, к кому относились строки Маяковского: «Оглушить бы вас трехналым свистом!», но именно эти полные злости слова пришли сейчас на ум Слободкину. И странное дело! Какая великая у тех слов оказалась сила! Даже у каждого в отдельности. Вот уже рассечено ими облако гвалта, вот

качнулось, сносимое в сторону... Минута — и стих, только стих звучит над базарной сутолокой:

Оглушить бы вас
 трехпалым свистом!
Оглушить бы вас...

На несколько коротких минут дышать стало легче, свободней. Но вот кто-то остановил его, дернул за рукав:

— Что продаешь?

Перед ним стоял тип, похожий на того, обнявшегося с буханкой.

— Ничего! — огрызнулся Слободкин.

— Неужели покупаешь? Интересно!..

— Иди ты знаешь куда!

— Нет, серьезно, солдат, может, карточки есть?

Слободкин взглянул на бесцеремонного барышника с удивлением:

— Тебе что нужно?

— Я сказал уже — карточки. Русский язык понимаешь? За рабочие полторы тыщи кладу не торгуясь. Цены знаешь небось?

Полторы тысячи! Слободкин стоял перед спекулянт-ом растерявшийся, сбитый с толку. «А что, если в самом деле продать и отправить деньги матери? Все полторы. И еще из получки выкроить... Напишу ей, что зарабатывать стал больше, пусть купит себе хлеба или муки...»

Сергей прикидывал, думал, а рука уже сама нашаривала в кармане карточки. Неожиданно для себя он сказал негромко, но решительно:

— Согласен...

Со стороны могло показаться, что два человека обменялись дружескими рукопожатиями. Никто не заметил, как содрогнулся Слободкин от прикосновения к холодной руке. Как другой, прежде чем небрежно сунуть за пазуху купленные карточки, успел так же небрежно и в то же время ловко, с тонким знанием дела, глянуть их «на свет» — не фальшивые ли? Как смущенно, не пересчитывая, Слободкин опустил в карман пачку жирных, сильно потрепанных и оттого уже не шелестевших, словно безжизненных, бумажек.

На почту идти времени уже не было, и Сергей с рынка направился прямо в цех. Он еще не знал, как сумеет прожить почти целый месяц без хлеба. Знал только одно — от Зимовца продажа карточек должна быть

скрыта во что бы то ни стало. «С голодухой как-нибудь справлюсь. Не впервой. А вот как быть с Зимовцом? Лучше всего, пожалуй, постараться не ходить вместе с ним в столовку». Ухватившись за эту идею, он старался теперь продумать ее во всех деталях. Попросить Каганова, чтобы перевел в другую смену? Но ритм работы такой напряженный, рабочих рук настолько не хватает, что смены все перепутались и давно уже «заходят одна за другую», как сказал недавно на летучке Баденков.

И все-таки надо попытаться всеми правдами и неправдами разминуться с Зимовцом в сменах. Не бесконечно же штурм на аврал налезать будет?

До самого обеда Слободкин и так и эдак прикидывал, как ему «оторваться» от Зимовца, и ничего придумать не мог. А в цехе вдруг появился Строганов. С ним шли Баденков, Каганов, еще какие-то люди. Проходя мимо Слободкина, парторг узнал его, остановился, поздоровался за руку, заговорил:

— А! Фронтовик! Как дела?

— Все нормально,— ответил Сергей.

— Хорошо или нормально? — переспросил Строганов.

— Нормально вполне.

— Как поживает десант?

— Какой десант? — удивился Слободкин.

— Вот тебе раз! Савватеев мне докладывает, что у нас целый взвод парашютистов сколачивается.

— Я от всего отстал немного,— как бы извиняясь, сказал Слободкин.

— Сколько?

— С точностью до одного часа знаю, если хотите.

Строганов достал из кармана гимнастерки записную книжечку, нашел нужную ему страничку, поднес ее к глазам Слободкина.

— Точно?

— Вам честно сказать?

— Не понимаю,— удивленно посмотрел на Слободкина парторг.

— Сбился со счета в той больнице... Поверите?

— Вы молодой, товарищ Слободкин, дьявольски молодой! Вот и забываете. Вам можно. А я стареть начинаю, записывать стал. Тут у меня и про больницу, и про кружок парашютный, и про всякое такое. Так вот, насчет кружка — это толково. И даже помогу, если хо-

тите. Только ребят прежде поры фронтом не дразните особенно. Договорились? Нам люди все еще вот как нужны! Специально бронируем. Даете слово, что сознательным будете?

— Да, — неуверенно ответил Слободкин.

— Ну и прекрасно. А затея в принципе, повторяю, отменная. Как представляю, даже завидки берут.

— Может, и вас записать? — спросил Слободкин.

— А возьмете такого?

Строганов постучал ногой по станине станка. Раздался странный звук.

Увидев, как смутился Слободкин, Строганов сказал:

— Берите смело — ногу мне на заводе чинили. Дюралевая, не сломается. И еще — кабинет мой в вашем полном распоряжении. Вместе со столом. Как раз такой, как вам нужен — полированный, длинный. Словом, в любое время приходите и начинайте. С питанием у вас как? Неважно?

Слободкин решил соврать. Только сделал это, кажется, слишком лихо. Парторг посмотрел на него с нескрываемым удивлением, но ничего больше не сказал, молча пожал руку и двинулся дальше.

— Ты, Слобода, теперь на виду у всех, так что в случае чего держи хвост трубой, — сказал Зимовец вечером в бараке, поудобнее устраиваясь на своей половине койки. — Строганов возле тебя одного полчаса простоял.

— Не говори! А ты прав, мужик он свойский. Рабочие его любят, наверное?

— Ну, в любви рабочий класс объясняться не мастер, а так вроде ничего, уважают. В парашютисты к тебе просился?

— Стол свой для укладки отдает. Приходи, дескать, в любое время, у нас с тобой интересы сходятся: тебе нужен длинный стол, мне — короткие заседания. Представляешь, говорит, как теперь мне легко будет любителей многословных речей останавливать? А он, оказывается, инвалид?

— Скрывал первое время. Хромает и хромает. Потом, когда в инструментальном ногу ему мастерили, кто-то из слесарей проболтался. Но слово держать умеет.

Если бы в бараке было светлей, Зимовец увидел бы чуть улыбнувшиеся глаза друга.

О чем он думал сейчас? О первой роте? О кружке, который теперь скоро начнет работать?

Да, именно об этом. О первой роте. О ребятах. О кружке, который в сознании Слободкина становился мостиком между тем, хоть и не особо героическим, но все-таки боевым прошлым и настоящим, где его по недоразумению окрестили героем.

О первой роте. О ребятах. О кружке.

И еще о том, чтоб весточка его скорей Москвы достигла. И чтоб отыскалась Ина...

Он почему-то вспомнил сейчас, как с мальчишками в деревне, запустив змея, отправлял в небо «письма». Трепещущие белые уголки бумаги неслись по нитке ввысь, застревая на узлах, останавливаясь, снова устремляясь вперед, и наконец добирались до цели. Ребята с криками: «Читает! Читает!» — замирали на несколько секунд, чтобы услышать, как медленно, переливчато поет в небесах трещотка...

Слободкину почудилось, что его письмо к матери тоже вот так летит сейчас по проводам, как по ниточке. Летит, каким-то чудом ловко огибая столбы, задерживаясь на мгновение, чтобы одолеть узел, которым связаны провода после бомбежки, после обрыва. И снова в путь — через огонь, через дым, через сожженные города и села...

Уже совсем засыпая, он видел, как письмо его добралось до Москвы, получено матерью. «Читает, читает, перечитывает! И деньгам рада, хоть и сердится».

Глава 8

По Волге вторую неделю шагала весна. И на что уж много было забот у людей на заводе, а все-таки кое-кто находил время — десяток минут перед сменой — выйти на берег, постоять у кипящей воды. Просто постоять. Посмотреть и послушать, как раскалываются друг о друга льдины, набирающие скорость с каждым часом, с каждой минутой. И странное дело: дробятся, дробятся ледяные поля — пополам, еще раз надвое, а мельче от того вроде бы не становятся, все такие же мощные, несокрушимые. Переламываются, кажется, только для того, чтобы плотней и удобней притереться друг к другу, а потом снова спаяться, свариться намертво и стать в месте сварки еще прочнее. Пробуй такую льдину, волна, на излом, на разрыв, на износ...

Именно такое утро застало Слободкина на Волге. Он проснулся рано. То ли от голодухи не спалось, то ли весна в самом деле была такой же властной, как до войны. Вот уже несколько дней ел он баланду без хлеба, несколько дней бегал от Зимовца как сумасшедший, придумывая всякие причины. То его «срочно вызвали в партком», то ему требовалось немедленно и непременно перед самым обедом «явиться к Савватееву». Вот и сегодня поднялся ни свет ни заря тоже, честно сказать, чтоб улигнуть от приятеля. Не посвящать же Зимовца в историю с карточками? Во-первых, изругает последними словами. Во-вторых, тут же отдаст ему половину своего хлеба. Слободкин, разумеется, сам бы точно так поступил на его месте. Выход, значит, один — бегать от Зимовца, бегать, сколько будет возможно. Шесть дней уже прошло, прикидывал Слободкин и задумывался: «уже» или «только»? Смотря как рассуждать. Если с точки зрения здравого смысла, то, конечно, время медленно, но идет. Шесть дней долой, значит. Если же с точки зрения желудка глянуть (а у него, окайнного, эта самая «точка» имеется, в этом Слободкин убедился теперь как никогда), то выходило — до конца месяца еще целая вечность. Но терпения у него хватит, опытом проверено. А опыт — великая вещь в любом деле. Тогда, в окружении, вообще ничего не ели. И даже как-то шибче и легче шагалось.

Слободкин нисколько не жалел, что швырнул талон УДП Тарасу Тарасовичу. Больше уважать себя стал. Не унизился.

Сергей шел по мокрому снегу, через который местами уже начала проглядывать трава — еще даже не зеленая, скорей, серая, прозрачная. Ночью травинки прихватывал мороз, и они долго не могли потом распрямиться под ветром и солнцем.

Слободкин нагнулся, чтобы лучше разглядеть тончайший, впрессовавшийся в снег травяной усик. Откуда берется столько неодолимой силы в каждой былинке? В каждом, самом малом, стебельке, в котором жизненным сокам просто негде вроде и поместиться? А они не только находят себе место, но и копят энергию. Копят, копят до срока, потом в природе происходит чудо. То, что казалось отмершим, безвозвратно увядшим, вдруг подымается, тянется к солнцу, расцветает!

Вот в нескольких шагах от себя Слободкин увидел высокий куст прошлогодней полыни, подошел поближе

и удивился еще больше. Этот, поди, и снегом не был толком защищен, а вот выстоял, и потребовалось совсем немного тепла, чтобы никто не узнал, каково пришлось ему зимой. «Вроде автопилота прошел испытание — на холод, на лютую стужу, на вибрацию. Еще на что? Одни сизые косточки вот стучат на ветру!»

Слободкин оторвал полынную ланку и опять удивился — терпкий, вяжущий, горький и в то же время сладкий, с детства родной запах обдал лицо.

Сергей держал на ладони легкую, похожую на перышко ветку и думал о ее нерастраченных силах. Еще два-три таких солнечных дня, как нынешний, и прошлогодний куст станет совсем крепким, упругим, словно и не было никакой зимы.

— Так вот ты где пропадаешь, Слобода!..

Хриплый голос Зимовца прозвучал за спиной Сергея обиженно и раздраженно.

Слободкин вздрогнул от неожиданности, но, обернувшись к подошедшему другу, ответил спокойно:

— Там же, где и ты. На Волгу посмотреть нельзя? Сразу «пропадаешь»...

— Я тебя последние дни вообще никак не словлю. Вскакиваешь ни свет ни заря, в барак после всех являешься. Что творится с тобой?

— Ничего не творится.

— Слобода!..

— Честно говорю.

— Нет. Не честно.

«Неужели знает? Да нет, откуда ему? А... будь что будет, надо гнуть теперь свою линию».

— И никуда я не бегаю. Все время в цехе.

— Брехня. Карточки твои где, лучше скажи. Утерял, да? Ну, чего молчишь?

— Не терял я никаких карточек. Ты что?..

— А я думаю — утерял и теперь не знаешь, что набрехать.

— Чего ты прицепился?..

— Ты себя в зеркало давно видел? От тебя нос один остался.

— Нос у меня всегда был один.

— Я давно заметил, что ты самый остроумный человек на нашей койке. Если б ты был еще и самым честным! Когда посеял карточки? Отвечай. Последний раз спрашиваю: сколько дней без хлеба?

— Шесть.

— Паразит ты, а не друг, Слобода.

— А если не потерял, а продал, тогда что?

— Продал? Карточки продал?..

— Да, продал. И матери деньги послал. Вот квитанция.

Зимовец взял квитанцию, недоверчиво повертел ее и так и эдак, наконец, убедившись в том, что приятель не врет, сказал:

— Все равно паразит.

Слободкин обиделся:

— Называется, друг.

— Это я должен сказать тебе: друг, называется! Дохнет с голоду и молчит. Бессовестная твоя душа! Глухая и бессовестная. Говори, куда тебя? Ну? К Строганову? К Баденкову? К Каганову? А? Или прямо в столовку?

— Столовка сейчас закрыта.

— Откроют! Ты еще не знаешь меня. Если не откроют, я двери высажу.

— Что угодно, Зимовец, только не позорься и меня не позорь. «Открою! Высажу!» К чему это?

— «Что угодно»? Тогда я сам иду сейчас к Тарасу Тарасычу и говорю ему, что ты передумал. Пусть возвращает талоны.

— С ума сошел! Совершенно спятил...

— Ну, тогда в столовку!

— Вместе со всеми, не раньше. Ты мой характер знаешь?

— Начинаю узнавать понемногу. Упрямей еще не встречал.

— Тем более. Зачем зря горючее тратить? Пережог будет. Скажи лучше, как догадался, что карточек у меня нет?

— Я уже объяснил тебе. По противной роже твоей.

Время до обеденного перерыва тянулось медленно. Так медленно оно, пожалуй, еще никогда не тащилось. К Слободкину подходили бригадиры, о чем-то спрашивали, чего-то требовали, он им отвечал, принимал работу — все механически.

«Велико ли дело — шесть дней без хлеба, — думал Слободкин. — Бывало и не такое. Выдерживал. Просто надо собраться, подвинтить гаечки. На пол-оборота. Еще канельку. Еще чуть-чуть. Вот так!..»

Слободкин подбадривал себя, и ему становилось легче. Он давно учился переламявать себя в трудную ми-

нута. Иногда казалось, будто совсем овладел этим умением, иногда сползал на исходные рубежи. И даже намного дальше исходных. Но сегодня он был доволен собой. Справился. Скрипел-скрипел и вдруг почувствовал, что не все еще силенки выпотрошены. Есть кое-что в энзэ — нерастраченное, сбереженное.

А Зимовец пришел намного раньше перерыва, встал за спиной и поторапливал:

— Эй, пора уже! По моим время.

— А по моим еще рано.

В Слободкине появилось даже какое-то озорство. Он смотрел на приятеля глубоко ввалившимися, но не потухшими глазами. В этот раз ему, конечно, не удастся отбиться от Зимовца. Сегодня они пообедают вместе, так и быть. Но завтра... «С завтрашнего дня вплотную займусь кружком парашютистов, и Зимовец вообще меня не увидит. Да и пора! Время идет, бежит время! Сколько дней уже упустил!..»

Слободкину стало стыдно за свою нерасторопность. «Нужно срочно что-то делать. Просить Зимовца, чтоб помог? Этого еще не хватало! Идти к Савватееву? Сказать, что упущенные дни наверстает? Правильно, к Савватееву! И не откладывая, сегодня же. Парашют перетащу в кабинет к Строганову и списки с начальником отдела кадров уточню еще раз».

После разговора с Савватеевым Слободкину пришлось долго бегать по цехам и баракам. Начальник отдела кадров был категорически против «мертвых душ» и намекнул, что Строганов их тоже терпеть не может.

— А разве Петр Петрович придет на занятия? — удивился Слободкин.

— Кто его знает. Думаю, нет, но о том, как начал работу кружок, спросит наверняка.

В результате всех проверок в списке осталось восемнадцать человек. Когда в один из вечеров они расселись за столом в кабинете парторга, в комнате сразу стало до такой степени тесно, что Слободкин с трудом нашел место, откуда ему удобнее было бы говорить. В волнении он чуть было не объявил о начале «лекции» и смутился. «Что же это все-таки будет? Может, доклад? Или вводная беседа?» Неожиданно для самого себя сказал совсем просто:

— Ну что же, начнем? Вот наша материальная часть... — На столе засверкал белизной легкий шелк

парашюта. Слободкин начал объяснять систему укладки.

Полотнище за полотнищем, стропа за стропой безошибочно, точно находили свое строго определенное место сперва на столе, потом в ранце, чтобы в нужную минуту не подвести, не порваться, не запутаться, выдержать динамический удар, донести свою ношу до цели.

Ребята, конечно, уже многое слышали о парашютах и раньше, но впервые поняли, что безупречной точности укладки добиться не так-то легко.

Уложив парашют, Слободкин впрягся в лямки, застегнул карабины и, встав на стол, прошелся перед притихшими ребятами. Они глянули на его напряженную, словно для прыжка подготовившуюся фигуру и увидели вдруг Слободкина таким, каким раньше не знали. Правая рука легла на кольцо, левая чуть вытянулась вперед. Слободкин волновался, но никто из ребят не сообразил еще, что уже не стол с зеленой скатертью поскрипывает и вздрагивает под ногами Сергея — гудит, содрогается, вибрирует гофрированный дюраль плоскости ТБ-3... Вот-вот появится впереди него штурман, до пояса высунувшийся из кабины, и сверкнут в струе винтомоторного воздуха два ослепительно ярких флажка — красный и желтый. Сейчас взмахнет ими. Сперва красным — «приготовиться!», потом желтым — «пошел!». Но до этого в последние секунды надо успеть сделать еще очень многое: проверить, не мешаешь ли соседу слева, соседу справа (ни много ни мало по десять человек на каждом крыле!), еще раз расправить лямки, поудобнее взяться за кольцо, покрепче зажать его, чтобы не вырвалось...

Ребята смотрят, слушают рассказ Слободкина о воздушно-десантной бригаде, о прыжках, и волнение руководителя постепенно передается им. Вот и их разгоряченные лица обдувает уже ветер, в котором нельзя не учуять горьковатого привкуса бензина и масла.

В самый разгар занятий появляется Строганов. Он в удивлении застывает в дверях, взглянув на Слободкина, и, заметив его смущение, говорит:

— Не зря я вам свой стол расхваливал? Не стол, а бомбардировщик!

Слободкин неуклюже и грузно сползает со стола на пол. Поняв, что помешал, Строганов берет какие-то бумаги из сейфа и тут же уходит, но Слободкин на

стол больше не забирается. Впрочем, ребята и без того слушают внимательно и только изредка перебивая вопросами:

— Когда мы-то на фронт пойдем?

— Сколько еще сидеть в тылу?..

О кружке парашютистов, организованном на заводе, чуть ли не на следующий день после первого занятия узнали в обкоме комсомола, и скоро Слободкина вызвали в областной центр, к первому секретарю Радволину. Перед поездкой Сергея инструктировал сам Строганов:

— Расскажи там в самых общих чертах, в подробности не вдавайся. Да и ни к чему. Там есть любители собирать разного рода сведения. Для чего? Для того чтобы козырнуть на каком-нибудь совещании.

Радволин встретил Сергея приветливо. Их разговор уже с первых минут принял совсем неожиданный для Слободкина оборот.

— Я вас вот зачем, собственно, пригласил, товарищ Слободкин. Помощь нужна вам какая-нибудь? От обкома?

— Помощь? — удивился Сергей.

— Ну да, помощь. У нас старая дружба с летчиками, и если понадобится, можно будет достать парашюты, хоть и не новые, но для занятий вполне подходящие.

— Парашюты? Это было бы здорово! — воскликнул Слободкин. — У нас пока один на весь десант. И тот БУ.

— Бывший в употреблении. — Радволин без всякой рисовки подчеркнул, что военная терминология ему понятна. — А вышки у вас вообще нет. Можете забираться на нашу — выстояла под всеми налетами. Заслуженная, можно сказать, вышка.

— Бездействует?

— В том-то и дело. Просто обидно! Я эту вышку своими руками строил перед войной. Берете?

— Беру! — засмеялся Слободкин.

— Будете с ребятами сюда приезжать. Хотя бы раз в... — Радволин задумался. — В неделю? В месяц?..

— Туго у нас со временем, товарищ Радволин.

— Это верно. Я знаю. Но все-таки подумайте, не отказывайтесь сразу. Что еще у вас? Говорите, не стесняйтесь.

Радволин уже встал из-за стола, подошел к Сергею ближе, сейчас скажет: «Заходите, товарищ Слободкин...»

— Товарищ Радволин, не могу больше задерживать вас. У вас тут тоже...

— Ты что, обиделся? Да? — неожиданно перешел на «ты» секретарь. — Ну и правильно сделал! Затянули мы с ответом на твою личную просьбу. Но поверишь — по-настоящему руки дошли только несколько дней назад. Я сам интересовался...

— Не нашлась?.. — перебил его Сергей.

Радволин посмотрел на карту, занявшую добрую половину стены его кабинета. По карте широко, от края и до края, разбежалась лесенка красных флажков на булавках. Слободкин молча прошелся по ней глазами — вверх и вниз, раза два по каждой ступеньке.

— Неужели?..

— Точно. На фронт подалась, добровольцем. В действующую армию.

— Ошибки не может быть? Ты уверен? — Слободкин не заметил, как тоже перешел с секретарем на «ты».

— Мне заявление твоей Ины по телефону читали. Человек, скажу тебе, настоящий!

Сергей налил себе полный стакан воды из треснутого и склеенного изоляционной лентой графина, но пить не стал. Так и застыл перед Радволиным со стаканом в руке, беззвучно роняя из него на пол большие, тяжелые капли.

Множество чувств вскипело в сердце Слободкина одновременно.

Чувство гордости. «Вот ведь, в самом деле, девчонка какая! Кто бы подумать мог? А?..»

Чувство тревоги. «Когда увижу теперь? И увижу ли вообще?»

Чувство зависти. Да, и оно тоже. «Парашютист, сколько раз смотревший смерти в лицо и уже научившийся вроде бы глядеть на нее не моргая, вынужден отсиживаться здесь, в тылу, без оружия. Ина, за всю свою жизнь не сделавшая ни единого выстрела даже в тире, зарылась в землю с автоматом в руках, и перед ней немецкие танки...»

Это последнее Слободкин представил с такой наглядностью, что увидел даже два острых локотка, глубоко вонзившихся в сырую землю, и до боли в собственных суставах ощутил, как студено-холодна та земля...

— Только бы ничего не случилось... — Это Слободкин сказал уже вслух, не стесняясь Радволина. — Как ты думаешь, где она может быть сейчас?

Секретарь развел руками.

— При первой возможности наведем справки, но дело такое, сам понимаешь, служил...

«Служил! Знал бы ты, секретарь, за какое место задел, так, может, выбирал бы слова».

— Расстроен, Слободкин? Да?

«Соврать? Значит, унизиться, что мне не подходит. Правду резануть? Еще хуже. Полправды? Сказать только о том, что горжусь Иной, что завидую ей? Сразу увидит — правда, да не вся. Стало быть, неправда. Есть же счастливы на свете! Им sluкавить — все равно что наряд схлопотать. Смолчать и то красивей. Смолчу».

Радволин, поняв состояние Слободкина, сказал:

— Так не забудь, если что понадобится, заходи. Я тоже к тебе заеду. Прямо на занятия, можно?

— А как ты узнаешь? Тебе сообщить?

— Ну, это все в наших руках. — Радволин подошел к тумбочке, на которой Слободкин только сейчас увидел целое столпотворение телефонов. Один из них как раз в эту минуту резко зазвонил. Секретарь быстро поднял трубку: — Радволин слушает... Здравствуйте, товарищ Строганов!.. Давно не был? Болел целый месяц, только третьего дня вышел... Без осложнений... Спасибо, товарищ Строганов, ни в чем не нуждаюсь. Честно. Может, от обкома какая-нибудь помощь заводу требуется?.. С дровами плохо? Для детского сада? Так, так, так...

Слободкин слушал секретаря и не мог ничего понять. Глаза запали, щеки ввалились, белые, почти прозрачные, а слушаешь его — довоенный стахановец, да и только! «Ни в чем не нуждаюсь! Честно! Спасибо!»

Слободкин удивленно глядел на Радволина, а тот продолжал:

— Понимаю, товарищ Строганов, понимаю. С дровами поможем. Обязательно! У нас тут отряд лесорубов формируется. Вы нам несколько человек в него не подбросите?.. Сейчас никак не можете?.. А недельки через полторы? Тоже нет?.. Да, да, знамя, понимаю. Ну что ж, выкрутимся как-нибудь... Нет, вполне серьезно, выкрутимся... Делегата на фронт от обкома с подарками? Надо бы. А от завода? Так, может быть, одним обойдемся, раз так плохо с людьми? Есть предложение послать общего делегата — от вас и от нас... Кого? Дайте денек на размышление. Даете? Добре! Еще раз спасибо, товарищ Строганов. До свидания.

Радволин положил трубку, обернулся к Слободкину:

— Все слышал?

— Слышал.

— Дров для детсада действительно подкинем, а на-счет делегата на фронт с тобой хочу посоветоваться. Послушай, а ты сам не рванул бы, а?

Слободкин от неожиданности сперва растерялся.

— Я совершенно серьезно. Заводской? Заводской. Комсомолец? Комсомолец. Един в двух лицах. А главное — фронтовик! Да ты в это дело всю душу вложишь. Сейчас идет сбор подарков и на заводе, и в городе. У нас кисеты шьют, носки и варежки вяжут, у вас зажигалки, мундштуки готовят. Представляешь — явишься с таким добром!

Сергея не нужно было долго агитировать. Он боялся теперь только одного — не передумал бы Радволин, не запротестовал бы Строганов...

Секретарь, поняв, что угодил Слободкину, продолжал развивать свою мысль:

— Строганова я на себя беру, у нас с ним расхождений не будет. Да и дня на два всего отлучишься-то. Как-нибудь перебыются. Самолетом туда, самолетом обратно. Подарки вручишь, речь скажешь — и обратно. Поверишь, я бы сам помчался не раздумывая. Не пустят, — под Новый год летал, и то со скандалом. «Дай другим», — скажут, это уж точно. А у меня мечта знаешь какая? Совсем податься т у д а. Не простая это затея, но если захочешь, все можно сделать. Надо только очень хотеть.

Слободкин неуверенно кивнул, не зная еще толком, как отнестись к откровенности секретаря. Тот, почувствовав, что сказал, пожалуй, лишнее, спохватился:

— Только, чур, между нами! Ни одному человеку ни слова! Я тебе ничего не говорил, ты ничего не слышал.

Он взял Слободкина за руку, подвел его вплотную к карте.

— Я вчера у летчиков был. Они знают не только погоду на месяц вперед, но вообще все на свете. Хочешь их прогноз военных операций услышать?

— Конечно.

— Так вот. Немцы сделают все, чтобы попытаться разбить наши войска на юге, захватить Кавказ, прорваться к Волге, овладеть Сталинградом. В настоящее время на фронте, растянувшемся от Баренцева до Чер-

ного, у них под ружьем более шести миллионов человек.

— А у нас?

— У нас тоже, думаю, не меньше, но в технике мы еще уступаем. Немецкие «рамы», например, всюду висят, над каждым мостом, над каждой дорогой.

— Какой же вывод?

— О своем «выводе» я уже сказал тебе. Мечтаю при первой возможности в самом пекле оказаться. А ты? Скажи откровенно.

— Откровенно? А ты не выдашь? Должность твоя против меня не сработает?

— Можешь не продолжать, все ясно, десантник, — усмехнулся Радволин.

Уже дома, поздно вечером, перебирая в памяти события этого дня, Слободкин спросил Зимовца:

— Не надоел я тебе?

— Вопрос глупый, — равнодушно ответил Зимовец.

— Нет, серьезно. То полкойки мне отдай, то полпайки...

— Ты опять за свое?

— Эх, Зимовец, Зимовец, если бы ты знал, как мне тошно сейчас!

— Что в обкоме узнал?

— На фронт ушла. Добровольцем. Сам Радволин сказал.

— И где же она теперь?

— Никто не знает. Наведем, дескать, справки, жди. Потом секретарь еще карту показал. Глянул — нехорошо мне стало: вся в флажках, от Баренцева до Черного...

— Ты что, карты фронта давно не видел?

— Давно. А в мыслях это как-то не так все выглядит.

— Просто у тебя настроение дрянь, вот и весь белый свет не мил.

— Не знаю, может, и прав ты, Зимовец. Худо, худо мне, худо. Так худо никогда еще не было.

— Ну и что же ты надумал?

— Что можно надумать в моем положении?

Слободкин никак не мог прийти в себя после встречи с Радволиным. Мысли все к Ине возвращались. Он вспомнил почему-то, как подается на заводе сигнал воздушной тревоги, и прицелился к слову. Такое уж у него действительно настроение было сегодня. Сперва на Зимовца рывкнул. Теперь слово не то попало.

«Все по местам!» — если в масштабах цеха или завода взять, то, конечно, все правильно. Каждый при том деле, какое ему поручено. А если шире взглянуть, концы с концами не сходятся, нет. Вот Ина, например. По крайней мере поменяться бы ему с ней местами. «Интересно, что Зимовец об этом думает? И думает ли сейчас вообще о чем-нибудь? Устал, не помнит небось, где был днем и что делал. Спит и за всю ночь не перевернется ни разу с боку на бок. С одной стороны, это хорошо, конечно, а с другой...»

— Зимовец! — тихо позвал Сергей.

— Ну?..

— Какой сон видишь?

— Так, ерунду всякую.

— Злишься? А зря, между прочим. Я действительно ничего не надумал.

— О чем ты?

— Вот видишь! Забыл уже, о чем речь шла, а все еще рычишь! Как тебе нравится Ина? А?

— Я давно заметил, они решительней нас бывают.

— Когда это «давно»? И кто «они»?

— Девчата. С нашим командиром роты жена на войну отправилась. Ее не пускали — она тайком. Пока мужа не ранило, в роте была. И в санбат тоже с ним.

— Война проверяет людей, Зимовец. Всем беспощадно проверку устраивает. И тут уж все наружу. Всяк свое место ищет и находит в полном соответствии с тем, к чему годен, на что способен. Тунеядская натура спешит на базар, жена командира в бой за мужа торопится. Ты думал об этом? Каждый человек напоминает гироскоп автопилота. Ротор разогнан до предельной скорости и стремится сохранить свое положение в пространстве.

— Лекции Каганова для тебя бесследно не прошли. Это гироскопическим эффектом называется.

— Вот именно. Ну, ты согласен с моей философией?

— Мысль интересная. Ты после войны трактат напиши.

— После войны, думаю, все по-другому видеться будет. Сейчас вот здорово все проступает в каждом человеке — чем кто богат, чем кто нищ, кто способен на подвиг, кто на подлость. Ты присмотришься хорошенько к людям.

— Интересно, слов нет. Только кажется мне, не совсем ты прав, Слобода. Твоя философия на каждом человеке вроде бы точку ставит. Один такой-сякой, никудышный, и нет никаких надежд на то, что когда-нибудь лучше станет. Другой просто ангел, перышко в задницу воткни — вспорхнет. Был всегда хорошим, стал еще прекраснее. В жизни все сложнее, по-моему. Любого человека возьми. Того же Устименко. Ты знаешь, я о нем невысокого мнения, но если с ним подзаяться, горы свернет для общего дела.

— Я об Устименко плохо не думаю.

— Ну ладно, бог с ним, с Устименко. Тарас Тарасыч тебе подойдет? По твоей теории — потерянный человек. А на самом деле просто руки у нас не доходят до каждого.

— Сейчас не доходят, но раньше ведь доходили?

— Раньше не все в нем было видно, как сегодня. Тут я не спорю.

— Значит, мы оба правы.

— Хочешь, от твоей теории останется сейчас одно воспоминание?

— Ну?

— Глаза у тебя сегодня грустные, и сам ты весь скис. Раньше, тем более до войны, ты, наверное, не такой был. Где ж твоя теория?

— Демагог ты, Зимовец.

— Опять трещит по всем швам твоя теория — до войны я демагогом не был. Знаешь, кем был Зимовец до Великой Отечественной?

— Кем?

— Голубятником. Если бы ты знал, Слобода, каких голубей гоняли мы с ребятами! Каких голубей!..

— Мраморных гоняли?

— Спрашиваешь!

— А мохноногих?

— Сколько хочешь!

— И турманов?

— По турманам я самым главным специалистом был...

Глава 9

Кабинет Строганова, к которому Слободкина срочно вызвали, выглядел сегодня необычно. Всюду — на столе, на подоконниках, на стульях и даже на полу — лежали

горы свертков. Пока парторг заканчивал телефонный разговор, Слободкин успел прочитать на одном из свертков строку, кратко выведенную чьей-то старательной рукой: «Фронт. Защитнику Родины».

— Объяснять что-нибудь надо? — положив трубку на рычаг, спросил Слободкина Строганов.

Сергей все еще не мог поверить в то, что выбор пал именно на него.

— Секретарь ваш обкомовский зубами в меня вцепился: отпустите да отпустите фронтовика как нашего общего представителя. Одним словом, собирайтесь, Слободкин. Тем более что с вашими желаниями это, кажется, совпадает?

Строганов подошел к Слободкину поближе, заглянул ему в глаза.

«Совпадает»! Откуда только берутся такие неточные, приблизительные слова? Слободкин готов был навьючить все эти свертки на себя и пешком по весенней распутице шагать до самого фронта. Сейчас же, сию минуту...

— Когда ехать, товарищ Строганов?

— Ехать! Вы плохо знаете своего секретаря. Он с меня еще и самолет требовал! «У вас, говорит, есть там одна «уточка», дайте ее на два денька». Я ему объясняю: «Уточка» еле дышит, вот-вот вовсе развалится», — он знай свое: «Дайте, а то не успеем к празднику».

— К празднику обязательно надо успеть, — сказал Слободкин.

Строганов взял со стола один из свертков, аккуратно развязал бечевку, бережно извлек содержимое.

— Ничего подарочек? С таким не стыдно лететь, по-моему, а?

Парторг разложил перед Слободкиным вышитый кисет, зажигалку, шерстяные носки, теплые варежки.

— С табаком даже? — Слободкин дотронулся до кисета.

— По полначки в каждом комплекте. Больше не наскребли. А зажигалка с кремнем и бензином. На полном ходу. Попробуйте.

Слободкин взял зажигалку, слегка повернул большим пальцем ребристое колесико. Синий стебелек пламени поднялся высоко и уверенно.

— А носки шерстяные, зимние... — сказал Слободкин и задумался. — Подарок с намеком получается. Воевать, мол, вам еще, братцы, и воевать...

— Ну что ж, если в этом кто-то и намек усмотрит, то намек, в общем, здравый. Я так смотрю. А вы?

— Конца не видно еще.

— В том-то и дело. Мы с вами реалисты, Слободкин. Вам сколько лет?

— Двадцать, — сказал Слободкин. — Скоро будет.

— В сыновья мне годитесь, я совсем старик перед вами. И по-стариковски могу еще добавить насчет носков, а заодно и насчет варежек — цар костей не ломит. А вы все-таки не ответили на мой вопрос: не стыдно с таким подарком явиться к празднику? Как с позиции фронтовика?

— Хороший подарок.

— Ну, тогда ни пуха! Но учтите, Слободкин, поручение не только почетное — опасное. Нас с вами он бомбить перестал потому, что все силы туда бросает. В воздухе просто хозяйничает.

— Все ясно, товарищ Строганов. Парашют наш разрешите в полет взять? С парашютом мне ничего не страшно.

— А он разве годен? Мне говорили — БУ.

— На занятиях просмотрел его. Каждую складочку. Повидал он всякое, но в случае чего сработает, я уверен. А для ребят знаете какая школа? Будут укладывать не просто ради практики — для боевого прыжка! Я им задание приготовил такое.

— Ну, раз уж приготовил, тогда какой разговор? Поддерживаю. Так и скажите: не учебное — боевое поручение вам, хлопцы. Пусть постараются, — в конце концов, им же на пользу пойдет. А теперь давайте подумаем, какую будете речь говорить при вручении.

Слободкин хотел сказать, что больше всего на свете боится речей и просит в этом смысле на него не рассчитывать. Строганова неожиданно вызвали на какое-то срочное совещание в город. Разговор о речи сам собой отложился. Оставшись один, Слободкин позвонил в цех, отыскал там Зимовца и назначил на завтра внеочередное занятие кружка.

— Всем передай — получено важное задание.

Но до завтра была еще целая смена. И какая! Все бригады в цехе словно с ума посходили — «Слободкин, мне в первую очередь!», «Слободкин, выручай!».

В самый разгар работы пришел Каганов.

— Уволокли тебя все-таки? Не было печали! Сколько там пробудешь?

— Суток двое.

— Не «суток двое», а двое суток. Это разница. Смотри, чтобы без всяких задержек. А пока нажимай. Целая очередь к тебе. Смотри не зазнайся. Голова еще не кружится?

«Кружится! Только знали бы вы, товарищ мастер, как и отчего кружится моя голова! Особенно сегодня».

Слободкин вспомнил, как однажды в детстве, во время пионерского похода, пожаловался вожатому на головокружение. Шагали из Серпухова в Тальники пыльной дорогой, по самой жаре, много часов подряд. Чтобы поддержать ослабшего, вожатый спросил как можно более весело:

— Кружится? В какую сторону?

Слободкин сперва растерялся, потом подумал: «Раз не знаю, в какую сторону кружится, значит, не кружится!» Она и в самом деле скоро перестала кружиться. Через несколько минут сам подошел к вожатому:

— Все прошло.

Вожатый рассмеялся:

— Испытанное средство!

Но сегодня Слободкин отчетливо чувствовал, как и в какую сторону все плыло у него перед глазами. Особенно когда неотрывно смотрел на быстро вращавшийся патрон или медленно двигавшуюся каретку. Вот сейчас, например. Как же все-таки слаб человеческий организм! И на все-то он реагирует. На каждый пустяк. На холод, как автопилот. На голод, как прибор еще более чувствительный. А в общем-то пустяки самые настоящие! Чувство голода, например, возникает оттого, что стенки опустевшего желудка начинают соприкасаться друг с другом. Это Слободкин, еще лежа в госпитале, где-то вычитал. «Вот пойду сейчас, выпью стаканов пять воды, они и перестанут соприкасаться...»

— Слободкин! Куда ты? — вслед ему крикнул Каганов.

— Водицы надо глотнуть. Соленого наелся. Сколько раз зарекался не есть соленого по утрам.

— Пойдем вместе. Мне перед обедом тоже всегда пить хочется. Ты карточки случайно не посеял?

— Нет... А что? — насторожился Слободкин.

— Ничего. Так просто. Со мной случилось один раз.

У Слободкина отлегло от сердца. Не хватало, чтоб еще кто-нибудь узнал о его проделке с карточками.

Каганов и Слободкин долго пили холодную воду из бачка, на котором слово «кипяченая» было кем-то жирно перечеркнуто.

— Напился? — спросил Каганов.

— Вроде бы.

— Я тоже. Незаменимая вещь, когда до обеда еще целых полтора часа...

— По моим даже больше. Поэтому всякие разговоры об обеде прекращаются аж до самого звонка. Договорились?

Вода ненадолго заглушила чувство голода, но скоро новая волна тошноты подкатила к горлу.

Слободкин старался смотреть только в ту точку, где резец прижимался к детали, отделяя от него тонкую фиолетовую стружку металла. Резец двигался в заданном направлении. Слободкин вращал ручку каретки инстинктивно, но точно, словно в помощниках у него был автопилот, безошибочно ведущий на цель. Это ощущение придавало силы. Он мог бы долго еще вот так стоять у станка, сам почти превратившись в металл, которому особенно уставать не положено.

Аэродром, с которого поднимался заводской «У-2», находился на территории завода. Двухместный самолет был оборудован для переброски готовой продукции. Основные грузы отправлялись железной дорогой, ветка которой тоже была подведена вплотную к заводским корпусам, а небольшие партии приборов — по воздуху. Под крыльями самолета были укреплены кассеты с квадратными гнездами, точно соответствовавшими конфигурации и размерам упакованных приборов.

На этот раз самолет должен был подняться в воздух с грузом не совсем обычным, но не менее ценным и срочным. Так, по крайней мере, думалось Слободкину, который пришел на взлетную площадку на целых два часа раньше назначенного времени и сейчас крутился возле летчика и моториста, готовивших «уточку» к рейсу на фронт.

Слободкин не торопил ни летчика, ни моториста, но так часто и так нервно поглядывал на часы, что в конце концов вывел из терпения и того и другого.

— Шел бы ты, парень, в свой барак и досматривал последние сны, — сказал моторист.

— Верно, десант, — проворчал летчик, — двое суток глаз теперь не сомкнем, учти.

— Учел уже,— ответил Слободкин и никуда, конечно, не ушел.

— Ну, тогда держи и тащи вон в тот сарай.— Моторист бросил Слободкину охапку тяжелого, мокрого брезента, от которого на ветру сразу заоченели руки.

Но Слободкин сегодня чувствовал прилив каких-то необыкновенных сил. Он не увидел, конечно, среди подшефных никого из своих друзей по десанту. Ни одного из них. Но снова побудет с такими, каким сам мечтал пройти всю войну.

Возвратившись к «уточке», Сергей стал внимательно ее рассматривать, полез под одну плоскость, под другую.

— Не терпится? Да? — услышал он сквозь вой ветра в растяжках голос летчика.

— А тебя не тянет?

— Я и тут, как на передовой. Не пыльная с виду работенка, да? А иногда так намотаешься, что и сам не поймешь, как жив остался, как груз доставил куда надо.

Летчик подошел к Слободкину.

— Ты, я слышал, ранен?

— Ранен,— ответил Слободкин.

— Я тоже,— сказал летчик.— С какого года?

— С двадцать второго.

— Ясно.

— А ты?

— С пятнадцатого.

— А выглядишь еще не старым, молодым даже.

— От чистого воздуха. Небольшая высота, кукурузная, а все-таки высота. Прочищает.

— Эта штука мне знакома,— сказал Слободкин.— Сорвешься, бывало, с крыла, дернешь колечко и дышишь, дышишь. Кажется, все небо в нутро твое входит... Тебя как зовут?

— Сергеем. А тебя?

— Тезки, выходит! Тогда меня по фамилии давай. Я Слободкин.

— Ну вот и познакомились. Примета хорошая. Мы, летчики, народ суеверный. Два тезки в одном самолете знаешь что значит?

— Ну?

— Один обязательно цел-невредим останется. Пусть хоть сто «мессеров» поперек пути.

— Я смотрю, вы не только суеверный, но еще и мрачный народ. У нас в десанте знаешь как сказали бы?

— Как?

— Серьга да Серьга — сёрьги.

— Сейчас придумал?

— Ага.

— Оно и видно. А если я скажу тебе, что и моториста Серегой кличут, тогда как?

— Тем более хорошо! — воскликнул Слободкин.

— Тогда запомни: моторист мой не просто Серега, но еще и Сергеевич. Только несчастье у него — месяц назад жену схоронил. Осколком ее убило. Ты заводское кладбище видел?

— Нет.

— Вот там, за взлетной. Прошлой осенью не было его. За одну зиму выросло. Сергей Сергеевич! — вдруг закричал летчик мотористу. — Ну как там у тебя? Подсобить, что ли?

Моторист спрыгнул на землю. Худой, широкоплечий, статный. Но глаза тусклые. Вытер лоб рукавом, устало сказал, обращаясь к Слободкину:

— Самолетик бог послал!

Повернулся к летчику и совсем посуровел.

— Последний раз сходишь — и крышка, снимаю с себя всякую ответственность.

— Ты говорил уже, — отмахнулся летчик.

— А ты к тому говоренью привык, ни во что не ставишь. Поворчал, мол, душу отвел, и ладно. Так запомни: вернешься — ложись спать на две недели. Полную капиталку устрою.

— Сергей Сергеич...

— Мне тебя, дурака, жалко.

Они, наверное, поссорились бы, но вдалеке, приглушаемый ветром, слышался звук мотора, — разбрызгивая воду и мокрый снег, от завода мчалась полуторка.

Моторист глянул на Слободкина и летчика и вдруг без всякой связи с предыдущим спросил:

— Жевали чего-нибудь?

Слободкин не то не понял, не то не расслышал. Промолчал и летчик.

— Кусать, говорю, хотите?

— Ага, — честно в один голос признались наконец оба. Моторист молча вынул из кармана черный сухарь, разломил его на три части.

От сухаря пахло бензином. Но для Слободкина не было сейчас запаха вкуснее и слаже.

Из подкатившей полупортки вышел Строганов.

Слободкин, летчик и Сергей Сергеевич переглянулись, но удивления своего не показали. «Да и чего удивляться? — подумал Слободкин. — Дело серьезное, вот парторг и решил сам проконтролировать все до конца. Только бы про речь разговора опять не завел!»

Вместе с шофером, впятером, они принялись таскать к самолету пакеты с подарками. Их оказалось так много, что все в кассетах не поместились. Решено было частично использовать под груз вторую кабину. Для этого Слободкину пришлось сперва занять там свое место, потом летчик, шофер и Строганов «трамбовали» вокруг него пакеты, стараясь заполнить ими каждый свободный уголок. Не принимал участия в этом только Сергей Сергеевич. Он стоял в стороне, явно не одобряя вопиющего нарушения правил эксплуатации самолета. Встретившись глазами с сердитым взглядом Сергея Сергеевича, Строганов, словно спохватившись, громко спросил:

— Все, что ли?

— Вроде бы, — ответил шофер.

— Ну, тогда подводим черту, а то вон моторист недоволен нами. Верно я говорю?

— Я уже привык, — устало махнул рукой Сергей Сергеевич.

— Слободкин, как ты там себя чувствуешь? — крикнул Строганов.

— Нормально. Только вот если перекур перед взлетом будет, меня не забудьте.

Строганов взобрался на крыло, расстегнул шинель, достал пачку папирос, протянул ее Слободкину.

— «Беломор»! Откуда это?

— От жены к Новому году еще получил. Как раз в тот день, когда курить бросил. Ну и ношу при себе — волю закаляю.

— Тогда себе оставьте, — решительно сказал Слободкин.

— Бери, а то рассержусь.

— Но ведь дареные!

— Бери, бери, она не обидится. Раскуришь с ребятами. Ты скажи там — привет от бывших фронтовиков. Да и вообще от всех наших, от рабочего класса.

Особых речей не надо. Это я тебя попугал тогда. Привет передай, вот и вся речь.

Слободкин поглядел на парторга с благодарностью, хотел сказать ему, какой он хороший человек, но тот, неловко стукнув о плоскость протезом, уже спрыгнул на землю. Слободкин так и не успел распечатать пачку — летчик поднялся на свое место, Сергей Сергеевич направился к винту, и через мгновение Слободкин почувствовал, как задрожала «уточка».

С двух сторон от набиравших скорость колес у самолета начали расти стальные крылья брызг — такие же длинные, как плоскости. Слободкин видел это очень хорошо, так как сидел на пакетах, которые затолкал еще и под себя, и теперь, высвободившись из-под надзора Сергея Сергеевича, перестав неестественно сутулиться, высовывался из кабины чуть не до пояса. Заметив это, летчик погрозил ему кулаком.

Давно уже на сердце у Слободкина не было так хорошо, как в эти минуты. Снова на фронт! Пусть пока не бойцом, всего лишь сопровождающим подарки. Сегодня туда, завтра уже обратно, но ему непременно нужно побывать там. Слободкин думал об этом в последние дни и часы настойчиво, неотвязно, но не давая себе ясного отчета, почему и зачем нужна ему встреча с фронтом, с ребятами, идущими в бой. Просто ему это было необходимо. «А парторгу разве это не нужно? Дай волю — он бы и на дюралевой ноге туда же. Тоже обидно человеку — судьба ему вон какой билет вытасила».

«У-2» шел на небольшой высоте. Слободкин опытным взглядом определил расстояние до земли с точностью, которой могли позавидовать иные приборы. Он подымал над защитным козырьком два пальца — летчик в зеркальце кивал головой, подтверждая, что под крылом действительно двести метров. Потом один из двух пальцев ребром ладони пилился пополам, еще пополам — голова в кожаном шлеме покачивалась в такт каждому жесту Слободкина.

Некоторое время шло безмолвное соревнование. Летчик показывал свое умение притереть машину почти вплотную к земле, повторяя все ее неровности, все впадины и возвышенности. Слободкин безошибочно «считал метры». Искусству этому он научился еще

в бригаде, во время учебных прыжков с малых высот, когда каждый метр в самом деле на строгом учете и от каждого зависит жизнь. Та предельно малая высота, на которой они старались идти сегодня, тоже имела свой резон. Все чаще и чаще поглядывали за воздухом, а небо, как назло, было чистым, совершенно синим, — появившись в нем «мессеры», не найдешь ни одного облачка, которым можно прикрыться. Но вот уже второй час бежит по земле кособокая тень самолета, похожая на раскрытые ножницы. Бежит, стрижет километры, пестрые от скорости, которую все-таки можно выжать из старой «уточки», когда очень торопишься. На исходе второго часа летчик начинает показывать Слободкину большой палец. Высоко поднятый над головой, он выглядит особенно большим от натянутой на руку кожаной перчатки.

Приземлились в открытом поле.

С трудом выкарабкавшись из совсем заклинивших его пакетов и выпрыгнув из кабины в грязь, Слободкин спросил летчика, как удалось ему посадить машину на такой «аэродром».

— А черт его знает! — откровенно признался тот. — Ну да ладно, не время об этом. Вон подшефные катят.

Вдалеке показался трактор с прицепом. Он быстро шел напрямик, звонко постукивая мотором. К этому мирному звуку через минуту примешался другой, еле уловимый, но заметно усиливавшийся, наплывавший ритмичными волнами.

— Воздух! — сказал летчик и приложил руку к бровям. — Вовремя мы с тобой плюхнулись. Ты смотри, сколько их, сволочей, а!..

В сверкавшем от солнца краю неба стали отчетливо вырисовываться хищные силуэты стервятников. Они шли ровными рядами, и их становилось все больше по мере того, как глаза привыкали к слепящим лучам. Послышался гром зениток.

— Все наглей и наглей себя держат! — сказал летчик. — Как на параде летят, гады!

— Пугают, — ответил Слободкин.

— Пугать-то некого. Все пуганы-перепуганы, все привыкли давно.

— А наши где?

— Появятся сейчас, отведут тебе душу. Аэродромы у нас пораздолбаны, черт те откуда чапать приходится.

Вот и запаздывают всякий раз. Это мы с тобой где хочешь сядем, откуда хочешь взлетим. «Ястребка» с грязюки не подымешь.

— Ясно. У немцев самолеты, аэродромы, а нам и взлететь-то неоткуда.

— Злой ты, как пес. Жрать, что ли, опять захотел?

— Покурить хотя бы.

— Тебе же Строганов пачку «Беломора» дал.

— Уронил, когда высоту угадывал...

— Та-ак... Теперь понятно, почему злишься. Но метры мерил отлично, ничего не скажешь.

— А у тебя не из чего свернуть?

— Я на твой «Беломор» рассчитывал, остатки своего самосада Сергею Сергеевичу высыпал.

Они стояли возле самолета, загруженного подарками, от которых во все стороны распространялся по ветру сладкий табачный запах, и думали, где бы раздобыть щепотку махорки.

На горизонте взметнулись столбы огня и дыма — вражеские бомбардировщики достигли цели. Тем временем к самолету подошел трактор с прицепом и звуком своего мотора на несколько секунд заглушил начавшуюся бомбежку.

Слободкину пришла в голову мысль, от которой защемило сердце. Вот стоит он на весенней, готовой к пахоте земле. И трактор уже грохочет, вздрагивает от нетерпения, и синий дымок растворяется в синем высоком небе, и уходят куда-то вдаль бесконечные лесенки следов, оставленных гусеницами. Кажется, закрой сейчас глаза на мгновение, потом открой — и нет никакой войны. Была, да кончилась. Вся вышла. Сколько раз мечтала об этом душа! Праздник на нашей земле! Много отдал бы Сергей за то, чтобы так поскорей и случилось.

Слободкин и в самом деле зажмурился и снова открыл глаза. Трактор с маркой Сталинградского стоял с ним вплотную, дышал радиаторным теплом, а вдалеке один за другим ухали тяжелые взрывы. Теперь, когда мотор «Сталинградца» замолк, они были слышны особенно отчетливо.

С трактора устало сошел человек в телогрейке и треухе, шагнул к летчику.

— Прилетели или приехали?

— Обратно еще ниже пойдем. «Беломор» искать будем.

— Какой еще Беломор?..

— Обыкновенный. Вот тезка мой по ветру пустил. Целую пачку, непочатую.

— Летный паек?

— Сняли с летного. «Раз ты, говорят, от земли не отрываешься, какой тебе, к лешему, летный?» Наземная служба. Справедливо?

— Мы вас едва углядели. С кочки на кочку, из оврага в овраг...

— Вот разгрузим подарки, повернем завтра к дому, повыше заберемся хоть на пару минут.

— Это зачем еще?

— Все самим увидеть охота. А то на заводе спросят, что и как, — ничего толком не скажешь.

— Особо похвастаться тут пока нечем. Зарылись, как суслики, и сидим. Вот уже третий месяц ни с места. А у вас как? Поменьше стал шуметь?

— В последнее время меньше. Теперь на вас все силы бросает.

— Ну вот, вы полностью в курсе.

Втроем они начали носить пакеты с подарками из самолета в прицеп. Слободкин радовался. Он представлял себе — еще больше обрадуются бойцы, получив подарки. Построит старшина вечером свою роту на поверку и начнет выкликать всех по порядку. «Получайте, хлопцы, подарки к празднику от рабочего класса!» Развернут бойцы пакеты, а в них... шерстяные носки да варежки. Далеко, мол, путь до Берлина, круто. Шагать да шагать, ползти да ползти. А чтоб не так тяжело ползлось и шагалось, закури, боец, самосаду, запали зажигалочкой, почади. Веселей тебе? Веселей! Ну вот и отлично!..

Сидя в кузове тракторного прицепа, шефы добрались до расположенной в овраге небольшой танковой части, недавно прибывшей на фронт, а вечером Слободкин действительно стоял перед шеренгой бойцов, построенных для вручения подарков.

Неожиданно для самого себя Сергей все-таки сказал при этом речь. Она была совсем короткой, но ничего в ней забыто не было. И привет от бывших фронтовиков (для верности Слободкин прямо с него и начал), и о рабочем классе, и о том, что подарки с намеком — носки и варежки шерстяные, стало быть, воевать придется еще не месяц, не два. В этом патетическом месте речи кто-то громко чихнул, командир вставил слово:

— Правильно говорит товарищ шеф, мы намек понимаем! У кого есть какие вопросы?

В темноте слышалось какое-то движение.

— Прошу! — сказал командир.

— А махорку сейчас можно курить или к зиме приберечь?

Бойцы рассмеялись, командир ответил:

— Махорку можно! Согласен, товарищ шеф?

— Согласен! — осмелев, сказал Сергей.

— Вольно! Закуривай!..

Давно так сладко не курил Слободкин. Он стоял, прислонившись к танковой броне, и какое-то могучее тепло разливалось по его телу. Может, это через чугунные плиты огонь мотора пробился? Провел рукой по шершавой поверхности — холодная. От солдатских сигарок? От них скорей всего. Вон их сколько! Из рукавов тянет братва, чтоб соблюсти маскировку, но от этого лица все равно высвечиваются.

— Товарищ командир, еще вопрос.

— Прошу.

— Махорочка больно хороша. Какой сорт?

— Моршанская, — громко сказал Слободкин.

— Тоже, выходит, с намеком, — засмеялся командир. — Всем, кто на марше, дается, кто в бой. Первый сорт махорочка!

— На заводе скажу, что пришлась по вкусу, — ответил Слободкин.

— И по вкусу, и по адресу, — уточнил командир. — Точно по адресу. Еще день — не застало бы нас твое курево. Завтра по коням. А без курева жизнь какая? Сам знаешь. Где воевал?

— В лесах и болотах. В парашютных войсках, одним словом. Потом госпиталь, потом завод...

— Понятно.

Слободкин стоял в кольце папиросных огоньков, которое становилось все плотнее. Ребята были молодые, по всему видно — еще не обстрелянные.

— Ну как там у вас, в тылу? — раздался чей-то тонкий голосок из темноты.

Может быть, в этом вопросе и не было ничего особо обидного. Спросил человек и спросил. Без всякой задней мысли. Но Слободкина передернуло. «Не нюхал ни черта, немца в глаза не видел, в начальном классе, можно сказать, не побыл, а уже «как там у вас, в тылу?»». Так и быть, промолчу для первого раза. Но любопытно

бы все-таки взглянуть, у кого это язык повернулся? Да разве разглядишь в такой темнотище. Про Васю Попкова ему и всем им рассказать? Про Ткачева? Каганова? Про Скурихина-старика, который и на больничной койке все свою вагонку вспоминал? Про кореша закадычного Зимовца, у которого ни сна, ни отдыха, ни выходных и только одна смена за другую «заходит»? Нет, не стоит, а то, чего доброго, действительно целая речь выйдет. Правильно, наверное, делают, что не берут меня в десант. Порастратил нервочки, порастрепал, завожусь с пол-оборота! Надо взять себя в руки. Скажу-ка я лучше спокойно, по-хорошему».

— Как у нас, говорите? Ничего, работаем.

«Ну вот, совсем другой разговор! Молодец, Слобода, в пузырек не полез. Достоинно сказал. Что бы такое добавить? Ничего больше не надо, а то еще одна речь получится».

— Вопрос освещен? — Это уже командир спросил, ни к кому конкретно не обращаясь, но явно имея в виду того, с тонким голоском.

— За подарки спасибо! — в тонком голоске неожиданно шевельнулась едва уловимая басовитая нотка, но это был именно он, у Слободкина слух безошибочный, точный.

«Понял, что ерунду сморозил насчет тыла, теперь грех замаливает. Впрочем, какую же ерунду? Как ни вертись, ни крутись, я завтра на все сто восемьдесят, а они-то действительно в самый огонь. И кому-то из них уже никогда не обновить шерстяных носков, не прочесть материнских писем, не сыскать свою Ину... А ведь какие ребята! Вот стоят возле, обжигают пальцы сигарками, а сами уже все, все до единого там, в бою, и оттуда, из самого пекла, один из них спрашивает: «Ну как там у вас, в тылу?»

Эта ночь была одной из самых беспокойных ночей Слободкина. Нет, немцы не налетели на расположение части. Только где-то вблизи или вдалеке — не поймешь — время от времени перекатывались тяжелые бревна взрывов. Танкисты отвели для почетных гостей какую-то чудом уцелевшую сараюшку, чуть ли не доверху набитую душистой соломой. Зарывайся поглубже и дрыхни, сколько душа попросит. И напарник оказался тишайшим: локтями бока не таранит, как Зимов-

вещ, а главное — не храпит. Час не храпит, два не храпит, скоро подъем уже, а он и в ус не дует. Впрочем, нет, дует все-таки. Слободкин высекает колесиком искру из зажигалки и видит — летчик лежит в соломе лицом вверх. Тонкая травинка ритмично пульсирует возле его полуоткрытого рта, то припадая к самым губам и приводя их в сладкое беспокойство, то танцуя над ними, вспоминая, видно, свое последнее лето...

— Сергей, а Сергей!.. — позвал Слободкин.

— Чего тебе?

— Чего ты сейчас больше всего хотел бы? А?

— Чтоб оставил меня в покое. А ты?

— Чтоб поговорил со мной.

— Я? О чем еще?

— О соломинке.

— Иди ты к лешему! Спи...

— Нет, правда. Ее скосили, когда войны еще не было. Понимаешь?

Летчик сердито переворачивается на бок, но спать уже больше не может.

— По дому, что ль, заскучал?

— И по дому тоже. Понюхай, как пахнет солома. С ума можно сойти от одного запаха! Понюхал?

— Понюхал.

— Ну, чем?

— Навозом.

— С тобой как с человеком, а ты...

— Ну ладно, ладно, не злись. А ты как считаешь, чем?

— Утром. Ранним летним утром. Люди все еще спят, а ты идешь. По траве, по росе. В груди у тебя тепло прошлой ночи, на губах холодок. А идти тебе долго-долго — всю жизнь! С этим теплом в груди, с этим холодком на губах...

Слободкин, увлеченный своей мечтой, умолк.

— А ты, я гляжу, по ком-то тоскуешь? Письма получаешь?

— От матери только.

— А деваха потерялась? Да? Искать пробовал?

— Всех на ноги поднял. На войну ушла добровольцем.

— Ну и что ты решил?

— Я давно уже на фронт прошусь. Не пускают. Сто рогаток поставили: и здоровье не то, и «погоди,

успеешь»... Бред какой-то! Во мне силы знаешь уже сколько? А теперь особенно.

— Когда — теперь?

— Когда узнал, что она на фронте.

— Как зовут-то ее?

— Это значения не имеет. В принципе можешь меня понять?

— В принципе ты влюблен. Но с завода тебе так просто не уйти, имей в виду. Кто-кто, а уж я-то точно знаю, пытался. Думал, комсомол заступится. Где там! Стена...

— А парторг?

— Пробовал. «Душу твою, говорит, понять могу, сам солдат, но не время, не время, не время...» — «Когда же, спрашиваю, время будет? Когда войне конец?»

Слободкин помолчал, потом тихо, еле слышно вздохнул.

— Ты чего? — удивился летчик.

— Так, ничего. Поговорили мы с тобой...

— О соломинке-то?

— Ага. О соломинке всего-навсего...

— Точно. А спать мы все-таки будем или не будем? Рассвет скоро. Смотри — травинку от травинки отличить уже можно.

Летчик поднял над собой шуршащий пучок соломы, поднес к лицу, понюхал.

— Ты прав, Слободкин, утром пахнет, а еще точнее — знаешь чем?

— Ну?

— Подъемом. Минут через шестьдесят танкисты подымутся. Нам, как шефам, с четверть часика добавит командир, не больше. Давай ночевать!

Вспоминая потом эту ночь, Слободкин не мог понять, заснул он все-таки под утро или не заснул. Видел сон или полудрема кружила над его головой? Как сказал бы старшина Брага, спал «короткими перебежками». Всякий солдат знает, что это такое. Перед тобой поле, расчерченное на квадраты. Их бесчисленное множество. Но, подымаясь в одном из них для броска, ты успеваешь увидеть все — и трассирующую, летящую навстречу тебе пулю, и ребят, поднявшихся вместе с тобой, и тот квадрат, в котором ты через несколько прыжков должен распластаться, чтобы опять и опять рваться вперед. Но сначала, перед каждым новым рывком,

тебе отпущено несколько мгновений, которым нет названия, но без которых ты больше не солдат. Никто никогда не считал, сколько точно секунд это длится, ни одним уставом не отмерено, но солдат на то и солдат, чтобы успеть набраться новых сил в любой обстановке, в любых условиях, на любом самом кратком привале. И даже сон посмотреть. Хотя бы одним глазом. А у солдата какой сон? Известное дело, про дом, про своих.

Какой видел Слободкин? И видел ли вообще?.. Шагая вдоль давно проснувшихся танков и копошившихся вокруг них людей, он пробовал восстановить в памяти подробности предутренних «шестидесяти минут».

Снова пригрезилась сегодня мама. Читал письмо, написанное ее рукой. Все опять хорошо у нее, все в полном порядке, только, как бы она ни старалась, из каждой строки сочилась тоска, и холодная капля, как слеза по щеке, ползла и ползла по стенке холодного чайника...

Явилась к нему из своей неизвестности Ина. В солдатском ватнике, в сапогах, в ушанке. Шла по весенней земле, тоже вдоль выстроившихся танков, только еще более мощных, каких Слободкин не видел ни во сне, ни наяву, а на руках у нее варежки. Такие же самые, что привез он подшефным с завода. Шерстяные, крупной вязки, — значит, воевать ей еще долго, вместе со всеми. Приблизилась к нему, сняла варежку, протянула руку, обожгла до боли знакомым и уже незнакомым теплом — будто поздоровалась и простилась одновременно. И исчезла. Скрылась в сутолоке машин и людей, в тяжелом громе гусениц и моторов. Попробовал побежать, настигнуть — напрасно. Только комочек тепла на ладони остался от этого прикосновения. А навстречу ребята из десанта. В таких же ушанках и ватниках. В таких же варежках. «Привет, Слобода! Воротился? Наконец-то! Ну, давай топай за нами...»

...Слободкин шагал от танка к танку, от одной группы танкистов к другой. С одними покурит, с другими словцом перебросится, на третьих просто посмотрит — какие они все ладные, крепкие, какие статные в своих доспехах! Так бы и не расставался с ними, но откуда ни возмись появился летчик, красноречиво шаркнул перед Слободкиным жестким рукавом комбинезона над

часами. Слободкин давно уже заметил, что летчики самый беспокойный народ. Позже всех ложатся, раньше всех встают и вечно, вечно торопятся. В бригаде, бывало, во время прыжков вместе с рассветом на аэродром прикатишь — летчики уже на местах все до единого. И еще подшучивают над парашютистами: «Опять до трех часов утра храпака задавали, а ходят как сонные мухи!» Вот и этот:

— Отоспался? Выходи строиться!

— Неужто пора? — Слободкин глянул на свои часы. — Четверть шестого только!

— Вот именно — шестого! Продрыхли всё на свете! Скажи еще спасибо, что день нынче ненастный.

Слободкин не понял, кого и за что надо благодарить в связи с тем, что погода испортилась. Послушно поплелся за летчиком, внимательно посматривавшим на низкое серое небо.

С одного из танков к ним спрыгнул вчерашний командир.

— До дому?

— До хаты, — ответил летчик.

— На кого ж вы нас покидаете?

— Вас тут вон сколько, гвардейцев. Один к одному орлы! — засмеялся летчик.

— А ты что молчишь? — обратился к Слободкину командир. — Не жалко покидать такое войско? Говори, только честно: не жалко?

Слободкин поглядел на командира, потом на летчика.

— Вы у меня кадры не сманивайте, — запротестовал летчик, — мне за него там секир башка сделают. Я старший.

— Старший тут я. — Командир потрогал свои нашивки. — Но дело не в званиях. Будь я и рядовым из рядовых, все равно и под присягой сказал бы одно: неохота Сергею лететь обратно. По глазам вижу — неохота!

— Вы психолог, товарищ командир, — поддакнул летчик.

— Он и сам за себя ответит, не мешайте.

— Конечно, всяк за себя, — согласился летчик.

— Мы с ним тезки, — объяснил Слободкин.

— А, вот оно что! Ну, тогда оставайтесь оба, у нас тут житуха вон какая — шефы ездят, подарки возят...

— Кто ж возить будет, если все шефы на фронт уйдут? — спросил летчик.

— Ну, смотрите, мое дело — пригласить, я хозяин.

— А наше — вовремя по домам, мы гости.

Они поговорили так еще несколько минут. Им в самом деле не хотелось расставаться.

— А то давай, — еще раз обратился к Слободкину командир. — Для начала пристроим тебя в мастерскую, главным по заклепкам.

— Заклепками он вот как сыт, — ответил за Слободкина летчик. — Ему надо летать.

— Ну что ж, по коням так по коням. Жаль, лично проводить мне вас некогда. Не взыщите.

— Сами дорогу найдем.

Слободкин и летчик пожали руку командиру, еще двум-трем танкистам, оказавшимся поблизости, и не оборачиваясь зашагали через поле по вчерашнему тракторному следу, ведущему к самолету.

Они шли, спотыкаясь о выдавленные гусеницами квадраты земли, и Слободкин поймал себя на мысли о том, до чего схожи между собой следы трактора и следы танка. Неотличимы просто! Раньше он еще видел какую-то разницу, а сегодня засомневался. Нагнулся на ходу, поднял кусок спрессованной траками земли, внимательно осмотрел его со всех сторон, недоуменно пожал плечами.

— Ты чего? — удивился летчик.

— Мы не сбились с азимута?

— Парашютист, я тебя не узнаю! Уж кто-кто, а ваш брат должен на местности ориентироваться без осечки.

— В местности-то я разбираюсь, в следах запутался. Трактор от танка отличать разучился.

— Ах, вот оно что! Не удивительно: и тракторы, и танки стоят на одной основе. Разницы никакой. На нашем заводе один парень целый стих написал об этом. Даже ржавчина на снегу от танка и от трактора одинаковая, дескать, остается.

— Так ведь и в самом деле одинаковая, — сказал Слободкин.

Летчик опять посмотрел на часы и, покачав головой, прибавил шаг. Слободкин, не отставая от него, продолжал всматриваться в отпечатки тракторных гусениц на земле.

Возле самолета шефов ждали несколько человек в форме танкистов. Они, оказывается, провели тут остаток вчерашнего дня и целую ночь — охраняли и маскировали «уточку», срывали бугры на «взлетной полосе», а утром прогрели мотор и долили бак.

Лица у танкистов были уставшие, серые. Один из них, маленький, верткий, подошел к летчику, сказал что-то относительно зажигания. Слободкин не понял, вернее, не расслышал, что именно, но голос показался ему удивительно знакомым. Уж не тот ли, что вчера высказался насчет тыла? Кажется, он. По голосу явно он, но не спрашивать же его, в самом деле. Крутится возле летчика, что-то советует — не поймешь, не то извиняется за давешнее, не то действительно помочь хочет. Ничего вроде парень. И технику, видно, знает, вон как дирижирует остроносом масленкой, вон как бегают вокруг «уточка» — летчик едва поспевает за ним.

Когда танкист взялся за винт, Слободкин подивился силе и ловкости тщедушного на вид человека. То ли оттого, что двигатель был прогрет заранее, то ли оттого, что рука у танкиста была легкая, «уточка» завелась мгновенно, намного быстрее, чем Слободкину хотелось бы. Думал поговорить еще несколько минут, но мотор заревел так пронзительно, что и собственного голоса не услышишь.

А тут еще летчик властно замахал рукой из кабины, давая понять, что медлить с отлетом больше нельзя.

Расправив лямки парашюта, Слободкин забрался на свое место.

— До скорой! — прокричал он танкистам, но слова его швырнуло назад, к хвостовому оперению.

Слободкин инстинктивно обернулся и увидел вдалеке танки, выбравшиеся из оврага и растянувшиеся в стени. Самолет уже бежал по земле, резко подпрыгивая на ее неровностях, и невозможно было разглядеть, движутся танки или стоят — глаз только выхватывал из серого пространства их приплюснутые коробочки с устремленными вперед стволами пушек. Но вот крылья самолета туго и мягко оперлись о воздух, и видно стало лучше, хотя небо еще больше посуровело. Танки стояли на месте, но построение было боевое, походное. И синий, едва различимый дымок вился над стальной колонной. «Значит, верно сказал командир, еще день — и не застало бы их наше курево».

Слободкин думал так, а сам приподымался в кабине, напряженно всматриваясь во все шире разбегавшиеся дали. Ветер поровил сорвать пилотку, захлестнуть глаза, посадить обратно, но Слободкин вытягивался все выше, почти во весь рост. Вот уже летчик заметил, удивленно смотрит в зеркальце.

Сергей решительно опускается на сиденье, последний раз пробует увидеть танковую колонну под крылом, но она уже исчезла — растворилась в серой дымке, самолет резко лег на курс. Мотор взревел с новой силой, как бы стремясь наверстать потерянные минуты.

ПОЛЫНЬ НА СНЕГУ



Глава 1

Еще один год. Еще одна весна... Какая она будет? Что принесет с собой? На фронте вроде лучше пошли дела, не то что в первое лето и первую осень. И на заводе тоже. Что бы ни случилось, каким бы трудным ни выдался день, крыльев никто не опускал. И не только потому, что «юнкерсы» больше сюда не долетали и сирены не были над крышами бараков заводского поселка. Настроение стало совсем иным. Зимовец как-то верное слово нашел: «Огонек засветился!» Правда, поддакнув тогда другу, Слободкин тут же задумался. Велик ли огонек и всем ли ярко светить будет? Ина ведь так и не нашлась до сих пор. А без нее какой «огонек»? Он так и хотел сказать Зимовцу, да вовремя осекся: у того вообще вся семья потерялась.

С такими мыслями Сергей шагал к станции, и было ему сейчас даже немного стыдно за свою слабость, тем более что надежда когда-нибудь все-таки напасть на след Ины не оставляла его. Вот и сегодня неизвестно еще зачем в обком вызвали. Может, весточка об Ине пришла? Может, сдержал секретарь Радволин обещание, связался с кем надо — у него ведь такие возможности! Слободкин даже ускорил шаг, но вспомнив, что до поезда в город еще целых полчаса, пошел медленней, потом вдруг и вовсе остановился: внимание его привлек куст полыни, поднявшийся над снегом в двух шагах от тропинки. Где-то он уже видел точно такой — одинокий, стройный. Где и

когда? В далеком детстве, у бабки в деревне? В солдатском своем, но тоже теперь далеком белорусском краю?

«Вспомнил! Совсем же недавно это было — прошлой весной! В такой же солнечный день, как нынешний».

Сергей свернул с тропки, нагнулся, осторожно провел рукой по веткам растеньица. Они оказались упругими, крепкими, и это опять удивило. Всю зиму лапки полыни были плотно впрессованы в сугроб. Уже вроде бы все до капельки в них должно было вымерзнуть, до последней кровинки. Весеннее солнце пронзило почти прозрачные, мертвенно-бледные лепестки. Но жизнь в них, оказывается, все еще теплилась! К ночи их снова и снова прихватывал морозец — да еще какой! — они и это выдюжили. Уже давно осели, истончились вокруг снега, которые как-нибудь берегли от лютого ветра. Теперь и этой защиты не было. Лицом к лицу со стужей, достигающей в иную ночь двадцати, а то и тридцати градусов. Вчера, например, такая была. Сергей из цеха в цех перебежал без шинели — как в прорубь ухнул. А полынь хоть бы что! Шелестит себе бесцветным пергаментом лапок. Сыплетя с них в потемневший сугроб какая-то сивая пыльца, и острый запах все настойчивей щекочет ноздри Слободкина. А снизу, из земли, еще не оттаявшей, по невидимым капиллярным сосудам уже подымается новая сила.

Слободкин стоял у полынного куста до тех пор, пока гудок поезда, приближавшегося к станции, не вывел его из задумчивости. Он встрепенулся, зашагал торопливо, с каждым шагом все отчетливей чувствуя, будто с ног до головы его обдувает горьковатый сквозняк весны. Это ощущение не покидало его всю дорогу до города, до обкома, ему даже показалось, что на ворсинках шинели он принес волнующий запах в кабинет Радволина.

— Ты что? — спросил секретарь Слободкина, когда тот переступил порог. — Торопился?

— Очень, — сознался Сергей и с надеждой посмотрел на Радволина.

— А я и обрадовать и огорчить тебя вызвал. Начнем, пожалуй, с огорчений. — Он положил руку на чуть дрогнувшее плечо Слободкина. — Не нашлась пока твоя Ина.

От этого «пока» сердце Слободкина забилося еще сильнее. Он помолчал, потом перевел взгляд на уже хорошо знакомую ему карту, изрешеченную булавками-флажками, вздохнул и спросил:

— Каждый день переставляешь?

— Почти каждый. Душа радуется, Слободкин! Смотри, куда наши махнули! Вот тут, например. И тут тоже...

— Ты так и не подался туда? — сказал Сергей после паузы.

— Ни черта у меня, Слободкин, не вышло. Перегрызся только со всем начальством. А у тебя-то как?

— Ты все сам знаешь, секретарь. Больше года тут загораю. Совсем работягой заделался, даже корни пустил...

— Корни? — удивился Радволин.

— Не подумай чего-нибудь такого. Мои «корни» на фронте и писем не шлют, ты же в курсе. Так зачем же ты меня вызвал?

— Переходим ко второму вопросу. — В голосе Радволина послышалась удивившая Слободкина торжественная нотка. — Так вот, товарищ парашютист, из ЦК комсомола важная бумага пришла. Срочно двух надежных ребят — в их распоряжение.

— Что значит надежных?

— Ну как тебе объяснить? Проверенных, испытанных. Побывавших на фронте, желательно.

— Так и сказано?

— Вот, посмотри. — Радволин вынул из ящика стола аккуратно сложенный лист, протянул Слободкину.

Сергей с первых же прочитанных слов понял, что Радволин не шутит, а дочитав до конца, убежденно сказал:

— Надо послать нас с Прокофием Зимовцом. Он тоже фронтовик, комсомолец и заявлениями всех забомбил.

— Точно, забомбил. Куда только не писал!

— Ну вот видишь!

— Вижу. Но у меня таких, с заявлениями, знаешь сколько? Словом, Зимовца своего не сватай. О тебе речь. Согласие даешь?

— Что за разговор!

— Лады! Одна гора с плеч. Я тут, Слободкин, совсем зашиваюсь. То не так, это не этак. Просто все из рук валится.

Слободкин скользнул взглядом по узким плечам секретаря, по всей его тщедушной фигуре. Сколько они не виделись? Месяц? Или больше? Около двух, кажется. Как же здорово сдал Радволин! Выглядит хуже, чем после перенесенной болезни.

— Не бережешь ты себя, секретарь...

— Ты на себя посмотри.

— Я человек маленький. Что есть, что нету — никто не хватится. А тебе вон какое дело доверили! Область!..

— Пожалел? Тебя в начальники мне — сразу бы все вопросы решились.

— Я сам когда-то в ФЗУ секретарем был. У тебя небось тысяч тридцать на учете? Или все пятьдесят?

— До войны около этого было, а сейчас... — Радволин присвистнул.

— Военная тайна?

— Какая от тебя тайна!

— Тогда сколько же?

— Не скажу.

— Не знаешь, по глазам вижу, не знаешь. Угадал?

Радволин вместо ответа вздохнул. Сергей сочувственно покачал головой.

— Да-а... Нелегкая у тебя деланка! И хоть должность большая, а стружку все равно снимают небось?

— Это уж как водится. Что бы в области ни случилось, во всем комсомол виноват. То инициативу не проявили. То проявили, да не ту, то ту самую, какая нужна, да не ко времени. То мало женской молодежи вовлекаем. То у нас одни девчата на любой работе...

— Характер... — перебил Радволина Слободкин. — Характер у тебя стал портиться, поистрепал нервочки, хуже чем в самом пекле. Сколько лет секретарствуешь?

— Пятый год уже.

— На комсомольской работе лучше недосидеть, чем пересидеть.

— Да ты, я смотрю, профессор в этом деле. Точно все понимаешь.

— Говорю тебе, сам в твоей шкуре был. Анкету мою читал небось?

— Читал. Не помню только насчет стажа.

— Около года.

Радволин усмехнулся:

— Считай, тебе повезло.

— Что быстро ушел?

— Во-первых, что был секретарем, а во-вторых, что ушел вовремя. Комсомольская работа, ты прав, прекрасная вещь, если глотать ее не лошадиными дозами. Ну, мы что-то отвлеклись с тобой, Слободкин, от главного. Давай лучше... помечтаем.

Сергей удивленно поглядел на Радволина.

— Думаешь, спятил человек на секретарском посту, да? Завидую тебе, товарищ Слободкин С. А.! Завидую и ясно представляю себе всю твою дальнейшую судьбу. Хочешь, погадаю?

Слободкин доверчиво и почти серьезно протянул Радволину левую руку ладонью вверх.

— Предстоит тебе дальняя дорога, парашютист. Дальняя! Затребовали ведь не кого попало, а тех, кто опалил перышки. Смекаешь? Посмотрят твои документы в Москве, поговорят с тобой, пошлют к докторам...

— Опять к докторам? Сколько можно?

— Вот видишь, волнуешься, перебиваешь секретаря обкома. Нервочки, значит, тоже того. Пошлют, пошлют к докторам как пить дать! Ну, там уж от тебя все будет зависеть, от твоего духа.

— Духом мы никогда не падали, даже в госпитале.

— Кто это «мы»?

— Я и Зимовец.

— Я уже сказал тебе — второй человек у нас есть. И дослушай до конца, будь добр. Так вот, посчитают доктора твои ребрышки и запишут: «Практически здоров».

— Я давно здоров. И практически, и теоретически.

— Знаю. Открою тебе один военный секрет. Мы тут докторов просили, чтоб они иной раз специально браковали вашего брата по здоровью. А то все на фронт, на фронт — у станков стоять некому.

— Об этом, представь, догадывался и злой был на вашу медицину.

— Злой даже?

— Как черт! Потому что хитрость копеечная. Думаешь, без нее нельзя? А сознание?

— Это ты сейчас так заговорил — сознание! Первое время совсем другая песня была.

— Тоже верно, — согласился Слободкин. — Я их растерзать тогда был готов, докторов ваших. И вас вместе с ними.

— Вот это откровенно.

— Как полагается между порядочными людьми.

— Спасибо за комплимент. А мы снова куда-то уехали.

— Это все потому, что я счастливый сегодня. Ты даже не представляешь, какой я счастливый, Радволин! У меня ведь мама в Москве! Ждет не дождется...

— Точно! — воскликнул Радволин. — Как же я раньше не сообразил? Открою тебе еще один секрет, правда, не военный: на волоске вчера висела твоя кандидатура. Решили в твою пользу на бюро большинством всего в один голос.

— Спасибо! Чем отблагодарить тебя?

— Членскими взносами. Плати аккуратней.

— А может, не уходить тебе еще с комсомольской работы? — в тон Радволину сказал Сергей. — Чувство юмора пока налицо — первый признак молодости!

— Все равно не отпустят, вот и молодимся, как кто умеет. А вообще-то я старик уже.

— Двадцать шесть исполнилось уставных?

— Прошлой зимой.

— Да-а... Возраст солидный, что и говорить. А с виду ты совсем хлопец. Моложе Зимовца моего.

— Ему двадцать, — сказал Радволин.

— Откуда такие точные данные?

— Последний секрет выдаю: Прокофий Зимовец твой тоже был среди кандидатов. Я сам называл его на бюро. Парень он подходящий. Плохо, что вы с одного завода. Целая буча поднялась из-за этого. Только ему ни слова.

— Что ты! Не маленький. А он, бедолага, столько заявлений настрочил — во все концы! И в кадры, и в военкомат. И в обком небось?

— Нет, нам не писал, но в военкомате всех обошел, мне сообщили. Так что не бреди его душу. Одного, мол, человека от области запросили — и точка.

Слободкин задумался.

— Нет, так тоже не годится. Если одного человека, то почему именно меня? Как бы еще большей обиды не было.

Радволин устало махнул рукой.

— Ну, придумай сам что-нибудь правдоподобное. Мне надоело тут перед вами изворачиваться. И собирай пожитки. Со Строгановым и вообще с заводом вопрос улажен.

Поздно в тот день вернулся из города Слободкин. Да он и не торопился. Ему хотелось спокойно, наедине с самим собой, все обдумать. Он подошел к новому рубежу в своей жизни. С заводом, судя по всему, было кончено. Хорошо это или плохо? На этот заданный самому себе вопрос, как ни странно, оказалось очень трудно ответить. Вот вроде рвался, рвался с завода, а сейчас вдруг понял, почувствовал всем существом: завод — частичка души. Зимовец, Каганов, Баденков — это же теперь его семья. Сколько пережито вместе, сколько выстрадано! Под одним ревевшим днем и ночью небом работали. А Зимовец так ближе брата родного. Одной шинелью укрывались в нетопленном бараке. На одну хлебную карточку жили почти целый месяц — было и такое! «Верно сказал старик Скурихин — после фронта завод стал моей первой ротой!» Сергей тогда не задумался над этими словами, посмеялся в душе над старым, а по сути прав человек! Но ведь и мечта, давняя, заветная мечта снова попасть в десант, в действующую, не оставляла Слободкина ни на миг уже столько времени. «Под этим и сейчас подписываюсь!»

Это было, наверное, совсем по-мальчишески, но Сергей остановился на тропке, ведущей от станции к заводу, поднял из-под ног какую-то щепочку и старательно вывел ею на высвеченном луною голубом снегу свои инициалы. Постоял, поглядел по сторонам и, убедившись, что никто этого не видел, быстро зашагал к заводскому поселку, где его ждал Зимовец, которому он, как бы там ни было, первому должен сообщить привезенную из обкома новость.

Зимовец не спал, дожидаясь друга. Лежал и дымил в потолок. За этим занятием и застал его Слободкин. Не зная, как получше начать, спросил:

— Не спишь?

— Брось дипломатничать, Слобода, все понимаю. Подаешься от нас? Выкладывай.

— Откуда знаешь?

— Откуда, откуда! Одним словом, рассказывай честно.

У Слободкина отлегло от сердца. Значит, не надо в самом деле морочить Зимовцу голову. Все знает и даже, кажется, все действительно понял. Сергей в знак благодарности необыкновенно деликатно, с особыми

предосторожностями, въехал под шинель на своей половине койки.

Дав приятелю устроиться поудобнее, Зимовец спросил:

— Неохота тебе уезжать, да?

— Почему неохота?

— Ну, меня, например, жаль бросать? Или ты уже весь там?

— Весь,— признался Слободкин.— Заметно? А если совсем честно хочешь: я весь уже «там» и весь еще «тут». Понятно что-нибудь?

— Больше половины.

Зимовец вздохнул, не умея скрыть своей зависти.

— Ну, а еще какие новости в городе? Мы здесь, как кроты, закопались в землю, никого не видим, ничего не слышим.

— Я только у Радволина был, только с ним разговаривал.

— Ничего себе «только»! Это же первый секретарь обкома! Что на фронте?

— Карту опять показал мне. Справа налево зашагали флажки! Веселей, говорит, теперь их переставлять. А про Ину пока ничего,— Слободкин, как и Радволин, сделал ударение на слове «пока».— Терпи, сказал, и собирайся. В Москву.

— Ну, оттуда она скорее сыщется, твоя Ина,— сказал Зимовец.— Из нашей дыры днем с огнем не найдешь.

Слободкин задумался. «Дыра? Конечно, дыра, глушь самая настоящая. Но поменяй нас судьба с тобой местами, ты эту дыру, Зимовец, эту глушь тоже так просто не бросил бы, ручаюсь. И дело не в том только, что человек ко всему привыкает. Дело в другом. В чем? Громких слов не любил, а то сказал бы...»

— Ты чего молчишь? — Зимовец толкнул приятеля в бок.

— Я почти все тебе доложил.

— Почти или все?

— Смеяться не будешь?

— Не буду.

— Про полынь еще осталось.

— Про что, про что? Про полынь?..

— Про самую обыкновенную. То есть не совсем, конечно. Рассказать?

Внимательно, не перебивая, слушал дружка Зимовец. Это, впрочем, не помешало ему утром все обратить в шутку.

Первая блестка рассвета не успела просочиться сквозь замерзшее окно барака, а Зимовец уже был на ногах, брился и после каждого взмаха бритвы тихонечко приговаривал:

— Полын Полыныч, подъем! Фантазер ты и выдумщик, Полын Полыныч! Ты стихов в детстве не писал случайно?

— Отвяжись! — незло огрызался Слободкин, который не хотел напоследок ссориться с другом.

— Писал или нет? — наседал Зимовец. — Говори, не отстану.

— Надоест — отстанешь.

— Не надоест, ты же знаешь. И не будем перед разлукой ругаться. Все равно ведь знаю — писал. И может, даже печатал?

— Вот этого не было.

— Ясно. Я же чувствовал, что писал. Прочти.

— Вот пристал! Люди могут услышать. Что подумают?

— Подумают, что у Зимовца культурный друг — в рифму может. И потом, если тихо читать, никто не услышит. Ну!

— Да чего ты привязался? Я за всю свою жизнь, может, всего один стих и написал.

— О чем?

Слободкин на мгновение задумался.

— Ну... о фламинго.

— О фламинго?..

— Птица такая есть.

— Знаю без тебя, что птица. Но с какой стати именно о ней?

— Ты видел ее когда-нибудь?

— Только в книжках.

— Она всегда стоит на одной ноге.

— Почему?

— Вот и я подумал — почему? Из этого стих и получился.

— Да-а? Читай тем более.

— Ты не поверишь, но я, ей-богу, забыл. Помню только, что об этой-то ноге и написал. Одна, мол, здесь, а вторая где? Вторая, дескать, давным-давно уже в дальних странах.

— Интересно! Писал про птицу, а получилось про себя?

— Как это?

— Очень просто, Слобода: одна нога твоя тут, другая...

— Я же знал, что будешь язвить.

— Да нет же, нет! Под рифму совсем, наверно, неплохо.

— Если бы хорошо было написано, никогда не забыл бы, — признался Слободкин. — Так умные люди считают.

Оба рассмеялись, но по-прежнему тихо, чтобы не разбудить соседей, которым до подъема оставалось еще добрых полчаса.

— Обязательно напиши о полыни! Почему ты, чуждик, в многотиражку не пошел? Так звали тебя, так звали: чувствовали — талант в человеке погибает. Жаль.

— А я не жалею ни капли. У меня сейчас совесть чиста — из ржавого станка своего все выжал. Не сразу, конечно, но человеком себя почувствовал.

— Это всякий знает на заводе.

— Этого никто толком не знает. Ты, Зимовец, плакал когда-нибудь?

— Плакал? — удивился Зимовец.

— Да, по-настоящему? Нет? Тебе хорошо. Ты свое монтерское дело мигом вспомнил, с марша. Мне же станок все руки отбил, все мослы. Вот погляди! Видишь? Ни черта ты не видишь. Не знаешь и того, сколько раз моя половина подушки бывала мокрая от слез. От злости на самого себя.

— Что ж ты молчал?..

— Потому что гордость во мне есть. Я и сейчас-то не должен был тебе говорить. Но дело прошлое. И опять же расстаемся. Дружба с чего начинается, знаешь?

— С чего?

— С того, что один другому верит больше, чем самому себе. Я это давно понял.

— В роте, что ли?

— В первой роте. И еще когда с тобой, черствая ты душа, познакомился. У меня только два настоящих друга и было за всю жизнь. Кузя и ты.

— Слушай, Слобода, а может, еще оставят тебя? Заменят кем-нибудь?

Слободкин сердито повернулся с боку на бок.

— Ладно, ладно, не буду, не заменят. Я, в общем-то, рад за тебя.

— Это другое дело. А то «заменят», «оставят»! Так знай: не оставят, не заменят. И не надейся. Готовься к проводам, пеки пироги.

— И испеку. Но ты сказал бы все-таки толком, зачем тебя в Москву требуют? Как Радволин тебе объяснил?

— «Военная профессия у тебя, говорит, ну как бы лучше выразиться, дефицитная, что ли». Словом, он считает, что в ней все дело, в профессии.

— В парашютной? — не скрывая зависти, спросил Зимовец.

— Получается так, — ответил Сергей.

— Везет некоторым.

Ну, черт с тобой, собирайся. Провожать не приду, чтоб не лопнуть от зависти. Я и сейчас уже трещу по всем швам, слышишь?

Зимовец, дурачась, резко присел на корточки — все суставы его захрустели.

...Случилось так, что Зимовец и в самом деле чуть не опоздал к поезду, с которым уже на следующий день уезжал Сергей. Это был конец месяца, когда аврал налезал на аврал, штурм на штурм, смена натыкалась на смену, и Слободкин уже мысленно простил друга, которого не мог отыскать глазами на станции. До отхода поезда оставалось всего пять минут, всего три минуты, всего одна...

Чугунный лязг буферов уже прокатился по всему составу, когда Сергей разглядел наконец в полутьме знакомую фигуру в распахнутой шинели, мчавшуюся в сумерках от вагона к вагону.

— Сюда, чертушка, Зимовец! Сюда!.. — только и успел он крикнуть приятелю.

А у того не хватило времени вообще ни на одно слово. Поравнявшись с вагоном, на подножке которого висел, размахивая одной рукой, Слободкин, Зимовец, задыхаясь от быстрого бега, швырнул в Сергея каким-то свертком и тут же отстал, остановившись у края платформы.

Состав быстро набирал скорость и сразу за семафором начал круто поворачивать вправо. Еще несколько мгновений, и Слободкин уже не видел ни Зимовца, ни самой станции...

Минут через пять поезд проходил мимо заводского поселка.

Слободкин стоял у окна, прижавшись лбом к влажному, холодному стеклу, но как внимательно ни вглядывался в даль, ничего разглядеть не мог. Ни одного огонька, ни одной искорки не было видно в весенней степи.

Где-то здесь, совсем недалеко, не спал, жил напряженной жизнью завод. Его завод, его девятый цех, с которым столько связано. Бессонные ночи. Грохот взрывов. Пламя пожаров. Сырое тесто в столовке. Смертельная усталость после смены, после тревоги.

И вот это все куда-то уходит. Не просто проносится за покрывшимся изморозью стеклом — уходит совсем, чтобы больше уже не вернуться, уступить место новому. Каким оно будет, это новое? Что несет, что сулит? Попадет ли он когда-нибудь в свою роту, к однополчанам? И какая она теперь, его рота? Кто остался в строю? Много ли их, его друзей? Кого заменили новые? Чего хочет от него комсомольский ЦК? Куда пошлют, с каким заданием? Медицина к нему теперь не придерется. Он в самом деле чувствует себя хорошо, не так, как после госпиталя. Доктора, конечно, правы были тогда, сейчас уж можно себе в этом признаться. Правы. Но теперь!.. Он ощутил вдруг в себе такую накопившуюся энергию, такие силы! А когда подумал, что через два дня увидится с матерью и, может быть, нападет наконец на след Ины, и вовсе повеселел.

Слободкин лежал на третьей, предназначенной для вещей, узкой полке. Шинель от тряски все время сползала то с ног, то с плеч. Он на ощупь подхватывал ее в темноте, подстилал под себя — острые пуговицы, на которых держался хлястик, врезались в ребра. Свертывал из непокорного сукна подобие подушки — начинал свою неторопливую, но верную работу холод.

Хорошо бы, конечно, в дороге выспаться, думал Сергей. Явиться к матери отдохнувшим. Да и перед комсомолом надо быть молодцом.

Проворочавшись чуть не всю ночь, Сергей наконец понял, в чем дело: «Просто жрать я хочу смертельно, вот и все...» И только тут он вспомнил про сверток Зимовца. «Интересно, что это он приволок такое. Не пироги же, в самом деле? И откуда?» Слободкин сглот-

нул слюну. И все же взял себя в руки — не стал разворачивать свертка, задвинул его подальше, насколько позволяло узкое пространство полки, и уже в полудреме подумал: «Вот и есть гостинец для мамы...»

Глава 2

«Дорогой Проша!

Пишу тебе не сразу, как обещал. Была запарка. Но зато теперь — обо всем подробно.

Ты, конечно, хочешь знать, как доехал? Нормально доехал. За пироги с картошкой тебе и спасибо огромное, и вздрючка. Признайся, что снес на базар? Последнее вафельное полотенце? Или портянки солдатские, которыми так дорожил? Ах, Зимовец, Зимовец, горе ты мое! Совести у тебя нет, Зимовец. Но пироги — мечта! Мама даже есть жалела. Только на второй день чуть притронулась. И все приговаривала, что очень вкусные, но непонятно откуда. Что я ей только не молот! Живем, дескать, — во! Пайка — во! Ты ж понимаешь!

Итак, по порядку: о маме, о ЦК, о Москве.

1. Мама.

Старенькая она у меня совсем. Если бы ты знал, Проха, какая старенькая! Два совершенно разных человека — та, которая в армию провожала, и та, что нынче встретила. Совершенно белая, на себя не похожа. Одни руки остались прежними. Все чего-то шебуршат, шебуршат. Ты согласишься, не успел я переступить порог, она уже что-то чинила мне, штопала. Только очки никак отыскать не могла, а надела — опять ничего не видит: стекла запотели, и протереть их было уже невозможно, хотя вдвоем протирали.

Такие, Проха, дела. Но работает на старом месте. В первый год войны даже на крыше дежурила. «Я бы, говорит, и сейчас, да, слава богу, не подпускают его больше к Москве». Убивается из-за меня: «Как ты там? Что ты там?» Вру как сивый мерин, но никак в толк не возьму, верит она мне или не верит. Их разве поймешь, стариков? Два пишем — один в уме... Вчера гимнастерку на мне зашивать стала, рукой провела по тощим ребрам моим и вдруг говорит: «Вот и батя твой был такой же. Когда лихо ему, лише некуда, нипочем, бывало, не скажет. Все молчком, молчком. Уж потом, от людей, узнаю, что и как».

2. ЦК.

Ты не представляешь, как я скис сперва! Знаешь, что они задумали? Инструктором в аппарат! Вы, мол, товарищ Слободкин, с фронта, с завода, про вас в «Комсомолке» писали, у вас опыт, а у нас нет людей... Разговаривал со мной завкадрами Гаврусев. Сначала вежливо: «Как дела, как настроение, товарищ парашютист?» Дальше — больше. Потом пошла какая-то ерунда. Тут я психанул! Куда девалась моя проклятущая тихость! «Фронтовика просили? Обстрелянного? Зачем, говорю, вам фронтвик? На Маросейке загорать?» И пошел, и пошел, ты знаешь меня. Вернее, ты меня еще не знаешь совсем, Зимовец! Как все тихие — тих до поры. У кадровика глаза на лоб. «Товарищ Слободкин, вы меня не так поняли. Мы имеем в виду временно использовать вас в аппарате, а уж потом...» Короче, в ответ на мой рык он малость перестроился. К Стрепетову меня повел, к заву отделом рабочей молодежи. Мужик ничего вроде, обходительный. Он вот что сказал. Вызвали действительно для работы. Какой и где? И тут, в ЦК, дел не впрокорот, и в «других местах», так что военные знания вам, товарищ Слободкин, дескать, пригодятся, и даже специальные, полученные в нашем десанте. Мы, говорит, гордимся парашютными войсками. Комсомол отобрал туда сто тысяч ребят. Вот это масштабы! Оказывается, все обкомы принимали участие в комплектовании парашютных частей и соединений. Так что я, Зимовец, где-то рядом со своей мечтой. Так по логике выходит. Конец разговора совсем был «на уровне». «Вы где воевали, товарищ Слободкин? В Белоруссии? Прекрасно, товарищ Слободкин! Учтем». Правда, это еще не совсем был конец. Когда уже стали прощаться, вдруг спрашивает: «У вас, товарищ Слободкин, пропуск ночной есть? Нам тут задерживаться приходится. Оформите сейчас же», — это он уже не мне — Гаврусеву сказал. Ну а тот рад стараться. Так решилась моя судьба на ближайшие... дни? недели? месяцы? Сам не знаю.

3. Москва.

Что сказать тебе о столице? Не упомянул, бывал ли ты тут когда-нибудь? Если бывал, не узнаешь. Как бы тебе лучше объяснить? Люди стали другими. О маме ты уже знаешь. «Стою, говорит, на крыше, в глазах круги огненные от зениток. Щипцы из рук падают, я их покрепче прихватываю». Ты слышишь, Зимовец, —

«покрепче прихватываю»! И еще показывает, как именно. Так и представляю себе ее со щипцами на крыше нашего дома. А если тебе откровенно сказать, то я совершенно не представляю этого. Соседи меня увидели — все в один голос: «Она герой из героев в нашем районе».

Вот хотел тебе про Москву, а получается опять про маму. Не подумай, что хвастаю, — все люди тут теперь особенные. Впрочем, кто это все? Своих знакомых ребят искал — ни души! Ни из школы, ни фэзэушников. Разбросало по белу свету. Учителей и тех след простыл. Но в Москве все равно народу много.

Я тебе про девочку одну расскажу. Тоже к Москве отношение имеет. Лена Лаптева — запомни это имя. В ЦК работает, секретарем отдела пионеров. Перед войной училась в семилетке, сюда попала прямо со школьной скамьи. Да еще крохотуля ростом. Был с ней недавно такой случай. Секретарь ЦК принимал пионерскую делегацию. Вместе с делегатами в кабинет вошла Лена, села рядом со всеми — у нее было поручение записать беседу. Сидит, пишет, а секретарь от одного пионера к другому подходит, каждого расспрашивает о делах, планах и тэпэ. Поравнялся с Леной, погладил ее по голове и говорит: «А ты, девочка, почему без галстука?» Что тут было! Целый день весь ЦК успокоиться не мог. Лена метнулась из кабинета, вся в слезах понеслась по коридорам и лестницам, пока не свалилась на клеенчатый диван в комнате, где работала. Хотели врача вызывать. Кончилось тем, что секретарь пришел извиниться. Но это еще не сказка, а присказка. Интересно тебе или нет, Зимовец? Потерпи, дальше интереснее будет.

Лаптева, как и все работники ЦК, постоянно задерживается в отделе. Развозят их уже где-то совсем под утро на дежурной машине. А живет Лена в Сокольниках, на самом краю Москвы. Она стесняется, что из-за нее шоферам приходится такой большой крюк делать, и всегда просит: «Меня вот тут, на уголке, выбросьте». Потом бежит по морозу, в кромешной тьме до своего переулочка. Так было и на днях. Но только развернулась машина, на которой Лена приехала, к ней из темноты трое: «Снимай пальто!» Девчонка дрожит не то от холода, не то от страха, но виду не подает — сама навстречу опасности: «Неужели не стыдно? Война идет, люди на фронте, врага бьют, а

вы...» Воры обалдели. Глянули друг на друга, выругались и повернулись на сто восемьдесят.

Только дома, когда дверь за собой заперла, по-настоящему испугалась Лена. После этого случая шоферам строго-настрого приказали до самого подъезда ее довозить. Так что же ты думаешь? Все равно у того уголка соскакивает! Чуть не на ходу в сугроб прыгает.

Ну, все, Зимовец. Таких длинных писем сроду не писал и не напишу больше. Теперь за тобой очередь.

Твой *Слобода*».

Слободкину в самом деле не довелось больше писать другу так подробно. На короткие послания и то времени не хватало. С матерью поговорить не было иной раз минуты. Вставали они оба рано. Так вообще заведено в их доме с давних пор. Но только прежде у каждого были свои обязанности, теперь у каждого долг. У матери, как всегда, и дом, и работа. Но она все успевала. Каким-то чудодейственным образом оказывались починенными, приведенными в полный порядок гимнастерка и шинель Сергея. Появились у него чистые, ослепительно белые подворотнички. А уходила из дому мать всегда первой и успевала еще поторопить соседку, замешкавшуюся в самый последний момент, и, наклонившись к самому уху спящего сына, нежно сказать:

— Сереженька, сыночек! Петя пропел. Пора!

И хотя мать почти каждый день повторяла одно и то же, Сергей не то спросонья, не то дурачась, как в детстве, переспрашивал, о каком таком Пете речь, но уже через несколько минут после ухода матери, выпив глоток подогретого ею чая и даже сделав что-то вроде зарядки «по сильно сокращенной программе», торопился на Маросейку, к которой от их дома путь был немалый. Целый час в одном трамвае приходилось трястись.

Но Сергей не жаловался. Даже самому себе. Он учился ко всему относиться философски. В данном случае философия была простой: работа у него хоть и непривычная и оттого еще более сложная, чем на заводе, но все же кому-то и зачем-то, очевидно, необходимая, может, даже необходимая. Значит, не хныкать! Из всех сил делать то, что поручено. И ждать, терпеливо ждать... Стрепетов в первом же разговоре сказал:

«Вы теперь на вышке, товарищ Слободкин, учтите». Что и говорить, вышка огромная, намного выше любой парашютной. Такое сравнение все чаще в последнее время приходило на ум Сергею. «Но что я вижу с этой вышки? Самую малость. Слишком много в бумагах копаться приходится. Во «входящих» и «исходящих». В которых иной раз ни бум-бум!».

Все росло и росло в душе Слободкина какое-то тревожное чувство. Он сидел за массивным, невероятных размеров, письменным столом с телефоном, который тоже причинял всякие неприятности. Первый же телефонный разговор Сергея вызвал целую кучу осложнений.

Звонили рано утром с какого-то завода (в волнении Слободкин даже не расслышал, с какого). Просили оказать срочную помощь комсомольско-молодежной бригаде, которой «не создают условий для стахановской работы».

— А какие вам нужны условия? — удивленно спросил Слободкин.

На противоположном конце провода пробурчали что-то явно недовольное. Сергей попросил говорить яснее.

— Это ЦК комсомола? Куда мы попали?..

— Да, ЦК. Что вы хотите?

— Мы комсомольско-молодежная бригада. Хотим работать по-стахановски.

— Прекрасно! Вам мешает кто-нибудь?

— Нам не помогают.

— В чем нужна помощь?

— Ордеров на промтовары дополнительных не выдают. И вообще...

— Дополнительных ордеров? А давно вы стали стахановцами?

— Не в этом дело. Мы будем работать как все. Но пусть и они...

— Как не в этом? — рассердился Сергей. — Именно в этом самом! Вы еще только собираетесь работать по-стахановски. Даже не по-стахановски, а просто «как все». За что же вам премии? Если хотите, приезжайте, поговорим, но так ставить вопрос нельзя, поймите...

В трубке раздались гудки, разговор оборвался, последних слов Слободкина уже никто не услышал, кроме него самого. Впрочем, подняв голову, Сергей увидел стоявшего перед ним заместителя заведующего отделом

Ломидзе, который несколько дней назад объяснял Слободкину, в чем на первых порах будут состоять его обязанности.

— Кого это вы так отчитали? — Ломидзе едва заметно улыбнулся.

— Не так что-нибудь? — Слободкин еще не почувствовал лукавой нотки в вопросе начальства.

— Почему же? В принципе верно. В комсомоле не должно быть иждивенческих настроений. Никогда, в такое время — тем более!

Слободкин вздохнул облегченно. Ломидзе сказал:

— Хорошо, что в отделе появился еще один человек, прошедший такую трудную школу, на личном опыте знающий, как и чем живут сейчас молодые рабочие.

Слободкин смутился. Ломидзе больше не улыбался, говорил серьезно:

— Как это вы сказали? «Еще ничего не сделали, а уже хлопчете о премиях»? Правильно я расслышал?

— Точно.

— Ну, а они?

— Проглотили пилюлю. Согласились, наверно.

— Наверно или согласились? — попробовал уточнить Ломидзе.

— Швырнули трубку. Куда им деваться?

— Кто ж такие строптивые? С какого завода?

— Не знаю... Не спросил, вернее, не переспросил. Но они позвонят еще...

— Вот это уже хуже. — Ломидзе вздохнул. — А вдруг они с «Мотора», например? Там ребятни полно, самой настоящей ребятни.

— Ребятни? Да они меня к чертовой бабушке чуть не послали!

— Тем более, дорогой. Предположим даже не «чуть», а послали действительно. Раздражены, обижены чьей-нибудь черствостью, несправедливостью. С таким народом надо внимательным быть. Вполне возможно, что они ничего еще не сделали особенного на заводе. Только собираются. Но вдруг ордера или усиленное питание, например, было им действительно кем-то обещано? Посулили и отдали другим. Обидно? Еще как!

С каждым словом Ломидзе краска стыда все гуще заливала лицо Слободкина. «Провалился! С первого же раза провалился. Отругал, оттолкнул ни в чем не

повинных ребят. Воспитатель молодежи! Элементарного такта не проявил».

Не было таких ругательств, каких не обрушил бы сейчас Слободкин на свою голову. Униженный в собственных глазах до последней степени, он проклинал тот день и час, когда согласился на эту работу.

— Надо немедленно выяснить, откуда звонили, дорогой, — сказал Ломидзе. — Вы окончательно не запомнили?

Слободкин вместо ответа опустил глаза и стал пристально рассматривать свои дырявые сапоги.

Ломидзе, заметив это, тоже остановил свой взгляд на сапогах Сергея.

— Давно они у вас такие?

Это повергло Слободкина в еще большее смущение. «Переводит разговор на другую тему, хочет сделать вид, что ничего особенного не произошло, а сам бог знает что обо мне думает! Чего доброго, еще утешать начнет. Мальчишкой считает». Подумав так, Сергей ответил раздраженно:

— С тех пор как прохудились.

Ломидзе сдержался, на резкость не ответил и морали читать не стал.

— Я хочу, дорогой, чтобы на заводе о нас с вами плохого мнения не были, только и всего.

— Но на каком? — воскликнул Слободкин. — В Москве столько заводов...

— Ну, раз вы тоже считаете, что нужного разговора с ребятами не получилось, половина дела уже сделана. Остается отыскать этих «стахановцев», только вы их, чур, больше не обижайте, если они даже в чем-то не правы будут. Есть у меня подозрение, что они с «Мотора». Подъедем, все уладим на месте.

— А если не с «Мотора»? — спросил Сергей.

— Почти уверен — с него. Мне на днях рассказывали — на «Моторе» сплошной детский сад чуть не в каждом цехе.

— Надо ехать сегодня же, — решительно сказал Слободкин.

— Нет худа без добра, как говорится! Неизвестно, когда бы мы к ним выбрались, — сознался Ломидзе. — Может, прямо сейчас и двинем?

— Так рано?

— Да, воспользуемся тем, что мы с вами первыми на работу явились, и исчезнем, пока колесо не закрутилось.

— Мне казалось, что я первым пришел сегодня,— сказал Слободкин.

— А я думал, дорогой, что раньше меня вообще никого не бывает в отделе,— ответил ему Ломидзе.

— Я в армии привык рано вставать. А вы?

— А я в комсомоле.

Они рассмеялись. В это мгновение стрелка висевших на стене часов вздрогнула, перескочила на следующую черточку, завибрировала, словно не была уверена в абсолютной точности отсчитываемого ею времени, потом замерла, напряглась, приготовилась к новому скачку вперед.

Ломидзе, подумав, сказал, что сейчас дежурной машины, пожалуй, не выпросишь, поэтому лучше всего добираться своим ходом.

Через несколько минут Ломидзе и Слободкин шагали по еще темной Маросейке. Некоторое время шли молча. На асфальте лежали редкие островки мокрого снега. Сергей все время поеживался.

Заметив это, Ломидзе сказал:

— Промокли? Не должны вроде бы — ночью вон как прихватывает. Но сапоги мы вам все-таки починим. Напомните мне, когда вернемся. С вашими сапогами только на юге жить.

— Ваши ненамного лучше,— заметил Слободкин.

— Все некогда, некогда.

Они пошли быстрее, обгоняя прохожих, поторапливая друг друга. Они наслаждались утренним воздухом и этой ходьбой, радуясь тому, что спешившие с ними в одном направлении трамваи были переполнены до предела и можно было пройти пешком еще один квартал, еще одну остановку, еще до одного угла...

— Не устали? — переводя дух, на одном из перекрестков спросил Слободкина Ломидзе.

— Что вы! Я в армии знаете какие кончики делал! А вы вот уже задыхаетесь.

— Это вам показалось,— сказал Ломидзе.— Сейчас второе дыхание откроется. Вы давно не были в Москве?

— С осени сорокового. Сейчас вот иду, а сам все сравниваю, сравниваю...

— Да-а... Осень сорокового и весна сорок третьего! Две эпохи! Земля и небо. Какое у вас, Слободкин, самое главное ощущение?

— Вы знаете, внешне — все не то, все на сто восемьдесят повернуто,— ответил Сергей.— Патрули на каж-

дом углу, пустые магазины, темнотища. Такой никто никогда не видал Москву. И все-таки что-то осталось здесь неизменным. Вы не думали об этом?

— Что же именно? — Ломидзе с интересом взглянул на спутника.

— Я не разобрался еще. Но с первой минуты, как только спрыгнул с поезда на Павелецком, возникло во мне это чувство.

— Вы москвич? — спросил Ломидзе.

— Родился тут, отсюда ушел в десант.

— Я в сравнении с вами новосел. Немного со стороны посмотреть могу. Так вот, послушайте, что я вам скажу, дорогой. Москва — это москвичи, в этом вся штука.

— Тбилиси — это тбилисцы. Курск — это куряне, — не то возразил, не то согласился Слободкин.

— Правильно. Тбилиси — это тбилисцы, поверьте, я патриот Грузии, горжусь своим народом, но неужели вы никогда не замечали, что в москвичах есть что-то, ну как бы вам это объяснить... Словом, москвич — это москвич. Кто бы ни был он до этого, откуда бы ни приехал сюда — из Курска или Тбилиси.

— Пожалуй, вы правы.

— Нет, серьезно. Вы просто давно здесь не были. Как хорошо, что я вас на «Мотор» вытащил! Надо вам земляков своих рассмотреть как следует.

— Но ведь по вашей теории все земляки, каждый встречный.

— А на «Моторе» москвичи из москвичей, уверяю вас. А вот и «Мотор», кажется, на горочке, видите! Я тут частенько бывал по пути на фронт.

— На фронт? — переспросил Слободкин.

— Не сейчас, конечно. Раньше. Фронт тогда знаете где был?

— Слышал, а не верится как-то.

— Мне самому теперь не верится. Утром — туда, вечером — обратно. Химки — это был уже фронт. Я тогда в «Комсомолке» работал. Вернешься, бывало, под вечер с материалом в редакцию — тебе уже с порога кричат: «Ломидзе, дорогой, где тебя черти носили до сих пор? Всю газету держишь!» — «Где носили, говорю, знаете. На целых два километра фронт отодвинулся». — «Честно?» — «Честно!» — «Ломидзе, милый, ты устал, наверное? Ел ли чего-нибудь? Пил ли чего-нибудь?» Вместо ответа сунешь им блокнот из карма-

на шинели, разбирайтесь, дескать, сами,— и скорее на бок, прямо тут же, в редакции.

— Так мы с вами оба солдаты, выходит! — воскликнул Слободкин.

— Я в армии не был, только на фронте,— усмехнувшись, ответил Ломидзе.

— А я, наоборот, в армии был, но фронта не нюхал.

— Как это? Вы же фронтовик и ранены даже.

— Насчет ранения верно, а насчет фронта ошибаетесь.

— Забыл, забыл, вы десантник, парашютист! — воскликнул Ломидзе.— Вас в тыл забросили. Так это же еще больше, чем фронт.

— Опять опечатка. Парашютист, но никуда не забросили. Мы недалеко от границы стояли. В первый же день войны сгорели наши крылышки на земле, прямо на аэродроме. И самолеты, и парашюты. Покрутились, повертелись мы — что делать? А война идет полным ходом. И подались в пеший десант. Приходилось слышать о таком роде войск?

— В первый раз,— сознался Ломидзе.

— Тот же десант, только на своих двоих. По принципу дальше в лес — больше дров. Ну, тут мы уж постарались!

— Ну вот, а говорите, фронта не нюхали! Да вы фронтовик из фронтовиков!

— Что вы! Если бы все шло нормально, мы бы ему с первого дня такого всыпали!

— Если бы в мире все шло нормально, войны бы не было.

— Тоже верно,— согласился Слободкин.

За разговором незаметно они оказались у высоких, плотно закрытых ворот. На воротах не было никакой вывески, но, поравнявшись с ними, Ломидзе и Слободкин остановились одновременно.

— Здесь, если не ошибаюсь,— сказал Ломидзе.

— Точно,— уверенно ответил Сергей.

— А вы откуда знаете? — удивился Ломидзе.

У Слободкина напряглись и слегка шевельнулись ноздри.

— Чую!

Сергей всем существом своим с наслаждением ощутил тот непередаваемый, едва уловимый запах металла, машинного масла и еще чего-то, чем пахнет любой

завод, что бы на нем ни производили — часы или паровозы, турбины или электролампы.

— Чутье у вас превосходное! — воскликнул Ломидзе.

— Классовое! — уточнил Слободкин.

Они распахнули дверь проходной. Через несколько минут перед ними стоял смущенный парень, оказавшийся секретарем заводского комитета комсомола «Мотора».

— Товарищ Ломидзе, вы же обещали на будущей неделе...

— Не волнуйтесь, товарищ Савушкин, мы к вам ненадолго, по одному конкретному поводу. Не ваши ребята в ЦК звонили? Обижают их.

— Это ошибка, от нас никто звонить не мог.

— Ага, попались, Савушкин! Только звонок опровергаете, а обижать обижают, выходит? Правильно?

— Кого обижают? Ребят? Да у нас весь завод ребята, вы же знаете, товарищ Ломидзе. И потом...

— Самых энтузиастов вроде бы обидели, целую комсомольскую бригаду...

Савушкин покраснел. Ломидзе, заметив это, подмигнул Слободкину. Точно, мол, попали по адресу!

— Нам извиниться перед ребятами надо, — сказал Ломидзе.

— Вам? Извиниться?! — совсем опешил Савушкин. Ломидзе пояснил:

— Договорить с ними до конца не смогли, разъединили нас. Словом, ведите нас в эту бригаду, и немедленно.

— Не могу, — сказал Савушкин упавшим голосом. — Это, наверное, бригада имени Талалихина. Спит она после ночной. Прямо в цехе...

Глаза у Ломидзе сделались вдруг злыми.

— Вот видите, товарищ Слободкин, значит, приехали мы с вами вовремя. Товарищ Савушкин забомбил ЦК своими рапортами. Посмотрим, чего эти рапорты стоят.

Цех, где работала бригада талалихинцев, внешне был похож на любой цех любого завода. Станков было много, но стояли они в строгом порядке, не мешая друг другу. Слободкин заметил это сразу. Тут можно план выполнять! Ровно гудели станки, щедрым светом было залито все вокруг — и вращавшиеся патроны самоточек, и ловкие, быстро сновавшие руки ребят. Да, это

были именно ребята, мальчики. Самые настоящие. Неизвестно даже, успели ли они кончить курс мудрых рабочих наук в ФЗУ. Вон тот, например, вихрастый. Мужичок с ноготок! Только пиджак на его плечах большой, наверное отцовский — от этого парнишка еще меньше кажется. Откуда у таких силы берутся? Станок и так огромный — перед таким громоздится и вовсе горой.

— Теперь на многих заводах так, — сказал Ломидзе, — я побывал кое-где. И у вас, думаю, то же самое.

— И у нас, — согласился Сергей. — Только там мы ко всему привыкли — эвакуация!

— В Москве не лучше.

Разговаривая, Ломидзе и Слободкин ушли в самый дальний конец цеха, но нигде спящих людей возле станков не обнаружили.

— Ну где же они? — спросил Ломидзе у Савушкина, который плелся следом.

— Не видите? — ответил тот недоверчиво. — Да вон они, вон туда гляньте, повыше...

Ломидзе и Слободкин запрокинули головы и только тут заметили — под самым потолком цеха была натянута проволочная сетка, предназначавшаяся для каких-то технических целей. В ее насквозь просвечиваемом огромном гамаке тут и там чернели распластанные фигурки мальчишек.

Ломидзе и Слободкин молча переглянулись. Савушкин затараторил:

Не хотят ничего! Мы давали им паклю, ветошь — не надо, говорят, и так тепло. Оно и верно, если разобратся: теплый воздух от станков поднимается, согревает... Мы им сто раз предлагали...

— Кто это «мы»? — сухо спросил Ломидзе. — И что вы им предлагали, если сами считаете, что спать на голем железе даже лучше?

Секретарь обиделся:

— Я сам иной раз в этот гамак заваливаюсь...

— У нас иногда на войну списывают все беды, все тяготы! — едва сдерживаясь, сказал Ломидзе. — Даже то, что происходит от нашей лени, косности, равнодушия к людям... Так кто же все-таки «мы»? Комитет комсомола?

— Почему комитет? Мы все вообще. Цех...

— Не надо свою вину на других валить, Савушкин! Не надо!

Тон Ломидзе становился все более непримиримым. Не «товарищ секретарь», не «товарищ Савушкин», а именно «Савушкин» — одно голое слово, как тело на железе без всякой подстилки.

Слободкин понял, что Савушкину несдобровать. Решил вступить за него, попробовал сказать что-то смягчающее. Куда там!

Выручил старик мастер. Увидев, что комсомольского секретаря отчитывают какие-то незнакомые люди, подошел, поздоровался с Ломидзе, со Слободкиным, даже Савушкину демонстративно протянул руку, давая этим понять, что его в цехе знают и уважают.

— Вы насчет ребят? — без лишних слов спросил мастер. — Я вам так скажу — общежитие на Стромынке, а мы где? То-то! Два часа туда, два обратно. И ребятам плохо, и заводу один урон. Вот и не протестуем. Я человек семейный, дом у меня есть, а сколько раз ночевал на этих полатах! И рабочая сила все время под рукой. Надо смену поднять — только свистни! Хотите испробовать?

— Нет, что вы! Пусть спят, — запротестовал Ломидзе. — Уморились ведь. И шума не слышат?

— Какое! — махнул рукой мастер. — Это им словно дождь по железной крыше. Усыпляет! Вы из ЦК, что ли?

— Откуда вы знаете? — удивился Ломидзе.

Старик ухмыльнулся:

— Если не буду знать, кто у меня в цехе, какой я, к шуту, мастер? Савушкина проверяете? Ну что ж, проверьте, проверьте, прорех у него сколько хочешь. И про обещанные ребятам ордера позабыл, забежавшись. Но мы исправим это дело. А вы?

Ломидзе еще более удивленно глянул на мастера.

— Помогли б с общежитием, и виноватить бы никого не пришлось.

— Но вы же знаете, в Москве... — попробовал возразить Ломидзе.

— Знаю, знаю, все знаю, в Москве и с этим трудно, и с тем нелегко. А ты все равно «найди и доложи», так, что ли, в армии говорят? — старик перевел взгляд на Слободкина.

— Говорят, — поддакнул Сергей.

— Понял намек, — помолчав, согласился Ломидзе. — Подумаем насчет общежития. Обязательно подумаем.

— Вот это серьезный разговор серьезных людей! — обрадовался мастер. — А на сетку эту я вас, пожалуй, подыму. Не беспокойтесь, ни один не проснется как пить дать.

Мастер подвел Ломидзе и Слободкина к темной стене, показал на вделанные в нее железные скобы.

Через несколько секунд мастер, Ломидзе, Слободкин и Савушкин повисли над цехом, рядом со спящими ребятами. Сюда снизу подымался не только теплый воздух от работающих станков — грохот от всего, что вертелось, крутилось, металось внизу, сконцентрировано устремлялся вверх, словно вырвавшийся из сотен раскаленных зенитных стволов. Уж на что был привычен к заводской обстановке Слободкин, но и у него голова загудела. Мастер попробовал что-то сказать, но слышать его было нельзя. Они молча лежали в неловких позах, посмотрели вниз — на работающих, еще раз — на спящих, потом друг на друга и так же молча спустились.

— Ну как? — спросил мастер, обращаясь к Ломидзе.

— Плохо, дорогой, — ответил тот.

— А я думаю, ничего, терпимо. Война все-таки, разве до всех руки дойдут? У заводского комсомола забот во! — мастер глянул на Савушкина. — Да и у ЦК вашего. Не правда, что ли? — спросил старик.

— При чем тут ЦК? — спросил вдруг Слободкин. — У ЦК своих дел хватает...

— Вот и я об этом! — подхватил мастер. — Не заметили нас маленькие.

— Василий Сергеевич! — подал голос молчавший все это время Савушкин.

— Цыц! — одернул его старик. — С начальством тоже надо уметь разговаривать. Чтоб не зазнавалось.

Старик миролюбиво хлопнул по плечу сперва Ломидзе, а потом Слободкина.

— Не серчайте. Просто к слову пришлось. Начальники, мать вашу за ногу! У меня свой такой же был. Выдвинули, потом, слава богу, обратно к станку поставили. Не выдержал пробы.

Мастер не спеша закурил, поделился куревом со Слободкиным и Ломидзе, но, прежде чем распрощаться, еще раз спросил:

— Значит, подсобите? Дайте хлопцам что-нибудь поближе к заводу.

В эту ночь Слободкин написал еще одно письмо Зимовцу.

«Что же ты молчишь, Проха? Послание мое получил? Изучаешь? Многословию дивишься? Я сам, брат, удивляюсь, на какую лирику меня понесло. Вроде совсем недавно настрочил тебе обо всем, а вот руки снова тянутся к перу, перо — к бумаге. Минута, и стихи... Извини, что классика втравил в переписку. Но не писать тебе, оказывается, не могу. Мама от дел наших далека, сам понимаешь. А на работе ни с кем покуда нет у меня таких отношений, чтоб откровенно обо всем. Одним словом, терпи, Зимовец.

Как в тот раз, все по порядку:

1. Настроение.

Дряннь настроение, врать не буду. Да и отчего ему быть хорошим? Сам посуди. С мамой почти не вижусь. Прихожу, когда спит. Она уходит, когда я глаз не продрал, хотя особенно не разлеживаюсь. От Ины по-прежнему — ничего. На Маросейке взвалили на меня много всякого такого, в чем я ни уха ни рыла. С настроением ясно?

2. Работа.

Как бы тебе поточнее сказать? У нас, на заводе, я был нужней, честное слово. У станка стоял, автопилоты на руках носил. Оглянешься — след хоть какой-то виден. Тут — нет. Бейся хоть весь день — никаких результатов. Мне конкретность нужна, понимаешь? Начальство у меня хорошее, дельное. Например, Ломидзе, зам. зав. наш. Внимательный. Сегодня даже на завод с собой взял. Там психанул, правда, когда один старый мастер ему сказал, что мало заботимся о молодых. Это верно, заботимся мало. Вот видишь, я уже пишу не «заботятся», а «заботимся»: совсем цековцем заделался... Так вот о Ломидзе. Он много работает. Но это не видно никому. И старик мастер о том не ведает. Ему результат важен. Ремесленники в его цехе спят на голом железе, — значит, Ломидзе чего-то недоделал, чего-то недодумал. И прав, конечно, мастер. И не прав — я же вижу, как вкалывает сам Ломидзе и весь его отдел. Вот и кисну от этого. Настроение... ой, опять настроение. Это было уже. Одним словом, не выдержу я долго такого! Теперь, надеюсь, ты мне не завидуешь больше? Не завидуй.

Эх, Зимовец, Зимовец, добрый, верный мой друг и товарищ, скучаю без тебя. Над Москвой уже давно ночь, а если честно сказать — утро уже где-то на ближних подступах к столице нашей Родины, спать бы мне да спать и снов не видеть. Но нет, сам не сплю и, может, тебя от сна отрываю. Ладно, не буду больше. Дрыхни, отдыхай. Заслужил. А как там все? Остальные? Каганов? Баденков? Привет им!

Твой *Слобода*».

Письмо это отправлено не было. Проснулся утром Сергей, перечитал и порвал в мелкие клочья. «Что это я, в самом деле? Не знал раньше за собой такого. Сам расхныкался ни с того ни с сего и на друга мерхлюндию нагоняю. Позор!»

А днем, на работе, Слободкин пришел в свое обычное состояние. Он любил, когда накидывались на него дела. Вот они и накинулись. Со всех сторон. Только успевай поворачиваться.

С самого раннего утра позвонил Савушкин. Спросил, какое впечатление осталось у него от вчерашнего.

— А вы, может, приедете? — сказал Слободкин. — Вместе обо всем подумаем... Что, что? Ломидзе?.. Товарища Ломидзе сегодня не будет, общежитием поручено заниматься мне.

Насчет того, что Ломидзе не будет в отделе, Слободкин сказал правду. А вот относительно того, что ему, Слободкину, поручено заняться общежитием для ребят «Мотора», соврал. Как это получилось у него, сам понять не мог, но слово сорвалось, отступить было некуда.

— Приезжайте. Заказываю пропуск, — повторил Слободкин.

Но когда в трубке после решительного «еду!» раздались частые гудки, Сергей понял, что поторопился. Переполошил парня зря, обнадежил, а ведь сделать ничего не в состоянии. «Через час Савушкин будет в ЦК. Что скажу ему? Чем помогу? Обещаниями?»

Трель нового телефонного звонка наполнила комнату. Звонили из Нижнего Тагила. Просили тут же, не сходя с места, поделиться опытом организации соревнования молодых рабочих на заводах Москвы, а если можно, и всего Советского Союза...

И посыпались вопросы. «Как заключить договор? Какие пункты? Как вести учет? Как и кого премировать? Чем? Как быть с отстающими?..»

За этим звонком — следующий. Потом еще один и еще... Казалось, десятки телефонных линий сплетены сейчас в одну, протянутую сюда, на Маросейку, в комнату к Слободкину. Одни просили, другие требовали, третьи на кого-то жаловались, как те, вчерашние, с «Мотора».

В отделе сегодня было пусто. Стрепетов и Ломидзе уехали на совещание в Наркомат тяжелого машиностроения. Вместе с ним отправились два инструктора. Вот и весь их личный состав. Правда, в одной из отдельных комнат сидела еще Ксюша, секретарь, но у нее были такие широко раскрытые глаза, что Сергей с первого дня понял — она тоже тут новичок. Только пропуска заказывал с ее помощью Слободкин. Услышав фамилию Савушкина, Ксюша вдруг неожиданно строго спросила:

— А этому что в ЦК делать?

— В отдел направляется. Наверное, уже ждет внизу.

— Я понимаю, что направляется, а зачем? Толку от него...

Ксюша все-таки позвонила в бюро пропусков, но при этом посмотрела на Сергея так серьезно, что он понял: не такая-то робкая она, старается кое в ком разобраться, составить свое мнение о некоторых людях.

Возвращаясь к себе после разговора с Ксюшей, Слободкин с горечью почувствовал — одна оплошность громоздится у него на другую, и так будет, наверно, долго еще, ведь каждый шаг приходится делать чуть ли не на ощупь, как вот в этом коридоре, бесконечно длинном, узком, плохо освещенном.

Ход этих мрачных мыслей Слободкина неожиданно был нарушен. Навстречу ему с охапкой папок, бумаг и коробок, падавших и разлетавшихся в разные стороны, бежала какая-то девушка. Еще мгновение-другое, Слободкин понял — это Лена Лантева. Та самая Лена, о которой он восторженно писал Зимовцу в первом письме из Москвы, но которую видел всего несколько раз, да и то мельком, через открытую дверь, когда проходил мимо отдела пионеров.

Вот они поравнялись, из рук Лены вырвалась еще одна коробка, послышался drobный звук, очевидно от

рассыпавшихся скрепок или кнопок. Слободкин и опомниться не успел, как возле его уха раздался тонкий возглас:

— Ну, чего же вы? Собирайте, если толкнули!

— Я не толкал... — смущенно пробормотал Сергей.

— Значит, можно не поднимать? — удивилась девушка.

— Нет, почему же... — Эти слова Слободкин произнес, уже присев на корточки.

Девушка рассмеялась:

— Да я пошутила, что вы! Сейчас отнесу вот это, вернусь и соберу сама.

Она убежала. А когда возвратилась, Сергей все еще шарил руками по щелям пола.

— Ой, мне очень стыдно, что я оторвала вас от дела! — воскликнула Лена.

— И от отдела, — попробовал сострить Слободкин.

— От отдела рабочей молодежи, — уточнила девушка.

— Правильно! А откуда это известно?

— Ну, мы ж все-таки на одном этаже. Только...

— Только в разных концах коридора.

— Вы с фронта, да? Парашютист? — спросила девушка.

— Парашютист.

— Как вас зовут?

— Сергей. А вас — Лена.

— А вы откуда знаете?

— Просто догадываюсь, — опять отшутился Слободкин.

Они оба расхохотались и вдруг сами застыдились своего смеха, молодого, безудержного, так громко и дерзко прокатившегося по строгому коридору, что где-то вблизи даже распахнулась какая-то скрипучая дверь. Узкая полоса света на мгновение осветила их лица: Слободкина — смущенное, с веселыми, быстро моргавшими глазами, и Ленино — задорное, даже немного озорное и почему-то сконфуженно-счастливое...

Оказавшись за своим столом, Слободкин почувствовал, что вел себя непонятно и странно. Чего, собственно, было ему смущаться? Ну, открыл кто-то дверь в тот момент, когда он собирал скрепки, рассыпанные известной на весь ЦК егозой Леной, ну, понравилось девушке, что он был с ней элементарно вежлив.

Чтобы окончательно снять неловкость, которую он

испытывал, Сергей позвонил Лаптевой и сказал подчеркнуто серьезно:

— А мне нужен ваш совет, Лена. Выручите?

— Вам? Мой совет? — не то удивилась, не то обрадовалась Лена. — Какой же?

— Насчет «Мотора». Общежития путного там нет. Ребята прямо в цехах на голом железе спят.

— Как на голом железе?

Слободкин рассказал.

Лена сначала не поверила, потом, когда Сергей подтвердил, воскликнула:

— Чего же вы ждете?!

— Но при чем здесь я? — попробовал возразить Слободкин. — Я же совсем недавно в отделе.

— Лично я и одного дня этого не потерпела бы!

— Вчера там был товарищ Ломидзе. Он все видел своими глазами.

— А сегодня товарища Ломидзе весь день не будет на месте. Значит, все останется по-старому? А завтра товарищ Ломидзе выедет на Дальний Восток...

— Откуда вы знаете?.. — поразился Слободкин.

— Я к примеру говорю. Ну, не на Дальний, так в Сибирь. Эх, товарищ парашютист, товарищ парашютист! Я бы на вашем месте...

— Лена, не сердитесь. Мне действительно нужен совет.

— Совет? Комсорга с «Мотора» немедленно в ЦК! — решительно сказала Лена.

— Вызвал уже...

— Тащите его сейчас же на пятый этаж. Хотите, я сама скажу товарищу Левыкину? Надо поднять на ноги всех!.. Ой, подождите, мне, кажется, Смоленск дают...

Слободкин опустил трубку. «Шутит Лена или говорит серьезно? Голосок у нее то сердитый, то лукавый, не поймешь, где шутка, где не шутка».

Так думал Слободкин. А когда дверь его комнаты отворилась и на пороге выросла нескладная фигура Савушкина, Сергей неожиданно для самого себя сказал:

— Хорошо, что быстро добрались. Нам с вами надо зайти к секретарю ЦК.

— К товарищу Левыкину?.. — упавшим голосом спросил Савушкин.

Слободкину стало жаль парня. «Вот бегаешь, мечтаешь, что-то пытаешься сделать полезное, а в общем-то беспо-

мощный человек. Перед начальством робеет. Ни с кем не любит портить отношений. Эх, Савушкин, Савушкин, где твоя комсомольская страсть? Тихонький ты какой-то, сробевший».

Слободкин думал о Савушкине, но на самом деле себя подзадоривал. «Тоже ведь стушевался сейчас перед пятым этажом. Стушевался или нет? Ну, говори, чего губу прикусил? Стушевался, факт! Девчонка-секретарша смелее тебя оказалась...»

Сидя в кабинете секретаря ЦК, помешивая алюминиевой ложечкой жидкий чай в стакане, поглядывая то на Левыкина, задававшего вопрос за вопросом, то на Савушкина, забывшего вдруг всю свою робость, рассказывавшего о положении на заводе прямо, без всякого подмалевывания, Слободкин думал о многом, но главным образом о том, какая все-таки молодчина эта Лена Лаптева! «Сколько в ней решительности, настоящего огонька! Живой укор некоторым. Мне по крайней мере. Чем бы ни кончился этот разговор у секретаря ЦК, сразу же зайду в отдел пионеров, к Лене. «Спасибо тебе,— скажу, выручила, помогла. Не зря я про тебя Зимовцу в самом первом послании настроил...»

Левыкин между тем все расспрашивал Савушкина, записывал что-то в книжечку, поднимал то одну, то другую телефонную трубку, с кем-то спорил, с кем-то ругался, кого-то обещал вытащить на бюро. Наконец оставил в покое телефоны, сложил книжечку, отодвинул неначатый чай, поглядел на Сергея.

— Товарищ Слободкин, вы в ЦК человек новый...

«Начинается,— подумал Сергей.— Надо было мне, дурню, не пороть горячку, а через Ломидзе действовать. Сейчас вежливо, деликатно, как у него, говорят, заведено, выдаст мне по первое число».

Сергей тоже отодвинул чай, к которому не притронулся, откашлялся, еле слышно ответил:

— Новый.

— Хорошо, что новые люди к нам приходят. В комсомольской работе обязательно перец должен быть. Вы меня поняли?

— Нет,— откровенно признался Слободкин.

— А вы? — Левыкин перевел лукавый взгляд на Савушкина.

— А я понял.

— Вы, если и не поняли, все равно сделаете вид,

что все вам ясно и понятно. Я про вас немного слышал.— Левыкин выразительно постучал остро отточенным карандашом по книжечке.— Общежитие на Стромынке надо срочно привести в божеский вид.

Савушкин с готовностью поддакнул. Сергей промолчал.

— А вы сами-то общежитие видели? — спросил Левыкин Слободкина.

— Нет, не успел. Но...— начал было Сергей, однако это «но» было таким тихим, что секретарь его не заметил.

— Давайте посмотрим,— сказал он.— У вас время есть?

— Есть. Только в отделе у нас сегодня все на совещании,— ответил Сергей.

Он видел, что Левыкин решил сию минуту ехать на Стромынку, и возражать не стал, хотя прекрасно понимал, что возразить надо бы: слишком уж далеко эта Стромынка от завода.

Левыкин между тем поторапливал:

— Я вас долго не задержу, собирайтесь.

Когда они уже спускались по лестнице, к Сергею подбежала Ксюша и на ходу шепнула:

— Звонил Ломидзе. Его не будет, оказываются, целых три дня. Заняться «Мотором» поручено вам.

Минут через тридцать машина, в которой ехали Левыкин, Слободкин и Савушкин, остановилась у перекосенной кирпичной коробки, растрескавшейся, подпертой с фасада бревнами, чтоб не рухнула на мостовую.

Внутри оказалось еще хуже. Полы ходили ходуном, на койках лежали рваные мешки, набитые соломой. Ни одной живой души не было в общежитии. Только старый мрачный человек, назвавшийся комендантом, тяжело хромя, сопровождал непрошенных посетителей. В руках он держал железный керосиновый фонарь с оторванной дверцей и без стекла.

— Он же не горит небось, папаша? — спросил Левыкин коменданта.

— Не горит,— сознался тот.

— Зачем же он вам?

— На всякий случай. Мало ли что...

Вид у коменданта был жалкий, Левыкин поглядел на него с сочувствием. Он и Савушкина не стал распе-

кать. Походил, посвистел задумчиво под провисшими потолками, потом вдруг спросил незадачливого комсорга:

— Знаете, чего не хватает этому дому?

— Мебели, — невпопад ответил Савушкин.

Еще одной бомбы. Слава богу, налетов больше нет и не предвидится. А то он, горемычный, от самой малой воздушной волны рассыпался бы в прах.

Слободкин молчал все это время. Он ругал себя мысленно за то, что не объяснил Левыкину еще тогда, в кабинете, что затея с общежитием на Стромынке зряшная. Вроде Савушкина оробел перед начальством, не набрался духу против его мнения поставить свое. А в результате? Только время попусту истратил секретарь из-за него.

Уже в машине, по дороге в ЦК, Слободкин робко заметил:

— На этом здании давно пора точку поставить. Ребята все равно не станут ездить туда, хоть построй им особняк на месте развалин.

— Вы так думаете? — спросил Левыкин.

— Уверен, — ответил Сергей. — Они же сознательные, все понимают, все знают.

Слободкин говорил с Левыкиным твердо, убежденно.

Левыкин слушал внимательно, не перебивая. Снова достал свою книжечку, долго листал ее и, отыскав там нужную страничку, спросил:

— Что предлагаете, товарищ Слободкин?

— Надо найти что-нибудь рядом с заводом. Может, уплотнить кого-то. Но мы обязаны снять ребят с железа, поселить в светлых, теплых комнатах.

— Абсолютно правы, — после паузы сказал Левыкин. Он сделал в книжечке еще одну пометку карандашом и добавил: — Если от меня помощь потребуется, заходите в любое время дня и ночи. Правда, завтра с бригадой ЦК вылетаю в командировку по одному срочному делу. Но вы всегда рассчитывайте на мою поддержку, товарищ Слободкин. И инициативу проявлять не стесняйтесь.

— Попробую, — ответил Сергей.

— Не «попробую», а жмите на все педали. Да что я вас учу? Вы же такую школу прошли! А вопрос с молодежью, с подростками, особенно с детьми, очень важный. Государственный, можно сказать. Мы сейчас на бюро будем обсуждать эти дела. Помощь детям, по-

страдавшим от войны. Ваши ребята с «Мотора» хоть и рабочие уже, а все равно еще дети. И мы обязаны облегчать их жизнь, сколько возможно в нынешних военных условиях. Вы что-нибудь слышали о счете № 160180?

— Нет, — ответил Сергей.

— А вы?

— И я тоже, — еле слышно поддакнул Савушкин.

— Узнаете еще. Это счет, на который будут отчислять средства в фонд помощи детям. И уже отчисляют. Сегодня утром первая сводка пришла. Первые рубли пока, но от чистого сердца. И кто бы, вы думали, почин сделал? Один офицер-дальневосточник. Скоро имя его будет известно всем, всей стране, поверьте моему слову. Не случайно говорится: почин дорожке денег. Так как? Договорились насчет общежития? Могу уезжать со спокойной душой?

— Да, — тихо, но твердо сказал Слободкин и поглядел на Савушкина.

Тот под тяжестью новых забот еще больше вобрал голову в плечи. Но куда денешься? Только что сами убедили Левыкина в необходимости что-то срочно предпринять.

Глава 4

Письмо от Зимовца пришло, когда Слободкин уже начал волноваться за друга. Уходя на работу, Сергей нашел долгожданное послание в ящике и прямо тут, на лестнице, начал жадно читать.

«Злишься? — писал Прокофий. — Ну и правильно делаешь. Только причины есть у меня. Вскоре, как ты уехал, нам снова знамя Комитета Оборона присудили. План выдали! С превышением даже. Что тут началось! Не знаю, откуда взялись у нас силы, но взялись откуда-то. Я думаю, в Сталинграде все дело. Если бы не он, настроения такого бы не было. Ты слышал когда-нибудь песни в наших бараках? Даже когда первый раз знамя получали, помнишь? На митинге побыли, в ладони похлопали и разошлись по своим норам. А тут нет! Иду как-то со смены вечером — кругом тишина. Вдруг откуда ни возмись из какой-то трещины в бараке — «Синий платочек»! Да еще с баяном! Ясна тебе обстановочка? В ту ночь, как никогда, понял я, Слобода, что война нами будет выиграна.

Ну, вот, потому и не писал, что вкалывали пуще прежнего. Теперь спроси, почему «вкалывали», а не «вкалываем». А потому, что теперь без меня будут план тащить. Лопни, Слобода, от зависти, но военком наш областной серьезным человеком оказался. Серьезнейшим! Обещал и сделал. Полевая почта теперь мой адрес! Какая? Сам не знаю еще, но полевая.

Что еще сказать тебе на прощанье? Все вроде выложил. Последние дни в цехе. Жалко с ребятами расставаться, если честно. Сдружились.

Ну, жди теперь письма из маршевой роты. А впрочем, особо не жди. Я писака знаешь какой? Это раз в жизни меня так прорвало. Сам удивляюсь. Просто очень соскучился. Цени. И давай лапу».

Слободкин вышел на улицу, еще раз перечитал послание друга. И смертельно позавидовал Зимовцу — добился все же своего парень, на фронт идет. А он, Слободкин, все еще в тылу. Задания выполняет. Правда, тоже нелегкие, ответственные, почти всегда неотложные. Крутись, Слобода, выкручивайся, «находи и докладывай». Сергей невольно вспомнил слова старшины Браги. Значит, доверяют! Это уже хорошо. Об этом доверии словечко можно бы Зимовцу сказать — пусть знает, не ударил пока Слободкин в грязь лицом перед Москвой. И обязательно надо бы про общежитие. Как бегал, звонил во все концы, хлопотал все последние дни, пока нашел подходящее здание недалеко от «Мотора». Как убеждал жильцов переехать в другие дома, подобранные им. Как всех убедил, кроме одного, и как потом с ним схлестнулся, и чего ему, Слободкину, это стоило. И как ремонт начали, хотя материалов не было никаких. И конечно, про Лену Лаптеву надо бы. Очень она Ину напоминает. Такая же умная, решительная. И душа настоящая. Даже во внешности Лены есть что-то такое, что роднит ее с Иной. Такая же челка, такие же больше, чистые глаза, такая же ямочка на щеке. «Сейчас приду на работу и сразу же загляну в отдел пионеров, поздороваюсь во всеми девчатами. Да, да, именно со всеми. Ну а значит, и с ней, с Леной...»

Добравшись до Маросейки и распахнув дверь отдела пионеров, или «девчачьей державы», как его все здесь называли, Слободкин замер на месте и поднес руку к глазам, словно защищаясь от солнца. Всюду — на столах, на подоконниках и даже на старом, ржавом

сейфе стояли цветы! Какие, Сергей еще не успел разобрать, но было совершенно ясно — живые, настоящие: все пространство комнаты казалось наполненным их летучим ароматом. Слободкин ощутил острый запах зеленого поля, леса, полынного куста, пробившегося через снег далеко отсюда, на берегу Волги, и вдруг спохватился:

— Девочки, да сегодня же ваш праздник! Ой, дурень я, дурень... Ну, поздравляю вас, дорогие женщины! От всей души и от мужского отдела нашего...

— Да уж ладно, ладно, — остановила Слободкина Лена. — Какие теперь праздники?

— А цветы откуда взялись? С неба? — спросил Сергей.

— А цветы действительно с неба, — за всех ответила Лена. — Асоян сегодня из Еревана прилетел. Он у нас настоящий рыцарь.

Кто такой был этот Асоян, Слободкин не знал, но ему стало почему-то чертовски обидно, что не он оказался рыцарем. Сергею захотелось даже чем-нибудь уязвить слишком предприимчивого Асояна, и он не без издевки выпалил:

— Чудно все-таки!

— Что именно? — спросила начальница Лены, долговязая Вера Куцыбо.

— Для кого война, для кого красивые командировки...

— Зря вы так, — Вера строго посмотрела на Сергея. — Если не знаете... Одним словом, я бы на вашем месте...

— Не сердитесь, Вера, — сказала Лена, — он ведь действительно не знает. Объяснить ему?

— Объясните, — ответила Куцыбо.

— Цветы стоят тут только до вечера. — Челка у Лены упала на самые глаза, ямочка на щеке исчезла.

— Как до вечера? — не понял Сергей.

— Для госпиталя это, — пояснила Лена. — Пока довез, Асоян руки себе обморозил. Да и цветы еле дышат. «Возьмите, говорит, девочки, пока к себе, пусть отогреются».

Слободкин сконфуженно попятился. Куцыбо за всех сказала:

— Ну, хорошо, хорошо, прощаем. Прощаем, девочки?

— Прощаем, как новенького, — уточнила Лена. — Вы сколько тут? Месяц всего?

— Второй начинается, — еле слышно ответил Слободкин.

— Скоро привыкнете, — успокоила Сергея Куцыбо. — А если хотите исправиться, есть подходящий случай: проводите нас сегодня в госпиталь. Можете?

— Могу. Только я поздно освобожусь, ничего?

— Мы попросим, чтоб вас пораньше отпустили, — сказала Куцыбо. — По случаю нашего праздника.

— А что мы еще возьмем с собой? — спросил Слободкин. — Не с одними же цветами в госпиталь?

— Вот это речь уже настоящего мужчины! — Вера Куцыбо улыбнулась. — Глядите сюда!

Скрипнула дверь сейфа, в глубоком чреве его Сергей увидел десятка три аккуратно сложенных свертков.

— Развернуть? — спросила Куцыбо, взвесив на ладони один из них.

— Не надо, — сказал Слободкин, сглатывая слюну. — Вижу и так — подготовились как следует.

— Так и быть, поясню, — продолжала Вера, — чтоб не ломал человек голову над тем, откуда разносолы такие. Подарки эти ко дню Восьмого марта, Сережа. Всем женщинам всех отделов. В одном сейфе уместились.

— Хорошие подарки, — смущенно сказал Слободкин.

— Не знаем, врать не будем, не пробовали, — ответила Вера.

— Пахнут вкусно.

— Поэтому мы и упрятали подальше, — созналась Куцыбо. — Работать же нужно!

Слободкину действительно удалось в этот день освободиться раньше обычного. По торжественному случаю девчата раздобыли в управлении делами машину, и уже в восемь часов вечера он вместе с ними шел из палаты в палату подшефного госпиталя. Оказалось, что все его спутницы были тут своими людьми. Со всех сторон только и слышалось:

— Держава идет! Державе почет и уважение! Как всегда в полном составе? А это кто с вами?

— А это наш новый работник, — за всех на правах начальницы отвечала Вера Куцыбо. — Познакомьтесь — Сережа Слободкин. Тоже фронтовик.

У Сергея уже болела пятерня, а ее все жали и жали — десятки родных, опаленных боями рук. Лежащие требовали, чтобы он подошел к каждому из них по-

ближе, минутку посидел бы на краешке койки, ответил бы хоть на один вопрос.

Сергей давно заметил: раненый, особенно раненый тяжело, с любимым встречным, которого видит впервые в жизни, начинает говорить как с давним, хорошим знакомым. И тот обязательно должен ответить тем же, если не хочет человека обидеть. Сергей долго думал: почему это? Только сегодня понял: это тоска солдатского сердца. По дому. По отчему краю. Она копилась месяцами, годами. В окопах, в землянках. Но там были свои — своя рота, свое отделение. Почти как семья. И не «почти», а точно семья, и еще какая! Но вот все это оборвалось, рухнуло в тартарары. И когда обретишь вновь? И обретишь ли? И из дома ни весточки, ни полстрочки. Вот и тоскует сердце, рвется навстречу другому, может быть такому же истосковавшемуся, но с которым можно перекинуться словом — любимым, пусть на первый взгляд малозначительным, но в котором сказано больше, чем слышится.

— Ты откуда, кореш? — спросит солдат солдата. — Не с Полтавщины?

— Нет, не с Полтавщины. Из Гжатска. А ты?

— А я с Полтавщины, из Зеленого Гая. Знаешь такой?

Вот и весь разговор. Всего несколько слов. Но каких! По имени назван уголок земли, милый с далекого детства или с юности, теперь уже тоже не близкой...

— Откуда ты, парень? — в десятый, в сотый раз спрашивали сегодня Сергея то в одной палате, то в другой. — Не с Брянщины? Не курский ли? Не из Питера?

И вот уже в который раз Слободкин отвечал:

— Не с Брянщины. Не курский. Не из Питера. Москвич я, хлопцы...

Отвечал почему-то так, словно стыдно ему было перед теми, кого судьба занесла далеко от родного дома.

Из госпиталя возвращались поздно, переполненные впечатлениями от всего увиденного там и услышанного. Шли по темным улицам примолкшие. Каждый думал о своем, наболевшем. У каждого был кто-то на фронте, от кого-то давно перестали приходить письма, о ком-то наводили справки, надеялись и уже теряли надежду. Там, на работе, девчата как-то держались, стараясь забыть о личном, и забывали, увлеченные делами, долгом. Сейчас раскисали. Сергей это ясно видел.

Вот Лена Лаптева, например, из самой шумной сде-

лалась вдруг самой тихой и оттого совсем крохотулей. Брат у нее танкист. С самого начала войны -- ни звука.

Вся съежилась, сгорбилась дылдушка Вера Куцыбо. У нее двое старших братьев служили на самой границе и пропали без вести.

У Люды Кисловой, которая семенит все время позади всех, недавно погиб отец.

Не знает ничего Слободкин только о Нине Бахтюковой. Но и у нее, наверное, не сладко на душе — все вздыхает, вздыхает...

Сергей приглядывается в темноте то к одной, то к другой из девчат, сам невеселый, как никогда, и съежившийся вроде Веры Куцыбо. Кавалерийская, доставшаяся в госпитальной каптерке шинель когда-то была в самую пору, сейчас ерзает по спине. За воротом чуть не сугроб намело. Сергей старается распрямиться, обрести десантную статью, шинель противно вздувается пузырем. Если бы не ремень, перехвативший тело двойным обхватом, сорвало б ветром шинелишку.

Пятеро молча продолжают шагать по темной, холодной Москве. Пока им всем по пути — они вроде бы единое целое. Но вот на каком-то углу остановятся, кто-то из девчат первой станет прощаться с подругами и с ним, Слободкиным. Уйдет в крошечную тьму, останется наедине со своим горем, например, Люда Кислова. Но пока они рядом идут, чуть ли не в ногу. Последний снежок зимы, поскрипывая, отсчитывает шаги — легкие, девичьи, еле слышные, и его, Слободкина, четкий шаг. Кирза о кирзу, кирза о кирзу, как в строю...

Наконец какой-то большой перекресток. Остановились. Смотрят друг на друга. Кому сворачивать?

— Тебе, Люд?

— Мне не скоро еще.

— Значит, тебе, Вера.

— Мне. Ваши пять! — как можно более равнодушно и даже беспечно отвечает Куцыбо, но голос ее становится вдруг тонким-тонким.

— Давайте проводим начальницу! — неожиданно для самого себя предлагает Сергей.

— Что вы! — отмахивается Вера. — Мне отсюда не так далеко. И вообще... Вот у Нины кончик! Замерзла, Нинуль?

Куцыбо тормозит Бахтюкову, — видно, рада-раदेशенька предложению Сергея, но сознаться, конечно, не хочет, она ведь и в самом деле «начальство».

Нина молчит. И замерзла, и устала, и скрыть этого не может. Все вообще давным-давно уже еле ползут. Слободкину только кажется, будто в ногу шагают. У него самого налиты свинцом сапоги. Но теперь уже не отступит.

— Так как же, проводим Веру, девочки?

— Проводим!

— Да будет вам! — смущенно фыркает Куцыбо. — Если уж провожать, так... всех!

— Вот это совсем другое дело! — подхватывает Лена Лаптева. — Всех, кроме меня, конечно.

— И кроме меня, — подает наконец голос Нина Бахтюкова.

— Какое там «кроме»? Все провожают всех! — подводит итог дискуссии Слободкин. — Сейчас выработаем маршрут, график составим...

Пятеро идут по Москве. Пятеро не чувствующих под собой ног, но уже не таких голодных, не таких уставших, не таких обессиленных. Пятеро дружных, спаянных, шагающих опять молча, но рядом, плечом к плечу, и, как кажется Слободкину, в ногу. «Нет, теперь не кажется, а точно — в ногу! Хорошо придумал! — сам себя хвалит Сергей. — Мудро, толково! Всю ночь будем идти, а все равно мудро. Да и почему всю ночь? Не всю уже, половину только. Меньше даже. Будет по крайней мере что вспомнить потом. И мне, и девчатам. Маму вот только будить придется, но я тихонечко буду стучать, чтоб хотя бы соседей не потревожить. Им тоже вставать чуть свет».

Пятеро идут по ночной Москве.

Четверо идут по ночной Москве.

Трое идут по ночной Москве.

Двое еле-еле тащатся по самой окраине все еще темного, но уже проснувшегося города...

Эти двое — Слободкин и Лаптева.

— Меня дальше не провожайте, Сережа, — сказала Лена на какой-то развилке. — Даже разгонная машина на этом углу останавливается, дальше дорога плохая.

— И вы хотите, чтобы я бросил вас именно здесь? Ни в коем случае! Теперь до самого-самого!

Пока их было пятеро, пока их было четверо, пока их было трое, они шагали рядышком. Оставшись вдвоем, вдруг отошли друг от друга. Впрочем, это дли-

лось недолго. Поскользнувшись в одном месте, Лена спросила:

— Вы стесняетесь, да?

— Откуда вы взяли?

— Я вижу, стесняетесь.

Чтобы разубедить Лену, Слободкин взял ее за руку. Так они и шли, как первоклашки, только изредка разъединял их какой-нибудь фонарный столб, возникавший во тьме неожиданно. Потом руки их уже сами искали одна другую, а отыскав, сплетались крепче. Мороз под утро усилился, ветер стал порывистый. Весна уже наступила, но зима еще длилась.

— Замерзли? — спросил Сергей, когда пришло время прощаться.

— Немножко, — призналась Лена. — А вы?

— Еще меньше. Чуть-чуть...

— Вот и неправда, — перебила Лена. — А зуб на зуб у кого не попадет?

— У меня?

— А то у кого же? И вместо пальцев сосульки.

— И у вас.

— Я дома уже.

— А я сейчас короткими перебежками — и согреюсь.

— Нет уж, — строго сказала Лена, — никуда я вас не отпущу. Подыметесь ко мне, выпьете стакан чаю, тогда пойдете.

Слободкин усмехнулся:

— С тортом?

— Какой может быть разговор? С этим, как его... — Лена пыталась вспомнить название какого-нибудь торта, но ничего у нее не получалось.

— С «миндальным»? — подсказал Сергей первое попавшееся.

— Нет, что вы! Я объелась «миндальным» на выпускном вечере перед самой войной и больше терпеть его не могу!

— Ну, тогда с «поленом».

— Угадали! Только с... еловым. И топить самому придется, учтите, а печка у меня дымит...

В комнате Лены стояла железная печурка. Горстка маленьких, как кегли, дровишек лежала в углу. От них исходил одуряюще вкусный запах хвои, словно в комнате всю зиму стояла елка.

— Вам нравится у меня? — спросила Лена.

— Очень!

— Тогда --- за работу!

Пока хозяйка что-то искала в шкафу и звенела посудой, Слободкин растопил печурку и понял, как правильно поступил, приняв приглашение Лены. По всему телу его начала распространяться сладкая истома. Опустившись на колени перед огнем, Сергей смотрел на его острые сине-желтые, медленно распрямлявшиеся травинки и уже не имел ни сил, ни желания сдвинуться с места.

Поставив чайник на конфорку, Лена устроилась рядом со Слободкиным. Сине-желтые стебельки огня росли теперь перед ними двумя, бросая зыбкие блики на лица, отражаясь в двух парах глаз.

О чем думали сейчас эти двое? Каждый о своем, конечно. А может, ни о чем? Такое тоже бывает. Напряжение, нервы, постоянные заботы, тревоги — и вдруг разрядка. Ничего больше не нужно, никто никуда не зовет, не торопит, никто ничего не требует. Можно стоять вот так на коленях перед синими, желтыми стебельками огня, просто любоваться ими, просто греться возле них и ни о чем, решительно ни о чем не думать — ни о том, что надо будет подняться и одному опять идти через всю Москву, только в обратном направлении, другой — остаться в комнатухе, наполненной призрачным, летучим теплом, которое продержится тут недолго — исчезнет сразу же, как закроется дверь за этим человеком...

— Вам хорошо? — еще раз спросила Лена, и узкая ее ладошка чуть коснулась плеча Сергея.

— Да...

Он сидел, боясь шелохнуться, не зная, как поступить с этой рукой --- робкой, тихой, доверчивой...

Так прошло минуты две или три. Или, может быть, чуть больше. Потом Слободкин тихонько освободился, чтобы нагнуться, подбросить дров в огонь, который, впрочем, и так горел теперь достаточно ярко.

Прошло еще несколько минут. Сергей заталкивал в открытую дверцу печурки одно полешко за другим. Чтобы удобнее было это делать, он вовсе отодвинулся от Лены, приблизился к огню, почти вплотную. Лицо его пылало, глаза блестели.

— Сережа, у вас есть девушка, да? — спросила Лена почему-то очень громко.

Слободкин едва заметно кивнул.

Они помолчали.

Потом Лена спросила опять неестественно громко, словно они были не в крохотной комнатке, а на шумной улице:

— Далеко?

Сергей кивнул снова.

— Как ее зовут?

— Ина.

— Она счастливая, ваша Ина, — сказала Лена после новой паузы.

— Вам так кажется? — Сергей посмотрел на Лену удивленно.

— Не кажется — знаю теперь совершенно точно.

— Теперь?

— Да, с сегодняшней ночи.

«Как странно она на меня посмотрела! К чему бы это? Разве поймешь этих девчонок! Но до чего же она все-таки похожа на Ину! А что, если поцеловать ее за это? И поцелую сейчас. Возьму, сосчитаю до трех и поцелую. Нет, отставить! В другой раз как-нибудь. Или поцеловать все-таки? В щечку? Один. Два. Два с половиной...»

— Что вы там бормочете себе под нос, Сережа?

— Я? Да вот... считаю, сколько дровишек осталось.

— Вы сказали «два с половиной».

— Правда? Смешно!..

— А когда война кончится, вы... поженитесь? Да?

— Н-не знаю... А что? Да и когда она кончится? Вы как думаете?

— Одни говорят — к осени, другие...

— Ой, Лена!.. — Слободкин поглядел вдруг на часы и вскочил. — Что думает мать о своем сыне?

— Простит, если сын не забудет поздравить ее с праздником.

— Лена, Леночка, что я наделал! И маму не поздравил!

Лена помолчала, потом, поднявшись на цыпочки, провела ладошкой по ежику волос Сергея.

— Будем друзьями, Сережа?

— Я думаю, что мы уже друзья.

— Тогда возьмите вот это. — Лена извлекла откуда-то из темноты плоскую, слежавшуюся веточку мимозы, расщепила ее на две ровные половинки и одну из них протянула Сергею. — Пусть у мамы вашей будет праздник.

...Как ни спешил Слободкин, как быстро ни прыгал с одной попутной машины на другую, матери дома он уже не застал. На столе рядом с тщательно укутанным в одеяло чайником он нашел записку: «Сынуля! Где же ты? Изождалась совсем. Все работаешь? Когда же отдохнешь? Нельзя так, Сереженька, один ты у меня».

Чай был горячий. Сергей пил обжигаясь, отодвинув в сторону маленький кубик сахара. Пил и почему-то вспоминал о том, как однажды мама заснула... в блюде. Давно это было, но он до сих пор помнит, как она, смеясь, рассказывала: «Села я чаевничать одна — вас с отцом дожидалась. Вы оба в трехменке работали, часто возвращались поздно. Придете, бывало, усталые, вам уже не до ужина. Вот и решила я хоть разок дожидаться, накормить вас. Сижу за полночь, распиваю чай. Час не сплю, два не сплю, три. Будильник все тише и тише тикает. Потом вдруг слышу — звонок в дверь. Бегу отворять, а одна щека у меня мокрая, в чайниках, — та, что в блюде лежала...»

Сергей так ясно увидел сейчас перед собой эту материнскую щеку, что невольно провел рукой по своей, обросшей за ночь и жесткой от усталости.

На комоде все громче и громче стучал будильник, деловито показывая стрелкой на свернутую кренделем цифирку. «Неужели восемь? Скорей на работу! Если очень поторопиться, то можно еще успеть».

Когда мать вернулась домой, ее тоже ждало послание: «Мамуль! С праздником тебя! С прошедшим! Извини, проморгал. Нюхай мимозку, жди — сегодня обязательно раньше вернусь, и мы с тобой 9-го отметим 8-е. Ладно? Не сердишься?»

Сергею действительно удалось возвратиться домой немного раньше обычного. Мать не очень верила обещанию сына побыть с ней хоть один вечер, но спать не ложилась — накрыла на стол, вскипятила чай и ждала. В самом центре стола в простенькой, знакомой Сергею с детства стеклянной синей вазочке красовалось желтое перышко мимозы.

Если бы Сергей догадался, что на диковинный цветок этот успело за вечер налюбоваться чуть не все население дома, он, наверное, пришел бы в смущение и, может быть, даже рассердился на мать, но она, зная характер сына, сделала из этого тайну. Всех соседей заранее выпроводила еще и потому, что чувствовала,

как хочется Сереже побыть с ней вдвоем, чтобы ни одна живая душа не мешала им поговорить друг с другом.

Да, да, поговорить обо всем. Именно об этом мечтал Сергей уже давно и даже не знал, какие слова скажет матери.

Так мечталось. Но на деле вышло все по-иному. Нет, он не стал менее внимательным и любящим сыном, не забыл тех слов, которых так ждет материнское сердце. Просто слова стали вдруг лишними, потеряли смысл, утратили истинное свое значение. Все вместе и тем более каждое в отдельности. Мать, слава богу, поняла это с первой минуты их маленького праздника. Они молча пили чай, молча поглядывали то друг на друга, то на Сережину детскую фотографию, висевшую на стене, то на веточку мимозы...

— Отчего так бывает, мам? — спросил наконец Сергей. — Не виделись так долго, трудно и сосчитать — сколько. После моего приезда поговорить толком до сих пор не было времени, а вот сегодня, когда у нас впереди весь вечер, сидим и молчим. Ты молчишь, и я все слова забыл...

Мать съежилась, поднесла к глазам край фартука и закачала головой — опять молча.

— Ну вот, мам... я испорчу тебе весь праздник своими нелепыми вопросами.

— Нет, нет! Говори, говори, сынок. Я слушаю...

Сергей положил руку на материнское плечо и почувствовал, как оно дрожит — мелко и безостановочно.

— Что с тобой, мам? Обидел кто-нибудь? Нездорова?

— Никто не обидел, здорова. От счастья это, сынок. Вот реву, а глаза счастливые, посмотри...

Она встала, подошла к зеркалу, заглянула в него.

— Только красные. Это от работы, сынок. Устанешь иной раз, они и... Это пройдет сейчас.

Она вернулась к столу, долила в стакан Сергея горячего чая, пододвинула поближе к сыну крохотную баночку с его любимым земляничным вареньем.

— К дню рождения твоего берегла. Засахарилось, но пахнет лесом, понюхай.

Сергей наклонился над баночкой.

— Вкуснотища! А может, не будем, мам, подождем до лучших времен?

— Да каких лучших? Я же знаю, ты весь уже там.

Ждешь не дожدهшься того часа, когда воротишься в свой десант, так, что ли?

— Ну, это не скоро еще, мам...

— Не лги. Я же чувствую, что ты задумал. В каждом слове твоём чую. Ты и не замечаешь, как говоришь: «У нас в первой», «У меня в отделении», «Кузя уже в бою». Я все понимаю. Даже про завод свой вспоминать перестал. То, бывало, Зимовец, Зимовец, а то и о нём молчок.

— Да что ты, мама! Да откуда ты взяла? Зимовец мой самый близкий друг, такой же, как Кузя, я его никогда не забуду, даже там.

— Вот-вот! Я и говорю: все мысли твои только там. Как в ЦК твоём на это смотрят?

— А я сюда вызван зачем, думаешь? Настанет день, придет час, пригожусь в своём главном деле. Так сразу договорились.

— Ах, Сережа, Сережа! Что мне делать с тобой? Работа у тебя хорошая, мать рядом. Чего тебе нужно, чего не хватает? Воюй в тылу. Зря, что ли, в лозунге сказано: тыл — это тоже фронт.

— Мам, как раз к этому я и стремлюсь — в тыл, понимаешь?

— Тебе все шуточки. Вот возьму сейчас и разревусь. Уже по-настоящему, не остановишь, учти.

— Это не разрешается, мам. Ты у меня сильный, мужественный человек. Я горжусь тобой. Ине про тебя написал.

— Ты же адреса её не знаешь, сам говорил...

— Не знаю, говорил. Но письмо написал. Отправить только пока не могу.— Сергей дотронулся до кармана гимнастерки, в котором при этом легонько хрустнул многократно сложенный лист бумаги.— Давно написал уже. Может быть, когда-нибудь прочитаю тебе.

— Прочитай сейчас, сынок.— Мать поглядела на Сергея умоляющими глазами.

— Только не сегодня, мам. Я ведь тороплюсь опять — в двенадцать заступаю на дежурство. Потому и раньше пришел. Машину даже пришлют.

— Ну вот, я сказала, что сегодня наш праздник...

— Это и был праздник, мам. Извини, что такой короткий.

Всю ночь сидел Слободкин за столом со множеством телефонов — с дисками, без дисков, с голосами то громкими, то тихими, то вообще еле слышными. Парень, которого Слободкин сменил на дежурстве, объяснил ему все подробно, и первое время дело шло нормально. Но когда зазвонил самый главный, Слободкин вдруг растерялся, схватил не ту трубку, потом ту самую, но уже после того, как внутри нее раздались частые гудки.

Научившись кое-как различать аппараты, Слободкин ведет себя спокойней, уверенней. Ему даже кажется, что он действительно что-то значит тут, кому-то может быть полезным. «Алло, алло! — кричит он. — Москва слушает, говорите!» — и необыкновенным чувством наполняется все его существо. Шутка ли? Москва слушает! Говорит Москва! Понимаешь ли ты, Слободкин, на какую вышку вознесла тебя судьба этой ночью? За всю столицу можешь слово молвить. Слушайте все! И вы, пионеры Амдермы, собравшие оленьи панты для лекарств. И вы, далекие сибиряки, отправившие эшелон с хлебом рабочим Урала. И вы, комсомольцы Саратова, построившие самодельный комбайн. Как, как вы назвали его? Громче, громче, по буквам давайте! Записываю. Константин... Роман... Анна... Сергей... Николай... Ольга... Дарья... Еще раз Ольга? Еще Николай... Елена... Цапля. Все? Краснодонец? Молодцы! Кто говорит? Дежурный говорит. Ответственный дежурный. Да, ответственный. Слободкин. По буквам? Пожалуйста... А насчет названия — молодцы! Правильное, говорю, название дали — «Краснодонец». В «Комсомолке» про Краснодон здорово! Ваше сообщение тоже отправить в газету? Кто передал? Тоже дежурный? Ах, тоже ответственный. Понятно. Давайте по буквам, порядок есть порядок...

Настроение у Слободкина становилось все более приподнятым, даже торжественным. Он вдруг с необыкновенной отчетливостью увидел перед собой всю страну, не смыкающую глаз ни на миг. Страну огромную, на одном конце еще ночь, на другом день в самом разгаре. Страну богатырскую, полную неистребимых сил. Страну героев, самых настоящих, хотя иногда и незаметных, но воюющих, собирающих панты для лекарства, строящих комбайны, отправляющих эшелоны для голодных.

А вот этот, которого только что соединили с Москвой? Не спит всю ночь, дожидается своей очереди, чтобы сказать всего несколько слов!

— Фрунзе говорит! Молодежи столицы барашка шлем. Много-много барашка, целый десять вагон. Встречайте. Много-много барашка...

Как-то незаметно, исподволь эта беспокойная ночь превращалась в одну из самых прекрасных ночей Слободкина. Как бы это маме объяснить? Не объяснишь ведь. Слов не найдешь. Зимовцу и тому не втолкуешь, пожалуй.

В шесть утра сменить Слободкина пришел Николай Силуянов, парень с чуть подслеповатыми, словно заспанными глазами. Впрочем, сегодня глаза были именно заспанные.

— Прямо с корабля на бал? — сочувственно спросил Сергей позевывающего Николая.

— Ага! На стульях поспал часа три у себя в отделе.

Слободкин раскрыл перед Силуяновым «вахтенный» журнал, стал рассказывать о ночных звонках. Последняя запись заинтересовала сменщика особенно:

— Дай-ка! Дай-ка! Это же здорово, дежурный! Чувствуешь, как дело закручивается? Читал в «Комсомолке» очерк «Сердца смелых»? Котова и Ляковского?

— Читал. Все читали, — ответил Сергей.

— Мы раскопали, — с гордостью сказал Силуянов. — Наш отдел. Сперва сами все, как надо, разведали, потом из редакции двух толковых парней снарядили. Пусть вся страна о краснодонцах знает, весь мир. Зайди как-нибудь к нам — и сам убедишься: герои!

Слободкин сказал, что зайдет при первой возможности.

— Когда только? Здесь у вас похлеще, чем на моем заводе, — аврал на аврал налезает, смена на смену.

— Так ты из армии или с завода? Военный или гражданский?

— Сам теперь не пойму, — сознался Сергей. — Все перемешалось в моей судьбе, всего помаленьку отведал.

— В госпиталях побывал? — поинтересовался Силуянов.

— Побывал. А ты?

— И я тоже.

— А сюда как?

— Прямо из батальона выздоравливающих. «По-

работай, говорят, немного, пока раны как следует заживут,— месяца два-три». Целый год вкалываю.

Силуянов еще раз посмотрел записи, сделанные в журнале, и спросил:

— Ты завтра вечером что делаешь?

— Не знаю еще,— ответил Сергей.

— Приходи в двадцать ноль-ноль в конференц-зал. Мы встречу с Вале́й Борц проводим. Через все краснотонка прошла. Через горе, через огонь, через смерть. Пусть наши послушают, полезно будет. Я тебе по совести скажу, у нас тут кое-кто не нюхал войны настоящего.

— Молодые еще,— сказал Слободкин.— Лёну Лаптеву знаешь? И вообще их девчачью державу?

— Лёна-то как раз молодцом. Боевая. Да и подружки у нее подходящий народ.

— Кто же тогда? — удивился Сергей.

— Может, личностей и не назову. Каждый в отдельности ничего вроде. Один ничего, другой ничего, а в целом, как бы тебе объяснить? Ну, в общем ты прав, от молодости это. От неопытности. Мы с тобой старики в сравнении кое с кем. Согласен? — спросил Николай.

— Кое-что видели, конечно, но только с самого краешка.

— И со срединки видели. Чего скромничаешь?

Силуянов захлопнул журнал, поглядел на часы.

— А отдыхать ты собираешься после дежурства? Или прямо в отдел?

— Прямо в отдел,— ответил Слободкин.— Отоспимся когда-нибудь. А за приглашение спасибо.

* * *

Часы показывали без пяти восемь, когда в зал, вместе с каким-то военным, вошла белокурая девушка — хрупкая, бледная, на вид чуть не школьница. Вошла, робко посмотрела вокруг, встала у спинки одного из стульев за столом президиума.

«Так вот она какая, знаменитая, легендарная Валя Борц! — подумал Слободкин.— Девчушка совсем!»

Когда утихли аплодисменты, в президиуме появилось еще несколько человек. Ни одного из них Слободкин не знал в лицо. Сопровождавший Валью военный подошел к трибуне, представил собравшимся гостью,

хотя в этом уже не было никакой необходимости, начал говорить о Краснодаре, о подвиге молодогвардейцев. Его слушали, но смотрели только на белокурую девушку. Заметив это, оратор скоро прервал свою речь, покашлял, переступил с ноги на ногу.

— Валя, все хотят, конечно, услышать вас. Для этого и пришли, отложив все дела. Правильно я понял? — обратился военный к залу.

— Правильно! — сказал кто-то из дальнего ряда.

Валя смущенно поднялась. Сделала несколько шагов к трибуне, но не дошла до нее, в нерешительности остановилась.

— Отсюда можно? Я несколько слов всего. Основное все уже известно. В «Комсомольской правде» написано. Что могу добавить? Я горжусь своими друзьями. Олегом Кошевым, Сережей Тюлениным, Ваней Туркеничем, Улей Громовой, Любой Шевцовой. Всеми, с кем свела судьба. Мы благодарны коммунистам, которые помогли нам. Помогли выстоять, не дрогнуть. Откуда у ребят взялись силы? Я и сама не знаю, но силы были до самой последней минуты. Вот наша клятва, я повторю ее вам, можно?

Руки Вали вытянулись по швам, она стала еще более бледной.

— Перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом Родины, многострадальной земли, перед лицом своего народа клянусь: беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшими товарищами. Хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в «Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати героев-шахтеров. И если для этой мести потребуются моя жизнь...

После этих слов Валя загнулась. Кто-то из сидевших рядом с ней потянулся к графину с водой.

— Нет, нет, ничего, — остановила его девушка. — Я сейчас. Извините... И если для этой мести потребуются моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний.

Словно повинувшись какому-то знаку, все сидевшие в зале поднялись со своих мест. Стоя выслушали последние слова клятвы молодогвардейцев:

— Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого пока-

рает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть!..

Валя опустилась на пододвинутый ей стул, но все собравшиеся еще долго продолжали стоять.

Слободкин смотрел на Валю неотрывно, стараясь запомнить ее лицо навсегда. Ведь перед ним была действительно героиня, совершившая со своими друзьями подвиг, равного которому он не знал. Откуда такая смелость, такое беззаветное мужество? Ведь школу еще не окончили. Может, только в районном тире стреляли в фанерного Чемберлена, иные и того не успели. И вдруг сразу, без всякого перехода от детства к юности, от юности к зрелости, стали негибкими, непобедимыми. Как понять это? Как постигнуть?

Сергей неожиданно заметил, что сидит рядом с каким-то совершенно седым человеком, тоже внимательно разглядывавшим Валю Борц. Когда из президиума спросили, хочет ли кто-нибудь выступить, сосед Слободкина поднялся первым. Он в задумчивости пошевелил пальцами белые волосы, медленно подошел к трибуне.

— Фадеев,— шепнул кто-то за спиной Слободкина.— Писатель.

— У меня, товарищи, так же, как, очевидно, у всех в этом зале, вот тут творится такое,— Фадеев положил руку на грудь,— что не могу не сказать нескольких слов. Спасибо вам, Валя, за то, что вы такая, как есть. За то, что друзей себе верных выбрали. Поверьте, я кое-что видел в жизни, знаю, что такое выбрать друга.

Фадеев чуть заметно улыбнулся, отбросил белую прядь.

— Вы видите, я немолодой человек. Столько, сколько вам сейчас, Валя, мне было в годы гражданской войны. Посчитайте! Самый главный урок, который я вынес за свою жизнь, вот какой: все в конечном счете зависит от того, с кем ты, среди кого ты и ради кого. Стоило ли так долго ходить по земле, чтобы прийти к такому заключению? — спросит кто-нибудь. Отвечаю категорически: стоило! Ни о чем не жалею! Не жаль бессонных ночей у партизанских костров. Не жаль трудных лет, в том числе и самых трудных сегодняшних. Ничего, решительно ничего не жаль. Больше того — если пришлось бы пройти всю дорогу снова, прошагал бы, уверяю вас, со счастливо бьющимся сердцем. С таким, какое сейчас стучит в груди. Еще и еще раз

спасибо вам, милая Валя! Вам и всем друзьям вашим. Душевное спасибо от нас, стариков. Всем своим товарищам расскажу о подвиге «Молодой гвардии». И при первой возможности приеду в Краснодар. О вас же книги надо писать! Книжки! Журналисты молодцы, быстро и хорошо откликнулись. Мы, писатели, в долгу перед вами. Вот в таком, совершенно невылазном долгу!

Когда Фадеев сел на свое место, кто-то из президиума негромко сказал:

— Вам, Александр Александрович, тут бы и карты в руки! Мы помогли бы вам всеми силами, всеми средствами. Так, что ли, товарищ Силуянов?

— Александр Александрович свой человек в ЦК, — слышался откуда-то из глубины зала голос Силуянова. — Все, что надо, конечно, сделаем.

Фадеев смущенно кивнул несколько раз.

Слободкин видел, как напряженно-внимательно слушал писатель всех, кто поднимался после него на трибуну, как быстро бегал по страничкам распахнутого блокнота его карандаш. Сергей заметил даже, что блокнот кончился быстрее, чем завершилась эта взволновавшая всех встреча. Кто-то протянул писателю свою записную книжку. Он взял, поблагодарил одними глазами — добрыми, умными. Такими и запомнил эти глаза Слободкин и залюбовался человеком, с которым был знаком только по книгам. А Фадеев все писал, писал... Может, это были первые строки будущего романа о краснодонцах? Слободкин не знал этого, как, может быть, не знал еще и сам писатель.

Потом Валя Борц окружили десятки людей. Одни задавали вопросы. Другие просто стояли рядом, пожимали Валину руку. Кто-то записывал Валин адрес.

Подошел и Фадеев. Он терпеливо дождался, когда Валя смогла двинуться к выходу, пошел с ней рядом, отбрасывая назад поминутно падавшие на глаза волосы. Слободкин, не решаясь обогнать, шагал следом по длинному коридору, становясь невольным свидетелем разговора писателя с Валею.

— ...И вы отправились вдвоем с Сережей Тюлениным, когда было принято решение уходить из Краснодона? — спросил Фадеев. — В самый разгар зимы?

— Да, — ответила Валя. — И Олег. И другие. Все, кто еще не был к тому времени схвачен. Надо было срочно пробираться к своим, к партизанам, — в Россошь, Каменск, Тарасовку, в станицу Метякино, в лес...

— А Тося? Тося Мащенко? Я не успел ничего записать о ней.

— Тося с мамой осталась. Больная она у нее. И потом морозы ударили — крещенские, лютые.

— Да, конечно, замерзла бы, — сказал Фадеев.

— Нет, не замерзла бы, — ответила Валя. — Я ей бурочки свои предложила.

— Бурочки? — переспросил писатель. — А вы как же? Сами-то?

— Я-то вытерпела б как-нибудь. В крайнем случае по очереди отогревались бы. Но она не пошла. Только не подумайте, Александр Александрович, что испугалась. Тося очень хорошая девочка. В маме все дело. В ней, я точно знаю...

Фадеев отечески потрепал Валю по плечу.

— Ах, Валя, Валечка! Светлый, серьезный, гуманный наш человек! Ничего, что я так называю вас?

— Что вы... — Девушка была смущена, но старалась не показать этого. — Нет, правда, Александр Александрович, Тося очень-очень хорошая...

Коридор кончился. Слободкину надо было через лестничную площадку идти дальше, в другую часть здания, Фадеев и Валя, сопровождаемые группой работников ЦК, пошли вниз. Сквозь сетку, ограждавшую шахту лифта, Сергей, обернувшись на ходу, еще раз увидел Фадеева и Валю Борц. Отсюда, сверху, Валя казалась совсем маленькой, не выше Лены Лаптевой.

Сергей пожалел в ту минуту, что так быстро закончился этот вечер, что он, может быть, никогда больше не увидит Валю, Фадеева, не услышит их. Конечно, он всегда будет помнить все, чему был сегодня свидетелем.

«Интересно, напишет Фадеев о Вале и ее друзьях или не напишет? Хорошо бы написал, конечно. Он может». Сергей вспомнил «Разгром», который прочитал еще в школе. Его поразила тогда суровость страниц этой книги, умение автора заглядывать в душу человека и показать, как бывает душа высока и прекрасна. Слободкин так и написал тогда в сочинении, заданном Викторией Акимовной, и она, помнится, его похвалила, но то, что мужество в человеке — самая дорогая черта, он понял по-настоящему много позже.

И еще он подумал сегодня вот о чем. Мужество не на пустом месте. Оно передается людьми друг другу.

Как знания, опыт, правы, привычки. От поколения к поколению. От старших к младшим. Но как, как это все происходит? Вот Валя Борц — она же, как и многие, Фадеева видит впервые в жизни. Каким чудодейственным образом жезл эстафеты перешел из рук фадеевского поколения в руки Вали и таких, как она? Школа, семья, книги, комсомол, общество — все внесли свою лепту? Безусловно, внесли, все сыграли свою роль. Это, пожалуй, понятно. Но из чего рождается чудо, по тропе которого ученик уходит подчас дальше учителя? Это как объяснить и понять? Добросовестность и убежденность учителя? Нет, не то. Учитель не может быть недобросовестным и неубежденным: какой же он тогда учитель? Прилежание, чувство ответственности у ученика? Да, это уже точнее, ближе к истине. Вот Валя, например. Не случайно Фадеев сказал: «Серьезный наш человечек». Именно серьезный! Ну а «человечек» — это вовсе не уменьшительное, это от теплоты чувств, от благодарности Вале. Он конечно же ставит ее вровень с теми, с кем вместе провел тревожные ночи у партизанских костров. Может быть, и выше. Наверняка даже выше...

С такими мыслями возвращался сегодня Слободкин домой. Возвращался, как всегда, поздно, но мать не спала. После их ночного того разговора на сердце у нее с каждым днем, с каждым часом становилось все тревожнее. Она думала о сыне, о его судьбе. Что ждет его? А вместе с ним и ее? С тех пор как Сережа вернулся в Москву, у нее тревог не убавилось, а прибавилось. Их становилось все больше. Их и раньше было хоть отбавляй, но пока не видела сына, они стонали где-то внутри — больно и глухо. Сейчас переполнили все существо, выплеснулись. А сегодня почта еще письма принесла — треугольничком. Ни дать ни взять от дружка фронтового. Новые переживания, новые волнения. «Может, спрятать письмо до поры? Пусть спокойно работает, нервы не треплет. Нет, это будет совсем плохо, — может, человеку помощь какая нужна? Может, душу отвести хочет?»

Нераспечатанное письмо лежало на столе, на самом видном месте, и дожидалось Сергея. Вернувшись домой, он сразу его заметил и, не раздеваясь, кинулся к столу.

— Сереженька! На тебе же лица нет! Разденься, съешь чего-нибудь, а тогда и за письмо! Прошу тебя!

Мать мягко, но властно усадила Сергея, налила ему жидкой похлебки из черной с отрубями муки, а письмо взяла в руку. Другой рукой аккуратно сняла пилотку с головы сына, поерошила его давно не стриженный вихор.

— Мам, читай скорей, а! — нетерпеливо сказал Сергей. — От Зимовца ведь.

— А ты ешь.

— Я ем уже. Посмотри сразу же, какого числа отправлено?

Мать надела очки, раскрыла конверт, поднесла письмо к самым глазам.

— Числа нету...

— Не может быть, мам, дай-ка сам гляну.

— Нет уж, ешь, ешь, а то я рассержусь.

— Ну ладно, ладно.

Сергей нагнулся к тарелке, мать, продолжая ерошить его волосы, стала читать вслух:

— «Дорогой Слобода! Долго я тебя опять дожидаться заставил, извини. Все едем и едем. Но теперь недалеко, кажись. Впереди уже все гудит. Небо — красное. Куда завезли, одному богу известно, но когда мимо леса ползем, сквозь канонаду слышно, как соловьи надрываются. Голосистые, курских напоминают. Такие коленца откалывают!..»

— Мам! А ведь он гений, Зимовец! Смотри, как цензора вокруг пальца обводит. И тайну военную соблюдает, и другу намек дает. Улавливаешь? Он же где-то под Курском!

Мать перекрестилась, молча покачала головой.

— Ясное дело! Горячая в тех местах пора сейчас, мам. Мне говорил один человек. Вот-вот начнется заваруха, каких, может, еще не было с начала войны! Завидую Зимовцу! Вот кому повезло так повезло!

Мать перекрестилась снова. Слободкин посмотрел на нее очень внимательно. В последнее время он стал замечать все новые и новые перемены в ее характере, во всем облике. Не крестилась раньше. Теперь чуть что — крестится горько и суетно. А морщин все больше на лице, не разглаживаются ни на миг, мешки под глазами синие, набрякшие.

— Мам!..

Хотел спросить: «Что с тобой? Ты устала? Больна?» Не спросил. Только ласково провел ладонью по белой, низко склонившейся к нему голове.

— Мам, что там дальше-то?

— Вот и все, сынок. О соловьях только. Не дописал письмо, торопился. Мимо станции небось проезжал.

— Знаешь, кто ты есть, мам?

— Ну?

— Великий утешитель. Но ты права в общем-то. Такие люди, как Зимовец, не пропадают нигде, никогда. Он уже через такое пекло прошел! Я тебе не рассказывал?

— Когда тебе, сынок? Все молчком, молчком. Ты о себе-то...

— Ну, мам, мам, что ты! Я и писал тебе, и рассказывал. И о себе, и о Зимовце, и об Ине, и о заводе. Обо всем.

— Пока на заводе работал, письма хоть редко, но шли, верно. А как воротился, я тебя потеряла совсем. Не вижу, не слышу неделями, мучитель ты мой.

— Ты же знаешь, мам, как работы много. А ты сама-то? Я все собираюсь сказать тебе...

— Все собираешься...

Морщины на лице матери сделались еще глубже, мешки под глазами еще синей. Слободкину больно и стыдно. Плохой он сын, хуже некуда. Ведь действительно позабыл совсем мать. Все на первом плане у него, решительно все, кроме нее. Не годится так. Надо как-то находить время, выкраивать. Спать еще меньше. С работы бегом бегать. На работу бегом. Еще что? Записки писать чаще, подробнее? Да, и записки. Чаще, подробнее, каждый день.

— Мама, я виноват перед тобой. Все тороплюсь, тороплюсь. Буду стараться раньше домой приходить. С завтрашнего же дня... Нет, с завтрашнего не могу. С послезавтрашнего...

Мать опять запустила пальцы в волосы Сергея, потом ласково взяла его за ухо.

— Не будет этого, я же знаю. Вижу и понимаю все. Сама на работе. Мало внимания тебе уделяю. Времени нет. Где его взять, время-то? Никудышная у тебя мать, плохая совсем. И здоровье не то.

— Выглядишь ты хорошо, похудела только немножко.

— И побелела.

— Что ты! Ты же всегда была у нас с проседью. Чернобурочкой звали, помнишь?

— Не забыл? Звали... Ну, а что твоя Ина?

— Жду, надеюсь.

— Она, сынок, сыщется.

— Утешительница ты моя, спасибо тебе! У тебя рука легкая, я знаю.

— Любишь ее, да?

— Этого я никогда никому не скажу, мам.

— Ей-то скажешь ли?

— Ей сказал уже.

— Когда, сыночек?..

— Давно...

— А матери?

— У нее нет мамы. Совсем нет, понимаешь?

— Но у тебя-то есть. Что мне с тобой делать?

— Ты все знаешь, мам. Я писал тебе.

— Знаю только, что есть такая Ина. Вот и все. Нет бы посоветоваться с матерью, поговорить. Хоть бы карточку показал. Есть небось?

— Маленькая есть где-то.

— Не где-то, а на сердце носишь, вот тут. Ну, доставай, показывай свою красавицу.

Крошечная фотография легла на ладонь матери.

— Ну, давно бы так.

Мать снова надела спрятанные было очки, но и через них никак не могла разглядеть лица Ины.

— Не видно, мам?

— Видно, сынок, главное видно — любишь. Господи, как я рада за тебя, Сереженька! Без любви какая жизнь на земле? Люби, люби! Тебя любят, и ты люби. Тебя забыли — ты все равно люби, люби всегда. Я так понимаю. Только тогда человек человеком себя чувствует, когда любит, всем пожертвовать ради другого готов, даже жизнью. И жертвует, гибнет, а любовь остается. Понял что-нибудь?

— Все понял, мам.

— Ничего ты еще не понял, сынок. Но когда-нибудь поймешь. Узнаешь, оценишь, как любят матери, жены. Как сгорают дотла и об этом не жалеют. Лишь бы вам было хорошо — мужьям, сыновьям. Говорю тебе об этом потому, что ты у меня самый близкий человек. Если не тебе — кому же? Ищи, ищи свою Ину. Вот война кончится, как счастливо заживете-то! И я сердцем отойду, на вас глядя. Что говорят о войне? Я из цеха не выхожу.

— Капут фашистам скоро, мама. Но под Курском, видишь, все небо в огне. Да и в других местах. Жаркое

будет лето, жаркая осень. Только раз такие бывалые бойцы, как Зимовец, автомат в руках держат, не устоять Гитлеру. Сама понимаешь.

— Понимаю. Но войну начали тоже не новобранцы, солдаты опытные, а вон куда отступить довелось!

— Больше не будет этого, мам. Закалил нас тот огонь, не сжег. Теперь мы сила знаешь какая! Нету в мире больше такой. И немец это понял. Но оружия не сложит до последнего, это тоже понятно всем и каждому.

Они помолчали.

Мать поправила растрепавшиеся белые волосы, убрала очки. Сергей взял фотографию, аккуратно свернул треугольник письма, то и другое положил в карман.

— Мам, а я ведь действительно свинтус!

— Что такое, сын?

— Стыдно сказать даже.

— Говори, коли начал.

— В Москве живет мать Кузи, того самого, который тебе привет от меня привозил. Помнишь? Я ее даже не навестил ни разу — каждый день собираюсь и каждый день откладываю...

— Сереженька! Прости меня, старую! Памяти никакой! Я ведь сама как-то ходила к ней, да забыла тебе сказать.

— Правда, мам? Какая же ты у меня умница! Ну как она там? Здорова?

— Не застала, сынок. Только с соседями поговорить довелось. Эвакуировалась на Урал, куда-то вместе со своим заводом.

— Как со своим заводом? Она уже не работала, мам, у нее здоровье плохое. Ты не путаешь? Анна Тимофеевна Кузнецова?

— Анна Тимофеевна, не путаю. Через всю Москву добиралась к ней. Как писем от сына не стало, пошла она на свой старый завод. «Дайте, говорит, работу, хоть какую-нибудь». Взяли ее вроде бы на склад, инструментом заведовать. Она в этом деле профессор, рассказывают. На заводе том здоровье свое положила, на нем и силы воротились к ней. С заводом и уехала.

— Адреса не узнала, мам? Надо бы написать ей.

— Адреса никто из соседей не знает. Да, может, это и к лучшему, Сереженька? Что напишешь-то? «Сына вашего, Анна Тимофеевна, видел последний раз давно, и где он теперь, не ведаю». Так ведь?

— Так-то так...

— О чем я и говорю. Лучше уж помолчать, сынок, не тревожить материнского сердца...

Глава 6

Слободкину давно уже не снились сны. Во всяком случае, он не мог вспомнить, когда видел последний. Перед самой войной, в первой десантной роте? Там тревога за тревогой, броски да марши, учения да маневры. Какие уж там сны! На фронте? В окружении? В комарином болоте? В госпитале? На заводе? Под фугасом? В расшатанном ветром и взрывною волной бараке? Под кавалерийской, осколком битой и костром жженной шинелью?

Ну а дома? В Москве? Под родной крышей? Под лоскутным латаным, но все-таки еще греющим одеялом? Сны и здесь обходили Слободкина. Даже самые мимолетные. После вчерашнего разговора с матерью он вообще не мог уснуть. Вставал, бесконечно курил, пил воду, опять ложился, вертелся с боку на бок — ничего не получалось. Думы одна мрачнее другой одолевали его. О матери, старой и хворой. Об Анне Тимофеевне. Об Ине, такой близкой и такой далекой. О друге, слушающем сейчас, может быть, последних соловьев в своей жизни. О самом себе, наконец, о судьбе своей нерешенной...

И вдруг сон ему все-таки пригрезился. Именно в эту ночь. Да такой, что на другой день вспоминал его Сергей во всех деталях, во всех подробностях.

...Сперва увидел он старшину первой роты Брагу. Будто идет старшина по нагретому солнцем проселку Песковичей. Подворотничок белый, сапожки нарядны, взгляд лукавый. И песня над Брагой веселая, как дымок, вьется. В ногу со старшиной, чуть позади, вся рота топчет, все три взвода. Все ребята, в полный свой богатырский рост, из дорожной пыли вырастают. Кузнецов, Прохватилов, Исаев, Гилевич, Дашко, — словом, все до единого. Строй. Брага все старательней строевую любимую выводит — «Махорочку». И вся рота ему подпевает. Сергей тоже пытается подтянуть, но слова песни, известные от первого до последнего, остаются где-то в глубине груди, наружу никак не вырвутся...

Пыльная дорога кончается, за нею — снежная. Опять с Брагой во главе шагает первая рота. Песня уже молчит. Только десантное снаряжение позвякивает маршу в такт. На Кузнецове, на Прохватилове, на Исаеве, на Гилевиче, на Дашко.

Снежной дороге тоже конец. За ней — облака, облака, облака, сносимые ветром в одну сторону с куполами парашютов. Первая рота в воздухе. Все три взвода. Первым Брага рванул кольцо. За ним — Кузнецов, Прохватилов, Исаев, Гилевич, Дашко... Только себя никак не найдет Слободкин ни под одним куполом. А внизу то ли наша земля, то ли немецкая. То ли тыл, то ли фронт. Стрелы трассирующих пуль к парашютистам тянутся. Бьют по стропам, по куполам, прошивают огненной дратвой. Но вот десант приземлился. Обмякли, рухнули в снег погашенные опытной рукой шелка. Оказывается, ребята живы-невредимы все до единого. Подымается в атаку первая рота. Впереди всех — старшина. Все дальше идет по снегам. Кругом белым-бело — белые снега, белые комбинезоны, белые стрелы трассирующих пуль. Белое небо. За Брагой — остальные...

Потом происходит страшное. Стена огня, вставшего на пути роты, все плотнее, все выше.

Ни удаль, ни храбрость ее не берет, не выучка. Сгорает первая, сгорает дотла. Все три взвода. Дымится снег, шипят упавшие в него раскаленные автоматы. От одного к другому бойцу бежит Слободкин, каждого поворачивает к себе лицом, смотрит в еще раскрытые, но уже не видящие глаза. Только он и остался в живых. Только он один...

Не кончился страшный сон и с пробуждением: Слободкин раскрыл глаза, с трудом понял, где находится, но перед ним все еще дымился снег и шипела сталь...

Несколько дней подряд жил Сергей с этим ощущением. Что бы ни делал, чем бы ни был занят, мысль неизменно возвращалась к первой роте, к тому бою, в котором он потерял сразу всех своих друзей и товарищей.

Лена, встречаясь с Сергеем в коридоре или в столовой, не узнавала его, но ни о чем спросить не решалась.

На что уж редко говорил Сергей с матерью, но и она заметила, что с сыном творится что-то неладное. Виду, конечно, не подала, старалась вести себя, как прежде, но в душе ее росла и росла тревога. Перед самым уходом

на работу, как всегда, наклонится над спящим сыном, чтоб разбудить, а он, оказывается, не спит, хотя приехал домой под утро, всего два часа назад и свалился, не раздеваясь. Лежит, укрывшись чуть ли не с головой, а глаза такие, будто со вчерашнего дня не сомкнулись еще, — тревожные, воспаленные, не мигая глядят в одну точку.

— Сереженька, чай готов. Не забудь, попей. Хочешь, в постель подам?

— Что ты, мам! Я встаю уже.

— Все хорошо у тебя?

— Все хорошо, мам. А у тебя?

— Рану мне так и не показал.

— Зажила давно, мам. Рубец только остался. Рваный такой, некрасивый. Покажу как-нибудь. Сама-то не опоздай, восьмой час уже.

— А контузия?

— Контузии не было. Сколько раз говорить? Просто ушиб — и все. Прошло давно.

— А пальцы на ногах? Думаешь, забыла?

— Пальцы?

— Да, пальцы. К погоде болят?

— Немножко совсем.

— Ну вот! Хорошо, заставила носки теплые надевать.

Эти слова мать говорит уже с порога. Сергей ее не останавливает: не дай бог узнает, что связанные ею носки отданы в госпиталь, нынче же ночью примется вязать новые, распустив свой старенький шарф или последнюю кофту. И свяжет, конечно, к следующему же утру.

Едва закрывается за матерью дверь, Сергей вскакивает, наскоро одевается и спешит к окну, чтоб успеть, как всегда, помахать ей, еще раз увидеть ее сгорбившуюся фигурку. Отсюда, с высоты шестого этажа, мама кажется особенно маленькой, уставшей и совершенно больной.

* * *

В одну из ночей Сергей проснулся от еле уловимого стога. Несколько мгновений прислушивался, еще не понимая, что происходит. Потом спросил:

— Мама?

Мать не ответила, но в комнате стало совершенно тихо.

«Показалось», — подумал Сергей и попытался снова заснуть. Через некоторое время стон повторился. Теперь ошибки быть уже не могло. Вскочил с кровати, зажег свет, подбежал к матери.

— Мам, что с тобой?

Лицо матери было бледным, на щеках горели красные пятна. Глаза смотрели тускло, в них затаилась мука.

— Мама! Мамочка!..

Сергей схватил пузырек, стоявший на тумбочке, принялся отсчитывать капли.

Всю комнату заполнил терпкий, удушливый запах лекарства. Сергей растворил окно, в комнату ворвался холодный воздух. Но матери становилось все хуже. Слободкин начал стучать к соседям. Кто-то из них побежал на улицу, к автомату.

Через какое-то время внизу взвыла сирена и в комнате появились люди с носилками.

Врач пощупал пульс больной, посмотрел ей в глаза и сказал:

— Что же вы, Дарья Семеновна, подводите? А? Не хорошо. Разве мы так договаривались?

До сознания Слободкина не сразу дошло, откуда этот человек знает маму. Не обратил он сперва внимания и на то, как быстро приехала «Скорая» и как уверенно ориентировался в квартире доктор. Когда ему потребовалась чайная ложка, он не глядя, на ощупь, достал ее из ящика кухонного стола.

— Сын? — не оборачиваясь к Сергею, спросил доктор.

Кто-то за Сергея ответил:

— Сергей Александрович.

Слободкин вздрогнул — таким чужим, странным показалось ему сейчас собственное имя.

— Что с мамой? — спросил Сергей доктора.

Тот только пожал плечами. Пока санитары укладывали мать на носилки, он, незаметно оттеснив Сергея в угол, сказал:

— Я много раз предупреждал мамашу. Но она у вас знаете какая? Вы думаете, я один ее имя-отчество выучил? Любого врача в районе спросите, каждый скажет. И где живет Дарья Семеновна, найдет с завязанными глазами.

Сергею разрешено было доехать с матерью до больницы. Машина долго тряслась по длинным улицам и трамвайным переездам. Врач сидел у изголовья больной, то поправляя сползшее одеяло, то пробуя ее пульс. Она лежала с закрытыми глазами, не двигаясь. Щеки ее по-прежнему пламенели. Сергей несколько раз нагибался к доктору, спрашивал, не может ли чем помочь ему, тот отрицательно качал головой.

Наконец машина остановилась в больничном дворе. Когда санитары взялись за поручни носилок, мама на несколько мгновений открыла глаза, посмотрела на Сергея. Губы ее беззвучно шевельнулись. Она попыталась что-то сказать, но не смогла. Только подняла чуть-чуть правую руку, вяло махнула ею — одной кистью.

* * *

На войне Слободкин видел смерть близко — глаза в глаза. На его руках умирали ребята, с которыми породнился. Уходили из жизни самые дорогие друзья. Но таких утрат ему еще не приходилось переносить. Только теперь, потеряв мать, он понял, как бесконечно много значила она в его жизни. И как ничтожно мало он сделал для того, чтобы маме хоть немного легче жилось.

В одну из первых же сиротских ночей Сергей не смог остаться дома и, вспомнив, что ему давно уже предлагали койку в общежитии ЦК, перебрался туда. Комендант встретил его хорошо, а главное — ни о чем не стал расспрашивать. Дал ключ от комнаты и сказал, что, если будет холодно, можно взять сколько угодно одеял с пустующих коек, так как все жильцы пока в разъезде.

Убедившись, что в комнате никого, кроме него, нет, Сергей укрылся сначала двумя, а потом и тремя одеялами, но и под ними не мог согреться.

Он лежал с открытыми глазами, стараясь привыкнуть к темноте, но чем напряженнее всматривался во мрак, тем меньше видел. Он думал о матери и об окружающих ее в последнее время людях. Обо всех, кто поднялся на ноги в ту страшную ночь. Кто бежал к телефону, толпился у постели, пытаясь хоть чем-нибудь подсобить. Кто примчался на «скорой» по уже давно

изученному маршруту. Кто помогал матери в самые трудные дни октября сорок первого и позднее, когда Москве стало легче, но все еще тяжело, как и всей стране, даже еще тяжелее...

Правда, сколько ни старался Сергей, он долго не мог ответить себе на вопрос: почему Москве тяжелее, чем кому-либо? В тылу врага, в болоте, на заводе под бомбежкой, в ледяном бараке он видел картины, от которых до сих пор мороз по коже. И все-таки Москве тяжелее во много раз. Чем объяснить это? Мама говорила: «Москва есть Москва!»

Слободкин вспомнил эти слова, и странное дело — все встало вдруг на свои места.

Москва есть Москва! Ну конечно же в этом дело. Все смотрят на Москву, пример с нее берут, силы черпают. По ее горю свое горе меряют, с часами ее свои часы сверяют — об этом даже в песнях поется. А вот сколько завода в часах тех осталось, никто не знает. Ломидзе с картой в руках на днях рассказал ему, что было тут осенью, зимой сорок первого и потом. «Химки — это был уже фронт», — на всю жизнь врезались в сознание Сергея эти слова. Вспомнил, как вместе с Ломидзе водил пальцем по карте Подмосковья, как на каждом миллиметре им обоим — и Ломидзе, который принимал непосредственное участие в битве за Москву, и Слободкину, который об этой битве читал только в сводках, — им обоим становилось жутко.

Большие и малые, дальние и самые близкие города Подмосковья были захвачены немцем, растоптаны, разграблены, сожжены. Рогачев, Яхрома, Клин, Солнечногорск, Истра, Кулебакино, Венёв, Михайлов, Епифань, Волоколамск, Калинин, Калуга, Малоярославец, Можайск, Бородино... Все это было под немцем... Везде и повсюду виселицы, смерть, опустошение, разор, надругательство над самым дорогим, над самым близким сердцу нашего человека.

Не пощадили враги даже того, что давно стало далекой историей. Ворвавшись на славное Бородинское поле, стали срывать с гранитных постаментов бронзовых орлов, поставленных там в честь величия и славы русского оружия. Бронза понадобилась фашистам на снаряды. Церкви, музеи шли под штабы, под казармы и даже под конюшни. Русские дети плакали и замерзали в снегах, немецкие лошади сыто ржали в храмах, расписанных кистью великих художников...

Но не дрогнула Москва, не сдалась. На нее уже были нацелены не только жерла орудий — запотевшие стекла фашистских биноклей, а она работала, принимала Октябрьский парад, слушала речь Верховного Главнокомандующего, зарывалась в землю, дежурила на крышах, голодала, не спала ни ночью ни днем. Ни на миг не переставала быть Москвой, в которую безгранично верили все. И он, Слободкин, верил ей, как собственной матери верят ее сыновья, забывая спросить ее, как ей дышится и живется. Ну а мать есть мать. Все снесет, все стерпит, да еще сделает вид, что выдюжит сколько угодно. И со здоровьем у нее хорошо, и ни в чем, решительно ни в чем не нуждается. «Не беспокойся, сынок, все есть у меня, все в порядке. Ты-то как? Береги себя...» — в каждом письме матери было одно и то же. Сергей носил их теперь всегда с собой — аккуратно сложенные, запрятанные в карман, выученные давно наизусть: «Ты-то как? Береги себя, сынок...»

Сергей протянул руку, нашарил в темноте гимнастерку, дотронулся до кармана с материнскими письмами.

Вот и все, что осталось от мамы... Неужели только письма? Только воспоминания? А он думал, что она будет возле него вечно, всегда, и он от одного сознания, что мать существует на свете, сам становился сильнее.

Вот мама стоит на крыше их дома со щипцами в руках...

Вот после бессонной ночи спешит на работу, чтобы, вернувшись, снова подняться на крышу...

Вот тщательно укутывает стареньким одеялом чайник, согретый для сына, а сама пьет какие-то капли, потом долго проветривает и без того холодную комнату, чтобы Сереженька, не дай бог, не услышал запаха лекарства...

Еще затемно в ту ночь он поднялся, оделся и вышел из общежития на улицу. Предутренняя Москва жила своей обычной жизнью. Он шагал, вглядываясь в лица попадавшихся ему навстречу людей. Проснулись они или еще не ложились? Вот этот, например, в очках-ледышках, на Каганова, мастера его бывшего, похожий? Куда спешит и откуда? Не видит ведь ни чертика, того и гляди, сшибет кого-нибудь или сам будет сбит таким же, торопящимся и ничего не видящим перед собой спросонья или от недосыпу.

— Эй! — крикнул Слободкин. — Постой!

Парень в очках на всем ходу остановился.

— Чего тебе?

— Закурить бы,— сказал Сергей.

— Ишь чего захотел! Нет у меня.

— У меня есть. Хочешь?

Прохожий обалдело посмотрел на Слободкина.

— У тебя? Да ты что?..

Слободкин достал кисет, протянул парню.

— У тебя что, событие какое-нибудь? — удивился тот.— Из госпиталя выписался? Или отпуск схлопотал?

— Просто личность твоя напомнила мне одного человека,— соврал Сергей.— Так что же, закурим?

— Сыпь, если не жалко.

Огонек зажигалки на мгновение высветил лицо незнакомца. Не было в нем ничего похожего на Каганова. Очки только. Просто плохо сегодня Сергею одному, неважко. Свои, отдельские, опять все в разгоне, наверно. Не к девчачьей же державе идти? Да и рано еще.

А табачок у тебя филиховый? — спросил парень.

— Не знаю даже,— сознался Сергей.

— Откуда все-таки ты такой добрый?

— Дыми, дыми! Вдвоем веселей как-то дымится.

— Послушай, может, у тебя случилось что?

— Не случилось ничего,— снова солгал Сергей.

— Может, голодный? У меня мать в пекарне работает.

— Мать?.. Счастливый ты, значит...

— Не говори! Завидуют все. Вот повезло так повезло — в пекарне! А у тебя?

Слободкин задумался. «Сказать или нет? Разбитной больно. Не скажу. Докурим вот и разойдемся по своим делам».

— Так ты говоришь — филиховый? — спросил Сергей.

— По-моему, да. Не крепкий, не слабый, я люблю как раз такой.

— Тогда возьми весь, хочешь?

— Весь?! А ты как же?

— Бери, бери! Я скоро к старшине на довольствие.

— Значит, все-таки из госпиталя? Конспиратор! Отлежался? Куда тебя долбануло-то?

— Заросло все, здоровый. Ну, давай пять...

Два незнакомых человека пожали друг другу руки и пошли в разные стороны.

Один долго еще удивленно оглядывался в темноте,

взвешивая на ладони почти полную пачку табаку и, очевидно, представляя, как будет рассказывать друзьям, какого чудака встретил сегодня ночью.

Другой шел не оборачиваясь, думая о том, как все же хорошо, что не вывернул душу перед случайным человеком. Да кто и чем может помочь ему? Жалостью? Больше всего на свете боялся Сергей, что кто-нибудь когда-нибудь его пожалеет. Только мать имела на это право. Она одна. Впрочем, если честно признаться, очень ему хотелось, чтоб его кто-нибудь все-таки пожалел сейчас. То есть не «кто-нибудь», конечно. «Почувствовать бы руку на своем плече. Узкую, легкую ту ладошку! Посидели бы, помолчали. Просто помолчали бы пять минут. Просто поглядели бы — глаза в глаза. Только пять минут — коротких, вырванных у часов, дней, недель, месяцев, лет... А потом снова можно в эту кутерьму. Мне же не страшен ни огонь, ни холод, ни голод, ни черт, ни дьявол — ничто вообще. Через все пройду десять раз сызнова, чтобы там где-нибудь, в конце этих всех путей-дорог, она обязательно ждала меня. Обязательно ждала. И непременно она. И чтобы выпало нам тогда уже не пять минут и не пять часов. Нам тогда жизнь подавай! Долгую и красивую. А сейчас... Только пять бы минут. Минуточек. Да где их взять? Негде. Не у кого...»

Слободкин машинально поглядел на часы и вздохнул. Пока он шатался по городу, кончилась не только ночь — утро уже дню уступало место.

«Меня же ждут на работе! А может, не ждут эти дни — знают, все поняли, сами лямочку тянут? Впрочем, кто это «сами»? Ксюша одна в отделе. С ног небось сбилась. Лаптева прибегает ее выручать. У самой целый «зоопарк», как она говорит, когда в «девчачьей державе» запарка. А запарка у них всегда. Сегодня, вчера и завтра. Несется сейчас по коридору — косички вразлет — в обнимку с папками, карандашами, коробками. Споткнулась о порожек — вся канцелярия опять на полу, скрепка от скрепки на полкилометра. Погоди, Леночка, приду — помогу».

Глава 7

В отделе Слободкин никого не застал, ни одной живой души. Даже Ксюши. Ее еще три дня назад, оказывается, послали работать в колхоз, и взбунто-

вавшиеся телефоны безответно клокотали на всех столах рабочей молодежи. Слободкин еще из коридора услышал, как надрываются до хрипоты звонки, а вбежав в комнату, растерялся — какую трубку хватать первой? Вон ту, ломидзевскую, наверно?

— Алло! Слушаю! Отдел рабочей...

— Товарищ Ломидзе? — не дал договорить Слободкину чей-то густой, хрипловатый бас.

— ...отдел рабочей молодежи слушает, — все-таки закончил Слободкин фразу и улыбнулся, вспомнив в эту минуту, как у них на заводе паренек в рваной, давно не греющей телогрейке называл себя пятой бригадой, а был он в той пятой один-единственный человек — двух дружков его в больницу свезли. Вася, кажется? Да, Вася Попков. Мастер Каганов его как-то с богатырем сравнил, а Слободкин позавидовал Васе, силе его — ни дать ни взять богатырской. Сколько раз, замерзая в цехе, в бараке, мечтал стать таким, как Попков, и чего-то всегда для этого не хватало. Или это казалось так? Нет, действительно не хватало, он думал об этом, Зимовцу говорил, тот только отшучивался: «Жив пока? Вкалываешь? Не хуже многих? Оно и Вася!»

Все эти мысли пронеслись в голове Слободкина мгновенно, но с такой поразительной отчетливостью, что он увидел перед собой не только эту негреющую телогрейку, но и каждую ее промасленную, насквозь пробитую временем складочку и чумазые, все в мазуте, Васины щеки — впалые, втянутые, в глубоких морщинах усталости...

— Вы что там умолкли, отдел рабочей молодежи? А? — зарокотал в трубке с новой силой хрипловатый бас, в котором шевельнулась вдруг, как показалось Слободкину, насмешливая нотка. — Вы отдел или не отдел?

— Отдел, — совершенно серьезно ответил Слободкин.

Бас кашлянул. От этого он стал еще гуще.

— Простите, как ваша фамилия?

— Слободкин. А ваша?

— Чунихин. Я с «Мотора».

— С «Мотора»? Кем вы там работаете?

— Директором.

— Вы директор «Мотора»?..

— Да, в некотором роде. Что ж тут удивительного? У меня к вам два дела.

— Ко мне?

— Ну, к отделу, конечно. Можете меня выслушать?

— Слушаю вас...

— Во-первых, я хотел бы поблагодарить товарища Ломидзе за то, что он помог с общежитием. Где он, ваш заведующий?

— Его сегодня нет, он в командировке.

— Жаль. Передайте ему, пожалуйста, нашу благодарность. И товарищу Левыкину, конечно. Сможете, не забудете?

— Передам обязательно. Все устроилось?

— Устраивается. Только благодаря комсомолу. У нас все руки не доходили, а у Левыкина и Ломидзе дошли. Сразу, как только узнали про наши развалюхи на Стромынке. Поглядели бы вы, как там ребята жили!..

— Не жили, говорят, — вставил слово Слободкин.

— Да, да, не жили, а прозябали. Верно. Согласен. Сделали выводы.

— Да нет, я говорю, совсем не ездили на Стромынку ваши ребята. Это же у черта на рогах...

— Вы, значит, знаете? В курсе?

Еще бы Сергею не знать! Но он не ответил. А директор между тем продолжал:

— И о том, что нам дом помогли получить под боком у завода под общежитие, тоже, наверно, знаете? Тогда докладываю — заканчиваем ремонт! Скоро новоселье! Приглашаем Левыкина, Ломидзе, ну и вас за компанию. Так будьте добры, передайте наше спасибо своим начальникам.

— Передам, как только увижу. Что еще у вас к нам, товарищ Чунихин? Какая еще помощь требуется?

— Вы сейчас удивитесь, товарищ Слободкин. Ребята наши, которые в цехе до сих пор жили, — мы к ним как относились? Мальчики! А они знаете что придумали? На заводе недостаток металла, задыхается без сырья, план еле-еле вытягиваем. Экономим-экономим — все равно не сходятся конец с концом. Не хватает стали. И какой? Серебрянки. Вы рабочий человек?

— Я токарь, товарищ Чунихин.

— Прекрасно. Так вот, прихожу я на днях в один цех и вижу: над каждым станком — красный флажок. И белым по красному: «Вахта». «Что за вахта?» — спра-

шиваю. Оказывается, ребята решили заняться изысканием дополнительного металла, чтобы заводу из прорыва выйти. Первая мысль: Савушкин, комсорг, пыль в глаза пускает. Любит он без всякого повода шум подымать, рапорты там и прочее. Его хорошо знает товарищ Ломидзе. Прошу позвать ко мне Савушкина и мастера цеха. Уж я на них напустился, я напустился! Знаете, что они мне в ответ? «Мы тут ни при чем, ребята все сами, с них спрашивайте, товарищ директор». Начинаю спрашивать. Один отвечает: «Выполним». Другой. Третий. Как? Каким образом? Толком скажите. Ты, ты и ты! Думаете, растерялись? Ничуть! Словом, дело оказалось серьезное. Нашли на окраине разбитые бомбежкой склады, там, под развалинами, — остатки серебрянки! Аварийная команда, видите ли, не все вывезла — есть еще кое-что под землей, только на большой глубине. Так вот, они роют, как кроты, и волокут на завод прутки за прутком. Что вы на это скажете? Вы на мое место встаньте. Запретить не могу и разрешения дать не имею права. Верно?

— Верно.

Директор, ободренный поддержкой, продолжал:

— Собираю ребят, говорю, что должны они отдыхать после смены, а не за серебрянкой бегать. «Понятно?» — спрашиваю. «Понятно», — отвечают. А сегодня мне охрана докладывает: «Опять волокут! В обход проходной, через дырку в заборе. Ничего, говорят, не знаем, с нами собрания не проводили. Это в той смене было...»

— Так они же у вас молодцы, товарищ Чунихин! — воскликнул Сергей.

— Вот и я о том говорю, товарищ Слободкин. Они у нас... ну, как бы лучше сказать? Одним словом, нельзя ли о таких в «Комсомолке» словечко? А? Стоят. Ей-богу, стоят. Подумайте, ладно? С товарищем Ломидзе посоветуйтесь, он у вас спец в этих делах, я знаю. И насчет общежития не забудьте. Скажите, нам стыдно всем, что у самих руки до сих пор не дошли.

Среди дня Слободкин в первую же свободную минуту позвонил в редакцию «Комсомольской правды».

— Мне нужен отдел рабочей молодежи, — сказал Сергей, набрав номер, указанный в газете.

— Отдел рабочей молодежи слушает. А откуда это?

— Из отдела рабочей молодежи ЦК.

Слободкин думал, что на том конце провода удивятся, но вместо этого услышал радостное:

— Как хорошо, что вы позвонили! Я новый тут человек, у меня к вам тысяча вопросов!

— Ко мне? — удивленно переспросил Слободкин.

— К вам, раз вы из отдела рабочей молодежи.

— Я тоже новый, ничего еще толком не знаю, — сознался Сергей.

— Вот и прекрасно! Встретимся — все вместе обмозгуем, выработаем общую линию.

Через час Слободкин и Писарев сидели друг против друга и разговаривали, как старые приятели, которые давно не виделись и у которых накопилось столько дел, что их, говори не говори, все равно все не обсудишь.

Слободкин рассказал о планах своего отдела, Писарев — своего. Обдумали, как лучше освещать соревнование комсомольских бригад, как провести совместный рейд проверки общежитий, как к тому подступиться, как к этому. Вместе все-таки как-то веселей получалось, интереснее. Оба были довольны тем, что нашли один другого. Главное, что их объединяло, — это, как ни странно, было именно то, что оба они действительно не имели опыта в том деле, которое на них свалилось. Выяснилось, например, что Писарев всего несколько раз выступал в газете.

— Фамилия у меня литературная, да? А из-под пера — только докладные да прожекты всякие. А вы? Писали что-нибудь?

— Что вы! — воскликнул Слободкин. — Хотели меня как-то в многотиражку сосватать, но, слава богу, передумали. Я-то уж точно двух слов связать не умею. Но на вас у меня, честно говоря, надежда была. Я ведь зачем приехал?

— Познакомиться.

— Это само собой. Но есть у меня ребята на примете! Вот такие! — Слободкин поднял вверх большой палец.

Ночь застала Слободкина и Писарева за сочинением заметки о ребятах с «Мотора». Сергей извлек свои записи, наскоро сделанные после разговора с Чунихиным. Писарев притащил откуда-то старый, разбитый реминтгон и килограмма два бумаги.

Шелестели страницы, стучали клавиши машинки, скрипели перья, ломались, затачивались и снова лома-

лись карандаши... А заметка не двигалась. Даже путевого заголовка не удавалось придумать. В голову лезли какие-то выпренные, затасканные и потому ничего не значащие слова.

Окончательно выбившись из сил, Писарев сказал:

— А газета все-таки выходит. И какая газета!

— Как же она? — чистосердечно удивился Слободкин.

— Ну, во-первых, не в каждом отделе сидят такие Писаревы. Во-вторых, энтузиазм тут какой, знаете?

— Энтузиазма-то и нам с вами не занимать. — Слободкин вздохнул и устало уронил голову на ладони.

Снова и снова ломались карандаши, скрипели перья, испуганно вздрагивал от тяжелых, неуклюжих ударов старик ремингтон... К утру заметка все-таки была готова. Она называлась броско и оригинально — «Передовики соцсоревнования», была отпечатана по всем редакционным правилам через два интервала и скреплена подписями двух падающих от изнеможения авторов. Если бы не бдительность главного редактора, которому понес заметку Писарев, она бы, очевидно, даже увидела свет.

— Прочитал? — спросил Слободкин Писарева, когда тот, бледный, взъерошенный, возвратился в отдел.

— Два раза даже.

— Не подошло?

— Работаем, работаем, говорит, а в газету ставить нечего.

Слободкину стало стыдно, как будто его высекли на глазах у всех подписчиков «Комсомольской правды».

— Ну куды мы с тобой годимся? — Сергей в расстройстве даже не заметил, как перешел с Писаревым на «ты».

— Особенно я, — в тон ему ответил Писарев.

— Почему именно ты?

— Потому, что редактор велел все переделывать.

— И ты дал согласие, — вздохнув, догадался Слободкин.

— А что делать? Служба! «Поезжайте, говорит, на завод, проведите там день или два. Надо этих ребят вам своими глазами увидеть. Всех вместе и каждого в отдельности. Прутки вашей серебрянки должны, мол, зазвенеть на страницах. Вы понимаете, какой материал раскопали? Колоссальный! Поезжайте сегодня же...»

— Я никуда не поеду! — решительно перебил Писарева Сергей. — Не по зубам мне это дело.

— Мне по зубам, да? Впрочем, ты прав, конечно. По зубам. Так мне и надо, кретину. Врезался в эту чертову журналистику, как собака в кегельную игру. Говорили мне умные люди...

Писарев нервно шагал по комнате. Очки его с одним треснутым пополам стеклышком уползли куда-то под черный, почти синий, давно не чесанный вихор, руки дрожали. В такт шагам Писарева дрожал графин с водой, дрожала на столе настольная лампа с зеленым абажуром.

— Еще одна такая ночка — свихнуться можно, честное слово, — сказал Слободкин.

Писарев ответил не сразу. Он порылся в ящиках стола, извлек оттуда два блокнота. Один из них затолкал во внутренний карман своего пиджака, другой протянул Слободкину.

— И все-таки надо попробовать. Назвать он знаешь как предлагает?

— Как? — сердито спросил Слободкин.

— «Серебрянка». Как по-твоему?

— По-моему, плохо. Мы же не о железяке должны писать, а о людях.

— Должны. Хорошо сказал.

— Не придирайся к словам. Плохой заголовок придумал твой редактор.

— Но ведь и не «Передовики соцсоревнования»?

— Тут хоть смысл есть какой-то. А в «Серебрянке» что?

— Символ. Ей-богу, это не так плохо, как кажется. Просто привыкнуть надо. «Как закалялась сталь» — книга не по технологии термической обработки металла, а о людях, согласен?

Слободкин задумчиво посмотрел на Писарева.

— «Серебрянка»... А может, все-таки еще как-нибудь? — спросил Сергей.

— Подумаем. Редактор не настаивает. Он вообще человек у нас мягкий, но на сознательность нашу жал вот так! Если вы ни черта не понимаете, говорит, куда вы годитесь?

— Да, сразу видно, человек мягкий, деликатный. Я бы ему коротко ответил, по-рабоче-крестьянскому! «На мою сознательность, товарищ...» Как его фамилия?

— Курасов.

— «На мою сознательность...» А по имени-отчеству?

— Филипп Иванович.

— «На мою сознательность, товарищ Филипп Иванович Курасов, кто только не давил. В десанте — Брага, Поборцев. Командиры — справедливый народ, куда денешься? На заводе — Каганов, Строганов, Баденков. Тоже комсостав, и с понятием. Теперь Маросейка жмет. Все давят, давят, давят. И все на самую любимую мозоль — на сознательность. Так нажимают, что даже характер портится. А сознательность на исходе, товарищ Курасов».

— Так бы и рубанул? — спросил Писарев.

— А что? — ответил Слободкин.

— Редактор все-таки. Тоже комсостав.

— Ты еще издеваешься? Пойми, сознательность только в энзэ осталась. Про энзэ знаешь что в уставе записано?

— Знаю. Так когда же все-таки едем на завод?

Сергей задумался, потом нерешительно сказал:

— Я могу только ночью, после работы. Не раньше двенадцати.

— Ну что ж, ночью так ночью! — воскликнул Писарев. — Я знал, что ты согласишься.

— Если б мы были подольше знакомы, я бы, так и быть, выдал тебе один секрет. — Слободкин глубоко вздохнул.

— Говори, коли начал. Как коллега коллеге.

— Девушку я одну ищу.

— Ну и что?

— И она меня ищет.

— Так...

— Не сообразил еще?

— Нет. А где она?

— На фронте.

— Понятно. В госпитале познакомился? Воевал ведь?

— Нет, не в госпитале. До войны еще. Добровольцем она потом ушла. Куда ни пишу, куда ни стучусь, везде обещают, обещают, обещают...

— Теперь понял, — воскликнул Писарев, — через газету хочешь голос подать. Точно?

— Смешно? Да? — смущенно спросил Сергей.

— Нет, почему же? Только сам-то ты там газеты регулярно читал?

— Но ведь может же быть случай такой — на переформировку откатились или нет приказа наступать. Газетка и пошла из рук в руки, пробралась из окна

в окоп, куда хочешь, хоть на передовую. Согласен?

— В общем и целом. Но приказ наступать есть. Ты сам-то газету видишь? — Писарев протянул руку, достал с подоконника подшивку.

— Вижу. Жаркое будет время. Мне и дружок так пишет. Но чем, скажи, черт не шутит?

Слободкин помолчал, машинально уставился в сводку Информбюро и сказал:

— Вчерашняя, а все равно интересно. Не устанешь такое читать и перечитывать. Слова-то какие: «Взломали глубоко эшелонизированную оборону противника», «перешли в контрнаступление», «овладели», «выбили», «захватили»... Музыка! Номерочка нет лишнего?

— Я тебе сейчас сегодняшнюю принесу! — обрадованно воскликнул Писарев. — А вечером — завтрашнюю. Как для нашего специального корреспондента!

— Ну, коли так, — сказал Сергей, — еду с тобой на завод! Уговорил.

Глава 8

Тихая ночь за окном. Такая тихая, что не верится, будто это самый разгар войны.

Писарев, Слободкин и Савушкин, свесившись с подоконника одной из комнат заводоуправления «Мотора», осторожно всматриваются в темноту, вслушиваются во все ее еле уловимые шорохи.

Все трое они лежат вот так — грудью о подоконник — долго, им начинает уже казаться, что даже слишком долго.

Слободкин до такой степени устал за последнее время, что все чувства его притупились. Он пробует вспомнить, когда последний раз спал по-человечески, и не может. В тот день, когда с дежурства пришел? С какого дежурства? Они теперь часто, одно за другим. И потом, куда пришел смотря? В общежитие? Домой? В отдел? Вспомнил! В коридоре на ходу сколько раз спал, пока до отдела добирался! Сто сорок шагов коридорчик! Правда, по пути еще — «девчачья держава». Из полукруглой двери ее обязательно кто-нибудь спросит с сочувствием: «Как дежурилось?» Вот и не доспал своего. Отвечает бодро: «Хорошо дежурилось. Отлично». А сам уже перешагивает границу «державы» — надо же взглянуть, кто чуткость проявил. Лена-крохотуля? Или Ни-

на? Или Люда? Или сама начальница? Спросонья не разобрать, кто разбудил тебя на самом интересном месте. «Совесть у вас есть?» — «Чего-чего?» — «Совесть». — «Ах, совесть! Совесть у нас нет, — за всех отвечает Лена, — узнайте в следующем отделе. И не проспите его, товарищ Слободкин». — «А может, вам помочь скрепки собирать? Вы рассыпали, Леночка?» — «Нет, не рассыпала». — «Рассыпали, рассыпали — вон как звенят под ногами, на весь коридор. Звень-звень... Трень-трень... Сейчас соберу, так и быть...»

Слободкин шарит рукой в холодном ночном воздухе и... просыпается.

— Вы слышите? — спрашивает он Писарева и Савушкина.

— Еще бы! — в один голос шепотом отвечают те.

Все трое, поеживаясь, быстро спускаются из заводоуправления вниз, спешат навстречу тонкому, но отчетливому звуку прыгающей по булыжнику серебрянки.

— А может, не надо? — вдруг на всем ходу останавливается Слободкин. — Напугаем ребят зря. Они себя чуть ли не преступниками почувствуют. Приказ нарушили! Деликатнее давайте как-нибудь.

— Как? — спрашивает Писарев. — Редактор велел своими глазами.

— А если своими ушами? — уточняет Слободкин. — Мало? Слышали, мол, как звенит серебрянка по заводскому двору... Все слышали?

— Все, — отвечает Савушкин. — А сейчас не слышно.

— Молодцы ребята! Ходкие! Ну что ж, значит, в цехе интервью брать будем. Поворачиваем на сто восемьдесят. Пошли! Фамилии у нас все вот здесь, — говорит Сергей, хлопая себя по карману шинели.

В цехе Слободкин, Писарев и Савушкин прежде всего натолкнулись на уже знакомого им старого мастера, Василия Сергеевича.

— Ба! Обратно комсомол?! — воскликнул старик и, вытерев концом ветоши руку, протянул ее всем трем. — Чего по ночам людям спать не даете?

— Кому не даем? — перебил его Слободкин и посмотрел на «гамак», в котором на этот раз никого из ребят не было.

Мастер усмехнулся:

— Сейчас явятся. У них дел знаете сколько?

— Знаем, — сказал Сергей. — Все знаем, папаша. После смены за серебрянкой ходят?

— Ходят, — ответил старик. — А что поделаешь? Вроде бы непорядок. Дрыхнуть нужно бы, сил набирать. Но я не протестую — пусть ходят. Сами ведь все разведали, после аварийщиков обóрушки из-под земли достают. Попробуй им перечить.

— А зачем перечить? — удивился Писарев. — Дело хорошее. Нельзя ли повидать серебрянщиков ваших?

— Сперва покажем вам, сколько наволокли они стали. Хотите? — спросил мастер и, не дожидаясь ответа, подал знак Савушкину — веди!

В далеком углу цеха Савушкин узким лезвием ручного фонарика нащупал целую гору стальных прутков, лежавших около двери, распахнутой в темноту ночи.

— А вот и серебрянщики! — сказал мастер, поманив к себе пальцем двух ребятишек, разравнивавших прутки так, чтобы они заняли поменьше места.

Ребята подошли. Слободкин и Писарев поздоровались с ними за руку.

— Комсомольцы? — спросил Сергей.

— Беспартийные, — ответил один из них.

— Как это беспартийные? Комсомольцы! — поправил Савушкин. — Мы всех давно уже приняли: и тебя, Гордеев, и тебя, Панков, и многих других. Билеты скоро будем вручать прямо тут, в цехе.

— «Скоро, скоро», — незло передразнил мастер Савушкина. — Безбилетники. Правильно говорят, беспартийные.

— По сознательности они у вас старые большевики, — улыбнулся Сергей.

— Что верно, то верно, — согласился мастер.

— А нельзя ли хоть на пять минут собрать эту беспартийную массу? — спросил Писарев. — Потолковать надо.

— Нет, даже на три минуты нельзя. Вам разговоры разговаривать. А за пять минут простоя фронт недополучит...

— Да, да, простите, — виновато прервал его Писарев.

— Вот через полчаса пересменка будет, тогда беседуйте со свободными, сколько душе угодно, — сказал мастер, стараясь смягчить свой вынужденный отказ.

Скоро в коридоре перед Слободкиным, Писаревым и мастером стояло десятка полтора парнишек, усталых, чумазых. В полумраке толком не разобрать было их лиц. Но не нужно было никакой иллюминации, чтобы понять, как мало лет любому из них.

Чтобы разговор был меньше всего похож на собрание, Писарев, положив руку на плечо одного из мальчиков, сказал:

— Мы из ЦК комсомола, ребята, и из «Комсомольской правды». Есть к вам только один вопрос, можно?

— Можно, — за всех ответил Савушкин.

Слободкин дернул его за рукав. Ребята молчали, терпеливо дожидаясь, что будет дальше.

— Всего один вопрос, — продолжал Писарев, — но ответить на него должен каждый из вас. Ты, ты и ты...

— Какой? — спросил один из ребят, на которого в этот момент указал Писарев.

— Для чего вы ходите за серебрянкой, отрывая время, отпущенное вам для отдыха?

— Вам, конечно, идейный нужен ответ? — вздохнув, сказал паренек.

— Какой получится, — усмехнулся Писарев, — только честный.

— Спать-то все равно негде, — под чей-то смешок ответил парнишка.

— Общежитие вам скоро будет, — вступил в разговор Слободкин, — ремонт нового помещения под него заканчивается.

— Это точно, — поддержал его Писарев. — А когда новое общежитие будет готово, вы уже за серебрянкой не пойдете?

— Это уже второй вопрос, — озорно крикнул кто-то.

Все рассмеялись. И Писарев, и Слободкин, и Савушкин, и даже старый мастер Василий Сергеевич.

Когда смех утих, Писарев сказал:

— Самое главное, ребята, что вы духом не пали. Верно я говорю?

— А зачем падать? — опять подал голос парнишка с неунывающим нравом.

— Это уже второй вопрос, — в тон ему ответил Слободкин.

— Жаль, у нас протокол не ведется, — сказал Писарев. — Можно было бы так записать: «Слушали: о серебрянке. Постановили: раскопки продолжать».

— Так и запишите,— ответил Василий Сергеевич.— Верно я говорю, граждане?

— Все верно,— сказал кто-то из ребят.

— Но тогда не обойтись еще без одного вопроса,— заметил Писарев.— На что пустить серебрянку? Во всесоюзном масштабе надо на дело взглянуть.

— Какое у вас предложение? — спросил мастер Писарева.

— Предложение хорошо бы самому рабочему классу высказать. Ну, кто смелый?

Все молчали.

Мастер достал платок, протер очки, поглядел вокруг, остановил свой взгляд на одном из стоящих в толпе ребят.

— Гордеев, у тебя отец где?

— На фронте,— ответил паренек.

— В каких войсках?

— Танкист он.

— А у тебя, Панков?

— И у меня танкист. Может, для танков это все? Им серебрянка нужна, по-моему.

— Кто «за»? — спросил мастер.

— Все! — раздалось несколько голосов.

— Теперь уж точно не помешал бы протокол,— сказал Слободкин.— Бумага есть у кого-нибудь?

— Вот бланк для наряда,— протянул Слободкину измятый листок Василий Сергеевич.— Пиши...

— Я? — удивился Слободкин.

— От имени всех,— сказал мастер.— Во всесоюзном масштабе, значит?

— Во всесоюзном,— подтвердил свою мысль Писарев.— Инициатива от вас через «Комсомолку» — по всей стране! Представляете?

— Не высоко берем? — усомнился мастер.

— В самый раз. Не высоко,— сказал Слободкин.— Большие дела всегда начинаются с малого.

— Ну, раз комсомол так считает,— развел руками мастер,— я «за». Как беспартийная масса?

— Я уже сказал вам, они все комсомольцы,— еще раз поправил Савушкин.— Все до единого.

— Тогда давайте это дело оформим так: комсомольцы «Мотора» начинают сбор металла на танковую колонну... Можно так записать? — спросил Слободкин.

— Можно!

— «Комсомолец»,— сказал Гордеев,— назовем колонну.

— Правильно, — поддержал его Панков.

— Вот ты и пиши протокол, — Слободкин передал парнишке бланк для наряда.

Под общий смех Панков разложил листок на углу какого-то ящика.

Через несколько дней очерк Писарева и Слободкина о ребятах с «Мотора» появился в «Комсомольской правде». Под очерком стояло крупно набранное сообщение о том, что почин заводских комсомольцев обсужден в ЦК ВЛКСМ и поддержан.

Правда, прочитав очерк, Слободкин пришел в некоторое смущение. Заголовок был тот, который они написали — «Серебрянка». Но в тексте многое подверглось такой основательной правке, что Сергею стал не по себе. Факты излагались в общем-то правильно, но слова были, на взгляд Слободкина, слишком выпренные. Чего там только не было! И «гвардейцы тыла», и «гордость духа», и еще что-то в этом роде.

Сергей, раздосадованный, позвонил было Писареву. Тот, как мог, утешил его:

— Не придирайся к словам, товарищ парашютист. В редакции и на заводе очерк понравился. С «Мотора» утром уже звонили, спасибо велели передать. А главное — смотри, какая каша заваривается! Действительно ведь на всю страну. Хочешь, я предскажу тебе дальнейший ход событий?

— Предскажи, — покорно ответил Слободкин.

— Все комсомольские организации подымутся на это дело. Поступают уже первые телеграммы. Вот они, у меня в руках. Из Челябинска, Свердловска, Нижнего Тагила, Саратова... «Разногласия» только в том, что каждый хочет назвать будущую колонну по-своему. «Челябинский комсомолец», «Комсомолец Свердловска», «Молодой волжанин». Толково?

— Быстро откликнулись! — удивился Сергей.

Но он еще долго в тот день был мрачнее тучи. Ни за что ни про что нагрубил Ксюше, когда она спросила у него, зачем опять заказывать пропуск «этому Савушкину». Несколько раз проходил мимо отдела пионеров, даже не заглянув в его открытую дверь.

Когда из «девичьей державы» позвонили о том, что пора в столовку, он пробурчал в ответ что-то невнятное. Даже сами слова «говорит «девчачья держава», с которых обыкновенно начинался каждый звонок из отдела пионеров, показались ему вдруг не такими веселыми, как всегда.

— У вас плохое настроение, Сережа? — спросила Нина, почувствовавшая что-то неладное. — Может, нужна помощь сопредельного дружеского государства? Скажите — мы мигом!

— Все в порядке, — ответил Слободкин.

— Ну, как хотите. Значит, места вам не занимать?

— Не занимайте.

— А в чем все-таки дело?

— Ни в чем. Просто некогда.

— Очень жаль, останетесь без фирменного блюда. Сергей несколько секунд помолчал, потом спросил:

— Неужели пшенка? — голос его немного потеплел.

— Она самая. Мы уже из столовой звоним.

— И Лена с вами?

— И Лена.

Сергей не успел ответить, как в трубке послышался тоненький голос Лаптевой:

— Место вам уже занято, товарищ Слободкин. Придете?

— Ладно, приду... Но настроение у меня сегодня почему-то неважное. Сам не знаю почему.

— Первый признак того, что пора повидаться с друзьями.

— Согласен. Если честно сказать, пшенка особенно хороша за компанию.

— Ждем. Только пулей, Сережа, ладно? Нам ведь еще мыть посуду. Мы сегодня дежури́м.

В столовой действительно кормили пшенной кашей. «Держава» на правах дежурной раздобыла каким-то образом для Слободкина одну лишнюю порцию любимого им блюда и была от этого счастлива. Все четверо — Лена, Нина, Люда и даже строгая начальница Вера Куцыбо, — угощая Сергея, шутили.

Но по-настоящему посветлело на душе у Слободкина, когда он понял, что никто из девчат, судя по всему, и в глаза не видел сегодняшней «Комсомолки», и, значит, ни перед кем из них ему не надо оправдываться. Только одна Вера Куцыбо, когда поднимались из-за стола, наклонилась к Сергею и негромко, но и не очень тихо сказала:

— У нас на Урале речка так называется.

— Как? — не понял Слободкин. — Какая речка?

— Серебрянка.

Сергей вскинул на Куцыбо растерянные глаза.

— Прошу вас, Вера!.. Мы не писали так, как там.

— Значит, все дело в этом? А мы-то ума не приложим, что с вами сегодня? Бука букой. Зря, зря, зря вы, Сережа. Выспренно, конечно, что есть, то есть, но факты! Факты сами за себя говорят. Их трудно испортить. Словом, не огорчайтесь. Мы, так просто рады за вас. Девочки! Наш собственный корреспондент!

Глава 9

Вскоре после появления очерка Слободкин был вызван на пятый этаж. Там созывалось срочное совещание всех наличных работников аппарата в связи с предстоявшей уборкой урожая.

Когда Слободкин поднялся, совещание уже началось. Народу было на удивление мало. За столом президиума вообще сидел один человек. Он ровным, тихим голосом говорил что-то о земле, о деревне, о сельхозинвентаре. Осмотревшись и прислушавшись, Слободкин пришел к выводу, что к его рабочему отделу все это решительно никакого отношения не имеет.

Сергей сидел с отсутствующим видом, злясь на то, что зря заставили его сюда притащиться, потерять столько драгоценного времени. А это как раз в тот самый момент, когда он позарез нужен в отделе! «Ровно в одиннадцать будет звонить Писарев. А через час они вместе должны ехать на заседание коллегии наркомата, где будет слушаться вопрос о почине молодежи «Мотора». В два часа надо было успеть на Ростокинскую мебельную фабрику: на что уж, казалось бы, тихое, «мирное» предприятие! — но и оно для фронта работает. Созданный на фабрике молодежный цех за минувший месяц во внеурочное время изготовил свыше пятисот кроватей для госпиталей. Недалеко от мебельщиков завод «Калибр». И туда необходимо сегодня попасть во что бы то ни стало!

Слободкин, как и все сидевшие вокруг, тоже вынул блокнот и стал все это записывать, чтобы не забыть чего-то важного. И чем дальше он писал, тем этого важного становилось больше. На «Калибре» надо побывать не только в комитете комсомола, но непременно еще и у директора: по инициативе комсомольцев коллектив завода приступил к дальнейшему уплотнению рабочего дня, и, судя по всему, уже есть первые результаты. «Интересно, что конкретно уже сделано? —

записал Слободкин. — Может быть, опыт «Калибра» можно перенести на другие заводы Ростокинского района? Всей Москвы?»

«И уж раз попаду в этот район, — думал Сергей, — нельзя не заглянуть на сельхозвыставку. Оттуда вчера сообщили: комсомольцы своими силами отремонтировали, привели в полный боевой порядок четыре трактора марки ХТЗ, долгое время служившие на выставке экспонатами и считавшиеся некомплектными. К этим тракторам раздобыли еще и прицепы, а в прицепах — хомуты, вожжи, мешки, лопаты, грабли, рукавицы...»

Сергей хотел было всю эту «амуницию» тоже занести в блокнот, но передумал. «Впрочем, это уже село — не наша епархия. Пусть «крестьяне» сами займутся. Наши тут только трактора, пожалуй».

Он стал искать глазами кого-нибудь из сельского отдела, но никого из знакомых ребят, к сожалению, не обнаружил. Все дружно отсутствовали, хотя слушался их вопрос. Слободкин нарисовал в блокноте что-то отдаленно напоминающее хомут и улыбнулся своим мыслям. Хомут получился похожим на амебу в одном его школьном рисунке, на амебу, про которую учитель сокрушенно сказал, что она в изображении Слободкина не отличается от самого обыкновенного... хомута!

Почувствовав, что кто-то из-за спины смотрит на его художества, Слободкин, перелистнув страничку, обернулся.

За ним сидел Николай Силуянов.

— А что? Как живой хомутишко! — шепнул он. — Жаль, наших «крестьян» нет, они бы оценили по заслугам!

— Странно, — сказал Сергей, — ведь вопрос-то их главным образом касается. Где же их всех носит?

— По уши в земле уже, — ответил Силуянов. — Всем составом. А ты никак не привыкнешь, смотрю?

— К чему? — не понял Сергей.

— К тому, что у нас тут все занимаются всем. Не то чтобы обезличка, но так уж как-то само собой сложилось. Исторически. От нехватки рабсилы. Я вот твой очерк в «Комсомолке» читал. Ты хоть знаешь, сколько в редакции той трудящихся?

— Сколько? — спросил Слободкин.

— Пятнадцать человек. А газета выходит как часики. Вот и крутятся вроде нас, бедолаги.

— Значит, «крестьян» никого тут нет, это точно? — Слободкин с недоверием взглянул на Силуянова.

— Кроме тебя, — уточнил Николай. — Да еще меня, может быть. Вместе с тобой мы могли бы редактировать сельскохозяйственную газету, как ты думаешь?

— Мне не до смеха, — признался Сергей.

— Ну вот тебе раз! А все говорят, ты неунывающая личность!..

Слободкин устало махнул рукой. Силуянов усмехнулся:

— Скисаем, скисаем, десант! Куда годится! А все знаешь отчего? На свежем воздухе мало бываем. Вот пошлют нас с тобой в деревню — там и отдышимся. Пошлют как пить дать! Всем в эти дни на селе дело найдется. В строительстве твоих танков колхозы тоже должны принять участие. А как же?

Этим же вечером Сергей трясся на полке вагона, уносившего его в срочную командировку. Силуянов прав оказался. На совещании так и было сказано: урожай и танки. Только Слободкин записал себе это в иной последовательности — «Танки и урожай». Адрес же выпал Сергею такой, о котором можно было только мечтать: Ярославщина! Край раннего детства. Привольные волжские места, где когда-то жил он у дальних родственников два или три лета подряд... Сергей не мог сейчас вспомнить, в какие именно годы это было. Забылись даже имена милых, хлебосольных стариков, оказывавших ему свое гостеприимство. Только название деревни каким-то чудом сохранилось в памяти: Сухортово. Да, да, Сухортово! Он уже потом, много лет спустя, писал матери в каком-то письме из армии или с завода, какое это вкусное было название, произносишь — словно румяный, душистый сухарь разгрызаешь: Су-хор-то-во!..

И вот снова чем-то родным, несказанно близким пахнуло от одного только слова — Ярославщина... Хорошо бы выкроить денек, чтоб разыскать деревеньку с милым сердцу названием. С добрыми стариками, след которых давно потерялся во времени и пространстве.

«Вряд ли, конечно, — думал Сергей, — сыщу стариков — столько лет прошло, столько зим! И тогда уже

очень старенькими были. А вот на Сухортово взглянуть бы хоть одним глазком! Мне ничего, в сущности, больше и не надо. Только взбежать на тот взгорок, откуда так хорошо видна покосившаяся церквушка — белая, ослепительно белая на фоне зеленых лугов и синей Волги. Только увидеть это. Хотя почему же только? Если уж доведется, выпадет счастье такое, все хатки обойду, все дворы, все тропки, а отыщу эту пятистеночку с окнами на все стороны света — и на гору, и на лес, и на поле, и на самое матушку-Волгу! Из ребят кого-никого, а встречу. Стали мальчики взрослыми, изменились, не узнаешь с первого взгляда, но хоть одного из бывших дружков, а высмотрю! Не все же на войне? Увижу вихрастого такого, с голубыми, широко расставленными глазами, подойду и спрошу: «Вась! Ты?» — «Я, ответит, а ты — ты?» — «А я — я...» Вот и встретились, и узнали друг друга, и разговорились! У Васятки про остальных расспрошу — про Леньку, оставшегося сиротой с гражданской войны, про Оленьку, у которой было такое несметное количество красных веснушек, что от них рябило в глазах...»

Вспоминая потом свою поездку, день за днем, час за часом, Сергей не мог восстановить в памяти всех навалившихся на него событий. Одних совещаний пришлось провести не меньше десятка — «узких» и «широких», с активом и без оного, в областном центре и в районах, куда при всем цейтноте Слободкин все-таки успел выехать. Правда, районы были все ближние, в пределах досягаемости обкомовского «газика», а Пустошинский, в котором находилось Сухортово, лежал в стороне, на самом краю Ярославской земли. Сергей, отыскав его на карте в обкоме, сразу понял, что свидание с детством не состоится. И все-таки в течение всех этих коротких дней чуть не в каждом встречавшемся человеке настойчиво искал своих закадычных дружков. Васятку с голубыми глазами. Леньку-сироту. Оленьку в конопушках. Искал и не находил...

Только раз почудилось ему, что перед ним — один из тех, кого он ищет. Это произошло в селе Стрельцово, в кузнице, куда Сергей вместе с сопровождавшим его работником обкома пришел ранним утром.

В кузне, находившейся у околицы, было почти совсем темно — лишь в центре ее, у горна, метались слабые малиновые блики.

— Вась, ты, что ли? — обратился обкомовец к кому-то невидимому.

Слободкин, услышав это имя, вздрогнул.

— Кто же еще? — отозвался откуда-то из мрака осипший голос.

— Тогда здравствуй. Мы к тебе. Вот тут товарищ из Москвы, поговорить хочет.

— Подходите поближе. Чего вам ни свет ни заря?

— Да вот знакомим товарища с нашими комсомольцами, с передовиками.

— Делать вам нечего! — незло огрызнулся кузнец. — Сами не спите и другим работать не даете.

Слободкин в смущении инстинктивно сделал шаг назад, кузнец проворчал:

— Ну, подходите, подходите, коли пришли.

— Подходите, — шепнул на ухо Слободкину обкомовец, — он без ног с войны воротился.

Малиновое пламя горна вспыхнуло ярче, и Слободкин увидел — возле наковальни на огромном разлапистом пне сидел человек. В одной руке держал молоток на длинной рукояти, другой при помощи меха подкачивал воздух к горящим углям. Ног у кузнеца действительно не было, но он тщательно маскировал это длинным кожаным фартуком.

Сергей смутился еще больше. Заметив его, кузнец сказал:

— Что поделаешь? Живы — и то слава богу. Так, что ли? — он громко, неестественно хохотнул и приналег на мех.

Пламя взметнулось выше, в кузне на несколько секунд стало почти совсем светло. Сергей всмотрелся в лицо кузнеца. Ни одной знакомой черты в нем не угадал. Но глаза, Сергей успел это хорошо увидеть, были голубыми, очень светлыми, широко расставленными...

— Ты из какой деревни? — преодолевая волнение, спросил Сергей.

— Из этой, — спокойно ответил кузнец. — Из Синявина. Тут родились, тут и помирать будем, когда час подойдет. А ты?

— Я из Москвы родом, — ответил Слободкин.

— Деревенька тоже что надо! Но и наша неплоха, не жалуемся. Глянь, какой царский трон фронтовику отгрохали!

При новой вспышке огня Сергей увидел, что кузнец сидел не просто на пне — это было целое кресло сложной конструкции, со спинкой, подлокотниками и еще какими-то хитроумными приспособлениями для молотков, клещей и другого инструмента.

— Чудо техники! — перехватив взгляд Слободкина, воскликнул кузнец. — Чертежи мои, изделие общее, колхозное. Ну, как там Москва? Чего говорят? Когда войне край?

— Врать не буду — не знаю, — ответил Сергей, — но думаю, не скоро еще.

— Вот, паразит, что наделал! — кузнец в сердцах ударил молотком по раскаленному добела куску металла.

Сергей инстинктивно заслонил лицо от каскада разлетающихся во все стороны острых искр. Кузнец ударил еще раз, еще. Все помещение кузни теперь наполнилось грохотом и засверкало золотыми частыми стрелами, которые были страшны, оказывается, только на первый взгляд, на самом деле — не обжигали. Сергей подошел почти вплотную к наковальне. Кузнец, все больше увлекаясь работой, показав ему глазами на молот, крикнул:

— Сможешь?

— Не знаю... — смущенно ответил Сергей.

— Попробуй! Чем черт не шутит! Деревня Синявино большая, а напарника мне нет.

Сергей никогда еще не был в роли молотобойца, но они как-то сразу поняли друг друга, с самых первых ударов. Кузнец бил в то место, куда должен был после него обрушивать всю тяжесть молота Слободкин. Сергей, на удивление самому себе, точно рассчитывал удар, энергично, даже с азартом, наносил его и изготавливался к следующему.

Правда, с непривычки он довольно скоро вспотел, задышал тяжело, но остановиться уже не мог. Да и кузнец то и дело подзадоривал:

— Давай! Давай! Хорошо идет!

Работал Слободкин с наслаждением и никак не хотел признаться, что силы его на пределе.

Когда был устроен перекур, кузнец не без ехидства спросил Сергея:

— Зачем в наши края? Сведения собирать?

— Почему «сведения»? — обиделся Сергей. — На повестке дня танки и хлеб.

— Танки? — удивился кузнец.

— И хлеб,— повторил Слободкин.

— Хлеб это понятно, а танки у вас клепают, в Москве да еще на Урале.

— Комсомол объявляет сбор металла и средств для танковой колонны,— сказал Слободкин.— Тут всем дела хватит. Поможете?

— В боку у меня кусок чугуна сидит. Крупповского. Подойдет? — кузнец сплюнул.

— У меня тоже,— помолчав, ответил Сергей.— Может, сложимся?

— Так ты вот кто! — воскликнул кузнец.— То-то, я гляжу, и удары у тебя снайперские. И шинелька, и вообще... Где науку прошел? На заводе или в армии?

— И в армии, и на заводе.— Слободкин, переставив слова, ударение сделал, конечно, на первом.

Кузнец понимающе кивнул.

Когда стали прощаться, пожимая широкую, горячую от работы ладонь кузнеца, Сергей спросил:

— Ну так как же насчет танков? На тебя смотрит вся Ярославщина.

— Почему на меня? Я человек маленький,— ответил кузнец.

— Нам нужно, чтобы кто-нибудь сказал первое слово. Самое первое, понял?

— А чего зря говорить-то? — пожав плечами, как бы невзначай бросил кузнец.— Раз надо, значит, надо. Вкалывал по десять часов, буду по двенадцать. Подойдет?

— Толково! — сказал Слободкин.— Плюс еще наш чугун — твой и мой. Так и скажу и в обкоме, и в ЦК. Договорились?

— Так и скажи,— согласился кузнец, а сам принялся раздувать мехом угли, которые и так горели теперь достаточно ярко и споро. Он ловко выхватил из огня новый раскаленный брусок металла и обрушил на него серию таких частых ударов, словно намерен был наверстать не полчаса, в течение которых он, что ни говори, все-таки сбился с привычного темпа.

Возвращаясь из Синявина, Сергей чуть не всю дорогу думал о кузнеце Василии — расспрашивал о нем обкомовцев. Оказалось, что солдат, потеряв ноги на

фронте, сперва не хотел ехать в родную деревню — боялся стать обузой для людей (сиротой он вырос). Колхозники сыскали его в доме инвалидов, привезли в Синявино, окружили заботой.

— Остальное вы видели, — сказал обкомовец. — Впрочем, нет, не все. Если б было время, вам бы хорошо на курсах еще побывать!

— На каких курсах?! — удивился Сергей.

— На его, кузнеца Василия. Он весь день у огня в своем кресле сидит, а вечером его везут в райцентр — он там кузнечное дело преподает, кадры готовит. Жаль вот, мужиков в районе мало осталось.

Кому же преподает? — спросил Слободкин.

— А вот им и таким, как они, — обкомовец показал Сергею куда-то вдаль.

Вглядевшись, Слободкин увидел: навстречу по поселку шел трактор. Трактор как трактор, ничего на первый взгляд удивительного. Только когда они поравнялись и снизили скорость, чтобы разминуться, Сергей понял, что имел в виду попутчик: за рулем «Харьковчанина» было два человека. Каждому на вид лет по четырнадцать — пятнадцать, не больше. Один сидел на положенном для тракториста месте, другой примостился у него за спиной и тоже положил руки на баранку.

— Так вот и падут, — сказал обкомовец, перехватив взгляд Сергея, — одному не под силу такую махину ворочать. Остановимся?

— Конечно! — воскликнул Слободкин и первый выпрыгнул из машины.

Спешились и трактористы. Поздоровались. Ребята пожали протянутую Сергеем руку по-взрослому, с чувством собственного достоинства, а когда узнали, что он из «центра», и совсем посерьезнели. На все вопросы Слободкина отвечали деловито и кратко.

— Давно за рулем? — спросил Сергей.

— Уже два месяца, — последовал ответ.

— Как дела идут? Трактор не барахлит?

— Порядок!

— В комсомоле состоим?

— С весны.

Слободкин достал кисет с махоркой. Узнав, что кисет фронтовой да еще дареный, ребята поглядели на Сергея с завистью и закурили с удовольствием, хотя после первой же затяжки оба удушливо, до слез, закашлялись,

выдав тем самым свою полную непричастность к племени курильщиков.

Чтобы хоть как-то скрыть смущение, ребята засуетились, снова заняли свои места на тракторе и только тут обнаружили, что двигатель заглох.

— Что будем делать? — спросил Слободкин, который в парашютной роте освоил несметное количество всякой «техники».

— Починять, — ответили трактористы и спрыгнули на землю.

Одна за другой упали в придорожную грязь две недокурные сигарки.

Обкомовец, нагнувшись к Сергею, сказал:

— Самое главное — не мешать им сейчас. Поверьте моему слову. Поехали!

Слободкин, хоть и был здесь старшим, подчинился. Газик тронулся. Через несколько минут, обернувшись, Сергей увидел синий дымок над трактором.

— Починили! — воскликнул Слободкин. — Вот это публика!

— Спрашиваете! Я вам что говорил?

— Да ведь мальчишки совсем! А трактор штука капризная, сложная.

— Расскажите в Москве про них, — сказал обкомовец. — И помогите им, если можно, — добавил, подумав.

— Помочь? — удивился Слободкин. — Чем же?

— Вам с горы видней. Литературу пусть подешлют, что ли, руководства какие-нибудь.

— А разве не присылают?

— Присылают! — Парень ухмыльнулся. — Я бы за такую «литературу» кое-кому... Недавно плакаты пришли. Знаете, что в них сказано? «Навозная жижа — ценное удобрение»! Сильны? И рисунки соответствующие. В красках!

Сергей возмутился:

— Кто такие плакаты выпустил?

— Не знаю. Будем в обкоме, я вам покажу. Смех! Они думают, в деревне дураки сидят, не знают, что Волга впадает в Каспийское море. А вот о молодых механизаторах, например, заботы никакой. Это я уже наш главный комсомольский штаб критикую, чувствуете?

— Смекаю, — ответил Сергей и вынул из кармана блокнот.

Обкомовец, который поначалу стеснялся, стал сыпать претензии «области» одну за другой.

— С механизаторами ясно? — спрашивал он Слободкина. И не дожидаясь ответа: — Запишите об инструкции по сбору лекарственных трав. И о мелкокалиберных винтовках не забудьте — обещали сто раз! Снайперов с нас спрашиваете, а стрелять из чего! Из «навозной жижи»? Соревноваться нам посоветовали по реставрации запасных частей? Прекрасно! Соревнуемся. Привели в полный боевой уже много «звездочек», шестеренок, цепей Галля. Но рук не хватает, а главное — умения, знаний и инструмента. Специалисты вами обещаны? Обещаны. Ждем их, учтите. Трудно без них. У нас в области колхозов знаете сколько? И в каждом свои нужды.

— А вы деревню Сухортово знаете? — неожиданно перебил обкомовца Слободкин.

— Сухортовку? Первый раз слышу.

— Не Сухортовку, а Сухортово, — поправил обкомовца все это время молчавший шофер, человек пожилой и мрачный. — Сухор-то-во! Была такая в Пустошинском районе.

— Что значит была? Я сам жил там когда-то! — воскликнул Сергей.

— Когда? — спросил шофер.

— Давно... Лет двадцать назад.

— То-то и оно! Сгорела. Немец спалил дотла...

Всю обратную дорогу в Москву Слободкин не мог сомкнуть глаз — все ему казалось, где-то за окном вот-вот мелькнет, хоть на самом горизонте, крохотная кособокая церковка маленькой русской деревни на берегу Волги. Не хотел верить в то, что Сухортова нет больше на свете.

Не мог он долго уснуть и в ночь после возвращения из первой в своей жизни командировки. Добравшись с вокзала до общежития, уставший до чертиков, сразу лег. Кругом при включенном свете уже похрапывали в разных углах ребята, пришедшие с работы. Сергей полежал несколько минут не двигаясь, потом просунул руку под подушку, чтобы принять позу поудобнее, нащупал там ученическую тетрадку, которую в числе других немногих вещей принес сюда из дома. Повертел тетрадку в руках, попытался вспомнить, от какого класса могла остаться — не начатая, с чуть вылинявшей голубой обложкой. Не вспомнив, отложил,

потом снова принялся разглядывать с такой пристальностью, словно хотел рассмотреть что-то невидимое простым глазом.

Сергей провел рукой по бумаге. Глянцевая, упругая, она от прикосновения пальцев чуть скрипнула в тишине, словно под остро отточенным грифелем. Запустив пятерню в ящик стоявшей рядом тумбочки, Слободкин извлек оттуда огрызок карандаша и скорее машинально, чем сознательно, вывел на первой страничке тетради неровными печатными буквами: «Дневник». Потом зачеркнул, но через несколько минут написал снова.

Карандаш побежал по бумаге...

«С того дня, как умерла мама, стало совсем одиноко мне на земле. Была от Зимовца протянута тонкая ниточка. Оборвалась. И свяжется ли теперь? Новые друзья? Со многими людьми повстречался в последнее время. Ломидзе, Лена, Вера Куцыбо, вообще вся «девчачья держава»... С такими не только Москву — всю планету можно пешком обойти. А Силуянов — летописец Великой Отечественной. А Валя Борц, одна из самых беззаветных ее героинь? А Фадеев, знаменитый писатель, потрясенный рассказом Вали о своих боевых товарищах — Кошевом, Тюленине, Шевцовой? А коллега по дебюту в прессе — Писарев? А ребята с «Мотора»? А Василий, безногий кузнец? А Савушкин? Если разобраться, парень на все сто. Неопытный просто».

Тут Слободкин поставил было точку, перечитал и понял, что остановиться не может. Глаза слипались от усталости, но буква вставала за буквой, строка — за строкой.

«Как же это в самом деле здорово, когда вокруг тебя такие люди! Громких слов не люблю, ненавижу их, а где взять негромкие, тихие, чтоб точно выразили мысль?»

Слободкин писал весь остаток ночи. За окном общезжития, за светомаскировочной шторой было уже давно утро, и тетрадь подошла к последней страничке. Вот уже обложка и — «Взвейтесь кострами, синие ночи...».

Больше ни писать, ни думать не было сил. Перечитал написанное, оглянулся по сторонам — не «усек» ли кто-нибудь его ночного бумагомаранья. К счастью, в комнате уже никого не было. Только за стеной, в умывальнике, слышался чей-то приглушенный кашель,

потом по коридору быстро просеменили чьи-то босые и, судя по всему, мокрые ноги, и все стихло.

Сергей поднялся, выволок из-под кровати свой чемоданчик, упрятал в него тетрадку. Пора было идти на работу.

Глава 10

В отделе Сергея поджидал Ломидзе. Вид у него был утомленный, щеки ввалились, глаза глубоко запали, но чувство юмора не изменило южанину. Едва успев поздороваться со Слободкиным, он сказал:

— Давайте проведем совещание отдела рабочей молодежи.

— Давайте, — покорно ответил Сергей. — А много нас сегодня в отделе?

— Если Ксюшу считать, целых трое.

— Ее обязательно надо считать, — сказал Слободкин. — Пока вас не было, она моим главным начальством была. Она да еще Лена Лаптева.

— Зовите, — решительно сказал Ломидзе.

Когда все трое сели за стол, началось действительно что-то вроде совещания.

Ломидзе положил перед собой лист бумаги, посмотрел внимательно сперва на Ксюшу, потом на Слободкина, спросил:

— Кто первый? Ты, Ксюша?

Девочка смутилась, но ответила, что целую неделю провела в подсобном хозяйстве, собирала картошку.

— Не рано? — удивился Ломидзе.

— Не рано, — за Ксюшу ответил Сергей. — Учитывая военное время, самая подходящая пора.

— Теперь вижу, Слободкин, что вы не только рабочий, но еще и крестьянин. На Ярославщине были?

— Объехал чуть не вдоль и поперек, — ответил Сергей.

— Какие вопросы привезли? Что надо здесь решать, в ЦК?

— Специалисты и инструменты нужны на селе. Слесаря, механики. Технику реставрируют, соревнуются села друг с другом в ремонте, а ведь голыми руками все делают. Ни тисков, ни ножовок, ни сверл, ни самых обыкновенных напильников.

— Подождите, не так быстро, дорогой,— остановил Сергея Ломидзе.— Запишем все по порядку. Ножовки, дрели, сверла, напильники. Что еще?

— Тиски, я с тисков начал. Без них ни одного слесарного дела не сделаешь.

— Записал и тиски. Сегодня же вынесем на бюро. Это вопрос наиважнейший. Надо все наши заводы поднять, организовать сбор инструмента. Как с танками? Рассказывали там про нашу колонну?

— В каждом селе Ярославской области комсомольцы будут работать сверх положенного по два часа каждый день. До полного разгрома врага. Инициатор — бывший фронтовик, теперь колхозный кузнец Василий из деревни Синявино.

— Прекрасно! — все больше оживлялся Ломидзе.— Как фамилия вашего кузнеца? О нем надо всем рассказать в «Комсомолке».

— Фамилию я не спросил. Не подумал, что пригодится.

— А как же! Пригодится, обязательно пригодится! — воскликнул Ломидзе.— Ксюша, вам поручение: звонок в Ярославль по поводу кузнеца. Срочно, Ксюшенька, ладно?

— Прямо сейчас? — девочка встала из-за стола.

— Прямо сейчас. Мы тут досовещаемся. И свяжите меня с остальными инструкторами. С Кожуховым — он в Куйбышеве. И с Иванько — он где-то на Урале.

— В Нижнем Тагиле,— уточнила Ксюша.— Оба звонят каждый день, просят продлить командировку. Продлить?

— Как, товарищ Слободкин? — Ломидзе поглядел на Сергея.— Продлим? Обойдемся еще деньков несколько? Это они там насчет наших танков теперь шуруют. Подняли вы с Писаревым шум на всю Россию!

— Давайте продлим,— согласился с Ломидзе Слободкин.

Что ни говорил, а поездка на Ярославщину вымотала его как следует, и он вдруг почувствовал, что силы его на последнем пределе. В самый ответственный момент разговора он даже клюнул носом и зам. зав. вынужден был спешно закруглить «совещание».

— О своих делах я вам тоже кое-что должен рассказать, Слободкин, но не сегодня.— Ломидзе встал, протянул Сергею руку.— Идите, дорогой, сделайте

только то, что нельзя отложить до завтра — и в общежитие!

Сергей послушно, в предчувствии скорого отдыха, направился к себе. Дверь в отдел пионеров была закрыта, и он впервые обрадовался этому. Он думал сейчас только об одном — о том, как через час или самое большее через два рухнет в постель, но уже по-настоящему, не так, как накануне, без всяких дневников, и сразу же, мгновенно, провалился в сон, как в люк самолета.

Закрывая на замок ящики своего стола, Сергей мечтал только об этом: «Вот отвечу на последний звонок, и все. Какой только последним считать? И чего они раззвонились опять? Как во время дежурства!..»

— Кто, кто говорит? Товарищ Стрепетов? Почему я на работе сразу после командировки? Как почему? — ответил Сергей вопросом на вопрос. — Собираюсь домой, меня наш заместитель отпустил. А вы разве уже тоже вернулись?

— Только что, — услышал Сергей в трубке. — Как хорошо, что вы на месте, Слободкин! — радостно воскликнул Стрепетов. — Зайдите, пожалуйста. И побыстрее, ладно?

«Вот и пойми что-нибудь у начальства! То почему вы на работе до сих пор, то слава богу, что застал вас на месте!»

Так или иначе Слободкин через минуту переступил порог кабинета Стрепетова.

Вид у заведующего был тоже уставший, но руку Сергею он пожал крепко, до хруста.

— Ну вот... Отдохнуть собрались? В общежитие?

Сергей кивнул, пытаясь догадаться, к чему клонит зав.

— Давно бы нам уйти, — извиняющимся тоном продолжал Стрепетов. — Уже, глядишь, выпались бы на дорогу. А то вот с марша в бой придется. Так в армии говорят?

— С марша в бой, — подтвердил Слободкин и, помолчав, покорно спросил: — Куда теперь?

— Обещанного обычно три года ждут. Вам пришлось ждать поменьше. В спецгруппу вас назначили, Слободкин, как опытного парашютиста. Специальность свою не забыли? Оружие?

— Что вы, товарищ Стрепетов! — Сергей от волнения даже вытянул руки по швам и подался вперед. — Да вы ночью меня спросите...

— Ну и отлично. Тогда можете считать, что в свой любимый десант вы вернулись. Правда, в малый.

Стрепетов подошел к карте, разложенной на столе, внимательно поглядев на нее, сказал:

— Вас будет трое. Так что по-суворовски придется — не числом, а умением. Неожиданно немного получилось, да?

— Почему неожиданно?! — воскликнул Сергей. — Я с самого первого дня надеялся.

Слободкин все еще стоял, как по команде «смирно», хотя Стрепетов уже сел за стол и показал Сергею глазами на стул рядом с собой.

— А для нас отчасти неожиданно, — сознался заведующий, — врать не буду. В этот раз не вы должны были лететь, другой, но в самую последнюю минуту человек заболел. Суток на сборы вам хватит?

Сергей выпалил:

— Мне часа хватит, товарищ Стрепетов!

— Ну, тогда собирайтесь. Спасибо вам за работу, или опять же, как в армии говорят, за службу. Недолго вы у нас пробьете, но, по-моему, в общем-то с толком. Вы как считаете?

— Не знаю...

— Я знаю, Слободкин. Хотя я лично с вами маловато общался, но в ЦК о вас хорошо говорят.

— Кто? — удивился Сергей.

— Ну вот, кто, кто! Не все ли равно? Люди. Гаврусев в том числе, а он в кадрах кое-что понимает. К нему сейчас и идите. Гаврусев принимал вас, Гаврусев... — Стрепетов искал, но не мог подобрать нужного слова. Так и не найдя его, он молча положил руку на плечо Сергея.

— Прямо сейчас? — спросил Слободкин и, не дожидаясь ответа, убежденно сказал: — Гаврусев хороший человек.

— Ну вот, видите, товарищ Слободкин, и вы кое о ком из нас неплохого мнения.

— Что вы! Да я тут целую школу прошел! Центральную комсомольскую!

— Центральная комсомольская у нас в Вешняках, — улыбнулся Стрепетов. — Академия наша!

— Я там должен был скоро чуть ли не доклад делать, — засмеялся Сергей. — Об опыте организации соревнования на заводах.

— Ну я же говорю — академия, а вы — академик!

Подумайте, кстати, как бы можно было вас там заменить. Впрочем, отставить! Больше ни минуты не имею права у вас отнимать. Ступайте в кадры и не думайте больше ни о чем.

Гаврусев уже ждал Слободкина. Когда Сергей вошел, он прежде всего усадил его рядом с собой, в то самое кресло, в котором Слободкин уже сидел в первый день своего приезда в Москву.

— Ну вот, товарищ Слободкин, а вы сердились! Помните? «Фронтовика просили? Обстрелянного? За каким шутом вам фронтовик потребовался? В четырех стенах отсиживаться?» Помните или нет?

— Помню...

— То-то! Я же вам говорил, все образуется. Вот ведь как быстро времечко пролетело! Ну, а теперь к делу. Стрепетов уже сообщил вам — в группу входит три человека. Вы, Плужников, Евдокушин. Знаете таких? Задание одновременно сложное и простое. Вам надо попасть вот сюда, смотрите, — Гаврусев указал карандашом точку на лежавшей возле него карте, — тут немцы пытаются блокировать и разгромить партизанские отряды, у которых на исходе боеприпасы — раз, медикаменты — два и вышла из строя радиоаппаратура — три. Словом, навьючим на вас — будь здоров! Но главное даже не в этом — вы окажете там измотанным и больным людям моральную поддержку. Вот, собственно, и все. Много ли это или мало? Легко или трудно? Сами взвесьте.

— И просто, и сложно, — подтвердил Слободкин. — Но я готов сделать все, что смогу, что нужно.

— Мы так и думали, — ответил Гаврусев.

Слободкин стоял перед кадровиком, взволнованный, не знающий, как и чем благодарить его.

— Если все ясно, тогда собирайтесь, — сказал Гаврусев и еще раз остановил внимательный взгляд на Сергее.

— Мне все ясно, товарищ Гаврусев. Вопросов больше нет, кроме одного — инструктаж будет?

— Вопрос задан к месту. Будет инструктаж, — Гаврусев раздраженно поглядел на часы, — напарники ваши уже все, что положено, получили. Мы отстаем с вами. И отдохнуть вам еще надо бы. Врачи, как водится, проверять будут.

Об отдыхе и речи, конечно, быть не могло. Гаврусев, наверное, и сам понимал это прекрасно. Какой мог быть

отдых, когда маленькая стрелка на часах Слободкина побежала вдруг быстрее большой! Но Сергей нисколько не жалел об этом. «А те, с кем не успею проститься, не осудят, поймут. И может быть, даже хорошо, что не успею. У девчонок глаза на мокром месте, известно давно. Да и у нашего брата не всегда на сухом, это тоже секрет не великий. Как ни говори, а сдружился тут кое с кем. Кое-кого оставлять жалко».

Весь остаток дня, куда бы Сергей ни шел, ни бежал, — повсюду рядом с ним оказывался Гаврусев. Все уладить помогал, «утрасти», «увязать». И к врачам сопровождать почему-то вызвался. Правда, в кабинет с ним не пошел, не положено будто бы. Здесь, сказал, буду вас дожидаться, в коридоре.

— Еще одно комсомольское вам поручение, Слободкин: дышите как можно ровнее, а то вся группа рассыплется. Вы меня поняли?

— Понял! — кивнул Сергей.

Подставляя ребра «медицине», делая глубокие вдохи и выдохи, приседая на корточки, Сергей на все вопросы отвечал, как по писаному:

— Не болит. Не колет. Не чувствую...

Врачи настороженно переглянулись. Один из них, старенький, седенький, с обвисшими усиками, погрозив Сергею скрюченным пальцем, спросил:

— Какую комиссию проходите, молодой человек?

— Медицинскую, — ответил Слободкин.

— Шутить изволите! — Старик сердито постучал стеклянной палочкой по крышке стола, за которым сидел на самом главном месте. — А я серьезно спрашиваю — пятую или десятую?

— Не помню... — сознался Сергей. — Но здоров я, здоров!

— Вы все поете одну песню. Послушаешь — здоровее вас нет людей на планете. А чугун этот взялся откуда? — Врач поглядел на свет рентгеновский снимок, извлеченный из лежавшей перед ним папки.

— Осколочек это, доктор. Не болит совершенно, честное слово, никогда не болит, ни при какой погоде...

— Врете, — спокойно и безжалостно прервал эту тираду врач. — «Осколочек»! Вон вы как нежно его величаете! Как родного брата. Как будем решать, товарищи? — врач поглядел на других членов комиссии.

— А я верю ему, — подала вдруг голос пожилая

женщина, которой Слободкин боялся больше всего.— Осколок лежит в самом деле хорошо, посмотрите.

Старичок ухмыльнулся в усы. Еще раз поднес снимок к самым глазам, поглядел на него минуту-другую и сердито махнул рукой.

Дожидавшийся за дверью Гаврусев по одному виду Слободкина понял, что все в порядке, и не стал тратить времени на лишние расспросы. Тем более что и на его часах стрелки бежали все быстрее и быстрее.

Уже сидя вечером в машине, мчавшейся к аэродрому, Гаврусев похвалил Сергея за то, что тот «дышал ровно» и не подвел.

Машина шла на большой скорости, Сергей пробовал рассмотреть мелькавшие за окном картины и не мог этого сделать — там все менялось с такой калейдоскопичностью и было уже так размыто темнотой, что понять, куда именно они едут, было невозможно. Что это? Москва? Ее предместья? А может быть, уже загород? Подмосковье? Дома или дубы-великаны обступили с двух сторон шоссе? Может, это и есть та самая Варшавка, которая тянется к столице из глубины белорусских лесов? Варшавка, на которой пролита первая кровь — его и товарищей?

Прошрое и настоящее вдруг связалось в сознании Слободкина в единое, неделимое целое. Это ощущение было таким острым, таким реальным, что на какое-то мгновение окно машины показалось Сергею люком самолета. Он жадно прильнул к холодному полуоткрытому стеклу.

Заметивший это Гаврусев сказал:

— Не продуло бы вас. Давайте закроем.

— Не продует, что вы! Привычное дело.

Но кадровик все-таки настоял на своем. Остальную часть пути, до самого аэродрома, где их ждали уехавшие раньше других члены группы, Гаврусев молчал, видимо озабоченный чем-то своим, не дававшим ему покоя. Только под самый конец, когда машина пошла чуть тише, он спросил Слободкина:

— Жалко Москву оставлять? Признайтесь?

— Жалко, что не успел проститься с ребятами,— ответил Слободкин.

— И с девушками? — уточнил Гаврусев.

— И с девушками,— сознался Сергей.

— Это я виноват, меня ругайте.

— Ругать зачем же? А привет с вами послал бы. Лене Лаптевой и другим.

— Передам, обязательно, сегодня же. Еще чего не успели? Вспоминайте.

— Все,— ответил Сергей, а сам стал напряженно думать о том, чего действительно еще не успел в спешке. Но как ни старался, больше ничего вспомнить не мог.

Тем более, не сумел он этого сделать и в самые последние минуты, когда машина остановилась возле темного, невысокого здания и к ним подошли знакомые и незнакомые люди.

Гаврусев ориентировался среди всех запросто. Каждому задавал один и тот же вопрос: «Не забыли чего-нибудь? Вспоминайте, граждане, есть еще время»...

— Откуда? — решительно остановил его кто-то.— Ни одной минуты больше. Всё! Прощайтесь, и, пожалуйста, здесь. На поле я вас больше не пущу. В прошлый раз у меня неприятности были. Ясно?

— Ясно,— недовольно ответил Гаврусев.

Холодный, мокрый ветер доносил до Сергея и его спутников, шагавших гуськом по летному полю, далекое погромыхивание моторов и еще какие-то неясные, смутные звуки.

Шли долго, не разговаривая. Только приглушенно покашливал сопровождающий, как бы давая этим понять, что все нормально, с дороги не сбились. Покашливали ему в ответ остальные. Чаще других, пожалуй, Слободкин. То ли оттого, что курил напоследок одну сигарку за другой, то ли еще по какой причине, но в горле у него клокотало, и он, ругая себя за это и стараясь как-нибудь сбить кашель, беззвучно шептал: «Все в полном порядке, начальник, шагаем след в след. А накурился я действительно до чертиков. Но причина есть у меня. Сутки дали на сборы. Думал, хватит вот так! Самого главного не успел. С друзьями проститься, с «девчачьей державой». Не слышал про такую? Много потерял, товарищ начальник! Одна Лена Лаптева чего стоит! Да все. Мало виделся с ними, мало по Москве колесил, но много в памяти осталось...»

— Ты чего там? — наступая на пятки Слободкину, не выдержал его бормотанья шагавший следом человек.

— Евдокушин? Ты, что ли?..

— Я самый. Побыстрее не можешь?

— Могу. А ты что так торопишься?

— Ремень очень узкий у рации. Ключица трещит от этой «РБ».

— Так бы и сказал сразу.

— Так и говорю.

Слободкин обернулся, и они на мгновение остановились.

— Давай сюда свою рацию. У меня плечо под нее специально подогнано.

Тяжелая, неудобная ноша с одних плеч переключалась на другие. Слободкин и Евдокушин прибавили шаг, чтобы догнать ушедших вперед — навстречу прогреваемым моторам, которые громыхали во тьме все громче, все ритмичнее, словно отсчитывали минуты, оставшиеся до взлета.

НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ...



I

Под тяжелым осенним дождем, в плащ-палатках с низко надвинутыми жесткими капюшонами они быстро шли к самолету. Холодная ночь пахла прелой травой и бензином. Сергей Слободкин на ходу жадно ловил эти запахи, полные для него особого значения. Кончалась, вернее, кончилась его временная гражданская жизнь, и теперь, уже по «второму заходу», начиналась снова боевая, к которой он так рвался после ранения. Рвался сперва из госпиталя, потом с авиационного завода, потом с комсомольской работы в Москве. В результате долгих мытарств просьба его удовлетворена, он включен в состав группы для выполнения задания в тылу противника.

Конечно, группа — не родная десантная рота, с которой пройдено столько дорог. Теперь «рота» будет поменьше, всего из трех человек составила, но подразделение боеспособное вполне. Взять хотя бы старшего, Плужникова. Успел тоже на фронте побывать. Ранен, прыгал с парашютом, и даже не один раз. Некоторыми навыками десантника овладел в парашютном кружке второй участник группы — Николай Евдокушин. В боях, правда, не участвовал, но зато «зажигалки» на крышах Москвы тушил, а это школа, и еще какая! Кроме того, успел стать хорошим радистом, что и сыграло решающую роль при назначении Николая в группу.

О нем, Слободкине, и говорить нечего. Отведал свинца и огня в самые первые дни войны, фронтового опыта накопил — на всех троих хватит в случае чего.

Словом, с заданием они справятся, чего бы это ни стоило, хотя собирались спешно, не успев толком продумать всех деталей операции и даже поближе познакомиться друг с другом. Многого не успели. Обмозговать бы спокойно втроем еще раз все предстоящее, да где там! Второпях с друзьями из главного комсомольского штаба на Маросейке не успели попрощаться как следует. Но его, Слободкина, вины в том не было, как не было вообще ничьей вины. Война есть война. Крутит-вертит любым человеком, как хочет...

Обо всем этом думал Слободкин, то натываясь на идущего впереди Плужникова, то чувствуя, как наступает ему самому на пятки шагавший след в след Евдокушин. Мысли эти не оставили Сергея и тогда, когда он со всем своим скарбом опустился на указанное ему кем-то место в темном чреве самолета. Освобождаясь от навьюченных грузов, Слободкин больно ударился обо что-то твердое. Вытянутые вперед руки наткнулись на ребристую металлическую стойку. Нащупав в ней знакомые овальные вырезы, обрадовался — группе «подан» не какой-нибудь устаревший драндулет, а самолет, напоминавший тот, с которого приходилось прыгать в воздушно-десантной бригаде. Впрочем, радость была короткой. Скоро Сергей помрачнел. Как только оторвались от земли, чутким ухом уловил злое погромыхиванье дюраля. Все-таки драндулет! Огонь, воду и все прочее прошел. Изрешечен небось вдоль и поперек. И не небось, а точно. Вон как в правой плоскости завывает, да и в левой, кажись. И в хвосте, где турель, пожалуй, не меньше дыр. И клапана стучат. Так вот, значит, какую технику «выколол» для группы Гаврусев, вот на какой посудине суждено добираться...

Чтобы разбавить мрачные думы более оптимистичными, Слободкин настойчиво старался вернуться к главному, к тому, что все-таки осуществилась, черт возьми, заветная его мечта — руки снова сжимают автомат, плечи облегают лямки парашюта. Теперь важно не подкачать, не ударить лицом в грязь, хотя бросать их будут чуть ли не в трясину какую-то. И с тяжелой поклажей в ранцах и в грузовом парашюте. А там радиопричиндалы, боеприпасы, медикаменты, тушенка...

Рассуждая так, Сергей становился самому себе вдруг похожим на летчика, который медленно, но верно укрощал тяжелый, выдавший виды корабль, сперва дребезжавший всем корпусом, потом помаленьку приумолкший, словно понявший, что задача его не греметь дюралем и двигателем, а терпеливо и тихо, как можно более тихо, нести свою ношу туда, где ее ждут нынешней, специально выбранной ненастной ночью.

Сергей постепенно совладал с собой, унял нервишки, в последнее время все чаще пошаливавшие. Его даже начало клонить ко сну. Так иногда бывает перед сложным делом. Сложным, опасным и ответственным. Он ощутил это сейчас с особой отчетливостью. Там, на инструктаже, все куда проще выглядело. Острый карандашик Гаврусева уверенно прочертил на сине-зелено-желтой расстеленной на столе карте длинную, неправдоподобную ровную прямую.

— Вам надо, — сказал, — попасть вот сюда. Здесь партизанский отряд. Ждут вас, предупреждены. Огни должны быть выложены в самый последний момент. Осторожность нужна, и даже сверхосторожность. В ней успех всей операции.

Гаврусев помолчал, повертел карандашиком в квадрате, обозначенном как сильнопересеченная, заболоченная местность, спокойно, подчеркнуто спокойно, добавил:

— Или провал...

Теперь, когда самолет, несший на борту группу, глубоко ввинтился в беспросветно-темное месиво неба, Сергей, впадая в полудрему, все возвращался и возвращался к напутственным словам Гаврусева — полным уверенности и тревоги одновременно.

...Враг стремится выловить и разгромить партизан, у которых на исходе боеприпасы — раз, медикаменты — два, харчишки — три, неисправна радиоаппаратура — четыре. На связь выходят с большим трудом, точнее, почти не выходят: батареи сели, к тому же что-то случилось с радистом. Есть среди партизан больные и раненые. Но отряд пока держится, совершает налеты на немецкие обозы, часто по лесам и болотам переходит с места на место, чтобы запутать врага. Но пятачок у партизан, в общем-то, невелик, особо не наманеврируешься.

Карандашик Гаврусева снова и снова нацеливался в уже знакомый квадрат карты.

— Вот и все, собственно. Вся ситуация...

Беспокойно было на душе у Слободкина от той «ситуации». Какая-то неопределенность: «где-то здесь», «огни должны быть выложены», «на связь почти не выходят». Тут действительно недалеко от провала. Прямее надо было Гаврусеву обо всем ребятам сказать, честнее. Разве не поняли бы?

Та же мысль волновала, конечно, и остальных. Старшего в первую очередь. Не случайно у него даже завязалась перепалка с Гаврусевым во время одного из инструктажей.

— Сколько партизан в отряде? — спросил Плужников.

Гаврусев ответил, что последними точными данными не располагает, а врать не хочет.

— А неточными? Сто? Двести? — не унимался старшой.

В вопросах его была настойчивость человека, понимавшего, что на него возлагается особая ответственность за судьбу людей, к которым они летят на выручку.

Гаврусев от прямого ответа опять уклонился:

— Леса, болота, потери... Одно известно совершенно определено — отряд сформирован в основном из комсомольцев, а комсомол — народ живучий, будут, значит, держаться до последнего.

— Что верно, то верно! — вырвалось у Плужникова. — Но не мешало бы иметь более подробные сведения.

— Не спорю, не мешало бы, — согласился Гаврусев. — Но связь в последнее время длится не минуты — секунды. Вы меня понимаете? Се-кун-ды! Успевают передать только самое важное...

Плужников продолжал наседавать на Гаврусева:

— Разве не важно, сколько человек в отряде? Второстепенный вопрос? — черные, разлатые брови старшого насунились. Гаврусев постарался погасить эту вспышку:

— Молодец, Плужников! Так нам и надо, замороженным.

Он помолчал, потом добавил не без раздражения:

— Только у нас таких отрядов знаешь сколько?

— Сколько? — не унимался Плужников.

В этом вопросе звучал явный укор. Не знаете, мол, вы и этого, Гаврусев, я же вижу, не знаете. Так и сказали бы. А то леса, болота, потери»...

Гаврусев намек понял, вынужден был согласиться с Плужниковым:

— В точности неизвестно. Думаю, и на самом верху того не ведают.

— На самом верху могут и не ведать, а тем, кто пониже, «ведать» не мешало бы,— рубанул Плужников и, кажется, сам испугался своей резкости.

Слободкин же был в восторге от выпавшего старшим. С хорошим человеком свела его судьба. С прямым и открытым. С таким можно куда хочешь двинуть. Ничего плохого не думал он и о Гаврусеве. Просто задавлен грузом свалившихся на него забот. Только успевай поворачиваться. Но работяга из работяг. В столице, на Маросейке, в главном комсомольском штабе страны, все видят, как он вкалывает, не зная покоя ни днем ни ночью. Слободкин сам тому свидетель.

Евдокушин, во время всей этой сцены помалкивавший, был, как показалось Сергею, на стороне Плужникова.

Пройдя через фронт, через ранения, навалявшись в госпитале, намерзшись за токарным станком в стылом цехе эвакуированного завода, наголодавшись после потери хлебных карточек, Сергей научился мерить людей своей особой меркой. Человек, по его разумению, должен обладать двумя основными качествами: быть честным по отношению к себе и к другим, иметь запас прочности. Глаз у него был наметан, умел за короткий срок определить, с кем можно пойти в разведку, с кем нет. С Плужниковым можно, без всяких оговорок. Без каких-либо скидок годен и Евдокушин, еще не испытанный на себе столько, сколько они с Плужниковым хлебнули, но, судя по всему, парень что надо, хотя и не проявивший еще характера. Да и где было проявить? На крыше горящего дома? Под зажигалками? В парашютном кружке? Плужников не любил рассказывать о себе, но мог бы рассказать о том, как прыгал с парашютом в боевых условиях. Евдокушин же сам над собою подшучивал: «Два прыжка у меня. И то — с вышки. Страшное это дело, откровенно скажу. Только в случае крайней необходимости и сиганешь». За короткое их знакомство Слободкин

установил — и Евдокушин из тех парней, которые не любят высовываться, стараются держаться в тени. Это Сергею тоже было по нраву. Бывают такие люди, думал он о Николае, — тихие, незаметные. Но придет пора, грянет час...

В набравшем нужную высоту самолете Слободкин сквозь дремоту пробовал всмотреться в своих спутников и не мог ничего разглядеть. Темнота за бортом была непроницаемой, небо, значит, набито тучами до краев. Это и хорошо и плохо, думал он. Хорошо потому, что линию фронта легче таким образом пройти незамеченными. Плохо потому, что никаких костров в такую мракобесину, конечно, не разглядишь, если даже точно выйдешь на цель и перейдешь на бреющий. Он подумал про автопилоты, про то, какая умная это штука, ежели ладно скроена и попала в надежные руки. Он сам немного работал на заводе, выпускающем авиационные приборы, и знает, как сложно довести автопилот до ума, как долго он иной раз капризничает, прежде чем «научится» помогать летчикам вести машину в кромешной тьме, в тумане, при полном отсутствии видимости. Конструкторы и инженеры завода бились над созданием надежных навигационных систем для слепого полета. Бились, пытались всем «Фомам неверующим» доказать, что летчику возможно будет без «внешней информации», без ориентировки на небесные светила или на земные ориентиры получать в воздухе необходимые ему данные о горизонте, азимуте, скорости, высоте, положении самолета в пространстве. Учились создавать чудо-приборы, совершенствовали их в самую трудную годину войны.

Интересно, думал Слободкин, какими приборами оснащена доставшаяся им развалюха? Скорей всего устаревшими. Кому придет в голову ставить новую навигационную технику на самолет, отслуживший срок? Не в бой ведь идем, на рядовое задание. И сам себе возражал. Пусть их всего трое, но какое ответственное дело им выпало! Если точно сбросят, они сделают все как положено. Надежная получилась группа. Страшновато немного за Евдокушина. Николай никакой военной «академии» не кончал, про фронтовое образование должен писать «незаконченное низшее». Так наверно и написал бы, если б лег сейчас перед

ним анкетный лист. Но и про вышку парашютную не забыл бы, и про дежурство на крыше под бомбой, и про морзянку. Главные козыри были у него, когда в группу просился — вышка, крыша и радиодело. И своего достиг. Дрогнуло сердце у начальства. У Гаврусева и у того, кто над ним. Если б не дрогнуло, не попасть бы Николаю в их троицу. А он через все за-слоны прошел. Молодец!

С этими мыслями Слободкин оторвал жесткие щеки от жестких ладоней, на ощупь перебрался через лежавший на полу грузовой парашют, подсел поближе к Евдокушину, тронул его угловатые, чуть поддрагивавшие в такт моторам плечи. Не громко, но и не тихо спросил:

— Дрожим?

В ответ услышал хриплое, не злое, но и не слишком приветливое:

— Отстань!..

Сергей, честно говоря, рассердился. И даже очень. Но не на Евдокушина — на себя. Ясно ведь, не только в такт моторам вздрагивали худые, почти детские плечи Николая. «У меня у самого ведь зуб не попадает на зуб. Не попадает? Точно, дробит. Так чего же я вяжусь к пацану?»

Сергей попробовал оправдаться перед пареньком:

— Я имел в виду — от холода.

Евдокушин ничего не ответил, только отодвинулся от Слободкина, может, для того, чтобы тот не чувствовал, какая его действительно бьет лихорадка. А может, затем, чтоб не ощущать нервного озноба, охватившего Сергея, стремившегося быть как можно более спокойным, но не умевшего до конца совладать с собой.

Так прошло несколько томительных и потому бесконечных минут, в течение которых и тот и другой пытались скрыть друг от друга свое подлинное состояние. Слободкин, как ему и подобало, первым справился с собой, сказал спокойно-примирительно:

— Давай старшего будить, выяснять обстановку. Давай?

Почти совсем спокойным был и ответ Евдокушина:

— А чего его будить, он не заснул ни на минуту. Протоптал дорожку в кабину летчиков и всю дорогу туда-сюда шастает.

— Шастает? Всю дорогу?.. — недоверчиво переспросил Слободкин. — Выходит, я храпанул, что ли?

— Выходит. Мы не стали будить, знали, не спал больше суток. Кому ты нужен умученный? Знаешь хоть, что фронт позади?

Со Слободкина слетели остатки сна:

— Фронт? Позади?.. Как позади? Я ни одной зенитки не слышал. Ты что-то путаешь. Сам дрых без пятток, в этом все дело. Признавайся, в этом?

— Не было никаких зениток, Слободкин, понял? Пронмыгнули, повезло нам, считает старшой. Сейчас явится, все объяснит.

Слободкин верил и не верил услышанному. А старшой что-то медлил и медлил. Не отворялась кабина летчиков. Гудел дюраль, выли моторы, сотрясалась вся машина, но громче дюраля и винтомоторной системы колотилось сердце Сергея. Ему казалось, что так же стучало и сердце Евдокушина. Он даже спросил напарника:

— Стучит? Колотится? А?..

Николай вопроса не понял. Не совсем впопад ответил:

— Что-то застрял старшой у пилотов. И машина идет чудно? Чувствуешь? Я не летал и то понимаю — все время заваливается. Набок воротит и воротит. Вот-вот гробанемся, а?..

Слободкин насторожился. Ясно зафиксировал один глубокий вираж, другой, третий... Объяснил Николаю:

— Костры ищем. Сложная это штука. И давно крутим так?

— Минут тридцать, по-моему, уже. Или даже сорок...

Слободкин вздрогнул.

— Что ж ты молчал? «Сейчас старшой явится», — сердито передразнил Евдокушина. — Мог бы сообразить, в чем дело.

— Я сообразил, не хотел беспокоить прежде времени.

— Чего? — не расслышал Слободкин.

— Не хотел, говорю, зря беспокоить, — прокричал Николай в самое ухо Сергея.

— Вы что, сговорились?.. — Сергей поднялся во весь рост, расправил лямки своего парашюта, решительно шагнул в сторону кабины пилотов. Николай так же решительно задержал его.

— Не велено.

— Чего? — опять не расслышал Сергей.

— Просили, говорю, оставаться на своих местах.

Слободкин попробовал вырваться, но маленькая рука Евдокушина оказалась крепкой, как дюраль.

Сергей вынужден был опуститься на место. Они помолчали, не зная, что сказать друг другу. Впереди них тускло маячила скважина в двери пилотской кабины. Свет из нее прорывался короткими импульсами, словно точку-тире выстукивал.

Самолет ложился то на одно, то на другое крыло, словно хотел разгрести тяжелые облака. Разгребал и никак не мог разгрести. Слободкин потянулся к иллюминатору, лицом прижался к его холодному овалу и ничего увидеть не мог. Черное небо вплотную прижалось к черной земле, и не было между ними никакого просвета. Покуда пересекали линию фронта, это в пользу группы было. Но не может же все время везти? Не может. Вот и не повезло. Потом опять повезет. Через раз приходит к парашютистам удача. Это он знал по испытанному. В общем-то никакого ЧП пока не произошло — они где-то в заданном квадрате. Партизаны их, может быть, уже слышат, костры выложили, смолят на полную мощность. Горючим баки заправлены, конечно, хоть и с небольшим, но запасом, есть, стало быть, возможность еще повертеться, поискать.

Так рассуждал Слободкин. Примерно так же думал, судя по всему, и Евдокушин. Во всяком случае он сидел на своем месте спокойно, всем своим видом давая понять Слободкину, что нервы у него в порядке, не подведут, что готов к любым испытаниям в воздухе и на земле. Почувствовав это, поизучав свои слабо светящиеся часики, Слободкин сказал:

— У нас, по-моему, есть еще время.

— Чего? — переспросил Николай.

— Время, хоть и небольшое, говорю, у нас имеется. А потом...

— А потом?.. — не дал ему договорить Николай.

— А потом куда-нибудь плюхнемся и косточки свои собирать станем. Хорошо бы не далеко разбросало.

Так они еще какое-то время переговаривались, поглядывая в сторону пилотской кабины, дверь которой была все еще плотно закрыта, а через ее замочную скважину по-прежнему долетали до них тусклые, узкие и от того еще более тревожные всполохи желто-голубого огня.

Из-за низкой облачности и непроницаемого тумана партизанских костров не нашли. Группу сбрасывали «на ощупь». В распахнутую дверцу фюзеляжа вытолкнули сперва грузовой парашют. За ним через несколько секунд пошли друг за другом Плужников, Евдокушин, Слободкин.

Почти мгновенно после динамического удара, не успев сгруппироваться для приземления, Слободкин по пояс врезался в болото. В неудобной позе замер, стал прислушиваться. Сперва ничего не было слышно, кроме стука в висках. Потом до Сергея донеслись звуки, похожие на всплески, и тут же стихли. Он снова наярл слух. Еще через минуту или две звуки повторились. Как заранее было условлено, Слободкин прокричал горлицей. Два лесных голубя почти одновременно отозвались с двух сторон.

Отстегнув лямки парашюта, Слободкин подтянул к себе купол за строны, скомкал перкаль в клубок и стал топить его, упрямо пузырившийся, в болотной жиже по всем правилам десантного дела. Болото обжигало холодом и сковывало движения. Никакой он не был парашютист в те минуты — обыкновенный стреноженный конь. Еле-еле выпростался из мокрых объятий кувшинок и еще каких-то незнакомых трав, похожих на строны, длинных и крепких — не разорвешь.

К тому времени, когда троица собралась, выкарабкавшись на более мелкое место, уже начало светать. Если действовать опять-таки по военной науке, надо было отсюда немедленно уходить. Но наука наукой, а грузовой парашют грузовым парашютом. Никак не могли понять, куда его зашвырнуло. Обшарили все вокруг, прочесали все кусты и деревья. Парашюта нигде не было. Не мог же он зацепиться за хвостовое оперение и улететь обратно? Не мог. Плужников и Слободкин своими руками вытолкали его за борт и ничего подозрительного не заметили. И штурман был возле них. Стало быть, надо возвращаться еще и еще раз туда, откуда с такими трудами выбрались, только лезть еще дальше и смотреть внимательней. Без грузового парашюта они мало чем смогут помочь партизанам.

В болоте было сперва по колено, потом по пояс, потом становилось и по грудь, даже самому рослому

из них, Плужникову. О Евдокушине и говорить не приходится. Но делать нечего, месили и месили обжигающую холодом болотную жижу. Стократно избородили вдоль и поперек огромную территорию, но грузового парашюта, на который возлагали столько надежд и который искали весь день, нигде не было.

Измученные, вымотанные к вечеру, они оказались на крошечном клочке сухой земли. Только у Плужникова, самого крепкого из них, хватило сил открыть банку свиной тушенки на троих. Они молча по кругу опорожнили ее и заснули. Спали тревожно. Особенно Слободкин. Он знал, что иногда сильно храпит, и сейчас больше метался, чем спал, прислушиваясь к самому себе. В груди его kloкотало, то ли от простуды, то ли еще от чего, и он, боясь нарушить тишину, крутился с боку на бок, проклиная храпучую свою натуру. Первым Плужников это заметил:

— Не спится?

— Выспался, — неизвестно зачем солгал Сергей.

— Бреешь, Слобода, я тебя насквозь вижу. «Выспался»!

— Я тоже, — неожиданно подал слабый голос Евдокушин.

— Тоже бреешь или тоже выспался? — мрачно спросил Плужников.

— Тоже выспался, — стоял на своем Евдокушин.

— Оба хороши! — рявкнул старшой. Помолчал, похрустел затекшими суставами, спросил: — Какие предложения будут?

— Перевели дух немного, продолжим поиски, — сказал Слободкин. Подумал и добавил: — Тем более я рацию потерял.

— Шутка глупая, — устало пробасил старшой. Тоже помолчал и тоже добавил: — Дурацкая даже!

Слободкин вынужден был повторить, что в самом деле рации у них больше нет. Только та, что в грузовом парашюте. А его, запасная, соскочила с плеча во время приземления.

— Раззява! — зло сказал старшой, когда понял, что шутки тут нет никакой, ни глупой, ни дурацкой, ни тем более умной.

Они опять помолчали. Через какое-то время Сергей, которому было стыдно за свое «раззявство», за то, что вольно или невольно подвел товарищей, заметил:

— А если долго смотреть в одну точку, начинаешь все различать. Все до капли.

Плужников негромко хохотнул:

— И давно ты так «долго смотришь в одну точку»?

— Не знаю,— на этот раз сказал чистую правду Слободкин.— Может, целый час уже.

Все трое стали напряженно вглядываться в обступившую их ночь. Не прошло и нескольких минут, как Плужников тихо воскликнул:

— А ведь прав, Слобода! Кое-что вырисовывается.

— У меня глаза как сверла,— любую тьму — насквозь. Вон тучи разъехались, первая звезда прорезается. Во-он там, за лесом. Смотрите, глядите!..

Никакой звезды никто, кроме Слободкина, не увидел — ни «вон там», ни «вот тут». Нигде.

Тем не менее все трое тяжело, но дружно поднялись на ноги.

— Раз ты глазастый такой, веди! — приказал Плужников Слободкину.— Все болотные версты перетолчем заново, а грузовой парашют и рацию сыщем. Или грош нам цена без палочки.

Верил в свои слова старшой или не верил, было неясно, пожалуй, и ему самому. Но никаких других слов не нашлось ни у него самого, ни у Слободкина, ни тем более у Евдокушина. Они и не искали других слов. Снова безропотно окунулись в холодную хлябь, но теперь она была уже не такой труднопроходимой. Так, по крайней мере, казалось Слободкину. Сказал об этом ребятам. Плужников поддакнул:

— Родная стихия! Скоро жить без нее не сможем.

Слободкин тоже буркнул что-то в тон старшому.

Так, невесело, но решительно поддерживая друг друга, они передвигались, разгребая окоченевшими руками пропитую водорослями болотную жижу. И ночь становилась непонятно почему уже не такой бесприсветно темной и холодной, и новые силы откуда-то брались. Откуда? — спрашивал себя Слободкин. И не мог ответить. Только чувствовал, что ночь действительно не так уж бесприсветно темна и холодна и кое-какие силенки в самом деле еще остались, не выпотрошены до дна. И выпотрошены будут не скоро — не раньше как нашарят парашют и рацию. И еще Сергей почему-то был твердо уверен, что именно ему выпадет счастье первому крикнуть: «Нашел!» Почему? По очень простой причине. Еще в госпитале его одолевала мечта —

попасть снова на фронт, опять оказаться в своей десантной роте. Много раз упрашивал начальство, чтоб доверили серьезное дело. Всеми правдами и неправдами упросил, наконец, укланчил. Вон какая задача выпала! Теперь самое главное — оправдать доверие.

Никогда в жизни Сергей не чувствовал себя таким уставшим и таким сильным. Таким беспомощным и таким всемогущим. Таким близоруким и таким дальноруким. Старшой правильно сделал, что его вперед выдвинул. Правильней некуда. «Самый глазастый, ве-ди!» И поведу. И повел уже. И даже тактику свою выработал.

— На меня смотрите, на меня, — приказал изнемогшим своим напарникам. — Ежели во весь рост продираться, больно глубоко грузнешь. Как я попробуйте, как я — легче ступайте, здесь почти плыть можно. Меньше хлебать будем этой дряни!

Слободкин тошнотно выплюнул гнилую муть, которой наглотался. Откашлялся.

— Не могу больше. Меня сейчас вырвет! — прохрипел Евдокушин.

— Ну и хорошо, что вырвет, пусть вырвет, — сказал Слободкин.

— Не могу... — повторил Николай.

Пришлось остановиться. Отдыхались немного. Плужников задал свой любимый вопрос:

— Какие предложения? Может, местами заменимся?

— Как это? — не понял Слободкин.

— Может, Евдокуху вперед запустить?

— Зачем? — снова не понял Сергей.

— На глазах у нас будет все время, не потеряется, — пояснил свою нехитрую мысль старшой.

— Не потеряюсь, — обиделся Евдокушин. — Мне лучше уже.

— Лучше? Или хорошо? — спросил Плужников, любивший во всем точность и определенность.

— Пристал! — еле слышно огрызнулся Николай. — «Евдокуху, Евдокуху...»

По всему было видно, силы его медленно, но верно все-таки покидают.

— Давай мне свой сидор и автомат, — приказал Плужников.

— Не дам! — еще раз огрызнулся Евдокушин, немного погромче, чтоб показать: богу душу покуда не отдал.

— Не трожь человека,— вмешался Слободкин.— Скоро оклемается, я знаю его.

Это была не чистая правда, а стало быть, неправда чистая. Не слишком-то хорошо знал Слободкин Евдокушина. Ни в каких передрягах с ним не был. Просто стало ему жаль парня. Из троих молодой самый. Старшему тоже было жаль, но он жалел грубовато. От такой жалости человеку чаще всего еще хуже делается. Надо, конечно, пожалеть парня, но чуть-чуть по-иному, чтоб он этого и не заметил даже. Так и поступим, решил Сергей. Через минуту-другую сказал:

— Меня тоже тошнит. Не могу больше...

— Врешь,— спокойноотреагировал Евдокушин, разгадавший, как ему показалось, маневр Слободкина.

Но Сергей на этот раз выдал чистую правду. Его в самом деле мучило, он еле сдерживался. Пересилив себя, словцо про белорусские болота ввернул. Будто бы тянутся они «сколько хотят» и бывают среди них поглубже, а зимой и намного прохладнее этих.

Старшой угрюмо ухмыльнулся:

— Так то ж зимой! Утешил. Пропаганда и агитация? Давай, давай, полезное тоже дело.

— Не пропаганда,— спокойно ответил Слободкин,— и не агитация. В болотах тех покувыркался я вот так. И вот какую интересную вещь заметил. Через каждую сотню метров там островки попадаются. Есть где дух перевести. Я думаю, и тут набредем на такие места. Должна же эта зараза когда-то кончиться!

— Должна,— согласился Плужников.— Что дальше будет?

— Дальше нормальное болото пойдет.

— Оптимист! — мрачно хохотнул старшой.

— Отчасти,— уточнил Слободкин.— Но я носом чую тот край, где начнутся хоть и не частые, но острова. Во-он там...

Он показал в ту сторону, куда они и двигались в данный момент.

— Кому голову морочишь? — спросил старшой.

— Говорю знаю, значит, знаю.

Еще с пяток минут так поспорили, поогрызались. Время было не потеряно, а выиграно, цель, поставленная Слободкиным, достигнута: отдышались малость, теперь можно новый заход начинать.

Двинулись. То шагом, то почти вплавь, то опять шагом...

Обшарили все окрест. Парашюта и рации нигде не было. Но один из обещанных Слободкиным островков наконец попался.

— А ты, оказывается, спец по болотам! — похвалил его Плужников. — Давайте привал делать, хлопцы. Я тоже не могу больше.

Начиналось новое утро. Надо было подумать и о маскировке, и об отдыхе. Даже старшего, самого сильного из них, больше действительно не держали ноги.

Остановились. Плужников предложил было «расхотутаться», подсушить обмундирование. Евдокушин промолчал. Слободкин не посоветовал:

— Из сапог дрянь выгребем, портянки выкрутим. И всё. Немец близко.

— Откуда знаешь? — спросил старшой. — Заплутали же мы.

— Расчет простой. Если нас сбросили, где надо, он должен быть рядом — сказано: за партизанами по пятам ходит.

— Сбросили там, где полагается, — не очень уверенно ответил Плужников.

— А тебе почему знать? — возвратил ему вопрос Слободкин.

— Штурман сказал, ошибка, конечно, может быть, но небольшая, — объяснил старшой. — Плюс-минус пять-десять километров.

— Значит, я прав, — сказал Слободкин. — И штурманá народ точный. Редко ошибаются.

— И все же бывает? — еле слышно подал голос Евдокушин.

— Бывает, — вздохнул Слободкин.

Старшой с ним согласился.

Спать решили по очереди. Сперва Евдокушин со Слободкиным, потом Плужников. Такой график старшой сам выработал. Слободкин спорить не стал, только попросил будить его, ежели расхрапится.

Но график графиком, а смертельная усталость быстро и неотвратимо взяла свое. Распластанные на прелой, склизкой траве, туго спеленутые мокрой одеждой, они почти сразу же канули в забытие. Все трое. И спали долго.

Первым поднял тяжелые веки Слободкин. Мутным, еще не совсем проснувшимся взглядом молча смерил с головы до ног двух незнакомых бородатых людей, стоявших рядом, зажмурился, повернулся на другой бок. Потом вдруг вскочил, потянулся за автоматом.

— Отставить! — тихим, но властным голосом остановил его один из бородачей. — Свои!

— Свои?! Ты что, дед!.. — затараторил Сергей. Автомат уже был у него в руках.

— Ты все-таки опусти пушку-то, опусти, — спокойно вступил в разговор другой бородач. — Ну чего ты? Черта от дьявола отличить не можешь?

— Пароль! — выпалил Слободкин и уставился на бородатых пришельцев.

— Горлица! — без запинки последовало в ответ.

— Точно! — громко воскликнул Сергей и тут же перешел на шепот. Но оплывшие ото сна, ошалевшие от неожиданности Плужников и Евдокушин уже повскакали на ноги и тоже кинулись было к оружию...

Оказалось, штурман был точным, несмотря на непогоду. Грузовой парашют спустился недалеко от того места, где надо, хотя костров, ясное дело, с самолета не увидели и увидеть не могли. Слишком низкая облачность, слишком плотный туман. Такие туманы редкость даже в этих местах, совсем не случайно прозванных гиблыми. Партизаны нашли грузовой парашют почти сразу же после его приземления — больно сильно плюхнулся, даже купол не успел наполниться воздухом. А вот самих парашютистов едва сыскали.

— Только час назад обнаружили, — сказал один из бородачей с сильно осипшим, гудящим голосом. При этом он, кажется, чуть-чуть улыбнулся. Но в точности определить, так это или не так, было невозможно. Улыбка сквозь бороду не пробилась, хотя вроде и сделала таковую попытку.

— Час назад? — изумился Плужников. — Я же глаз не сомкнул. Вы что-то путаете.

— Час тому, — повторил бородач. — Даже с лишком, пожалуй. Будить не стали, хоть и надо было. Прикрыли вот кое-какой одежкой, дай, думаем, отдохнет новое пополнение. Отдыхались, пришли в себя?

Плужников, Евдокушин и Слободкин только тут заметили, как сползают с их плеч партизанские телогрейки.

— Ну а теперь докладайте по порядку,— прогудел партизан, у которого борода была чуть не до пояса.— Кто командир из вас? Ты, что ли? — инстинктивно обратился он к Плужникову.

— Я вроде,— неохотно отозвался тот и тут же уточнил: — Теперь мы все в вашем распоряжении.

— Понятно,— удовлетворенно пробасил бородач, отдавая должное своей проницательности.— Как состояние? Здоровье? Терпимо?

Плужников ответил за всех:

— Вроде живы-здоровы. Вы-то здесь как?

— Если в общем и целом, то ничего. Но положение сложное. Если б не вы, дело, может, совсем дрянь было бы. Теперь кое-чем разжились. Боеприпасы, аккумуляторные батареи, лекарства, консервы и все прочее из грузового парашюта выгребли и уже отправили куда надо. Ежели еще по радиосвязи поможете — вот так выручите. На два отряда один радист, и тот еле дышит, вот-вот концы отдаст.

Слободкина грубоватые эти слова покорибили. Но он постарался пропустить их мимо ушей. Подумав минуту-другую, спросил:

— Два отряда?

— Наших два. А что?

— Ничего. Нам про один говорили. Два так два. Но может, вам, отец, объединить отряды в один — не распылять силы-то? — решил блеснуть стратегической мыслью Слободкин.

— Верно, кое для чего лучше,— согласился партизан.— Но есть в военном деле еще такая штука — тактика. Мы ведь не отсиживаемся в лесах-болотах. Хоть и малыми силами, но колотим его. А это с двух сторон сподручнее получается. Он думает, нас тут целые тыщи...

— А вас? — Слободкину, да и всем им не терпелось скорее узнать про партизан всё.

Они скоро всё и узнали. Только вводили их в курс дела не сразу, постепенно.

Бородач с осипшим голосом грубовато представился:

— Я командир первого отряда. Василий.

— По батюшке?

— Просто Василий. А насчет «отца» я так скажу, сынок. Ты с какого будешь?

— С семнадцатого,— ответил старшой.

— С девятьсот семнадцатого?

— С девятьсот.

— Поздравляю ровесника Октября и своего тоже!

— Неужели? — поразился Плужников.

— Вот тебе и неужели! — ухмыльнулся Василий. —

А вот этот действительно отец, — указал он на своего напарника. — С пятнадцатого. У нас его все Стариком зовут. Даже немцы знают это имя. Ужас на них нагоняет. Ну-ка, дай свой карабинчик, Старик.

— Тот протянул командиру винтовку. Василий, проведя шершавой ладонью по бесчисленным зарубкам на ее ложе, сказал:

— Рашниль!

Плужников со свойственной ему обстоятельностью представил Василию свое войско. Когда сообщил, что самый юный из всех троих Евдокушин и что он силен в радиотехнике, командир обрадовался, смерил Николая изучающим взглядом.

— Вот это уважили так уважили! Как только выйдем на связь, благодарность центру отстукаем. Перво-наперво, ясное дело, доложим, что вы нашли нас.

Плужников не удержался, внес поправку:

— Не мы вас, а вы нас.

Командир две формулы свел в одну:

— Вы нас, а мы вас. Так совсем точно будет. С чего начнем? Может, сразу и двинемся? Только путь не ближний, учтите, кружной. Болотами нашими, вижу, вот как сыты — в обход придется чанать.

Плужников глянул на своих товарищей. Остался их видом в целом доволен, кажется. Пообсохли малость, пришли немного в себя. Голодные, конечно, как бобики, но натошак даже лучше шагается, давно установлено. Острый кадык его шевельнулся в тот миг и даже хрустнул.

Василий заметил это, подбодрил, как мог:

— Часика через три-четыре будем в первом отряде. Там подхарчимся, все обмозгуем, а сейчас перекур и по коням?

— По коням, — за всех ответил Плужников.

Никто так не обрадовался предложению покурить на дальнюю дорогу, как Слободкин. Он давно уже шарил по карманам своей гимнастерки, но кисета, подаренного еще шефами в госпитале, не находил. Да если бы и нашел, что толку? Какую лапшу болотную обнаружил бы вместо махорки?

Командир, угадав в Слободкине заядлого курильщика, шагнул к нему первому, отвинтил крышку пулеметной масленки, до краев наполненной самосадом.

— Отведай. И вы тоже,— он каждому поочередно поднес свой «портсигар». — Местная. Все, что осталось в тутошних деревнях. Жителей по лесам разогнал, животину порезал, сожрал, хаты порушил, колодцы отравил, а махорка вот кое-где уцелела. Не принимает наш табачок, свой, искусственный тянет.

— Пускай тянет, паразит,— выругался Плужников,— не так долго ему тянуть осталось.

Командир насторожился:

— Точно?

Плужникову на мгновение изменила его железная приверженность к строгой определенности во всем и всегда:

— Разговоры идут всякие. Скоро ему капут-гемахт будто бы.

Командир глубоко вздохнул.

— В том-то и дело, что «будто бы...». Нам поконкретнее б малость. А?

— Конкретнее, думаю, никто не знает. Ты полегче подкинуть можешь вопрос?

— Про второй фронт что нового? — мрачно спросил командир. — Будет он или нет? И если будет, то когда? Сколько можно?..

Плужников и на это не знал, что сказать утешительного:

— Тушенки отведали из грузового?

— Я лично не успел еще. И он тоже,— командир глянул на Старика. — Говорю же, сразу, как грузовой парашют подобрали, содержимым полюбовались и тут же в отряд всё отправили, а сами вас разыскивать начали. А что? Хороша тушенка?

— Глаза б мои на нее не глядели,— сознался Плужников.

— Что так? — удивился командир.

— «Вторым фронтом» Черников ее в насмешку прозвал.

— Кто такой Черников? — не понял Василий.

— Кореш мой по госпиталю. Большой весельчак был, заводила и выдумщик.

— Весельчак и выдумщик? — переспросил командир. — А мы тут, откровенно говоря, надеемся. Вот-вот откроют, думаем.

— Угу,— промычал Плужников и зло сплюнул,— курочка-то еще в гнезде...

Что мог сказать он о пресловутом втором фронте этим людям, переносящим такие тяготы, воюющим без лишнего патрона, без лишнего метра бинта? И как воюющим! А сказать все же нужно было. Не утешительную размазню — что-то более или менее внятное.

Слободкин, молчавший до сих пор, решил прийти на помощь старшему:

— У меня тоже был кореш в госпитале. Два прозвища имел: «Граната» и «Второй фронт». Десятки осколков из него вытащили. И все ровненькие — по рисочке. Врач осколки выбрасывать не велел: их, говорил, в музее будут показывать — почти целая «лимонка» меж ребер одного человека...

— Так, с «Гранатой» понятно,— перебил Сергея командир.— А почему «Второй фронт»?

— К строевой парня годным после всего этого не признавали. Он сказал, как только выпишется, переправится в тыл, организует партизанский отряд, назовет его «Вторым фронтом».

Командир покачал головой.

— Сейчас придумал?

— Не имею привычки. Все в точности так и было — ушел в тыл, собрал целый отряд раненых-перераненых, «Вторым фронтом» назвал. В «Комсомолке» об этом была статейка.

— Сам читал? Или как? — спросил командир.

— Сам писал даже.

Василий мрачно глянул на Слободкина.

— Если даже придумал, то к месту — на второй фронт, мол, надейся, а сам не плошай. Так выходит?

— Выходит так, командир.

— Ну, коли так, кончать перекур будем,— Василий словно вопрос задал.— Можем ли двигаться, дескать?

Слободкин старшину своего вспомнил, Брагу. Тот всегда особый подход имел к солдату. Бывало крикнет: «Подъем!», а сам каждого, и его, Слободкина в том числе, быстрым, но внимательным взглядом смерит. Всё ли в полном порядке, красноармеец Слободкин? Сыт ли ты? Не тяжело ли тебе? Не болит ли что? Нет ли погрешности? Тут, если даже все тело твое стонет, вскочишь, найдешь свое место в строю. А если скажет «Запевай!» — запоешь, как бы худо тебе не было. Бы-

вает ведь худо солдату? И еще как! У каждого своя забота, своя беда. Один всю семью потерял с самого начала войны. Другой пишет дивчине письма и складывает в вещмешок, потому как почтовые ящики редко на войне попадают. Слободкину, например, ни одного не встретилось за все время в белорусских лесах и болотах. Вот и копил письма до случая. Потом, нежданно-негаданно оказавшись после госпиталя и военного завода в Москве, не знал, что с письмами теми делать, куда отсылать. Только справки пробовал навести, с военкоматами вел переписку. Трудно, очень трудно найти человека во время войны. Мать показала Сергею один из ответов, полученных ею на запросы о судьбе сына. Она поседела от того ответа, а Слободкин запомнил его на всю жизнь. Черным по белому чья-то не дрогнувшая рука вывела, что он, Слободкин С. А., «значится в списке убитых, умерших от ран и пропавших без вести...». Без вести он не пропал, от ран богу душу не отдал, не сгинул от вражьей пули. Выдюжил, вернулся к матери, успел застать ее в живых. Как-никак, свиделись. А вот другого близкого человека и следа не сыскал, хотя сделал вроде бы все, что возможно и невозможно. И вот снова он в краю лесов, болот и полей с сожженными хатами, с разоренными почтами, с оборванными проводами. В бесконечной разлуке с любимой. Жива ли? Здорова ли? Воюет? Работает? Может, кто-то другой ей встретился? На войне всяко бывает. Эту мысль Слободкин постарался как можно скорее прогнать от себя. Но все-таки вспомнился ему один разговор с матерью на эту тему. Мать сказала, когда он отважился поведать ей о любимой: «Видно, сынок, любишь по-настоящему. Господи, как я рада за тебя, Сереженька! Без любви какая жизнь? Люби, люби! Тебя любят, и ты люби. Тебя забыли — ты все равно люби, люби всегда. Я так понимаю. Только тогда человек человеком себя чувствует, когда любит, всем пожертвовать ради другого готов, даже жизнью. И жертвует, гибнет, а любовь остается. Понял что-нибудь? Ничего ты не понял, сынок, но поймешь когда-нибудь»...

Чудная у него все-таки была мама. Хорошая, очень хорошая, добрая, благородная, но чудная. Разве может любящий забыть? Может, она на отца намекала? Так ведь он никогда не любил ее. Она любила, а он притворялся. Подросток Серега, видел и понимал, что

притворство, а что настоящее. А она почему-то не в состоянии была осознать этого.

— Что задумался? — толкнул командир Слободкина, у которого огонек самокрутки уже прикипел к пальцам. — Кончать перекур будем или по второй еще высмолим?

Вместо ответа Слободкин резким движением поднялся, показывая пример товарищам. Ничего не сказал, но про себя целую речь произнес. Отдохнули, мол, двигаться можем, потертостей нет, а если и есть, мы тебе потом как-нибудь скажем, командир. А сейчас все в порядке и у меня, и у Плужникова с Евдокушиным. Про Старика ты сам все знаешь.

Шагали молча, прислушиваясь к шуршанию травы, к шелесту веток орешин, хлеставших по лицам, к дыханию друг друга. Примерно через час тишина разорвалась резко и грозно. Сперва километрах в двух-трех зарокотали моторы, потом совсем рядом — у Слободкина даже заложило уши и еще, спустя какие-то мгновения, в просветах между кустов на большаке, параллельно которому они в данный момент двигались, замелькали танки.

Тяжелые машины шли сплошняком, суетно, словно стараясь перегнать друг друга. Над дорогой, накрытой частой сетью дождя, поднимался все выше синий смрад, отдававший едким перегаром бензина и тавота.

Люки у танков было плотно задраены. Приплюснутые их башни были похожи на головы, втянутые в плечи. Слободкину подумалось — пугает, а сам боится. Приблизился к командиру вплотную, сказал ему об этом в самое ухо. Тот закивал: знаем, мол, мы эти штучки, изучили. Страшает, а сам дрожит, сукин сын.

Помедлив минуту-другую, спросил Сергея:

— Хочешь убедиться?

— Да я уж понял это не раз, — не то согласился, не то возразил Слободкин.

Командир оказался человеком настойчивым и отчаянным. Он нагнулся, вырвал из липкой гины большой, круглый, как ядро, камень и с размаху швырнул его в танк. Попал по самой макушке. Башня ухнула, словно колокол. Танк, и без того шедший, казалось, на предельной скорости, резко рванул вперед, наступая на пятки двигавшегося перед ним. Тот в свою очередь толкнул под зад впереди идущему. Всю колонну,

все ее сочленения на несколько секунд как бы свела железная судорога. Когда вереница машин постепенно выровнялась, Сергей полуиспуганно, полувосторженно крикнул командиру:

— Маскировку же надо соблюдать! Или не надо?..

— Надо. Но и трусость врага увидеть кое-кому полезно.

Слободкин в другое время, может быть, сказал бы командиру, что не раз и не два убедился не только в трусости врага, но и в его коварстве и храбрости, в его суматошливости, но и в строгой организованности, четкости, дисциплине. Вот сейчас остановит колонну, развернет башни, откроет люки, оглядится и шарахнет из крупнокалиберных. Но Слободкин смолчал. Командир сам, конечно, все понимал прекрасно. Все военные науки прошел, пока борода выросла. Так же и Старик, у которого борода поменьше. Да и Плужников. Вот разве что Евдокушину все такое в новинку. Слободкин поймал слезившимся от напряжения и гари взглядом лицо Николая. В нем было в этот миг все — и испуг, самый настоящий страх, и трепет, и восхищение. Может, именно ему, самому юному, командир урок мужества и преподал? Ему, скорее всего, кому же еще? Надо, чтоб человек перед железом силу свою почувствовал. Да и выхода у них иного, как понял потом Сергей, не было — путь к отряду лежал только через большак, а им надо было спешить. Слободкин перевел взгляд на командира. Бурая его борода слилась с бурой листвой. Смотровые щели глаз прищурены, но сквозь прищур тот словно огонь полыхает. Не иначе, еще что-то удумал командир. Так и есть. Пальцем зовет к себе свое войско.

— Слушай мою команду! Переходить большак по одному будем.

— Как переходить? Их же вон сколько, — попробовал возразить Слободкин.

— Вот и я об этом. Их вон сколько, а путь к отряду — только через большак. Кто первый?

— Тогда я! — отчеканил Слободкин.

— Отставить! — загудел командир. — Пусть Старик пример покажет, у него лучше получится. А мы за ним следом. По одному!..

Слободкин не мог потом сообразить, как он очутился по ту сторону дороги. Какая сила метнула его и других из кювета в кювет? Какой глаз все так вымерил и рас-

считал, что все успели перемахнуть через большак, выбрав момент, когда между танками образовался промежуток? Пусть малый, измерявшийся секундами или их десятными долями, но которого им все равно хватило. Хватило, потому что было необходимо. Так необходимо, что хоть умри под танком, а будь на той стороне большака. И вот они лежат, живые, не расплющены траками, не снесены с лица земли раскаленной ревущей броней. Лежат ничком в придорожной канаве, защищенные от этой брони только трепещущей, жухлой листвой орешин.

Слободкин приоткрыл сперва один глаз, потом другой. Вот Плужников. Вот командир и Старик. И даже Евдокушин, за которого больше всех было боязно. И все — ничком, даже командир, не раз и не два испытывавший судьбу, даже он лежит недвижимо, словно распятый — в одной руке автомат, в другой горсть мокрого песка, стекающего между конвульсивно сжатými пальцами. Сергей видел это с поразительной точностью — черные, сбитые на сгибах в кровь пальцы командира и сквозь них, как в песочных часах, — ровная струйка мокрых песчинок.

Первым все-таки он, командир, пришел в себя. Слободкину это тоже хорошо было видно — лежал от него ближе всех. Распрямил сведенные пальцы, провел ладонью по лбу — вспотевшая кожа потемнела, на ней от налившего песка резко обозначились глубокие, как шрамы, морщины. Огляделся, убедившись в том, что все прошло удачно, по цепочке, через Слободкина передал новый приказ:

— Уходим!

Выкарабкались из заросшего кювета, двинулись за командиром. Некоторое время шли опять параллельно дороге, совсем недалеко от нее, и танковый гром продолжал висеть над ними, оглушая, выматывая душу. Слободкин заметил, что командир и Старик хорошо знают места, по которым идут. Сколько же раз были исхожены ими эти невидимые пути-перепутья! Именно невидимые — Слободкин глядел под ноги, следопыт он был неплохой, но нигде и намека на тропку не находил. Шагали долго, быстро, уверенно. В одном месте, правда, чуть менее уверенно своротили в сторону — мимо внимания Сергея это тоже не прошло. Но и после своротка, когда большак стал отдаляться, долго еще преследовал их лязг гусениц и гул моторов. И налетев-

ший ветер долго еще не в силах был заглушить обезумевшего металла.

— Затекает что-то новое, грандиозное, паразит. С фронта на фронт железо не зря катит,— сказал командир, когда гром наконец оборвался.— Кто прикинул, сколько танков в колонне? Двести? Триста? Пятьсот? Больше? Меньше? Что молчите? Ну, хлопцы!

Никто не мог хотя бы приблизительно ответить на этот вопрос. Ни Старик, ни Плужников, ни даже он, Слободкин. О Евдокушине и говорить нечего. Слободкин после раздумья все ж попробовал:

— Много...

— Ответ правильный,— не то согласился, не то съязвил командир.— Много. Нам бы чуть поточней, а?

Никто больше рта не раскрыл. Командир сплюнул.

— Партизаны-разведчики, мамочку вашу... Время надо было засекасть. Вре-мя! Часики!

— Мои остановились в болоте,— буркнул Слободкин.— В том, самом первом, где у меня рация с ремня сорвалась.

Командира передернуло:

— Рация? Сорвалась? Как это сорвалась? Ты в своем уме?

Это было уже слишком. Слободкин, однако, сдержался, как мог, спокойно объяснил:

— Ремень лопнул при ударе. В грузовом парашюте у нас еще одна, основная есть, вы же видели. Все предусмотрено. Только часики вот одни и те захлебнулись.

Выслушав объяснение Слободкина, командир немного уgomонился:

— Часики потом почистить нужно. Мои тоже на самом пределе, но все же топают, смотри,— он сверкнул обливным циферблатом.— Короче, я засек и сейчас все подсчитаем с точностью до грамма. Час сорок тянулась эта гадюка. С небольшим гаком даже. Какую скорость по такой дороге развивают немецкие танки? Это мы знаем,— сам себе ответил командир.— Какую дистанцию держали между собой?

На этот счет мнения разошлись. По Евдокушину выходило, что никакой дистанции вообще не было.

— Как же ты прошмыгнул? Вёрхом, что ли?

Евдокушин смутился. Командир попробовал приободрить паренька:

— Не тушуйся, радист, ты молодец пока.

Он снова глянул на часы и добавил:

— Донесение в штаб тебе передавать. И чем скорее, тем лучше. А насчет дистанции я так скажу: немец человек аккуратный, все по наставлениям у него, которые нам известны с первого до последнего. Арифметику мы тоже знаем, все четыре действия. Что получается? — командир неожиданно перешел на шепот, словно кто-то мог подслушать его в этот миг. Евдокушин не расслышал и смутился еще больше. Мимо внимания командира не прошло и это:

— Что с тобой? Может, с непривычки? И чего-то красный ты? Как чувствуешь?

Слободкин глянул на Евдокушина. Щеки его в самом деле пылали.

— Нормально, — тихо не то сказал, не то простонал Евдокушин.

Это была неправда. Сергей и на ходу разглядел, что белки глаз Евдокушина налились кровью и дышит он тяжело, прерывисто, шагает с трудом, сильно припадая на одну ногу. Сказать об этом командиру? Или нет? Решил повременить, но вот командир и сам заметил неладное. Велел остановиться, подошел к Николаю, потрогал вспотевший лоб парня, поставил диагноз:

— Простыл! Ясное дело, в самом стылом болоте побывал. Мы его, когда можно, стороной обходим, вас же в самую серединку угораздило.

Слободкин хотел сказать, что если б не болото, они бы разбились вдребезги. Не сказал, передумал. К чему? Он прыгал и с малых и с предельно малых высот, но с такой малой, как в этот раз, впервые. Ведь на бреющем шли, едва не сшибая ветви деревьев. Чтобы уйти от неприятной мысли, спросил:

— Стылое, говоришь? Точное название.

— Мы сами его так окрестили, когда, отходя на заранее подготовленные позиции, прошлой зимой, по уши вкрячились. Выручило кое-кого, кое-кого на тот свет отправило. Р-дники!

Последних слов командиру лучше было, пожалуй, не говорить — услышав такое, Евдокушин уже не смог скрыть охватившего его озноба, хотя и пытался.

— Что же делать с тобой? — вздохнул командир. — Еще хоть немного пройти можешь?

— Могу, — выдавил из себя Евдокушин. — А много еще осталось?

Этим вопросом он выдал себя окончательно. Не было у него больше сил, ясное дело. Да и откуда им взяться? Первый в жизни прыжок, да еще ночью, в болото с ледяной водой, а потом еще танки. И все одним разом, без передышки. Не много ли? Многовато, тем более для человека незакаленного. Слободкин и тот чувствовал себя не в своей тарелке. Да и Плужников, кажется. Приумолк что-то, приуныл.

— Приуныл? — врасплох спросил Слободкин старшего.

— Иди ты знаешь куда!.. — хоть и негромко, но выругался Плужников, и этим тоже себя выдал.

Невеселая получалась картина. Честно сказать, Слободкин и сам был на последнем пределе. И давно уже — еще в обжигающем том болоте. Но держался кое-как до поры. И сейчас еще держится. Однако и у него готово сорваться с пересохших, растрескавшихся губ — «много ли осталось еще, командир?..». Не сорвется, неправда! А если и сорвется вдруг, то вовсе не потому, что последние силы выдохлись — просто надо ведь элементарно сориентироваться? Необходимо.

— Много ль нам топать еще, командир? — улучив момент, тихо, как бы невзначай поинтересовался Слободкин.

Василий от вопроса этого почему-то вздрогнул:

— Тебе честно сказать? — еще тише ответил: — Только строго между нами: заплутали мы в одном месте.

— Когда своротили от дороги? — инстинктивно догадался Сергей.

— Да не там своротили, — подтвердил догадку Василий.

— А сейчас? — не унимался Сергей. — Сориентировались? Или нет?

— Сейчас точно идем. Но крюк великоват получается. Верст десять лишку загинаем. Дай бог, к ночи причапаем. Хватит ли пороху у него? — Он оглянулся на Евдокушина, плетущегося позади всех.

Слободкин переживал за Николая, боялся за него. Сейчас решил не тянуть больше, выяснить все до конца.

— Надо привал делать, командир. Переведем дух, заодно посмотрим, какой сюрприз приготовил радист

наш. Он же не идет — еле-еле переваливается, — выпалил с сочувствием и досадой.

Остановились. Евдокушин сразу почувствовал недоброе. Приковыляв кое-как к своим, спросил испуганно:

— Из-за меня?

— Почему именно из-за тебя? По уставу положено, — ответил командир. — Малый привал.

А сам сразу — к нему. Снял вещмешок с Николая, велел лечь на спину. Именно велел — Евдокушин сопротивлялся, пришлось уложить его силой. Вдвоем со Слободкиным расстегнул у парня ворот. Сперва командир припал к тощей, часто вздымавшейся груди радиста, потом Слободкин. Незаметно, коротко переглянулись. Им казалось, что незаметно. Евдокушин заметил, хотел что-то сказать — сухой, надсадный кашель перехватил дыхание.

— Такие дела... — неопределенно протянул командир.

— Ну что? — с трудом отдышавшись, спросил, наконец, Евдокушин.

— Температурка у тебя, вот что, — сказал командир.

— Ерунда! Полежу минут десять, и тронемся. Не в такие ходил походы... — новый приступ кашля не дал ему договорить.

Слободкин подумал, в какие такие «походы» мог ходить этот парень? Пионерское детство свое вспомнил, что ли, совсем недалекое? Сергей вдруг обнаружил жидкий лебяжий пушок на верхней губе Евдокушина. Может, и не следовало такого посылать? Ясное дело, не следовало. Недоглядело начальство. Мы тоже хороши, языки поприкусывали. Видели ведь — малюсёнка в группу подсунули.

Сергею вспомнилось вдруг словцо из своей пионерской поры. Крохотулю мальчишку прозвали они малюсёнком однажды в лагере — такого же вихрастого, белесого и такого же беспомощного. Что радист — хорошо, что прыгнул до этого с вышки — тоже прекрасно. Но все-таки, прежде чем в группу включать, надо было все взвесить как следует. Семь раз отрезали, один раз отмерили. В Сергее все круче закипала по этому случаю злость на «начальство», на старшего, а на самого себя больше всех, хотя при формировании группы совета с ним никто не держал.

Надвигалась еще одна ночь. Привал давно надо было кончать, а Евдокушин подняться не мог. Он то метался в жару и в поту, то дрожал мелкой дрожью. Погода снова испортилась, притихший было дождь начал молотить с новой силой, резко похолодало. О движении с больным Евдокушиным и речи быть не могло.

Командир отправил в отряд Старика — за лошадью и телегой, а оставшиеся принялись, как могли, лечить Николая. Командир укрывал Евдокушина промокшим ватником, который тот поминутно сбрасывал. Плужников и Слободкин таскали ветки орешника, пытались построить из них подобие шалаша. В быстро наступавшей темноте дело никак не ладилось — хлипкое сооружение заваливалось под порывами ветра, то на один бок, то на другой. Евдокушин, задыхаясь от жара, каждые несколько минут начал просить водицы. Пришлось собирать дождевую воду во флягу. Слободкин заметил странную закономерность — чем сильнее хлестал дождь, тем уже делалось и без того узкое алюминиевое горлышко...

К утру трое здоровых валились с ног, а больного скручивало все сильней. Он с трудом поднимал на секунду-другую дрожавшие веки и тут же закрывал. Даже жидкий рассвет, просочившийся в кособокий шалаш, который все-таки соорудили, больно резал воспаленные глаза Николая. Пить он больше уже не просил — молча облизывал пересохшие, потрескавшиеся губы.

— Ну что ты, радист? — наклоняясь к Евдокушину, спрашивал Слободкин. — Где болит? Что болит? Тут? Или тут? Скажи, мы все сделаем...

Ничего они сделать больше не могли. Николай понимал это, сквозь тяжелое дыхание спросил Сергея:

— Дал я вам жизни, да?

— Пустяки, — как мог успокоил парня Слободкин.

— А где Старик?

Сергей промолчал, сделал вид, что не расслышал.

— Снайпер, говорю, где? — повторил Николай. — И все наши?

Слободкин от прямого ответа ушел:

— Зачем они тебе? Соскучился?

— Ты думаешь, если я заболел, то ни черта не понимаю. Я все слышал. Из-за меня все это. Молчишь?

Сергей решил объяснить ситуацию так:

— Сперва с азимута сбились. Потом ночь наступила, дождь припустился пуще прежнего, а под ногами глина, то болото, то вообще... Вот и пришлось ночевку устраивать, хотя времени у нас мало. Ноль времени, радист, круглый ноль...

— Из-за меня все это, знаю, — упавшим голосом повторил Евдокушин. — Так где же Старик-то?

Слободкину врать больше не захотелось.

— Кто-то должен же был сообщить в центр о танках? Вот командир и отправил его в отряд. Там их радист и всё, что мы доставили для радиосвязи. А остальные недалече. Теперь понял что-нибудь?

— Так бы и сказал.

— Так и говорю.

Они помолчали. Каждый думал свое. Слободкин о том, чем бы еще подсобить парню. Евдокушин о том, наверно, как бы избавить людей от лишних забот. Он через какое-то время даже попробовал чуть приподняться. Слободкин властным жестом уложил его обратно.

— Ты полежи пока, полежи. А еще лучше поспи. Можешь поспать немного? — сам он при этом не то вздохнул, не то зевнул.

— Умаялся? — спросил Евдокушин.

— С чего ты взял? Выспался. Все выспались.

У Евдокушина, несмотря на его тяжелое состояние, разламывающаяся от боли голова работала временами очень отчетливо. Он процедил с горечью, скосив налитые кровью глаза:

— Я знаю. Выспались и отдохнули все. Кроме тебя, командира, Старика и Плужникова. А я немного забылся, точно помню.

Евдокушин сам, видимо, не знал, правда это была или неправда. И Сергей тоже не знал. Он слышал всю ночь не то храп Николая, не то его хрип, прерывавшийся глухим удушливым кашлем. Слышал и то, как Евдокушин несколько раз бредил, бессвязно повторяя одни и те же слова: «Ледяное? Стылое? Кто сказал? Ты, командир? Или ты? Ледяное, ле-

дяное, стылое, не спорю. Тебе холодно, Слобода? А тебе?..»

К утру температура у Николая, судя по всему, подскочила еще выше, но бредить он перестал. Только дышал тяжело и надсадно. Улучив момент, когда больной все-таки заснул, Слободкин снова пошел собирать воду. По желобкам листьев орешин дождевые капли прерывистой струйкой медленно, но верно стекали в горлышко фляги, которое уже, к счастью, не было таким безнадежно узким, как ночью.

Командир и Плужников, сходявшие в разведку, вернулись мрачные, неразговорчивые. Чтобы отвлечься от невеселых мыслей, принялись доделывать шалаш. Наломали побольше веток, укладывали их поверх старых особым способом — листок к листку, как черепицу. Или это так казалось Слободкину? Нет, не казалось: именно листок к листку, как когда-то учил его старшина Брага, великий и мудрый умелец из-под Харькова. Укладывали, мостили веточку к веточке, а сами прислушивались к шорохам леса, посматривали в ту сторону, откуда должен был появиться Старик. Прислушивались, посматривали, а снайпера все не было. Уж не попал ли в заваруху какую, не нарвался ли на немцев? Они тут всюду, во всех спаленных деревнях, а как рассветет, и по лесам шастают — везде им партизаны мерещатся.

Уже совсем светло было, когда недалеко-неблизко раза два фырканула лошадь. Тихонечко так фырканула, словно и она понимала, что к чему. Командир вздохнул с облегчением:

— Старик и Серый причапали!

Плужников со Слободкиным переглянулись. Командир повторил уверенно:

— Старик и Серый! Молодец, снайпер — поволноваться заставил, но с делом справился. И конь-умняга, все партизанские тропы знает.

Они втроем сорвались со своих мест и уже через несколько минут в промельках ветвей орешин увидели всадника на серой лошади. Когда сблизились, не узнали Старика: бледный, без шапки, волосы в растреп, фуфайка изодрана в клочья. Он остановил Серого, устало не то сполз, не то свалился на землю, прошамкал рассеченными губами:

— Как-никак, а добрались.

— Ты что?! Что случилось? — затараторил коман-

дир, потерявший вдруг все свое командирское равновесие. — Толком говори!

— Толком и говорю: как-никак, а дотопали.

— Черт побери! На немца нарвались? Где телега? И вообще...

Снайпер сплюнул кровью, утершись драным рукавом, начал объяснять:

— Выехали-то с телегой, ясно и понятно. Сперва все как по маслу шло. Примерно с полдороги отмерили. Потом словно гром над нами шарахнул — как ни береглись, наскочили-таки на немецкую мину. Куда колеса, куда оглобли, куда облучок!.. А меня вместе с сеном, на котором сидел, к дьяволу на рога швырнуло. Когда малость очухался, стал соображать, где я и что я. Голова гудит, во всем теле боль нестерпимая, но руки-ноги целы, гляжу. Где же, думаю, Серый? Разорвало бедолагу? Пошастал, пошастал кругом и вдруг вижу: с оторванной вожжей пасется себе тихонько коняга в кустах, словно ничего особенного не случилось. На меня между тем желтым глазом косит, будто верит и не верит в то, что и он, и я живы и почти невредимы...

В этом месте командир остановил снайпера:

— Молодцы оба! Но доскажешь потом, Старик, ладно? Сейчас дел непросторот. Конь на полном ходу, значит? Прекрасно! Он нам позарез нужен. И сам ты ничего, вроде. Ничего? Или как?

— В общем и целом пока на своих копытах стоим. Меня, считай, сено выручило, Серого спасло чудо.

— Та-ак. С этим ясненько, — внешне спокойно сказал командир. — Давай дальше. Что в отряде?

— Не застал я радиста в живых. Отмаялся. А так все по-прежнему. За оружие и провиант спасибо сказали.

Выслушав рассказ снайпера, командир молча снял шапку, постоял немного в задумчивости, потом сказал:

— К тому давно шло. Не жилец он был. И все же думалось, потянет еще малость. Не потянул. Жаль, специалист был своего дела.

Еще помолчав, спросил Старика:

— Когда похороны?

— Сегодня решили. Только мы не успеем уже. Но ты не беспокойся, будут соблюдены все партизанские почести.

— Обратно в овраге?

— В том,— подтвердил снайпер.— Еще одну звезду уже отстрогали.

— Все правильно,— вздохнул командир.

Обращаясь к Плужникову и Слободкину, сказал:

— Теперь на вашего вся надежда. Он теперь на вес золота.

— Почему теперь? — спросил Сергей.

Командир не уловил в словах Слободкина обиды за Евдокушина. Зачерствел, что ли, в эти лесах? Точно, зачерствел. Шапку снял, услышав о смерти радиста, но ни один мускул на лице у него не дрогнул. Слишком уж рациональный товарищ,— подумал Сергей. Так еще одно качество ему в командире открылось. Сильный, смелый, закаленный в боях — хорошо. Многоопытный, решительный — тоже очень даже прекрасно. А вот что черств временами, то черств, никуда не денешься. Впрочем, торопиться не надо, сам себя остановил Слободкин. Сколько мы его знаем? И что такое произошло, собственно? Может, мне померещилось что-то? А если и в самом деле зачерствел, то надо его расчерствить как-нибудь. Прямо сейчас и попробую.

Не успел Сергей и рта раскрыть, командир повторил покоробившие его слова:

— Так ты понял? Евдокушину вашему цены теперь нет.

— Очень худо ему. Ночью задыхался, бредил,— сказал Сергей и внимательно глянул в командирские глаза. Ничего в них утешительного не обнаружил. Из светлоголубых они стали за эту ночь бесцветными.

— Знаю, бредил. Вместе с вами делал, кажется, все, чтоб помочь бедолаге. Делал?

— Делал,— подтвердил Слободкин.— Но ты еще не все знаешь, командир. Ночью в бреду проговорился радист.

— Как проговорился? Что ты городишь?..

— А то «горожу», что нога у него повреждена, болит, терпения, говорит, больше нету...

— Так это в бреду,— прервал его командир.— Проверить надо. Мало ли чего человек в бреду намотит.

— Проверил уже. Пробовал стащить сапог — не снимается. Разнесло всю правую, пришлось разрезать голенище сверху донизу. Вот, смотри.

Сергей протянул командиру располосованную кирзу. Тот в сердцах швырнул ее в сторону. Нетрудно было

догадаться, какие при этом слова заблудились в бороде командира. И хорошо, что «заблудились»: Слободкин готов был схлестнуться с Василием, защитить больного. Командир, очевидно, почувствовав это, взял себя в руки, процедил сдержанно:

— Будем как-то выкручиваться.

На этом сошлись все четверо. Только пятый, который был «теперь на вес золота», еще ничего не знал о случившемся и знать покуда не мог. А от него теперь зависело многое. В конечном счете прав, разумеется, командир. И Евдокушин это почувствовал — обостренным чутьем больного. Как только они протиснулись в шалаш, приоткрыл глаза, посмотрел на всех долгим взглядом, еле слышно спросил:

— Сообщили о танках в центр?

Командир медлил с ответом. Евдокушин с досадой сомкнул веки. И даже отвернулся. Его опять пронял удушающий кашель. Одолев приступ, продираясь сквозь хрипоту, заговорил чуть более громко:

— А сказать, немец что-то важное затевает. Предупредить наших нужно. Мы ж новую радиотехнику вам доставили! Не справились?

Командир с досадой развел руками. Евдокушин этого жеста не видел, но понял почти все:

— Или совсем плох стал радист ваш?

— Совсем,— не сказал правды и не солгал командир.— Но для тебя лекарство прибыло. Ну-ка, давай лечиться.

Евдокушин повернул голову, несколько штук каких-то таблеток с цокотом скатилось из пригоршни командира в перекошенный рот больного.

— Тоже вашей доставки продукция. Мертвых на ноги подымает, на себе как-то испробовал. Сперва чуть не окочурился, потом полегчало. Только побольше надо жрать этой дряни, побольше.

Слова были опять грубоватыми, но заметил это, кажется, только Слободкин, потянувшийся к Евдокушину с флягой, наполненной до краев. Командир остановил его:

— Фронтовые ему полагаются,— взял у Старика другую флягу, с другим содержимым, заставил Евдокушина сделать глоток.— Нам бы всем сейчас по сто, а лучше по сто пятьдесят. Все простыли, как бобики. Но в другой раз как-нибудь.

Евдокушин почти мгновенно заснул. Слободкин отчетливо слышал, что из груди Николая вырывается уже не только хрип, но и храп — тоже, правда, надсадный, колючий, словно кашель.

Слободкина самого вдруг скрутила такая усталость, какой он давно не испытывал. Привалившись к зыбкой стенке шалашика, он уже не мог от нее оторваться, хотя струи холодной воды, пробившись сквозь зеленую «крышу», ползли и ползли у него по спине.

5

Поднял Слободкина на ноги еле слышный звон топора, доносившийся сквозь шум дождя, который хлестал, не переставая. Сергей инстинктивно рванулся сперва к Евдокушину и чуть не разбудил его, потом — наружу. Ни одного человека поблизости не было. Только привязанный к дереву Серый месил глину и щипал жухлые листья орешин, обступивших его со всех сторон. Продираясь сквозь заросли, Слободкин пошел на звук топора, но обнаружил своих не скоро. Спросонья поплутал по лесу — удары топора то приближались, то удалялись, словно водили Сергея по кругу.

Командир, старшой и Старик были заняты какой-то работой, но, увидев Сергея, остановились. Командир, вонзив в дерево топор, спросил:

— Ну, как он? Живой?

— Спит, — ответил Слободкин.

— Это хорошо. Так хворь из человека выходит. Ступай, врачуй дальше, как проснется — новую жмению таблеток ему, понял?

— Понял. Вы-то тут что делаете?

— Не видишь? Жерди рубаем. Потом волокушу сработаем. Не на руках же его нести? А на коне он не удержится, — не то спросил, не то сам себе ответил командир.

— Не удержится, — подтвердил Сергей. — Я вообще боюсь за него.

— Не бойся, не для того сюда доставлен, чтоб загнуться прежде времени...

Слова опять были грубее грубых, но Слободкин смолчал, решил дослушать командира до конца, а тот, словно почувствовав реакцию Сергея, продолжал:

— Как только доставим в отряд, все образуется. Лекарь там у меня есть по таким доходягам. Тоже, правда, на ладан дышит.

— А как же танки? — спросил Сергей командира. — Когда и как сообщим о них?

— Вот и я об том думаю. Все от него, от вашего радиста теперь зависит.

— Рацию не привез? — обратился Сергей к Старику.

— Не привез. Только лекарство, тушенку, галеты и водку. Кто ж подумать мог, что он такой номер отколет. Да и разобраться в вашей технике не смогли. Одних проводов сколько! Прочих причиндалов десятки...

— Что делать будем? — все больше волновался Слободкин. — Легкие штука серьезная, тем более воспаление. Да еще крупозное.

Что такое крупозное воспаление, он, откровенно говоря, понятия не имел, только догадывался, и то смутно, но сам неожиданно поставил именно такой диагноз.

Командир мрачно спросил:

— Почем знаешь, что крупозное?

— Выслушал. Все бурлит у него, клокочет. У нас у одного так бурлило, бурлило и...

— Понятно, — за Слободкина закончил командир. — Иди, карауль, чтоб не разметался во сне. Как проснется, всыпь ему новую дозу. А потом и мы явимся, не так чтобы скоро — хорошую волокушу стачать не так просто, сам понимаешь.

Сергей не знал, сколько времени понадобится для того, чтоб соорудить волокушу. Возвращался к Евдокушину встревоженный, мрачный. Все шло у них как-то наперекосяк с самой первой минуты. Перебрал в памяти события последних дней и ночей. Ни одного светлого пятнышка. Только что ноги и хребты себе не переломали, и то слава богу. Совесть у них, конечно, чистая, а что толку? Разве в одной совести дело? Если бы!..

Невеселую мысль Слободкина прервало тонкое лошажье ржанье, донесшееся почему-то очень издалека. Голос Серого был уже знаком Сергею — осторожный, словно бы к самому себе прислушивавшийся. Как коня занесло в ту сторону? Или я сбился с курса?.. Слободкин даже вздрогнул, развернулся на девяносто градусов, ломясь сквозь густые заросли, рванул на сигнал Серо-

го. В голове мелькнуло командирское: «партизаны разведчики...» Мокрые, тугие ветви хлестали Слободкина по лицу, он расталкивал их руками, не чувствуя боли, не видя перед собой ничего.

Коварная штука незнакомый лес! В хорошо изведанном и в том заблудишься запросто, особо в такую погоду. Совсем с другой стороны примчался Сергей к шалашу. Застал Евдокушина в той же самой позе, в какой оставил. Не разметался, молодец парень. Был бы совсем молодцом, если б не хрип этот, становившийся все более жутким. Казалось, радист вот-вот задохнется во сне. Сергей испуганно растолкал его:

— Ну, чего ты, Коль? Плохо тебе, да?

Больной приоткрыл глаза, не ответил, только едва заметно кивнул.

Слободкин, прикоснувшись ко лбу Николая, отпрянул. Температура лезла все выше и выше. Чудодейственное лекарство оказалось бессильным. Слободкин тем не менее попробовал всыпать в рот Евдокушину новую «дозу» таблеток — ничего из этого не вышло: зубы радиста были крепко стиснуты, он задыхался.

Сергею стало так страшно, как ни разу еще не было за всю войну. Он выскочил из шалаша, отвязал Серого и верхом двинулся на стук топора. Удары мокрых ветвей обрушились на Слободкина с новой силой, но ему казалось, что Серый идет куда-то не туда и продирается сквозь чащу слишком медленно, хотя тот, застоявшийся и, видимо, все понимавший, поторапливался, как мог, и с дороги они не сбились.

Глянув на Слободкина, от волнения не то слезшего, не то свалившегося с коня, командир, не скрывая досады, спросил:

— Обратно плохо?

— Совсем плохо. Надо что-то предпринимать.

— «Предпринимаем»... — коротко и зло прогудел командир. Он добавил еще что-то, наверно, касательно «партизан-разведчиков», но кашлянул при этом и тем приглушил собственные слова и, кажется, был рад, что так или иначе сдержался. Еще раз два кашлянул в кулак, плюнул в ладонь, перехватив топор из руки в руку, потом сказал:

— Ножом разожми зубы, а таблетки всыпь, слышь? И не отходи от него. Мы скоро теперь. А Серого здесь оставь. Слеги готовы, волокушу заканчиваем. Тут и захомутаем. К вечеру быть дома должны.

Мрачный, он снял шапку и в сердцах наотмашь стряхнул ее, тяжелую, насквозь промокшую — изнутри от пота, снаружи от дождя. Лужу, в которой стоял командир, крупные капли прошили словно пулеметная очередь.

— Как считаешь, старшой? — командир глянул на Плужникова, — управимся?

— Тебе видней, командир, — сдавленным голосом ответил тот.

Слова были обыкновенными — Слободкина поразило, как они были сказаны. Чувствовалось, выбился человек из сил. Выбивался, выбивался и выбился.

А кто не выбился? В ком хоть капелька осталась того, что силой зовется? В тебе, командир? Ты жестом своим сейчас выдал себя с головой. В тебе, Старик? Не ври, все равно не поверю. Глазки твои куда провалились? В тебе, Слобода? (Сергей любил иной раз думать о себе в третьем лице — это почему-то помогало в трудную минуту жизни.) И ты не брешь! Кого обманывать удумал? Сам себя? Напрасное дело. Плужникова еще можно вокруг пальца обвести. Старика тоже. В крайнем случае, даже командира. Но себя самого трудно, невозможно...

Тут Слободкин поймал себя на слове. Так как же все-таки — трудно или невозможно? Уж одно что-нибудь. Если трудно, значит все-таки есть шанец. Если невозможно, то и рыпаться нечего. А ты все ж попробовал бы, Слобода, порыпался...

Так, на бегу к шалашу, опять кружа, сбиваясь с пути, пытался хоть немного приободрить себя Слободкин. Приободрил? Приободрил, кажется. Хоть на несколько коротких минут. А в шалаше уж не до того было. Все внимание — больному. Немного, правда, мог для него сделать. Укутывал радиста наволглым, не способным согреть тряпьем. О чем-то спрашивал, не получая ответа. Доставал из командирского вещмешка таблетки, пичкал ими Николая, а сам все думал о том, как же, черт возьми, не повезло им. Все уже вроде бы образовываться начало. А потом — час от часу не легче. Впрочем, на войне всегда надо готовить себя к самому худшему (так настойчиво Брага учил). Но может ли быть хуже, чем сейчас? Запросто! Можно, скажем, еще в одно ледяное болото врезаться. Потом еще в одно. Потом всякую связь с отрядами потерять, завязнуть на зиму в непролазной этой глухомани. Верно, в общем и

целом, сказал Гаврусев перед отправкой — край сплошных озер и болот. Умолчал только самую малость — про то, что некоторые из них ледяные. Но это они теперь сами знают — отведали, распробовали. Евдокушину, бедолаге, круче других пришлось.

Незаметно, исподволь к Слободкину подбирался еще один «наперекосяк». Он сперва почувствовал, что у него самого горит лоб, пылают щеки, потом все тело начали стягивать тугие жгуты озноба.

Снова Сергей попробовал о себе в третьем лице подумать. На сей раз почему-то не вышло. А лоб горел все жарче, щеки полыхали все горячее. И кажется, давно уже. Но ничего этого он не замечал и замечать не хотел до самой последней минуты. Снова и снова склонялся над больным. Сидеть на корточках стало неудобно и даже больно — попробовал привалиться плечом к одной из зыбких стенок шалаша. В этой предательской позе его и скрутило по рукам и ногам...

— Что за чертовина?! — услышал Слободкин сквозь тяжкую дрему командирский гудящий бас над самым ухом. — Был один лежащий, теперь двое с копыт. — Мокрая, холодная рука Василия легла на лоб Сергея. — Не хватает нам всем тут плюхнуться и — лапки кверху!

Что солдата подымает на ноги? Долг. Приказ. Необходимость. Слободкина в этот раз обида подняла. На самого себя, ясное дело, прежде всего. Но и на командира: не только рука у него была холодна. Встрепенулся Сергей, упрямо отвел ледяную жесткую руку, выкарабкался из шалаша наружу. Встретившие его Плужников и Старик, сразу заметившие резкую перемену в состоянии Сергея, — в один голос:

— И ты туда же? Час от часу не легче!

Одна обида у Слободкина наложилась на другую. Он ничего не ответил, только оперся о шелестевший от дождя и ветра куст, чтоб стоять уверенней.

Командир, выползший из шалаша следом за Слободкиным, подошел к нему вплотную. Еще раз его рука скользнула под чубом Сергея. Диагноз в устах командира прозвучал раздраженно:

— И у этого под за сорок.

Плужников и Старик сперва было не поверили командиру. Как же, мол, так? Совсем недавно здоровым

был. Но, присмотревшись к Сергею повнимательней, засуетились.

— Давай свое снадобье, командир! — услышал Слободкин голос Плужникова.

Плужникова? Или Старика? Сергей толком не мог разобрать, хоть и очень старался — в ушах у него звенело, голова разламывалась.

«Совсем недавно здоровым был»? Верно, был. Но когда? Вчера? Или позавчера? Сбился со счета Слободкин. А командир уже заталкивал ему в рот лекарство, вкус которого нельзя было разобрать — губы и язык горели, глотку драло. Не понял Сергей и чем заставили запивать пилюли, никак не желавшие проскочить внутрь, огромные, как пуговицы от телогрейки.

Позднее Слободкин каким-то чудом восстановил в памяти многое. Некоторые детали вырисовывались с поразительной четкостью. Слеги, о которых он имел смутное представление, оказались самыми обыкновенными оглоблями, только раза в два подлинней — с постепенным переходом в упругие окончания, мягко стлавшиеся по земле. Волокуша не была каким-то отдельным сооружением — слеги, ловко слетенные лыком поближе к концам, образовывали подобие носилок, из которых раненый не выпадает при движении по любой дороге и даже без всяких дорог. Может быть, волокуша в таком виде была изобретена партизанами, может быть, даже самим командиром, который, что ни говори, все больше раздражал Слободкина. Слеги-то и волокушу он хорошо сработал. Хорошо Евдокушина уложил и укрыл. Но зачем же в носилки, тем более одностельные, сразу двух людей укладывать? Так не пойдет, командир, не пойдет. Я уж как-нибудь, на своих двоих.

Тут схлестнулись они с командиром. И еще как схлестнулись! Один в свою сторону гнул, другой — в свою.

Плужников тоже хорош. Встал на сторону командира. Ложись, дескать, и все тут. Старик заодно с ними, дьяволами.

Всеми правдами и неправдами на своем Слободкин настоял. Вцепился в слегу возле хомута, словно впрягся. Никто не мог его оторвать, хотя и пытались. Сергей даже сказал, кажется:

— Поехали.

Сказал? Или не сказал? Прорычал, скорее всего — такая злость закипела в нем. На командира. На Плужникова. На Старика.

— Поехали,— буркнул наконец командир и взял под уздцы Серого.— Минуты больше терять не должны. Секунды!..

«Партизаны-разведчики...» — проносилось в воспаленном мозгу Слободкина. Сквозь шум в ушах, сквозь шелест веток, которые с новой силой стали хлестать по лицу, опять и опять слышал Сергей откуда-то издалека эти, до боли обидные, но и подстегивающие слова. Эти и еще кое-какие, посолонее, покрепче.

6

Наступил момент, когда Сергея покинуло ощущение реальности происходящего. Шагал он или стоял, опять и опять увязая все глубже в ледяном болоте? Плелся, держась за слегу или, подчинившись командиру, опрокинулся в волокушу, рядом с метавшимся в жару Николаем? Во что на деле превратились те «часика три-четыре», которые отделяли их от первого отряда? На эти вопросы Слободкин искал и не находил ответа. Потом он вдруг снова оказался в каком-то шалаше. Оглядевшись как следует, понял, что не в каком-то, а в настоящем, сработанном по всем правилам партизанского искусства. Дождь, продолжавшийся непрерывно, не пробивал его круто спадавших к земле скатов. И было в шалаше покойно, даже, можно сказать, уютно. В середине теплился крошечный костерок. Это были первые впечатления Сергея, когда он расправил затекшие ноги, разомкнул тяжелые веки и огляделся. Костерок не дымил, не чадил, а только источал ровное, чуть потрескивавшее тепло — это говорило о том, что распалили его и поддерживали огонь в нем очень умелые руки, видно те же самые, что возводили шалаш. Уже от одного этого настроение у Слободкина стало подниматься, хотя хворь не отпустила его, крепко, до боли в спине впечатала в насланные еловые ветви. Не отпустила она, судя по всему, и Евдокушина, лежавшего рядом и продолжавшего дышать все так же надрывно.

Несмотря на горячие угли костерка, в шалаше был полумрак, которого так хотелось воспаленным глазам Сергея. Так бы вот лежать и лежать, угревшись, думая о жизни, о пережитом и о том, что еще предстоит.

Через некоторое время глаза Сергея, с болью скошенные в сторону, остановились на светлом кособоком треугольнике входа в шалаш. Треугольник был задраен дождем и от того казался отодвинутым куда-то очень далеко, но через него доносились снаружи до слуха Сергея приглушенные голоса людей, о чем-то споривших между собой, что-то друг другу доказывавших. Чуть громче других звучал голос командира, с его обычной присказкой: «партизаны-разведчики»... Сколько раз слышал Сергей Василия в эти дни, в эти ночи — то спокойно-рассудительного, то раздраженного, то даже злого. Сегодня какая-то новая нота в интонации у него прорезалась. Похожая на ту, что прозвучала в самые первые минуты их встречи, когда улыбка вроде бы пробовала шевельнуть бороду командира. Робко, но пробовала. Вот и сейчас, Слободкин отметил это с особым удовлетворением, гудящий голос Василия вдруг потеплел, командовал он мягче, чем обычно:

— Поаккуратней, граждане, поаккуратней.

Радиотехнику, извлеченную из грузового парашюта, втащили в шалаш, осторожно опустили возле Евдокушина. Командир присел на корточки рядом с больным, положил на его полыхавший лоб свою руку. Все молча, в упор глядели на Николая и ждали. Измученными глазами он обвел расставленную возле него радиоаппаратуру. Медленно, с трудом, но в то же время решительно поднялся на локтях, обращаясь к командиру и старшему, спросил:

— Выходить в эфир?

— Выходить, — сказал Василий, шаркнув мокрым рукавом телогрейки. — Самое время, радист, самое наше подходит.

— Самое наше, — подтвердил Плужников, часы которого после ледяного болота не подавали признаков жизни, но который продолжал, несмотря ни на что, обладать удивительной способностью ориентироваться во времени с точностью чуть ли не до минуты.

— Сможешь? — с тревогой и надеждой спросил командир.

— Надо, — еле слышно прохрипел Николай.

— Командуй! — Василий пододвинулся к радисту вплотную, подправил ветки под его локтями, чтоб тому поудобней было орудовать техникой. — От тебя теперь все зависит, понял? Вот тебе обе «РБ» — наша, выдохшаяся, и ваша, из грузового парашюта. Два сапога пара. Одна тяжелее другой. Рация бородатых, ежели по-партизански.

— Рация боевая, — поправил командира Плужников. — А еще точнее — «РББ»: рация боевая, безотказная. Ежели не грохнет снарядом по ней.

— Ваша в целости, считаю, — сказал командир, — хотя ее тряхануло будь здоров! Человек на ее месте костей бы не собрал.

— Мы же собрали... — подал было голос Слободкин, но тут же осекся. До боли в глазах стал следить за радистом, за каждым его неуверенным движением.

Тот еле слышно что-то говорил командиру. Сергей улавливал только отдельные слова:

— Нашу, нашу поближе... Ножик, пассатижи, провода... Все, что было в брезенте. И не застите, не застите, я и так ни черта разглядеть не могу.

Все, кто набился в шалаш, посторонились. Иным пришлось снова выйти под дождь, который, судя по всему, все усиливался и усиливался, словно во что бы то ни стало хотел помешать партизанам. Или помочь им? Понадежнее укрыть от противника? Помочь, конечно. Не случайно говорится: в своем доме и стены за хозяина. Тем более стены из мокрых, но ладно сложенных веток орешника. Сергей, приглядевшись, даже больными глазами видел теперь все хорошо. Особенно Николая, от которого был отделен костерком, крошечным, похожим на ночник, бросавшим на радиста то свет, то тень.

Руки радиста, это Слободкин различал совершенно явственно, дрожали от слабости и волнения. Проволока упрямо и вертко вырывалась из его пальцев, скручивалась. Он снова и снова подхватывал ее. Один конец даже взял привычным движением в рот. Она из него тут же выпала — зуб не попадал у радиста на зуб.

Кто-то, не выдержав, в сердцах отчаянно выругался. Кто? Командир? Плужников? Скорей всего, сам Николай, который в эти мгновения считал себя, конечно, горе-радистом, не способным выручить товарищей

и вообще ни на что дельное уже не годным. Точно такие же чувства испытывал и Слободкин, опрокинутый навзничь хворобой, не отпускавшей уже ни на миг, колотившей и его изнутри и снаружи.

Прошло немало томительно-долгих минут, прежде чем Евдокушин все-таки совладал с верткими проводами.

— Выходим, что ли? — нетерпеливо спросил командир, еще раз шаркнув рукавом телогрейки. — Сколько можно?..

Николай не ответил — то ли от того, что просто сил у него не было, то ли покоробил его слишком уж требовательный, грубоватый тон командира. Молча продел голову в поднесенный кем-то ременный хомутик с наушниками, положил одну руку на ключ морзянки, другую — на ребристое колесико настройки и застыл в таком положении.

Слободкину, не сводившему глаз с Николая, в какой-то миг показалось вдруг, что рука радиста уже отстукивает свои тире и точки — он не сразу понял, что это опять-таки всего лишь дрожь, пронимавшая радиста не только от усталости и напряжения, но и от болезни, бросавшей парня то в жар, то в холод.

В шалаше было тихо, только крупные капли дождя хлестали по веткам. И хрипело в грудной клетке радиста, продолжавшего медленно и упрямо крутить черное эбонитовое колесико «РБ» то в одном, то в другом направлении. Слободкин заметил, как при этом воспаленно сверкали белки Николаевых глаз, налитые кровью.

Казалось, этому не будет конца. Шла секунда за секундой, минута за минутой, время уходило, если еще не ушло. В какой-то момент Евдокушин вдруг вздрогнул, напрягся, даже хрип затаился в его часто и трудно вздымавшейся груди.

— Фурычит?.. — вырвалось тревожное у командира. — Или нет? Говори!

Евдокушин молчал. Видно, нечего ему было сказать.

«Еще зафурычит, неправда», — пронеслось в сознании Слободкина. Не может не зафурыкать в руках мастера, умеющего передавать якобы по триста, а то и по четыреста знаков в минуту. Сейчас вот соберет всю волю, успокоится, ввинтится эбонитовой рукояткой в свою волну и выйдет на связь. Нам не нужны сотни

знаков. Куда столько? Для начала несколькими словами обойтись можно. Так, мол, и так, все по плану. Должно же нам за все эти дни и ночи хоть раз по-настоящему повезти? Должно. Повезет, если, конечно, совесть у техники есть, и если действительно не шарахнуло ее в ледяной топи, не разбредило свинцовые потроха батарей, не захлебнулись они гиблой водой. Не шарахнуло, не разбредило, не захлебнулись — сам себя уговаривал Слободкин. И Евдокушин, конечно же, не подведет — не для того его в группу включили. Интересно, понял или не понял Николай, что партизанский радист скончался? Понял, наверно, и во всем разобрался отлично, несмотря на хворобу.

Слободкин то с надеждой, то с боязнью глядел и глядел на радиста, беспомощно раскачивавшегося на согнутых, едва державших его локтях.

Время все шло, бежало, мчалось. А связи все не было.

И теперь не будет уже, влипли в историю — поймал себя на никудышной мысли Слободкин. На никудышной и жалкой. Как бы опровергая ее, через несколько мгновений до слуха Сергея донесся какой-то новый звук. Сергей еще раз глянул на Евдокушина и тоже невольно привстал на локтях, отчетливо увидел, как едва заметно задвигались пересохшие губы радиста.

Еще через минуту-другую он, дробно застучав ключом «РБ», зашептал громко, на весь шалаш:

— Наши! Связь!.. Слышно плохо, но слышно! Как дела, что случилось, спрашивает.

Командир подтолкнул Плужникова — ты старший группы, дескать, тебе и докладывать.

Плужников пододвинулся к радисту вплотную, почти коснулся разлатыми бровями его полыхавших щек. Медленно, четко продиктовал:

— Ничего не случилось, передай, Евдокушин. Ничего! Усвоил? Сперва заплутали малость в болотах. Теперь порядок...

— Это отстукал уже. Догадался, — остановил его Николай. — Дальше чего? Быстрее только — время!..

Плужников, нервно откашлявшись, продолжал:

— Молодец! С нами ничего не случилось и не случится. Дальше так стучи — приступаем к выполнению задания...

— Отставить! — оборвал Плужникова командир, властно оттесняя его от радиста. — Отставить! Приступили уже, при-сту-пили! А теперь самую суть колоти. Самую: большие соединения танков противника обходными путями срочно перебрасываются в направлении Ленинграда. Это два раза отхлопай. Понял? Обязательно два! В направлении Ленинграда. Всё отстучал? Все, я спрашиваю? Повтори. Слышишь?

У Евдокушина не было сил ответить. Молча рухнул с подкосившихся, хрустнувших локтей на мокрые, тоже хрустнувшие ветки. Губы его, Слободкин видел это лучше, чем кто-либо, едва заметно шевельнулись. Отстукал, мол, конечно, отстукал, прекрасно ты все знаешь, командир... Чего привязался? Ни черта не случилось. И не случится. Приступаем к выполнению задания. Приступили уже...



РАССКАЗЫ



АВЕРЬЯНОВСКИЕ ТЕРЕМКИ

В деревне Теремки первый раз побывал я много лет назад. Грустное было знакомство, грустней не придумаешь. Нас, горстку раненых советских солдат, везли под бомбами в тыл на полуторке медсанбата. В одной из деревень, где только что отгремели бои, остановились. Шофер, выключив перегревшийся мотор и устало вывалившись из кабины, окликнул старуху, копошившуюся в какой-то рухляди:

— Что за населенный пункт, мамаша?

— Теремки, сынок, Теремки... — запричитала она, с трудом разогнула спину и подошла к нам.

— Теремки? — осипшим голосом переспросил шофер, окидывая взглядом печи да трубы — все, что осталось от деревни. — Где же теремки-то?

— С собой забрал, сынок, с собой.

— Что, что? С собой?.. Толком скажи.

— Хотел нас всех в полон, а мы загодя — в лес, подземь. Ну, он со злобы за дома и принялся. Один только не тронул, аверьяновский. Остальные разбревнил, номера повыжег, в машины поклам — и к себе, в Ерманию.

— Разбревнил? — еще более удивленно воскликнул шофер.

— Палить, одним словом, не стал. Дома у нас от века красой славились. Вот он и позарился.

— Что за аверьяновский такой? — не унимался шофер и привстал на ступеньку кабины. — Вон тот, что ли?

— Он самый. С краю стоит, на взгорке. Фашист его напоследок оставил, а тут наши нагрянули, шуганули супостата.

Измотаны мы были до последней степени, и привал был объявлен короткий, но двое из нас, у кого ранения

были полегче, все-таки поднялись поглядеть на единственный, чудом уцелевший дом — лейтенант с петлицами артиллериста и я. У него была голова в бинтах и костыль под мышкой, у меня рука на перевязи. Поднялись и пошли, сопровождаемые целой ватагой набежавших из леса мальчишек.

Чем ближе подходили к аверьяновскому дому, тем больше дивились. Весь в деревянных кружевах плыл он нам навстречу, как какое-то чудо — наличники резные, ставенки в прозрачном ажуре, под крышей причелины тоже точеные, сквозные. А на гребне крыши — голову вскинул, перо распушил — деревянный петух.

— Последняя живность, — мрачно сказал вышедший нам навстречу огромный, годами не согнутый старичина, увидевший, как мы уставились на того петуха. — Даже пух от курей на подушки себе забрал, поверите?

Мы сказали, что видели всякое, а сами продолжали со всех сторон рассматривать дом. Старик шел рядом с нами, приговаривая:

— Вся деревня Теремки была такой. Теремок к теремку. У нас как испокон повелось? Каждый хозяин плотницким ремеслом владел. Мало дом срубить, под крышу подвести, надобно наряд ему справить. Со всей Руси ехал народ на петухов наших глянуть. Теперь край всему...

— Зачем же край? Отвоюем — отстроимся. Вон какие гвардейцы растут! — мы поглядели на ребятшек.

Те стояли серьезные, до времени повзрослевшие, как это всегда бывает в годину большой беды. Ни один из них не проронил ни слова, но по всему было видно, им понятны мысли взрослых. Когда лейтенант, достав пачку «Беломора», стал угощать старика, кое-кто из ребят тоже робко потянулся к куреву. Старый ругать их не стал, а лейтенант даже поднес каждому голубой огонек бронзовой, сверкнувшей на осеннем солнце зажигалки, как бы желая подчеркнуть этим, что относится к ребятам как к равным.

Старик тяжело вздохнул, сокрушенно покачал головой.

— Больно уж гвардия-то жидка и тоща, а мужики все там. Возвратятся ли?

— Вернутся, отец, непременно вернутся, — сказали мы с лейтенантом, сами не веря своим словам.

— Дай-то бог, дай-то бог!..— старик вздохнул еще горше, мелко перекрестил свою грудь.

Мы попрощались. Мальчишки пошли проводить нас к машине. Когда она уже трогалась, лейтенант, перегнувшись через борт, кивком головы подозвал к себе одного из наших провожатых, самого маленького, лет десяти, не больше, и сказал:

— Возьми от меня в подарок,— лейтенант высоко подбросил в воздух бронзовую зажигалку, потом звонко с размаха припечатал ее к протянутой детской ладони.

Мы двинулись дальше. Несколько минут ребятя быстро и упрямо бежала за машиной, потом скрылась в облаке желтой пыли.

С того дня прошло тридцать с лишним лет. И вот судьба снова привела меня в те края. Я не выбирал этой поездки, но когда она мне все-таки выпала, отправился в дорогу сразу же, отложив все другие дела и планы.

Всю ночь в поезде не спал, ворочался с боку на бок, пытался представить себе, какие они теперь, Теремки? Столько воды утекло за эти годы! Что случилось с деревней? С ее людьми? Жив ли старикан, с которым тогда встретились? Вряд ли, конечно. Вода в реках для старых быстрее бежит, чем для молодых. Не бежит — мчится. Может, уцелел хоть дом-красавец? И то было бы славно.

Из районного центра еще часа два трясся на попутной полуторке, напомнившей мне полуторку другую, перегревшуюся в бесконечном пути по пескам, изрытым воронками. Узнавал и не узнавал места, по которым когда-то добирались до госпиталя. Все боялся проскочить Теремки. А шофер, как нарочно, гнал на такой скорости, что, гляди не гляди, все равно ничего не выразишь.

Но вот машина, вымахнув из леса, вдруг резко затормозила возле какого-то забора. Я спрыгнул на землю, рванулся к шоферу.

— Проехали?

— Не проехали, а приехали. Они самые будут, Теремки,— засмеялся шофер.— Ну, шагай, мне дальше. Счастливо!

Мотор взревел с новой силой, меня обдало густой желтой пылью, горячими выхлопными парами. А за этой машиной — другая. На такой же ракетной скорос-

ти. Я перепрыгнул через кювет, отряхнулся, поглядел вокруг. И первое, на что натолкнулся мой глаз, был деревянный петух, распростерший крылья под телевизионной антенной дома, подымавшегося из-за аккуратного, в струнку, забора...

Жадно прильнув к просвету между двумя тщательно выструганными досками, я стал пристально рассматривать дом — и наличники его резные, и ставенки в кружево, и крылечко в три ступеньки...

— Уж не покупать ли, случаем, собрались? — спросил меня, спускаясь с тех ступенек, бородатый, рослый, широкий в кости человек.

— Дорого ли возьмете? — шуткой на шутку ответил я.

— Не продается, — уже серьезно сказал человек. — Но уж коли приехали, заходите. По каким делам в Теремки?

Я хотел что-нибудь с ходу придумать и не мог этого сделать. Человек, увидев, что приезжий в смущении, еще раз пригласил войти в дом. Волнуясь, я переступил порог.

Внутри дом оказался еще краше, еще наряднее, чем снаружи. Прежде всего мне бросилась в глаза деревянная резьба, которой тут было щедро украшено все — и утварь, и мебель. Еще поразила чистота. Стерильная чистота всего, что было вокруг. Пол совсем недавно был, видимо, вымыт дресвой и сейчас благоухал запахом леса, прогретого солнечным лучом насквозь, до самой малой, упрямой глубоко в траве ягоды земляники.

— Давненько я здесь не был, — сказал я и посмотрел на свои пальцы, словно по ним можно было сосчитать все прошедшие годы.

— Это как понимать? — не скрывая удивления, спросил мой собеседник.

— Так и понимайте. В одна тысяча девятьсот сорок первом это было. Осенью. Ехали мы через ваши Теремки на полutorке с медсанбатом...

— Вы бы так сразу и сказали! — воскликнул бородач и указал мне на скамеечку возле стола. — В сорок первом, говорите? На полutorке? С медсанбатом? Дальше? Дальше что?..

— Дальше ничего, собственно, — ответил я уже совершенно спокойно. — Дальше прошли годы, десятки лет, точнее сказать. А петушок на крыше, погляжу, все

красуется, — я поднял палец над головой. — Вот-вот прокричит свое кукареку.

Улыбка едва заметно шевельнула усталые, но еще далеко не старые щеки бородача.

Я разглядел его теперь очень хорошо. Не тот это человек, которого я, хоть и слабо, но все-таки надеялся тут встретить. Не тот, дело ясное и понятное.

— Вы давно здесь живете? — спросил я, чтобы что-нибудь спросить.

— Порядком. Всю жизнь, считайте. А вы кого-то ищете здесь, да? Кого, если не секрет?

— Да как вам сказать... Старика одного. Бывшего хозяина этого дома. И не то чтобы ищу, но повидал бы с удовольствием.

— Старики стареют и уходят. Молодые незаметно становятся стариками, — услышал я в ответ.

— Все понятно. Жаль, очень жаль. А вы знали его?

— Василия Степановича-то? Как же! Аверьянов был мастер великий. Дом этот красив, да? Аверьяновским теперь зовут люди. Помер Степаныч вскорости после войны. Надо бы вам раньше...

— Все никак не получалось. То одно, то другое. Жизнь! Что случилось с ним? — спросил я. — От старости?

— От горя, думаю. Все никак не мог помириться с тем, что деревни его нет больше на свете. У нас уже стройка шла полным ходом, а он вдруг слепнуть стал и на ухо ослабел. Так и сошел. Но память о старом жива! Дом этот он сам срубил когда-то. А вообще-то вы видели, как мы отстроились?

Я признался, что ничего еще толком увидеть не успел, а какими были Теремки до войны, и подавно не знаю. Парфенов, так звали моего нового знакомого, вызвался проводить меня по деревне, показать ее «во всей красе». Мы вышли на улицу, которая, оказывается, начиналась сразу же за углом дома и плавно спускалась вниз, отороченная ровными заборчиками, за каждым из которых возносилась островерхая крыша.

Парфенов вел меня от одного дома к другому с какой-то необыкновенной гордостью. Словно сам он, своими руками возводил эти стены, ладил эти наличники, эти крыши венчал петухами да флюгерами. И на каждой доске, на бревнышке всяком — свой затейливый узор, своя вышивка, свое кружево. Все говорило о топ-

ком художественном вкусе местных мастеров. Я восхищался, бесконечно фотографировал.

Осмотрев десятка два домов, я понял — тут идет упрямое соревнование умельцев: кто кого перемастерит, перефантазирует, переспорит смелостью резца, дерзостью фантазии.

А Парфенов вел меня все вперед и вперед — от дома к дому, от чуда к чуду. Вел, по перильцам поглаживал, по калиткам постукивал. И вместе со мной восторгался, только по-своему, по-северному — не шумно, как я, сдержанно:

— Ничего домишко? Аверьяновский. А этот? Обратно его. И тот тоже.

— Пойдите, пойдите, но Аверьянова нет давно, вы сами сказали.

— Сказал, — не то возразил, не то согласился со мной Парфенов. — Нету. Давно. А рука его. Его след на этой земле. Иной мастер вроде бы в сто раз лучше сработает, а все равно от него, от Аверьянова, все тут пошло. Он многих успел обучить своему ремеслу. Оно теперь из рук в руки переходит. Вот и зовем все дома аверьяновскими. Не справедливо, скажете?

Я ответил, что ничего справедливого, пожалуй, не придумаешь.

— Вот и любой так рассудит.

Разговаривая так, мы дошли до противоположного конца деревни и остановились возле дома, который на все другие был и похож и не похож. Бревна и доски его, тоже украшенные превосходной резьбой, были темными, почти черными, как бы обуглившимися, словно прошли не только через время, но и через огонь. Кое-где на дереве были отчетливо видны глубоко выжженные какие-то цифры.

Я недоуменно поглядел на Парфенова. Он объяснил опять по-своему, немногословно:

— В полоне был.

— Как в полоне?

— Обыкновенно. Разбавил его фашист и увез.

— Да, да, вспоминаю. Интересно! Потом что же? Потом?

— Потом, это было уже после войны, — неторопко объяснил Парфенов, — ездили мы с одной делегацией в Германию. И — представляете случай? — обнаружили там в одном местечке дом из нашей деревни. Стоит, цел-целехонек, словно часа своего дожидается. С номерами

на бревнах. Ну мы, сами понимаете, молчать не стали, просто не могли смолчать. Короче, через какое-то время еще раз разбревнили немцы домишко. Не те немцы — другие. Совсем другие. Ну и воротился дом на родную землю. А как же?

ЧЕРНЫЕ БУРКИ

Старшина Топорков появился на пороге землянки в обнимку с парой черных бурок. Нес он их торжественно, как великую драгоценность. Бурки в самом деле были отменными — даже в полумраке видно было, как поблескивали они новыми желтыми подметками и хромовыми союзками.

Старшина всегда теперь тащил новые бурки тому из парашютистов, чья очередь собираться на задание.

— Твой черед, Сыровегин. Подъем! — Топорков с грохотом, как охапку дров, уронил тяжелые бурки.

Сыровегин поднялся, сел на край нары, нашарил ногами сперва одну бурку, потом вторую. Старшина терпеливо стоял рядом, пока тот не намотал портянки и не обулся, потом спросил:

— В аккурат ли?

— В самый.

Позднее Сыровегин горько пожалел об этом, но в тот миг что мог он ответить еще? Ведь прекрасно знал, что бурок у Топоркова, особенно новых, кот наплакал, и спрашивал он про «аккурат» только для порядка. Можно и нужно было заикнуться насчет лишней пары портянок, а то и двух, но Сыровегин смолчал.

Он стоял перед Топорковым по команде «смирно» в несуразно больших и глубоких, до самого паха, бурках, злился на ни в чем не повинного старшину, на то, что не успел отдохнуть после операции со смешным названием «Робинзон», на то, что так быстро свалилась на него новая морока, и, судя по тому, что бурок опять всего одна пара, снова предстояло куда-то лететь в одиночку.

Позабыв скомандовать «вольно», Топорков исчез так же неожиданно, как появился, а через несколько минут снова возник на пороге землянки — и напрямик к Сыровегину. Получай, говорит, энзэ.

Развязал парашютист увесистый вещмешок и тут

уж приуныл не на шутку: чего только не было там — и сгущенка, и шоколад, и галеты, и курево...

— Ясно? — задал ненужный вопрос Топорков.

— Я от рождения смекалистый, товарищ старшина. Что хочешь скумекать могу.

— Все правильно, Сыровегин, — путь дальний, дело сложное...

— Вы дадите поспать или нет?! — рявкнул кто-то из глубины землянки. — Креста на вас нет!

Старшина чуть было не вспылil, но сдержался. Более того — осторожно, на одних носках, направился к выходу. У самой двери обернулся, погрозил пальцем. Это должно было обозначать: «Энзэ есть энзэ, не вздумайте потрошить раньше времени».

Это был единственный приказ, который частенько нарушался в роте. Даже особую формулу под это состряпали: энзэ — это, дескать, «не забудь поделиться с товарищем».

Сгущенку и филиховый табак трогать не стали, а шоколад и галеты пошли по рукам сразу же, как захлопнулась дверь за Топорковым. Сыровегин пытался пустить в ход и курево, но ребята воспротивились категорически:

— Ты что, сдурел? Без шоколада можно как-нибудь перебиться недельку-другую, без галет и подавно. А без сигарки? Дня не выдюжишь. Ну а сгущенка тебе для веса нужна — без нее парашют не раскроется. В тебе же одна кожа да кости!

Кто-то красноречиво сверкнул перед физиономией Сыровегина осколком зеркала.

Озорной разговор этот мало-помалу возвращал Сыровегину обычное расположение духа. Подмотал в бурки поверх портянок по одному вафельному полотенцу, задумчиво и неторопливо стал из конца в конец землянки прохаживаться. Бурки хлопали на ходу по пяткам, как лыжи. Ребята, чтоб окончательно поднять Сыровегину настроение, нещадно острили:

— Не в дугу? Ничего, не горюй, разносятся!

Перед обедом Сыровегина вызвали в штаб. Разговор был короткий. Выбрасываться предстояло одному, далеко за линией фронта. Остро отточенный карандаш командира пересек цепочку красных флажков на карте, прочертил длинную прямую и вертикально замер над зелеными черточками и завитушками, которыми гидрографы обозначают леса и болота.

— Вот здесь,— зажатый большим и указательным пальцами Несветеева карандаш стал медленно вращаться, словно надо было просверлить им сквозное отверстие в толстой бумаге карты.

Сыровегин наметанным глазом смерил расстояние от исходной до этой точки, молча переступил с ноги на ногу.

Несветеев не стал «подрессоривать» и честно сказал:

— Да.— Подумал немного и добавил: — Но опыт у вас есть. Подготовьтесь как следует, все подгоните, приладьте. Энзэ получили? — И, не дожидаясь ответа: — Ну и прекрасно! Сегодня нам отнарядили тушенку, я отдал распоряжение снабдить вас и ею. Без ограничения. Но особо не увлекайтесь — тола и дисков у вас будет знаете сколько? Соизмерьте свои силы и возможности. Все ясно, Сыровегин?

— Все!

— Рацию брать не надо. Почините партизанскую. Да и не дотащить вам всего. А вот пару аккумуляторчиков прихватить придется.— Он нарочно сказал не «аккумуляторов», а «аккумуляторчиков», словно от этого самая тяжелая вещь могла стать самой легкой.— Партизанам о выброске вашей удалось сообщить заранее. Встретят, выведут на цель. Мост вам выпал серьезный — все подступы к нему просматриваются. Взрывать ночью будете, и чем скорее, тем лучше: немцы по нему всю технику свою волокут. Вопросы есть?

Вопросов у Сыровегина не было.

— Тогда ни пуха! — Несветеев, широко размахнувшись, звонко опустил богатырскую свою пятерню на дрогнувшую от удара ладонь Сыровегина.— Все в полном порядке будет. Рука у меня легкая...

«Это уж точно,— подумал Сыровегин,— легче некуда».

Вылетали ночью. Метеообстановка была что надо. Мороз крепчал, метель выла так, что вся черная степь стала похожа на аэродинамическую трубу. Старшина, утрамбовывая Сыровегина со всеми его припасами в тесную кабину «уточка», наставлял пилота:

— Через линию фронта — на бреющем, а когда проскочите — как можно выше берите: костры в лесу распалат, в самой чащобе, так что покруче забирайте, покруче, чтобы узреть. Два костра, потом, через пятьсот метров, еще два. Между ними надо попасть. Точно посередине.

Летчик ответил:

— Два кольца, два конца, а посередине гвоздик...

Сыровегин не знал, почему летчик был такой мрачный в эту ночь, то ли отоспаться тоже не удалось, то ли бензину в обрез отмерили, но оптимизма своей шуточкой он не вселил в душу парашютистов. Слова же про два конца вообще показались ему просто пророческими: когда пересекали линию фронта, самолет угодил под такой ураганный огонь, словно немцы были кем-то специально предупреждены о полете «уточка». Летчик вел машину впритирку к земле, но длинные очереди трассирующих пуль все-таки взяли самолет в такую густую сеть, что Сыровегин долго потом не мог понять, как они живыми из нее выпутались. Огненные прутья стегали по плоскостям, по хвостовому оперению. Сыровегин это отчетливо слышал.

Но вот огненный шквал начал постепенно ослабевать, парашютистов придавило к сиденью: самолет набирал высоту.

Теперь именно от нее, от высоты, зависел успех всего дела, и Сыровегин с удовлетворением почувствовал, что земля уходила все дальше и дальше.

Он засек время и стал напряженно всматриваться в несущееся мимо пространство.

Летчик, кабина которого находилась перед кабиной Сыровегина, вел себя спокойно, по всему чувствовалось — курс держит уверенно, точку, намеченную на карте Несветеевым, найдет, были бы только костры.

Вот до места выброски, по подсчетам Сыровегина, оставалось уже всего тридцать минут. Потом двадцать. Потом пять. Наконец, ноль целых и ноль десятых...

Парашютист заерзал на своем сиденье, тщетно разыскивая в артезианских глубинах созвездие «четырех костров», но ничего разглядеть не мог.

«Неужели промазали? Может, он ранен, — встревоженно поглядел Сыровегин на летчика, — уж больно недвижно сидит — истукан, да и только...»

Но как раз в это мгновение над плечом летчика показалась его рука с двумя выразительно растопыренными пальцами. Затем рука на миг скрылась и тут же вознеслась снова — два раза подряд. Пальцы были сложены в нолик.

«Два конца, два кольца!» — чуть было не заорал Сыровегин. И только тут понял, на какой высоте шел

самолет: блески костров казались отсюда булавочными головками. Но их мерцало именно четыре, а геометрия их была идеальной, ошибки быть не могло. Над головой летчика снова, на этот раз повелевающе, взметнулась рука в черной перчатке — «пошел!».

Сыровегин с большим трудом выпростался из узкой кабины, нащупал точку опоры для одной ноги и со всем своим скарбом ринулся вниз головой — в середину прямого угла между фюзеляжем и плоскостью.

Много раз приходилось десантнику прыгать с разных самолетов и с разных высот — с полной боевой выкладкой, с лыжами, с гранатами, с ручным пулеметом Дегтярева и еще бог знает с чем и как, — но такого динамического удара, как этот, ему еще не приходилось переносить. Какие там, к черту, пятьсот килограммов, про которые в инструкциях писано! Ему показалось, что в момент раскрытия купола он весил не меньше тонны.

«Это, конечно, проклятые «аккумуляторчики», — мелькнуло в голове. — В них все дело. Купол не разорвало, и то слава богу. — Сыровегин поймал взглядом упругий пульсирующий шелк парашюта. — А где же костры? Куда подевались?»

Он развернулся на стропах раза три или четыре — ни одного костра ни вблизи, ни вдали не было видно. Ни одной искорки...

Но беда, известное дело, одна не приходит. Через несколько минут он почувствовал острую боль в ногах, изловчился, чтобы взглянуть на них, и обмер: бурок не было — сорвались во время динамического удара. Белые вафельные полотенца крутили на студеном ветру последние обороты вокруг ног, чтобы обнажить их полностью и превратить вооруженного до зубов солдата в беспомощное колченогое существо.

Земля из друга парашютиста, встречи с которой он, что бы там ни говорили, всегда ждет с нетерпением, первый раз в жизни становилась врагом. Костры исчезли бесследно, ноги немели от стужи с каждой минутой все больше, самолет растворился в темном небе бесследно...

За время службы в десанте Сыровегин привык приземляться по-всякому: на болото, на лес, на снег, на асфальт, на воду, даже на железную крышу (было и такое!), но босыми ногами, да еще с таким грузом, ему предстояло принять матушку-землю впервые.

Второй удар был еще сильнее динамического. Долбануло Сыровегина о ствол дерева. Он услышал сперва треск ломающихся ветвей, потом, как ему показалось, — отчетливый хруст собственных ног и ребер. И вдруг все стихло. Только кровь отчаянными толчками била в виски, норовя вырваться из напрягшихся жил. Запутавшиеся в ветвях стропы, на которых завис Сыровегин, тонко поскрипывали на ветру, раскачивая его тело из стороны в сторону.

Сколько он провисел так, бессильный что-либо предпринять? Час? Или два? Или сутки? Он не знал этого. И не мог знать. Лютый мороз, напряжение нервов, усталость, отчаянная боль сделали свое дело. Он потерял счет времени, все, что окружало его, стало меркнуть, куда-то уходить и наконец исчезло.

Первый свет, который увидел, придя в себя, Сыровегин, был призрачен и слаб — четыре малиновых звездочки вспыхивали и гасли перед его глазами. Вспыхивали, гасли, но их было ни больше ни меньше как четыре, черт возьми! Да, да! Одна, вторая, третья... А где же четвертая? Вот она! До нее можно дотянуться рукой. Не веря глазам, он простер вперед растопыренные пальцы и почти закричал:

— Созвездие «четырех»?.. Неужели?.. Два конца, два кольца?..

Малиновые точки заметались, спутались.

— Что, что?.. — услышал Сыровегин почти над самым ухом чей-то изумленный и в то же время радостный, сильно охрипший голос. — Что ты сказал?

Другой голос, более спокойный и мягкий, прозвучал тоже где-то совсем рядом:

— Жар у него, оставь человека. Молотит незнамо что.

Сыровегина от этих слов передернуло.

— Сам-то ты молотишь! — Он попробовал приподняться на локтях, но боль в пояснице повалила его обратно.

В следующее мгновение, приглядевшись, Сыровегин увидел перед собой в полумраке не малиновые звезды, а самые обыкновенные огоньки сигарок, которые усиленно раскуривали, склонясь над ним, какие-то люди. Терпкий, родной, с детства знакомый запах махорки шевельнул ноздри.

— Надо же!..— с облегчением вздохнул Сыровегин.— К своим угодил? Так, что ли?

— К кому же еще? Как чувствуешь?

— Я-то?

— Ты самый.

— Ничего вроде бы. Ноги вот только. И еще поясница. Мне партизаны нужны. Срочно свяжите меня с партизанами! Это что за землянка? Где я?..

— Все в порядке, парашютист! — Охрипший человек положил свою руку на лоб Сыровегина.— Летчик твой только поторопился малость. И скорость ветра не учел. Целый день искали тебя. Что за дьявол, думаем, бурки черные приземлились — сперва одна, потом и вторая,— а самого след простыл. Весь лес прочесали вдоль и поперек, снежинку всякую переворачивали — ума приложить не можем, куда ты девался.

— Нашли, значит, бурочки? Это хорошо! — Едва заметная улыбка шевельнула впалые, обросшие щеки Сыровегина.— Ну а меня где же черти носили?

— Мы уж лесные жители, а ты из лесных лесной! На сосне! Почти на самой макушке. Завис на постройках и замерзаешь себе преспокойно.

— Не на постройках, а на стропах,— ревниво поправил Сыровегин.

— Ну, если ты нас политграмоте начинаешь учить, стало быть, действительно тебе малость полегче,— засмеялся хрипатый.— Рассказывать дальше?

— Давай. Аккумуляторы целы?

— Все цело и невредимо. Один ты подкачал.

— А тол? А бикфорд?

— И тол, и бикфорд.

— А диски?

— Все, говорят тебе, в полной сохранности.

— Это хорошо! — Улыбка опять пробежала по лицу Сыровегина.

— Очень даже прекрасно,— отозвался хрипатый.— Вот бы еще ноги твои подлатать. Но с ногами дело хуже, с правой особенно.

— Брось! — одернул его кто-то из темного угла.

— Ничего не брось! Мужик он, вижу, крепкий. Все должен знать и все выдюжит. Одним словом, ноги того... Как бы чего не вышло... Доктор нужен. Как только рацию нашу наладишь, мы срочно будем переправлять тебя обратно. Из тыла в тыл. Наладишь?

— Налажу. Ноги у меня морожены еще на фин-

ской. А вот руки, говорят, ничего, кое-что морокует. Где оно?

— Кто? — не понял хрипатый.

— Кто, кто! Радио ваше где? Тащите его сюда. Только не подумайте, что из-за ноги. Я пока свое главное дело не сделаю, никуда отсюда не тронусь. Усвоили?

— Старший здесь я, — спокойно ответил хрипатый. — Будешь выполнять распоряжения мои. И только мои!

Три дня и три ночи партизаны пытались всеми средствами облегчить страдания парашютиста. Чего они только не делали, каких только средств не перепробовали! Сыровегин оказался человеком терпеливым, молча, стиснув зубы, сносил все, что над ним вытворяли. Ничего не помогало.

Опытнейший радист Сыровегин починил рацию партизанского отряда очень скоро, но ни одной душе не сказал об этом. Улучив подходящий момент, он тайно от всех передал в свою часть, что приземлился благополучно, готовится действовать дальше. Сам же, делая вид, что ремонт будет сложный и долгий, все просил подогреть ему то один паяльник, то другой и, лежа на ворохе мягких еловых лапок, без конца паял стократ перепаянные клеммы и проводочки. А когда оставался в землянке один, откидывал бесчисленные попоны, которыми был укутан, и, при свете печурки рассматривая свои ноги, все больше сокрушался.

Командир, в очередной раз пришедший справиться о состоянии больного и о том, как подвигаются дела с ремонтом, был крайне озабочен.

— Случилось что-нибудь? — спросил Сыровегин.

— Все нормально. Какие пироги-то? — Командир дотронулся рукой до пылающего лба Сыровегина.

— Залежался я у вас, ой залежался! Наши вон взломали глубоко эшелонированную оборону противника и широким фронтом пошли в наступление. Вот здесь, гляди, — Сыровегин ткнул пальцем в замусоленный огрызок карты, висевший у его изголовья.

— Где?.. — Командир выхватил из печурки чадящую головешку, кинулся с ней к карте. Огонь жег ему руку, он не замечал этого, высвечивая то место, куда указывал Сыровегин. — Да это же Клинцы, парашютист! Клинцы, понимаешь? Важнейшее сообщение, грандиознейшее! Свистать всех наверх!..

С этими словами командир кинулся к двери, широко распахнул ее, и потом в нерешительности замер на пороге и вдруг, резко повернувшись, возвратился к Сыровегину.

— Постой, постой, а откуда это, собственно, все известно?

— Да я... Да мне... Передачку одну удалось тут словить. Сперва я думал — ошибка, стал проверять, и вот уже третий день подтверждается: в прорыв, пробитый артиллерией и танками, вошла пехота, фронт нашего наступления ширится, темп нарастает...

Командир слушал Сыровегина, потрясенный, боясь пропустить хоть единое слово. Когда парашютист умолк, наклонился к самому его лицу.

— Третий день, говоришь? Подтверждается?.. Третий?! Повтори.

— Третий, — покорно сказал еще раз Сыровегин.

— И молчал, бессовестные твои глаза?! И молчал?!

— Я думал, обойдется с ногами, и городил про ремонт. Все три дня плел околесицу. У меня же задание, я к вам не ноги и не поясницу лечить прибыл, поймите...

— Я все понял. — Командир исподлобья поглядел на Сыровегина. — Эгоист ты. О себе только думал, да? Как бы твоё задание не сорвалось? А нас всех без последних известий оставил? И без каких! Клинцы! Да знаешь ли ты, что я родом из Клинцов?

— Ты? Из Клинцов? — воскликнул Сыровегин. — Что-то не похож на клинцовских. Где жил там? На какой улице? Как фамилия?

— Говорю тебе — из Клинцов. Мальчишкой там голубей гонял. Сюда недавно судьба закинула. Зовут меня Николай Артюхин. Николай, Сергеев по батюшке. На Поклонной горе наша домушка стояла... — Командир зашагал по землянке, спотыкаясь, роняя целые каскады искр из неуклюжей, дрожащими пальцами свернутой сигарки. — Не знаю, что с тобой теперь и делать... Удавить тебя за то, что молчал целых три дня, или благодарность от лица службы тебе, паразиту, вынести за то, что весть «словил» такую хорошую?

— Твоя воля: дави, к стене ставь, что хочешь делай. Только есть у меня алиби, учти.

— Чего, чего? — не понял командир.

— Алиби, говорю, есть. Моя родина, представь, тоже Клинцы. И не поделиться с вами радостной

вестью мне было, наверно, нелегко, подумай. Хорошо подумай; командир, а потом уж рубай.

— Ты из Клинцов?! — в свою очередь опешил партизан.

— Из них самых...

Не пришлось землякам перед расставанием поговорить по душам. Скоро должен был прийти самолет за Сыровегиным — Артюхин сам отстукал текст радиogramмы, из которой следовало, что состояние больного тяжелое, что ему нужна срочная операция, мост они сами как-никак, а взорвут, раз взрывчатка доставлена.

Весь последний день и всю последнюю ночь пребывания парашютиста на Малой земле расчищали посадочную площадку для «уточки». Нелегкая это была задача; не будь чрезвычайных обстоятельств, сочли бы невыполнимой, но тут такое дело: десантник, герой двух войн — финской и этой, Отечественной. Артюхин мобилизовал крестьян, поднял на ноги всех, кого мог. Всех вооружил вилами, лопатами, ломami. Старики, женщины, дети и те, утопая в сугробах, пришли из соседней, недавно оставленной немцами деревни. То здесь, то там слышался совсем сдавший голос партизанского командира:

— Поднажмем, братцы! Подналяжем! Надо, очень надо. Бурки слетели у хлопца во время прыжка. Черненькие. Обморозился. Гангрена...

То тут, то там высвечивал изможденные лица людей ярко полыхавший на ветру факел в руке Артюхина.

— Еще разик! Еще! Вот здесь. И тут бы. И тут...

* * *

Много лет прошло с тех пор. Очень много. Сыровегин хорошо понимал — бесполезно отыскивать кого-нибудь из тех, кто помог ему тогда выпутаться из беды. И все-таки на что-то надеялся. Где-то в глубине души теплилась мысль — а вдруг...

Его давно, как всякого фронтовика, тянуло навещать в те края, где воевал. И вот приехал. Выкроил недельку из отпуска. Идет, шагает по той земле. По той самой! Ветер опять свистит в ушах. «Как тогда!» Снег острой мраморной крошкой сечет лицо. «Как тот!»

Протез, глубоко впечатываясь в тропку, поскрипывает на ходу, словно приговаривает: «Так, так, Сыровегин. Так, так. Правильно сделал, что приехал. Давай, давай. Трудно шагать? Пустяки! Не встретишь никого? Не встретишь, факт. Ну и что ж? А душеньку отведешь. Отвел уже. Это тоже факт, и какой! А еще бы сосну ту сыскать, земляночку ту, и можно домой...»

Вот знакомый вроде бы лес — вековые деревья ракетами нацелены вверх. На каком из них завис тогда Сыровегин? Глаз жадно бежит по укрытым снегом вершинам. А тропа, как поводырь, влечет все дальше и дальше. Вот уже несколько часов, как сошел Сыровегин с поезда, а места, которыми проходит, и те вроде бы, и не те. «Неужели промазал? Да нет, не должно, парашютист или не парашютист ты, в конце концов? Ну! Ищи. Вон еще один лес — давай туда...»

Пройдя еще через один частый строй лесных великанов, Сыровегин неожиданно оказался на проселке, потом проселок свернул на шоссе — расчищенное, укатанное, прямое как стрела. Он оглянулся, чтобы мысленно прикинуть расстояние, которое отмерил от станции, и шарахнулся в сторону — на полной скорости его обгоняла полуторка. Отчаянно взвизгнули тормоза. Шумно распахнулась зеленая дверца, на асфальт прыгнул водитель, веселый парень с голубыми глазами.

— Ты далеко, отец, ковыляешь?

— Я не ковыляю, а иду, — спокойно ответил Сыровегин.

— Далекo, я спрашиваю?

— Честно сказать тебе, сам не знаю...

— Тогда нам по пути! — неожиданно выпалил парень. — Садись!

— Как это? — не понял Сыровегин.

— Садись, говорят тебе! Сын у меня сегодня родился. Час назад! Я от счастья на седьмом небе, качу куда глаза смотрят.

Сыровегин не заметил, как очутился в кабине рядом с водителем. Обе дверцы захлопнулись одновременно.

— Так куда же тебе? — еще раз спросил голубоглазый.

Сыровегин еще раз ответил:

— Ей-богу, не ведаю.

— Никогда не возил таких пассажиров! — пожав плечами, недоуменно воскликнул шофер.

— Никогда не ездил с такими водителями, — в тон ему ответил Сыровегин.

Они посмотрели друг на друга и... расхохотались.

Некоторое время ехали молча, действительно куда глядели глаза. Потом шофер, покосившись на негнущуюся ногу неожиданного попутчика, спросил:

— Где это тебя так?

— На Отечественной. Как в песне поется — в лесу прифронтовом. Где-то здесь, между прочим.

Парень встрепенулся:

— Ничего себе «между прочим»! Ты бы так сразу и сказал. Земляки, выходит?

— Я сам нездешний.

Шофер минуту-другую задумчиво гладил баранку, потом сказал решительно и безапелляционно:

— Теперь я знаю, куда нам ехать.

— Куда же? — с интересом спросил Сыровегин.

— Ко мне домой, ясное дело! Ты здесь воевал. У меня матушка тут партизанкой была. Поднимем по чарке за героев войны.

— Я непьющий давно, — вздохнул Сыровегин.

— А я и подавно: за рулем. Но по маленькой можно в такой день, как считаешь? Опять же за сына. Первенец!

— Вот разве что за него! — отшутился Сыровегин. — Как нарекли наследника-то?

— Никак еще, но жена приказала нынче решить. Вот я и катаю — думаю. Может, подсобишь? Две головы — целый мозговой трест получается! Одним словом, айда в нашу деревню! Заодно посмотришь, как живем. Мы там такое отгрохали! И клуб, и кино, и ясли, и детсад. Даже родилка теперь своя. Город, можно сказать. Но зовут все еще деревней, по-старому. А я считаю — город, да и только. Увидишь — скажешь, прав я или нет.

— Как же называется твой город?

— Черные Бурки, слышал про такой?

— Как, как?.. — вздрогнул Сыровегин и всем корпусом повернулся к водителю. — Может, Чернобурки? Тут, я слышал, до войны лис разводили...

— Нет, не Чернобурки, а именно Черные Бурки, — отчетливо, по слогам отчеканил шофер.

— В честь чего же это?.. — не сводил с него удивленных глаз Сыровегин.

— О, это целая история! Издавна так повелось,

с войны самой. Тогда меня еще и в помине не было — матушка и та еще девахой была. Но она-то уж все в точности должна знать. Ну так как же? Рванем? Тут рядом совсем.

— Едем! — решительно сказал Сыровегин. — Пусть будет по-твоему.

Шофер весело сдвинул на затылок лохматый треух, до отказа нажал на педаль акселератора.

Сыровегин напряженно и жадно, вплотную приник к ветровому стеклу, за которым вот-вот должна была показаться деревня, от одного названия которой у него захватило дух.

ГОРСКАЯ ЛЕГЕНДА

Прошлым летом я путешествовал в Приэльбрусье — был там гостем моего давнего друга, местного охотника и пастуха Муталиба.

В первый же день после приезда, не дав мне как следует отоспаться с дороги, хозяин чуть свет уже вел меня по горам.

— Здесь охочусь. Там пасу овец. Тут, когда будем возвращаться, наберем с тобой эдельвейсов. А вот в этом месте... В этом просто постоим, дорогой, просто подышим воздухом. Ты заметил, какой воздух на Кавказе, да?

С этими словами Муталиб подошел к самому краю пропасти, возле которой мы оказались, взял меня одной рукой за руку, другую козырьком приложил к своему лбу.

Я проследил за взглядом Муталиба и заметил вдалеке треугольный клочок снега, вцепившийся в горизонтальный выступ одной из скал. Инстинктивно почувствовал, что внимание горца привлек именно этот треугольник.

— Видишь? — спросил Муталиб, когда убедился, что я гляжу в ту же точку, что и он.

— Вижу, — ответил я.

— Что видишь, дорогой?

— Снег.

— Ну, правильно, дорогой: Эльбрус рядом! Чем выше, тем больше снега. А на снегу? Что на снегу видишь?

— Чернеет что-то. Камень, что ли?

— Смотри лучше, дорогой. Совсем хорошо смотри. Солдат в снегу лежит, понимаешь?

— Как солдат? Ты что?..— воскликнул я.— Откуда солдат?

— Откуда, откуда! Из какой части, не знаю, но советский солдат. Защитник Кавказа. Герой. Еще раз смотри, пожалуйста. С винтовкой лежит на спине и целится в небо. Ну? Видишь или нет?

Я протер глаза, напряг зрение, и мне вдруг в самом деле показалось, что там, на далеком треугольнике снега, вроде бы действительно лежал человек — лицом вверх, с винтовкой, вскинутой в небо... «Может, по самолету стрелял? — пронеслось у меня в голове.— За этим и застала его смерть, а потом вечная мерзлота навсегда припаяла парня к уступу скалы».

— Ну как, видишь, дорогой?

После некоторого колебания я ответил, что вижу, хотя сам не знал в точности, правду говорю или нет.

Муталиб от нетерпения прищелкнул языком.

— Совсем хорошо смотри, дорогой! Только на Кавказе такое может быть. Когда отгремели бои, тут был обвал, да? Скала разломилась, стала отвесной — ни один альпинист не смог подобраться к этому парню. Покрутились, повертелись, ничего сделать не смогли и решили все оставить как есть. Могилой Неизвестного солдата назвали сперва это место. Потом передумали. Слушай, какая могила, если он как живой среди живых? Лежит, целится и стреляет! Что скажешь, дорогой? А?

Я ответил не сразу. Медлил сколько мог, а горец терпеливо ждал моего слова. В конце концов он не выдержал:

— Что молчишь? Говори что-нибудь.

— Красивая легенда,— сказал я наконец.— Очень красивая. Лежит, целится... Ты прав, только на Кавказе возможно такое. Только тут, и больше нигде.

Как ни старался я, в какую форму ни облакал свой ответ, Муталибу он по душе не пришелся.

— Зачем так говоришь, дорогой? У нас каждый школьник тебе скажет: лежит, целится и стреляет! Имеющий глаза видит, имеющий уши слышит. А у кого со слухом и зрением нелады, для тех я с войны вот это принес. Трофейный, цейсовский. Ну-ка наведи!

В руках у меня оказался отличный морской бинокль. Я с его помощью нашарил в пространстве белый

треугольник снега... и вздрогнул — на какую-то долю секунды предо мной вроде бы и впрямь возникла фигура солдата со вскинутой винтовкой. Возникла и сразу исчезла. И больше уже не появлялась, как я ни вглядывался сквозь слезы, навернувшиеся на глаза от напряжения и ветра.

Муталиб, видно решив, что я разглядел наконец то, что нужно, больше меня ни о чем не спрашивал. Бинобль перешел в руки хозяина. Теперь горец припал к цейсу, как к фляге в знойный день, и не отрывался очень долго.

Потом мы молча стали спускаться по крутой каменной тропе. Первым шел Муталиб, я семенил за ним, все время натыкаясь выставленными вперед руками на крепкие плечи друга. Судя по всему, ему было приятно испытывать чувство превосходства над новичком в горах. Он даже начал меня подбадривать:

— Теперь недалеко. Через три часа будем дома. Патимат уже барашка жарит! — Он вкусно втягивал носом воздух, будто на таком расстоянии и в самом деле можно было услышать запах шашлыка.

Когда где-то далеко под нами показались огни аула, Муталиб, увидев, что я порядком устал, дал мне возможность перевести дух.

— Отдыхай и рассказывай, что больше всего запомнилось в нашем первом походе, — сказал он и накинул на меня свою бурку.

— Могила Неизвестного солдата, — не задумываясь ответил я.

— Не могила, только не могила, прошу тебя, дорогой! Герой Кавказа, договорились?

— Договорились.

— И самое главное не забудь — лежит, целится и стреляет.

— И стреляет? — переспросил я, понимая, что больше всего ему хочется, чтоб я поверил и в это.

— И стреляет! — убежденно подтвердил Муталиб. — Обязательно стреляет. — Он помолчал, поглядел куда-то ввысь и добавил: — Особенно когда в горах гроза или обвал. Понятно, дорогой?

— Теперь совсем понятно, дорогой, — ответил я, даже не заметив, что начинаю понемногу усваивать интонацию горца.

— Бурка нравится? — спросил Муталиб без всякого перехода и, не дожидаясь моего ответа, сказал тоном,

не терпящим возражений: — Это мой подарок тебе. В горах без бурки нельзя, поверь мне. А бинокль? Без бинокля в горах тоже плохо, ничего не увидишь, дорогой.

Я уже услышал скрип отстегиваемого ремешка и запротестовал самым категорическим образом.

Муталиб сдался не сразу — только после того, как я дал ему честное слово, что бурку, в виде исключения, принимаю и с благодарностью буду носить.

— Хорошая бурка, дорогой, пулей битая, военным ветром стеганная. Да и после войны видала виды. Я колхозных овец в ней пасу. Нарочно такую дарю: заслуженная!

Долго не мог я уснуть в ту ночь даже под теплой дареной буркой. Все думал о том, какие прекрасные легенды слагает народ о своих сынах, которые не вернулись, которых он хочет видеть и видит не только бесконечно храбрыми, но и бессмертными, только бессмертными и никакими иначе.

Заснул уже где-то под утро, да и то не слишком крепко. С первыми лучами солнца встал, подошел к распахнутому окошку сакли, поглядел в сторону гор, с которых мы вчера спустились уже в полной темноте. Ни той отвесной скалы с белым треугольником снега, ни той бездонной пропасти под ней отсюда, к сожалению, не было видно.

Несмотря на ранний час, под окошком уже начинала шуметь, кудахтать, присвистывать, щелкать, скрипеть колесами жизнь маленького селения, через которое война прокатилась так давно, что даже старые люди начинают понемногу кое-что забывать.

Под ветвями чинары, росшей рядом с саклей, о чем-то отчаянно спорили двое смуглых мальчишек. Оба они время от времени возбужденно показывали руками в сторону сверкающих снежных вершин, которые от скользящих по ним солнечных лучей раскалялись все больше и больше.

Все жарче становился и спор двух мальчишек. Вот один из них в сердцах выхватил узкую жердь из частокола, приложился к ней правой щекой, резко запрокинул голову к небу, на мгновение замер в этой позе. Звук, похожий на клекот орла, вырвался при этом из его груди.

Я не знаю языка горцев, но могу поручиться, это были слова: «Лежит, целится и стреляет!..»

Мне во что бы то ни стало захотелось поговорить с ребятами. Я накинул на плечи бурку и тут же вышел к чинаре. Мальчишек уже там не было. Оглядевшись вокруг, я скоро увидел их крохотные фигурки уже далеко, — перегоняя друг друга, они быстро шагали среди камней куда-то в горы.

Постояв несколько минут, поглядев вслед мальчишкам, я вернулся в свою комнатку. Хотел было снова лечь и, накрывшись буркой, поспать еще часок-другой, но взгляд мой остановился на странном предмете — на приземистой резной тумбочке у самого моего изголовья стоял аккуратный кожаный футляр. Бинокль? Цейсовский?.. Так и есть! Муталиб все-таки решил во что бы то ни стало подарить мне его — горец есть горец. Я поклялся себе, что, как только хозяин проснется, обязательно верну ему его вещь. А пока что решил, воспользовавшись случаем, с помощью цейса догнать уходящих мальчишек, рассмотреть их как следует. Настроил бинокль, нацелил его в то место в горах, где несколько минут назад видел ребят невооруженным глазом.

Вот они уже в фокусе.

Вот карабкаются по крутой горной тропе.

Я узнаю ее — ну конечно же та! Та самая, по которой шагали вчера мы с Муталибом!

КАМЕННЫЙ БРОД

Получив путевку на Кавказ и пролетев самолетом многие тысячи километров, недолго лечил свои старые раны бывший солдат Ряшенцев. Уже на третий день, усыпив бдительность медицины, отправился в горы, на базу туристов, которую высмотрел еще по пути в санаторий. В брезентовом городке останавливал всех и каждого одним и тем же вопросом:

— На Каменный брод, граждане, дорогу кто показать может?

— Куда, куда? На какой такой брод? Нет, не знаем, папаша, — пожимали плечами загорелые рослые парни.

Один даже рассмеялся:

— Нет здесь никакого Каменного брода, отец. Неверный вам адресок дали.

В скверном расположении духа вернулся Ряшенцев в санаторий. А на следующее утро, за завтраком, офи-

циантка, поставив перед ним новенький благоухающий кофейник, сказала:

— К вам пришли.

— Ко мне? Кто?..— удивился Ряшенцев.

— Молодой человек. Ждет в вестибюле.

Не притронувшись к кофе, старик заспешил в огромное, пустое в этот час помещение. Там ждал его парень в ковбойской шляпе и джинсах.

— Агаджанов Николай,— сказал он, протягивая Ряшенцеву мощную руку.— Мне сказали, вы про Каменный брод спрашивали?

— Так точно! — по-военному ответил старик.— Неужто знаешь?

— Был один раз я на этом Каменном. Дикое место, и дорожка... черт голову сломит, но короче пути через перевал, по-моему, нет, а мне вот телеграмма — срочно в институт, вызывают по диссертации. Совпадают, выходит, наши маршруты — мой и ваш. Имущество все при мне,— парень указал на внушительных размеров рюкзак, стоявший в углу.— Если согласны — на сборы десять минут. Согласны?

Ряшенцев не мог скрыть своей радости:

— Сам господь бог мне тебя послал, хлопец! Благодарность ему по службе!

...Ноги двух путников скользили по наклонным плоскостям скальных пород, под подошвами со скрипом вертелись, как подшипники, мелкие камешки. Ряшенцев шел молча, сосредоточенно думал свою солдатскую думу. Агаджанов — свою, молодую. Время от времени слышался восторженный голос туриста:

— Вы только взгляните на эту прелесть! Из семейства моих эдельвейсов! Как пить дать приведу сюда когда-нибудь всю братву — пусть полюбуются!

— Да, да,— рассеянно отзывался Ряшенцев.— Да, да...

Так шли они много часов. Шли, останавливаясь, чтобы перевести дух, потом каменная тропа вела их дальше. Не заметили, как испортилась погода и раньше времени стало смеркаться. Пришлось остановиться на ночевку. Развели костер, развязали спальные мешки, на всякий случай захваченные Агаджановым, и забрались в них. Но, утомленные трудной дорогой, не могли уснуть. Каждый опять погрузился в свои мысли. Солдат вспоминал былое и уходил все выше в горы. Туриста, наоборот, тянуло вниз, к «братве», которую в самом

деле надо будет при случае затащить сюда, к полянам, усеянным цветами, напоминающими эдельвейсы.

— А вы их где-нибудь видели? — тихонько спросил Агаджанов своего спутника, словно желая проверить, спит он или еще не спит.

— Кого? — совсем не сонным голосом отозвался Ряшенцев.

— Настоящие эдельвейсы.

— У тебя о своем эдельвейсе думка, хлопец, у меня — о своем, — признался Ряшенцев и надсадно закашлялся. — Он у меня вот где сидит, в самом нутре. Может, от старости это? Скорей всего от нее. Этого тебе сейчас не понять, товарищ спортсмен. Годков через полста усвоишь. А пока учи историю Великой Отечественной. Про твой эдельвейс — в одних книгах сказано, про мой — в других.

С Агаджанова слетели остатки сна. Так вот, оказывается, что привело в эти горы Ряшенцева! Николаю стало стыдно за то, что не сразу понял старого солдата, за то, что оказался таким наивным перед выдавшим виды человеком. И еще какие, наверное, виды! Вон какой хрип вырывается из его груди!

— Вам холодно? — спросил Агаджанов. — Я сейчас подброшу горючего.

С этими словами парень стал решительно выкарабкиваться из мешка, но Ряшенцев так же решительно остановил его:

— Отставить! Я закалку знаешь какую прошел! Давай лучше храпанем малость, а то и завтра не дотянем до нашего брода.

Он так именно и сказал — «до нашего», и это Агаджанову понравилось, — стало быть, никакой границы между ними старик не проводит, говорит как равный с равным.

Ряшенцев скрылся в мешке. Николай последовал его примеру.

Но им так и не суждено было сомкнуть глаз в эту ночь. Старый, хоть и старался не ворочаться, все равно каждые несколько минут вынужден был менять позу. Делал он это как можно аккуратнее, чтобы не шуметь, но камешки жестко похрустывали под ним, все чаще его душил кашель.

— Не спится? — в конце концов спросил Агаджанов.

— Шесть снов отсмотрел, к седьмому подбираюсь.

— Так же и я.

— Это я тебе спать не даю. Ты уж прости, я постараюсь потише.

— Да что вы, отец! Не беспокойтесь. — Агаджанов вытянул руку с часиками к углям костра. Из малиновых они постепенно становились пепельно-серыми, словно отдавали свои краски краешку неба, которое готовилось заняться зарей.

Он поглядел на старика. Тот, оказывается, уже не лежал, а сидел, — видимо, таким образом надеялся унять удушливый кашель.

Агаджанов вскочил, побежал собирать хворост. Когда вернулся, Ряшенцев все еще продолжал кашлять, раскачиваясь из стороны в сторону. Через минуту-другую костер запылал с новой силой. В его отблесках Агаджанов ясно увидел слезящиеся глаза Ряшенцева.

С трудом совладав с приступом кашля, старик горько усмехнулся:

— Небось проклял тот день и час, когда свела нас судьба?

— Зачем вы так? — обиженно остановил его Агаджанов. — Давайте, папаша, о чем-нибудь другом. А?

— Ну давай, согласен, прости старого брюзгу. О чем бы ты хотел?

— О чем? Вот вы сказали, что мы с вами думаем о разных эдельвейсах. Вы извините меня, я не сразу сообразил, что ведь именно в этих местах прошла немецкая дивизия «Эдельвейс». Вы с ней дрались, да?

— Вот именно, Агаджанов, вот именно.

Они замолчали. Каждый опять думал о своем. Но сейчас мысли их шли уже где-то рядом. Поэтому Ряшенцев не сильно удивился, когда Николай сказал:

— Вам это покажется бог знает чем, но эдельвейсы — тема моей будущей диссертации. В плане института черным по белому — «Эдельвейсы. Генетика и распространение». С вашей точки зрения, смешно, конечно? И наивно, да? Какие-то пестики и тычинки!

— Ну зачем же так? — в тон Агаджанову сказал Ряшенцев. — И про тычинки нужно, и про пестики — без них цветам не цвести. Вот на пенсию выпрут, я этим делом вплотную займусь. И ты про тычинки и про многое другое жми, но и про Великую Отечественную забывать никому не положено, учти. Строчи про генетику свою сколько хочешь, а потом найди местечко и распни фашистов в своей диссертации. Так и так, мол,

солдат один велел. Какую, мол, к лешему, надо было иметь сатанинскую душу, чтобы дивизию извергов «Эдельвейсом» назвать? А? Вот была бы генетика так генетика! — Ряшенцев так увлекся, что даже перестал кашлять. — Ты с какого будешь, хлопец?

— С пятьдесят пятого.

— Полных двадцать четыре, стало быть, — прикинул Ряшенцев. — Самое время сказать свое слово. Са-амое времечко! И про тычинки, и про пестики, но и про то, как на жизнь смотришь. Вот была бы диссертация! Если бы мне перо в руки, я бы еще словечко про Ряшку своего врезал.

— Про кого, про кого? — не понял Николай.

— Про братуху своего младшенького. Вот такой мужик был!

Ряшенцев придвинулся к костру поближе и в озаренье его стал вдруг лет на сорок моложе. Агаджанов смотрел на него и не узнавал. Ему захотелось, чтоб про Ряшку своего старик рассказал сразу же, не откладывая. Но солдат покачал головой:

— Устал ты как бобик. В другой раз как-нибудь.

Агаджанов подумал, что другого раза может и не быть. Скорей всего точно — не будет второго раза: дойдут до Каменного брода — и каждый двинется по своей орбите. Сказал об этом старику, тот подтвердил:

— Тоже верно.

По всему было видно — перед Ряшенцевым одна за другой все ярче возникали картины минувшего, он был уже весь в их власти. «Так или нет?» — сам себя спрашивал Николай. И сам себе отвечал: «Точно. Ясное дело — не только от пламени костра так покраснелись щеки старика, разгорелись глаза, а виски из седых сделались бронзовыми».

Посидели опять несколько минут молча. То один, то другой пошевеливали костер, поглядывая на небо — все еще темное, только по самой кромке едва тронутое краской приближающегося рассвета.

— А младший-то намного ли моложе вас был? — спросил Агаджанов.

— Из девятого класса на войну добровольцем. Ряшкой его в школе звали. Так же и в роте нарекли. Молод был, но дело солдатское знал до тонкостей.

— Пулеметчиком был?

— Пулеметов у нас тут не было, хлопец. Трехлинеечки. Тоже штука неплохая. Ну а «эдельвейсы» эти

самые — специально обучены, обмундированы, вооружены до зубов. У нас — с оптическим прицелом один карабинчик на всех. Снайперы, правда, не перевелись пока. Целая очередь к тому карабину была. Среди всех меткачей особо Ряшка выделялся. У нас это в роду вообще. Мне вот солидный юбилей скоро играть, а глаз востер еще. В Большой Медведице запросто восьмую звезду вижу.

— Как восьмую? — удивился Николай и невольно посмотрел на небо, еще задраенное предутренним туманом.

— Вот разъяснится, я тебе докажу, что есть в ней и восьмая. Впрочем, что с вас взять, с очкариков?

— Это у нас противосолнечные, папаша, читаем без очков.

— Противосолнечные, противосолнечные... — не без иронии пробасил Ряшенцев. — Я вот вообще без стекла. Ночью, когда не спится, света не зажигаю, чтоб своих не будить. Книжечку в руки — и все буквы как на ладони.

— Много читаете? — спросил Агаджанов.

— Всякий раз, когда бессонница.

— Про войну все небось?

— Книжечки-то? И про нее тоже.

— Быкова читали? Василя?

Ряшенцев почему-то смутился, посуровел и сразу умолк.

— Автора не помните? — Николай решил помочь собеседнику выпутаться из трудного положения.

Старик ухватился за брошенный кончик:

— Вот именно! У меня на фамилии память хромать стала. А названия помню, особенно ежели книжца по душе выйдет. Последняя больно хороша была, ай хороша! Не то что некоторые, теперешние, в которых неизвестно, к чему дело клонится.

Сдерживая улыбку, Агаджанов повернул к основной теме разговора:

— Значит, целая дивизия против вас была?

— Ну, целая, ясно-понятно, до поры. Командир у нас был не лыком шит. В лоб схватиться с «эдельвейсами» мы не могли. Удумал он такую тактику: немцы через перевал — и мы через него в том же месте. Только не сзади и не впереди, а малость сбоку.

— Как это? — не понял Агаджанов. — Дорога, по которой может пройти в этих местах дивизия, одна.

— Вот мы и отдали им эту дорогу. Идите себе, топайте. А сами как ящерки по отвесным скалам лепимся, курс держим с немцами параллельный.

— Мыслимое ли дело? — изумился Николай. — Я в горах не новичок, но не знаю, как тут можно пройти «параллельно» с дорогой.

— И мы поначалу не знали, хлопец, потом приловчились. Где за куст, где за выступ ухватишься, где леском, где расщелинкой прошмыгнешь, где за туманцем схоронишься, а немца тем часом из виду не теряешь и при первом удобном случае — огонь! Били, правда, редко, но прицельно. Не снайперы и те снайперами заделались. Ну а про братишку и говорить нечего, он из всех отличался. Особенно у Каменного брода жизни дал немцу.

Старик рассказывал, а Агаджанов пытался представить себе горстку израненных, изможденных людей, вступивших в схватку с отборной дивизией Гитлера, увидеть этих «ящерок», ползущих вверх по каменным стенам. Пытался и не мог толком вообразить этого. Взгляд его блуждал в предутреннем небе, особенно в том краю его, где, по всем расчетам, должно было появиться созвездие Большой Медведицы. Оно и появилось — во всю свою кавказскую мощь неожиданно полыхнуло в просвете между тучами.

Николай быстро пересчитал звезды. Семь — и ни одной звезды больше. Пересчитал с другого конца. Опять семь. А тучи уже вновь затягивали на несколько мгновений обнажившийся клочок неба.

«Ох уж эти старики! Чего только не расскажут тебе, чего только не напридумают!..»

— Ну ладно, Николай, заговорил я тебя совсем, да? А время между тем бежит. Вставай, выходи строиться! — скомандовал Ряшенцев и одним ловким движением высвободился из мешка.

Наскоро перекусив, они двинулись дальше.

Бессонная ночь, конечно, сказывалась. Довольно скоро проводник заметил, что идут они медленно, намного медленнее, чем накануне, и причиной, как ни обидно было в этом признаваться, оказался не старик, а он сам, бывалый спортсмен. Ноги у него становились все менее послушными, шаг укорачивался. У Ряшенцева же, напротив, Агаджанов это ясно чувствовал, словно бы открылось второе дыхание, он двигался

след в след за своим провожатым, едва не наступая ему на пятки да еще подбадривая.

— Тут недалече теперь, хлопец! Я узнал местность. Вон ту седловину видишь?

— Какую? — спросил Агаджанов.

— Ну вон ту, меж двух сопок, самых высоких.

— Вижу, — сказал парень. — Там вроде бы действительно и будет Каменный брод. Только сопками горы эти никогда, пожалуйста, не называйте, над вами смеяться будут.

— Это точно, — безропотно согласился Ряшенцев. — Смеялись уже.

— Как смеялись? Когда? — удивился Агаджанов.

— Тогда еще, в сорок третьем. Все, бывало, сопки да сопки...

— Теперь совсем непонятно, — признался Агаджанов.

— С Халхин-Гола отучиться никак не могу. На финской места вроде поровнее были, а я и там всякий бугорок сопкой величал.

— Так вы, значит, три войны уже!..

— Вот именно, товарищ проводник. Так выходит. А глаз у тебя тоже, смотрю, востер. Седловину сквозь туман узрел! Скоро будем у цели. Я тут свороток один знаю — верст пять сэкономим запросто.

Незаметно молодой со старым поменялись ролями. Ряшенцев теперь все более уверенно ориентировался в горах, которые прошел с боями. Агаджанов, знавший эти края тоже, в общем, не плохо, знания свои не выпячивал — он был восхищен тем, что можно, оказывается, вот так, спустя десятилетия, сориентироваться в этом обманчивом многомерном пространстве, где даль то и дело становится близью, а то, до чего, казалось, рукой подать, уходит от тебя куда-то и вдруг исчезает вовсе.

— А восьмую звезду ты так и не заметил? — неожиданно спросил Ряшенцев.

— Туман проклятый, — отозвался Агаджанов, как будто дело действительно было в тумане.

— Тоже верно, — согласился Ряшенцев.

Идти и даже дышать между тем становилось все трудней. Агаджанову временами казалось: еще несколько десятков метров вверх — и кислород будет найти так же трудно, как восьмую звезду в Медведице. Примерно такие же чувства испытывал и Ряшенцев,

но виду старался не показывать — надо было поддерживать дух у молодого поколения.

— Что ж ты умолк, Николай? — спросил старик после долгой паузы. — С копыт? Или пройдем еще малость?

— Пройдем еще, — превозмогая усталость, ответил Агаджанов.

— У тебя закалка на эти горы, смотрю, отменная! — похвалил его Ряшенцев.

— На эти сопки, — поправил Агаджанов.

Старик засмеялся:

— А если смешок в тебе цел — ты еще хоть тыщу верст отмахашь, так учил нас командир в этих горах.

— В сопках, — еще раз поправил Агаджанов.

— Слушай, ты же целую академию закончишь в этом походе! — воскликнул Ряшенцев. — Смотри, как заговорил! Вот и Ряшка мой точно таким был. Бывало, плохо, лише просто некуда, а он словечко-другое ввернет — настроение всем подымет. От этого и пули его не брали, стороной обходили до самого Каменного брода.

— А у Каменного?

Странное дело, Агаджанов не знал этого Ряшку, ничего не слышал раньше о нем, да и Ряшенцева-старшего видит первый раз, а ощущение такое, словно прошел он с ними сто дорог, сто путей.

— Что же было у Каменного? — снова спросил он Ряшенцева.

Старику очень хотелось, чтоб молодой задал ему этот вопрос.

— А у Каменного брода нашли его все пули, которые раньше не находили. Оптика у немца, сам понимаешь, цейсовская, а братуха, как на грех, размаскировался.

— Размаскировался? Как? Почему?.. Он же, вы сказали, опытным снайпером был.

— Говорю ж тебе — снайпер из снайперов. Место для стрельбы завсегда сам себе выбирал. Сам в укрытии чтоб, а фриц как на ладони. Так и в этот раз было. Вечером попрощался с нами — и на позицию. «Ты поаккуратней там, Ряш, — говорит ему командир, — уж больно голо кругом. Один ручей — и вся маскировка. Ни деревца, ни кустика». — «Но у ручья, товарищ командир, — отвечает Ряшка, — один берег отвесный с

зубьями, как у Кремля. Я бойницу там для себя высмотрел. Ни один цейс меня не словит». — «А вода? — спрашивает командир. — Ты учел? Ледяная. Горы!» — «По щиколотку, — говорит, — не выше». — «Ну, тогда с богом», — благословил командир. Ряшенцев перевел дух, подумал, потом продолжал: — Ушел, одним словом. Когда забрезжил рассвет, мы стали ждать первого выстрела нашего снайпера. Час ждем, второй дожидаемся — молчит. «Патроны бережет», — говорит командир. Хотя боезапас ему выделили немалый. Первый гром прокатился по горам, когда солнце было уже во-о-он где, — Ряшенцев поднял руку, определяя то место в небе, где в то далекое утро сверкал солнечный диск. — И завертелось! Ряшка выстрелит — в ответ ему десятки ударов. Началась дуэль снайпера с «эдельвейсами». Весь день продолжалась чертова эта кутерьма. Мы лежим в расщелине, верстах в двух, — командир не велит носа высовывать. Иначе, говорит, крышка всем нам. Оно и точно, крышка бы. Хочешь не хочешь, жди темноты. А тут еще с вершины ветер подул, грянул мороз, и, как назло, ни облачка. Сперва считал часы и минуты, Ряшкиным выстрелам счет вели. Потом сбились со всякого счета, хотя ясно слышали его удары, голос нашего карабина с немецким не спутаешь — резкий такой, с хрипотцой, словно простуженный. Ты когда-нибудь слышал, как карабин бьет? — спросил Ряшенцев.

— Только в кино, — ответил Агаджанов.

— А я до сих пор слышу его голос, — сказал Ряшенцев.

— Что же дальше было? — Николаю уже не терпелось узнать все до конца.

Ряшенцев остановился, посмотрел на парня, словно взвешивая что-то в уме.

— Дальше так. Кто-то из нас сказал командиру: «Наверно, впрямь хорошее место выбрал себе Ряшка. Весь день пуляет — и цел-невредим». Командир был поопытнее, постарше любого из нас. «Какое место и цели, мы, говорит, еще посмотрим, но что пуляет — факт. И, судя по всему, хорошо пуляет — вон какая канонада в ответ на каждый его патрон!» Короче, когда начало смеркаться, а мороз стал крепчать, подзывает меня командир и спрашивает: «Пословицу «брат за брата» знаешь?» — «Знаю, говорю, товарищ командир». — «Сейчас, говорит, главное — время. Слышишь, реже стре-

лять стал Ряшка?» — «Слышу, к ночи дело, видимость не та». — «Правильно, говорит, не та, а скорей всего и ранен еще. Возьми с собой Нефедова, и торопитесь». Нас поторапливать было не нужно, чуяло сердце — плохо дело у снайпера нашего. Где лощиной, где за камнем, где очертя голову, напрямик неслись на выручку брату. Не слышали уже никаких выстрелов. Ни наших, ни с их стороны. Через полчаса, еще не до конца стемнело, были мы у Каменного брода, у той самой бойницы. Кинулись к братану — еще живой вроде бы. Дышит, глядит на нас, но не шелохнется... Хорошо, у Нефедова оказался топорик с собой. Трофейный «золинген». Вырубили мы изо льда Ряшу и потащили к своим.

— Как — вырубили?.. — остановил старика Агаджанов.

— Говорю же — топориком. Пока стрелял по немцу из своего укрытия, вода в ручье сильно прибывать стала: горы! Подняло снайпера фашистам напоказ. Но и из ледяной своей купели долго лунил, покуда кровью не изошел и не припаялся ко льду. Только и тут не оставил поста, понял? Приволокли мы его к нашим, а на груди и спине у него — лед кусками, не отпадает. Красный такой. Я уже потом вспомнил — ручей в том месте и в густых сумерках тоже был красный. И лед кругом краснее красного. — Ряшенцев умолк, отдышался, поглядел на низко клубящиеся тучи и закончил: — Такая история, товарищ проводник.

Часа через полтора Ряшенцев и Агаджанов были у Каменного брода. Старик еще издали узнал то самое место, какое искал, и они двинулись прямо туда. Один берег ручья тут действительно несколькими геометрическими точными каменными зубьями напоминал Кремлевскую стену. Ряшенцев долго молча ходил от камня к камню, от выбоины к выбоине, словно отыскивая какой-то след, какую-то замету, — может быть, гильзу от патрона или еще что-нибудь, что можно было бы взять с собой на память о тех далеких днях, но ничего обнаружить не смог.

Обшарив глазами все вокруг, Ряшенцев пристроился между двумя нацеленными в небо камнями — полустоя-полулежа. Это и была бойница, из которой стрелял когда-то Ряшенцев-младший. Старик застыл в этой

позе не двигаясь, устремив взгляд вперед, в складки гор, или сопки, как он привык их называть с давней, теперь уже очень давней поры.

Ноги старого солдата при этом по щиколотку ушли в ледяную воду — он не обращал на это внимания.

«Простудитесь!» — хотел было закричать Агаджанов, но почему-то не стал этого делать. Больше того — он неожиданно для себя сам отыскал себе место рядом со стариком и точно так же — полустоя-полулежа — замер у естественной бойницы, и ледяная вода сразу обожгла обе его ноги.

— Что ты делаешь! Простудишься! — заревел Ряшенцев и с силой стал выталкивать его из воды.

При этом поднялся целый каскад брызг. Пронзаемые выглянувшим солнцем, они показались вдруг — и одному, и другому — огненно-красными. Кроваво-красным отсвечивали в этот миг и пластинки тонкого крепкого льда, припаявшиеся к уходящим в воду камням...

Ряшенцев и Агаджанов заметили это почти одновременно, переглянулись, и каждый из них, как сговорившись, отломил себе по несколько звенящих кусочков ледяного припая. Льдышки и в руках продолжали источать из себя красный свет. Ряшенцев и Агаджанов видели это в течение двух-трех минут, пока солнце плавало лед в их ладонях, превращая его в красные капли.

Потом набежала туча, видение кончилось так же неожиданно, как началось.

Ряшенцев, как бы очнувшись от сна, сказал:

— Ну, а теперь по коням, Микола! Бери шинель — пошли домой...

Они выбрались на сухое место, сняли обувь, туго натуго выкрутили шерстяные носки и, не дожидаясь, пока провянут, снова натянули их на окоченевшие ноги. Но ни один, ни другой словно не замечали холода и, не им гонимые, заторопились в путь: одному надо было постараться во что бы то ни стало побыстрее вернуться в санаторий и держать ответ перед наверняка разгневанной медициной, другому — лететь в институт, а оттуда при первой возможности снова сюда, на Кавказ, чтобы сколотить группу и вести ее к Каменному броду.

Дружили мы с Одинцовым, моим соседом по дому, давно, с конца войны, но знал я о нем, в общем-то, мало. Молчалив был старик, нелюдим. За шахматами, в которые мы хоть и редко, но игравали, по крупинке приходилось выуживать из солдата его, как он выражался, «автогеографию». Ну, воевал, ну, ранен был. А кто с фронта без чугуна меж ребер пришел? Исколесил в кирзовых сапогах полстраны, потом пол-Европы. Однополчан порастерял всех до единого. Особо много их полегло под Харьковом, в Зеленом Гае, под Мерефой. И еще под Прагой. Главное боевое крещение получил Одинцов на Украине, бóльшая часть войны с теми местами у него связана. Оттуда и словечки принес украинские. Не в «зеленом» скажет, а в «зэлэном», не в «гае», а в «гаю». Протяжно словечки те выговаривал, будто песню спивал. Задумчиво-грустную. Вскоре после войны — обратно на «шарик». Куда же еще? Подчеркивал это удовлетворенно, как космонавт, выполнивший задание и благополучно возвратившийся домой, на родную землю. Московский шарикоподшипниковый завод был и домом ему, и как бы целым шаром земным.

Жил Николай Васильевич одиноко, замкнуто. На здоровье никогда не жаловался, врачей избегал. Те сами находили его и каждую весну все же упекали в госпиталь, на профилактику. Больницу он именно так и называл — госпиталь — по старой привычке.

В прошлом году упекли даже дважды — сперва в самом начале весны, потом, ни с того ни с сего, еще и глубокой осенью. Я в то время в командировке был, узнал о случившемся, приехал в Москву, и в тот же день, под вечер, отправился навестить Николая Васильевича. Прихватил с собой плоскую бутылочку темно-коричневого, почти черного горно-алтайского бальзама, настоящего на десятках чудодейственных трав, каждая из которых, как объяснили мне друзья-алтайцы, способна была поднять человека на ноги при любой хворобе.

С трудом напялив на себя жесткий, как картон, халат и перешагнув порог указанной мне палаты, я сначала подумал, что дела обстоят не так плохо, как рас-

сказали соседи. Большая, коек на двенадцать, комната остановила острым запахом лекарств. Подумалось: не станут тяжелобольного содержать в таких условиях. В этот миг кто-то из дальнего угла окликнул меня с напускной бодростью:

— Ну, заходи, заходи, коль уж прорваться тебе удалось. Часики наши пущены, топают...

Меня при словах этих ожгла уже совсем другая мысль, невеселая. Слова-то, собственно, были обыкновенными, время посещения, мол, давно кончилось, но насторожил этот голос — слабый, чужой. Интонация, правда, осталась прежней, не изменилась, судя по всему, и манера старика немного подшучивать над собой и над другими.

Я стал пробираться между коек, вглядываясь в повернутые в мою сторону серо-желтые изможденные лица. Самым измученным показалось лицо Николая Васильевича. Я едва узнал его. Он понял это, опять пошутил в своем обычном духе:

— Богатым буду.

Он даже попробовал улыбнуться, но из этого ничего не вышло. Туго натянутая на обострившихся скулах кожа едва шевельнулась. Очевидно, не такой, как всегда, была и моя улыбка. Это не прошло мимо внимания Одинцова:

— Утешать будешь? Не мужицкое дело, брось.

— А чего тебя утешать? — возразил я. — Просто соскучился, вот и заехал прямо почти с корабля.

— Ну, садись, коли так, гостем будешь. А у меня тут видишь какой корабль. Да ну их к лешему, эти болячки! — сам себя одернул Одинцов. — Как съездилось-то? Выкладывай. Открыточку твою принесли уже сюда. Прочел, вспомнил старый анекдот про самую короткую телеграмму. От тебя же, кажись, и слышал: «Подробности письмом. Вася». От тебя?

— От меня. Но сегодня наговоримся вдоволь, — успокоил я Николая Васильевича. — Меня с ходу в новую командировку налаживают. Так что я медицину вашу укланчил, получил разрешение. Посидите, говорят, если так.

Одинцов сделал еще одну попытку улыбнуться. Я отвел глаза. Мне стало почему-то стыдно за свое здоровье, за то, что, полный энергии, сижу возле немощного человека и бессилен хоть чем-то помочь. Одинцов понял мое состояние.

— Не убивайся. Живы будем — не помрем. Я давеча сон один видел, к добру, думаю. Ты в сны веришь?

— Совсем не вижу снов, Николай Васильевич, с родедормом засыпаю. Я хоть и помладше, но все равно годы...

— Какой ты солдат после этого? — рассердился Одинцов. — Мне один старый доктор знаешь чего сказал?

— Про родедорм?

— Про годы. Не в них дело, а в нас. Шестьдесят годков, к примеру, самый распрекрасный возраст. Лучше шести десятков ни черта, говорит, не придумаешь. Самый цвет! Но понимать мы про то начинаем, когда нам аж под за семьдесят. Понял?

Я рассмеялся. На этот раз, кажется, более естественно. Во всяком случае, Одинцов остался мною доволен и с видом заговорщика сказал:

— Кавуны приснились.

— Кавуны?

Мне известна была манера Одинцова загадки загадывать. Начнет, бывало, что-нибудь говорить о себе — о молодых годах своих, например, — на полслове сам себя остановит. Так и сегодня будет, подумал я, а он повторил:

— Кавуны. Полосатые такие, здоровущие, каждый обхвата в два. — Одинцов выпростал из-под одеяла руки — тоже серо-желтые, с истонченными пальцами. — Нет-нет да и приснятся.

— Чудные бывают сны! — удивился я.

— Всякие, — ответил Одинцов, — но все из жизни, заметь, все из жизни. Так и давешний.

Одинцов оторвал голову от подушки, обшарил глазами все уголки палаты, велел мне подсесть поближе.

Я послушно выполнил просьбу.

— Не дает мне покоя история одна. Про кавуны и чернявую. Все, как было, тебе доложу, хотя ничего и не было. Раскручу, так и быть, всю катушку — такое настроенье нынче.

Я подумал — очередная загадка. Кавуны, чернявая, быль и небыль. Сейчас слова два-три еще молвит, и точка на том, как всегда. Но точки Одинцов на сей раз не спешил ставить. По словцу, по другому стал раскрываться передо мной заповедный уголок солдатской души.

— Так вот, чернявая, значит. Вроде дежурной сестрички. Обратил внимание?

Я ответил, что симпатичная черноволосая девушка проводила меня сюда, наказала, чтоб не волновал больного.

Одинцов встрепенулся:

— От той будет копия!

И без того тихий наш разговор перешел с этой минуты на шепот, еле слышный нам самим.

Вечер давно сменился ночью. Все население палаты спало. В двери время от времени стала появляться дежурная. Тогда мы вообще умолкали. Молчала и она. Немного приоткроет дверь, постоит и снова исчезнет. Разглядеть ее было трудно — в палате тлел ночничок, в коридоре тоже была полутьма... Но белый халат был все равно белым, черная коса — черной.

Постепенно странное завладело мной ощущение. Будто на пороге не дежурная сестра — сама наша молодость, чуть подсвеченная ночным огоньком, возникает из далекого далека. Постоит, остановит на каждом из нас свой короткий пристальный взгляд. И снова уйдет, скроется за тяжелой, массивной дверью...

Такие же чувства испытывал, по-моему, и Одинцов. Конечно же он, видимо, думал о том же самом. Совсем не случайно он тихо вздыхал, когда бронзовая скобочка ручки на белой двери возвращалась в исходное положение.

После одного из появлений сестры Николай Васильевич шепнул:

— Аллочка! Всея палаты нашей любовь. И моя тоже. Каждому слово молвит, каждому подсобит. Ко мне тоже нет-нет да и подсядет. Не часто, правда, — видно, сильно больным у нее не значусь. И то слава богу. Да и, по правде сказать, велик у нее совнархоз. А я очей от нее отвести не могу.

Я посмотрел на Одинцова, видимо, как-то не так.

Он предупредил вопрос, который я готов был задать.

— Не подумай чего-нибудь! Просто так — информация к размышлению...

— Не часто, но редко, — попробовал я помочь Одинцову сформулировать мучившую его мысль.

— Онó, онó, как говорят чехи. Не редко, но и не часто. Понял больше половины?

— Половину понял, — сказал я.

— Вторую тоже поймешь.

Одинцов не спеша, степенно, хотя и не без волнения, продолжал «раскручивать катушку».

В одном из боев где-то между Зеленым Гаем и Мерейфой Одинцов, истекавший кровью, остался на поле боя один. Он лежал ничком на горячей, как сковородка, земле. Дивизия дралась уже где-то там, впереди, звуки выстрелов становились все глуше, все слабее, так, во всяком случае, казалось терявшему сознание солдату. Как потом выяснилось, так оно и было в действительности. Дивизия перешла от обороны к наступлению неожиданно стремительно. Про Одинцова и ему подобных подумать ни у кого не было времени.

Сколько часов пролежал раненый под палящим солнцем — этого он не мог потом вспомнить, как ни старался. Помнит только, что почувствовал вдруг, как щека вместе с кровью прикипела к земле и оторвать ее можно было только с кожей. Дурацкое создалось положение: если жив, то надо вставать, а встать невозможно. Кое-как все же отлепился от раскаленной глины, осмотрелся. Кругом ни души, ни деревца, ни былинки. Приподнялся на локтях и увидел, что метрах в трехстах вроде бы бахча замаячила! До неузнаваемости перемолотая, вдоль и поперек изъезженная тяжелой телегой войны, но все же бахча — кое-где полосато пестрели на ней уцелевшие ядра арбузов. Горло Одинцова перехватила жажда, которую немислимо было стерпеть. Не рассуждая ни о чем, пополз напрямик. Долго полз: по-пластунски не получалось — почему-то не слушались ноги, работал одними локтями, посдирал их в кровь. Много раз останавливался. Потом бахча, когда до нее было совсем близко, вдруг исчезла. Подумал — мираж, мозга за мозгу зацепилась. Но удача, оказывается, еще не совсем позабыла солдата. Постепенно докумекал: складка местности утопила его, чтобы снова поднять на раскаленных ладонях...

Когда солнце начало клониться к горизонту, обжигающие лучи перешли от прямой наводки к навесному огню. Это было уже легче, это можно было стерпеть еще немного. К тому же Одинцов теперь лучше мог разглядеть кавуны — разможенные выстрелами, располосованные осколками. Он видел теперь даже запекшуюся

кровь кавунного сока, вылущенные из мякоти зёрна — крупные, черные, еще не успевшие потерять глянца...

Нежданно-негаданно где-то за собой Одинцов услышал слабый, испуганный женский возглас. Превозможная боль, обернулся. В нескольких шагах стояла дивчина.

— Чернявая, совсем молодая, лет осьмнадцать, не больше. Как эта, — Николай Васильевич скосил глаза в сторону белой двери.

— Как же она оказалась там, в этом аду? — невольно перебил я.

— Я уж потом про то узнал. Четверо их было, таких, как она. Гнали скотину колхозную куда-то в дальнее место. И угодили в самую кутерьму, от своих, одним словом, отбилась деваха. Помоги, говорю я ей, если можешь. А она убоялась вида моего, постояла, постояла, руками лицо закрыла — и дёру! Погодя все же слышу за спиной вроде бы тот же голос, только чуть посмелевший. Оборачиваюсь — она! А с ней рядом такой же, как я, бедолага. Одной рукой на дрын опирается, из-под другой плащ-палатка торчит. Разостлали они ту палатку, меня на нее пересунули, поволокли. «Куда?» — спрашиваю. «На перевязку», — отвечают. Тут, дескать, недалече овраг, в овраге — госпиталь. Никакого госпиталя там не было. Десятков пять раненых-перераненых и она. А над оврагом, гляжу, уж «рама» висит. Высоко, правда, но нас видит, конечно, сквозь цейсы свои прекрасно. Нутро у меня горит все сильнее, пить хочу — помираю, а воды нет. Все перекосилось перед взглядом моим. Небо и «рама» в одну сторону ушли, овраг и земля в другую...

В этом месте Одинцов вынужден был прервать свой рассказ — дверь палаты приотворилась, в матовом прямоугольнике снова возникла фигура дежурной. Ни словом опять не обмолвилась, постояла, посмотрела в наш угол, покачала головой, ушла.

— Что дальше было? — спросил я, когда звук шагов растаял в глубине коридора.

Одинцов ответил не сразу и несколько невпопад:

— Точно как та. Две капли! Только эту Аллой зовут, та Галкой была. Все остальное сходится. И лицо, и косы, и глаза. Чуть поведет ими, черными, — заходится мое сердце. Смерили б мне давление сейчас, сбежалась бы вся медицина!

— А я гипотоник, Николай Васильевич, стабильный.

— Знаю,— ответил он.— Давай как-нибудь скинемся и пополам поделим.

Помолчал, прислушался к тишине Одинцов, стал «катушку» дальше раскручивать. Так, мол, и так, кровь кругом, стон, смерть. «Рама» совсем не зря была немцем повешена. Высмотрел он овраг и раненых в нем, стали скоро мины кругом свистеть. То недолет, то перелет, то в самое яблочко.

Возле Одинцова в песок колченогий зарылся, и ему приказал сделать то же самое. Не было у Одинцова сил выполнить тот приказ. Чернявая помогла. Он усмехнулся еще — не хорони, мол, прежде срока. Она обиделась, дурнем обозвала.

— Я и был дурнем,— откровенно сказал Одинцов.— Стопроцентным.

— Правильно! — невольно вырвалось у меня.

Он подтвердил:

— Правильней некуда. И знаешь, удумала еще что? Когда немец к ночи поутих малость, за кавунами решила ползти. Тут они, говорит, почти рядом, а вас всех напоить-накормить надо. За ней колченогий с дрыном своим увязался и еще какие-то отпетые головы, человека два-три, кому стало полегче. Остальные пытались уговорить их не делать глупостей. Не послушались, выбрались на край оврага. Немец в тот миг ракету вывесил точно над нами — для острастки. Не убоялись и этого — с ракетой, дескать, даже видней.

Одинцов продолжал, я слушал, честно говоря, уже веря и не веря своим ушам. Мыслимое ли дело? Под миной, под ракетой — за кавунами? Оказалось, мыслимое,— через какое-то время в овраг по зыбучему песку будто бы тяжелые ядра стали скатываться. Одни за другими. «Кавуны!» — рывкнул кто-то. С одним из арбузов чернявая скатилась к Одинцову. Пыль с кавуна обдула, на скибки порезала: ешь, мол, скорей, тобой крови много потеряно. И косит на солдата глазами, словно родственник он ей какой. Одинцов отказаться не смог — все нутро его давно выгорело. Впился в арбузную мякоть, глотал вместе с зернами; лишь утолив жажду, усовестился, спросил, почему, мол, сама не ест, только смотрит. «Я успею,— говорит,— вот тебе еще скибочка, вот еще. Что болит, где болит? — спрашивает.— Еще прикатить кавун?» И, не дожидаясь ответа, снова за край оврага...

Одинцов умолк.

— Поговорили вы тогда меж собой? — спросил я после долгой паузы.

— Поговорили. Спросил, из каких краев, как звать, кем была до войны, о чем мечтает. Мечтаю, говорит, своих найти. Вот и весь разговор. Когда особо говорить-то? Чуть не целую неделю местность та полем боя была. Овраг то в тылу у наших, то в тылу у немцев оказывался, то вроде бы линией фронта становился. Раненых у нас ото дня ко дню прибывало. Как кавуны в овраг скатывались. Ни единого цельного человека! Она одна за всех была — и за санитаров, и за врачей, за кого хочешь. И хоть одну минуту, но, конечно, найдет для меня. Пошепчемся, как с тобой сейчас, погорюем. У нее вся семья потерялась в первые же месяцы. Отец, мать, трое братишек, мал мала меньше. «А у вас?» — спросит. «И у меня», — отвечу. Вот и все разговоры. Потом и вовсе растащила нас судьба в разные стороны. Как-то под утро машина пробила санбатовская. Стали нас в кузов затаскивать, самых тяжелых, а мы не помещаемся. Я останусь, говорю, а она — ни в коем случае! Сама помогала санитарам грузить меня. Когда наклонилась поближе, обожгла вдруг мне щеку и губы ее слеза, сладко-соленая, как сок кавуна. Да черная коса упала вот сюда, — Одинцов дотронулся до своей груди, чуть пониже плеча. — Больше мы с ней ни разу не свиделись. Такая, понимаешь, история...

В этот миг мы с Одинцовым одновременно глянули в сторону белой двери, которая вновь отворилась, на сей раз более решительно.

— Вам пора, — шепнула дежурная, обращаясь ко мне.

Мы стали прощаться.

— Перед отъездом постараюсь навестить, — пообещал я Одинцову. — Чего принести тебе?

— Ни-ни-ни! Ты что? — запротестовал он. — Вон полна тумбочка провианта всякого. Давеча чуть не всем цехом ребята притонали. Так приходи, рад буду.

Я пожал протянутую мне тонкую руку, пожелал здоровья Одинцову: он, как положено, послал меня к черту. Тихонечко так послал, еще с одним, очень слабым подобием улыбки. Была в ней затаенная боль человека, знающего про себя гораздо больше любых врачей.

В коридоре меня поджидала сестра Алла.

— Не поверили, что ухожу? — спросил я.

— Просто хочу проводить вас до выхода. Все двери давно на замке.

— Вот и говорю, не поверили, — повторил я.

— Напрасно вы так. Кое-что сказать вам хочу.

— Говорите, — я внимательно посмотрел на Аллу.

— Вы друг его. Он про вас мне рассказывал. Через войну вместе прошли?

— На разных фронтах воевали, — уточнил я, — уже в госпитале в мае сорок пятого свела нас судьба.

— Сколько же люди муки приняли! И сколько еще осталось...

— Что вы, раны все травой позарастили давно, — попробовал отшутиться я.

— Не все. И не у всех, — на последнем слове она сделала ударение.

Мы в тот миг медленно, почти на ощупь спускались по темной узкой лестнице запасного хода. Я замер на полушаге. Остановилась и Алла. Мне показалось, она собралась сказать мне что-то очень важное, но не решалась.

— Неважные у него дела, да? — спросил я.

От прямого ответа она уклонилась.

— Хороший он человек, мне жалко его. И один на всем свете. Люди-то к нему ходят, не забывают. Вчера сразу ползавода явилось. Халатов не хватило на всех. Несколько смен устроили.

— Ну вот, а вы говорите — один на всем свете, — поправил я Аллу.

— Из родных никого не было, — повторила она. — И быть не могло. Он всю жизнь свою рассказал мне за эти два месяца.

— Он так давно здесь?.. — поразился я.

— Из командировок не вылезаете, — помогла мне оправдаться Алла.

Я попробовал вспомнить, когда последний раз виделись с Одинцовым, о чем говорили. Два месяца никак не получалось.

Словно угадав ход моих мыслей, Алла уточнила:

— Два. Завтра третий пойдет. — Она поднесла к самым глазам свои часы, но разглядеть ничего не могла.

Я достал зажигалку, подсветил ею. Крошечные ножнички часовых стрелок на мгновение блеснули где-то в правой верхней части циферблата.

Мне стало стыдно. Обещал Алле исправиться, выкроить еще вечерок перед новой дорогой.

— Сколько он тут еще пролежит? — спросил я ее. Ответ снова уводил далеко в сторону:

— Не забывайте его. Я таких одиноких еще не встречала.

— Что принести ему? Какие фрукты? Соки?

— Все есть у него. Про это он вам правду сказал. Когда придете? У нас со дня на день карантин. Так что проникнуть будет сложно даже к Одинцову.

Долго шел я в ту ночь по дождливой Москве. Думал о Николае Васильевиче, о его судьбе. О солдатской его молодости. Как бы трудно она ни сложилась, все равно чертовски жаль, что ушла, плотно прикрыв за собой дверь, и не воротишь. Можно только окликнуть в самый последний момент: а вдруг напоследок все-таки обернется, бросит прощальный взгляд. Обернется, чуть убавит шаг, обожжет черным или зеленым огнем и исчезнет, чтобы больше уже не являться перед тобой, разве что во сне, на одно краткое мгновение. Кстати, что такое мгновение? И может ли оно быть «кратким» или «длинным»? — спрашивал я себя на ходу. Все в мире относительно. В одной книжке про вечность прочитал как-то: «Возвышается на краю земли огромная гора из чистого алмаза. К горе раз в столетие прилетает ворон — поточить клюв. Когда вся гора сточится, для вечности пройдет только один миг». Восстановив в памяти этот образ, я невольно пошел почему-то медленнее. Заметив это, сам над собой посмеялся. Чудак человек! Нельзя ничего ни торопить, ни тормозить в жизни. Чему быть, тому не миновать, само собой в свой черед явится. А то и вовсе без всякого череда пробьется. Дрянная, конечно, философийка, но другой у меня в тот час не было. Самую обыкновенную командировку и ту пойдика отсрочь. Черта с два! Впрочем, насчет командировки мы еще посмотрим, поборемся. Объясню начальству, что друг в больнице, — глядишь, и отложат мой вылет хоть на несколько коротких дней. И опять сам себя поправил: дни не могут быть ни «длинными», ни «короткими». Все точно отмерены. Так же, как и ночи. Кроме тех, ясное дело, которые бесконечно тянутся. У меня сегодня была одна из таких. И Одинцов небось таращил глаза в потолок, и, может быть, в позднем осеннем рассвете виделись и ему в трещинах штукатурки линии наших фронтов, со всеми их зигзагами, меняв-

шими рельефность в зависимости от угла падения первых солнечных лучей или от «угла» разыгравшегося воображения.

Когда долго глядишь вот так в потолок, еще и не такое пригрезится. Я бесконечно возвращался мыслью к далеким событиям и временам. К сладко-соленой слезе, сбегавшей когда-то по щеке чернявой, к бахче, изрытой снарядами, к Зеленому Гаю, в котором никогда не бывал и про который до сегодняшнего дня знал только несколько слов из печальной украинской песни с мотивом, ускользавшим куда-то из памяти. Вновь и вновь к Николаю Васильевичу, с его жизнью, прожитой достойно, никогда не жаловавшемуся на судьбу и только сегодня признававшемуся мне, что в одной анкете якобы написал про семейное свое положение — «в девках остался». И про то, как целые десятилетия после войны пытался отыскать свою Галю. Куда только не писал, не ездил, в какие только инстанции не обращался! Каких только ответов не получал! Целая папка собралась. Узнал в бесконечной переписке этой, что существует в архивах войны среди прочих и список, озаглавленный: «Убитые, умершие от ран, пропавшие без вести». Не значилось Гали и в том документе...

* * *

От командировки отбиться мне не удалось. Начальство и до того придерживалось во всем порядка, а тут, аккуратно, пошли всякие строгости. Все мои доводы срабатывали против меня: мол, скорей вылетишь — скорей возвратишься. «Да и о чем разговор! Перебьется неделю твой друг».

Я особо спорить не стал, я вообще не умею спорить с теми, кто жмет на сознательность, давит на долг. Неделя, решил, действительно невеликий срок, а до отлета к Одинцову все же забегу. Так и сделал. Только Алла в тот день, к сожалению, не дежурила, а кроме нее, пропустить меня было некому. Карантин, оказалось, уже ввели. Записку, правда, и кое-какие фруктишки взяли, но ответа ждать не позволили. Поздний час, дескать.

Командировка оказалась трудной, работы невпоровот. Но я старался изо всех сил, чтоб в самый малый срок уложить. Под палящим таджикским солнцем за

неделю успел объездить ближние и дальние районы республики, побывал в десятках колхозов, провел сто совещаний, встретился со знаменитыми мастерами — все сделал, как мне было поручено. А в последнюю ночь, перед вылетом в Москву, даже отчет успел написать, чтоб по прилете времени зря не тратить, как можно скорее попасть к Одинцову. Тревожная мысль запахла мне в душу после разговора с Аллой. Запахла и поторапливала.

В одном из колхозов, неподалеку от Душанбе, бригадир, назвавшийся Рахимом, степенно разгладив просеченную сединой бороду, спросил:

— Куда торопишься? Плохо тебе тут, да? Успеешь в Москву, останься, вечером приходи ко мне, мы с женой рады будем.

Пришлось рассказать старику об Одинцове.

— Совсем один человек? Плохо. У меня вот сорок семь родственников в районе. Семья? Попаду к докторам — очередь в больницу будет длинней каравана. Потому и не болею. Зачем, думаю, столько людей от дела отрывать?

Сказал это Рахим одновременно и весело, и грустно. Все понимал прекрасно. И про то, что семья семье рознь, и про то, что вовсе семей не бывает, и про другое многое, что усвоил за свои семь десятков.

— Сердце ему надо укреплять, вот что! — вдруг поставил свой диагноз старик. — Я на войне сапером был, не передний край это, сам понимаешь. И столько лет прошло, да? А оно напоминает. Спасаюсь знаешь чем? Курагой! Давай адрес — пришлю сколько хочешь, и самую лучшую. Пусть утром большую пиалу съедает, — он свел вместе коричневые от времени и от работы ладони, показывая, каких размеров пиала требуется. — Послушай, а отчего оно все-таки останавливается?

Я сказал, что был у меня как-то разговор с одним хорошим врачом. Задал вопрос ему именно об этом. Отчего, мол? Врач, весельчак и жизнелюб, помрачнел. «Вам, говорит, честно сказать?» — «Конечно, отвечаю, честно». — «Так вот, ежели по чести, по совести, — не знаю. Больше того, мы все, говорит, не знаем даже, отчего оно бьется, черт подери! Вам стыдно за современную науку? Мне тоже. Но вы сами просили, чтоб честно».

Рахим поглядел на меня, развел коричневые ладони в стороны, словно взвешивая на них услышанное. Вид

у него был в ту минуту такой, словно знал старик больше всех врачей на свете. Он и в самом деле знал намного больше врачей.

— У каждого человека свое сердце, у каждого сердца своя причина биться и останавливаться, да? Точно! Подумай и не спорь, я старше.

— Одинцов на сердце не жалуется, — сказал я. — Он вообще никогда не жалуется ни на что. И все у него есть. Ни в чем не нуждается, всем обеспечен вот так, сам любому придет на выручку.

— Богатый человек! — воскликнул Рахим.

— Миллионер! — согласился я полусерьезно-полуиронически.

— Богатый, — уверенно повторил Рахим. — Восточная мудрость что говорит? Истинно богат не тот, кто богат и об этом знает, а тот, кто владеет несметным богатством и о том не догадывается. Понял что-нибудь? Еще немного подумай.

Я обещал подумать; старик, как и все старики, был настойчив:

— Совсем немного. И, пожалуйста, за тобой адрес, за мной курага, — решительно подвел Рахим итог нашей дискуссии.

Я, повинуясь его воле, нацарапал на клочке бумаги домашний адрес Одинцова.

На этом мы расстались. Я считал, надолго, если не навсегда. Вышло несколько по-иному.

Ранним утром следующего дня на аэродроме за десяток минут до посадки я увидел своего вчерашнего знакомого, пробивавшегося ко мне через толпу. Шагал он почему-то тяжело, грузно, как-то не по-стариковски. Когда он приблизился, я увидел: в каждой руке бригадир держал по авоське, в каждой авоське было по арбузу — и по какому! Я таких великанов еще не встречал нигде на свете.

На аэродроме было шумно, вблизи и вдали ревели десятки турбин и моторов. Нам даже поговорить не довелось толком. Я удивленно таращил глаза на арбузы; старик, навьючивая их на меня, кричал мне в самое ухо:

— Этот — для тебя, этот — для твоего Одинцова. Курагу вышлю посылкой.

Разместившись в самолете, разглядев подарки бригадира, я оценил, каким богатством располагаю: арбузы показались мне похожими на те, про которые Одинцов

рассказал! А уже в Москве, по дороге из Шереметьева, мне еще поднял настроение таксист:

— С Украины кавунчики? Хороши! Только там такие водятся, я бывал в тех краях.

— Точно? — воскликнул я. — Такие именно?

Шофер не заметил, как переспросил я его, повторил, будто само собой разумеющееся:

— Только там. Да еще, может быть, в Средней Азии.

Я попросил прибавить скорость. Дескать, в больницу спешу, к одному солдату. Водителя, несмотря на сильнейший дождь, агитировать долго не пришлось — двигатель взревел, в машине стало шумно, как на аэродроме. Мы ехали молча. Я часто оборачивался назад, где, глубоко ввалившись в сиденье, разделенные мокрым моим портфелем, поблескивали арбузы, когда дорожные фонари швыряли в стекла неоновые вспышки.

Таксист, заметив это, успокоил:

— Не волнуйтесь, не скатятся, как пассажиры сидят, плотненько!

Теперь моя дума была об одном: застать бы Аллу. Карантины быстро небось не кончатся, да еще такой глубокой осенью. А без Аллы не прорваться. Это уж точно, да и время опять, как назло, вечернее, стало быть, неурочное. И все же застаю. Если она через двое суток на третьи, то как раз, выходит, ее смена. Я вынимал из бумажника календарик, всматривался в него, и концы с концами сходились. Ну, а с Аллой договориться можно будет. Вот этот арбуз Одинцову, скажу, вот этот — вам, Алла. Пропустите, пожалуйста.

В расчетах своих я не ошибся — Аллина смена была. Нянечка, сердито оглядев мокрого с ног до головы неурочного посетителя, поворчав для порядка, привела мою знакомую. В тускло освещенном коридорчике я не сразу узнал ее — что-то изменилось в облике Аллы. В голосе была тревога:

— Что же вы так долго? И опять в такой дождь и в такой час!

Я объяснил, что прямо с дороги, из аэропорта, даже домой не заехал.

Аллу это в удивление не привело.

— Хорошо сделали. Спрашивает по сто раз в день.

Я сразу воспрянул духом:

— Значит, пропустите? Спасибо большое! Не зря я не только на крыльях летел — на кавунах катился.

Алла бросила недоуменный взгляд на арбузы, полосато гроздившиеся в углу за моей спиной, и удивленно воскликнула:

— Разве такие бывают?! Никогда не видела ничего подобного!

— Кое-где еще встречаются. Один — Николаю Васильевичу, другой — вам, Аллочка. Ну что, потащили? — Я решительно приподнял обе авоськи, сделал шаг вперед, чтобы идти вместе с ней к Одинцову.

Алла так же решительно преградила мне путь:

— Карантин уже больше недели.

— Но вы же сами сказали: хорошо, что приехал!

— Да, — подтвердила она, — хорошо. Пишите записку, давайте подарки, ждите ответ. А кавуны ваши прелесть и, главное, ко времени. Он сказал мне, что мечтает вырваться отсюда, поехать на Украину — кавунами лечиться. Заводские уж на рынок ездили, да разве в такую пору достанешь!

Я немного повеселел. Примостившись у подоконника, сочинил Одинцову послание, в котором, каюсь, немного слюкавил относительно места «прописки» кавунов. Намек сделал на то, что, дескать, где еще могут расти такие красавцы, как не на украинской земле.

Алла ушла, переваливаясь под тяжестью авосек.

Ждать мне пришлось долго. Только минут через сорок возвратилась сестра.

— Еще одно огорченье, вы уж простите меня. Заснул Николай Васильевич, я не стала его будить. Он последние сутки глаз не сомкнул, а тут вдруг вздремнулось ему. Дай, думаю, немного поспит. Так и все, кто есть в палате, мне приказали. Уж больно сладко спится ему. Правильно я поступила?

— Правильно! — ответил я. — Подожду еще, сколько скажете.

— Я думаю, вам лучше уйти, — ответила Алла. — Опять ведь ночь уже. Давайте так сделаем. Я завтра снова дежурю за подружку одну. Приходите пораньше.

— Специально отпрошусь с работы где-то сразу после обеда, можно?

— Жду вас, но только обязательно. Письмецо будет. Что-то сказать вам хочет.

— А как все же насчет встречи? Устроили бы, а?

— Я же говорю вам — карантин. Исключений почти не бывает.

Через четверть часа я снова трясся в такси. Еще че-

рез четверть — был дома. И опять, невзирая на усталость, долго не мог уснуть. Думал об Одинцове, о доброй сестре, которая при все своей юности успела, видно, в жизни пройти через многое. Совсем не случайным было это «почти». Свидание с Одинцовым не очень твердо, но обещала. Или я не понял ее? Только записочку принесет? Что будет в той записочке? И будет ли что? Поговорить бы с Одинцовым, как в ту ночь. Душу отвести. Узнать, что хочет сказать недосказанное? Какую еще исповедь приготовил? И обязательно надо выяснить, сколько будет длиться этот карантин. Прошмыгну как-нибудь! Солдаты мы, в конце концов, или не солдаты? И не такую медицину вокруг пальца обводили! «Через санбаты выходят в солдаты!» — вспомнил любимую поговорку старшины своего. Верная была поговорочка, справедливая!

На следующий день я заявился в больницу даже раньше, чем предполагал. Начальство вошло в положение. Алла, вызванная мной через нянечку, встретила меня хорошо. Подошла, первая протянула руку, воскликнула:

— Кавуны ваши все вверх дном тут перевернули!

— В каком смысле? — не понял я.

— Что вчера было, что было, представить не можете! Часов в десять все началось. Вы только-только уехали, Николай Васильевич проснулся, пить запросил...

— Ну вы бы ему сразу арбуз! — перебил я Аллу.

— Я так и сделала. Кавуны вам, говорю, Николай Васильевич, с Украины.

— Так и сказали? С Украины? Я же забыл вас предупредить, Алла: именно с Украины. Именно!

— С этого-то все и началось, вы только послушайте. Он у нас ведь последнее время больше пластом. А тут вдруг — ноги в шлепанцы! Выпутали мы с ним арбузы из авосек. Он постучал — по одному, по другому. «Вот это, говорит, кавунчики! Режьте их скорей, Аллочка, пировать будем». — «Прямо сейчас?» — спрашиваю. «Прямо сейчас, отвечает. Немедленно!» Разбудил всю палату. Пока я бегала за тарелками, за ножом, один арбуз уже был кем-то разделан. Николай Васильевич, покачиваясь, как пьяный, ходил от койки к койке, угощал всех больных. Скоро уже из соседних палат слышался его голос. От всех хворей, от всех напастей, дескать, первейшее средство.

— И вас, конечно, угостил? — спросил я сестру.

— Меня почему-то в первую очередь, — чуть смутилась она. — Я отказывалась, он настаивал. Вторым арбуз вообще уговаривал домой «укатить».

— И я вас о том же просил, Алла. Один ему, другой вам, семье вашей. Даже если очень большая — на всех хватит.

— Вот так! — Алла приложила ребро ладони к горлу. — Отец военный. Они с мамой на Дальнем Востоке. Мы с братишкой в Москве. Я здесь, он на «скорой» — тоже в три смены. Видимся только по праздникам. Короче, вторым арбуз тоже по кругу пошел — нянечкам с врачами устроили пир. Это было утром уже. Зернышки я собрала все до единого. Поеду к своим в отпуск — посажу.

— Значит, и вам арбуз понравился? — спросил я.

— Мне больше всех! — чистосердечно призналась сестра.

— А ему?

— Говорю же — чуть не всю ночь ходил человек. Обошел все отделение, наугощал всех, потом свалился от усталости. И вот спит уже много часов и сквозь сон улыбается! — воскликнула Алла. — Вот скоро проснется — я ему первым делом о вас доложу. Подождете?

Я ответил, что буду ждать сколько потребуется, и похвалил девушку:

— Заботливый вы человек, Алла, добрый.

— Обыкновенный, — сказала она. — Другим, моему, тут делать нечего.

Сестра шевельнула рукавом белоснежного халата, и мы одновременно глянули на ножнички часовых стрелок.

— Скоро сменщица придет. Та построже будет. Не подумайте, что все у нас тут такие, как вы говорите, добрые.

— А как же я? Не могу ведь уйти, не повидав Одинцова. Может, как раз где-то перед сменщицей и проскочить к нему?

— Я не обещала вам этого, что-то путаете. Почтальоном буду работать хоть до ночи.

— Ну тогда хотя бы не торопитесь. Посидите еще со мной, расскажите, как все было. Все по порядку.

— Я все рассказала уже. Радовался, как ребенок, и даже шутил. Учил нас, как есть кавуны надо.

— Ну вот видите, а вы говорите — все рассказали. Не все, выходит. Как же надо их есть?

— Говорит, чтобы полные уши косточек набивалось! И смеется. Что еще? Все, наверно, вспомнила. Да, вот еще что. Пospорили мы с ним. Он спросил, какого вкуса бывают арбузы, по моему мнению. Я удивилась даже, как это, говорю, какого? Сладкого. А вот этот особенно. Он стал меня на слове ловить. Дескать, я сама себе противоречу. Выходит, есть арбузы сладкие, есть особенно сладкие. Какие, спрашивает, еще?

— Что ж, он прав, наверно, — сказал я. — Разные бывают арбузы.

— Да, конечно, от спелости, от сорта зависит, — согласилась Алла. — Но про вчерашний он что-то не то сказал, засыпая. Будто бы сладко-соленый. Никак его убедить не могла, что ошибается. Сладко-соленый, и все тут! Уже седьмой сон, наверно, видел, а сам все свое: вы не распробовали, говорит, в нем два вкуса. Один сладкий. Другой соленый...

— Больше ничего не сказал? — спросил я девушку.

Она наморщила лоб, задумалась, покачала головой. Потом еще раз глянула на часы и, решив, что Одинцов теперь уж наверняка проснулся, встала со скамейки и уже из коридора, на ходу, полуобернувшись, обронила слова, ею наверняка не разгаданные, а для меня и Одинцова полные особого смысла:

— Раза два или три меня почему-то не Аллой, а Галей назвал. А может, мне так слышалось.

Ждать Аллу мне пришлось не меньше часа. Чего только не передумал я за это время, чего только не переживал! Уж не навредил ли чем Одинцову? Ему ведь полный покой нужен. А я больного человека волноваться заставил. Не стало бы хуже. Уж клял себя на все лады за эту затею с арбузами.

Только увидев Аллу, весело мчавшуюся ко мне с письмом по гулкому коридору, я успокоился.

Одинцов по старой армейской привычке сложил белый листок в три угла. Я сразу обратил на это внимание и обрадовался. Держится, стало быть, солдат, не сдается.

Всего несколько строк было в послании Николая Васильевича.

Перво-наперво благодарил меня друг от всего щирого сердца. Он именно так и писал — «щирого». И это было признаком тоже добрым. Одинцов, когда на душе

у него светлело, любил мне уроки «мовы» давать. Многие украинские слова за давностью лет из памяти его выветрились, но иные запали в душу на всю жизнь. Прощаясь, например, он чаще всего восклицал: «До зустрічи, до побачення!» И от меня того же требовал, и всегда рад был, если я отвечал правильно, без запинок.

Дальше в письме повторялось то же или, вернее, почти то же, что Одинцов ночью Алле сказал.

Я сохранил письмо Николая Васильевича, часто теперь достаю похрустывающий треугольник из ящика стола. Аккуратно развертываю, читаю-перечитываю беглые, косые, загибающиеся на концах, но все-таки твердой рукой написанные строки:

«Лекарство могучее ты раздобыл. Кавуны самый первый сорт, первой некуда! Точка в точку как на Украине. Привез ты их, ясное дело, не оттуда, я понял, но придумано здорово. Больше мне ничего не нужно, а сам приходи, буду ждать. Алла обещает почтальоном нашим быть до самого конца карантина. Только до конца я тут, понятно, торчать не буду (это строго между нами). Мне уже полегчало. Охота напоследок еще раз проведать Зеленый Гай. И чем скорее, тем лучше. Вот так, дорогой, такие дела. Ну бывай. До зустрічи, старик, до побачення!

Твой *Н. В.*».

ДЫХАНИЕ КОСТРА

I

Зимы в тех краях стоят длинные, суровые. Когда на дворе минус двадцать, местные жители будто бы говорят: «Потеплело».

А в основном — под сорок, под пятьдесят, в горах иной раз даже под все шестьдесят закручивает. Из ртути дробины и пули ковать можно. Охотники — а охотник там почти каждый — именно так якобы и делают.

Обо всем этом я наслушался всяких былей и небылиц по пути из Москвы в Кызыл, на аэродромах и в самолетах, которыми добирался — до Саянского хребта лайнерами, потом, после трехсуточной отсидки из-за непогоды, через Саяны зашвыривали командированный

народ мелкими партиями на крохотных самолетиках, способных, в случае чего, сесть чуть ли не на вершину сосны и остаться при этом невредимыми и дров в тайге не наломать.

Так или иначе, на пятый день пути был я на месте. Не на макушку сосны сели, но в момент приземленья, когда машина дробно и мягко затарахтела колесами по снежному насту, вспомнились мне слова отставшего где-то попутчика про удивительные способности предназначенных для Севера мини-самолетов. «А может, и впрямь в объятья сосны угодили и раскачиваемся на упругих ее ветвях?» — на мгновение подумалось мне, и ноздри защекотал щемящий сердце ворвавшийся снаружи запах хвои и давно обжитого дома.

Это ощущение преследовало меня до самой гостиницы, вернее — гостинички, в каждом уголке которой пахло уютом. Устроившись и завалившись спать в отведенном мне номере, я думал о том, как хорошо, что и здесь, за тридевять земель от родного очага, о тебе заботятся, даже притащили в номер пушистый шерстяной ковер, на котором рукою какой-то мастерицы-волшебницы вытканы сосны, сосны, сосны...

Проснулся я, наверно, через сутки, не раньше, — в окно, сквозь ледяной панцирь вламывалось солнце. Ведь не вчерашнее же? Вчерашнее ниже было, шло к закату, а сейчас вон куда вымахало! Стало быть, сутки. Ну ты даешь, старик, попрекнул я себя. А дорожка ведь впрямь не из легких была, все силы вынотрошила да еще ангину подбросила: в горле у меня засела целая пригоршня жареных гвоздей. Но ангина ангиной, а дело делом. Упущенное надо наверстывать.

В вестибюле меня ждали те, к кому я приехал. Ждали, судя по всему, долго, но когда я стал приносить извинения, старались доказать мне, будто сами только что пришли. Вид же у них был слишком «оттаявший», раздобревший — попивали крепкий, почти черный чаек из пиал, и я с ходу был втянут в веселое это чаенитие. А когда наружная дверь на мгновение отворилась, в вестибюль вкатывался громадный клубок белого воздуха. Такой громадный и такой стылый, что невольно хотелось посторониться.

Я снова и снова вспоминал все, что слышал в пути про здешние зимы, а хозяева как могли старались подбодрить приезжего человека:

— Вчера у нас была оттепель. Сегодня мало-мало

подмораживает. Завтра или послезавтра опять потеплеет.

Я не знал, шутят хозяева или говорят серьезно, но были они такими приветливыми, что по крайней мере на душе у меня становилось теплей. К тому же я москвич, — стало быть, человек в какой-то степени тоже северный, к холодам привычный. Из гостинички мне, однако, выходить было строжайше запрещено, пришлось все обсуждать и решать на месте. Номер мой, в который мы все скоро поднялись, превратился в рабочий кабинет. На разные голоса читались и перечитывались стихи, стучала привезенная мной портативная машинка «Эрика», скрипели перья, шелестела бумага, разгорались страсти. И так с утра до вечера, а иногда еще и с вечера до утра.

На дворе между тем все крепчал мороз. Несмотря на все принятые меры по утеплению моего жилья, ледяной панцирь на окне становился все толще — через него уже с трудом пробивался солнечный свет. А потом и вовсе оконный лед сделался пепельно-серым, непроницаемым.

— Завьюжило, — сказал кто-то из хозяев. — Теперь уж точно мало-мало потеплеет.

— Завтра или послезавтра? — попробовал уточнить я.

Ирония в моем вопросе уловлена не была:

— Снег как-никак греет в горах.

Я понимал, что с приходом «оттепели» кончится мое заточенье, и потому спросил как можно более оптимистично:

— Пули ковать нельзя будет?

— Наковали уже, хватит. В эту зиму план по морозам мало-мало выполнен.

Вот и пойми их, северян этих, думал я. «Мало-мало выполнен»... Что должно обозначать сие? Хорошо это или плохо? Всем нутром своим чувствовал — закаленные, ко всему привыкшие люди устали от холодов, ждут не дождутся прихода тепла, хотя бы и мимолетного.

Решил спросить об этом самого старшего — Монгуша, человека с обвисшими сизыми усами. Тот улыбнулся — раскосо, грустно.

— Мне что зима, что лето. Вечная мерзлота! — Он выразительно похлопал себя по коленям. — Ты вон Эрко спроси, он моложе нас всех. Он тебе точно

скажет, может, даже и под рифму, с ним такое бывает — поэт!

Эрко от прямого ответа уклонился, шуткой отделался:

— Зима у нас лучшее время года. После весны и лета. И даже, пожалуй, осени. Но я и зиму люблю!

Старику шутка понравилась. Он скосил глаза в мою сторону.

Я ж говорил тебе! У них спрашивай. Молодежь самый мудрый народ в горах, самый толковый. — Монгуш провел заскорузлой, неразгибающейся ладонью по сизым усам, помолчал минуту-другую и добавил: — Самый мудрый, самый толковый. После стариков, конечно.

Посмеиваясь друг над другом, один другого вышучивая на все лады, мы тем не менее медленно, но верно делали свое дело, и оно начало постепенно продвигаться вперед. Может, потому начало, что витал над нами почти невидимый, неуловимый, но прекрасный дух жизнелюбия, умения не скиснуть перед самой сложной и срочной задачей. Мы и не скисали, несмотря на то что не все шло поначалу гладко, и не глядя на то, что Москва уже поторапливала, не скупилась на телеграммы.

— Пусть столица не нервничает, — успокаивал меня Монгуш. — Антология нужна? Будет антология. За одну неделю? Мало-мало немножко времени, но будет и за неделю, так и передай Москве.

Снова и снова звучали стихи, разгорались ссоры, шелестела бумага, скрипели перья, стрекотала «Эрика», на которую кое-кто из хозяев посматривал с завистью, в том числе и самый старый.

— Я могу вам подарить, папаша, это чудо двадцатого века. Вот напечатаем все, что надо, и подарю. Хотите?

— Спасибо, не надо, — он протянул вперед собранные в коричневую горстку неразгибающиеся пальцы. — Эрко подари — он на ней полное собрание своих сочинений отстукает. Отстукаешь?

Парень смутился. Я сказал:

— Закончим труды, и машинка твоя, Эрко. Только с условием, чтоб выдал когда-нибудь все сто томов своих партийных книжек. Согласен?

— Сто, пожалуй, не осилю, — засмеялся Эрко, обрадовавшийся тому, что все оборачивалось шуткой. — Девяносто девять в самый раз будет.

Мне и в самом деле вдруг захотелось оставить Эрко на память машинку, объездившую со мною полсвета. Парень талантливый, серьезный, стихи его о Саянском перевале, о вершинах, о сходе снежных лавин поразили меня своей подлинностью — в каждой строке их так и слышался грохот весенних снегов, тронувшихся с заоблачных круч в низины.

— Непонятно одно, Эрко, — сказал я ему как-то, когда мы остались вдвоем; — снежный обвал — хорошо это или плохо? Ты его воспеваешь, а в моем представлении обвал — стихийное бедствие.

— В общем-то так, — согласился Эрко, — но картина какая! Вершины просыпаются ото сна, становятся еще выше.

Я честно признался, что мне, горожанину, трудно такое понять, но стихи получились, на антологию «тянут», только я бы, например, предпочел обвал наблюдать откуда-нибудь издалека.

— Со смотровой площадки? — засмеялся Эрко.

— Или по телику, — ответил я.

— Но человек, который отснимет такую пленку, должен быть в центре события, согласны? В самом центре.

С этим спорить было нельзя. Я и не спорил. Мне все больше нравились люди, с которыми меня свела судьба, — мужественные, спокойные, волевые. И уже с грустью думалось о том, что вот еще несколько дней — и нам придется расстаться.

Я уже испытывал необходимость подарить парню машинку, не знал только, как деликатнее это сделать. Северяне народ гордый, самолюбивый.

Все, впрочем, обошлось как нельзя лучше. Окончание нашей работы совпало с днем рождения Эрко — тут я уж под двойной праздник получил право сделать подарок. Мы были приглашены на торжество всей нашей бригадой во главе с Монгушем, все эти дни лечившим и вылечившим меня от ангины.

Семья именинника оказалась небольшой — он и жена его Ольга, очаровательное зеленоглазое существо. Я повеселел сразу, как перешагнул порог этого дома. Подумалось: если замечая, какой цвет глаз у молодой женщины, — стало быть, здоров, совершенно здоров! Не скрывая, чистосердечно признался в этом всем собравшимся, в первую очередь, конечно, Эрко, точнее —

Эрику, как называла его Оля. Гости и хозяева в ответ на мою откровенность дружно расхохотались. Громче всех новорожденный заливался. По всему было видно, как рад он, когда кто-нибудь замечает, как прелестна его жена. Она и в самом деле была красавицей, способной покорить сердце любого мужчины, — стройная, женственная во всех движениях, а от глаз вообще невозможно было оторваться. Узкие, чуть лукавые, они полыхали глубоким зеленым огнем. Полыхали без всякого кокетства — просто от молодости, от самой возможности жить на свете, от счастья ждать ребенка (это ни для кого уже не могло быть секретом, хотя каждая складочка широкого платья Оли старалась бдительно нести стражу семейной тайны). Хозяйкой Оля тоже оказалась отличной. На столе было множество диковинных, благоухающих блюд. У меня снова запершило в горле. Теперь, слава богу, не от ангины.

Пришедшие с шутками-прибаутками стали вручать имениннику подарки. За охотничий нож с него требовали двадцать копеек. Огромные рукавицы из нерпичьего меха виновника торжества заставили тут же надеть, и парень вынужден был подчиниться. Посчитав момент самым подходящим, я решительно извлек из портфеля свой подарок.

— А эта «Эрика» специально для Эрика! Полное собрание сочинений за тобой, учти. В ста томах. Начни со стихов о вершинах, которые весной расправляют плечи.

— Вам правда понравилось? — смутившись, спросил счастливый именинник.

Услышав, как хвалят стихи мужа, Оля вышла из комнаты.

Ее несердитым окриком воротил Монгуш:

— Куда ж ты, хозяйка? Иди сюда и слушай! Я тоже скажу: про горы хорошо.

Оля покорно вернулась, села на свое место. Лицо ее пылало. Старик подливал масла в огонь:

— У него еще про любовь неплохо. Про зеленоглазую одну, красивую такую. Про кого бы это он мог написать, а? Он и сам ведь красив, так все у нас говорят. Ты за ним мало-мало поглядывай, женушка, в оба смотри.

— От этого Эрика среди женщин истерика! — лихо срифмовал кто-то из молодых.

Долго ли, коротко ли продолжалось веселое наше пиршество, вечер пролетел, как мне кажется сейчас, слишком быстро. И дело вовсе не в соленьях-вареньях, которых было великое множество. В атмосфере, царившей в доме. Хотя и яства были отменными, необычайно вкусными. С одним из них вышло, правда, у меня осложнение. Сквозь дымок, густо клубившийся из трубок всех систем и калибров, в комнату выплыла вдруг торжественно несомая Олей запеченная голова молодого барашка — с черной сморщенной мордочкой, с обуглившимися, искривленными от огня рогами. Сам вид этого блюда, рассчитанного, как я понял, на самых завзятых гурманов, привел меня в смущение. Я баранину не люблю с детства и не ем ни под каким соусом, а тут еще в таком варианте...

Не притронусь, решил я и откровенно перевел взгляд на закуски, мною уже проверенные. Но Оля подошла сразу именно ко мне, остановилась и ждала. Сосед шепнул мне, что отказываться ни в коем случае нельзя, — гостю, приехавшему издалека, полагается съесть первый кусок, только после этого лакомство может пойти по кругу. Оля ждала, ждали все, я медлил, пытаюсь взять себя в руки, не обидеть хозяйку, гордую своим кулинарным искусством. Прошла минута-другая, прежде чем я наконец отважился. Отрезал и положил за щеку тонкий, как лимонная долька, ломтик. Сосед подбодрил меня уже не шепотом, громко. Баранья голова поплыла дальше, я провожал ее глазами, боясь, как бы она не дошла до нашей половины стола по второму заходу.

— Правда вкусно? — спросил сосед. — Ничего нет вкусней на свете!

Вместо ответа я жестом показал ему, чтоб поскорее плеснул мне вина из «вон той» квадратной, большой как аквариум бутылки.

«Ну теперь тебе уже ничего не страшно в этих горах. Молодец!» — похвалил я сам себя.

Потом, после нашего торжества, я не раз вспоминал эту фразу. Горы есть горы. Бывают испытания, оказалось, и посложнее.

Когда пиршество подходило к концу, Эрик подсел ко мне и с заговорщическим видом сказал:

— Все уйдут, вы останетесь. Идея есть. Вот такая! — Он, наклонившись к самому моему уху, перешел на шепот: — Ангина кончилась? Совсем?

— Как не бывало! — твердо, но тоже почему-то шепотом ответил я.

— Работа сделана?

— Общими силами. Утром даю телеграмму в Москву. Пусть не волнуются.

— Завтра суббота?

— Суббота, кажется.

— Не кажется — совершенно точно. А послезавтра?

— Вроде бы воскресный день, а ты как считаешь?

— Я такого же мнения. Так вот в чем идея, слушайте. Человек имеет право на отдых, согласны?

Я все еще не мог догадаться, к чему клонит Эрко, а он клонил к чему-то чрезвычайно заманчивому, только слишком медленно:

— Пробыли целую неделю в Туве и Тувы не видели, это порядок, да? Что увезете с собой? Сувениры? Это, как сказал бы наш мудрый Монгуш, совсем очень мало.

— Так что ж предлагается конкретно? — спросил я.

— Надо походить на лыжах в горах. Вот! Хотя бы совсем мало-мало, но походить, — Эрко еще раз ввернул словцо старика. — На размышление — ночь.

— Ночь на то, чтобы спать, особенно после того как целую неделю вкалывали как чертики. Я сейчас тебе твердый ответ даю: согласен! А когда выходим?

— Утром. Чем раньше, тем лучше, конечно. Вы ведь умеете, как я заметил, рано вставать?

— И поздно ложиться, как ты, может быть, тоже заметил.

— Тогда по рукам! — громко воскликнул Эрко, довольный результатами наших переговоров.

— О чем это вы там? — спросил сидевший против нас Монгуш.

— О Туве, конечно, — не соврал, но и не сказал правду Эрко.

Он явно не хотел, чтобы кто-нибудь кроме нас с ним знал о нашем плане. Мало ли кто помешать может: старик, например. Заявит, что ангина штука коварная. И будет по-своему прав, разумеется. Кто-нибудь почитает, что оттепель еще не наступила. И в том тоже свой резон будет. Словом, уговор наш был совершенно конфиденциальным, но нерушимым. Решено было только Олю поставить в известность, и то в самый последний момент.

Мы поднялись, когда было еще совсем темно. Эрко быстро подобрал мне в кладовочке обувь, лыжи и прочее снаряжение, экипировал меня так, будто мы собрались на Северный полюс. Даже рюкзак откуда-то раздобыл — в него было положено многое из того, чем лакомились во время вчерашнего пиршества.

— На всякий случай, — перехватив мой удивленный взгляд, объяснил Эрко. — Горы есть горы.

Вышедшая на поднятый нами шум Оля заспанным голосом не то повелевала, не то упрашивала:

— Обязательно термос возьмите, термос! Вот он, с вечера еще приготовила. И дробовичок. Я почему-то так и знала, что без лыжного похода Эрик вас все равно не отпустит. Он все время в горы рвется, а тут такой случай! Но помните, день еще короткий, далеко не забирайтесь.

— К вечеру будем! — весело пообещал Эрко, и мы вышли из дома.

Светало. Точнее сказать — вот-вот должен был забрезжить рассвет: он был уже совсем рядом, от него отделяли нас только горы, вплотную подступившие к городу. Горы, в которые лежал наш путь и которые уже манили меня своим величием. Просто притягивали. Не случайно они и похожи-то были на подкову магнита — я это еще в день прилета заметил, на вираже при заходе на посадку. Сказал об этом Эрко, он засмеялся:

— Конечно, магнит. И еще какой! Только, чур, не смеяться — сам я о горах этих больше мечтаю, поверите? То техникум, то армия, то семья, то работа... Сегодня надо наверстать упущенное. Вы тоже будете рады, вот увидите.

— Я уже рад, Эрко. Красотища-то какая! А как дышится! Из-за проклятой этой ангины столько дней взаперти просидеть, а!.. Веди меня куда хочешь!

Сделав первые глотки чуть кисловатого на вкус, бодрящего морозного воздуха, я почувствовал себя более чем выздоровевшим, никогда в жизни ничем не болевшим и по-настоящему понял, какую блестящую идею подал Эрко и как я правильно сделал, что согласился.

Оценив мой энтузиазм, Эрко решил быть откровенным:

— Раз вы не новичок в снегах, я предлагаю такой маршрут: Кызыл — Облепиховый лес — Кызыл. Согласны?

— Тут же кругом облепиха, куда ни пойдешь, — счел уместным я щегольнуть эрудицией.

— Правильно, облепиха кругом, почти вдоль каждой горной дороги, — подтвердил Эрко. — Но мне хочется с вами именно до того леса дойти, обязательно до того самого.

— В том лесу облепиха, очевидно, особенная? — догадался я.

— В том-то и дело! — воскликнул Эрко и решительно вонзил палки в резко скрипнувший снег, приготовившись торить лыжню. — Путь, однако, не ближний, учтите.

— Сколько кмэ приблизительно? — все в той же полусерьезной-полувеселой интонации поинтересовался я.

— Врать не буду, не считал никогда, да и был я там давно, — сознался Эрко. — Но к вечеру вернемся, не беспокойтесь. В горах — я дома.

Я и не беспокоился. Покорно, не отставая ни на шаг, шел по лыжне, прокладываемой гигантом Эрко. Он делал свое дело мастерски, как наш командир, бывало, любивший повторять во время лыжных походов, что строго параллельные линии тем и отличаются от всех прочих, что никогда не сходятся и не расходятся. Я шел за Эрко, с завистью изучая геометрию оставляемых им следов. Именно с завистью. Только очень опытный лыжник владеет таким искусством. Владел им наш командир. Владеет Эрко. Мне оставалось тянуться изо всех сил, школу свою солдатскую не посрамить. Я и не срамил, по-моему. Первых полтора или два часа, по крайней мере, пока не добрались до предгорья с густым колючим подлеском, где пришлось продираться через бесконечные кусты, каждая хворостина которых больно секла меня по рукам, так что даже сквозь меховые варежки чувствовались эти удары. Что касается лыжни, то я ее уже не столько видел, сколько угадывал, отворачивая лицо от лезущих навстречу прутьев.

— Тут мало-мало трудней будет, — обернувшись, крикнул мне Эрко, — но ничего, дальше лес пойдет, там просторнее станет!

— Облепиховый? — спросил я.

Эрко хохотнул и даже остановился, подождал меня.

— Устали уже, да?

Я бодро ответил, что совсем не устал, просто мне интересно, далеко ли еще до цели.

— Значит, устали, — вздохнул Эрко. — Давайте первый привал делать. Не замерзли?

— Уж что не замерз, так это совершенно точно, — не покрывив душой, сознался я. — С меня семь потов сошло.

— А нос белый у кого? — Эрко подошел ко мне вплотную. — Быстро оттирать надо! Дайте помощь.

Он снял рукавицы, зачерпнул пригоршней снег. Я обиделся:

— Ты за кого меня считаешь? На себя посмотри!

Эрко спокойно сказал:

— День, однако, морозный будет. — Он приложил горстку снега к своему лицу и стал делать движения, которые сперва было рассмешили меня.

Я все же последовал примеру более опытного человека и вскоре почувствовал, как щеки мои полыхнули огнем.

— Вот теперь смейтесь сколько угодно. Вы стали на нормального человека похожи, — не без ехидства сказал Эрко.

— Ты тоже, — как можно более деликатно ответил я.

Тут уж мы действительно расхохотались. Глянул бы кто-нибудь на нас в эти минуты! Краснощекие, красноносые, мы стояли друг перед другом и не могли унять хохота. Чему мы радовались? У каждого своя была причина. Эрко был, конечно, доволен собой — не допустил того, чтобы гость его на ходу превратился в сосульку. Я в общем и целом тоже не сплеховал: вовремя предупредил обморожение, и у кого? У местного жителя! Это тоже что-нибудь да значит. Квиты, одним словом. На равных пока. Эрко был рад, кажется, и этому тоже — молодой не хотел показывать своего превосходства над старшим. Заметив в парне эту черту, я подумал: с таким не пропадешь. Да и почему, собственно, пропадать? Все идет нормально, по заранее обдуманному плану, подумал я. Так и есть. Эрко деловито расстегнул ляпочки рюкзака, освободил плечи от ремней, деловито сказал:

— Привал будем делать малый. Но закусить надо — в дороге всегда на еду тянет. Вы заметили?

— Так это же в поезде, Эрко. Как только сели — так за еду.

— В горах еще больше. И мы, кстати, не только сели. Давайте так договоримся: через каждые два часа — привал и заправка горючим.

Теперь я наконец более или менее точно представил себе, какой нам предстоит «кончик». Но вида, конечно, не подал.

— Через каждые так через каждые.

Эрко посмотрел на меня испытующе и морально-политическим состоянием моим, кажется, остался доволен. Я и сам придраться к себе пока не мог.

Подзакусив, мы тронулись дальше. Лыжня теперь то вертелась передо мной как змея, то переходила в частую «лесенку». Мы вступили в полосу горного леса. Двигаться стало и легче, и труднее. Ветки уже не секли по лицу и рукам, но гора все круче начала набирать высоту, как оторвавшийся от взлетной полосы самолет. Через некоторое время я почувствовал одышку, но опять вида не подал. Растренированность, решил я и пошел чуть медленнее. Эрко тут же среагировал и тоже сбавил шаг. В какое-то мгновение я заметил, что и он дышит уже не так легко, как вначале. Опять квиты, констатировал я, опять на равных.

Скрывая друг от друга усталость, мы продолжали свой марш. Эрко, однако, все чаще стал оборачиваться в мою сторону. Меня это начинало злить. В один из таких моментов я крикнул ему:

— Ты лучше бы вперед смотрел! Заплутаем, не вернемся засветло.

Эрко остановился.

— Я вам, кажется, говорил уже — в горах я дома. Говорил?

— Говорить-то говорил, но на компас стал почему-то поглядывать. Мы вот по Москве без компаса шагаем, и ничего, находим дорогу.

— Есть москвичи, которые от старого Арбата до нового без провожатого не дойдут.

— А ты столицу неплохо знаешь, оказывается! — не без удивления заметил я.

— Армейскую службу под Москвой проходил. Там меня компасом и премировали.

— Почему именно компасом? — спросил я без всякой задней мысли.

Эрко, очевидно, слышалась провокационность в моем вопросе.

— Да не собьемся мы с азимута, не волнуйтесь, не собьемся. Еще два часа прошло?

— Прошло по моим.

— Ну и отлично. Давайте еще один привал делать. Теперь уже не малый — побольше. Пообедаем.

Мы выпотрошили сброшенный с плеч Эрко рюкзак. Среди всего прочего обнаружили провиант, которого Эрко вроде бы не брал с собой.

— Хорошая у меня жена! — воскликнул он. — Ай, хорошая! Даже витамин не забыла.

— Какой же это витамин? — удивился я, подбрасывая на ладони мелко нарезанные кусочки смерзшегося мяса.

— Витамин, — повторил Эрко. — ВБ называется. Я сказал, что впервые слышу про такой.

— Вяленая баранина. Чем больше человек съест, тем быстрее одолеет дорогу. Только есть надо много и вот так, смотрите.

Эрко, запрокинув голову, показал, как именно надо есть витамин ВБ. Я покорно послушался и уже через несколько минут почувствовал, что силенки во мне, оказывается, еще имеются, не все израсходованы.

— Теперь до Облепихового и обратно хватит. В оба конца, — уверенно заявил я. — Как считаешь?

— Расчет правильный, — согласился Эрко. — В оба конца. Только надо теперь нажимать на педали. Вьюга скоро начнется, чувствуете? Лыжню занесет, заносит уже. Держитесь за мною поближе.

Я пообещал, что не отстану ни на шаг, и мы тронулись дальше. Вьюга, о которой предупредил Эрко и приближенья которой я сперва не заметил, через каких-нибудь полчаса действительно началась. Больше того — с каждой минутой она раскручивалась все сильнее, все яростней.

— В горах так бывает, — постарался подбодрить меня Эрко. — Ничего, ничего — и вдруг...

Я предложил укрыться куда-нибудь:

— Вон хотя бы за ту скалу, видишь?

— А вы, оказывается, совсем горец уже — ориентируетесь правильно. За той скалой сразу другая стоит, между ними — расщелина. Там и переждем.

Через десяток минут мы в самом деле оказались в узком проеме между двумя скалами. Мимо него ве-

тер проскакивал; не успев завернуть, мы получили возможность перевести дух и подумать. Я спросил Эрко: надо ли продолжать путь дальше? Не лучше ли воротиться, пока не поздно? Какую часть дороги прошли? Какая осталась? Сколько километров, хотя бы приблизительно, от этого места до Облепихового леса? И вообще, почему мы должны дойти именно до него?

Эрко, прежде чем ответить, помолчал.

— В том лесу во время войны мы, мальчишки, собирали облепиху для раненых. Многим жизнь спасли. Я думал, вам интересно будет. Там, говорят, мраморная доска поставлена.

Мне стало стыдно за мое малодушие, я сказал, что до Облепихового леса мы дойдем, чего бы нам это ни стоило.

Эрко, кажется, оценил мой порыв.

— Я зря не потащил бы вас в такую даль. Хорошо, что вы не ругаете меня.

— Конечно, не ругаю! Мы должны, просто обязаны продолжить наш поход, как только поутихнет эта чертова вьюга.

Эрко, помолчав еще немного, мрачно сказал:

— Если поутихнет...

— Как это? — не понял я. — Она что, долго бушевать может?

— Сколько захочет. В горах так бывает. Ничего, ничего — и вдруг как налетит! Потом опять ничего. Если не кончится через час, придется назад поворачивать.

— Ты что! — запротестовал я. — Когда еще попаду в эти края? Меня ж самого в госпитале облепихой лечили — от ран и от язвы какой-то особенной. И не меня одного. Парень рядом со мной лежал. Безнадегой считали. И что же ты думаешь? Через месяц в маршевую отправился! А здесь Монгуш меня разве не облепихой вы́ходил? Облепиховым маслом. Я вкус его с военной поры помню. Мне перед самим собой будет стыдно, если не дойдем.

Эрко послушал меня, послушал и говорит:

— Схожу, проверю, как там дела.

Он, выкарабкавшись из нашего укрытия, сразу же крикнул:

— Стихает вроде бы, дает нам передышку!..

Я выскочил следом. Эрко пообещал:

— Теперь дело веселей пойдет — крутых подъемов больше не будет. Силенки у нас еще имеются?

Это «у нас» относилось, конечно, ко мне одному, но я не обиделся. Остались, говорю, и про обратный путь найдутся. Давай жми!

Мы не шли — мчались сломя голову. Опять, правда, нарвались на уже испробованные мною колючие заросли, попали под хлесткие их удары. Эрко как-то ловко от них увертывался, пытался меня на ходу учить, как это следует делать, но тут уж было не до ученья.

Примерно через четверть часа я услышал крик вырвавшегося далеко вперед Эрко:

— Узнал, узнал! Скорей сюда!

— Что узнал? — догнав его, спросил я.

— Узнал поляну вот эту! Теперь мне дорога ясна, не заблудимся!

— Теперь? — удивился я. — А до этого?

— Вам честно сказать? — виновато спросил мой проводник.

— Как считаешь нужным, так и скажи, — ответил я.

— Сбился я раза три уже. Не был тут сто лет, вот и морочил вам голову. Но теперь все в полном порядке. Через час будем на месте.

Так бы оно и было, наверно. Но горы есть горы. Эрко сам, может быть, не знал, в какой степени прав.

Вьюга оставила нас ненадолго. Облетела свои владенья, и снова оказались мы в ее эпицентре. Было такое ощущение, что она только брала разгон, когда заставила нас укрыться в расщелине. Теперь раскрутилась на полную мощь. Тренировка кончилась, началась игра — силовая, жесткая, бескомпромиссная. Игра, по сути, в одни ворота. Два измученных, теряющих силы путника — и взбесившаяся стихия.

Пришлось делать еще один привал. Незапланированный.

— Хорошо! — в полном разладе с логикой прорычал Эрко.

— Куда уж лучше! — рыкнул в ответ я. — Так хорошо еще не было за весь день.

— Ну, во-первых, день еще не весь...

— Во-вторых? — мрачно перебил я.

— Во-вторых, снег и ветер сметают с гор сильный мороз. Начинается оттепель.

— Врешь ты все, Эрик! — Я нарочно назвал его по-домашнему, чтоб не сбивать настроения. — Меня успокаиваешь и себя заодно. Так вот, не надо, Эрик,

прошу тебя, не трать времени попусту. День не весь еще, верно, но больше половины прошло. Может, все-таки на сто восемьдесят?

— Нет! — сказал Эрко решительно.

— Ну тогда одна дорога — вперед! — попробовал я найти единственно верный выход из создавшейся ситуации. — Согласен?

— Согласен, только... — Эрик замялся.

— Какое еще «только»? — не без раздражения воскликнул я. — Выкладывай уж все до кончика.

— Опять честно?

— Если можно.

— Не пойму я что-то, где перед, где не перед.

— Ничего себе проводничок! Куда же ты смотришь?

Эрко встрепенулся, но не обиделся, промолчал. Я выругал себя за нервозность. Легче от этого мне почему-то не стало.

— Как твой нос? — спросил я, чтобы как-то смягчить свою вспышку.

— На месте, — как ни в чем не бывало ответил Эрко, желая, конечно, дать мне почувствовать — понял мое состояние как надо. — А ваши щеки?

— А шут их разберет! Не о них теперь думать надо.

Эрко согласился: есть заботы и поважнее, но щеки, и даже руки, и даже ноги мои все же обследовал лично и обследованием тем остался в общем и целом доволен, только заставил меня еще раз умыться снегом. Я в долгу не остался, потребовал, чтоб и он сделал то же самое. После этой операции я сказал:

— В горах ты — дома. Твое слово, Эрко. — Сказал, разумеется, не без ехидства.

Но он опять не обиделся, даже повеселел немного.

— Вот вы смеетесь надо мной, а я в горах действительно дома. Только редко бываю тут. А вы в Москве часто? Тоже все больше в разъездах. Верно говорю?

— Верно, но ты шевели мозгами, а то мы тут околеем с тобой.

Эрко с минуту помолчал, потом твердо заявил:

— Не околеем. Стихает опять, чувствуете?

Ветер в самом деле вроде бы поослаб. Похоже было на то, что метель по кольцу ходит. Нашла себе удобное русло меж гор и вертится по нему как заводная.

— У всякой метели свой характер, свой нрав, — авторитетно заметил Эрко, — как, например, у тайфунов в Атлантике. Метелям тоже, по-моему, имена мож-

но давать. Я бы эту Беркутом назвал. Так беркут над зайцем кружит, прицеливается.

Я в ответ невесело рассмеялся:

— Кто же мы с тобой? Зайцы беспомощные.

Эрко тоже хохотнул, но совсем не так мрачно, как я.

— Нет, нет, вы не так меня поняли. Раз разгадали ее маневр, какие же мы зайцы? Мы, мы...

Эрко искал подходящее слово. Я, заслоняясь от порывов ветра, ждал, что придумает мой спутник себе и мне в утешенье. Может, в самом деле какой-то выход найдет?

Впрочем, честно сказать, никаких иллюзий у меня на этот счет не было. Короткий зимний день заканчивался. Я мысленно подводил невеселые его итоги. До цели мы, конечно, не дойдем. Да и так ли уж необходимо поглазеть на холодную мраморную доску в Облепиховом лесу? Ее небось доверху занесло снегами, как заносит нас в эти минуты. За последнюю эту мысль я тут же, надо отдать мне должное, стал сам себя беспощадно ругать. «Малодушный», «неблагодарный», «трусливый» — были в той ругани далеко не самые выразительные слова. Под вой ветра срывалось с моих губ кое-что и гораздо более откровенно самокритичное. Один из образчиков этой изящной словесности рассердил Эрко:

— Только в панику вдаваться не надо, прошу вас. Эрко завел, Эрко и выведет.

— Эрко в горах — дома, — снова невесело пошутил я над своим проводником.

— Дома, — услышал я очередное, невозмутимо спокойное. — До-ма! А раз так, кушать надо немножко, да?

— Ты же сказал, метель дает нам передышку. Давай поскорее двигать отсюда!

— Быстро покушаем, — повторил Эрко безапелляционно, — сразу тронемся. Без горючего нам скорости не хватит.

Он решительно еще раз освободился от своего рюкзака, и тут я почувствовал, до какой степени голоден. Заглатывал остатки нашего провианта, не разжевывая, торопясь, но и в спешке успел подумать: какая вчера прекрасная баранья голова была! Только чудики горожане, вроде меня, не могут оценить по достоинству всех прелестей национальной кухни. Особенно вкусным показался тот спекшийся кусочек, который я по-

ложил за щеку, запил вином, но так и не проглотил, слукавил перед хозяйкой.

Рассказать об этом Эрко или нет? Расскажу, пожалуй. И рассказал. Даже о том, как непрожеванное мясо незаметно изо рта вынул.

— И положил, куда бы ты думал? В горшок с фикусом.

Узкие глаза Эрко стали еще уже.

— Ну ты даешь!..

Я насторожился: слышалось мне или он действительно меня на «ты» назвал? Вроде бы не слышалось. Хорошо, очень хорошо, решил я. На брудершафт мы с ним пока не пили, и неизвестно, выпьем ли, а первое «ты» уже есть. У тувинцев, как, впрочем, не только у них, это признак особого расположения. И мне, конечно, захотелось услышать слово это еще раз, причем немедленно. Я задал какой-то незначительный вопрос, Эрко не успел ответить: в горах, недалеко от нас, — вернее, над нами — что-то загудело, заухало — не очень громко, но отчетливо и тревожно. Эрко насторожился, резко закинул рюкзак за плечо и, увлекая меня за собой, бросился в сторону.

— Живей, живей!.. — кричал он, но меня поторапливать было не нужно.

Мы не разбирали, куда мчимся. Сейчас важно было одно — как можно быстрее выбраться из опасной зоны, во что бы то ни стало разминуться с лавиной, зашевелившейся в высоте, приготовившейся к броску, готовой в любую секунду сорваться, а может, уже сорвавшейся вниз, набирающей силу и скорость...

III

— Повезло нам с тобой! Первый раз за весь день повезло, — сказал Эрко, когда мы, совершив бесчисленное количество фигур высшего пилотажа, забились в расщелину, очень похожую на ту, в которой недавно отсиживались во время очередного налета вьюги.

Стало в горах вдруг необыкновенно тихо, покойно. И ветер унялся, и снежная лавина застыла, — видно, зацепилась за что-нибудь.

Мы медленно приходили в себя, потирая ушибленные места, приводя в порядок свою амуницию, свои мысли и чувства. Первое, о чем я подумал, были

слова Эрко «за весь день». Я не мог пропустить их мимо ушей. Совсем недавно он убеждал меня, что до конца дня далеко еще, теперь вдруг пошел на попятную. Впрочем, какое, к лешему, «вдруг»? Имеющий уши слышит, имеющий очи видит. От вьюги ушли, от лавины схоронились, от темноты куда денешься? Короткий зимний день был на самом излете, предупреждал нас, торопил, не давал передышки. Закрутили нас, заморочили эти горы. В довершение ко всему пошел снег — крупный, густой. Стало темнеть — быстро и бесповоротно. Эрко сделал еще одну попытку прийти к оптимистическому заключению:

— Я говорил тебе, потеплеет, и потеплело.

— Снег и ветер мороз с гор сметают? — напомнил я Эрко его формулу.

— Точно! Сметают. Сейчас двадцать, не больше...

— Допустим, — поддержал я его.

— Значит, не замерзнем. — Он постучал рукавицей о рукавицу. — А что все-таки делать будем? Думать надо. Эрко все время думает.

Прямолинейность его обезоруживала и обескураживала одновременно.

Эрко еще разок постучал рукавицами, призывая тем самым меня последовать его примеру. Я послушался.

— Дальше что?

— Эрко предлагает шалаш строить. Валежник возьмем, да? Вот так поставим, — он сложил рукавицы домиком. — Тепло будет. Переночевку сделаем. Совсем большой привал. Потом долго вспоминать будешь, как ночь провел в горном лесу. А утром Облениховый лес найдем, он тут рядом совсем, я его носом чую. И домой засветло вернемся? да?

— Да твоя Оля сейчас небось с ума сходит, — полувозразил-полусогласился я.

— Не сходит. Она знает, Эрко никуда не денется. Вот за тебя, наверно, волнуется, и мне попадет, это точно.

Я спорить не стал.

Эрко снова удовлетворенно хлопнул рукавицами. Через минуту-другую он уже вовсю шуровал в залежах занесенного снегом валежника. Я стал, как мог, помогать ему. Он решительно поддержал:

— Давай, давай, на всю ночь разогреешься. А я еще огонь распалю.

План был в общем и целом приемлемый и потому начал осуществляться. Во всяком случае, строительного материала натащили на три шалаша и на добрый десяток костров. Скоро нам стало не то что тепло — жарко. А Эрко, однако, все не мог остановиться.

— Как это у вас говорят: запас карман не рвет, а?

— Не тянет.

— Правильно. Давай подналяжем еще. Снег вон редеть начал, вон там луна пробивается, скоро снова начнет холодать.

Он показал мне в ту сторону неба, где, по его расчетам, должен был прорезаться лунный диск. Я внимательно поглядел вверх, но ничего рассмотреть не мог. А Эрко все смотрел и смотрел куда-то вдаль, на склон горы, и вдруг напрягся, замер в настороженной позе, вытянулся во весь свой гигантский рост.

— Чуешь?.. — спросил. — Или нет?

— Что «чуешь»? — не понял я.

— Дымком потянуло...

— Каким дымком? Ты что?

— Дымком, дымком! — упрямо повторил Эрко.

Он сбросил лыжи и одним махом взлетел на ствол полуповаленного дерева, как на лестницу. Я слышал, как хрустели сухие ветви, за которые он хватался, чтоб не упасть.

Через несколько мгновений услышал радостный крик:

— И огонь, и огонь!..

В ту же секунду я оказался рядом с Эрко, на его «смотровой площадке». Он, взяв меня за плечи, постарался как можно более точно навести на цель. Мои глаза слезились от ветра, но вот сквозь слезы, как через линзы, передо мной вдалеке в самом деле раза два сверкнула полоса света. Яркая, манящая. Сверкнула и исчезла. И, сколько я ни всматривался, больше не появлялась...

А Эрко твердил свое:

— Дым! Огонь! Вперед!..

Ломая лыжи, теряя палки, продираясь сквозь колючую проволоку встающих на пути кустов, рванулись мы в ту сторону леса, откуда поманило нас огнем и дымом.

На бегу я думал: почудилось, померещилось. Ни дымка, ни огня впереди, конечно, не было. Мираж, галлюцинация, плод воображения уставших, измотан-

ных людей. Уставших, измотанных, но духом все же не павших, подбадривал я себя, чтобы не отстать от Эрко. Он, боясь потерять меня, торопил:

— Быстрее, живей!

Хриплые крики Эрко вселяли в меня уже не надежду — унынье. Не дай бог, думал я, простынут легкие у моего напарника. Вот тогда позагораем мы тут, так позагораем! Я окликнул его, попробовал урезонить, настоять, чтоб мы вернулись к валежнику и построили шалаш. Эрко слышал и не слышал. Голос его, поторапливавший меня, то удалялся, то возникал совсем близко. Из груди Эрко стал вырываться уже не хрип — чуть ли не лай. Я в недоумение остановился. затаил дыханье, прислушался. Что это? Опять померещилось? Еще один мираж? Еще одна галлюцинация? Нет, не померещилось, не мираж, не почудилось, не галлюцинация. Возгласы Эрко — хриплые, резкие — доносились до меня вперемешку с хриплым лаем собак... Я стал ломиться через кусты с новой силой. Через минуту-другую до меня долетели женские сердитые крики:

— Да кыш, кыш вы! Я вас!..

Исчезнувшая из моих «линз» полоса света снова возникла в них вдруг с такой отчетливостью, что сомнений больше быть не могло: мы у жилья! Горьковатый глоток ворвался наконец и в мою грудь и сладко растаял там.

На ярком экране желтого света замелькали передо мной две человеческие фигуры — гиганта Эрко, отбивавшегося от доброго десятка собак, и женщины, тоже рослой, с огромной палкой в руках, продолжавшей командовать:

— Пошли на место! Пошли!

Женщина, уgomонив собак и оглядев нас внимательно, поняла самое главное: заблудились люди, замерзли, устали, на ногах еле держатся.

— Давайте в дом! — сказала решительно.

Нас, меня особенно, уговаривать долго не пришлось. Мы вошли, точнее сказать — вползли, потому что дом был не совсем обычный. Только осмотревшись как следует, я понял — мы в войлочной юрте, доверху занесенной снегами. В юрте с узким входом, задернутым шкурой, с небольшим круглым отверстием вверху,

с огнем, полыхавшим посередине и отбрасывавшим вокруг зыбкий свет.

Усадив нас у огня, хозяйка, ни о чем не расспрашивая, стала в затененном углу греметь какой-то посудой. Я, сняв рукавицы, вытянув руки к языкам пламени, посмотрел на Эрко. По усталым, глубоко впавшим щекам его бродила едва различимая улыбка, обветренные губы слегка шевелились. Мне показалось: еще мгновение — он скажет: «В горах — я дома». Но на сей раз не сказал, не успел просто — женщина шагнула к нам, поднесла каждому по глиняной пиале: сперва мне, потом Эрко.

Эрко выпил сразу. Я, попробовав, медлил. Непонятного вкуса жидкость остро обожгла мне язык.

— Пей! — приказал Эрко. — Горный чай из овечьего молока. Ну, присоленный немного, ну и что? Мертвых на ноги подымает.

Я, зажмурившись, осушил свою посудину. Хозяйка тут же налила по второй. Эрко снова выпил. Я жестом показал, что больше не могу.

— Ты что? — шепнул Эрко. — На тебе же лица нет! Пей!

Я покорно пригубил пиалу.

Хозяйка между тем продолжала хлопотать вокруг нас. На смену чаю пришел густой духовитый суп в курбатых горшочках.

— Ешь! — подтолкнул меня Эрко. — Тут так водится — сперва чай, потом обед, потом опять чай.

Я больше не сопротивлялся. Суп есть суп, что может быть вкуснее супа? Особенно если намерзся или устал до чертиков, если ноги и руки твои гудят и все до единого мускула пощады просят. А тут все завязалось в один узел — и «просят», и «гудят», и «до чертиков».

Мы ели за обе, верней, за четыре щеки, поглядывая то друг на друга, то на приютившую нас женщину. Она, не переставая угощать, села напротив, пошевелила угли кочережкой, подбросила свежих дровец в огонь, чтоб теплей и светлее было, снова смерила нас озадаченным взглядом. Рассмотрев как следует нежданных пришельцев, к определенному выводу, судя по всему, не пришла. Отделенные от нее костром, мы были хитроумной загадкой, подброшенной вьюгой. По всему чувствовалось, ее так и подмывало спросить — кто такие? Как занесло вас сюда в такую пору?

Оборванные, изможденные — на кого мы были в те минуты похожи? На Эрко недоуменных взглядов приходилось меньше. Широкоскулое, с узким разрезом глаз лицо его особого удивления, кажется, не вызывало. Меня же черные глаза хозяйки изучали гораздо более пристально. Расспрашивать нас, однако, она пока не считала удобным. Решила сама представиться, тем более что и мы изучающе поглядывали на нашу спасительницу. Кто такая? Что делает тут одна зимой? Зачем столько собак содержит? Все это было для меня, по крайней мере, головоломкой.

Но чудес, если разобраться как следует, в мире в общем-то немного бывает. Так и тут все оказалось проще простого.

— Мария Чульдумовна звать меня, — неожиданно сказала хозяйка и протянула руку над огнем — сперва мне, потом Эрко.

Первый раз слышу такое отчество, — откровенно признался я.

— Чульдумовна, — повторила она. — Мать у меня русской была, отец — тувинец. Еще о себе сказать, да?

— Скажите, пожалуйста, Мария Чульдумовна, — подал голос Эрко, — даже мне, местному, и то не все до конца понятно. У меня — наоборот: мать тувинка, отец из русских.

— А чего тут понимать-то? Пасем здесь овец колхозных. Пастухи, одним словом. Я, муж мой Шойдан и двое внуков наших, таких вот великанов, вроде тебя, — она посмотрела на Эрко. — Скоро все придут с работы. Еще чего сказать?

— Как попали сюда? — вставил и я словечко.

— Это история долгая. После войны уже, с Шойданом.

— А во время войны? — снова спросил я. — Где были?

— Во время войны — на войне, — с достоинством отозвалась Мария Чульдумовна. — На Великой Отечественной. Санинструктором в госпитале. С орденом воротилась.

— Однополчане! — Я даже вскочил с места, обрадованно протянул хозяйке еще раз свою пятерню меж языками огня. — Не пропадем, значит.

— Зачем пропадать? — повела плечами Мария Чульдумовна. — У нас в горах свой человек всегда дома.

Эрко, метнув в мою сторону торжествующий взгляд, встал рядом со мной, ждал, когда кончится долгое наше рукопожатие.

— Не обожгись, — сказала Мария Чульдумовна, обращаясь к Эрко, когда и их руки снова встретились над огнем. — У нас дрова тут знаешь какие! Сразу после каменного угля идут. Ученый один приходил, рассказывал. Да ты знаешь, вижу, но поберегись все-таки.

В этот миг одно из поленьев «выстрелило», над головой Эрко с шипеньем пролетела колючая трассирующая искра. Он успел с шуткой увернуться. Мария Чульдумовна рассмеялась:

— Вот теперь вижу, местный. — Она еще раз пошуровала кочережкой в самой середине костра.

Во все стороны юрты полетели желто-голубые звезды, оставляя за собой десятки круто изогнутых, не сразу гаснувших радуг.

— Вот так и живем, — задумчиво сказала Мария Чульдумовна. — Да что же я все о себе да о себе? Вы-то кто такие?

Я решил почему-то пока не услышать вопроса. Эрко был человеком гораздо более эмоциональным, четко отрапортовал:

— А мы, Мария Чульдумовна, писатели. Я начинающий. Он со стажем уже.

— Кто, кто? — не поняла хозяйка.

— Книжки пишем, Мария Чульдумовна, — под моим укоряющим взглядом чуть менее бодро повторил Эрко и вдруг осекся.

И, в общем-то, было отчего: после этого «рапорта» хозяйка поглядела на нас совершенно иными глазами. Они стали у нее еще более узкими, недоверчивыми. Не знаю уж, за кого она приняла нас, но слова Эрко ее чуть ли не обидели. Сразу как-то сникла, ушла в себя.

Наступила долгая неловкая пауза. Разделенные костром, мы время от времени молча посматривали друг на друга. Мария Чульдумовна, закулив трубку, нам табака не предложила, закручивала сизые кольца дыма одна. Плохой признак, решил я. То же самое подумал, конечно, и Эрко. Во всяком случае, вид у него был виноватый. И не без причины. В самом деле, чего было торопиться? Лезть, как на Украине говорят, поперед батки в пекло. Мне стало жаль Эрко, сделавшего досадную промашку. Но и Марию Чульдумовну понять было можно. Писатели? В такой глухомани?

В такую погоду? В таком виде? В такой час? По меньшей мере маловероятно. Самозванцы какие-то, проходимцы, а то и похлеще того... Леса, горы — мало ли кого сюда занесет!

Выкурив одну трубку, Мария Чульдумовна тут же начала набивать другую. И все молча, молча. И все исподлобья поглядывая на нас через пламя костра.

Сколько так могло продолжаться? Я впервые за весь этот длинный день машинально посмотрел на часы и только тут заметил — они без стекла и стрелок, белый со стертыми цифрами циферблат стал похож на бельмо. Эрко заметил это и, чтобы мне было не так обидно, сказал:

— Мои совсем сорвались где-то, — он показал мне исцарапанное, все в синяках запястье.

— Несем не только моральные, но и материальные потери, — попробовал было пошутить я.

Шутки моей Эрко не понял.

У меня возникло странное ощущение: будто время остановилось не только на моих часах — вообще. Мы застряли на какой-то мертвой точке. На какой? Надолго ли? Что нас ждет впереди? И известно ли, в самом деле, где «перед» и где «не перед»?

Мрачноватые мысли эти нарушил лай собак. Тех самых, которые чуть не разорвали нас, особенно меня, на подступах к юрте. Теперь они лаяли совсем по-иному — радостно, с повизгиваньем, очевидно приветствуя своих. Так оно и оказалось. Мария Чульдумовна поднялась со своего места, подбросила охапку поленьев в начавший тускнеть огонь, и в юрту один за другим протиснулись трое мужчин — два действительно были великанами, третий чуть поменьше, заросший широкой белой бородой. Прежде чем накормить внуков и мужа, Мария Чульдумовна мрачновато объявила им:

— У нас гости...

Все трое, смерив нас короткими взглядами, вежливо поздоровались. Старший, разгребая пальцами смерзшуюся бороду, устало спросил:

— Накормила?

— Чем богаты.

— Хорошо.

Хозяйка принялась потчевать пришедших, мы с Эрко отодвинулись было от костра, чтоб не мешать людям. Глава семейства воспротивился этому:

— Сидите, сидите, всем места хватит.

Ели пастухи проворно и много, по всему было видно — наработались вдосталь. Отара, наверно, большая, забот с нею хватает, всем четверым, даже зимой. Зимой. Зимой, может, даже больше.

Пока мужчины пили чай и шаркали деревянными ложками по стенкам глиняных горшочков, женщина расспрашивала:

— Кошару починили? Под Белым Камнем?

— До той руки еще не дошли, мать, — за всех отвечал Шойдан. — С ягнятником еле управились.

— Подиоры поставили?

— Поставили. Чуть самих не придавило. Снег все идет и идет. Что за зима нынче? Дело к весне совсем, а он валит и валит, ветер дует и дует. Сроду такого не было. Под Белым Камнем завтра все справим, если чего не случится. Слышь, собаки воют? Чуют! Сугроб навис такой на самом верху Лысого склона — того гляди, обвалится и пойдет. Ну, ладно, об этом после ужина, мать. Дай спокойно поесть. Ты лучше о гостях скажи. Кто такие?

Мария Чульдумовна медлила с ответом, непривычное слово никак не решалось слететь с ее губ.

— Ну чего ж ты? — повторил свой вопрос Шойдан. — Мы имеем полное право знать, кто у нас от вьюги хоронится. — Он посмотрел на внуков. — Так, что ли?

Те молча поддакнули.

— Сказывают, писатели, — произнесла наконец Мария Чульдумовна.

— Кто, кто?.. — приложив руку к заросшему уху, переспросил Шойдан.

— Писатели, — повторила Мария Чульдумовна. — Книжки будто бы пишут.

Опять наступило молчанье — долгое, одинаково тяжкое как для одной, так и для другой стороны.

Мария Чульдумовна вновь закурила, подбросила дров в костер. Пламя взметнулось выше, на несколько мгновений жаркой стеной совсем отделило нас от хозяев. Распаленные желтыми языками огня, лица у пастухов стали бронзовыми, непроницаемыми, как у памятников.

— Надо что-то делать, — выбрав момент, шепнул я Эрко. — Бог знает что они о нас думают.

— Документов у меня с собой нет, — вздохнул парень.

— У меня тоже. Кто ж мог подумать, что так все обернется? И все же надо как-то выкарабкиваться. И чем скорее, тем лучше. Ты поэт, тебе карты в руки.

— Не понимаю,— признался Эрко.

— Стих сочинить можешь? Хотя бы несколько строк. Все сразу бы на место встало.

Эрко растерянно поглядел на меня:

— Но ведь ни бумаги, ни карандаша...

— Ни пишущей машинки,— съязвил я.— Голова на плечах? Чего еще надо? Давай!

Эрко неуверенно, не сразу, но все-таки внял моему совету. Через какое-то время я совершенно ясно увидел — губы моего «акына» пришли в еле заметное, беззвучное движение. Высвеченные огнем продолжавшего полыхать костра, они показались мне золотыми в те минуты, просто бесценными, я не сводил с них глаз.

Хозяева же, насмотревшись на нас вдосталь, наудивлявшись ночным прищельцам, вскоре отошли от костра, принялись за свои дела, желая тем самым подчеркнуть — словам нашим не поверили. Я с терпеливой надеждой продолжал посматривать на Эрко, на шепчущие губы его. Он с закрытыми глазами, тихо раскачиваясь у огня, то беззвучно бормотал что-то, то останавливался. «Уж не засыпает ли? — испугался я.— До стихов ли ему после такого денька?»

Но «акыну» было, оказывается, до стихов. В какое-то мгновение он вдруг поднялся со своего места, попросил Марию Чульдумовну подойти к костру. Подошли все четверо, встали против нас. Эрко сказал:

— Я вот тут, Мария Чульдумовна, стих небольшой сочинил. Можно прочесть?

— Чего говоришь? — В узких глазах хозяйки сверкнуло недоумение.— Какой еще стих, ты что?

— Какой, не знаю, Мария Чульдумовна, не мне судить. Но сочинил. Прочесть можно? — повторил свой вопрос Эрко.

— Давай,— все еще не выходя из своего состояния, ответила хозяйка.

Эрко стал читать. Тихо, просто, без жестов, без модного «подвывания». Я много в своей жизни прочел стихов. Хороших, похуже, гениальных, всяких. Эти были прекрасными. Так мне, по крайней мере, тогда показалось. Про Марию Чульдумовну. Про подвиг ее

воинский. Про орден. Про труд ее, уваженья и славы достойный. Про мужа Шойдана и внуков-гигантов. Про нелегкую жизнь в горах и снегах. И все как было и есть, все непридуманное, даже имена всех четверых были названы, начиная со сложного отчества приютившей нас женщины.

Когда Эрко закончил, я посмотрел на пастухов. Они стали вдруг совершенно иными, словно оттаяли. Огонь, полыхавший меж ними и нами, сделался совершенно прозрачным, сквозь него хорошо были видны их лица — из суровых, замкнутых превратившиеся в добрые, пожалуй, даже чуть улыбчивые. И не «пожалуй» — именно улыбка привела в движение смуглые, иссеченные ветром щеки и скулы. Особенно у Марии Чульдумовны — ее невозможно было узнать. Даже незаметная слеза набежала. Быстрым движеньем смахнув ее, она попросила:

— Читай еще.

— То же самое? — спросил Эрко.

— Да. Только не быстро. Куда так торопишься?

— Я совсем медленно читал, Мария Чульдумовна.

— Читай, пожалуйста. Еще тише, пожалуйста, ладно? Непривычные мы к этому.

Эрко покорно принялся читать снова. Неторопко читал, чуть ли не по слогам выговаривая каждое слово. И все поглядывал то на Марию Чульдумовну, то на Шойдана, то на сыновей. Когда закончил, хотел, помоему, спросить Марию Чульдумовну, понравилось ли? Но вопроса задать не успел. Опередив его, она сказала:

— Читай еще один раз, а?

Эрко смутился:

— Нет, Мария Чульдумовна, больше не буду, боюсь надоесть. А если вам хоть немного пришлось по душе, как воротимся домой, отдам в газету и потом вам пришлю... на память, хотите?

Мария Чульдумовна замахала руками:

— В какую газету! Ты что? У нас в горах все друг дружку знают. Будут потом пальцем показывать. Не-ет, не пойдет это! Тебя как звать-то, писатель?

— Эрко.

— Ну вот что, Эрко. Сейчас поздно уже, а утром богатыри мои сыщут чистой бумаги — ты сними нам стишок-то. Спишешь? Только не забудь смотри, до утра еще далеко.

— Не забуду, Мария Чульдумовна. Я стихи свои наизусть помню.

— Верно он говорит?

Вопрос был обращен ко мне. Я подтвердил, что память у Эрко хорошая.

Мария Чульдумовна, отложив свою трубку, повесила над огнем чугунок, для того чтобы вскипятить свежего чаю, опять загремела посудой в своем закутке; мужчины подсели к нам поближе.

— Куда все же дорогу держите? — спросил Шойдан.

— В Облепиховый лес хотели попасть, да вьюга нас закружила, — ответил Эрко.

Муж Марии Чульдумовны понимающе закивал головой.

— В Облепиховый? Отцеда совсем рукой подать. Верст десять, не больше. Но уж больно вьюжно там, больно вьюжно. Там и раньше-то дуло днем и ночью, а после того как Дикий камень сорвался, совсем невмоготу стало.

— Про Дикий камень давно разговоры шли. Значит, упал все-таки? — удивился Эрко. — Давно?

— Давешним летом, во время грозы. Теперь ветер там как на цепи по кругу ходит. С ног сшибает.

— И все же хочу приезжему человеку, — Эрко дотронулся до моего плеча, — показать Облепиховый лес. Место историческое. А он солдат.

— Тогда конечно, — согласился пастух. — Завтра орлы мои вас проводят. Так, что ли?

Оба парня согласно кивнули.

— Думаю, порядок будет. С такими никакая вьюга не страшна. Но ежели попасть вам в Облепиховый и засветло домой воротиться, встать пораньше придется. Согласные?

— Только засветло, папаша, только засветло! — затараторил вдруг Эрко, вспомнивший, конечно, как беспокоится Оля.

— Тогда — на бок. Время позднее, всем выспаться надо, — решительно заявил глава семейства. — Мать, тащи шкуры. Что-то обратно вон завывает.

Мы инстинктивно глянули в круглое отверстие над костром и увидели, как, подсвечиваемая его пламенем, над самой нашей головой заваривалась густая каша из ветра, дыма и снега.

Сон, помню, скрутил меня сразу же, почти мгновенно. Но так же хорошо помню и другое. Где-то среди ночи услышал, как меховая полость, закрывавшая вход в жилище, затрепетала, захлопала. Приподнявшись на локтях, я увидел, как Шойдан вскочил и, побрякивая, покати́л к полости опоясанную обручами кадушку, судя по всему, очень тяжелую. Я сбросил с себя мохнатую шкуру, но пастух остановил меня:

— Справляюсь.

Ловко придавив краем кадушки нижнюю часть полости, он подбросил дров в костер. В юрте стало светло как днем.

— А где же народ? — спросил я, не обнаружив внуков Шойдана.

— Какой тебе народ? Вон Чульдумовна, вон Эрко хранака дает, вот ты да я да мы с тобой.

— А молодые?

Он ухмыльнулся полусонно:

— Молодым не сидится на месте. К соседям ушли. Скоро явятся. Тут недалече.

— К каким соседям? — удивился я.

— Ты лыжи сломал? Сломал. И Эрко твой. На чем домой топать будете? Вот за лыжами и отправились. Отоспятся завтра.

— Да вы что, папаша? — воскликнул я. — Мы бы так, как-нибудь...

— «Папаша», «папаша»... — незло передразнил меня Шойдан. — В горах «как-нибудь» не бывает. С горами не шути... — Он помолчал и добавил: — А еще они должны до Обленихового леса дорогу проторить. В ночь кругом обвалы пошли. Слышал небось?

Я сказал, что ничего такого не слышал.

Он повторил:

— Пошли. Но ты не бойсь, все будет как надо.

— Уверен, — соврал почему-то я.

— Ну тогда давай соснем малость.

Он лег, натянул на себя шкуру, но спать не стал, — через несколько минут я увидел на войлочной стенке юрты, как на экране, отраженную огнем руку пастуха, снова подбрасывавшую поленья в костер. Фокусное расстояние от костра до стенки было таким, что рука каза-

лась огромной. Такими же были и поленья... А может, я уже сон видел в те минуты?

Я не слышал, как воротились от соседей внуки Шойдана, как проснулась и закурила трубку Мария Чульдумовна. Тень от трубки была длинной — во всю стенку юрты, — это я, пожалуй, уже наяву видел. Точно, наяву — даже горьковатый дымок табака защекотал горло. Вид у Марии Чульдумовны и у ее домочадцев был невеселый, расстроенный.

— Лыж не достали? — спросил я, но догадка вышла неверной.

— Достали, — успокоил меня один из парней. — С лыжами как раз порядок полный. Самоходы!

— Не успели до Облепихового дойти? Да?

И тут интуиция подвела меня.

— Успели, как не успеть? — услышал я в ответ. — Час туда, час обратно.

— Что ж случилось тогда? Чего вы все приуныли? Устали здорово, намучились из-за нас? Сколько мы вам хлопот принесли! Не знаю, чем и как отблагодарить вас...

Мою тираду строго остановила Мария Чульдумовна:

— Стих у вас хороший, а мысли плохие. В Облепиховом лесу все дело. Дорога к нему закрыта.

— Как закрыта? Почему? Внуки ж оттуда только вернулись, так? — спросил я.

— Все так, — сказала хозяйка. — А для вас пути нет: под обвалом Облепиховый. Они до самого верху дошли. Над горой вторая гора висит — из снега. Ясно?

— Вторая гора, — подтвердил один из внуков. — С часу на час поползет. Нельзя вам туда.

— Что делать будем? — растерянно спросил я Эрко.

За него ответила Мария Чульдумовна:

— Все будем делать, что положено. Завтракать будем. Эрко будет стих списывать — бумага приготовлена. Потом соберем вас в обратный путь.

Я посмотрел на Эрко. Он объяснил, что план у Марии Чульдумовны, к сожалению, правильный. Если к Облепиховому никак не пройти, стало быть, надо восвояси собираться. Ну а перед тем как двинуться, заправиться, само собой, просто необходимо.

— Жаль, — сказал я. — Очень жаль, что не сможем побывать в том лесу. Распалил мое любопытство, а теперь на попятную?

Эрко признался, что он во всем виноват. Проводником был никудышным, много верст вчера лишних дали, но дело, в общем-то, поправимое, никуда он от нас не денется, этот Облепиховый лес.

— Приезжай к нам летом или, еще лучше, под осень — полный порядок будет. А сейчас давай завтракать — нас уже ждут, смотри.

Мы сели к полыхавшему во всю силу огню.

— Все как вчера будет, учти, — сказал Эрко. — Сперва чай, потом бараний суп, потом снова чай.

Так или, вернее, почти так все и было. Почти, потому что в самый разгар трапезы появилась на горизонте запеченная голова барашка и в дыму поплыла сразу ко мне. Фикуса рядом не оказалось. Но я вдруг поймал себя на мысли о том, что начал помаленьку привыкать к местным обычаям и порядкам, входил постепенно во вкус.

Когда завтрак был закончен, а стихи Эрко «списаны» на лист белейшей, неизвестно откуда взявшейся тут бумаги, началась примерка лыж. Это последнее действие продолжалось недолго — крепления «самоходов» так ловко устроены, что подогнать их под любую ногу — дело минут.

Мне стало даже чуть грустно оттого, что все так быстро шло к финишу. Поворачивался не спеша, еле-еле. Эрко же, с учетом вчерашнего опыта, обеспокоенно поторапливал:

— Не выспался, да? Ничего, сегодня всласть отоспимся!

Заметив, что даже заманчивая перспектива эта не прибавила мне «динамики», Эрко сказал:

— Им еще надо обратно вернуться, учти.

— Кому? — не понял я.

— Кому, кому! Богатырям, как ты их окрестил. Они ведь провожать нас пойдут до самого дома, увидишь.

— Ни в коем случае! — категорически запротестовал я. — Ни в коем! Что мы, дети малые?

— Я думаю, возражать бесполезно, — спокойно, но твердо ответил Эрко. — Поняли, какой из меня проводник, подстраховку устроят, уверен. Да и лыжи дали нам не свои; значит, возвратить должны, теперь понятно?

— Теперь да, — согласился я и стал двигаться проворнее.

Минут через двадцать мы, распрощавшись с Марией Чульдумовой и Шойданом, сопровождаемые эскортом из их внуков, двинулись в путь.

Братья шли впереди, мы за ними. Теперь передо мной целых три богатыря было. Лыжня после них доставалась моим «самоходам» глубокая, укатанная. Метель хоть уже не такая яростная, но все время набрасывалась на нас — то спереди, то сбоку, то сзади. Замести лыжню, однако, не поспевала и поспеть не могла. Мы шли ходко, уверенно, без задержек. Даже проламывались через кустистые заросли не с такими трудностями, как накануне. Привык, закалился, думал я про себя. А они вообще народ вон какой бывалый, опытный. Даже силоховавший было вчера Эрко сегодня нравился, по-моему, не только мне, но и самому себе. Сквозь порывы ветра то и дело слышалось его бодрое:

— Жми на все педали!

Так бы вот идти нам и идти, так бы катить и катить. Но всему, как говорится, свой край приходит. Так и тут. Часа через два шедшие впереди вдруг остановились, да так резко, что мы с Эрко наскочили на них.

— Привал? — спросил я. — Привала устраивать не надо, мы не устали. Да и дорога под горку пошла.

— Надо, — сказал один из братьев. — Минут пять отдохнем и будем прощаться.

— Дальше не пойдете? Ну и правильно! — воскликнул я. — Тут уж мы не заблудимся в любую метель.

— Дальше он один вас поведет, — уточнил свою мысль один из пастухов и положил руку на плечо своего младшего брата. — Мне, однако, возвращаться пора. Старики там не управятся одни в такую погоду. Они под Белым Камнем сейчас. Кошару латают. Вдвоем не сладить никак, там и четверых-то мало.

— Тогда возвращайтесь оба, и немедленно! — Я решил взять инициативу в свои руки. — Слышите? Сию минуту!

— Командиром этого отряда дед меня назначил, — твердо, хотя и с улыбкой ответил старший из братьев. — Командовать буду я. Он вот проводит вас до самого дома. А это с собой возьмите, бабуля велела. — Он вручил мне и Эрко какие-то свертки, тщательно укутанные в тряпицы и перевязанные бечевкой.

— Что это? — спросил я.

— Так, на память о лесе, в который попасть не смогли.

Я не вытерпел, тут же на ветру разорвал бечевку, выпростал из ста одежек бутылку темно-зеленого стекла, плотно закупоренную.

— Нет, нет! Спасибо, возьмите обратно, при ваших морозах вам скорее сгодится... Мы непьющие... — попробовал было запротестовать я.

— Бери! — категорически перебил меня Эрко. — Масло это. Облениховое. Понял? Ангиной теперь болеть никогда не будешь. Я беру. — Он решительно затолкал свой сверток за пазуху.

Мне пришлось подчиниться. Мы расстались с одним из братьев, крепко пожав друг другу руки.

А еще часа через два распрощались и со вторым — в низине показались первые, курившиеся дымком домики Кызыла, где нас ждали, где о нас волновались.

Вот и вся нехитрая эта история. Нехитрая, теперь уже давняя, но вспоминаю ее до сих пор. Во всех подробностях.

И все дышит горячим своим дыханьем, полыхает передо мной тот костер в занесенной снегами юрте Марии Чульдумовны. И все видятся мне через трепещущее его пламя озаренные, словно вызолоченные, смугловатые, обожженные морозом и ветром лица пастухов, охотников и поэтов. Лица тех, с кем свела тогда судьба. Свела совсем ненадолго. С одними — всего на несколько коротких дней, с другими — и вовсе на несколько часов. Жаль, что пролетели, промчались те дни, те часы так быстро, так неостановимо.

Жаль...

СОЛДАТСКАЯ ЛОЖКА

Обыкновенная алюминиевая ложка. Я нашел ее под Харьковом, в выжженной огнем и солнцем степи, осенью сорок первого.

Прижал нас немец возле одной деревни, двое суток головы поднять не давал. Зарылись мы в землю, лежим, думаем: должны же когда-то кончиться эти чертовы мины! А он садит и садит из-за леса, ни тебе отдыха, ни срока.

— Зарывайся глубже, ребята! — командует взводный. — Я его норы знаю.

Стали мы глубже копать, а взводный подбадривает: — Лопата — она чего? Шанцевый инструмент. Стало быть, солдату шанец есть живому остаться. Копай веселей, кому жизнь не надоела.

Копаем, а сами думаем: кому ж от мины-дуры подыхать охота? А тут еще шанец!..

Стал я рыть вместе с другими. Дело к ночи идет, а мы знай вгрызаемся в заклёкшую землю. Немец между тем не унимается.

— Неправда, к утру поистратится, — пошучивает взводный. — Мины — они чего? Им тоже конец приходит.

Но конца тем минам не было. И утром мины, и вечером, а к ночи совсем невтерпеж стало.

Пришлось отходить, как говорится, на заранее приготовленные позиции. Сперва по-пластунски ползли, потом в рост поднялись. Аж до Малых дорог довелось топтать. Но и там, на «заранее приготовленных», передышки нам тоже не было. Пришли мы к Малым, а он тут как тут. Из-за каждого облака «юнкерс» кидается.

Если просто сказать, что хватили мы горя под Малыми дорогами, — значит, безбожно приукрасить действительность. Живого места на земле той не было. Здесь уж даже и окопаться не успели — рухнули с разбегу в канавы да лужи, а он давай ровнять землю-матушку.

— Немец — он во всем порядок любит, — не падает духом взводный. — Подровняет малость — уймется!

Если бы не командирская шутка, мы бы, наверное, совсем приуныли. Взводный, видимо, чувствовал это, и сквозь грохот боя все время слышался его голос:

— Не бойсь, ребята! Целься точно в мотор, скоро всем им капут гемахт, всем «юнкерсам»! Ловчее всего со спины стрелять, вот так!

Лег и я, как приказал мне взводный, на спину, чтобы удобнее было, а между лопаток и вонзись мне железка какая-то. Перевертываюсь — ложка! Самая обыкновенная, солдатская. И слышу над самым ухом опять голос взводного:

— Не зевай, подымай — пригодится!

Глянул я на него искоса, а он:

— К обеду так просто незаменимая вещь!..

Очнулся я в медсанбате. Пошарил глазом вокруг, вижу — ложка со мной. Возле самых носилок кем-то

положена. Ну, думаю, жив-здоров! Кому ж в голову придет мысль ложку таскать за человеком ненадежным! Видно, числюсь я еще у какого-то старшины в списках.

Взял я ложку, поднес к глазам поближе и только тут заметил, что она совсем не простая. Чья-то ловкая рука четко выгравировала по белому ее алюминию украинский национальный орнамент, а рядом с затейливой вязью врезала в металл слова.

Вчитываюсь — названия городов:

Львов.
Тернополь.
Житомир.
Киев...

Показал я ложку соседу по палатке, старому солдату. Думал, подшутит он над неизвестным чудаком гравировщиком. Думал даже — вместе мы с ним посмеемся. А служивый прочитал надписи на ложке сначала про себя, потом без всякой усмешки еще вслух начал отсчитывать, загибая упрямые заскорузлые пальцы:

— Львов, Тернополь, Житомир... Да-а, браток, много горюшка этой ложкой выхлебано. И еще для других городов место имеется. Смотри-ка! В общем, не ложка — история войны. — Он помолчал, вздохнул, потом добавил: — Не дописал якись хлопец всей истории, царствие ему небесное. Другим, видать, придется дописывать.

Подлатали мы со старым здоровьишко при докторях, снова в свою часть направились.

Как только вышли из санбата, я ложку (не по уставу, конечно!) за кирзовое голенище сунул. Она сразу нашла там себе уголок поудобнее...

...Не слишком часто вспоминали мы про ложку после госпитальских-то харчей — когда не поспишь, когда не поешь, а чаще всего и то и другое вместе.

А если когда и выпадало счастье пообедать в тишине и спокойствии, так мы той ложкой, бывало, щец похлебав или кашицей побалуемся, на остальное-прочее времени уж не оставалось. Не до граверных работ было.

Однако весной проняло-таки нас со стариком лирическое настроение. То ли дела на фронте лучше пошли и сводки стали интереснее, то ли еще по какой причине, но как-то на привале в березнячке, у приглушенно-

го костра, повертели мы ложку в руках и порешили продолжить необыкновенную летопись, начатую первым владельцем нашей кормилицы.

Сходим ночью в разведку, «языка» приведем, а наутро бой. А еще наутро город берем с боем. Потом замполит радиста кликнет — по радио Левитан подтвердит нам информацию замполита. Больше всего нравилось нам, как произносил он слово «овладели»: говорит — каждую букву как по железу рубит. У меня так даже мороз по коже пробегает, по тому самому месту промеж лопаток, куда ложка когда-то врезалась...

Послушаем мы, убедимся, что все в точности совпадает и никакой ошибки быть не может, имя того города торжественно вырезаем на светлом металле нашей ложки-чудесницы. Вооружимся ножом и режем, не крупно, чтобы все уместилось, но поглубже, чтобы не стерлось, — нам ведь еще далече шагать, черт те куда!

И что же? Скоро заметили мы, что названия городов на ложке начали повторять, что уже были до нас нарезаны, только идут они в обратном порядке:

Харьков.
Киев.
Житомир.
Тернополь...

— Слушай, а ведь это и в самом деле не ложка, а история войны получается — «Краткий курс Великой Отечественной», — заулыбался мой напарник.

Рассказали мы о ложке молодым ребятам во взводе. У них даже глаза заблестели.

— Вот это ложка! Чудо!

— Не ложка, а «катюша»!

Ну а взводный, как всегда, был всех мудрее, всех рассудительнее:

— Все города и деревни у вас в котелке, братцы. На самом дне Берлин заховался. Хлебай веселее!

Становилась наша ложка и на самом деле чудом каким-то, приезжали даже из армейской газеты корреспонденты, фотографировали, как солдаты необыкновенной ложкой кашу едят. Стали нашу ложку взаймы просить:

— Мы только снимемся и отдадим. Надо фото домой послать.

Любимец всего взвода поэт Володя Федоров написал про эту ложку стихи. Мы читали их вечерами друг

другу, слали в письмах родным, вспоминали при взятии городов — больших и малых:

Знают дороги,
кто мы такие.
Солдатская ложка,
и ты не забудь
Львов и Тернополь,
Житомир и Киев,
Сумы и Харьков —
огненный путь.
Можно ль забыть
те дороги степные?
Ждите назад
опаленных бойцов,
ждите нас,
Харьков,
Сумы и Киев,
ждите,
Житомир и Львов!..

Пришел час, зазвучали стихи эти уже за кордоном, над не нашей, чужою землей. Тут шутку взводного на-счет Берлина мы и вспомнили.

Перевели дух как-то утром, позавтракали на зеленом речном берегу, вымыли ложку в прозрачной водиче, оттерли мелким желтым песочком нашу кормилицу до блеска и написали на последнем ее свободном уголке:

«Берлин!»

И восклицательный знак поставили.
Вот и все.

А в общем, что ж, обыкновенная алюминиевая ложка. Я нашел ее под Харьковом во время войны — осенью сорок первого.

АЗБУКА МОРЗЕ

В то лето я упорно изучал морзянку. Вставал раньше всех, взбирался на черепичную крышу дома, затерявшегося в густой южной зелени, и, повернувшись лицом к морю, начинал подавать сигналы всем кораблям, проходившим мимо феодосийской бухты.

На мои приветствия никто не отвечал, меня просто не было видно с большого расстояния, но мне очень

наверное не только составлять отдельные слова, но и строить целые фразы, обращенные к прославленным капитанам.

С пологой крыши дачи, в которой размещался наш отряд, несло в открытое море:

«Доброе утро, «Красный Кавказ»!»

«Здравствуй, «Георгий Димитров»!»

«Парижской коммуне» пионерский салют!»

Я был уверен, что рано или поздно какой-нибудь капитан увидит меня, выйдет на мостик и передаст привет нашему отряду. Не случайно же, в самом деле, мы носили морскую форму, пели матросские песни, а по вечерам у костра вожатый рассказывал нам героические истории, услышанные им от настоящих моряков.

Однажды, почти перед самым отъездом в Москву, мне действительно повезло. Правда, сигналы мои были приняты не знаменитым военным кораблем, а всего-навсего крошечным грузовым катером, перевозившим арбузы из Судака в Феодосию, суденышком, на борту которого красовалось не очень величественное название «Медуза». Но все-таки я торжествовал победу: на узенький, едва возвышавшийся над водой капитанский мостик вышел человек в брезентовой куртке.

— Меня слышали! Сейчас с нами будут говорить! — закричал я на все Черное море и, захлебываясь от восторга, волнуясь и спеша, передал на борт катера:

«Здравствуй, «Медуза»! Я отряд «Золотой якорь». Прими привет от юных моряков Красной Пресни! Перехожу на прием».

Ответ «Медузы», которого я дожидался с таким нетерпением, поразил меня в самое сердце:

«Я — «Медуза». Скажи своему вожатому, чтобы учил тебя лучше. Букву «р» совсем не выговариваешь. Завтра свяжемся в это же время. Матрос Гусев».

Весь день зубрил я это проклятое «р», а на рассвете Гусев, приняв мою депешу, ответил совсем коротко и мрачно:

«Плохо. Учи еще».

Но учить уже было некогда — на вечерней линейке вожатый объявил нам, что утром отряд «сушит якоря» и берет курс на Москву...

Всю осень и всю зиму продолжал я заниматься морзянкой, тщательно отрабатывая каждый знак, каждую букву, особенно злосчастное «р», из-за которого так

позорно провалился. А летом отряду нашему снова по-счастливилось бросить свой золотой якорь на полпути от Судака к Феодосии, и снова начал я чуть свет забираться на розовую черепичную крышу.

Уже на второй день нашего пребывания на Черноморском побережье мне удалось подкараулить знакомый катерок, тяжело зарывавшийся носом в глянцевою зеленой волне, и снова трассирующей строкой тире и точек дотянулся я до его мостика:

«Дорогая «Медуза», здравствуй!»

«Здравствуй, «Якорь»! А ты все еще картавишь? Когда же будет порядок?»

«Товарищ Гусев, я учил всю зиму...»

«Гусева нет на катере. Ушел на военную службу. За тобой проследить поручено мне. Моторист Переверзев», — отчеканил сигнальщик, усиленно налегая на букву «р» в каждом слове, особенно в своей фамилии.

Все лето Переверзев тренировал меня, и когда настала пора прощаться, на черепичной крыше была принята одна из самых замечательных телеграмм на свете:

«Теперь толково. Бывай здоров».

...Война привела меня на Крайний Север. Служил я на далеком, занесенном снегами маяке, мимо которого днем и ночью шли караваны тяжелых транспортных судов под охраной военных кораблей. Днем и ночью несли мы свою неусыпную вахту, а день там ничем не отличался от ночи, утро — от вечера.

Иногда по целым суткам не уходили мы со своего поста, встречая каждый караван каскадом светящихся тире и точек.

Часто вспоминал я на этом одиноком маяке крышу крымской дачи, и на душе у меня становилось тепло и радостно. Я мечтал после войны обязательно приехать в знакомые места, отыскать дорогу теперь моему сердцу «Медузу», поговорить с Переверзевым, но война затягивалась, и мимо маяка все шли и шли караваны судов с пробитыми фальшбортами, обгорелыми палубами, снесенными напрочь мачтами, и лучшей музыкой в мире были для них летящие с маяка слова:

«Путь открыт. Следуйте своим курсом...»

Редкий караван проходил мимо маяка молча. Хоть два-три слова, а скажет нам через своего сигнальщика:

«Спасибо, ребята, за службу!»

А однажды между нашим маяком и одним караваном произошел такой разговор:

«Путь открыт, следуйте своим курсом».

«Спасибо. Жму лапу «Золотому якорю»!»

«Переверзев?.. Здравствуй, дружище! Как ты меня узнал, Переверзев?..»

«Такого чистого «р» я не слыхал еще никогда на свете. Поздравляю. Сегодня же сообщу Переверзеву. Гусев».

Через день на маяк пришла адресованная мне телеграмма:

«Прими и мои поздравления. Теперь совсем толково работаешь. Бывай здоров. Переверзев».

И опять разошлись наши жизненные пути. Надолго ли? Не знаю. Знаю только, что Гусев с Переверзевым могут объявиться в любую минуту, на любом корабле, поэтому я, хоть и считаюсь опытным сигнальщиком, каждый день занимаюсь морзянкой, увеличиваю скорость передач, тщательно отрабатываю каждый знак, каждую букровку, чтобы всегда без запинки можно было сказать своим знакомым и незнакомым друзьям на языке Морзе:

«Путь открыт. Следуйте своим курсом!»

ВОЗЛЕ СТАРЫХ ДОРОГ

Солдаты лежали в продымленной землянке и разговаривали. В темноте не было видно, сколько собралось тут народу — двадцать человек, или сорок, или все сто, — но разговор у них был общий, один на всех, и велся как-то так, что никто не мешал друг другу, хотя часто один другого перебивал на полуслове.

Комбат Майоров привел меня сюда обогреться, пристроил возле раскаленной печурки и исчез.

При появлении постороннего человека разговор сначала притих, но через некоторое время возобновился.

— Не зря, значит, слава о ребятах из первой роты идет? — спросил кто-то, свесившись с верхней нары.

— Зря или не зря, а в бою они побывали не раз, — отозвался ему тонкий, почти детский голосок из самого дальнего угла.

— Придет скоро и наш срок, — прогудел немолодой хрипчатый бас где-то совсем рядом со мной. — Я вот, можно сказать, старик, а и то в настоящем деле вместе с вами отличиться думаю.

— Правильно, папаша, мы хуже первой, что ли? Да мы еще, может...

— А ты, случайно, не из первой?

Я не сразу сообразил, что вопрос этот адресован мне, и еще несколько мгновений молча следил за короткими перебежками синих огоньков в печурке.

— Не из первой? — снова услышал я за своим плечом и обернулся на голос, но никого во тьме не увидел.

— Это про меня, что ли? — спросил я наугад.

— Про тебя.

— Нет, не из первой.

— Жаль.

— Почему?

— Да мы тут все новички, только-только с пере-сылного, а в первой, говорят, герой на героя. Правда, мы их пока не видели, все легенды одни слышим, вот и хотелось взглянуть на настоящих людей, так сказать, невооруженным глазом.

— Легенды? — спросил я.

— Ну, одним словом, молву всякую.

— А вы не сомневайтесь, соседям вашим героизма и впрямь не занимать. Я вчера был у них, познакомился.

— А мы и не сомневаемся; наоборот, с полным фронтовым почтением! — отозвался уже знакомый мне бас. — Ежели честно сказать, мы даже в зависти. Верно, что ли, сыночки?

— Так точно, папаша, в нашей роте своих героев покуда нет.

— Откуда ж им быть? Герои с неба не падают, — рассудительно проворчал «папаша» и присел рядом со мной у печки. — Собрали нас с бору по сосенке, в бой не пускают, все чего-то дожидаются, а мимо нас маршевые топают и топают. Нас только зря по тревоге каждую ночь поднимают. Всполошат, построят — скидай, говорят, хорошее обмундирование в пользу тех, кто с марша в бой прямиком. Намедни разбудил старшина,

выстроил в лесу: сымай новые шинели, а в обмен — обноски всякие. Давеча построил — и как курам на смех: «Шапки долой!» Вместо своих теплых треухов получаем шлемы «рваные паруса»...

Солдаты дружно рассмеялись, а хрипатый, обращаясь ко мне, продолжал:

— Утром была у нас политинформация. Новый замполит заступил. Ничего еще толком не знает, не ведает. «Ну кто, говорит, слышал, какая нынче сводка? Чего-нибудь наши взяли?» — «Взяли, — отвечаю, — товарищ замполит, взяли». — «Докладывай, — говорит, — сам слышал?» — «Даже видел, товарищ замполит: взяли у нас маршевики сто двадцать шапок — и айда на Берлин!»

От общего хохота с новой силой заметались синие огоньки в печурке. Когда в землянке снова стало тихо, я спросил:

— Ну и как? Очень рассердился замполит?

— Не-е. Он мужик, видать, ничего, с пониманием. Вместе с нами посмеялся и говорит: «Настанет час, и мы с вами в Берлине будем, а в разбитых лапотках даже шибче шагается, это вы уж мне поверьте».

Землянка опять задрожала от хохота, будто небо над нею низко летящий снаряд пропорол.

Когда солдаты уgomонились, хрипатый опять за свое:

— Ну, мы, кажись, сбились с азимута. Начали про Фому, а перешли совсем на Ерему. Я вот про ту роту думаю. Ты, стало быть, был в первой? — тронул он меня за плечо.

— Вчера.

— Герои? Все как есть?

— Имеются.

— Вы слышите?

Ему не ответили — дверь землянки, неожиданно взвизгнув, широко распахнулась, снаружи со свистом и шипением вкатился лохматый клубок мороза, тусклый луч света скользнул по сбитым подковкам сапог у лежавших вповалку солдат. Потом снова стало темно и тихо. Кто-то пробурчал:

— Дует как при капитализме.

После нового взрыва хохота разговор продолжался. О героях, о подвигах, о храбрости тех, кто там, впереди, шагал по гудящей земле сраженья, со смешком и всерьез говорили разомлевшие в толпе солдаты.

— А в первой что? А в первой как? — все чаще сыпались ко мне их вопросы.

Я сперва коротко отвечал, односложно, но постепенно незаметно для самого себя втянулся в разговор, сам стал вставлять словечки, вспоминать разные дела да случаи из фронтовой жизни.

Рассказал я притихшим солдатам и историю про одного волжанина, услышанную мною вчера в первой роте.

— Про пекаря будет рассказ, — полушутя-полусерьезно предупредил я и пошевелил полешком начавшие темнеть угли.

— Про пекаря?! Нам бы про героя...

— Да дайте вы человеку высказаться. Пекаря — они тоже разные бывают, — поддержал меня хрипатый.

Когда нетерпеливые угомонились, я уселся поудобнее и рассказал все по порядку.

— В Белоруссии это было, в районе Речицы. Десяток наших парашютистов после выполнения задания в тылу противника с важными сведениями и документами пробивались к своим. Израненные, измотанные, голодные люди теряли последние силы. Линия фронта была где-то уже недалеко, но чем ближе подходили к ней десантники, тем трудней им становилось. Все дороги забиты немцами, а чуть с большака свернул — полезай в болото. Ни костра развести, ни обсохнуть, а на дворе уже осень глубокая, снег дождю на пятки наступает. Деревни кругом спалены.

И вдруг на исходе одного особенно ненастного дня учуяли ребята где-то совсем рядом, за леском, запах тепла и хлеба. Ничто уже не могло их остановить — поднялись во весь рост, ошалело пошли навстречу одурманивавшему ветру. Скоро они оказались на открытом пригорке, затянутом от всех сторон сетью черно-белых дорог. В колеях давленные отпечатки колесных следов. Видно, весь день месили и трамбовали тут снег и грязь немецкие машины. А в центре пригорка красный кирпичный дом с высокой трубой. Как он здесь уцелел, никто понять не мог. Да об этом в тот момент никто и не думал. Не рассуждая, забыв о всех мерах предосторожности, ворвались парашютисты в дом и остолбенели от удивления: в одном углу пылает жаром не закрытая заслонкой огромная русская печь, а на широких столах

вдоль стен — не успевшие остыть, еще чадающие противни. Другой угол почти до потолка завален мешками с мукой.

«Пекарня не пекарня, склад не склад! — Командир запустил руку в один из мешков по самый локоть. — Кто пекарить учен?»

«Я могу, — вперед шагнул пожилой солдат. — До войны в Саратове по этому делу работал».

Молодые с завистью и надеждой глянули на него, а командир сказал:

«Ну вот что. Немец может явиться в любую минуту. Я всем десантом рисковать не могу. Один тут упрaviшься?»

Солдат вместо ответа начал решительно закатывать рукава.

«Молодец! А остальные — кру-гом!»

Он был немножко поэт, а главное — никогда не терял присутствия духа, потому добавил:

«Шагай в болото, моя пехота!»

Под утро с двумя духовитыми, горячими буханками под полами шинели саратовский пекарь явился к своим:

«Только я за порог, а он тут как тут».

«Не заметил?»

«Не-е! Я ж, товарищ командир, не просто пекарь, я пекарь-десантник».

Сказал так и рухнул к ногам товарищей. Думали, объелся там, в пекарне, непропеченным хлебом, кинулись к нему, сдернули одежонку, а у него живот провалился и совсем прилип к позвоночнику. Кто-то понимающе вздохнул:

«Голодный он как пес, вот и все».

Привели пекаря в чувство, осторожно, как малого ребенка, накормили, а он:

«Нынче к ночи сходить бы еще, а? Немец только днем печет — каждого куста тут боится. Вот и буду с ним в пересменку. Надо ж нам силенок набраться, товарищ командир?»

«Надо».

И пошла в той пекарне круглосуточная работа: днем для немцев хлеб печется, ночью — для наших. Ночью сидит в пекарне волжанин и топит так, чтоб ни искорки не было видно. Под утро съезжаются к пекарне немецкие обозники.

Так продолжалось несколько дней. Окрепи ма-

лость ребята, стали трогаться дальше. Последнюю выпечку пекарь вместе с немецкой пулей принес...

— Как с пулей? — перебил меня кто-то из солдат.

— Выследили-таки его немцы, с танками автоматчики к пекарне двинулись, — думали, там целая рота печет. Такую стрельбу подняли, что от пекарни одна труба осталась.

— А пекарь?

— А пекарь живым-невредимым к своим добрался в обнимку с горячим хлебом.

— А пуля?

— Пулю они уж потом нашли. Разрезали одну буханку — она к ногам и упала. Теплая еще...

— Вот это действительно герой из героев.

— Да-а...

Я уже давно закончил свой рассказ, а в землянке было еще так тихо, будто все продолжали слушать. А может, ребята и в самом деле слушали уже не меня — вой декабрьского ветра в железной трубе печурки, сквозь который все отчетливей доносился грохот далекого боя.

— Ну как? Верно я, значит, сказал? Разные пекаря бывают? — резюмировал мой рассказ хрипатый.

— Верно!

— То-то оно и есть.

На следующее утро я покинул гостеприимную землянку. Комбат Майоров дал мне лошадь и пожелал счастливого пути.

Ездовым у меня оказался один из вчерашних собеседников — пожилой солдат, которого я сразу узнал по густому, охрипшему басу.

Когда мы проехали по лесной дороге километра два или три, он обернулся ко мне и, протянув полный, завязанный «под горлышко» кисет, сказал:

— Куришь? Моршанская. С госпиталя еще берегу. А здорово ты давеча им про пекаря-то! Ух, здорово!

— Вам понравилось? Правда?

— Лихо.

— Мне даже самому не верится, что такие вещи на свете бывают.

— Бывают. Все как есть расписал, точка в точку. Только в одном месте, сынок, ошибся, и то самую малость.

Я недоуменно глянул на солдата.

— Не в Речице то было, а у самых, считай, Старых

дорог, недалеко от Белой балки. Понял? — Он весело перекрестил кнутом чуть сбавившую ход лошадь. — А так все справедливо: и про немца, и про хлеб, и про пулю в буханке.

— Справедливо? — удивленно спросил я. — Это хорошо, а то я вот в газету пишу, все боюсь, как бы чего не напутать.

— Говорят тебе, точно, только Речицу на Старые переверни, и полный порядок будет.

— А вы сами-то, папаша, не напутали? Вы сами-то от кого слыхали?

— «От кого», «от кого»! Заладил...

— Нет уж, начали так говорите до конца, газета есть газета.

— А ты меня не выдашь?

— Что вы!

— И в печать не пропустишь?

— И в печать. А что?

— А то, что везет тебя младший сержант технической службы, коренной волжанин-саратовец. Понял? — Солдат еще раз беззлобно хлестнул лошадь и добавил: — Той самой пекарни, значит, главный пекарь.

Он обернулся, и я в первых лучах рассвета увидел его белый висок.

Солдат гордо распрямил ссутулившиеся на морозе плечи и задумчиво пробасил:

— А героев у нас в отделении тогда не было. Ни одного. Они уж потом пошли, когда я в госпиталь угодил. Ясно? — Он перекинул вожжи из руки в руку и обернулся ко мне еще раз: — Так запомни: не в Речице, а возле самых Старых дорог. Может, и сейчас стоит там кирпичная стена пекарни, совсем ведь недавно дело было — год назад.

— Запомню, отец, — отозвался я и снова, теперь уже совершенно отчетливо, увидел перед собою белый, будто той мукою припорошенный, висок солдата.

ТЕНЕКО

Н. К. Исаеву

Он появился в роте Сергованцева неожиданно. Одетый в штатское, заросший человек небольшого роста вышел на лесную поляну, приблизился и заговорил:

— Командира есть?

— Есть; — в недоумении шагнул ему навстречу Сергованцев. — А ты кто такой?

— Командира есть? — повторил свой вопрос пришедший.

— Ну, предположим, я. — Сергованцев одернул гимнастерку, на воротничке которой не было никаких знаков различия.

— Ты?! — удивленно спросил незнакомец. — Рядовой командира?

— Допустим, и так, рядовой командир. Наш лейтенант Залужный...

Он хотел сказать, что лейтенант Залужный, умирая, поручил командование ротой ему, Сергованцеву, но, смерив подозрительного человека испытующим взглядом, осекся.

— Лучше скажи, откуда ты такой? Штатский или военный? Зовут тебя как?

— Тенеко.

— Как-как?

— Артиллериста Тенеко.

— Артиллерист? Мы таких артиллеристов что-то еще не встречали. Где твоя форма?

— Форума нет, форума совсем больше нет.

С трудом поняли в роте сбивчивый, косноязычный рассказ Тенеко, жителя далекого ненецкого стойбища.

В первые дни войны Тенеко был призван в армию, попал на пересыльный пункт, потом — в эшелон, потом — под массивованную бомбежку. Эшелон сгорел вместе с вагоном, в котором везли обмундирование для новобранцев. И вот Тенеко, не успевший еще сделаться солдатом, расхристаный, нескладный, стоит перед не сумевшим еще толком войти в свою роль командира роты Сергованцевым и отвечает на его недоуменные вопросы.

— Ну, если все так, как говоришь, откуда ты взял, что ты артиллерист? Ты пушку-то хоть раз в жизни видел?

— Пушка моя не видала. Моя просила начальника: «Посылай Тенеко артиллерийское училище, потом на фронт».

— Ну а он? Начальник?

— Начальник сказал: «Поезжай, Тенеко, на фронт, там очень хорошее артиллерийское училище». До

фронта моя не доехала. Плоха дела, командира, совсем плоха...

Сергованцев как мог успокоил Тенеко:

— Не горюй и не грусти, ты доехал даже дальше фронта — аж в самое окружение, это, может быть, полхлебе, чем фронт. Понятно?

— Окружение? Мала-мала непонятна.

— Окружение — это когда впереди фронт, и сзади фронт, и с боков фронт, а в середине тоже фронт. Теперь понятно?

— Теперь совсем непонятно...

— Экий ты, право!.. Ну ладно, скоро поймешь.

Тенеко посмотрел на Сергованцева каким-то странным взглядом. Большие раскосые глаза его были полны тревоги и любопытства. Так смотрят на незнакомые, впервые встретившиеся им в жизни вещи только малые дети. Впрочем, Тенеко и в самом деле был существом совсем еще юным. Во всяком случае, вопросы его поражали Сергованцева своей откровенной наивностью.

— Из пушки стрелять уцить будешь? — спросил Тенеко.

— Из пушки? Ишь чего захотел! Я сам хотел бы, чтоб меня кто-нибудь подучил, но где они, пушки?..

— Как немца бить будешь? Где твоя пушка?

— Ну вот, заладил — «где», «где»... У немца моя пушка. Ясно?

— А где немец?

— Я же тебе сказал — впереди немец, и сзади, и с боков, а посередке рота моя, а в роте я, да ты, да еще полторы калеки. — Сергованцев усмехнулся злой усмешкой уставшего, раздраженного человека. — Ты это понять можешь?

— Мала-мала...

— Значит, все-таки сообразительный. Винтовку в руках держал?

— Мала-мала калиберную.

— Мало-мало! Ты даже не представляешь себе, как это мало. Ты хоть свой ВУС знаешь?

— Ус?

— Да не ус, а ВУС — военно-учетную специальность.

Тенеко даже сгорбился под тяжестью непонятного вопроса.

— Я знаю его ВУС, товарищ командир, — с ехидцей сказал один из бойцов.

— Ну?

— ВУС — сто тридцать два с хвостиком.

— А точнее?

— Точнее: не годен, не обучен, не обмундирован...

— Что верно, то верно, — вздохнул Сергованцев. — И как мне с тобой быть? По всем правилам надо бы тебя сдать куда-нибудь, только вот кому и куда? — Сергованцев озадаченно сдвинул пилотку почти на самые глаза. — Ну ладно, ни черта не попишешь, слушай мою команду!

С этой минуты Тенеко стал бойцом под началом Сергованцева.

Неодинаково отнеслись в роте к этому событию.

Одни доверчиво приняли парня в свою семью, поделились сухарем, похлопали по худому, торчащему косо плечу:

— Поправляйся, браток. Скоро в бой!

Другие повели себя по отношению к Тенеко гораздо более сдержанно, даже настороженно. Вечером, когда Тенеко, по приказанию Сергованцева, возился с костюмом, кто-то глухо проворчал:

— Какой прок из такого? Обуза — и только. А может, он вообще...

Сергованцев вспыхнул:

— Знаю, что обуза, что толку никакого, все вижу. А что делать? Тенеко! Ты все слышал?

Перемазанный сажей Тенеко поднялся с земли.

— Я не понимаю, когда о Тенеко плохо говорят.

Сергованцев впервые за много дней улыбнулся.

— На, получай личное оружие. — Командир отомкнул от своей автоматической винтовки плоский штык и решительно протянул его Тенеко. — Ясно?

— Понимай.

Металл остро блеснул отраженным пламенем костра. В торжественной тишине леса штык перешел из рук Сергованцева в руки Тенеко.

— Носи с честью, трусом не будь.

Тенеко молча кивнул головой.

Сергованцев вздохнул:

— Что и говорить, не прыток ты на слова. Присягу принимал?

Тенеко развел руками.

— Ну, повторяй за мной.

Сергованцев отчетливо, по слогам, произносил текст

присяги. С большим трудом выговаривая слова, вторил ему Тенеко.

— ...Не щадя своей крови и самой жизни...

Когда церемония была закончена, Сергованцев строго сказал:

— Теперь ты не кто-нибудь, а настоящий боец. Официально. Товарищей не подведешь?

Тенеко, взволнованный, молчал.

— Не подведешь, я спрашиваю? — уже сердито спросил Сергованцев.

Тенеко круто склонил голову, так и не сказав ни слова.

Все переглянулись. У каждого свои были мысли в тот миг. Одни посочувствовали нескладному парню. У других снова шевельнулся червь сомнения. Странный человек, ой странный! Держи, ребята, ухо остро...

Уже на следующую ночь Сергованцев решил испытать Тенеко «на прочность».

— Кто в разведку со мной? За «языком»! Добровольцы есть?

К Сергованцеву подошли сразу человек пять.

— Я давно не был.

— И я.

— И я...

— Всех взять не могу. Мне нужен ты, и ты, и вот ты. — Сергованцев посмотрел сперва на Исаева, потом на Кузнецова, потом на Тенеко.

Новичок вздрогнул.

— Моя сегодня не может.

— Как — не может?

— Разведка нада тиха идти. Моя мала-мала кашляет.

— Кашляет?

— Кашляет, — подтвердил кто-то из бойцов. — Сегодня всю ночь бухал.

— Тогда отставить. Кашемиров!

— Я!

— Пойдешь со мной.

— Есть!

Наутро в распоряжение роты из четырех ушедших в разведку возвратились трое. Разведчикам пришлось вступить в неравный бой. «Языка» они взять не смогли. Кашемиров, посланный вместо Тенеко, был убит.

Несколько дней отлеживался в колючей осенней траве Сергованцев, получивший сквозное ранение в плечо.

Общими усилиями извлекли десятка три осколков от гранаты из груди и ноги Исаева. Только Кузнецов остался невредимым, но в его глазах проступила какая-то тихая, раньше никому не заметная тоска. Казалось, он вот-вот тяжело вздохнет и скажет: «Теперь, ребята, чур, без меня. Пусть другие испробуют, кто еще не был».

— «Язык» нам все-таки нужен, — на исходе третьих суток поднялся на локте здоровой руки Сергованцев. — Охотники есть?

— Я.

— И я.

— И я тоже, — негромко, но твердо отозвался Кузнецов. — Меня пуля не тронет, я слово знаю.

Сергованцев даже повеселел:

— Колдунов не люблю, но если слово знаешь, идем. А ты, Тенеко, что скажешь?

— Моя кашляет.

— Опять?

— Опять, — подтвердил кто-то. — Дохает до самого утра.

Сергованцев и сам за эти ночи не раз слышал надсадный, удушливый кашель Тенеко, но молодому командиру хотелось во что бы то ни стало доказать товарищам, что он не зря поверил этому дремучему парню, что у него, Сергованцева, как и у погибшего лейтенанта Залужного, все-таки есть чутье на людей.

— Давно это у тебя? — Сергованцев вплотную подсел к Тенеко.

— Земля сырой, командир, совсем холодный земля.

Сергованцев хотел было нагнуться к впалой груди Тенеко, но острая боль в собственном плече помешала ему это сделать. Он закусил губу и приказал:

— Раздевайся!

Тенеко снял рваную рубаху.

— Ослушать его!

Кто-то из бойцов приложил ухо к резко очерченным, часто вздымавшимся ребрам Тенеко.

— Дыши.

Тенеко попробовал сделать глубокий вдох. Хриплый, лающий кашель прокатился по лесу.

— Товарищ комроты, он весь горит.

— Черемисин! Пойдешь со мной вместо Тенеко! — приказал Сергованцев.

— Есть!

— А ты, малый, пока отдыхай. Ложись к углям поближе, что ли.

Прошло еще два дня. Разведчики раздобыли «языка», получили сведения о новой немецкой базе дальних бомбардировщиков. Рота стала готовиться к трудной операции.

Сергованцев собрал бойцов. Речь его была предельно короткой:

— Завтра последняя разведка. Проверим показания «языка», потом — ма-арш! А сейчас всем отдыхать. Нынче у нас какой день? Кто скажет?

Кто-то мрачно буркнул:

— Холодный.

— Отставить! — с досадой отвел неуместную шутку Сергованцев. — В календаре чего сказано?

Шутник спохватился:

— Простите меня, дурака, товарищ командир. Октябрьский ведь праздник завтра! Как это я...

— То-то и оно! Октябрьский. Престольный, значит! Давайте же встретим его как люди.

— Ясное дело! -- дружно отозвались бойцы.

Долго не могла уснуть в ту ночь рота Сергованцева. Кто дом вспомнил, кто свою мирную счастливую жизнь аккуратно раскладывал по всем полочкам, кто просто смотрел в тяжелые осенние звезды и вздыхал так, что дым махорки перемешивался с Млечным Путем...

Один Тенеко вел себя как-то странно. За весь вечер он ни с кем не перекинулся ни единым словом. Только натаскал дров больше, чем обычно, и угомонился раньше всех.

Под утро часовой подполз к Сергованцеву и сиплым шепотком спросил:

— Спишь, товарищ командир?

— Ага...

— Просыпайся.

— Еще капельку.

Часовой присел рядом с Сергованцевым, помолчал несколько минут, потом зашептал громче:

— Товарищ командир, спишь?

— Больше не сплю.

— Разреши доложить?

— Докладывай. Все спокойно?

— Все как есть спокойно. Но Тенеко твой чего-то дурит, верно слово. Все-таки подозрительный он тип, так и знай.

— Как дурит?! — С Сергованцева слетели последние остатки сна.

— Обыкновенно. Думает, я не вижу, и вот вертится над своим котелком, вот вертится. То на уголья его поставит, то в золу зароет, то забормочет над чертовым варевом чего-то — ну сущий шаман. А сам во все стороны зырь да зырь, будто ждет кого-то или хоронится от кого. Вот тебе и праздничек Октября!..

— Так-так-так! И что же ты?

— Я трогать его, конечно, не стал, но все и так ясней ясного.

— Ну?

— От новой разведки он отбояривается. Нечистую силу кличет. Кишка у него тонка, вот и все. А может, еще...

Сергованцев стряхнул с себя налипшие листья, подошел к Тенеко, наклонился над ним, тихо спросил часового:

— Кашлял?

— Артист он, товарищ командир. Сперва кашлял, как всегда, а под утро устал выкобениваться, притих, потом и вовсе храпанул. Ишь спит, как у мамки на печи.

— Спит — это хорошо, — поеживаясь, сказал Сергованцев. — Из спящего человека хворь сама выходит, это давно известно.

— Не спит моя, командира, — шевельнувшись у огня, еле слышно прошептал Тенеко. — Думает моя.

— Думает?! — вздрогнул Сергованцев. — О чем же?

— Хороший ты шеловек, командира, добрый.

— Ну вот, опять заладил... «Хороший», «хороший»... А ты кто такой все-таки? Понять тебя до конца не могу. Храбрый ты или робкий? Северная загадка.

— Зашем так говоришь? Моя тоже хороший. Шамана не верю, бога не верю, только тебя сильно верю, командира.

— «Верю», «верю»! — беззлобно передразнил его Сергованцев. — А зачем воду мутишь, бойцов разлагаешь? Все могу простить: слабый дух — так ты еще юнец совсем; жидкая коленка — так ты и впрямь еле на ногах стоишь. Но шаманить в роте на двадцать четвертом году Советской власти...

Тенеко вскочил:

— Зашем шаманить? Зашем обижай Тенеко? Моя лекарство нашла! Моя всю ночь трава варила. Моя

кашлять больше не будет. Совсем не будет! Бери, командира, разведка, бери Тенеко с собой!..

Тенеко стоял перед Сергованцевым, маленький, щуплый, худой, но в свете угасавшего костра фигура его вдруг показалась командиру рослой, статной, поднявшейся плечами почти до самой звезды, висевшей где-то на кончике темной еловой ветви, широко распростершейся над спящей ротой.

Тенеко не сказал больше ни слова. В первую минуту ничего не ответил ему Сергованцев. Молча подле них стоял часовой. Рота спала. В лесу было тихо, как перед большим сражением. Только едва уловимо, тонко потрескивали иглы хвои в красных углях костра.

— Ты это верно? — спросил наконец Сергованцев. — Или...

— Совсем верно, командира. Моя кашлять больше не будет.

— Ну ладно, не будет так не будет. Мы это нынче же и увидим. Я попреками всякими вот как сыт!

Сказал это Сергованцев строго, даже грубовато, но если бы в тот миг было уже светло, Тенеко увидел бы, какими добрыми глазами глядел на него командир.

Во время первой в своей жизни разведки Тенеко был тяжело ранен. В расположение роты его, истекавшего кровью, принесли товарищи. Не приходя в сознание, он умер на руках Сергованцева в конце следующей ночи.

Когда настала минута предать земле исхудавшее, на вид почти детское тело Тенеко, в кармане его рубашки, в том месте, где рассчитывали найти хоть какое-нибудь подобие документа, чтобы сообщить родным о случившемся, не нашли ничего, кроме крохотного пучка еще не успевшей увянуть, седоватой, как полынь, травы.

Бойцы, ничего еще толком не знавшие о ночном разговоре Тенеко, Сергованцева и часового, переглянулись.

А командир, пока другие плоскими штыками сосредоточенно копали черствый, пропитый корнями грунт, поднес траву к своему лицу и несколько раз глубоко вдохнул ее запах. Трава была, наверное, горькой и едкой — глаза Сергованцева покраснели и сузились. Но командир не проронил ни единой слезы. Он вообще никогда не выдавал своих чувств. Так и в этот раз. Про-

сто постоял в сторонке, просто помолчал, понюхал пучок осенней травы, потом тихо опустил траву в карман своей гимнастерки, рядом с медальоном смерти.

СЫСОВ

В наш госпиталь привезли еще одну партию раненых. Каждый, кто мог двигаться, вышел во двор — навстречу.

Одного определили к нам в палату. Он лежал на носилках, огромный, грузный. Санитары, опустив свою ношу на пол, даже крикнули.

Обычно появление нового человека вносило какое-то разнообразие в нашу жизнь — будет с кем свежим словом переброситься. А на этого как глянули, так и скисли. Весь в бинтах — сверху донизу. И голова замотана, и лицо — вместе с глазами.

Хорошо еще, парень оказался что надо.

— Давайте, — говорит, — знакомиться. Сысов.

— Откуда? — спрашиваем.

— Орел-батюшка, — слышим невеселый ответ.

— Самые рысачьи места! — попробовал было пошутить я, чтоб поднять новичку настроение.

— Мы свое отскакали, — вздохнув, ответил Сысов. — Так что же, выходит, нет земляков?

— Орловских нет, из Курска лежит вот один, рядом с тобой, и тот все молчком да молчком.

Сысов наугад окликнул соседа:

— Ты, что ли?

— Я, — едва слышно буркнул тот.

— Погромче можно? А то я того... недослышу малость.

Еще одно, теперь уже сердитое, «я» вырвалось из-под простыни, в которую был с головой закутан курянин.

— Вот это другое дело, — сказал Сысов. — Звать-то тебя как?

— Маклецовым зови, Иваном.

Сысов помолчал, потом сказал задумчиво, со щемящей тоской в голосе:

— Больно в ваших краях соловьи хороши...

— Мы свое отсвистали! — в тон Сысову ответил Маклецов.

Я еще раз попробовал повернуть разговор к более веселому берегу:

— Слушали: «Рысаки отскакали, соловьи отсвистали». Постановили: «Отставить такие разговорчики!»

— Отставить! — поддержал меня Сысоев. — Негоже нам ныть и стонать: на войне самый край подоспел.

— Никто и не поет, — пробасил Маклецов и высунулся из-под простыни. — Душу отвести можно солдату?

— Можно. Нужно даже, — согласился я.

— Вот и отвели, а теперь — черточку! — неожиданно положил конец дискуссии Сысоев.

— Чего-чего? — не понял Маклецов.

— Черту, говорю, пора, как на собрании.

— А с тобой не пропадешь! Хоть перед докторами, хоть перед самими дьяволами, все равно не страшно! — воскликнул Маклецов, повеселев.

— Соловей ты курский или ворона? — перебил его кто-то.

— К чему это ты? — обиделся Маклецов.

— К тому, что обход. Накаркал!

В палату действительно вошла чуть не вся наша медицина, и первым делом, конечно, к Сысоеву. От этой подчеркнутой внимательности ему не по себе стало.

— Серьезное дело, — сказал главный врач, внимательно осмотрев новичка. — Но человек вы крепкий, вижу. И мотор у вас не подкачал. Будем оперировать.

Сысов ответил не сразу. Не желая показывать волнения, старался справиться с нервами. Наконец, совладав с собою, сказал:

— Если зрячим оставите, согласен на все. Оставьте?

Врач от прямого ответа уклонился:

— Мотор у вас, повторяю, первый сорт. Это самое важное. А остальное...

— А остальное? — не дал ему договорить Сысоев.

— Мы с вами солдаты?

— Солдаты, — покорно ответил раненый.

— Ну вот и отлично.

Закончив обход, врачи снова остановились у койки Сысоева. Но лишь на одно мгновение. Мне показалось, что главный при этом сокрушенно покачал головой.

Вечером, когда все в палате утомонились, я подсел к Сысоеву, и он рассказал мне свою историю.

— Всю войну отшагал цел-невредим, хотя бывал в таких передрягах, что вспоминать жутко. Ни один волос не упал с головы! Всех дружков растерял, всех до одного. Кого под Ельней, кого под Курском, кого где. «А тебе опять ничего?» — спросят, бывало. «Ничего, — говорю, — не царапнуло даже». Ребята еле живы, а смеются: «В натрубах тебя матушка родила!» — «В натрубах», — говорю, а самого, веришь, совесть поедом жрет. Будто нарочно от пуль хороплюсь. Никто не попрекал, не подумай. После каждого боя сам себя виноватил. А пули все мимо, мимо, мимо...

— Так бы вот и закончить тебе войну! — перебил я Сысоева.

Он сердито махнул рукой, потом деловито и строго закашлялся, и я вдруг понял, с какой великой гордостью несет человек доставшийся ему крест.

— Если глаза спасут, я еще землю ковырять буду! Как война ни пахала ее, все одно перепаживать надо. По всей России...

Мы проговорили всю ночь. Когда за окном закричали первые петухи, Сысоев спросил:

— Светает?

— Нет еще, — соврал я, не желая вызывать у него зависти к тем, кто может смотреть сейчас на лучи восходящего солнца.

— Не брешь, — беззлобно оборвал меня Сысоев. — Ты не думай, что если башка замотана, так я и не вижу ничего. Я ушами свет чую. Пальцами! — Он протянул вперед руки — тихие, забинтованные, похожие на двух беспомощных младенцев. — Знаешь, что мне давеча доктор сказал?

— Знаю.

— Нет, не знаешь. Не ручается он за глаза, понял? Скорей всего не спасут их. Точно, не спасут, я сразу скумекал.

— Не говорил он такого, я же рядом был, все слышал.

— Сказал. Я как солдат его слушал.

Разговор наш больше не клеился. На другой день мы его уже не возобновляли.

Доктора во время каждого обхода подолгу толпились возле койки Сысоева. Я теперь с особой тревогой

прислушивался к любому их слову и всякий раз все больше понимал, что над Сысоевым нависла страшная беда.

А жизнь между тем шла своим чередом. Целыми днями и вечерами в палате не смолкали разговоры — то громкие, то тихие, то грустные, то веселые. Сысоев вместе с другими о чем-то спорил, с кем-то ругался, кого-то расспрашивал о доме, о родных, о письмах. Больше всего о войне говорили солдаты. О близком ее конце. По сорок раз на дню наводили справки: что там, как там, на фронте?

В одно прекрасное утро пришла наконец желанная весть.

На всю жизнь запомнил я этот миг. Ворвавшийся к нам из соседней палаты раненный в обе ноги ефрейтор Гринюк без всяких слов со всего размаху швырнул об пол свои желтые костыли, и они с грохотом разлетелись на мелкие щепки. В наступившей после этого тишине кто-то робко спросил:

— Неужели?..

— Точно! — гаркнул Гринюк и, потеряв равновесие, рухнул спиной на чью-то пустую койку, захохотал счастливо и безмятежно. Его высоко вскинутые ноги быстро и озорно зашагали в воздухе — последние шаги войны...

Преодолевая боль, в первый раз за много месяцев сел в кровати Маклецов...

Сысоев попросил, чтоб ему скорей свернули сигарку...

В палате откуда-то появилось отсутствовавшее до сих пор радио, черная тарелка «Рекорда» до краев наполнилась торжественными маршами.

На следующий день сообщили о победном салюте. Новая волна радости подняла на ноги даже тех, кому еще не велено было вставать.

Задолго до назначенного часа в госпитале настежь распахнулись все окна, все двери.

Койка Маклецова была развернута так, чтобы и ему было все хорошо видно.

Только Сысоев лежал в своем углу. Мы старались не думать о нем, даже не смотреть в его сторону, а сами... не сводили с него глаз, и все наши мысли были о нем. Чувствуя на себе смущенные, как бы виноватые наши взгляды, он беспомощно шевелил забинтованными руками и вдруг — мы увидели это совершенно ясно —

выпрямился, широко развернул богатырские плечи: первые всплески гимна влетели в палату!

Сысоев лежал так минуту или две, рослый, еще более вытянувшийся, похожий на правофлангового, застывшего по команде «смирно».

Наконец нервы его не выдержали:

— Развяжите глаза! Развяжите!..

Кто-то побежал за доктором. Через несколько мгновений сам главный врач стоял у койки Сысоева.

— Развяжите! — упрямо повторял Сысоев одно и то же. — Ну развяжите же! Развяжите!..

За окнами полыхало разноцветное салютное пламя, но мы глядели только на доктора и ждали его решения. А он стоял растерянный, колеблющийся, каким никто из нас не привык его видеть.

— Ну ладно, пусть будет по-вашему, — сказал наконец он. — Но только на одну секунду, запомните.

— Пусть хоть на одну! Спасибо, доктор! Развязывайте... — простонал Сысоев.

Мы увидели: в промежутке между двумя вспышками салюта сверкнули ножницы в руках врача, белая повязка упала с глаз солдата, и он, поддерживаемый кем-то, распятием замер в проеме окна.

Сысоев молчал, но мы поняли — он счастлив, совершенно счастлив...

А доктор был неумолим. Вот он уже снова туго накручивал бинты на больные глаза.

В ту ночь я опять сидел на краю койки Сысоева. Мы говорили обо всем, что волнует солдатское сердце. О прошлом. О настоящем. И конечно — о будущем.

— А землю ковырять я все-таки буду, старик, — сказал мне вдруг Сысоев. — Хоть впотьмах, хоть как, а буду, буду! Честное слово, буду! Мы под Ельней, помню, ночью копали — ровно, как по шнуру, а на небе и звезды не было. Можно притвориться...

— Постой, постой, почему впотьмах? Вот сделают операцию, все в полном ажуре будет. Я уверен, слышишь?

— Тебе честно сказать про «ажур» этот? — остановил меня Сысоев. — Сказать?

— Скажи, конечно.

— Салюта нашего нынче я не видел. Ни одной искорки. Понял?

Наступает день — мальчишке исполняется пятнадцать лет. Ни много ни мало — пятнадцать. Он встает рано утром, гораздо раньше обычного, но, оказывается, весь дом уже давно на ногах. На столике возле кровати именинника подарки. Какие-то смешные, трогательные сверточки и кулечки.

«Ну-ка посмотрим, что здесь такое! Конфеты — мои любимые! Это, конечно, от сестренки! Рисовальный набор? Это от мамы или от деда».

А вот и телеграмма от отца — первая за целый месяц. Адресована она ему, Владику, лично...

Где сейчас танкер «Комсомолец», с борта которого пришло короткое отцовское поздравление? Сколько морей пересек он за этот месяц? Скоро ли бросит якорь в порту далекой страны?

Над кроватью Владика в самодельной фанерной рамке висит картина. Мальчишка нарисовал танкер таким, каким увидел его на одной маленькой мелькнувшей в журнале фотографии. Корабль, сияющий всеми цветами радуги, круто взмыл на гребень литой штормовой волны — не какой-нибудь, а, конечно, девятой! Мачты «Комсомольца», чуть наклонившиеся под ветром, устремлены в низкое небо непогоды, которое сразу с нескольких сторон разрывает угластая молния...

Если бы мальчишка знал, что примерно так все оно и было!

Мертвая зыбь и скалы чужой, неизвестной земли. Мачты, нацеленные в серое грозное небо, — больше, к сожалению, нечем было в него целиться.

Черный самолет раскалывает тучи над танкером и уже со второго захода начинает обстреливать и бомбить мирный корабль с мирным грузом.

Голодные дети Барселоны напрасно встречают танкер «Комсомолец» у берегов Испании, дети России тщетно ждут его обратно...

В те дни пионерский отряд, в котором состоял Владик, вступил в переписку с испанским послом. Письмо написали на общем собрании отряда, а передать его поручили Владику — он жил недалеко от посольства и рассказывал, что видел посла уже много раз.

— Он выходит прямо на улицу, разговаривает даже с незнакомыми людьми!

— Так ты уж смотри без задержки и в собственные руки чтобы! И не спутай с кем-нибудь. И скажи ему... — в десятый раз инструктировали Владика товарищи.

— Не спутаю. В нашем дворе его все теперь знают.

Наверно, ни одна сверхсрочная нота на свете не была доставлена так быстро, как это послание. Вместе с письмом запыхавшийся дипкурьер вручил послу красный галстук, только вот никаких слов при этом сказать не сумел. Пришлось на другой день ему честно признаться в отряде:

— А про наказ забыл я, ребята...

— То есть как это забыл? Ты же не чай пить к нему пришел, ты выполнял серьезное поручение. Неужели ни единого слова не сказал?

— Ни единого.

— Ну а он что?

— И он ничего. Взял письмо, взял галстук, пожал мне руку — вот эту. И все.

Владик виновато и робко протянул правую руку, которая, как живой свидетель, должна была сейчас подтвердить ребятам, что он действительно был у посла, и все вдруг взглянули на так некстати растерявшегося мальчишку с уважением и завистью, как на настоящего героя.

— Сам Марселино Паскуа?..

— Ну конечно, сам, кто же еще?

Владику верили и не верили. А когда через несколько дней почтальон принес в школу пакет из посольства, срочно послали за Владиком.

Письмо лежало на красном сукне стола в ленинском уголке. Ребята молча и торжественно сидели вокруг и ждали счастливец, знающего испанский язык.

Владик прибежал взъерошенный, распаленный. Он взволновался так, что не мог сразу разорвать плотную бумагу конверта, а когда вытащил похрустывающий глянцеви́тый листок, даже руками развел от удивления:

— Да тут все по-русски написано!.. — Он постоял, беззвучно шевеля губами, потом добавил: — Испанских только два слова: «Но пасаран!» Это клятва у них такая против фашистов.

Посол благодарил пионеров за внимание, за добрые чувства, а на просьбу ребят взять их добровольцами в ряды борцов за свободу республиканской Испании почему-то не ответил.

— Как же так? — пожал плечами кто-то. — Неясно как-то получается.

— Очень даже ясно, — сказал Владик. — Хороший он человек, но дипломат все-таки. Это тоже понимать нужно. Я считаю, нам надо готовиться.

Вожатый, который был всего на год старше своих подопечных, согласился с Владиком.

— Служба у него такая. Но человек, видно, настоящий. Не зря мы ему галстук послали!..

Недавно, побывав в Ленинграде, я встретился с Владиком — с Владиславом Витальевичем Кашириным, директором прославленного завода.

Мы стояли с ним под ветром на берегу беспокойной весенней Невы, вспоминали юность и молчали, как всегда бывает после долгой разлуки.

Опершись о чугунные перила набережной, мы глядели, как в быстрых волнах белый лед перемешивался с белыми апрельскими облаками, и уже невозможно было понять, где облака, где льдины или, как сказал поэт:

Где та неразличимая граница,
растаявшая в синей вышине,
откуда все глядит не наглядится
за нами наша молодость в огне?..

Вечером Каширин привел меня к себе, на Васильевский остров. Когда я переступил порог его дома, то прежде всего увидел знакомую с детства картину, повешенную, как и тогда в Москве, на самом заметном месте. Танкер «Комсомолец» глядел на меня со стены всеми своими иллюминаторами и спасательными кругами! Корабль, как и прежде, упрямо распарывал штормовую волну, гордо реяли в грозовом, еще больше потемневшем от времени небе его флаги на острых мачтах.

Я был рад, что танкер за столько лет не скрылся в тумане будней. Хозяин был счастлив, что картина его не позабыта другом детства.

— А помнишь?

— Еще бы?

— Но пасаран!

— Пассаремос!..

Каширин рассказывал мне о себе, о сынишке Васильке, которого он, судя по всему, любит больше всего

на свете, хотя в разговорах о нем у Каширина все время звучала одна немножко мне непонятная нота:

— А все-таки не та нынче молодежь, не та! Большой ведь уже совсем, к пятнадцати подбирается, а увалень какой-то. Учится, не жалуюсь, хорошо, и дружки его все отличники, но вот нашей романтики у них, брат, нет и в помине. Мы-то в их годы, бывало!.. А эти придут, поспорят, пошумят: «Куба — да! Фашизм — нет!» — и... разойдутся. Духа того, нашенского, не хватает им, духа!

Далеко за полночь проговорили мы, а когда наконец улеглись, долго еще не могли уснуть. Каширин ворочался на старом, как гитара бренчащем, диване, я — на алюминиевой раскладушке.

В ту ночь мне приснилась Нева с белыми облаками и льдинами. Бесшумно расталкивая их, танкер «Комсомолец» вошел в устье, плавно обогнул Васильевский остров и скоро встал у гранитного берега — рядом с «Авророй». Все это я видел так ясно, так отчетливо, что запомнил даже, как тяжелые, набухшие в дальнем плаванье кранцы танкера провели длинные мокрые полосы по броневой обшивке крейсера и как били склянки — сначала на «Авроре», потом на «Комсомольце».

А облака и льдины всеплыли иплыли — белые, быстрые.

Утром нас с хозяином поднял чей-то продолжительный резкий звонок.

— Газеты, — сказал Каширин и, шаркая шлепанцами, побежал отворять почтальону.

Через минуту он вернулся с охапкой свежих газет. Из их шуршащего вороха выскользнул на пол тяжелый конверт. Каширин поднял его, повертел в руках и вдруг метнулся к столу за очками. Неуклюже напялив их, он прочитал громко и почему-то по складам:

— «В. В. Каширину. Посольство Кубинской Республики»... Ничего не понимаю. Ну-ка, ты поглазастей.

— А тут и понимать нечего. Действительно из посольства, в самом деле Каширину В. В., но только это, старик, не тебе. Совпадение инициалов.

— То есть как это?

— Очень просто: Каширину-младшему ответ от посла пришел...

Паренька не было в тот день в городе — он накануне уехал в Кронштадт, к шефам своего отряда. Это

дало нетерпеливому родителю право распечатать загадочное письмо.

— К тому же я, как ты знаешь, владею испанским, — растерянно улыбнулся Владислав Витальевич.

Волнуясь и спеша, он не очень ловко разорвал конверт, и снова улыбка пробежала по его лицу.

— Смотри-ка, тут, оказывается, по-русски!..

Посольство благодарило пионеров за дружбу, передавало им привет от ребят сражающейся Кубы.

— «Родина или смерть!» — прочитал в конце письма Каширин, даже вздрогнул и гордо повел плечом. — А это и по-русски, и по-испански написано, гляди: «Родина или смерть! Патриа о муэртэ!..»

К сожалению, я в тот день должен был возвращаться в Москву и не повидался с Васильком, но непременно, при первом же удобном случае, заеду в Ленинград. Специально для того, чтобы познакомиться с Кашириным-младшим.

ЧАСЫ

Э. И. Каминке

Потускневший эмалевый циферблат покрылся такой густой сетью трещин, что среди них давно уже затерялись стрелки и по часам трудно было определить, сколько теперь времени — без пяти два или десять минут двенадцатого, половина первого или начало седьмого. Но Парфенов никогда не расставался со своими часами. Он любил молча слушать веселое бормотанье колесиков, как четки перебирать сплюснутую цепочку.

И вдруг часы остановились.

Решив, что они просто загнулись на ходу, Сергей Тимофеевич раза два легонько встряхнул их у самого уха, потом приоткрыл сферическую крышку, осторожно, как на одуванчик, подышал на еле видимую пружинку, тихо свернувшуюся под созвездием синих винтиков, — ничто не помогало. Часы оживали на несколько коротких мгновений, затем снова останавливались так решительно, будто хотели сказать: «Все, старик, счета наша песенка...»

С тяжелым сердцем пришел Сергей Тимофеевич к мастеру, но виду, конечно, не подал, пришел будто так, с самым пустячным делом.

— Ну-ка глянь, чего это тут с «Павлом» моим приключилось?

Мастер внимательно вытаращенным глазом лупы осмотрел часы и вздохнул:

— Чинить не будем.

— Засорились? — переступил с ноги на ногу перед узким окошком Парфенов. — Ну что ж, принимай тогда в чистку. Пора...

— Вы меня, папаша, не совсем поняли. Никакой ремонт часам вашим уже не поможет. Все до капельки сношено!

— То есть как это сношено? Незнакомая фирма — так и скажи! — рассердился Сергей Тимофеевич.

Но и в следующей мастерской чинить отказались категорически:

— Отстукали часики свое времечко, папаша, оттопали.

И от третьего мастера старик ушел ни с чем.

— Много вы понимаете! Да у «Павла» моего одна цёпочка дороже всей вашей мастерской будет.

Он так именно и говорил — «цёпочка». Слово это он принес с собой с войны — не «с этой», а «с той еще...».

Парфенов стал штатским человеком давно. Уже на Отечественную его не взяли по возрасту, но в осанке, в привычках, манерах он оставался военным и до сих пор. Он вспоминал: «В гражданку ушел в тридцатом». Даже сказки соседской ребятне рассказывал на свой особый, солдатский манер. Иван-царевич являлся у него перед изумленными слушателями в «парадном обмундировании», спал царевич не иначе как на железной койке.

А когда гулял Парфенов весенним днем по Тверскому бульвару, издалека всем видны были белые облачка его усов, будто сам Семен Михайлович Буденный по майской Москве вышагивал. Идет, постукивает суковатой палкой по теплой земле, на синее небо поглядывает, на часы свои посматривает.

В походке Сергея Тимофеевича было еще что-то молодое, хотя спидометр его наматывал уже девятый десяток.

Все вокруг чуть-чуть молодело при виде этого человека — и деревья, и облака, и сама земля. Может, и древние часы ходили оттого, что хозяин их не сдавался годам. Такие вещи тоже, говорят, бывают...

Но в тот день старик почувствовал себя самым настоящим стариком.

Обойдя все известные ему мастерские, он окончательно пал духом. Везде ограничивались в лучшем случае советами, но и советы-то были хуже всякой обиды.

— А на кой шут он сдался вам, этот «Павел Буре, поставщик двора его величества»? Морока с ним одна — и только. Купили бы себе «Вымпел» или «Полет» — это ж действительно с мировым именем марки. Хронометры! И вид что надо, и моторчик первый сорт.

В одном месте попытались сострить и похлеще:

— Они у вас под бомбежкой, случайно, не были? Или под артобстрелом?

— Были! — Парфенов сердито щелкнул крышкой часов и, вытирая рукавом мгновенно вспотевший лоб, не сказав больше ни слова, вышел на улицу.

К вечеру он почувствовал себя плохо и, придя домой, не раздеваясь лег в постель.

Ни одна из бесчисленных стариновских ночей не тянулась так мучительно долго, как эта. Часы, как всегда, лежали рядом на тумбочке, но безнадежно молчали. Зеленый зайчик от уличного фонаря, как обычно, сидел на их выпуклом стекле и дробился на звеньях сплюсненной цепочки, но от этого в ночи становилось еще темней и пустыней:

Рано утром, перед тем как уйти на работу, к Парфенову постучал сосед.

— Что с вами, Тимофеич? Как чувствуете? Может, слетать в районную? Тут ведь рядом...

— Ничего, полежу денечек и встану.

Не поднялся старик и через неделю. Каждый вечер, возвратившись с завода, сосед заходил, справлялся о здоровье, спрашивал, не нужно ли сбегать в магазин, в аптеку. Старик от всего отказывался, и снова до утра не давала ему заснуть зловещая тишина.

Потом в доме появился доктор. Он долго выслушивал и выстукивал Парфенова, выписывал какие-то рецепты, рвал их на мелкие клочки, писал новые, заставлял его вспоминать, какими болел болезнями в детстве, в молодости, в зрелом возрасте и, наконец, в последние двадцать лет...

— Ума не приложу, что мне с вами и делать. Сердечная мышца хорошая, давление в норме, и вообще все обстоит еще довольно прилично. Это вам говорю я, терапевт, что называется, с подпольным стажем.

Парфенов пожевал пересохшими губами, приподнялся на локтях, посмотрел удивленно на доктора, увидел, что тот и впрямь человек уже немолодой и дело свое знает, наверное, до тонкостей.

— Давление, говорите, хорошее?

— Для вашего возраста просто отличное!

— А оно? — Сергей Тимофеевич дотронулся до груди.

— И оно. Если захотите меняться, так я вам еще приплачу, — засмеялся доктор.

— Тогда какая же лихоманка меня гложет? Неделю целую шагу ступить не дает.

— Видимо, расстроились, понервничали. Или обидел кто.

— Родственников у меня не осталось, так что обижать вроде никому.

— Да разве обижают только свои? — опять рассмеялся доктор. — Я таких теорий что-то еще не встречал! Обидеть может запросто всякий, особенно невзначай, особенно нас, стариков.

— Ну, и это тоже не теория! — сердито махнул рукою Парфенов. — Сказано: человек человеку друг.

— Под этим и я подпишусь. Но все-таки вас кто-то обидел. Кто же? И чем?

— Никто и ничем.

Внимательный взгляд доктора неожиданно остановился на часах, безмолвно лежавших рядом на тумбочке.

— Что это у вас? Еще один больной?

— Это к делу не касается.

— Ну а все-таки?

— Вы ж доктор, а нужен мастер.

— Отец и дед у меня мастерами были. Когда пойдет голова кругом от всяких катаров и ишиасов, начинаю и я раскладывать пасьянсы из шестеренок, пружин и винтиков — благороднейшее занятие, великолепнейшее!

— Моего «Павла» смотрели часовщики всего города. Не берутся, дьяволы!

— У вас «Павел»?! Так это ж для уважающего себя мастера не часы, а клад! Настоящая работа только там и начинается, где все отказались.

— Ну-ну, выслушайте еще одного старика. — Парфенов нервно и неестественно зевнул.

Доктор бережно взял часы, быстро шагнул с ними к свету, сосредоточенно затих над застопорившимся механизмом.

Через минуту, не оборачиваясь, спросил:

— Дареные?

— Так точно.

— От кого?

— Там есть гравировка.

— Вижу. Но она так стерлась, что расшифровать можно только с вашей помощью.

— От командования это. — Сергей Тимофеевич еще раз приподнялся на локтях и добавил: — Сама матушка Первая Конная пожаловала. Ордена надеваю по праздникам, а эти со мной каждый день. — Помолчал и еще добавил: — Были...

— Вот теперь все понятно. Вы бы так сразу и сказали. Не часы, а реликвия.

— А я так и говорю — дареные.

— Машина древнее нас с вами, вместе взятых, но если повозиться, ходить еще будут, мы ей это просто предпишем! Доверяете?

— Это что же — честно? И серьезно? Или просто так — психотерапия какая-нибудь?

— И честно, и серьезно, если, конечно, доверяете.

— Доверяю, — не очень уверенно проговорил Парфенов. — Ежели беретесь чинить, значит, действительно в настоящих часах разбираетесь. Но только учтите — они для меня дороже всей...

— Я же все-таки врач. — Доктор еще раз задумчиво поглядел на Парфенова и сказал: — Значит, забирю, а вам могу оставить пока свои, чтоб не скучно лежать тут было. Хотите?

На тумбочке место щербатой луковицы больного заняли плоские, отливающие золотом часы доктора.

Сергей Тимофеевич костлявой белой рукой тихонько поднял их за ремешок, поднес почти вплотную к воспаленным глазам.

— Случайно, не дареные?

— Там есть гравировка.

— Неужели угадал?..

— Получается так. Это еще за «Вагонку» мне. Есть красавец такой в Нижнем Тагиле, Уралвагонзавод именуется. Мы с женой, как и все уральцы, по старой памяти его «Вагонкой» зовем. Вся наша молодость там...

— Знатные тоже, выходит, часики? — улыбнулся Парфенов.

— Орденами блистаю по престольным праздникам, а эти вот при мне всегда.

Теперь смеялись уже оба — и доктор, и больной. И смех их, молодой, чистый, вырываясь из широко распахнутого окна, летел на улицу, в прозелень воздушной, насквозь просвеченной солнцем листвы, круто закипавшей на быстром майском ветру.

Доктор, последний раз взглянув на свои часы, начал спешно прощаться.

— Половина шестого, а у меня еще четыре вызова! Будьте здоровы. «Павла» вашего в понедельник при-тащу.

— А эти, значит, оставляете? Не боитесь доверять такое сокровище постороннему человеку?

— Во-первых, мы не такие уж посторонние. Я, например, ваш лечащий врач. А во-вторых, вы ведь тоже мне целое состояние доверили.

— Что верно, то верно. Да и я не какой-нибудь проходимец, а ваш законный больной.

— Я уже сказал вам, здоровью вашему можно только позавидовать. Через два дня на ногах будете. Вместе с вашим «Павлом».

Скоро москвичи снова увидели старого солдата на Тверском бульваре. Он шагал, раздувая белые облачка усов, опираясь суковатой палкой о прогретую солнцем землю, часто останавливаясь, прикладывая руку к груди и чутко прислушиваясь.

Это он не сердце — часы свои слушал. Ожившие часы Первой Конной.

Он шел и не знал, как внимательно следил за ним из окна поликлиники доктор и тоже, прижав руку к груди, слушал — не часы, а сердце, учащенно бившееся от волнения и счастья.

ЕЛАГИН

Недавно довелось побывать мне в гостях у моего знакомого Николая Васильевича Елагина, жителя Можайска, инженера-гидростроителя.

Старинный дом, в котором живет Елагин, стоит при самом въезде в город — белым фасадом к дороге, ведущей в Бородино.

Много на своем веку видели окна этого дома!

Когда-то в гремящей походной коляске, окутанной облаками пыли, промчался мимо них Кутузов. Торопил ездового:

— Давай, давай! Перехватим врага от Москвы подале!

От самого Питера гнал коней, только у Царева Займища спешился фельдмаршал. Теперь коляска его в музее под стеклянным колпаком стоит — старенькая, спицы поломаны, а дорожке ее нет для русского сердца ни одного экипажа на свете.

Два раза мимо этих окон французы протопали:

— Туда и... обратно!

Два раза немцы:

— Сперва на Москву, потом к чертовой матушке!..

Я все это слышал уже и раньше — не первый раз у Елагиных, — но хозяин рассказывает всегда так упоенно, что перебить его не решаюсь. Да и кто бы решился, — говорит, а сам покручивает опаленный временем ус, да поглядывает в окошко, за которым, так и кажется, вот-вот промелькнут гвардейцы Кутузова, да поглядывает на белую стену, с которой из массивных багетовых рам задумчиво улыбаются москвичи-танкисты.

— Герои, орлы! Хорошие были ребята...

Ночью мы долго еще говорим с Елагиным о Бородине, о русском воинстве, о славе нашего оружия, а утром, когда на весь Можайск начинают хрипло голосить петухи и вспыхивают надраенные солнцем купола древнего собора, хозяин предлагает:

— Съездим в Бородино? Там все увидишь и все узнаешь.

Я бывал в Бородине до этого уже много раз, но отказать от предложения невозможно.

— Сам объясню тебе всю историю.

В этом «сам» столько гордости и столько неизъяснимого чувства, что я всегда соглашаюсь:

— Едем!

Как обычно, осматриваем на Бородинском поле все уголки и все складочки. Забираемся на земляные валы Багратионовых флешей, ходим по утрамбованному пятиугольнику Шевардинского редута, трогаем шер-

шавую бронзу трофейных стволов, нагретых на последнем осеннем солнце так, будто они еще не остыли после жаркого боя. На стволах читаем далекие даты, которые почти совсем уже зачеканило неумолимое время. Молча стоим у сложенных пирамидами чугуновых ядер, отшумевших в 1812-м, у бетонных дотов, исклеванных танковыми снарядами в 1941-м...

Возле нас то справа, то слева вырастают пестрые толпы экскурсантов. Елагин настойчиво тянет меня подальше от них, подальше от экскурсоводов, громко и красиво говорящих о сражениях, дважды прокатившихся по этой земле. Я всегда думаю: почему? Ревнует? Завидует хорошим рассказчикам? Ну конечно же: он ведь не так речист, где ему тягаться с работниками музея, у которых каждое слово заранее взвешено и обкатано на разных ученых советах.

Случай помогает мне узнать и другое.

— Товарищ Елагин, вас к телефону! — окликает моего спутника какая-то девушка, когда мы проходим мимо нового флигеля музея.

— Меня? Вот не вовремя! — с досадой вздыхает Елагин и, извинившись, быстрой, почти военной походкой направляется к сверкающему белизной зданию. — Отдохни чуток, я сейчас вернусь.

Еще через минуту я оказываюсь в шумной толпе людей, высыпавших из подкатившего к музею синего автобуса.

Экскурсовод сдвигает на лоб темные противосолнечные очки.

— Ну что ж, товарищи, здесь в основном и заканчивается осмотр Бородинского поля. Какие будут вопросы?

— Все ясно и так! Спасибо большое!

Экскурсовод, помолчав, протягивает вперед руку и как бы невзначай добавляет:

— А вот здесь в сорок первом били немцев партизаны Елагина... — С минуту молчит и еще добавляет: — Николая Васильевича. Он и сейчас живет в этих местах, работает инженером по плотине Можайского моря. На обратном пути мы с вами к нему непременно заедем. Только прошу учесть — человек он скромный, о себе распространяться не любит. Вы его о море спрашивайте...

День сегодня воскресный, но Елагин из Бородина

торопится не домой, а на море и опять зовет меня составить компанию.

— Съездим? Порыбачим малость, вместе хозяйство посмотрим.

В прошлом году я был с Елагиным на Можайском море — величественное зрелище! Поняв, что я безоговорочно согласен, он говорит:

— «Зорька» теперь под мотором ходит. Объедем с тобой все затоны!

Порыбалить нам не удастся. Как только подъезжаем к плотине, Елагина окружают какие-то люди, начинают наперебой расспрашивать, как да что, — и о размерах «зеркала», и о запасе прочности дамбы, и о микроорганизмах...

О том, что рыбалка сорвалась, я лично жалею не очень. Вместе с рабочими московского «Серпа», приехавшими сюда на массовку, хожу по пятам за Елагиным, снова и снова слушаю его рассказ о том, как строилась плотина, как преобразится теперь лицо района, сколько миллионов кубометров чистой воды будет сэкономлено для хозяйства области...

Мне все больше и больше начинает нравиться этот человек. Все в нем хорошо — и делом своим увлечен, и работающ, и приветлив. Только вот скромн, пожалуй, чрезмерно. Ведь самый настоящий герой, а держится все время в тени. Решаю при случае сказать ему об этом.

Но подходящий момент выбрать трудно. Возвращаемся с плотины в Можайск, а у старинного дома Елагиных синий автобус! Видно, только-только подкатил.

Елагина окружают экскурсанты. Экскурсовод снова сдвигает темные очки на лоб.

— Николай Васильевич, мы к вам! Учитывая, что день воскресный, всего на пять минут.

— Учитывая, что день выходной, можно и на все десять! Чем могу служить?

— Нам бы о море...

— О море надо бы на море... Ну ладно, заходите в дом, коли на суше встретились, — я вам кое-что и здесь покажу.

В комнату сразу набивается человек двадцать.

Елагин достает пухлый альбом с чертежами и фотографиями, в простенке между двумя окнами вешает рельефную карту района, закуривает.

- В Бородине были?
- Только что оттуда.
- Хорошо. Значит, и без меня знаете — места здешние славные, тут каждый клочок земли кровью русской полит. Ну вот, когда мы плотину строить начали, первым делом всю молодежь на Бородинское поле свезли. Объяснили ребятам, что к чему, чтобы сил у них прибавилось.
- Ну и как?
- Жаловаться не могу, весело строили!
- Ну, еще бы! Вы ж небось сами рассказали молодым о солдатских подвигах?
- Зачем сам? На то у нас есть музей. Там им все растолковали так, что и мне, старику, интересно было послушать. Ну, мы, кажется, отвлеклись от главного. Вернемся к нашему морю...

Елагин говорит, все внимательно слушают и молча посматривают то друг на друга, то на карту района с широко распростершимся по ней крылом Можайского моря.

Хозяин водит тонкой камышовой палочкой по карте, я слушаю вместе со всеми, и мне в эти мгновения кажется, что за окнами елагинского дома, того и гляди, проскачут гвардейцы Кутузова на взмыленных тяжелых конях, а из квадратов багетовых рам вот-вот выйдут к нам москвичи-танкисты.

Вместе со всеми молчу, но в душе сами по себе закипают слова:

«Герои, орлы! Великий и тихий народ России!..»

СНЕЖНЫЕ ГОРЫ

И откуда она взялась тут такая? Каждое утро по Чкварели с лыжами на плечах вышагивает к Снежным горам!

Старики все глаза проглядели, понять не могут, что такое творится.

— Наши деревенские кровь проливают, а эта красота...

Было и впрямь непонятно. Ни свет ни заря, еще и старики-то не все поднялись, девчонка, совсем молодая,

в малиновом лыжном костюме, ладно, ой как ладно сидевшем на ней, чеканила шаг по козьей тропке.

— Нашла время для лыжных прогулок! — все больше и больше сердились старики. — Спросить бы ее: «Не стыдно людям в глаза смотреть?»

Но разве спросишь — в Чкварели с незнакомыми говорить не принято. Вот и косятся старые вслед уходящей девчонке. А Снежные горы покрыты снегом, как им и подобает даже в июльскую пору.

До войны со всей земли тянулись сюда спортсмены. Тогда от малиновых, синих, желтых костюмов рябило в глазах. Но то было мирное время, а нынче... Нет, это просто неслыханно!

— Заур, а Заур! Ты самый старший из нас. Что все это значит, по-твоему?

— Ума не приложу.

— На твоём веку случалось такое?

— Всяко бывает на длинном веку.

— А такое?

— Такого еще не было.

— Луарсаб, а Луарсаб, ты самый догадливый из нас. Куда и зачем ее все-таки носит?

— Я вижу перед собой те же горы, что и вы.

— Сколько верст до них, ты не забыл еще?

— Верст десять, не меньше.

— Ты сам-то бывал там?

— С отцом, когда под обвалом погибли овцы.

— Давно ли?

— Лет пятьдесят уж, пожалуй. С лишком даже.

— Но с тех пор там овец вообще не пасут, ты же знаешь.

— Не пасут.

— Так, значит?..

— Значит, спросите Отара. Он самый мудрый из нас.

— Отар, объясни, пожалуйста, что происходит в Чкварели?

— В Чкварели и на всем белом свете война.

— Вот именно — война. Немец уже у ворот Кавказа! Ты сколько войн перевидал?

— Я, как Луарсаб, половину всего помню только.

— Ну, было в той половине такое?

— Во время войны все бывает. Чего только не бывает во время войны, — уклонился от прямого ответа старик.

Отар был не только самым мудрым — он был еще и самым зорким в селении. Кто-кто, а он-то отлично видел, и уже не один раз, как поздним вечером возвращалась девчонка в Чкварели.

Лыжи по-прежнему на плечах. Но как несла их, как несла! Казалось, сделаны они из тяжелейшего в мире гранита. Костюм из малинового становился бог знает каким и уже не сидел, а висел на опущенных узких плечах девчонки. Сама она, изнемогая от усталости, едва передвигала ноги. Вот-вот сорвется со скользкой козьей тропы.

Но утром все повторялось сызнова. Мимо широко распахнутых от удивления окон Чкварели снова с легкими лыжами на плечах шагала к Снежным горам вчерашняя мученица. Камешки похрустывали под коваными ее каблуками. Этот звук сливался со звуком песенки, слов которой разобрать было нельзя, но по всему чувствовалось — песенка молодая, как сама певунья.

Соседский мальчишка Сосо под большим секретом сообщил как-то Отару, куда держит путь девчонка с лыжами, и старик никому не сказал об этом. Мало ли что бывает на войне!..

Потом девчонка исчезла. День ее нет, второй не появляется, третий...

— Заур, а Заур, куда девалась эта, как ее?..

— Луарсаб, послушай-ка, ты не видал?

— Отар, дорогой, ты, случайно, не скажешь?..

— Откуда мне? И война есть война...

— Отар, ты же самый мудрый из нас, зачем говоришь такое?

— А я ничего не говорю. Мудрый так мудрый, пусть будет по-вашему.

— Как же узнать все-таки? — не унимались старики.

Отар выпрямил согбенную спину, посмотрел в сторону Снежных гор и сказал:

— Вот вы все спрашиваете самых старых, самых ветхих, самых горбатых. Хорошо ли это? Так вы ничего не узнаете о девчонке.

— Кого же нам спрашивать, как не самих себя? Кроме нас да старух, никого не осталось в деревне.

— Спросите-ка лучше Сосо.

— Какого еще Сосо? Память твоя начинает сдавать, Отар. Лет сорок назад твой покойный отец пил чачу на его поминках.

— Не сбивайте меня и слушайте внимательно, что вам говорят. Другого Сосо спросите — мальчишку... Да, да, пострела и шалопая, если вам угодно, и все-таки именно его, Сосо, спросите. — Он таинственно улыбнулся и подумал: «Если я вам скажу, что девчонка тренирует в горах лыжные батальоны для фронта, вы же мне все равно не поверите? Не поверите».

— Ты смеешься над нами, старик. Смеешься?

— Спросите Сосо, я вам говорю: он самый молодой в Чкварели!

ОПЕРАЦИЯ «ГОЛУБИ»

Нас по-братски принимали однополчане — польские солдаты, с которыми мы били гитлеровцев. Уже через час после приезда в Варшаву мы возлагали венки к монументам Воинской славы, называли имена героев — поляков и русских. За один день исколесили город вдоль и поперек — так много оказалось здесь дорогих нам и памятных мест.

На рассвете следующего дня сели в самолет, чтобы побывать в других концах республики, где вместе пролили кровь русские и поляки.

Первая посадка — в Гданьске, тоже много вынесшем на своих плечах в годы войны.

Еще издали, на вираже мы увидели, как огромен и красив город, утопающий в раннем утреннем тумане — розовом от первых солнечных лучей, зеленом от множества садов, голубом от неба, поменявшегося местами с морем.

Я заметил, польские города тем отличаются один от другого, что каждый из них еще прекрасней того, в котором ты только что побывал. Многое тут, конечно, зависит от настроения, с которым едешь. И, разумеется, от попутчиков. Настроение было приподнятое, праздничное, ну а на людей мне всегда везет. Одним словом, все складывалось самым лучшим образом.

С аэродрома в автобусе «мерседес» нас повезли по улицам, еще досматривавшим последние сны. И дома, и сплошные сады, проплывавшие за стеклом «мерседеса», казались необитаемыми. Минут через сорок мы очутились во дворе особняка, тесно окруженного деревьями.

Получив ключи с гирьками, выточенными из бронзы, мы разбрелись по выделенным нам апартаментам, и каждый обживал свое новое жилье. Брились, чистились, приводили в порядок ордена. Я спустился во двор погреться на солнце и стал кормить голубей, сонно расхаживавших по внутреннему дворику особняка.

А внутри дома уже звучал тихий голос белоголовой от седин пани Ирэны, сзывавшей нас на завтрак и уже успевшей, оказывается, выработать график нашего «пребывания в Гданьске» — документ, где все строго рассчитано по минутам. Такова уж участь всех, кто отправился в заграничную командировку, особенно если к тебе приставлена такая вот пани Ирэна, богиня организованности, четкости и работоспособности, беспощадная к себе и другим.

Скоро «мерседес» уже мчал нас в воинскую часть, где в тот день принимали присягу молодые воины, — то была церемония, в которой мы, воины бывшие, непременно должны были участвовать. Потом мы оказались гостями моряков, людей трудолюбивых и хлебосольных. От них путь наш лежал в музей, где собраны изделия искусных кузнецов и мебельщиков, потом — в другой музей, посвященный истории и расположенный в готической ратуше, с башни которой, как из кабины самолета, нам открылась вся великолепная панорама города. Только теперь все красоты его приблизились к нам, стали почти осязаемыми. Мы увидели известный на весь мир фонтан Нептуна, костел святой Девы Марии, старинный подъемник на Мотлаве.

Можно было бы бесконечно любоваться этими чудесами зодчества, если бы пани Ирэна не поглядывала на свои мини-часики, хотя самой ей, видевшей все это десятки, если не сотни раз, хотелось, готов поручиться, побыть тут вместе с нами еще хоть самую малость.

Но мы мчались дальше. По уверениям Ирэны, нельзя было не съездить в Оливу, один из живописнейших районов города, в Оливу, славящуюся своим кафедральным собором с органом, сооруженным в XVIII веке, не послушать волшебных звуков его музыки. И через некоторое время мы убеждались воочию — пани, как всегда, права: Гданьск без Оливы просто не Гданьск.

На исходе дня мы, довольные, переполненные впечатлениями, очутились в ресторане с уютными краснокирпичными стенами. Нас ждал обед — торжествен-

ный и обильный. В центре стола в крахмальных сугробах белоснежной скатерти были водружены два флажка — советский и польский. Начались тосты. Тоже торжественные и тоже обильные. Даже я, человек непыющий, раза два-три ожег губы тяжелым льдом хрусталя. Все это было, конечно, вполне естественным: бойцы вспоминали минувшие дни... Пани Ирэна и та заговорила громче обычного, бразды правления, однако, в руках держала по-прежнему надежно и крепко. А увидав, что все порядком устали, подала команду, приведшую нас в восторг:

— Ну а теперь, паны, целый час свободного времени! Ровно час. Кто куда, паны, кто куда...

Мы именно так и поступили. Одни поспешили за сувенирами. Другие посчитали разумным просто побродить в тени каштанов, подышать горячим, но свежим воздухом. Я и тут отыскал голубей, которых люблю сызмальства. Устроился на скамеечке рядом с ними и стал наблюдать. Особенно понравился мне мохноногий красавец, белогрудо и важно вышагивавший по раскаленной брусчатке площади, на которой в тот миг для меня не было никого, кроме голубей. Голубей моего далекого детства.

Я мог бы просидеть тут, на краю этой площади, целую вечность. К сожалению, дело подошло к вечеру, голуби начинали поглядывать на карнизы домов, что приютят их до следующего дня. Да и отпущенный Ирэной час незаметно подобрался к концу. Бросив прощальный взгляд на пернатых, я двинулся к автобусу. «Мерседес» стоял на своем месте, правая дверца машины, я заметил это еще издали, была приоткрыта, приглашая к посадке. Но, подойдя поближе, я не без удовольствия установил, что воротился раньше всех. Водитель сладко дремал, откинувшись на удобном сиденье. Стало быть, решил я, в моем распоряжении есть еще с десятков минут, и снова взял курс на облюбованный мной уголок площади. Она встретила меня аплодисментами последнего отлетавшего голубя — вечер наступил.

Ближайший магазин с сувенирами, к которому я было направился, оказался уже закрытым, и я, постояв у витрины, за которой занималась неоновая радуга, зашагал обратно. Неожиданно налетел дождь, так что я уже не шел, а бежал. Нет худа без добра, думал я на бегу, не ровен час заставлю ждать всю честную компанию.

Однако никого ждать себя я не заставил: только свежий вафельный след покрышек на мокрой брусчатке остался от автобуса, когда я примчался к месту нашего сбора...

Первые несколько мгновений мне было весело: я представлял себе, как дружно будем все хохотать после того, как, «недосчитавшись» меня в дороге, вернутся мои однополчане. Надо только ни в коем случае никуда не уходить, решил я, не прятаться от дождя, который, кстати сказать, все усиливался.

Прошло десять минут. Потом двадцать. Потом сорок... Этого времени мне хватило для того, чтобы уяснить очень, в сущности, простую вещь: меня забыли всерьез и надолго. Я наглядно представил себе, как, подгоняемые ненастьем, ворвались мои друзья в автобус, как запели «Подмосковные вечера» или «Шумел сурово брянский лес» и умчались куда-то на край города, к гостеприимному особняку, а там «переклички» не провели, разбрелись каждый по своим хоромам и теперь будут дрыхнуть как суслики до самого утра.

Особенно ясно стало мне все это на исходе второго часа, когда дождь уже не шел, а бушевал над бедной непокрытой моей головой. Хорошо еще, что в предвиденье жаркого дня пиджак оставил утром на вешалке в шкафу, прикидывал я, иначе плакали бы и мои документы.

Шутки шутками, но стало мне неуютно и грустно в уютном, прекрасном городе. Конечно, надежда на то, что кто-то из моих попутчиков спохватится, не покидала меня. Еще битый час согревала она мое сердце.

Было уже совершенно темно, дождь хлестал не переставая, на мне давно не было сухой нитки, даже сигареты раскисли в кармане и спички перестали быть спичками. Я начал помаленьку вспоминать губернатора, у которого в свое время, как известно, возникла сложная ситуация. И, как это ни странно, не мог в точности припомнить, что же именно с ним приключилось.

На нелегкой вахте своей я мрачно думал только об одном: как выйти из положения? Может быть, обратиться куда-нибудь? Куда? К кому? А если в милицию? — мелькнула наконец более или менее удачная мысль. Впрочем, удачной она казалась только на первый взгляд. О чем скажу я там? Что объясню? И как?

Русский, конечно, многие тут поймут, но ведь прежде всего меня спросят, в какой гостинице нас поселили. Я не знаю элементарного. И все-таки — в милицию, решил я, там люди опытные, помогут. На мое счастье в этот миг где-то в глубине площади, которую я уже назвал площадью Моих Страданий, показалась машина с пульсирующим синим фонарем. Я кинулся на этот огонь. Из машины меня заметили, раздался характерный визжащий звук тормозов, обычно взвинчивающий нервы пешехода, а тут показавшийся мне мелодией самого Шопена. Дверца приоткрылась, изнутри раздался спокойный голос:

— Цо пан себе жычы?

— Не могли бы вы впустить меня в машину? — спросил я.

— Прощэ сядаць! — дверца распахнулась шире.

Ноги в туго спеленавших меня мокрых брюках не желали слушаться, и я воспользовался приглашением с великим трудом. Человек в милицейском кителе минуту-другую разглядывал меня, потом повторил свой вопрос.

Безбожно коверкая слова, я попытался составить первую фразу:

— Мы... я пшиехалэм зе звёнску радзецкого...

Впрочем, получилось, кажется, сносно, хотя, конечно, мало убедительно. Весь вид мой, все мое состояние не могли не удивить самого бывалого человека. Отвечал он тем не менее учтиво:

— Слухам пана.

Вторая фраза далась тоже с большим трудом, хотя смысл ее, как мне казалось, был предельно прост:

— Я отстал от группы, пан. Цо мам робиць?

— Отстал? А где она, ваша группа? В каком хотелю? Яки ест пана адрэс?

Я знал, что именно с этих вопросов начнется наш разговор, и беспомощно развел руками.

— Адрэса не знаю, живу не в гостинице.

— Не в хотелю? В приватном дому? — попытался уточнить мой собеседник.

— И не в приватном. Нас поселили в каком-то таком доме, вроде особняка, понимаете? Мы обедали в ресторане вон в том переулке, потом пошли гулять по городу, потом я отстал, автобус ушел без меня. Красный такой «мерседес».

— Аутобус? Чэрвоный?

— Да, совершенно верно, червонный! — воскликнул я. — Куда бы он мог уехать? Как вы думаете, пан? — задавал я вопросы, один нелепее другого.

Задумчиво покручивая баранку, бросая на меня короткие взгляды, водитель машины продолжал говорить со мной предельно вежливо. Только мало утешительного было в его словах:

— Нестэты, не могэ поинформовать. Давайте заедем в комиссариат, пан.

Машина набрала скорость, через несколько минут мы оказались в отделении милиции, где я предстал перед очами еще одного блюстителя порядка, рангом повыше. Началось все сызнава. «Что случилось? Что за пан?» Правда, отвечал теперь больше подобравший меня милиционер, я лишь поддакивал:

— Зе звёнску радзецкого. Отстал от своих. «Мерседес»...

Я стоял перед милицейским начальником мокрый с головы до ног. Он все же предложил мне сесть, но я отказался, глянув на кресло, обитое светлой драпировочной тканью, искрящейся чистотой и свежестью.

— Сейчас разберемся, — сказал начальник. — Пшэпрашам бардзо, покажите, пожалуйста, ваш пашпóрт, — и он протянул руку через разделявший нас письменный стол.

Никакого «пашпóрта» у меня с собой не было. Вот только визитная карточка, превратившаяся в кармане брюк бог знает во что, полинявшая. Я принялся объяснять: день ожидался жаркий, пиджак со всеми документами был оставлен там, в особняке...

Я виновато переступал с ноги на ногу, от этого стескавшая с меня на пол вода издавала звук, похожий на звук, вырывающийся из-под языка огорченного человека.

Двое милициантов (я уже потом, после этой истории, стал более настойчиво изучать польский и узнал, что милиционер по-польски вовсе не милиционер, а именно милициант) настойчиво искали решения заданной им задачи. Это было не просто. Суббота, время уже ночное, навести какую-либо справку невозможно, хотя начальник во время нашего разговора бесконечно накручивал диск телефона. При этом он постукивал по столу тонко отточенным карандашиком и вздыхал.

— Послушайте, пан, а как вы оказались в нашем городе? — вдруг оживился он. — Кеды пшиехали?

— Мы прилетели самолетом,— четко ответил я с надеждой на то, что все сейчас встанет на свои места.

— Самолетом? — начальник удовлетворенно кивнул головой.— Бардзо добжэ! Кеды?

— Вчера мы все прилетели, пан, в пятницу, ровно в семь утра.

— Откуда?

— Из Варшавы, пан. Всей нашей делегацией. Двадцать поляков и русских.

— Бардзо добже, пан, бардзо добжэ! — явно повеселел начальник и быстрым движением вплотную придвинул к себе телефон, и так стоявший с ним почти рядом.— Сейчас узнаем, откуда был подан за вами чэрвоный аутобус. Момент!

Пока он соединялся с аэродромом, я изучал лица людей, которым причинил столько хлопот. Оба молодые, светловолосые, светлоглазые. Начальник чуть старше, но именно молодой, хотя сквозь светлые волосы его проглядывали местами уже и совсем светлые — седые.

Вот он дозвонился наконец до кого-то, начал подробно объяснять суть дела. Знакомые слова полились в черную раковину трубки в том же порядке: «делегация», «самолет», «радзецкий», «мерседес»...

Когда рассказ начальника был закончен, стал ему что-то объяснять человек, находившийся на другом конце провода. Выражение лица моего хозяина сделалось еще более озадаченным. Подняв на меня строгий взгляд, он произнес сложную фразу, где русские слова еще гуще перемешались с польскими. Смысл этой фразы тем не менее дошел до меня без каких-либо дополнительных разъяснений и сводился к следующему: никакого самолета из Варшавы вчера, то есть в пятницу, не было. Ни в семь утра, ни в какое-либо другое время. И быть не могло. В пятницу вообще нет самолета из Варшавы.

По-моему, начальник добавил при этом: «Вы что-то путаете, пан». А может быть, мне послышалось. Во всяком случае, он резко откинулся на спинку стула, и жест сей был красноречивее многих слов и на польском, и на русском языках.

Я отрешенно плюхнулся в кресло, сиявшее стерильно чистой светлой драпировкой, и пробормотал что-то вроде:

— Надеюсь, вы мне верите, пан?

Подумав, он ответил:

— Повторяю, такого рейса не существует ни в пятницу, ни в какой-либо другой день.

Помолчав с минуту, начальник сказал слова, расстроившие меня еще больше:

— Послушайте, пан, а вы точно знаете, что прилетели именно в наш, а не в какой-то другой город?

Вся эта история, конечно, давала основания задать еще и не такие вопросы!

Я медленно поднялся с кресла, на обивке которого остался след такой темный, будто в нем сидел трубочист, только что выбравшийся из кирпичной своей преисподней, и мысленно выругал себя. Теперь уже на чисто русском, на сугубо русском языке.

— Пан, извините, бога ради. Может быть, нам дали специальный самолет, не рейсовый, понимаете? Не рейсовый.

— Не рейсовый? — переспросил замороченный мною начальник. — Так чего же вы, пан? Надо ж звонить совсем на другой аэродром!

Однако дозвониться до «другого» было не так-то легко. Беспрерывно вращался диск телефона, пока наконец не соединились с тем, с кем нужно. Разговор получился, однако, совсем короткий — два-три слова, и трубка — на рычаге.

«Неужели я мог что-то напутать? Может, не в семь? Или не в пятницу, а в четверг?»

Начальник постарался успокоить меня. Как мог, конечно. Сочувственно вздохнув, он сказал:

— По телефону никаких справок не дают, пан. Приезжайте, говорят, в понедельник.

Перспектива была для меня малоутешительной. Да и для работников милиции тоже. Хватает небось и без меня чепе по ночам. Чтобы как-то разрядить обстановку, я сказал, что у нас есть фильм «Доживем до понедельника». Шутка повисла в воздухе, хотя у поляков очень развито чувство юмора. Тогда я принялся объяснять все подробно — кто мы такие, откуда, в каком составе и по какому случаю прибыли в Польшу. Мне бы с этого, чудаку, и начать, да разве все сразу сообразишь в таком положении!

Польские слова по-прежнему не хотели меня слушаться, иные выворачивались наизнанку, но все, что я говорил, дошло до милициантов. Начальник, переглянувшись с коллегой, решительно встал со своего места,

приблизился ко мне. Заговорил почему-то извиняющимся голосом, хотя если кто-то и был виноват в произошедшем со мной, так это только я сам.

— Так что же вы, пан? А? Так сразу бы и сказали!

— Сразу так и сказал, собственно, только коротко, — попробовал я оправдаться.

С этого момента я почувствовал себя как в самолете на крутом вираже, когда небо резко меняется местами с морем.

Откуда-то мгновенно появился термос с огнедышащим кофе. Я не стал отказываться — холод от мокрой одежды пробрал меня так, что уже зуб не приходился на зуб. С такой же стремительностью передо мной легла на стол пачка сигарет. Чашкой кофе, обжигаясь, наслаждался пока я один, а закурили мы все вместе.

Когда я согрелся и малость пришел в себя, начальник, глубоко затягиваясь, рассказал мне о том, что его отец тоже воевал с гитлеровцами в этих краях. Дошел до самого Колобжега, где весной сорок пятого были сброшены в Балтийское море последние немецкие дивизии. В Щецине, Свиноуйсьце, Камень-Поморски, Гданьске и Колобжеге пролита его кровь.

— Отца звали Франтишек. Не слышали о таком? Франтишек Соболевский.

Я ответил, что у меня много друзей среди жолнежей Войска Польского, но Франтишека что-то не припоминаю.

— А вас, пан, как зовут? — спросил я начальника.

— Меня? Вы, может быть, будете удивлены, пан, но зовут меня Никита. Так и в паспорте записано, — он дотронулся до нагрудного кармана.

— Никита? — действительно удивился я. — Разве есть у поляков такое имя?

— Теперь есть, пан, — подтвердил начальник, сделав ударение на слове «теперь».

Он стал объяснять мне загадку своего «нетипичного» для поляка имени, но сначала спросил, знаю ли я, что такое Колобжег?

— Около берега? — ответил я. — Ведь бжег — это берег, правильно?

— Правильно, пан, около берега!

Так вот, около самого берега шел жестокий бой с фашистами. Горстка жолнежей, среди которых только его отец Франтишек Соболевский был с пулеметом,

несла большие потери. Кончились боеприпасы. Десятка два патронов оставалось и в пулеметной ленте Соболевского. А он должен был прикрывать отход своих ребят. Так приказал не командир — его уже не было в живых, — сам себе отдал приказ отец. Взобрался на взгорок, на виду у идущих в атаку немцев. Начал бить короткими очередями, в два-три выстрела, а потом стал пугать фрицев пустым пулеметом, наведенным в упор. Остановились фашисты, принялись спешно окапываться.

— Вы сами знаете, — посмотрел на меня начальник, — они чуть что, начинают окапываться. Так?

— Точно, — подтвердил я, — любимое их занятие.

Одним словом, пулеметом без пуль Соболевский заставил немцев зарыться в землю. Ребята тем временем успели за овраг отойти, залегли, чтобы дожидаться помощи от соседей слева, куда был отправлен связной. Так прошло не меньше часа. Потом подоспело подкрепление — сразу и слева и справа. От поляков взвод, а от русских целая рота. Русский командир, ознакомившись с обстановкой, представил Франтишека к награде и тут же вручил ему медаль «За отвагу». Когда попробовали ее прикрепить к гимнастерке жолнежа, она вся под шинелью оказалась черной от крови. Ключица была перебита, из множества других ран, больших и малых, тоже густо сочилась кровь. «Как же ты, друг, пулеметом ворочал? — спросил советский командир. — Ведь больно же?» — «В бою не чувствовал, — ответил раненый, — только сейчас немного». — «Крепкий ты парень, погляжу! — воскликнул командир. — Франтишеком тебя, говоришь, величают?» — «Франтишек Соболевский, — подтвердил поляк, — что?» — «Да так, ничего, для памяти просто. А еще скажу тебе, сынок, если народится у меня когда-нибудь наследник, Франтишеком его назову, не возражаешь? Фран-ти-шеком... — повторил русский несколько раз. — Хорошее имя! Ну, бывай здоров!» — и протянул жолнежу свою руку — всю в бинтах, через которые пробивалась свежая кровь. «А вас-то как зовут?» — спросил жолнеж на прощанье. — «Меня-то? Никитой матушка нарекла, по-деревенски Микита». — «Тоже красиво!» — ответил поляк.

На этом разошлись их пути — Соболевский угодил в госпиталь. Командир Никита повел своих ребят дальше, в бой.

Где теперь спаситель его отца, милициант не знал. Слишком сильные бои были под Колобжегом, мало кто уцелел.

— Есть на свете Красное море,— начальник подошел к глобусу, стоявшему на подоконнике, дотронулся карандашиком до точки в южном полушарии,— вот оно. Кто его знает, почему оно Красное? Но настоящее Красное, Чэрвоное море вот тут,— карандаш переместился в другую точку голубого шара.

Отец рассказывал, и он запомнил это хорошо, хотя был совсем мальчишкой: чэрвоными были волны Балтики.

— Тут, тут и тут. На целых пятьсот километров. От Гдыни и Гданьска, до Свиноуйсьця и Щецина. А сами города лежали в развалинах.

Хотелось бы, конечно, чтобы командир Никита выжил, но война есть война. Давно уже нет в живых и отца Франтишека. Старые раны через несколько лет после войны сделали свое дело. Никому не ведомо, остался ли у русского командира наследник, назвал ли он его, как хотел, красивым польским именем Франтишек. А у жолнежа, спасенного русскими, на третий год после победы сын родился. Дали ему «нетипичное» для поляка имя Никита...

— Служит теперь в милиции,— закончил свой рассказ начальник.

— И угощает одного беспашпортного ночного бродягу горячим кофе и крепкими сигаретами,— сказал я.

Огромный как цистерна термос переходил теперь из рук в руки, табачный дым становился в комнате все более синим и плотным, но и через его завесу я хорошо видел посветлевшие лица моих хозяев.

— Что же нам с вами все-таки делать, пан? — спросил начальник.

— Не знаю,— честно признался я.— Займитесь своими заботами, завтра утром как-нибудь все само собой образуется.

— До ранку еще далеко, пан. Не ночевать же вам в комиссариате?

— А почему бы и нет? Я согрелся, мне хорошо, уверяю вас.

— Нет, нет, нет, пан, это не дело! Так быть не може. Владзимеж! — обратился начальник к коллеге.— Что скажешь?

— Я запрошаю паньства до себе. Уже конец моей смены. Через полчаса будет спать нормальный человек в нормальной постели.

Начальник поддержал эту мысль. Он еще добавил, что с удовольствием свез бы меня к себе, тут вообще десять минут езды, но жена Барбара в больнице, а сам он должен быть на работе, хоть тресни.

От предложения Владзимежа я отказался категорически. Не мог же я в самом деле стеснять незнакомых мне людей. Попросил разрешения докоротать ночь все-таки здесь, в милиции.

— А как же медаль? — воскликнул пан Никита. — Обязательно хотел бы вам показать медаль «За отвагу»! Храним ее столько лет. Может, завтра, после дежурства?

— Завтра мы должны уже улетать. Есть на свете такая пани Ирэна...

— Без вас куда они улетят, пан? Что вы!

И мы все трое опять задумались.

— Что-то надо делать сейчас, — начальник опять потянулся к телефонной трубке, но, глянув на часы, покачал головой. — Послушайте, пан, а не могли бы вы изобразить нам этот особняк? Вот вам бумага — попробуйте.

Я был начисто лишен способности что-либо рисовать и сказал, что в школе по рисованию получал только двойки.

— Тогда расскажите, как он выглядит.

Подумав, я сложил руки так, что пальцы подушечками соединились между собой, образовав «домик».

— Крыша? — спросил Никита.

— Да, пан, вот такая, горбыликом. Покрыта красной черепицей.

— Таких домов много, очень много, пан. А еще?

— Стены белые. Совершенно белые, пан.

«Таких сооружений тоже предостаточно всюду в польских городах», — ответил я самому себе.

— Ну еще хоть что-нибудь, пан. Прощэ!

— Во дворе были голуби... — вымучил я.

От этой «детали» мне самому стало смешно. Я вспомнил случай, связанный с детством. Нас, пятерых мальчишек одного двора, вели в школу, в первый класс. Каждый должен был запомнить какой-нибудь ориентир, чтобы самим найти дорогу обратно. Все мои сверстники остановили внимание на чем-то действительно

приметном — на заводской кирпичной трубе, круглой арке над чугунными воротами, покосившейся тумбе для афиш. «А ты? — спросили меня. — Ты что заметил?» — «На мостовой сидели два голубя, — ответил я. — Они клевали рассыпанный овес...» Потом года три дразнили меня в школе этими голубями!

Никита и Владзимеж долго не могли справиться с приступом смеха. Смеялся и я с ними, потом вдруг припомнил еще, что особняк имеет три этажа и утопает в зелени.

По реакции моих собеседников было ясно, что и тут нет ничего, за что можно было бы ухватиться.

— Ну, может быть, еще вот что, — робко продолжал я, — напротив дома — трамвайные пути.

— Так, так, так, пан! Это уже нечто... — в голубых глазах Никиты сверкнула какая-то идея. Он подошел к карте города, распростершемуся во всю стену кабинета. Постоял несколько секунд в задумчивости и, обернувшись ко мне, пояснил свою мысль:

— В городе девятнадцать трамвайных маршрутов. — Он провел карандашиком по одной из извилистых линий, пересекавших карту из конца в конец. — Будем возить вас, пан, вдоль всех этих путей, пока не найдем то, что нам нужно. Владзимеж? Что скажешь?

Коллега Никиты нерешительно поднялся со своего места.

— Попробуем...

— Как это у вас говорится? По коням? — спросил начальник.

— По коням, — неуверенно ответил я. Слишком тусклой показалась и мне вспыхнувшая перед нами звездочка.

А пан Никита уже отдавал команды. Владзимеж садится за руль, пан — рядом с ним. Начинается операция прочесывания города, операция, которой мы, соревнуясь в остроумии, дружно дали кодовое название «Голуби». Сам Никита остается в комиссариате и ждет наших сообщений.

Мы с Владзимежем вышли на улицу. Дождь все еще не унялся, но немного поубавился. Это было очень кстати. Мы забрались в машину и тронулись. Окна сразу же запотели, особенно, как мне показалось, правое, возле которого сидел я и через которое должен был бдительно осматривать каждый белый трехэтажный дом.

Владзимеж объяснил мне — ехать будем медленно, чтобы не проскочить то, что ищем.

Сколько я ни вглядывался в поминутно протираемое рукавом стекло, все дома, проплывавшие мимо, казались мне одинаково серыми. Лишь изредка неоновый свет выхватывал из темени белую стену или белый фронтон, я впрессовывался в стекло, но понапрасну — либо этажей оказывалось больше, либо крыша не возвышалась «горбыликом», либо не росло возле дома ни единого деревца.

Так прошло часа полтора. Мы избороздили город чуть не во всех направлениях. В глазах у меня начинало рябить, веки смежала усталость. Если бы не бдительный Владзимеж, все время подбадривавший меня то сигаретой, то анекдотом, я бы, наверно, уснул.

На исходе второго часа Владзимеж сказал, что дождь совсем стихает, что скоро начнет светать и тогда-то уж мы непременно выйдем на цель. Слова эти энтузиазма мне, увы, не прибавили. Уныло шарил я взглядом по встречным домам, по палисадникам, по мокрым окнам и покатым крышам.

Так могло продолжаться до второго пришествия. На какое-то, как мне показалось, совсем краткое мгновение я действительно задремал, сладкая истома обдала меня предательски теплым дыханием, перед моим мысленным взором, размытые дождем и туманом, возникли очертания белого трехэтажного здания, стоявшего в глубине сада. Вздвогнув и поняв, что бессовестно спал, бдительно прилип к холодному вибрирующему стеклу и в тот же миг совершенно ясно, но уже не во сне — наяву увидел где-то за кустами акации совершенно белое здание в три этажа, завершавшихся островерхой крышей...

— Стоп!.. — закричал я. — Это здесь!

Взвизгнули тормоза. Владзимеж недоверчиво спросил:

— А може, вы еще спите, пан? Я же видел, вы задремали.

— Уверяю вас, пан, это как раз то, что нам нужно!

Владзимеж провел рукой по глазам, словно снимая с них пелену, мешавшую видеть.

— Так вот в каком будынку вы живете! Это ж у нас будыняк для таких гостей, для таких гостей, пан...

Обогнув чугунную ограду, мы въехали во двор. В дальнем углу его, омытый дождем и первыми каплями зари, сверкал борт красного автобуса.

Я крепко пожал руку Владзимежа, попросил его пройти за мной в дом. Он ответил, что в такой час ему неудобно беспокоить людей, и никакие мои уговоры не привели ни к чему. Даже составленная мною по-польски фраза «запрашаю паньства до себе» не поколебала Владзимежа.

Я расстроился, но делать было нечего.

— Тогда подождите меня, пожалуйста, здесь несколько минут, можно? Я должен как-то отблагодарить вас и пана Никиту.

Он закрутил головой.

— Дежурство, пан, дежурство!

— Вы же часа два назад объявили — смена кончилась?

— Я должен еще сообщить пану Никите, что все у нас с вами в полном порядке.

Он именно так и сказал — «у нас с вами».

Я настаивал:

— Всего две-три минуты, пан, не больше. Очень прошу вас.

С этими словами я взбежал по каменной лестнице, нажал на кнопку звонка. Заспанный привратник, открывая дверь, смерил меня удивленным взглядом, но расспрашивать почему-то ни о чем не стал, и я быстро прошмыгнул на второй этаж в свою комнату, а оттуда мигом обратно с целой охапкой сувениров, которыми запасся в Москве на всю поездку.

Как я ни спешил, милицейской машины во дворе уже не было. Я выскочил на улицу — синий огонек пульсировал уже совсем далеко и через какие-то секунды растворился в тумане.

Расстроенный, я снова поднялся к себе. Проходя мимо привратника, спросил его, не искал ли меня кто-нибудь.

— Нет, пан. Вы же совсем недавно погулять вышли? Так? Дождь кончился, почему бы не подышать чистым воздухом перед отъездом? Еще целый час в вашем распоряжении, пан.

Поняв, что спать уже не придется, я переоделся и едва успел побриться, как в дверь постучали, раздался знакомый голос, и в комнату вошел один из моих друзей.

— Ну ты даешь, пан! Сколько можно? Так проспшишь все царство небесное! Вчера хотел вытащить тебя сперва к ужину, потом к телевизору. Все мослы об твою дверь обломал. Наши с испанцами ночью сражались. Но ты такого храпака задавал — даже люстры звенели. Счастливый человек! А мне на новом месте плохо всегда спится.

— Как сыграли-то? — перебил я приятеля.

— Продули, дьяволы, — досадливо крикнул он. — И что самое обидное, на своем поле!

— Значит, я ничего не потерял.

— Ну все ж таки «болеть» веселей, чем дрыхнуть весь вечер и всю ночь. А ты, я погляжу, аккуратист — коечку заправил лучше всякой горничной. Ни морщинки.

— Солдатская привычка, — ответил я. — В каком часу завтракаем?

— Все уже за столом, тебя дожидают. Вещички собрал?

— Тоже по-солдатски.

— Тогда — ноги в руки. Сразу после завтрака отчаливаем.

За трапезой мне пришлось выслушать еще немало едких шуточек. Я принимал их безропотно. Несмотря на усталость после бессонной ночи, настроение у меня было отличное. А тут еще солнце плеснуло лучом по мельхиору столовых приборов, по белоснежному полю скатерти.

В окно я увидел уже хлопотавшую возле нашего автобуса пани Ирэну. Ее серебряная прическа сияла на фоне красного «мерседеса».

Всю дорогу до аэродрома я думал о том, как это все-таки хорошо иной раз заблудиться в незнакомом городе! В большом городе, по улицам которого сейчас мчимся, над которым взмоем через полчаса. Сегодня под крылом самолета он будет, конечно, особенно красив в раннем утреннем тумане — розовом от первых солнечных лучей, зеленом от раскинувшихся внизу садов, голубом от неба, перемешанного на горизонте с морем...

Недавно я получил из Польши письмо, написанное незнакомым почерком. Вчитываясь в убористые, «русско-польские» строки, не сразу понял, что автор их — пан Никита из города Гданьска.

Как нашел он меня? Очень просто. Размокшая моя в ту ненастную ночь визитная карточка подверглась в семье Никиты основательной реставрации. Установив наконец точно и определенно, «яки ест нана адрэс», он и пишет это письмо. Запрошае до себе, шлет привет самый сердечный — и от себя, и от выздоровевшей жены Барбары, и конечно же от коллеги Владзимера, который, кстати, просит извинить его за то, что не смог подождать меня тогда утром возле дома под чэрвоной череницей: торопился доложить начальству, что операция «Голуби» прошла успешно.

БЕССОННЫЕ НОЧИ

Крапивину опять не спалось. Сперва слишком громко лязгали за окном колеса последних трамваев. Потом где-то далеко, за каменной громадой домов, долго, надсадно лаяла собака. Потом ни с того ни с сего старые раны заныли. А вдобавок ко всему вспомнилась одна ветеранская встреча.

Они сидели в этой комнате — на стульях, на кушетке и даже на кровати, ибо кворум был полный: весь «наличный состав» воздушно-десантной дивизии, в рядах которой приняли они боевое крещение в самом начале войны. Каждому выпали потом разные задания и маршруты — кого в Белоруссии сбросили, кого под Питером. Крапивина как опытного радиста — на подмогу к украинским партизанам, в хорошо знакомых ему с детства местах. После победы солдаты сорок первого, самого трудного, года сыскали друг друга и теперь держатся «кучно», как и положено парашютистам. Из разных городов съезжаются. Встретятся — нет конца разговорам...

Крапивин рад, что дороги товарищей по оружию сходятся именно в его доме, который давно уже нарекли штабом десантной дивизии. Сам-то он не особо любит ворошить былое — не всем ведь и не всегда улыбалось военное счастье. Уж кто-кто, а он в точности знает: далеко не всем, далеко не всегда. К таковым относит он себя в первую очередь, но в тот вечер, поддавшись общему настроению, завел вдруг разговор про забытую всеми историю о том, как послали его однажды в разведку под Колочью и что из этого вышло. А вышла про-

стая в сущности вещь — Крапивин ночью проник в расположение танковой дивизии немцев, выкрал там «тигра» и на нем прикатил к своим. За операцию эту была выдана парашютисту медаль от командования. На лицевой стороне медали — чеканка: «За отвагу».

Кто-то из дружков поддакнул:

— Точно, старик, было такое дело под самой Колочью! Да и в партизанском отряде ты, сказывают, давал жизни герману!

А внук Крапивина, студент филфака Шуренок, как ласково звали его все в доме, услышав дедов рассказ, воскликнул:

— Тебе бы, дед, все такое вот записывать, записывать! Колоссально, нет, это просто потрясно!

Шура поднял на деда восторженные глаза, а Крапивин, смутившись, осекся и не проронил за весь вечер больше ни слова.

С тех пор, когда соберутся снова дружки и зайдет речь об боях-походах, Крапивин других слушает, на внука поглядывает (а он непременно уж тут как тут), сам же в разговор не вступает, будто и не был на Великой Отечественной.

Он понял в тот вечер: любит внук деда, души в нем не чает, вот и высказался. И слово-то какое выкопал — «потрясно»! На самом же деле старому, да и малому было, конечно, совершенно очевидно: ничего «потрясного» нет в дедовой судьбе. Только вот с «тигром» однажды и повезло. А до «тигра» и после него одни сплошные неудачи — контузии да ранения, санбаты да госпитали.

Так или иначе, стали с той поры всплывать перед Крапивиним-старшим случаи, где ничего «потрясного» уже не было и в намеке.

Чаще всего перебирал солдат в памяти все, что произошло с ним зимою в заболоченном Черном лесу. Леса, можно считать, уже не существовало — все было спалено кругом, все с корнем повывернуто, а немцы со свойственной им обстоятельностью продолжали минометный обстрел. Горстке партизан податься некуда: впереди река, сзади — другая; обе бурлят ледяным крошевом. Головешки сбитых, обструганных огнем и металлом деревьев вновь и вновь взлетают в воздух, опять и опять с шипеньем и стоном плюхаются в снег и воду.

Понимали фашисты — не до самого конца доколотен отряд, за которым охотились целый месяц и

который причинил им столько хлопот. И, в общем-то, не ошибались: жизнь на том пятачке каким-то чудом все еще теплилась. То там ворохнется человек, то здесь.

— Ты, что ли, стонешь тут? Эй! Живем, значит? — в просвете между двумя артоналами услышал Крапивин донесшийся из-за ближней коряги осипший, хорошо знакомый голос.

Голосу тому Крапивин очень обрадовался:

— Я, Скороходов! Тяну помаленьку, но горячее на нуле. Кровь снегом останавливать можешь?

Скороходов, чуть высунувшись из своего укрытия, сказал, что дело это привычное.

— Тогда ползи как-нибудь сюда, — попросил Крапивин, — и поскорей, если можно.

— А вот ползти не могу, пробовал. В живот раненный.

— Эх, горемыка ты, горемыка! — вырвалось у Крапивина. — Скороход называется...

— Не говори! Но думаю дотянуть до прихода наших. Командир третьего дня сказывал, будто идет подкрепление. Хорошо б дотянуть, а? Твоя думка о чем, ежели не секрет?

— Какие могут быть секреты у смертников? — ответил Крапивин. — Забыли про нас, Скороходов, забыли. Есть, видать, и поважнее дела.

— Ну это ты брось, Крапива! — одернул его Скороходов. — Дурацкие разговорчики. На-ка, покури лучше, может, полегчает.

Недалеко от Крапивина шлепнулась в болотную жижу пулеметная масленка о двух горлышках. В таких они держали махорку, чтоб не отсырела. Достать масленку Крапивин, однако, не смог, сколько ни пытался.

Узнав об этом, Скороходов выругался:

— Мазила! Ни себе, ни людям. Вот и покурили мы с тобой, вот и полегчало...

— Полегчало, — согласился Крапивин. — Ему и в самом деле стало почему-то лучше, и он еще раз попробовал дотянуться до масленки. Острая боль в боку опять не пустила его. Преодолевая мученья, Крапивин все же чуть приподнялся на локтях, спросил Скороходова: — Остальные-то как? Хоть кого-нибудь видишь? Рябов где? Вон там ведь, у самой воды, маячил. Кликни его, от тебя вроде поближе. Может, худо ему?

— Санитар его уволок на плащ-палатке. Колея осталась. Ши-ро-окая! — не очень удачно соврал Скороходов.

— Санитар, колея! — рассердился Крапивин. — Чего шарики вертишь? Откуда взяться тут санитару?

— А я тебе говорю, уволок! Верно слово, сосед... — Скороходов задумался на мгновение, потом почему-то добавил: — Сосед слева.

Собственно, не «почему-то», а по очень ясной причине. Сегодня, десятки лет спустя, Крапивин понял это лучше, чем понимал тогда. На военном языке слово «сосед» всегда вселяет надежду в солдатское сердце. «Сосед справа», «сосед слева» — будто много еще своих вокруг. Куда ни повернись — все свои и свои. А коли так, значит, нужно держаться, не все, стало быть, потеряно, хоть порой трудно дальше некуда.

— Послушай, Крапива, чего все же желает душа твоя в этот час? — не унимался Скороходов. — Только честно, все как есть выдай. Ну!

— Ежели честно, о наркомздраве господа бога молю, — без колебаний «выдал» Крапивин.

— О чем, о чем?.. — не понял или притворился, что не понял, Скороходов.

— О наркомздраве, — повторил Крапивин. — А коли желаешь все до конца знать, то и о наркомземе.

— Теперь уж совсем туман — наркомздрав, наркомзем... Куда загинаешь?

Минуту-другую они молчали, прислушиваясь к еще стоявшей вокруг тишине. Потом до Крапивина снова донесся хриплый голос:

— Неужто и впрямь решил концы отдавать? Тряпка!..

Больно резануло это Крапивина, до сих пор помнит. Хорошо еще, что нашелся, ловко ли, не ловко, но кое-как вывернулся:

— Перво-наперво о санбате думка моя, я же ясно сказал. А уж по самой крайности — о сырой земле. Во вторую очередь, стало быть, о ней. Теперь сварил?

— Во вторую, во вторую! — не то проговорил, не то прорычал Скороходов. — Соображать надо, потом говорить! Соображать...

Скороходов запнулся на полслове — небо, давшее было раненым короткую передышку, пуще прежнего заскрежетало железом.

Больше не слышал Крапивин Скороходова, как, впрочем, не слышал и не видел уже ничего происходившего вокруг, словно провалился в глубокую воронку от взрыва — на самое дно...

Сколько еще били фашисты по лесу? Час? День? Два? На эти вопросы нет и уж никогда не будет ответа, хотя Крапивин до сих пор напрягает всю свою цепкую солдатскую память.

Он помнит только, что очнулся от тишины и света. Да, именно так — в чувство привели его абсолютная тишина и яркий солнечный луч. В первые секунды даже подумалось — что-то случилось со зрением и слухом. В действительности же, как очень скоро понял Крапивин, у него было отнято все, кроме способности видеть и слышать. Он не мог шевельнуться, не в состоянии был изменить нелепой позы, в которой оказался, очевидно, в результате еще одного взрыва, швырнувшего его спиной на огромное бревно, косо вздыбившееся над месивом из воды и снега.

Когда глаза начали привыкать к свету, а уши — к тишине, Крапивину стало ясно: он видит и слышит лучше, отчетливее, чем когда-либо. Какое-то сухожилие хрустнуло у него меж лопаток так громко, словно винтовочный выстрел раздался. Далекий подлесок на взгорке за рекой возник в глазах с такой явственностью, что можно было различить чуть не каждую его буро-зеленую хвоинку. Раненый насторожился. Теперь со своей «вышки» он получил возможность увидеть, откуда так долго долбили фашисты по остаткам его отряда. Интересно, думал Крапивин, ушел немец или затаился, ждет, не подымутся ли недобитые им партизаны?

«На всякий случай в оба смотри, Крапивин, изготвься к стрельбе, ты ведь стрелок-отличник и десятка вроде не робкого».

Он, разумеется, точно так бы и поступил. Изготовился бы, и пришла бы к нему вся его партизанская выучка, только вот... Крапивин застонал от обиды и злости, когда почувствовал: еще больше занемели руки, стали совсем чужими и без того недвижимые ноги. Деревяга он, вроде этого круто задранного кверху обуглившегося бревна, к которому пригвожден осколками, прикипел собственной кровью.

«А позиция ничего, высоко вознесло меня бревнышко! — тем не менее прикидывал Крапивин, пригляды-

ваясь то к одной, то к другой складке противоположного берега.— Вон там, там и там огневые точки врага. Любая из них — в случае чего — у меня под прицелом. Вот пригреет как следует солнышко, отойдут мои руки-ноги,— и знай наших!»

Солнце и в самом деле скоро стало греть совсем не по-зимнему. Тяжелое, красное, оно повисло прямо над Крапивиним, и он все сильнее ощущал его тепло. Однако время шло, а цепи, сковавшие раненого, врезались в тело все сильнее, все крепче прикручивали его к проклятому бревну, которое к тому же вдруг начало непонятно отчего резко вздрагивать, словно под ударами плотницкого топора.

На третьем-четвертом ударе Крапивин понял: засек его снайпер, пристреливается. В буро-зеленой дали подлеска с перерывами и несколько минут вспыхивали и гасли еле различимые при солнечном свете синие искры. Потом долетал звук, и новый удар топора приходился то на один, то на другой конец бревна. Крапивин ясно представил себе, как острая сталь отгрызала от бревна под ним щепу за щепой, словно горбыль стесывала.

Одного пока не мог уяснить Крапивин — издевается над ним фашист, к медленной смерти приговорил или все же расстояние подводит? Ни одна пуля пока не тронула партизана, хотя был он весь на виду — выбирай, куда положить первую и последнюю. «Ну, выбирай, выбирай, дьявол тебя разрази! Человек перед тобой. Какой-никакой, на бревне распятый, истекший кровью, а все равно человек. Давай вколоти поточней, слышь, будь и ты хоть малость, но человеком!»

Мольба эта была наконец услышана в подлеске. Перестали зря щепки лететь. Вот одно плечо обожгло, вот другое. Вот воздухом чуб шевельнуло, потом каждая новая пуля стала куда надо ложиться.

Уже несколько прямых попаданий насчитал Крапивин и стал даже удивляться тому, что все еще жив. А фашист все жучил и жучил. Он в свое цейсовское стекло видел небось, что дышит еще его жертва. «Можно ли с такой дистанции рассмотреть в цейс лицо человека? — пробовал определить Крапивин.— Скорей всего, можно. Иначе с чего бы ему пулять? Видит, паразит, все отлично».

Вот еще одна пуля. Вот еще одна. На пятой или шестой оборвался крапивинский счет...

Провалился партизан еще в одну глубокую воронку, откуда выход был только один-разъединственный. Так бы тому, конечно, и быть, ежели по всем правилам. Только, видно, недаром когда-то матушка ему говорила, будто в рубашке старшенький ее родился. «Старшенький» смеялся, спрашивал: не в холщовой ли, часом? Мать отвечала: в холщовой, сынок, в холщовой, в домотканой, белой как снег. Вот те крест святой, в домотканой!..

И вот еще раз пригрело партизана той зимою солнце. Только было оно уже не красным, а огненно-желтым и висело не над Крапивиным, как в Черном лесу, — пробивалось откуда-то сбоку, сквозь слюдяное окошко, вшитое в жесткий брезент палатки, скользило лучом по лицу, по рукаву холщовой рубашки — домотканой, чистой, белоснежной...

Крапивин лежал, а над ним колдовала медицина полевого госпиталя с уатым врачом во главе. Тот осматривал и переосматривал Крапивина сам. Путаясь в портупеях бесчисленных бинтов, густо пропитанных кровью и темной как деготь мазью, он недоуменно пожимал плечами, а глубокие морщины на лбу у него уползали под шапку-ушанку. Врач делал какие-то записи в книжечке, черкал-перечеркивал их, писал все сначала и в конце концов не удержался, спросил:

— Как же вы выкарабкались такой? На вас же места живого нет!

— Потому, может, и выкарабкался, что ни черта уже не чуял, — спокойно сказал Крапивин. — Он жучит и жучит, я лежу и лежу. Да еще мороз подсобил — стал прихватывать к вечеру. Заморозка, одним словом, получилась. Только сейчас отпускать начинает. Потому небось и болит. Но я вытяну, не беспокойтесь, особо если своих сыщу. Где они, доктор? Скороходов, Рябов? Что с ними? Подобрали их? Они рядом со мной были совсем близко.

— Про Скороходова и Рябова ничего не знаю, не поступали, — ответил доктор, — но наведу справки, непременно наведу. А вы, Крапивин, обязаны вытянуть, если совесть у вас есть: мы на вас все последние бинты намотали. Но, честно говоря, такого количества ранений у одного человека я не видел за всю свою практику. Вы понимаете, за всю практику! — несколько раз подчеркнул врач. — Так что обязаны, слышите?

Крапивин слышал хорошо, еще лучше, чем в Черном лесу. И видел отлично. Со слухом и зрением у него вообще по-прежнему все было в полном порядке. А остальное-прочее наладится, думал он. И действительно приложил все силы к тому, чтобы не подвести людей, ибо совесть у него, конечно, была и по сей день не израсходована вся полностью. Кое-что про запас оставлено.

«Потому-то, наверно, и выдюжил, — думал сегодня, много лет спустя, Крапивин. — Даже раны редко теперь болят — разве что по ночам, и то больше к ненастной погоде».

Лежит вот так, рядовой первой воздушно-десантной дивизии, партизан, на скрипучей кровати поздней ночью, ранним утром — глаза в потолок, думу думает.

Эх, Крапива, Крапива, какой герой из тебя? Горе луковое! Один наркомзем чего стоит! Благодарю судьбу за то, что никто не догадывается о нем, даже Шуренок. Правильно делаешь, что помалкиваешь на ветеранских пирушках, очень хорошо.

И еще хорошо, что весной этой, чуть сошел снег, за многие годы все-таки выкроил времечко, съездил под Колодь, отыскал там Черный лес, который постепенно снова становится лесом. Часа два или три лазил под старыми корягами, между обгоревшими стволами, утонувшими в новой зелени. Узнавал и не узнавал те места, а под самый конец, считай, крупно тебе повезло, Крапивин, — нежданно-негаданно набрел на масленку о двух горлышках. Помнишь, как екнуло сердце? Еще бы! Знал, чудес не бывает — все давным-давно подобрано и переподобрано следопытами или съедено ржой. А эта лежит, обросшая мхом, — и хоть бы что! Поднял, конечно, масленочку, встряхнул у самого уха, услышал знакомый шорох внутри. Ясное дело, и масленка не та, и табачок другой, а все же положил в карман, привез домой единственный свой трофей, поставил на полочку возле кровати.

Обе крышки масленки плотно завинчены, но из-под них просачивается в комнату острый, горький запах недокуренной кем-то махорки. Он-то, скорее всего, и не дает спать по ночам. Не дает сегодня, не давал и вчера. Трамваи, собаки и даже старые раны, пожалуй, тут ни при чем.

Бывают у солдат бессонные ночи.

Впрочем, не только у солдат. Крапивин недавно заметил — у Шуренка свет горит иной раз до утренней зари. С уроками у него вроде бы все в полном ажуре, а он все сидит и сидит за столом, шелестит бумагой, а то и на машинке одним пальцем стучать примется. И так всю ночь напролет. А утром, за завтраком, невыспавшийся, бледный, вдруг спросит, не взялся ли дед записывать, что было с ним на войне. И, услышав очередное «не взялся, конечно», тяжело вздохнет.

— Ну и зря! Очень, очень напрасно. У тебя ж там и в десанте, и в партизанах — герой на героя. Один Черный лес чего стоит, ты не думай, я знаю все. Кстати, на карте его показать можешь?

— Кого? — не поймет дед.

— Не кого, а чего, — деликатно поправит внук. — Черный лес, говорю, хорошо бы на карте увидеть.

— Вон ты о чем! Только на трехверстке — там каждый куст обозначен. У партизан такая карта козырной звалась. На вес золота!

— Вот на козырной и покажи. У тебя в шкафу ворох всяких карт. Ну пожалуйста! Позарез требуется! И напомни, дед, кто был командиром первой воздушно-десантной в самом начале? Кочевой?

— Да к чему тебе все это? — удивится дед.

— Нет, ты сперва скажи, Кочевой? А когда его не стало? После боя под Карловкой? Федюнин? Павел Алексеевич? А комсомолом кто ведал? Тропарев, да? Не путаю? Мне точно знать надо, учти...

— Комсомолом... комсомолом... — Дед наморщит лоб, силясь вспомнить. — Что-то подзабыл я, Шуренок. Тропарев вроде бы.

— Ну как же, дед? Тро-па-рев. Из-под Ленинграда. А после него Васильев Михаил, ростовчанин. Правильно? Его еще все звали Михвасиком. Звали?..

Назадает внук вот так сто вопросов деду, сто задач перед ним поставит и умчится в институт, находящийся на другом конце города.

Деду добираться до своей работы ближе, он выходит из дома чуть позже Шуренка. В автобусе еще успевает вздремнуть четверть часика, наверстать упущенное за ночь. Но и тут, сквозь дремоту, до самой «Октябрьской зари» продолжает думать солдатскую думу. О чем она? Все о том же — о войне, о победе, о том, какой ценой

досталась. И конечно же об однополчанах, с которыми посчастливилось прошагать все дороги, все пути и с которыми теперь навеки вместе.

Уже миновав проходную завода и влившись в поток людей, направляющихся в цеха, Крапивин ловит себя на одной любопытной мысли. В какое-то мгновение ему вдруг начинает казаться, что поток этот — строй. Что идут они все не только дружно, но даже в ногу. Да, да, именно в ногу, черт возьми, как когда-то хлопцы в воздушно-десантной!...

МАНУСКРИПТ

У меня на столе лежит толстая книга. Если взглядеться пристально, на ее уже давно потемневшей, покоробившейся от времени обложке можно прочитать... Впрочем, не буду забегать вперед, расскажу все по порядку.

Саперная служба когда-то казалось мне легкой, как загородная прогулка. Это представление раз и навсегда было развеяно во время одной боевой операции, в которой мне довелось участвовать.

В начале Великой Отечественной войны нашей части, находившейся в Средней Азии, недалеко от Ирана, было приказано совершить марш вдоль границы. Чтобы выполнить эту задачу, нам предстояло пройти несколько сот километров по пустыне. И не только пройти — перебазировать боевую технику, погруженную в машины, малоприспособленные для движения по пескам.

Машины одна за другой выходили из строя, колеса их зарывались в раскаленный песок по самые оси. А тут еще ветер! Со всеми потрохами засасывало нас это чертово сопло пустыни. Но именно нам, саперам, надо было любыми средствами обеспечить благополучный переход автоколонны.

— И чтобы обязательно в срок! — закончили свое краткое напутствие представители Ставки.

Семь дней и семь ночей кувыркались мы с бархана на бархан! За это время бог успел сотворить небо и землю, а мы на той земле, как беспомощные козявки, не проползли и половины положенного пути.

Даже у всегда веселого железного нашего старшины глаза ввалились и выцвели, а голос стал глухим,

стариковским. Через силу, скривив рот, выдавливал он из себя нехитрые слова, призванные подбодрить изнемогших людей:

— Раз-два — взяли...

Но и это не помогло. Мне, например, даже казалось, что говорил он не «взяли», а «вязли»: «Раз-два — вязли...»

Так вот и вязли мы по колено в песках, и не было видно тем пескам ни конца ни края.

— В настоящей пустыне, говорят, миражи попадают. Хоть на горизонте нет-нет да мелькнет пальма или арычок какой, а тут и того не жди, — мрачно пошучивал кто-нибудь на привале.

— Не положено, — уже без всякой улыбки отвечал старшина.

На девятый день пути окончательно выбились из сил и люди, и машины. Песок под ногами и колесами стал похож на расплавленное стекло. Ни шагу вперед, ни шагу назад. Колонна встала...

Приуныл саперный народ, пригорюнился.

И вдруг кто-то из нас совершенно случайно обратил внимание на кусок желтого камня, торчавший из одного бархана. Пустили в ход лопаты — откопали хорошо обтесанную продолговатую каменную плиту. Рядом с ней обнаружили другую, третью, четвертую... Доложили командиру. Тот велел всем продолжать раскопки.

— Да это же чудо, братцы! Мы тут целую автостраду построим!

Плиты двумя ровными рядами стали класть под колеса. Снова затарахтели моторы, грузовики ожили, поднялись на каменные рельсы и пошли. Машины опять становились машинами, люди — людьми.

Плиты, оставшиеся в хвосте колонны, переносили вперед, заставляя их работать снова и снова.

А раскопки меж тем продолжались. И каждый взмах лопаты приносил все новые и новые неожиданности. Из песка постепенно, камень за камнем, начали вставать перед нами какие-то древние сооружения. Сначала показалась приплюснутая луковка гофрированного кунола, потом обозначился угол здания, сделанного все из того же желтого камня.

— Миража мы так и не дождались, но это похлеще всякого светопрествления будет. Это же город, хлопцы! — заволновался старшина.

На наших глазах из-под песков действительно стена за стеной подымался и расправлял плечи город — древний, давно умерший, но будто рождавшийся заново.

Это и в самом деле было его вторым рождением.

Радировали в Ташкент. Оттуда, как ни странно, быстро пришел ответ:

«Поздравляем открытием. К вам направляется экспедиция Академии наук».

Колонна наша, к сожалению, не могла долго задерживаться — война есть война. Но командир все-таки распорядился оставить в том месте особый пост до прихода ученых.

— Назначаю вас комендантом города, — весело кивнул он в мою сторону. — А вот вам и гарнизон. — Он ткнул пальцем в грудь моего земляка киевлянина Сани Стебуна. — Два сапера и две саперных лопатки — это сила! До прихода академиков город должен быть приведен в образцовый порядок. Ясно?

— Ясно, — ответил за меня вверенный мне гарнизон.

Где-то там, за колеблющейся линией горизонта, грохотала война. Рушились, рассыпались в прах города и страны, а здесь, в этом раскаленном, дымящемся тигле, на забытой и проклятой богом земле, просыпалась жизнь! Можно ли было представить себе что-нибудь более прекрасное! И хотя мы только откапывали то, что за много веков до нас было воздвигнуто другими, работа эта вдруг показалась нам великой стройкой.

— Зовсим як у нас в Києве перед войной, — вздыхал Саня. — Як на самом Хрещатике. Не хватает только каштанов.

— Что верно, то верно, — соглашался я полусерьезно.

Мы работали как черти без отдыха, камень за камнем отвоевывая у зыбучих песков.

Город-сказка! Он же задумчиво поглядывал на нас азиатскими, чуть раскосыми глазами узких окон, когда Саня, потрясая какой-то новой удивительной находкой, кричал на всю пустыню:

— Нашел! Нашел! Нашел!..

Я невольно выронил лопату, бросился к Сане.

— Где? Что? Рассказывай толком.

— Ма-ну-скрри-и-ипт! — иступленно ревел он, и голос его летел с бархана на бархан.

Саня дрожащими от волнения руками протянул мне предмет, от одного вида которого я тоже пришел в священный трепет: на ладонях его лежала старинная книга, обросшая со всех сторон песком!

Мы сразу решили, что нашли чрезвычайно ценный для науки документ, с помощью которого ученые разгадают доселе неизвестное.

Бережно, боясь нарушить земляной покров, сковавший таинственные страницы, мы положили книгу на каменную плиту, накрыли своими гимнастерками и снова аккуратно присыпали песком. Возле холмика, под которым хранилась мудрость веков, мы проходили затаив дыхание. Решили даже по очереди не спать до прибытия ученых.

— Не дай бог, опять заметет...

Шли дни. Кончалась ржавая вода в какистре, иссякали и наши последние силы, а экспедиции Академии все не было.

Когда же в одно прекрасное утро над нами закружил ташкентский самолет, мы сами подали ему сигнал, запрещавший посадку. Саня даже рывкнул, стараясь перекрыть шум моторов:

— Куда ты, бисова голова! Тут садиться — только гробиться!

Позднее мы узнали, что летчик и не собирался приземляться. Он лишь выбирал место, куда половчее сбросить старика академика и грузовой парашют с провиантом.

Старик чуть не переломал все свои косточки, когда непогашенный купол поволок его по песку на открытые нами стены. Едва встав на ноги и выпутавшись из шелковых тенет, он закричал:

— Ну, где он, ваш город? Показывайте!..

Мы привели его к месту наших раскопок. Он долго с молоточком, лупой молча ползал на четвереньках возле желтых камней, рассматривал их с тщательностью часовщика. Потом поднялся и крепко пожал нам руки.

— Великолепно! Благодарю, поздравляю вас!

Чтобы окончательно потрясти академика, мы раскопали заветный холмик и в торжественном безмолвии вручили старику манускрипт.

Старик даже зажмурился от волнения. Он снова опустился на корточки и, вооружившись лупой, опять стал похожим на часовых дел мастера.

Сознавая необычайную важность момента, почти священнодействуя, он осторожно запустил свой длинный ноготь куда-то в середину книги и, как окно в века, распахнул похрустывающие страницы...

Перед нашими глазами мелькнули какие-то иероглифы, схемы, рисунки...

Старик протер очки и... расхохотался.

Придя в себя, он уже без всяких предосторожностей отскоблил желтый песок с манускрипта и прочитал вслух так громко, что эхо запрыгало по желтым камням нашего города:

— «Развитие огородничества в Средней Азии. Издательство «Заря Востока», Ташкент, 1929 год...».

Так закончилась история находки драгоценного исторического документа, который должен был пролить свет на черный мрак азиатской древности.

Мы с Саней скинули и приумолкли. Поглядев на нас, старик снова рассмеялся:

— Да что вы, мальчики! Вы же самые настоящие герои!

Вечером, чтобы совсем нас успокоить, старик рассказал нам тут же сочиненную им легенду о том, как некий пастух-узбек, перегоняя овец, спрятался от ветра, плюющего песком, в выкопанную им самим яму и забыл в той же яме не нужную ему книжку, ибо не собирался разводить в пустыне свеклу и брюкву. Горячий ветер занес книжку песком, насыпал над ней высокий бархан.

Легенда говорила и о том, как солдаты, возвращая жизнь городам — молодым и старым, — откопали книжку, как берегли ее до прихода ученых, как из Ташкента прилетел старик с длинным ногтем на правой руке, гораздо более древний, чем найденный в песках манускрипт...

— Одним словом, не огорчайтесь, — весело закончил академик. — Будь моя воля, я бы о таких городах, как вот этот, в сводках Совинформбюро на весь белый свет сообщил: так, мол, и так, наши взяли новый город.

Он помолчал, потом добавил совсем серьезно:

— А манускрипт мы еще отыщем! Уверяю вас!

Не знаю, нашел ли старик еще что-нибудь среди желтых камней: на следующее утро мы расстались.

В моем вещмешке нашлось место для несостоявшегося манускрипта. Мне захотелось сохранить его. Просто так, на память о том, как в дни одной из самых раз-

рушительных войн у нас на глазах поднялся из песков город, однажды исчезнувший с лица земли, но не пропавший бесследно, город, разбуженный нами.

А то, что книжка, найденная при его раскопках, оказалась не слишком древней, можно считать делом вполне поправимым. Ведь только на моем столе пролежала она уже тридцать лет...

БЕРЕЗОВЫЙ СОК

Охота в наших краях еще не была разрешена, и мы с друзьями отправились коротать воскресенье в лесу без оружия. Один я неизвестно для чего прихватил малокалиберку.

Гогоча и дурачась, мы вошли в Березовый лес. Сколько раз бывали мы здесь, а все не устаем восхищаться — тут и в пасмурный день светло, а в мартовский, высвеченный солнечными лучами даже глазам больно.

Залюбовавшись березами, я сдернул с плеча винтовку и от избытка чувств, что ли, выпалил в воздух. Когда эхо от выстрела замерло, кто-то из приятелей крикнул:

— Стрелял в белый свет, а попал в белый ствол! — и, смешно приседая, стал ловить ртом летевшие сверху капли, частые и крупные.

— Сок! Березовый! — Перегоняя друг друга, мы кинулись к невзначай раненному мной дереву.

Кто-то вытащил из рюкзака котелок, и алюминий загремел под ударами тяжелых капель. Очень скоро котелок уже ходил по кругу, и каждый из нас старался сделать глоток побольше — таким вкусным показался давно не пробованный сок.

Только один Грушевский, отпив из котелка, разочарованно поморщился.

— Разве это сок? Вот во время войны был сок — это да!

— Скорей не «во время», а «до», — шутя поправил я Грушевского.

— Нет, именно «во время», и не где-нибудь, а в моем родном госпитале.

— Память тебя, старик, не подводит? В госпитале? — удивились мы.

— Не подводит. В госпитале.

Грушевский рассказал нам историю, которая неопровержимо убедила всех в том, что в дни войны березовый сок в самом деле был несравненно слаще нынешнего.

История эта показалась мне любопытной, и, вернувшись домой, я решил записать ее.

...Госпиталь, где лежал Грушевский, находился в Канатине — маленьком городке, затерянном среди дремучих лесов. Фронт обошел его стороной, но «юнкеры» и «мессеры» не забыли о существовании городка.

Госпиталь следовало уже давно эвакуировать, но дороги были кругом разбиты, и эвакуация откладывалась с недели на неделю. Бомбежки между тем все усиливались. Бомбили не только Канатин, но и деревни вокруг него. Все больше становилось раненых — через леса их доставляли сюда партизаны. А подвоз продуктов почти прекратился. На улицах городка уже встречались отошавшие, теряющие последние силы люди. Голод начал добираться до госпиталя. Даже о «шрапнели» тут мечтали как о самом изысканном блюде.

Шефы, пионеры единственной школы Канатина, стали появляться в палатах все реже — с пустыми руками идти кому охота, а что принесешь, если на дверях магазина висит ставший уже красным от ржавчины замок? Последние дни шефов вовсе не стало видно. Раненые хотели уж послать за ребятами кого-нибудь. Приходите, мол, так, ничего нам от вас не нужно. Просто так приходите, безо всякого.

Словно подслушав этот разговор, шефы наконец объявились. Вид у ребят был очень странный, словно у заговорщиков. Каждый из них нес перед собой осторожно, как хрустальную вазу, зеленую бутылку.

У одного из бойцов даже озорная мысль шевельнулась:

— Да-а... Оно конечно, неплохо бы разговеться сейчас по маленькой или по большой еще лучше, но ведь с неба горилка не свалится.

Шефы по причине своего возраста солдатской шутки скорее всего не поняли.

— Мы вас поздравить пришли. Можно?

— Поздравить? С чем же? Сводку слушали нынче. Обрати вроде не особо веселая.

— С весной поздравить хотим.

— С весной?..

— Да, наступила уже. Мы все утро в лесу были. Вот, посмотрите.

Бутылки с березовым соком одновременно, как по команде, встали на всех тумбочках. Ребята народ пунктуальный, обстоятельный, у них всегда все точно рассчитано, каждому раненому по бутылке соку досталось.

— Пробуйте. Сил набирайтесь.

Бледные, худые, в чем только душа держится, мальчишки сказали все-таки именно эти слова. У солдат — комок к горлу. Даже самый красноречивый из них, Иван Богма, и тот провел рукавом рубахи поперек лица, ничего не ответил шефам.

Ребята в смущении тоже молчали. Первым все-таки Богма нашелся:

— Тю! А ведь верно весна! Зараз и сводки краще будут. Вот побачите! С такими хлопцами... — Он раскинул руки так, словно хотел обнять всех вместе, и шефов, и раненых, и было только непонятно, к кому относится это его «с такими хлопцами» — к ребятам или к бойцам. Скорее всего и к тем и к другим одновременно. — С такими хлопцами!.. — опять и опять восклицал Богма и не заканчивал фразы, будто вспоминал и никак не мог вспомнить начало какой-то песни.

Долго в тот день не могли угомониться раненые. И поздно вечером, когда ребята давно ушли, Богма все напевал себе что-то под нос, тихо-тихо, еле слышно. Мелодия была украинская, но слов никак не разобрать — только по движению губ догадывались:

С такими хлопцами...

Березовый сок был почти прозрачный, удивительно сладкий и чуть-чуть опьянял каким-то неуловимым мартовским хмелем. Отхлебывали солдаты, и у них вроде в самом деле настроение подымалось. Каждый, конечно, по дому взгрустнул, не без этого, а если на войне про дом вспомняешь хоть на минутку, у тебя непременно откуда-то новые силы берутся, даже если весь ты израненный. Становится грустно-грустно, но в то же время так хорошо на душе, что раны сами собой зарастают.

Когда Богма уже перед самым отбоем затянул вполголоса свою любимую, ему подтянули все — и те, кто

знал украинский, и те, кто от Богмы начинал привыкать понемногу к певучим, ласковым, неповторимым словам:

Садок вишнэвый коло хаты...

Только утром в палате все с удивлением заметили, что Богма, оказывается, к березовому соку почти не прикоснулся, — его бутылка едва початая стояла на тумбочке, а хозяин ее задумчиво глядел в окно, через которое ломилось в госпиталь солнце.

— Иван! Богма! Чего же ты? То «с такими хлопцами», «с такими хлопцами», а то... Брезгуешь, что ли?

— Та шо вы, сказились?

— Ну, так в чем же дело?

— Ни в чем.

— А все-таки?

— Надо ж було кому-то с нас одну бутылку для экспертизы оставить? Нехай моя будет.

— Как — для экспертизы?

— Так, для экспертизы. Сок вам понравился?

— Спрашиваешь! Сладкий, высший сорт!

— А теперь подумайте: вы пили когда-нибудь такой сладкий, а?

— Конечно, пили.

— Ну и брешете.

— Ты что сказать хочешь?

— Я? Ничего. Мэдыцына нехай скаже, а я послухаю. — Богма поглядел на свои часы, взяв с тумбочки бутылку с соком и исчез за дверями палаты.

— Чудной все-таки этот Иван Богма, — проворчал кто-то, когда стихли его быстрые шаги в коридоре.

— Да-а... — отозвалось сразу несколько голосов. — Чудней просто некуда.

Богмы не было все утро. За это время чего только не передумали бойцы, но ни к какому более или менее правдоподобному предположению прийти так и не смогли. Даже спорить устали. Совсем растерялись, увидев Богму на пороге палаты в окружении врачей и сестер.

— Слушайте сюда! — торжествующе гаркнул Иван прямо с ходу. — Кто прав оказался? Я? Или вы? А ну, скажите им, доктор.

Главный врач не смог скрыть набежавшей улыбки.

— Товарищи, Богма совершенно прав. Мы вот только что анализ закончили. Все подтвердилось.

После такого объяснения окончательно переполошилась вся палата:

— Какой анализ? Что подтвердилось?..

Главный врач опустился на край ближайшей к нему койки (этого он никогда раньше не делал, ни при каких обстоятельствах), поправил очки и сказал:

— Одним словом, повезло вам на шефов, товарищи. Крупно повезло. Месячная норма их сахара в этом березовом соке! Самого настоящего, свекловичного. Точно вам говорю, лабораторным путем установлено.

— Быть такого не может!..

— Может! -- вмешался Богма. — Может, может, может!

— Загадки какие-то! — загалдели во всех углах палаты. — Ни черта не поймешь! И где взять эту «месячную норму»? Магазин-то с каких пор не работает?

Тут в разговор вступила молчавшая до сих пор медсестра Варя. Шагнула вперед робко, но сказала необыкновенно решительно:

— Работает. Больше месяца на замке был, а вчера открыли и весь день выдавали селедку и сахар. Я в город ходила, сама видела. Мальчишки ваши чуть ли не самыми первыми были. Их сперва не хотели пускать без очереди, потом пустили. «Ладно, говорят, дайте им, если не врут, что шефы!»

Вот какую историю, возвратившись в тот мартовский день из леса, записал я со слов Грушевского. Точь-в-точь записал все, как было рассказано.

КЛЮЧ И КИНЖАЛ

Н. К. Старшинову

Мы ехали всю ночь и прибыли в Зангезур точно по расписанию — в шесть ноль-ноль. Несмотря на ранний час, на привокзальной площади собралось много народа.

— Видите, как у нас любят книгу, — объяснил первый же из подошедших к нам встречавших, назвавшийся Аждаром.

— Судя по всему, тебе речь держать, бригадир, — сказал мне Николай, один из моих спутников.

Другой, по имени Реваз, подтвердил:

— Точно! Но тут и еще что-то затевается. Смотрите, — он кивнул в сторону горы, с которой по каменистой, припорошенной снегом дороге к площади катилась лавина всадников.

По мере того как расстояние между нами с скачущими сокращалось, мы приходили во все большее удивление — на конях восседали древние старики...

— Старейшие джигиты района, — сказал Аждар, — самому молодому за семьдесят. Я все точно знаю: гидом вашим назначен.

Лихо осадив коней, всадники спешили, направились к нам. На ладонях самого старого огненно блеснул на солнце странный предмет.

— Ключ от города! — раньше всех догадался Реваз.

Я и не заметил, как в руках у меня оказался невиданной красоты ключ.

— Меня Сабиром зовут, — протянул мне руку старик. — А тебя?

Я представился, познакомил всадника со своими друзьями.

— А это моя команда, — Сабир с гордостью обвел взглядом своих.

Каждому из нас джигит преподнес еще по кинжалу в ножнах. Я, поблагодарив за подарки, сказал, что мы ничем пока не заслужили такой чести, но будем стараться. Эти слова меня попросили повторить в микрофон.

Закончив короткое приветствие, я возвратился к Сабиру, и мы разговорились.

— Вам не трудно? — спросил я.

— Что — не трудно? — не понял он меня.

— Скакать на коне.

Сабир ухмыльнулся:

— Так это ж только в свободное время!

— В свободное? — переспросил я и глянул на руки Сабира.

Он поднес их к своим глазам.

— Черные пальцы, да? От табака, сынок, от табака. Год трудным был. То град, то дождь. И так все лето, всю осень. А ведь у нас, кроме табака, еще чай, еще хмель, еще хлопок, еще виноград...

Немало, конечно, выпало на долю этих людей, поду-

мал я и попробовал прикинуть, сколько Сабиру лет. Из-под папахи — целый сугроб волос. В возрасте, стало быть, человек. Впрочем, в горах какие-то особые счеты с временем. Многие тут как бы неподвластны ему.

Старик между тем продолжал:

— Про гончарное дело тоже надо кому-то думать, да? И про кузнечное, и про чеканное. На коня сесть иной раз некогда, — джигит провел по холке своего буланого.

— Сабир верно говорит, — поддержал другой старик. — Да вы все сами увидите. Вам тоже отдохнуть не дадут ни грамма, как нам не дают.

Джигиты дружно рассмеялись. Сабир, глядя на нас, сказал:

— Они и так не старые, не утомились еще, а тут еще моложе станут. Горы!

Не знаю, сколько бы еще длился этот удивительный разговор, если бы не Аждар. Он многозначительно поглядел на часы, а подогнанный им микроавтобус взревел мотором.

— График! — сказал Аждар. — У нас сегодня восемь колхозов...

Пора было собираться в дорогу. Перед тем как сесть в машину, кто-то из нас от всего щедрого сердца пожелал Сабиру:

— Доживите, дедушка, до ста лет, пожалуйста! Хорошо?

Джигит весело покачал головой.

— Хорошо, хорошо!.. — Подумал и добавил: — Хорошо, да не очень.

— Почему же? — удивились мы. — Обязательно до ста, не меньше!

— Мне уже сто двенадцать, мальчики. Паспорт показать, да?

— Быть не может! — воскликнул издавший виды Реваз.

— Может, — усмехнулся старик. — В ту зиму сто тринадцать исполнится. Вот до них доживу обязательно! Приезжайте, снова гостями будете.

Мы были поражены. Верили и не верили Сабиру. А он еще раз повторил любимое свое слово:

— Горы!..

Нас повезли по району. В каждом колхозе жадно слушали стихи, забрасывали вопросами. И все-то людям важно и интересно было. Что этот пишет? Что — тот? Какие новые книги вышли и выйдут?

До вечера — точнее, до ночи — продолжались наши встречи с виноградарями, хлопководами, чайных, табачных, гончарных, чеканных и кузнечных дел мастерами. Нам казалось: мы объездили весь район. Лишь к полночи оказались в отведенном нам для отдыха домике на окраине Запгезура. Домишко был крохотный, поселил нас в нем секретарь райкома партии. Сказал, что дышаться тут будет хорошо.

— Горы? — вспомнил я поговорку джигита.

— Вот именно! Земля солнца. А завтра с самого утра опять по районам. В горы гор!

Когда мы остались одни, я сказал, что если бы был поэтом, то написал бы стихи обо всем увиденном и услышанном в этот день. Прежде всего о Сабаре, конечно.

Сперва никто ничего не ответил. Казалось, вконец умученные соратники мои уже видели первые сны. Так оно, разумеется, и было.

— А старик действительно симпатичный, — вдруг подал голос Николай. — Да и другие... — Он помолчал минуту-другую, потом спросил: — Набежало вот несколько строк, но вы уже дрыхнете все, да?

— Не все! — поднялся со своего места Реваз. — Давай, солдат, будешь запевалой нашим.

В темноте сперва робко, потом уверенней зазвучал тенорок Николая:

Как сердечно мы повстречались!
По кремнистому большаку
К нам галопом джигиты мчались,
Нас приветствуя на скаку.

И один из джигитов старых
Нам восторженно руки жал
И на память вручил подарок —
Ключ от города и кинжал.

Нет подарка того дороже,
Сохраним его до конца —
Мы ключом этим всюду сможем
Отворять города и сердца.

А кинжалом, врагов сражая,
Защитим от любых угроз
Землю солнца и урожая,
Хлеба и виноградных лоз!..

Николай опять немного помолчал, потом смущенно спросил:

— Слишком выпренно, да? Утром подретуширую на свежую голову.

— Ни в коем случае! — воскликнул Реваз. — Хороший стих, молодец, запевала!

Мы поддержали Реваза. Николай смутился еще больше. Он так и уснул — с тихой, как бы виноватой улыбкой на губах.

Я тоже попробовал было вздремнуть, довольный нашим первым зангезурским днем. Но по векам уже скользнул луч солнца, которое в горах появляется так же неожиданно, как исчезает. Ночь кончилась, ветви деревьев шевельнул ветерок, и они несмело застучали по стеклам окна — как раз возле моей кровати. Застучали и умолкли. Я зажмурился, не теряя надежды заснуть хоть на полчаса.

На некоторое время наступила тишина, потом до моего слуха снова донесся стук — уже гораздо более отчетливый. Пора вставать, решил я. Отбросил одеяло, приподнялся на локтях, глянул в окно... и вздрогнул — прямо передо мной, прижавшись лицом к стеклу, стоял Аждар...

— Спите? — спросил он.

— Сам не пойму, — сознался я.

— Не спите, — сказал он. — Я же вижу, ворочаетесь. Дай, думаю, постучу.

— Что-нибудь случилось, Аждар? — Я шагнул к окну, распахнул его беззвучно, чтобы не разбудить других.

— Ключ у вас? — взволнованно спросил парень.

— Какой ключ? — не понял я.

— От города. Тот, что вручил вам Сабир.

— Ничего не понимаю, — вздохнул я. — Так срочно понадобился? Без этого ключа не может начаться новый день в Зангезуре?

Аждар заговорил скороговоркой:

— Извините, пожалуйста. Я получил его под расписку в музее. Преподнесли его вам символически. Забыл предупредить вас, чтоб не потеряли в этих разъездах...

Я, зябко пожав плечами, направился в глубину комнаты, нашарил там на крышке шкафа вчерашний подарок. И снова красавец ключ огненно сверкнул на солнце. Убедившись в том, что сокровище цело и невредимо, и принимая его из моих рук, Аждар покраснел как ребенок.

— Спасибо! Еще раз извините. У нас впервые такое проводится. Хотели, как лучше...

Часа через два мы снова ехали по зангезурской земле. Встречались с ее мастерами. Видели, как они трудятся, как спорится в их руках любое нелегкое дело. На каждой встрече снова и снова звучали стихи. И они нравились людям. Стихотворение про ключ и кинжал Николаю повсюду приходилось читать по два, а то и по три раза.

Поздно опять воротились мы в уже знакомый нам домик на окраине Зангезура. Без сил рухнули в постели со снежными вершинами кем-то заботливо взбитых подушек.

Рухнуть-то мы рухнули, но скоро заметили, что сон ни к кому из нас нейдет. Переполненные впечатлениями, перебирали весь нынешний день. Как приняли нас в колхозе имени Ленина. Какие вопросы задали в колхозе имени Кирова. Как выступили перед нами школьники, какие они сами пишут стихи. Как много тут всюду читателей — серьезных, вдумчивых. Мы жалели, что завтра уезжаем из этих мест.

Угломонились опять далеко за полночь. Я заснул, по-моему, позже всех. И опять раньше всех проснулся.

Все было как минувшим утром. Сквозь полудрему я услышал — ветвями деревьев заиграл свежий ветер. Они сперва негромко, потом настойчивей забарабанили по стеклу. Было, судя по всему, еще очень рано, я попробовал укрыться с головой. Это не помогло. Хочешь не хочешь, пришлось подыматься. Встал, глянул в окно и снова замер, озадаченный, — за стеклом все тот же Аждар...

— Проснулись? — спросил он. — Проснулись, вижу. Не стучал, пока вы не заворочались.

Кое о чем догадавшись, я дожидался, что будет дальше. Аждар, помолчав несколько секунд, спросил:

— Где кинжалы?..

— Все понял, — буркнул я в ответ. — Сейчас принесу. Кстати, в котором часу все-таки открывается ваш музей? Каждый день точно на рассвете?

Лицо Аждара стало пунцовым.

— Вот вы сказали, что все поняли, а поняли вы не все. Дослушайте до конца, прошу вас. Сегодня ночью вернулся из отпуска наш гравировщик. Решили на кинжалах каждому сделать надпись. В знак благодарности. Теперь поняли? Совсем поняли?

Пришла моя очередь краснеть от смущенья.

— Теперь понял, Аждар. Прости, пожалуйста.

— Тогда тащите почетное ваше оружие. Только совсем тихо и совсем быстро.

Через несколько минут я нес Аждару целую охапку кинжалов. Они норовили выпасть из моих рук и наделять шуму.

Аждар умолял меня:

— Тише, совсем тише, прошу вас! Пусть пока между нами останется. К вашему отъезду все будет готово. Я с кинжалами и ключом приду прямо к поезду.

— И с ключом?.. — удивился я.

— И с ключом, — подтвердил Аждар. — Мы другой вам отковали! Лучше старого. — Парень начал поспешно прощаться: — До скорой встречи! Поспали бы еще — сегодня раннего подъема не будет.

— А что у нас еще предстоит? Поезд ведь в час дня отходит? — спросил я вдогонку.

— Ровно в тринадцать ноль-ноль, — уточнил Аждар. — А до этого вас в краеведческий музей приглашают. Интереснейшее собрание редкостей!

Я сказал, что, несмотря на усталость, сходим обязательно.

После завтрака мы и действительно отправились в музей. Времени до отхода поезда оставалось совсем мало, но главное мы увидели. Особый интерес у всех моих спутников вызвал огромный ключ, красовавшийся на самом видном и почетном месте.

— Гордость нашего музея! — пояснил директор.

— Напоминает тот, что нам подарили, — заметил Реваз.

Я согласился, сказал, что некоторое сходство действительно имеется.

— А что до кинжалов, то наши тоже не хуже, чем вот эти, — я указал на роскошный во всю стену ковер, до потолка увешанный холодным оружием всех времен и систем.

Меня решительно поддержал Николай:

— Наши даже лучше. Поверьте, я кое-что смыслю в этом деле. Отец у меня кузнецом был.

Тихая улыбка снова шевельнула губы запевалы. По беззвучному их движению легко угадывались слова из стихов про ключ и кинжал, про землю солнца и урожай...

Я уже часа три шел по лыжне, которую в глубоком снегу прокладывал Вацлав, и думал о том, как удивительно похожи бывают друг на друга иные даже очень далекие один от другого уголки земли.

Много раз уже точно такие же ели и сосны обступали меня со всех сторон. Под Смоленском. Под Ельней. Под Брянском. Во многих и многих лесах России. Особенно Брянский запомнился. Деревенька выгоревшая, со смешным названием повстречалась нам в том лесу — Кряква. Как прочитали покосившуюся строку на пробитом осколками ржавом железе, заулыбались даже. Раненые, измотанные все, но как-то легче на душе у каждого стало — родным домом повеяло. Отделенный Митрохин так и сказал:

— Россия...

Печатаая лыжню вслед за Вацлавом, я не переставал дивиться тому, до чего же лес, раскинувшийся под чешским городом Брно, походил на тот, что под Брянском! Точно такие же ели и сосны, такое же низкое зимнее солнце, продирающееся сквозь заросли. И воздух, пьянящий запахом мороза и хвои. Глядеть не наглядеться, дышать не надышаться! Как же это здорово, что Вацлав уговорил меня отправиться с ним!

— Совсем как в России! — воскликнул я на одной из лесных полян, залюбовавшись могучими деревьями, чуть согнувшимися под сверкающим гнетом обледеневшего снега.

— Так же жарко? — спросил Вацлав, вытирая красной шерстяной рукавичкой вспотевший лоб.

Я не стал ему подробно рассказывать обо всем, что вспомнилось, но намекнуть намекнул.

— О, тогда я совсем очень правильно сделал, что привел вас сюда! — воскликнул мой спутник. — Но я думал, у нас будет просто лыжная воскресная прогулка, только и всего. А вы, оказывается, солдат! Тогда давайте немножко свернем. — Голубые глаза его из веселых сделались задумчивыми. — Километрах в пяти отсюда, за речкой, еще один лес — я думаю, будет совсем очень хорошо, если мы в нем побываем. Вы не устали?

— Нисколько! — твердо ответил я, хотя мы были на ногах с самого утра.

Вацлав даже прищелкнул языком, довольный неожиданно пришедшей ему мыслью:

— Надо было сразу ходить не сюда, а в Брненский лес!

— В какой, какой вы сказали? — переспросил я.

— В Брненский. Не слышали? Я хорошо знаю это место, точно выведу. Но надо быстро ходить, чтобы светло вернуться в Брно. Сейчас самые малые дни.

Мы ускорили шаг. Вацлав по-прежнему шел впереди, я — за ним, тихонько повторяя чем-то понравившееся мне название: «Брненский лес, Брненский лес»...

— Онó, онó! — услышав мое бормотание, Вацлав обернулся на ходу, посмотрел мне в глаза очень внимательно. — Почти совсем Брянский, правда?

— Да, да! — в этот момент я подумал о том же самом. — Конечно, Вацлав! Почти совсем Брянский! — согласился я и задумался.

Откуда, собственно, знать Вацлаву о Брянском лесе? Молодой ведь совсем, что известно ему о «той войне»? И известно ли хоть что-нибудь?

Сказал об этом Вацлаву.

Он ответил не сразу. Несколько минут мы двигались молча, только слышно было поскрипывание палок, возникаемых в снег, да легкое шуршание раздвигаемых нашими плечами веток подлеска. Потом Вацлав сказал, как бы размышляя вслух:

— Молодой, вы говорите? Не знаю, молодой или, может быть, не совсем уж слишком такой молодой, — он тщательно подбирал нужные ему русские слова. — Но не воевал, то ёсть правда. Отец был на войне, то ёсть тоже правда. Оттуда и песня «Шумел сурово Брянский лес». А вы были под Брянском, да?

— Под Брянском и еще кое-где. В таких вот точно лесах, как этот. Иду вот и сравниваю. Совсем как у нас в России. И ели такие же, и сугробы...

— И русские солдаты под ними лежат. Это вы хотели сказать? Да?

— И это тоже. Многие сложили тут свои головы, Вацлав, очень многие.

— В боях за одну только Прагу погибло шестьдесят и пять тысяч человек, — уточнил Вацлав.

Число это мне было, конечно, известно, но то, что и Вацлав знает о нем, я не мог не отметить.

— В школе рассказывали?

— И в школе тоже. На уроке русского языка. Я плохо знаю русский, да? Или не совсем очень так плохо?

— Совсем очень хорошо, Вацлав! Пятерку с плюсом хотите?

— Как это? — не поверил он. — Пять. Да еще и с плюсом?

Пока я уверял его, что он отлично владеет русским, мы пересекли замерзшую, укрытую снегом речушку. Хвойный лес стал постепенно редеть, то тут, то там возникали перед нами стволы вековых буков, возносившихся к самым облакам. Я залюбовался чудо-деревьями.

Лыжня, прокладываемая Вацлавом, устремилась теперь куда-то вверх. Разговаривать стало трудней, мы оба умолкли.

Оставшись как бы наедине с самим собой, я, продолжая шагать за Вацлавом, все дальше уносился мыслями в военное прошлое, все больше оказывался в его власти. Даже напевал вполголоса нашу партизанскую. Пробовал переставить слова в песне так, чтобы Брянский лес оказался на месте Брянского. К сожалению, ничего из этого не получалось: никак не выходило по размеру. Поняв, чем я занят, Вацлав остановился, перевел дух и подзадорил меня:

— А мы поем! Когда собирается вся семья. Это бывает не совсем очень так часто — только по праздникам. Отец как выпьет кружку домашнего пивичка, так обязательно затянет: «Шумел сурово Брянский лес...»

Так шли мы, то разговаривая, то умолкая, еще какое-то время, пока не оказались на горной поляне, в центре которой высился бук, поразивший меня своими размерами. Он был грандиознее всех своих собратьев — ветви его широко и вольно распростерлись в небе. Вацлав подвел меня к самому подножию великана, раздвинул ветви окружавшего ствол кустарника и указал мне на могилу, сложенную из серого горного камня, щедро припорошенного снегом.

Многие солдатские могилы напоминают одна другую. Вот и эта почти ничем не отличалась от других. Ограда из железных прутьев, похожих на штыки. Пятиконечная железная звезда, вырезанная рукой сельского кровельщика. Сколько таких могил на белом свете! Но Вацлав привел меня сюда, разумеется, не случайно.

— Давайте читать, — указал он мне на строку, выбитую в камне.

Читать тут было, собственно, нечего. Только цифры были глубоко врезаны в покрытый густым ином камнем: «Х.1944». Больше ни слова, ни буковки.

— Кто же здесь похоронен? — спросил я у Вацлава.

— Как это у вас пишут: имя неизвестное — солдат бессмертный?

— Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен, — поправил я.

— Ну я ж и говорю: имя неизвестное — солдат бессмертный. То есть оно. Кто он, установить пока не удалось, да? Но, во-первых, поиск продолжается, во-вторых, о русском парне здесь знает каждый человек — и старый, и не совсем старый, такой, как я, да?

И Вацлав рассказал мне о подвиге советского десантника.

Глубокой осенью 1944 года он был сброшен сюда для связи с чехословацкими партизанами. Во время приземления завис на вершине дерева. Не успел освободиться от строп — нагрянули немцы. Через несколько минут парашютист был окружен, начал отстреливаться. Долго бил по фашистам, залегшим по краю поляны. Вот этой самой поляны, на которой стоим сейчас с Вацлавом, запрокинув головы к вершине старого бука.

— У нас до сих пор жив старик, свидетель этого боя, — говорит Вацлав. — Именно боя, — повторяет он. — Целая осада парня велась со всех четырех сторон. Немцы уже сто раз решили, что он убит, подымались во весь рост, а он все жил и жил, защищенный, замаскированный ветвями и листьями. Как это у вас в другой песне поется? Назло всем смертям, да? Десятки фрицев уложил, сам был весь в крови, но не сдавался. Хотел, наверное, до ночи дотянуть и, может быть, как-то спастись все-таки.

Вацлав продолжает рассказывать, я слушаю его рассказ, стараясь представить себе этого парня, всю картину его последнего сражения.

...Постепенно смолкли выстрелы парашютиста. Но и после этого немцы долго еще не решались приблизиться к дереву: точно знали — десантник последнюю пулю всегда до самого конца бережет. Таков закон. А в кого ее пустит, еще неизвестно — в себя самого или опять во врага. Уже почти в упор буквально исхлестали свою жертву очередями из автоматов.

Вацлав умолк на минуту-другую, видимо вспоминая что-то, потом, посмотрев на крону дерева, продолжал:

— Он и тогда, говорят, бук этот, был самый высокий во всем лесу, а теперь смотрите, какой гигант! Никак не могли они снять парня с дерева. Принялись из всех автоматов бить по шнурекам...

— По стропам, — поправил я.

— Да, да. А он все висит и висит! Вы знаете, так и не сбили. Ни черта вообще не могли с ним поделаться. Стали из деревни пушку катить. Против танков, с длинным стволом такую, да?

Я невольно перебил Вацлава:

— Вот ведь как на войне бывает! На одного человека — с пушкой, и то руки коротки! Наверно, неплохо знал тот парень, за что борется, а?

— Неплохо, — согласился Вацлав. — Но я еще не закончил — бой потом опять продолжался.

— Пришел кто-нибудь на выручку? — спросил я.

— Нет. Наши в это время далеко были. Один против всех. Пока немцы пушку заряжали, пока прицеливались, не сдавался. Потом камнем упал на землю. К нему кинулись десятки фашистов и видят — в руке у парня кривой нож. Им-то он и обрубил стропы, чтобы живым не даваться врагу. Как вам нравится этот парень, а?

— Печальная история, — сказал я. — Хотя и героическая.

— Онó, онó! Очень героическая, — ответил Вацлав. — Но на этом она не кончается.

— Что же было потом?

— Потом партизаны совсем очень скоро спустились с гор. Немцев погнало, но парашютиста найти не удалось. Говорят, будто они сожгли его, а пепел пустили по ветру, чтобы не пошел народ на поклон к герою, да? Только народ есть народ. Все помнит, все знает. Вот под этим камнем ведь нет ничего, так? Только символика, — Вацлав легонько коснулся надгробия, — но именно сюда, к этому месту, мы приходим сами и приводим других. Вот и вас я привел, да?

Вацлав помолчал, посмотрел мне в глаза почему-то смущенно и вдруг озадачил меня странным признанием:

— А теперь вы нас ругать будете.

Я поднял на Вацлава удивленные глаза.

— Да, да, отругаете и будете совсем очень правы. Вы запомнили — история на том не кончается, да?

— Запомнил. И вижу: сегодня делается все для того, чтобы память о подвиге не умирала. История живет, Вацлав.

— Оно, оно. Живет. Но я еще не рассказал вам про парашют.

— Ну, парашют это дело десятое. Парашют не человек. А что же с ним все-таки было, раз уж вы вспомнили?

— Сняли его потом с дерева наши. И могли сохранить как память, как реликвию. И сохраняли какое-то время. Потом не совсем очень хорошо получилось. Наступила зима — холодная, долгая. Таких долгих и таких холодных у нас и старики не знали. Не во что было одеть малых детей — немцы все из деревень повывезли. Одним словом, пришлось самым малым пошить кое-что из парашюта, да?

— Послушайте, Вацлав, — перебил я его, — да ведь это же просто замечательно! Одежда для мальчишек из парашюта героя? Вы не представляете, как правильно поступили! Многих ребят согрели. Они, считайте, в шелковых рубашках родились. У нас даже есть пословица...

— У нас тоже! — обрадованно подхватил Вацлав. — В рубашке — счастливый, да?

— Ну конечно же!

— А мы совсем очень сильно жалеем, что порезали парашют.

— Напрасно. Дело, в конце концов, не в реликвиях. Из мальчишек, которых спас от холода шелк парашюта, хорошие люди должны были вырасти. Очень хорошие. Подумайте.

— То есть так! — воскликнул было мой собеседник, но неожиданно осекся, совсем как ребенок, сказавший что-то невпопад. — Мне трудно судить, совсем очень трудно...

Я даже вздрогнул от пронзившей меня мысли:

— Послушайте, Вацлав, а вы сами-то какого года рождения? Уж не в военную ли пору на свет божий явились?

— Вы угадали, — по лицу моего спутника промелькнула едва уловимая улыбка. — Вы совсем угадали. Десять месяцев мне было, когда достался мне шелковый наряд. Таких счастливчиков, как я, немного в деревне

оказалось: шелка хватило только на самых малых. Вот ведь как на войне бывает! — вернул мне Вацлав мои слова и умолк.

— Теперь история вся? — спросил я его.

— Теперь вся, наверно.

Мы молча несколько раз обошли вокруг старого бука. Мне хотелось найти на нем шрам от пули или еще какой-нибудь след давних событий, но ничего обнаружить не удалось.

Только поднявшийся ветер настойчиво раскачивал ветви дерева, и они гнулись, словно под тяжестью зависшего на них парашютиста. Раскачивались, гнулись и даже скрипели, как бы напрягая все силы, чтобы не уронить на землю свою ношу...

Всю обратную дорогу до самого города Брно я прислушивался к шелесту снега под лыжами, ко всем звукам и голосам леса. Укутанный в белый парашютный шелк январского снега, он сегодня казался мне особенно дорогим и красивым.

ИНТЕРВЬЮ В САМОЛЕТЕ

Бородатый человек этот не понравился мне почему-то с первых минут — еще в Шереметьеве. Даже одет он был нелепо — куцый, коричневый, в крупную клетку пиджак, голубой из жатого шелка шарфик, заплетенный на короткой шее. И голубой шарфик казался слишком голубым, и заплетен был, на мой взгляд, чрезмерно лихо для сорока — сорокапятилетнего. Когда же объявили посадку, он полез вдруг без очереди, расталкивая других. Я с трудом сдержал себя, чтоб не сделать ему замечания. И хорошо, что сдержал, — в конечном счете моим непосредственным соседом в салоне лайнера оказался именно он.

«Клетчатый», как довольно скоро выяснилось, был из Западной Германии и, к сожалению, хорошо знал русский язык. К сожалению, потому что тут же, не успев как следует устроиться на своем месте, пустился в разговоры. Целую анкету мне учинил. Перво-наперво о маршруте узнал:

— В Берлин направляетесь?

— И обратно, — попробовал я остановить анкету в самом начале.

Шутка моя нисколько не смутила соседа. Застегивая привязные ремни, он продолжал расспрашивать. И все-то его интересовало. И сколько мне лет, и чем занимаюсь, и что читаю, и даже что думаю о современности.

Я отвечал односложно, нехотя, но, в общем-то, корректно, встречных вопросов не задавая. В одном из пунктов «анкеты» все-таки сплеховал — относительно современности. Ответил чуть подробнее, чем следовало:

— Современность? Смотря что подразумевать под этим. На мой взгляд, современность — это прежде всего современники. А они бывают разные...

— Которые советские, которые буржуазные, вы хотите сказать? — оживился сосед.

Я вынужден был отдать должное его знанию нашей литературы. Он хрипловато хохотнул:

— О, это моя любовь и слабость! Каждую минуту использую для изучения всего русского. И так уже много лет.

Как бы в доказательство он извлек из своего кейса целую пачку журналов и на глазах у меня стал расправляться с помещенными там кроссвордами. Один раз, правда, попросил моей помощи. Я сказал, что в полете ничего не слышу, кроме воя турбин, словно два шмеля мне в уши влетели. «Клетчатый» опять захотал:

— Как это они ошмелились?!

Каламбур, если разобраться, был недурен, но мне не захотелось подчеркивать этого. Я снова повторил, что в каждом ухе у меня, дескать, по шмелю и я ни черта не слышу, и вообще из всех возможных «вертикалей» и «горизонталей» меня сейчас волнуют только две: высота и дальность полета. Скорей бы, одним словом, до места.

— Вот так не люблю летать!

«Клетчатый», решив, видимо, что я не храброго десятка, сочувственно вздохнул и погрузился в новый кроссворд.

В это время принесли завтрак. Смерив наметанным взглядом все, что было разложено на пластмассовом розоватом подносике, и презрительно ковырнув вилкой порцию холодной курицы, сосед пробурчал в бороду:

— Фирменная птица Аэрофлота!

Я почему-то вдруг обиделся за отечественную авиа-

цию, хотя эти неизменные холодные куры, откровенно говоря, мне самому давно поперек горла.

— Не хотите — не ешьте! — сказал я.

— А! Где же ваши шмели? Вы все прекрасно слышите? — обрадовался попутчик.

— По движению губ догадался, — объяснил я и добавил: — Терпеть не могу, когда про Аэрофлот гадости говорят.

— Служите в Аэрофлоте, — понимающе кивнул сосед.

Тут сообразительность его подвела, но не очень сильно. Однако спорить я не стал. Хотя в Аэрофлоте не служу, а полетать в свое время довелось, и немало, и полеты с тех пор не люблю, считаю свою норму выполненной на все сто.

Любезный наш разговор в этом месте прервался. Покапризничав, попутчик курицу все-таки смолотил за милую душу. И даже пальчики облизал. Мне же есть почему-то не хотелось. Он, заметив это, упрекнул меня:

— Что же пренебрегаете хваленой своей курицей?

— Лишку вчера с друзьями хватил, — соврал за чем-то я. — Душа ничего не принимает. Могу вас угостить, если угодно. — Я указал ему на свой завтрак.

Он отказался, а все несъеденные продукты со своего подноса — вторую булочку, плавленый сыр, перец и даже горчицу — затолкал в широкий карман пиджака.

Это развеселило меня. Я еще раз предложил ему свой нетронутый провиант. Он колебался всего несколько секунд. Потом вся моя снедь, за исключением курицы, исчезла в бездонном чреве его кармана.

— Сувениры из России, — счел он нужным оправдаться передо мной.

— Да, да, это понятно, — подбодрил я его. — Что может быть прекраснее русской соли или русского перца!

С юмором у моего попутчика дела обстояли, по моему, плоховато. Он как ни в чем не бывало сказал, что сувениры, дескать, его хобби. Я понимающе промычал что-то в ответ, смерил соседа внимательным взглядом, попробовал прикинуть — кем бы он мог быть? Торговцем? Фермером? Владелец пивной где-нибудь в Мюнхене? Профессиональным «туристом»?..

На поверку он оказался психологом. Разгадал ход моих мыслей, спросил:

— Вы думаете, я есть кто? Я есть журналист. Много лет пишу о вашей стране.

— Прекрасно! — вырвалось у меня. — И что же вы пишете?

— А! — торжественно воскликнул сосед. — Вот и вы начинаете спрашивать! Я знал, мы будем иметь разговор. Кто же не станет отвечать на нормальные вопросы нормального журналиста?

— А вы есть нормальный журналист? — поинтересовался я.

Он закивал уверенно: не сомневайтесь, мол.

— Так что же вы пишете о моей стране? — повторил я.

Он задумался. Я не торопил его. Через минуту-другую услышал:

— Обо всем пишу понемногу. Что вижу, то и пишу. Правду, конечно. — Затем он спросил, знаю ли я, чем дипломат отличается от недипломата.

Я сказал, что смутно, но догадываюсь.

— Если не знаете, не пытайтесь строить предположений! — воскликнул он. — Ответ самый неожиданный, как в армянском радио. Подсказать?

— Подскажите, — покорно ответил я.

— Ничем, в сущности. Почти ничем. Послушайте внимательно: настоящий дипломат всегда, во всех случаях жизни говорит правду, только правду и ничего, кроме правды. — Тут он картинно выдержал паузу, совсем как во МХАТе, и закончил с хохотом: — Но... не всю... Не всю, заметьте! Остроумно?

— Остроумно, видимо, — довольно мрачно согласился я.

— Почему же вы не смеетесь?

Я сказал, что мне душно. В самолете и в самом деле давно уже нечем было дышать. Я привстал, дернул «молнию» своей дорожной куртки, выпростался из душившего меня нейлона, сосед при этом остановил свой проворный, ничего не упускающий взгляд на лацкане моего пиджака с пришпиленными к нему орденскими колодочками.

— О, вы, оказывается, солдат, и даже воевали! — вскричал журналист.

— Солдат, — подтвердил я.

— Это становится интересным!

— А что интересного тут? — удивился я.

— Мне это важно, очень важно, уверяю вас! — он

деловито посмотрел на свои часы и добавил: — У нас есть еще время.

— Для чего? — не понял я.

— Мы будем иметь интервью. Вы солдат, я журналист. Мы будем говорить о войне. Вы ведь прилетаете в Берлин как раз тогда, когда отмечается очередная годовщина окончания второй мировой войны.

Я уточнил, что у нас она именуется Великой Отечественной.

— Не будем спорить о терминах, — полусогласился он. — Я хотел бы задать русскому солдату два вопроса, имеющих прямое отношение к его прошлому. Можно? Подчеркиваю — всего два вопроса.

— Вифиль? — решил и я немного блеснуть своим знанием языка собеседника.

— Цвай, — перешел он на свой родной. — Только два.

Он наседал все настойчивее. Отбиться от него было просто невозможно. А может, и не стоит отбиваться, подумал я. В конце концов дал ему свое согласие. Даже сказал, что немецкий журналист может задать советскому солдату хоть двадцать два вопроса, но советский солдат хочет знать, с какой целью.

— Я задумал книгу о минувшей войне, — объяснил он. — Книга будет состоять из коротких интервью. Поэтому к вам всего два, и совсем лаконичных, вопроса.

— Пусть будет по-вашему, — и я вздохнул, поняв, что деваться некуда. — Только у меня есть одно, но обязательное, условие.

Журналист сказал, что любые мои условия будут соблюдены.

— Ну так уж и любые! Зачем же так щедро? — удивился я. — Условие именно одно, и самое элементарное. Вы знаете, чем солдат отличается от дипломата?

— Солдат — человек еще более откровенный? — догадался он.

— Вот именно. Еще более. Солдат, русский солдат, всегда, во всех случаях жизни говорит правду, ничего, кроме правды. И всю. До конца, без остатка. И русский солдат хочет, чтобы наше интервью, если уж ему суждено состояться, было опубликовано без каких-либо извращений. Вы меня поняли? Два ваших вопроса — два моих ответа, и все в точности.

Журналист кивнул в знак согласия.

— Тогда спрашивайте.— Я поглубже провалился в кресло, чтобы никто не мешал мне сосредоточиться. Решил спокойно ответить на оба заготовленных мне вопроса. Именно заготовленных: я же хорошо понял, не мог не понять, что журналистом придуман какой-то хитрый «ход», и скорее всего далеко не безобидный, по-русски говоря — «с подковыром».

Сосед привстал, порылся в своих вещах на полке над головой и аккуратно опустил на место. На коленях у него сверкнул полировкой миниатюрный магнитофон.

— Начнем?

— Начнем,— ответил я.

Немец нажал блестящую кнопку магнитофона, два спрятанных в глубине его колесика пришли в движение.

— Вопрос номер один,— как можно более четко произнес журналист.— О чем вы думали на фронте, в окопах сорок первого года? Можно совсем коротко, два-три слова — только самое главное,— объяснил он.— Итак, о чем вы думали тогда?

— В окопах сорок первого года? Два-три слова? — переспросил я, обернувшись к соседу. Лицо его было непроницаемым, голубые арийские глазки полуприкрыты чуть вздрагивавшими веками.

«Коротко? Совсем коротко? Два-три слова? — удивленно повторил я про себя.— Нет уж, позвольте вам не позволить! Постараюсь, ясное дело, не особо длинно, но все же сказать все, что надо. Пусть уж колесики ваши покрутятся, раз они пущены. Я должен ясно и точно выразить свою мысль. Вы сами растревожили солдатскую память».

— Записывайте, господин журналист, о чем я думал в окопах сорок первого года. О многом, как ни странно, хотя для раздумий времени было нам мало отмерено. Но все же думал, думал, черт подери! Намотайте, пожалуйста, на колесики,— сказал я.— Как всякий солдат, о доме думал своем, о семье своей. Об отце — где он теперь? О старухе матери — что с ней? Как она там одна, без нас? О том еще думка была, чтоб война не слишком длинно тянулась. О том, чтоб побольше фашистов измолотить, чтоб из всех них, до единого, души повытрясти. И кой-кого уложил из своей трехлинеечки, будьте покойны. Если и мазал, то не часто. Хорошо был обучен. Перед войной в районном тире по фанере лупил,

а тут по живой натуре пришлось. Так я уж старался по-снайперски, по-ворошиловски...

При этих словах журналист мой подался вперед в своем кресле, привязные ремни глубоко врезались в пестроклечатые плечи, а магнитофон чуть с колен не уехал. Побагровел весь, арийские глазки из голубых стали вдруг серыми, я хорошо это видел — полуопущенные веки взметнулись вверх, до самых бровей. Он остановил меня резким жестом, злость, упрятанная где-то до поры, выплеснулась наружу:

— Значит, я говорю с человеком, у которого руки в крови?

— Это что, ваш второй вопрос? — попробовал было я унять своего собеседника. — Вы сказали, что вопросов будет только два, специально подчеркнули это.

Журналист, стараясь совладать с собой, закивал.

— Только два, подтверждаю. — Помолчал несколько секунд и добавил: — Этот внутри первого.

Пришел мой черед кивнуть понимающе.

— Усвоил. Второй — внутри первого. Ну что ж, внутри так внутри. Отвечу и на это. Да, знаете, верно, в крови мои руки. Но надо бы точно определить, в какой. Немаловажная вещь в нашем разговоре. В фашистской крови, понимаете? То-то и оно! Это уж совсем по-иному звучит, не находите?

Он, казалось, не слышал, да и не имел уже никакого желания слышать меня. Два шмеля залетели и ему в уши. Слышал только себя самого:

— Ваши руки в крови, в крови... Мне пришла сейчас в голову, знаете, какая мысль? Ведь, может быть, именно вы стреляли в моего отца... Скажите честно, разве я не прав? Разве этого не могло быть?

Остановить его было уже немыслимо. Я и не пытался. Я хотел только узнать — второй в конце концов или все еще не второй это вопрос. Набравшись спокойствия, спросил. Корреспондент закрутил головой. Русская речь пошла у него вперемежку с немецкой:

— Найн, найн! Вы слишком буквально меня поняли. Что ж, я не имею права спросить вас о чем-либо дополнительно?

— Можете, конечно, — ответил я. — Можете. Но вы так настойчиво говорили в начале нашего интервью, что оно будет кратким. Два вопроса — два ответа. А теперь сами растягиваете нам обоим малоприятный разговор.

Немец, как иступленный, продолжал повторять:
— Стреляли?..

Мне даже показалось, что он хочет услышать это мое «стрелял». Вот сейчас услышит и уймется.

В голове у меня тоже уже не было другой мысли. «А ведь в самом деле, вполне возможно, что именно я стрелял в папашу этого человека. Стрелял и старался при этом не промахнуться. И вот теперь, много лет спустя, судьба свела меня с сыном того, на кого наводил я свою трехлинейку. Что я отвечу ему? Солдат не дипломат. Солдат всегда, во всех случаях жизни говорит правду и только правду. И всю. До конца, без остатка».

— Вы знаете, война есть война, — ответил я. — И можно вполне допустить, что я стрелял в вашего отца, в вашего, а не в чьего-либо другого. Что ж тут удивительного? Считайте, стрелял, другого ответа нет у меня. Я стрелял в вашего отца. В вашего, ежели папаша ваш был фашистом. Это вы хотели услышать?

Привязные ремни напряглись на немце еще туже, еще глубже врезались в его плечи.

— Значит, можно считать, что вы убили моего отца?.. Именно вы...

Я понял, и этот вопрос тоже не был вторым, опять «внутри первого». И не стал придирается к словам. «Внутри» так «внутри». Пусть так будет. Ежели целился, ежели стрелял, выходит, вполне мог и убить. И теоретически и практически. А как же? Так и ответил.

Немец даже ножками засучил. Записывающий аппарат скользнул к самому излому колен. Он подхватил его в последний момент и резко нажал кнопку, чтоб остановить колесики. Арийские глазки сделались снова узкими, были похожи на смотровые щели. В глубине их бушевала серая сталь. Я же, наоборот, старался совладать с собой.

— Интервью, стало быть, окончено? — спросил я. — Несколько неожиданно, прямо скажем. И на таком нерве. А между прочим, зря вы так. «Не приходила ли вам в голову мысль, что именно вы стреляли в моего отца?» А вас не осеняла мысль о том, что именно ваш папаша, не чей-либо другой, а именно ваш, поднял руку на меня, не на кого-нибудь, а именно на меня, сидящего сейчас рядом с вами? И, заметьте, первым поднял. Пер-вым! Ну разве я не прав? Не так что-то? Скажите

правду, хоть не всю, хотя бы полправды. А? И понимаете ли вы, сколько горя принес людям фашизм? Я везу в Берлин письмо одной старой русской женщины. Знаете, о чем она пишет? Сорок лет ищет и не может найти могилу своего мужа... Вам прочитать?

Еще одно раздраженное «найн!» сорвалось с побелевших теперь губ моего собеседника. Больше ничего не услышал я в ответ, ни звука. Только две узкие смотровые щели были передо мной. Расплавленная сталь в глубине каждой из них кипела.

Интервью, судя по всему, в самом деле было окончено. Журналист потерял всякий интерес к тому, кого полчаса назад так настойчиво принялся интервьюировать.

Колесики магнитофона больше не двигались.

Я глянул в овал иллюминатора. Там, в разрыве облаков под ближним от меня крылом, мелькнул ровно расчерченный красавец Берлин.

Стюардессы начали разносить леденцы. Я не люблю леденцов. Немец тоже отказался. Весь его вид говорил о том, как он расстроен. Наверное, клял себя на чем свет стоит за эту затею с интервью. Я клял двоих. Его — за то, что затеял. Себя — за то, что поддался. Надо ж мне было связаться с таким человеком! Недолго путь от Москвы до Берлина, но за краткое это время мы успели здорово осточертеть друг другу. Он, конечно, даже возненавидел меня. Я отнесся ко всему спокойнее, такой уж характер, но у меня внутри все дрожало. «Не приходила ли вам в голову мысль?» «Не в крови ли ваши руки?» «Не стреляли ли вы в моего отца?» «Не вы ль его на тот свет отправили?» Я! Я ухлопал вашего батюшку, ежели он был фашистом. Уж не желаете ли, чтоб повинился «в содеянном»? Ни в чем не виновен я. Ни в чем совершенно. Разве в том только, что, может быть, все-таки промахнулся, а его, отпетого фашиста, уколошил кто-то другой. Если так, то действительно виноват. Перед собой самим, перед прошлым, еще не ставшим далекой историей, перед будущим, перед Берлином, наконец.

Немец стал собирать пожитки. Первым делом плотно закрыл прозрачной крышкой и начал заталкивать в сумку магнитофон, который, несмотря на малые свои габариты, лезть в эту сумку никак не желал, сопротивляясь всеми своими восемью углами. Журналист выругался, еще раз продемонстрировав свое блестящее

знание русского. Я тоже испытывал острую необходимость разрядиться. Сейчас же. Немедленно. Но как? Покрутив несколько секунд «шариками», нашел способ. Решительно и, по-моему, достаточно спокойно спросил очаровательного своего попутчика:

— Господин журналист, а как же наш уговор? Вы ведь собирались задать мне два вопроса. Специально подчеркивали, что вопросов будет не сколько-нибудь, а именно два. Я условие ваше принял. Так где же еще один, запланированный вами вопрос?

Он бросил злой взгляд на меня, потом в овал иллюминатора, потом снова на меня.

— Поздно уже,— сказал устало и глухо.— Не успеем уже в этот раз.

— Другого раза не будет,— усмехнулся я.— Так что давайте уж доведем начатое до конца. Ну, гоните ваш второй вопрос.— Я картинно протянул руку ладонью вверх.— Еще несколько минут в нашем распоряжении. Вы вполне успеете спросить, я — ответить. Если, разумеется, не будет десятка вопросов «внутри».

Он молча показал мне на часы. Я не сдавался. Кроме всего прочего, меня, как бывшего газетчика, разбирало еще и чисто профессиональное любопытство. Какой был задуман «ход»? Ведь, конечно же, совсем даже не случайно вопросов планировалось именно два, ни больше, ни меньше.

— Знаете что, можете даже не включать вашу технику,— решил я облегчить задачу журналисту.— Обещаю ответить коротко настолько, что вы и без всякой записи обойдетесь. Просто запомните, а потом в редакции запишете. Вы человек еще не старый, память у вас должна быть хорошей.

Моя раскрытая ладонь продолжала маячить перед узкими глазами журналиста. Он минуту-другую колебался, видимо, боясь, что разговор снова примет столь неожиданный характер. Потом, очевидно, пришел к выводу, что ничем особенно не рискует. Во-первых, он не такой уж простофиля, как кажется некоторым бывшим военным. Во-вторых, если без записи, значит, вообще нет никакого риска. Посмотрим, что еще наговорит этот русский? И он нехотя, продолжая сопротивляться самому себе, кивнул головой. Магнитофон в это время наконец нашел себе место в сумке, журналист до отказа задернул застежку «молнию», словно опасаясь, что я потребую извлечь технику обратно. Но я не

потребовал. Еще раз объяснил, что целиком полагаюсь на его молодую память.

На том мы и поладили.

— Второй вопрос, говорите? — переспросил он подчеркнуто равнодушно. — О, он предельно простой, может быть, даже немного наивным вам покажется. Во всяком случае, с первым имеет мало общего. И «внутри» там нет ничего. Вы готовы?

— Готов.

Немец щелкнул пальцами и символически нажал в воздухе на кнопку далеко упрятанного магнитофона.

— Вопрос номер два: о чем русский солдат не думал в окопах сорок первого года? — Журналист еще раз щелкнул пальцами. — Несколько неожиданно, правда? О чем думал — о чем не думал... Но мне захотелось именно так построить наш диалог. Чтобы было два полюса. Так интереснее для читателя, — пояснил он свой замысел. — Итак, о чем вы не думали тогда, в сорок первом? Ответите? Или это сложно?

— И сложно и просто, — сказал я.

— И все-таки можно ответить, если постараться, и коротко и точно, — подбодрил меня немец.

А меня вовсе и не надо было подбадривать, мне только хотелось вернуть собеседника к тому месту нашего разговора, где мы обменялись мнениями о том, чем дипломат отличается от недипломата. И я вернул его. Он ухмыльнулся — знаю, помню, мол.

— Ну вот и отлично, — заметил я. — О чем не думал русский солдат в окопах сорок первого года? О многом не думал, честно сказать, об очень многом. И меньше всего, знаете, о чем?

Немец пожал плечами.

— Так вот, опять честно, по-солдатски, скажу, а вы уж, пожалуйста, запомните, а потом запишите точка в точку. В окопах тысяча девятьсот сорок первого не думал и не гадал, что через четыре десятка лет буду лететь в Берлин, на праздник Победы над фашизмом по приглашению правительства Германской Демократической Республики!.. — выпалил я на одном дыхании. — Вы поняли мою мысль? Несложная, солдатская. Но все-таки мысль, согласитесь?

Немец не ответил. Причина у него была на сей раз вполне уважительная: самолет уже всеми тремя точками коснулся земли. Пассажиры начали отстегивать привязные ремни. Сосед мой торопился сделать это намно-

го быстрее других и скоро, не попрощавшись, втерся в массу поднявшихся со своих мест людей. У самого выхода на трап мне удалось приблизиться к нему. Я дотянулся до его плеча, сказал:

— Ауфвидерзеен! Кажется, в английской армии первым здоровается и прощается тот, кто более воспитан,— объяснил я свой поступок.— А вы уж не забудьте, что я вам сказал. Я все точно вам сформулировал. И по первому и по второму вопросу.

Он промолчал снова. Ну, это уж на его совести. Мое дело было дать ответы на поставленные вопросы.

С трапа он сбежал первым. Опять расталкивая других. Почему-то очень торопился. Подозреваю, не потому, что ему спешно надо было сдать наше интервью в редакцию.

Я еще несколько минут глядел в быстро удалявшуюся от меня пестроклечатую спину. Не знаю, о чем думал этот человек, чувствуя на себе мой взгляд. Скорее всего радовался, что длинный рейс наконец окончен.

Я, не скрою, был просто счастлив. По той же самой причине.

ТЕ ДНИ И НОЧИ, ТЕ РАССВЕТЫ...

Н. М. Лисогорскому

Людей, встречавшихся с Лениным, работавших с ним, становилось все меньше — время неторопливо, но верно делало свое дело. И все же кое-кого удалось мне застать. Особенно один старик запомнился — живой свидетель истории. И хотя многое из того, что связано с Лениным, я давно и хорошо знал, мне было просто необходимо услышать непосредственного участника великих событий. А тот, почувствовав это, говорил сосредоточенно, стараясь не упустить чего-то важного, может быть самого важного. Постепенно действие переносилось из Москвы в Питер, потом еще дальше — за кордон. Неожиданно снова возвращалось в Москву.

Жаль, что записать все рассказанное мне собрался совсем недавно. Кое-что, конечно, потеряно, но многое помню почти дословно. Начну с того, как старик однажды фотографировал Ленина.

...Это было во время VI съезда РСДРП (б), проходившего летом 1917 года в Петрограде. Ленин тогда, скрываясь от шпииков, покинул свою квартиру, находившуюся на Широкой улице, перешел на нелегальное положение. Временное правительство неистовствовало. Не было конца обыскам, арестам, убийствам. Товарищи по партии беспокоились за судьбу Ленина — угроза нависла и над ним. С облегчением вздохнули только тогда, когда узнали, что Ильич в надежном, безопасном месте.

— Я, конечно, понятия не имел, где находился Владимир Ильич, — объяснил мне старик. — Но выпало на мою долю поручение: сфотографировать Ленина для

важного документа. Вы сами, дескать, как-то проговорились, что немного соображаете в этом деле.

В тот же вечер, перед началом очередного заседания съезда, фотограф-любитель отправился домой за аппаратом, зарядил его, а через час, самое большое полтора, уже был на вокзале в Новой Деревне, где его прямо у поезда ждал сопровождающий с билетами.

— Мы покатили в сторону Сестрорецка,— продолжал старик.— Всю дорогу ехали молча, делали вид, что друг друга не знаем. Я читал газету, а сам все поглядывал из-за нее на попутчика. На одной станциюшке сошли.— Старик улыбнулся: — Теперь-то весь мир знает эту «станциюшку»! Обогнув водокачку, долго спускались в темноте по крутой тропке, отыскивая нужный дом.— Сказав это, старик подчеркнул: — Домишко ныне тоже известный! Нашли, постучали в закрытую ставню. Ответа не было. Еще постучали, сильнее. В конце концов скрипнула дверь, к нам вышел рослый и, судя по голосу, молодой человек. Втроем зашагали дальше. Только когда луна выглянула, я разглядел, что под мышкой у парня весла. Лодка, возле которой мы через некоторое время остановились, оказалась крохотной плоскодонной посудиной и никак не желала вместить всех троих. Разгорелся спор: кому ехать, кому оставаться? Я, конечно, был вне конкуренции — у меня аппарат. Человек, с которым я прибыл, сказал, что имеет специальное поручение, которого никто другой выполнить не может. И пошло!

-- А лодочник? — перебил я собеседника.— Тот, наверно, свои права стал качать?

— Еще бы! — воскликнул старик.— Без меня никто, говорит, не уедет.

— Какой же выход в конце концов нашли? — снова перебил я.— Кто остался?

— Все поехали! — старик закашлялся, посмотрел на меня с удивлением: неужели, мол, не понимаешь простых вещей? — Кое-как разместились, конечно. Хлебали, правда, всю дорогу то одним, то другим бортом. А чапать далековато пришлось. Помню, никак не мог дожждаться, когда же наконец приедем. Ночь была тихая и, наверно, теплая, но меня всю дорогу трясло. И промок, и волновался, смогу ли, как должно, выполнить поручение? Колотил озноб и проводника. Он все поторапливал: «Скорей, быстрее!» Только лодочнику не было зябко — один на веслах, и никому не желал

их уступать. Добрались, однако, затемно. Нас, оказывается, давно ждали. Причаливать помогали незнакомые мне люди. Делали они это ловко, дружно, словно всю жизнь только тем и занимались, что причаливали лодки по ночам...

Старик задумался, закурил и продолжил свой рассказ только тогда, когда огонек папиросы остановился у самого мундштука.

— Ну вот так мы и оказались на месте. Лодчонку закрепили, пошли по скошенной траве. Трава была мокрая от росы, опутывала ноги, не давала идти. А я радовался: такая роса бывает только перед рассветом, значит, скоро можно будет снимать. «Но где же Ленин? — думал я. — Надо немедленно отыскать его и обо всем договориться». Однако спрашивать раньше времени ни у кого не стал. Я все же тут не самый главный, подожду, решил, что будет дальше. Идти пришлось долго. Окоченели, пока оказались у шалаша.

Знакомая мне улыбка снова шевельнула губы рассказчика:

— Теперь-то весь мир знает этот шалашик! Кое-как вползли туда, чтобы обогреться. Тут в одном из встречавших нас людей я узнал Владимира Ильича. Голос выдал его. И еще спокойный такой, шутливый тон. Первым делом извинился: «Вы уж не взыщите, пожалуйста, что мягких кресел не припасли и люстр не повесили». Потом стал подробно расспрашивать о положении в Петрограде, о том, как идет съезд. Сообщением нашим остался доволен. Но когда узнал, что арестован Луначарский, помрачнел, посуровел. После долгого молчания сказал: «Предсмертные судороги уходящей России. Рассвет недалек!» Потом опять помолчал и добавил: «А ведь и в самом деле заря, товарищи, смотрите!» С этими словами мы вслед за ним выбрались из шалаша и увидели блески начинавшегося восхода.

— Так и снимали Ленина при свете первой зари? — спросил я старика. — Символично!

Вопрос этот был, как я потом понял, наивным, говорил о том, насколько мало я знаком с фотографией. Но собеседник смеяться надо мною не стал, просто объяснил, что нужного освещения пришлось дожидаться еще не меньше часа.

— Все это время, — продолжал старик, — Владимир Ильич поглядывал на восток, приговаривая: «Удивительные в этих краях восходы! Они всегда и везде

хороши, конечно. Ничем в жизни так не любовался, как восходами. И сибирскими, и в Альпах, и в Татрах, и, конечно, на Волге... Но тут, под Питером, они просто очаровательны, черт возьми! Это же не солнце светит — пламя бушует перед нами! Настоящее пламя, как в паровозной топке!»

— Именно так и сказал? — переспросил я.

— Именно. Как в топке! Налюбовавшись вдосталь, повернулся ко мне. «Ну а теперь, — говорит, — снимайте». И я приступил к делу, для которого прибыл. Условия — самые неподходящие. У меня — зеркальная камера, которая работала только с моментальным затвором. Наименьшая скорость — одна десятая секунды. Штатива нет. Свет хоть и яркий уже, но все еще недостаточный. А медлить больше нельзя — с посторонних глаз пора убираться. Если вы меня спросите, как я в этих условиях все-таки ухитрился сделать снимок, — отвечу: не знаю, не помню. Помню только одно: Владимир Ильич, видя, как я волнуюсь, все время меня успокаивал и подбадривал: «Все будет в полном порядке, уверяю вас. Одна десятая секунды, говорите? Плохо это или хорошо?» — «Для такого освещения плохо, Владимир Ильич. Слишком мала выдержка». А он: «У нас сейчас не только часы, все минуты и секунды на особом учете. Вот это, прошу вас, в Питере вручите товарищам, и, чем скорее, тем лучше». В руках у меня оказался маленький, аккуратный сверток. «Тут статья для «Правды», — пояснил Владимир Ильич. — Хорошо бы на крыльях доставить!» От шутки этой я невольно успокоился. И мы двинулись в обратный путь. В той же лодке. Опять втроем. Опять черная вода то одним, то другим бортом. И все опоздать боялись.

Уж не знаю, действительно ли успокоился старик тогда, но сегодня волновался, хотя вида не показывал, да и по возрасту не положены ему были лишние эмоции. Только тут уж ничего не поделаешь — все заново переживал человек. Всю историю. Незаметно и я вслед за ним полностью оказался во власти событий тех дней. Мне во что бы то ни стало захотелось вдруг, чтоб получился и ни в коем случае не опоздал снимок, чтоб непременно вовремя ленинская статья прибыла в Петроград. Я так и сыпал вопросами:

— Успели к сроку? Не потопили статью? А снимок как? Получился ли?

Ответы между тем незаметно становились все лаконичнее:

— Статья была напечатана в следующем номере «Правды». А снимок? Хоть и вышел, откровенно сказать, неважнецким, но теперь его знает весь мир. Ты его тоже видел. Ильич на нем — в кепке, в парике, без усов, на самого себя не похож. Но как раз такой и требовался тогда Ленину для документа.

Старик умолк, достал следующую папиросу, но закуривать не стал, повертел в руках, положил обратно в пачку, потом неожиданно спросил:

— Еще вопросы имеются? Или старый молодого заговорил совсем?

И я вдруг понял — устал человек, а сознаться не хочет. На лбу его, на иссеченных временем щеках и где-то под самыми седыми висками засверкали едва заметные капельки пота.

Я сказал, что могу слушать еще сколько угодно, что мне интересно буквально все — и как поездом они тогда доехали, и как в городе все обошлось, и многое другое. Но уже и за рассказанное очень благодарен, конечно.

— А что поездом? — немного даже как будто удивился старик. — Поездом проще всего: смешались с дачниками, и будь здоров! Хуже было на вокзале в Новой Деревне — ждала нас там свора шпиков. Еле-еле ушли. Когда-нибудь доложу тебе, как опередили и провели эту публику. Но что провели и опередили — факт! Сколько лет прошло, а я до сих пор в толк взять не могу, какие силы нас тогда несли, какие крылья!

Через несколько дней мы опять сидели со стариком вдвоем в его маленькой, с низким потолком, комнате на Арбате, чем-то напоминавшей тот шалаш.

Старик рассказывал, я слушал, запоминал.

Все явственней, все ближе вставали передо мной те дни и ночи, те рассветы.

ДЕНЬ ОТДЫХА

Сегодня муж показался ей особенно уставшим, бледным и даже рассеянным.

— Тебе надо отдохнуть, Володя. Давно пора хоть один день как следует отдохнуть.

— Откуда ты взяла, Наденька? Я чувствую себя превосходно.

— Разве ты признаешься! Но глаза тебя выдают. Укатить бы нам с тобой в воскресенье за город на велосипедах! Пожалуйста, отложи все дела и накачай шины покрепче. Знаешь, по пути в Лонжюмо есть такая ромашковая поляна...

— Да, да, там от ромашек просто в глазах рябит. На лужайке, перед самым лесом.

— Заметил и ни разу не остановился! — Надежда Константиновна укоризненно покачала головой.

— Все некогда...

Утро воскресного дня застало двух велосипедистов в дороге. Они ехали быстро, обгоняя друг друга, радуясь синему небу, солнцу, пению птиц.

— Наденька, умница! Давно бы тебе придумать такое! Давно бы...

Ветер свистел в ушах, Надежда Константиновна слышала не каждое слово мужа, но по всему было видно — угодила.

Когда вдалеке запестрела желто-белая ромашковая поляна, путники еще дружной налегли на педали, и скоро колеса повалившихся в траву велосипедов завертелись в воздухе.

— Ромашки... чудо какое-то! — Владимир Ильич нагнулся, сорвал один из цветков, поднес к лицу, зажмурился: — Совсем как на Волге...

— И даже нос у тебя стал желтым.

— Правда? И у тебя тоже!

Они рассмеялись, счастливые, переполненные радостью свидания с уголком, напомнившим родину.

— А ты знаешь, на что она похожа? — спросил вдруг Владимир Ильич.

— Кто — она?

— Ромашка. Берегись, сейчас вся торжественность момента полетит вверх ногами. Из меня никогда бы не вышел поэт. Ромашка — родная сестра... яичницы-глазуньи, ты не находишь?

Надежда Константиновна вздрогнула.

— Я нахожу прежде всего, что никуда не годится твоя жена: у тебя же крошки во рту не было со вчерашнего вечера! Если б не мама, мы оба с тобой умерли бы сейчас с голоду.

Она побежала к велосипедам, отстегнула от багажника одного из них белый, аккуратно перевязанный тесьмою сверток.

— Я уверена, тут есть что-нибудь вкусное.

Надежда Константиновна расстелила на траве салфетку, принялась распаковывать сверток. Владимир Ильич, присев на корточки, сорвал еще десяток ромашек.

— Это тебе, Наденька. А это Елизавете Васильевне — ее любимые цветы.

— Спасибо! А еще говоришь, что не годишься в поэты. Самые красивые выбрал, самые стройные.

— Самые разглазастые!

Они опять рассмеялись. Но Надежда Константиновна с огорчением заметила, что состояние обычной озабоченности не покидает мужа ни на миг.

Пока длилось их маленькое пиршество, Владимир Ильич несколько раз украдкой вынимал из бокового кармана небольшой блокнот, что-то торопливо в него записывал и тут же прятал блокнот обратно.

Надежда Константиновна сперва решила не обращать на это внимания. Но вот на солнце сверкнула клеенчатой обложкой хорошо знакомая ей, вся в бесчисленных закладках тетрадь. Еще мгновение — и по ее страницам тоже, но уже совершенно открыто забегал остро отточенный карандаш Владимира Ильича.

— Володя! Это нечестно. Сначала блокнот, потом целый grossбух. Того гляди, помчишься в Париж, да еще проездом через Лион или Цюрих...

— Ты и не представляешь, до какой степени права! Заехать бы в Лонжюмо — тут рукой подать. Очень нужно...

Надежда Константиновна решительно отобрала у мужа карандаш и снова направилась к велосипедам.

Не было ее всего несколько секунд, но, когда вернулась, по строчкам клеенчатой тетради уже поскрипывала обуглившимся концом спичка, крепко зажатая в пальцах Владимира Ильича.

— И это называется отдыхом? Ну что мне с тобой делать? Жаловаться?

— Если другого выхода нет... Вопрос только — кому? Властям? Нынешним?

Надежда Константиновна не настроена была больше шутить. Складка на ее переносице стала глубже и строже.

— А вот сердиться не нужно. Ссориться по таким пустякам!

— Твое здоровье — пустяки?

— Повторяю: давно не чувствовал себя так хорошо.

— Нет, нет, сегодня обо всем расскажу маме. Если ты хоть немного ее уважаешь...

— Маме? Это уже серьезно. Сейчас же отправимся в лес, и с этой минуты — все соловьи наши.

Они пошли вперед, внимая лесной тишине, сразу плотно обступившей их со всех сторон. Однако тревожная, неотступная мысль все время возвращала их обоих домой, в Россию.

— Как там? Что там? Ты знаешь, Наденька, мне нужно бы попасть туда хоть на несколько дней, хоть на несколько часов. Столько дел накопилось — неотложных, чертовски срочных! Да и своими глазами увидеть бы, что теперь в Москве, в Питере...

— Знаю. А тут еще информация в последнее время стала слишком скупой. И все медленней идет, еле тащится. Я вчера говорила с Верой, просила ее что-нибудь предпринять. Она обещала.

— Раз Вера обещала — сделает. Все возможное и невозможное... Когда у вас следующая встреча с ней? Завтра?

— Как всегда, в наш час: ровно в пять, — и вдруг Надежда Константиновна, быстро взглянув на мужа и отведя взгляд, спросила: — А что, если не завтра, а... сегодня?

— Сегодня? Как сегодня?... Стой, стой, стой! Это что же получается. Для одного такой свехотдых, что даже в тетрадку заглянуть нельзя, для другого...

— Не сердись, прошу тебя, ты ведь знаешь — надо.

— Надо. Действительно надо... Так и быть, прощается. А то ведь я тоже пожаловаться могу.

— Маме?

— Разумеется. У нас с Елизаветой Васильевной полное взаимопонимание, полнейшее.

— Вижу и очень радуюсь этому. Она души в тебе не чает.

— Таких людей следует ценить и беречь. Добрая, неугомонная... Руки у нее золотые! К сегодняшнему утру так заштопала и отутюжила мне жилет — я не узнал его. Хоть на дипломатический прием надевай... Да, сколько еще осталось до пяти? Успеем сходить к реке? Или нет уже?

— Давай попробуем. Только сначала послушай вот этого кузнечика — самого настойчивого. — Надежда Константиновна поднесла руку с часами вплотную к уху мужа. — Слышишь, как заливается?

— Да, да, да! Самый настоящий кузнечик. Ну что ж, у нас был прекрасный день. День отдыха, правда? И свежим воздухом надышались на целую вечность вперед, и цветов столько набрали.

— И чуть было не поссорились...

— Чуть не считается... Ну а теперь, кажется, моя очередь ставить условия. Так вот, как только вернешься от Веры, устройшься в кресле поудобнее, и твое воскресенье продолжится. Обещаешь?

— Почему «твое»?

— Ну наше.

— То-то.

— Хорошо.

— Скажи: обещаю.

— Обещаю.

...В первом часу ночи Владимир Ильич увидел свет в комнате Надежды Константиновны. Он вошел и остановился в недоумении: весь стол Надежды Константиновны был завален газетными вырезками. Глаза ее слипались от усталости.

— Не сердись, Володя, аудиенция у Веры затянулась. Возвратилась поздно, а тут еще тысяча дел.

Владимир Ильич положил руку на плечо жены:

— Разреши, я тебе помогу.

— Нет, нет, ни в коем случае! Кроме меня, никто не разберется в этом пасьянсе... Ты маму видел?

— Честно говоря, мне тоже пришлось кое-куда захватить. Пол-Парижа исколесил.

Надежда Константиновна с упреком взглянула на него.

— Но к Елизавете Васильевне все-таки забежал на минутку. От цветов — в восторге! Совсем, говорит, такие, как в России. Очень растрогалась. И хоть я чертовски торопился, успела спросить, есть ли для нее работа.

— Не забыл про листовки?

— Не забыл. Только Елизавете Васильевне нездоровится последние дни, ты видишь. Пришлось сказать, что на этот раз листовки совершенно несрочные. Можно позже зашить их в подкладки. Вот о чем я попросил ее позаботиться безотлагательно, так это о ее дочери —

не щадит себя ни капельки, не желает хотя бы элементарно выспаться.

— И что же мама?

— Сказала, что с тобой надо бороться.

— Так и сказала?

— Да. Если, дескать, застанете Надю за столом ночью, тут же зовите меня.

— Самое время пойти и позвать.

— Как раз это я и собираюсь сделать. Причем немедленно.

— Идти, так уж вместе! Мама ведь не одну меня осуждает за ночные бдения.

— Значит, идем и жалуемся друг на друга? Превосходно! Но может, лучше отложим до утра? Дадим человеку отдохнуть?

— Верно, жалобу отложим. Но дело я должна сделать, как хочешь... Ой, смотри-ка, мама лампу забыла опять погасить. Когда-нибудь у нас будет пожар!..

Вдвоем они направились к Елизавете Васильевне. Из-за неплотно притворенной двери ее комнатки вырывался зеленоватый свет, образуя узкую тропинку в передней. По этой тропинке они подошли еле слышно и замерли на пороге.

Елизавета Васильевна, ссутулившись, сидела у стола и работала. Перед ней лежало несколько пиджаков, от одного из которых как раз в этот момент отпарывалась подкладка. Ножницы в руках Елизаветы Васильевны ходили быстро, ловко.

Рядом с настольной лампой на скатерти всею расстилались «совершенно несрочные» листовки Ленина.

У ромашек, стоявших тут же в фарфоровой, подаренной Владимиром Ильичем вазе были широко раскрыты желтые немигающие глаза...

ПЕРВЫЕ СЛОВА

Как многие дети окраин Питера, Паша с увлечением играла в казаков-разбойников и гоняла голубей. Беззаботная пора забав этих длилась у ребят недолго, обрывалась нежданно-негаданно. У Паши детство вообще не прошло — промчалось. Едва она закончила третий класс, как началась война. Отец и старший

брат ушли на фронт. На руках у Паши оказались больная мать и младший братишка.

Что делать? Куда, к кому обратиться? Как заработать на хлеб? — все эти вопросы встали перед юным существом, и ответа на них не было.

После долгих скитаний и мытарств удалось Паше устроиться рассыльной в одну контору. Работа была не из легких. Весь день бегала по городу, к вечеру валилась с ног от усталости. Но хозяин был все равно вечно чем-нибудь недоволен и все время грозился выгнать.

Стало Паше не до казаков-разбойников, не до голубей. А пробил час — в судьбе ее возникли совсем другие казаки. Своими глазами увидела, как нагайками избивали они рабочих на одной из застав. Затянувшаяся страшная война, нищета, голод вывели людей на улицы. Забушевали в городе митинги, демонстрации, стачки. На пути маленькой служащей то тут, то там вставали баррикады. Однажды пришлось пробираться в контору и под пулями...

Как-то — это случилось весной — девочку подхватила и понесла с собой толпа, двигавшаяся к Финляндскому вокзалу. Сказали, что идут встречать Ленина, — имя это Паше уже было знакомо хорошо. Все последние дни передавалось оно в городе из уст в уста.

Тысячи людей заполнили вокзальную площадь и прилегавшие к ней улицы. Поезд подошел поздно вечером. Через головы взрослых Паше трудно было разглядеть в темноте Ленина, но она, изловчившись, все-таки разглядела. Он в тот миг в распахнутом черном пальто с поднятым воротником стоял возле выкатившегося откуда-то броневика, потом поднялся на его башню, начал произносить речь. Оттесненной в сторону девочке почти невозможно было расслышать оратора, но она напрягла слух, поняла самое главное.

Глубокой ночью, оставшись наедине со своими мыслями, Паша сказала себе: «При первой возможности стану помогать тем, кто с Лениным». Она еще не знала, как осуществить эту мечту. Твердо знала одно: к мечте своей человек идет иногда медленно, спотыкаясь и падая, но настойчиво. Так было написано в одной книге, попавшейся ей в руки.

Через несколько месяцев революция, о которой говорил с броневика Ленин, победила. На стенах домов

появились листовки, звавшие работать с Советской властью. Подписи Ленина под листовками не было, но Паша сразу подумала — это он писал, и потому не откладывая направилась не куда-нибудь — в Смольный, к Ленину.

Даже люди с винтовками в руках и пулеметными лентами, перекрещенными на груди, расступились перед девочкой, поднявшейся по каменной лестнице.

— Работать, говоришь, хочешь? С Советской властью?.. — спросил Пашу вызванный часовыми высокий человек, назвавшийся секретарем Совнаркома.

— Работать, — подтвердила она.

— Сколько лет тебе, милая? Что делать умеешь?

Паша смутилась только на мгновение, потом взяла себя в руки:

— Пятнадцать. А делать буду все, что нужно. Я в конторе служила. Рассыльной.

— В конторе, говоришь? — секретарь задумался. — А пишущую машинку видела когда-нибудь?

— Видела. И даже печатать пробовала. Одним пальцем...

Секретарь переспросил:

— Одним пальцем? Негусто, конечно... — он едва заметно улыбнулся. — Но, ты знаешь, я сам на днях таким способом целую бумагу отстукал. Образование у тебя какое?

— Три класса городской школы.

— Городской... Ладно, давай попробуем. Завтра сможешь приступить?

— Смогу!

Паша была счастлива и назавтра пришла задолго до назначенного ей раннего часа. Секретарь оказался уже на месте. Он заметил ее, когда она остановилась перед часовыми, подошел, проводил в комнату, заставленную множеством письменных столов. Комната была большая, светлая. В углу, у самого окна, стоял никем не занятый столик, на котором Паша увидела черную машинку с золотым полуистершимся гербом.

— Вот твое рабочее место, — сказал секретарь, — а вот папка с самыми срочными делами. Главное — в робость не впадать, договорились? Да ты, я вижу, не из очень-то робких?

Паша хоть и кивнула в ответ, но сробеть, конечно, сробела. И еще как! Все буквы и цифры на круглых

клавишах разбежались и никак не хотели вставать на свои места. Прошло часа полтора, прежде чем Паша напечатала первые слова.

На звук заработавшей машинки пришел секретарь. Вгляделся в отбитые Пашей строчки, подбодрил:

— Молодцом! Поторапливать не буду. Бумаги хоть и срочные, — снова счел нужным подчеркнуть он, — но, запомни, они к тому же еще и важные.

Сказал так и ушел. А Пашу опять взяла оторопь. Замолчал заработавший было ремингтон.

Минут через десять явился обеспокоенный секретарь.

— Ну что же ты? Что случилось? Я уж товарищу Ленину про тебя доложил, а ты... Может, устала?

Паше стыдно было признаться, что она просто испугалась ответственности:

— Устала, но вы не волнуйтесь, это скоро пройдет.

— Тогда выйди, подыши свежим воздухом, — сказал секретарь. — Я тебе постоянный пропуск оформил. Вот возьми.

Паша поблагодарила, поднялась из-за столика и тут вдруг почувствовала, что действительно сил у нее нет никаких. Сказалась, наверно, бессонная ночь, проведенная у постели матери, ну и, конечно, переволновалась перед первым рабочим днем в Смольном. Пошла меж столов, пошатываясь. Секретарь проводил ее сочувственным взглядом и вздохом. Так во всяком случае показалось Паше.

Через четверть часа вновь заработал ремингтон. Удары по клавишам были все такими же редкими, но уже чуть более твердыми. Машинка начала понемногу слушаться Пашу. Девочку никто не поторапливал, но она скоро заметила, что каждая только что законченная ею страничка тут же исчезала со столика. Она даже не успевала вычитать текст.

В этот день Паша ушла из Смольного вместе со всеми — поздним вечером. А на следующее утро явилась сюда еще раньше, чем вчера: хотелось потренироваться, пока никого нет. Ничего из этого не вышло — и секретарь Совнаркома был уже на месте, и многие другие работники.

Паша обратила внимание на то, что кто-то успел похозяйничать на ее столике. Сказала об этом секретарю. Он успокоил ее:

— Это я еще одну срочную бумагу отстучал.

— Вы же сказали, все бумаги тут срочные, — удивилась Паша.

— Эта сверхсрочной была. От товарища Ленина. На твою долю такие тоже остались. Вот смотри. С них начинай.

В руках у Паши оказался целый веер листков, исписанных мелким почерком. Уже в одной из первых строк встретилось слово, которое разобрать не могла, как ни старалась. Секретарь, догадавшись, в чем дело, подошел к машинистке.

— Давай помогу. Я любое слово его понимаю.

— А вот это? — спросила Паша.

Секретарь в самом деле сразу прочитал:

— Кор-рес-пон-дент! Ты хоть знаешь, что это означает?

Паша призналась, что слышит впервые.

Секретарь снова тяжело вздохнул, и это уже не показалось Паше. Вздохнул по-настоящему, так, что лист копировальной бумаги соскользнул на пол. Поднял его секретарь сам, опередив нагнувшуюся было Пашу. Чуть лбами не стукнулись и оттого рассмеялись.

Объяснив значение слова «корреспондент», секретарь ушел по своим делам, но, как только умолкало стрекотание ремингтона, возвращался к машинистке. Паша привыкла к этому и, когда он подходил, не оборачиваясь и не дожидаясь вопроса, молча указывала карандашом строку, на которой остановилась.

Во время очередной заминки помощь почему-то запаздывала. Девочка прилагала все силы к тому, чтоб справиться самостоятельно, но ничего из этого не получалось. Наконец где-то у самого уха услышала дыхание подошедшего к ней человека. У нее отлегло от сердца, она привычно нацелилась карандашом в неподдавшееся слово. И сразу же услышала ответ:

— Комиссар!

Паша вздрогнула: голос был знакомым и незнакомым. Она резко обернулась. Возле нее стоял, оказывается, совсем не секретарь, а сам товарищ Ленин — такой же, как тогда на Финляндском вокзале, — в черном, широко распахнутом пальто с поднятым воротником, словно только что откуда-то вернулся. Она сразу узнала его, хотя видела и слышала всего раз в жизни. От неожиданности и смущения спросила:

— Это вы?..

— Это я... Разве вы меня знаете?

— Вы Ленин! — воскликнула Паша тихо, но уверенно.

— Правильно, Ленин. Но и я вас знаю. Вы — первая машинистка Смольного. Правильно?

Паша смутилась еще больше. Ленин, заметив это, сказал:

— Очень хорошо, что у нас теперь есть товарищ, который умеет печатать! Вы представить себе не можете, как это замечательно! Вас зовут Паша. Мне о вас рассказывали. Машинистка в Смольном, говорят, работает. И лет ей якобы едва-едва пятнадцать. Правильно?

— Полных пятнадцать... — уточнила Паша.

— Пятнадцать полных? Очаровательно! — воскликнул Ленин. — Не каждый может похвастаться, что пришел в революцию в таком возрасте. Вы меня поняли?

Паша поняла, кажется, не до конца, но на всякий случай кивнула.

— Как вам живется у нас, Паша? — спросил Ленин. — Только честно и прямо, прошу вас. Трудновато? Да?

Машинистка вместо ответа протянула вперед свой указательный палец — узенький, дрожащий от напряжения и к тому же весь перепачканный фиолетовой краской от ленты.

— Печатаете одним пальцем, — без лишних объяснений понял Ленин. — Не беда! Все большое начинается с малого. Не смущайтесь, все постепенно наладится. Кстати, а как с почерком?

Последнего вопроса Паша не поняла, беспомощно взглянула на Владимира Ильича. Он перехватил ее взгляд:

— Хорошо ли руку мою разбираете? Я в спешке иногда так настрочу, что даже Надежда Константиновна встает в тупик.

Паша не знала, что и как ответить. Ленин, перегнувшись через ее плечо, пристально вгляделся в дробную россынь строк ремингтона, сказал:

— По-моему, все хорошо у вас, Паша. Вот и слово «комиссар» сейчас напечатаете. И напечатаете наверняка совершенно правильно — через два «эс», так ведь? И в «корреспонденте» два «эр» поставили. Молодец, да и только!

Ленин вдруг выпрямился, посмотрел в окно, затянутое густым осенним туманом, и тихо промолвил:

— А знаете, о чем я подумал сейчас, Паша? Не догадываетесь? Слушайте меня внимательно. Трудное, сложное время выпало нам. Сложное, трудное, но прекрасное! Мы по буковке пишем, печатаем в эти дни первые, самые первые слова революции! Вы только вслушайтесь, Паша,— «октябрь», «комиссар», «народный депутат»!.. Придет время — слова эти положат на музыку. Да, да! Мы с вами счастливые, счастливейшие люди на всей земле. Вы согласны со мной?

Паша снова кивнула. На этот раз уже гораздо более уверенно, без тени колебания.

Ленин, довольный, окинул взором большую комнату Совнаркома, работавших тут людей и так же задумчиво, но чуть громче повторил:

— Счастливые. Счастливейшие, уверяю вас!

ПОДАРОК

Война для Павла давно кончилась, а военная служба продолжалась: весна двадцатого года застала его в Москве на первых пулеметных курсах. Павлу нравилось, что ему, простому деревенскому парню, довелось ходить под ружьем не где-нибудь — в Кремле. Почему? Павел, наверное, не смог бы толком это объяснить даже и самому себе. Нравилось, и все. Он так и отцу написал: «Служба у меня хорошая». Хотел было добавить, что ему выпала честь охранять квартиру Ленина, что уже несколько раз стоял на этом посту, но передумал. Верней, друзья отсоветовали:

— Тебе такое дело доверили, а ты...

— Я же отцу родному.

— Все равно тайна. Государственная.

Павел понимал это, но только скрыть свою радость ему не удавалось. Стоит иной раз на посту и улыбается. Это дружки давно уже заметили.

— Павел-улыба, — сказал однажды кто-то из них.

Прозвище это закрепилось за парнем, но он не обижался. Как-то остановился возле улыбчивого часового Ленин.

— Настроение хорошее?

Павел молча кивнул Ильичу.

— Ну вот и прекрасно. Как вас зовут?

— Павел...

Заметив, что часовой смутился, Ленин легонько дотронулся до его плеча.

— Будем знакомы, товарищ Павел.

С тех пор они всегда безмолвно приветствовали один другого. Улыбнутся мельком друг другу — и до новой встречи.

Но раз произошел такой случай. Глянул на Павла Владимир Ильич и не узнал своего знакомого. Перед ним стоял сумрачный, удрученный чем-то человек.

— Что с вами? — подошел к нему Ленин.

Павел только голову в плечи вобрал.

— Неприятность какая-нибудь, да?

Павел, как и в тот раз, кивнул Владимиру Ильичу.

— Очень прошу вас, зайдите ко мне, когда сменитесь. Только, чур, без всяких стеснений и церемоний. Жду.

Вечером Павел пришел к Ленину.

— А! Сядьте-ка вот сюда, — приветливо встретил его Владимир Ильич. — Так что же случилось?

— Неловко мне вас беспокоить как-то...

— Нет, нет, беспокойте, беспокойте, прошу вас. Непременно беспокойте.

Павел вытер вспотевший от напряжения лоб таким движением, словно хотел сказать: «А, будь что будет!» — и робость его отступила.

— Письмо пришло из деревни, Владимир Ильич.

— Так. И что же в письме? Плохие вести?

— Отцу моему край приходит.

— Поволжье? — спросил Ленин.

— Нет, курские наши места.

— Курские? — Ленин тоже провел рукою по лбу. — Можете показать письмо?

Павел вынул из кармана гимнастерки замусоленный клочок бумаги. Ленин пробежал его глазами в одно мгновение.

— Да-а... Тяжела крестьянская доля, товарищ Павел, — сказал он, возвращая письмо. — Тяжела вообще, а нынче особенно.

Ленин продолжал глядеть на Павла, но, казалось, в этот миг уже не видел его.

— Курские, курские... Ведь это же сплошной чернозем! Сейчас бы отцу вашему пахать и пахать.

— Вот именно, Владимир Ильич. Но лошаденка наша на все село одна была. Не встала после зимы...

-- Как называется ваше село, товарищ Павел?

— Забытое, Владимир Ильич.

— Как, как?..

-- Забытое. Так кличут весь век.

— Ничего себе век! Село Забытое, и люди в нем забытые — так, что ли, получается?

— Нас забытинскими зовут, Владимир Ильич.

— Все равно обидно и несправедливо. Согласны?

— Согласен.

-- Придется нам с вами всю карту России переписывать заново.

— А? -- не совсем понял его Павел.

— Не должно, я говорю, у нас остаться ни забытых, ни забытинских. Не в названиях дело, конечно. Это я просто к слову. Но и в них. Звучит уж больно обидно: Забытое.

— А! — уловил наконец Павел мысль Ленина.— Оно, конечно, название не то, но если б не пала Хромуша...

— Хромушей, значит, звали кормилицу?

— Хромушей.

— Скажите, Павел, если б у вас появилась сейчас новая лошадь, вы бы ее снова Хромушей назвали?

— Зачем Хромушей? Та у нас отроду убогой была, а новая... Да где ее теперь взять?

-- Ну а как учеба идет? -- вдруг перевел разговор на другую тему Ленин.

— Тут порядок, Владимир Ильич. Стараемся.

— Уже хорошо! Главное в нашем деле, товарищ Павел, духом не падать.

Он так сказал это свое «в нашем деле», что Павел и сам подумал о себе и об Ильиче как о людях совершенно равных, у которых одна цель, одна забота.

— Ну не огорчайтесь, товарищ Павел. Остальное тоже должно наладиться.— Ленин, чтобы окончательно поднять настроение парня, подмигнул Павлу.

Они расстались. Ленин пошел по своим делам. Павел -- по своим.

Поздно ночью, когда все в казарме давно спали, Павел снова, в который уже раз, достал из кармана письмо отца.

«Павлуша, сыночек, горе у нас большое.— Павел едва разбирал выведенные дрожащей рукой каракули.— Хромуша, кормилица наша, пала. Как теперь нам без

лошади? Хоть пропадай. Полосу не успели вспахать, все хозяйство остановилось. Может, ты, Павлуша, отхлопочешь отпуск ден на десять. Тогда как-нибудь бы управились. Приезжай, я тоже чувствую плохо. Не знаю, дождусь...»

Всю ночь не сомкнул Павел глаз. А когда наступило утро, решил идти к начальнику курсов, рассказать про отцово письмо. Так друзья посоветовали.

Едва переступил Павел порог кабинета начальника, тот сам вдруг поднялся навстречу и говорит:

— Знаю все. Отпуск пришел просить?

— Отпуск,— не слыша собственного голоса, не то сказал, не то прошептал Павел.

Начальник усадил курсанта за стол:

— Пиши.

— Да я, да у меня...— дрожащими пальцами Павел начал отстегивать кланан кармана гимнастерки, где хранилось письмо отца.

— Говорят тебе, все знаю.

Начальник, не торопясь шагая по кабинету, продиктовал Павлу рапорт от первой до последней строки. Потом прочитал вслух, что получилось, и сказал:

— Распишись.

Павел расписался.

— А теперь я распишусь. Отпуск тебе на две недели!

— Спасибо, товарищ начальник. Я отслужу.

— Да ладно, ладно уж, на часах ведь больше положенного при всем желании не прстоишь. Ты устав караульной службы знаешь?

— Знаю.

— Ну а чего ж ты?

— Спасибо вам, товарищ начальник.

— Спасибо не мне — Советской власти скажи.

— И власти спасибо.

Павел поднялся с места, но начальник жестом руки остановил его.

— Это не все еще.— Он подошел к телефону и позвонил: — Здравствуйте, Елена Дмитриевна! Вы хотели видеть моего курсанта? Вот он, сидит у меня... Прислать его к вам? Сию минуточку... Да, отпуск оформлен... На две... Будьте здоровы, Елена Дмитриевна.

Павел не мигая глядел на начальника, а тот изумлял его все больше и больше.

— Это я со Стасовой говорил. Знаешь такую? У нее для тебя записка от Ленина.

— Для меня?

— Да, насчет лошади. Владимир Ильич распорядился, чтоб отцу твоему выделили лошадь для поправки хозяйства. Кавалерийские части расформируются, лошади будут передаваться в уезды бедноте. Ваша очередь первая.

Этого Павел не понял, вернее, не в состоянии был понять. Он с трудом пришел в себя даже и вечером, в казарме, где его обступили со всех сторон курсанты и в десятый раз требовали рассказать все по порядку.

Записка переходила из рук в руки, и Павел уже начал сердиться:

— Да аккуратней вы, аккуратней...

Он убрал записку подальше и достал ее только в тот день, когда ребята его провожали, и то лишь для того, чтобы убедиться, на месте ли она.

Павел уехал, как было написано в приказе, на две недели, и, наверно, все две недели не умолкали бы на курсах разговоры о нем, об его отце и лошади.

Но не суждено было курсанту полностью использовать полученный отпуск. Через пять дней рано утром появился он в казарме. Одно это уже вызвало там переполох, а когда повскакавшие с коек ребята глянули на Павла, и вовсе пришли в замешательство.

Перед ними стоял не тот веселый, улыбчивый, полный сил и здоровья парень, с которым они простились на прошлой неделе, а изможденный, осунувшийся человек.

— Что с тобой, Пашка? — кинулись к нему ребята.

— Плохо дело мое, братцы.

— Не дали коня?

— Может, и дали бы.

— То есть как это — «может»? Ну рассказывай, рассказывай. Подмогнули тебе и еще подмогнут.

— Не поможешь ничем теперь. Батю на погост свезли.

— Батю?..

— Да, после того, как пала Хромуша, лег на печь и не встал больше. За три дня до моего приезда помер.

Ребята стояли вокруг приумолкшие, растерянные. Не знали, что сказать, как поступить.

Павел дотащился до своей койки, устало опустился на нее, попросил табаку.

— А матери у тебя нет? — спросил кто-то.

— Она скончалась сразу, как отец с гражданской пришел. Лекарь сказал: от радости.— Он помолчал, затаился несколько раз свернутой кем-то для него «козьею ножкой» и сказал: — Вот ведь как люди устроены — от радости мрут, от горя и подавно. А я еще хотел Подарком его назвать.

— Кого?

— Коня того.

— А записку про коня ты куда девал?

— Как — куда? Отдал деревенским. Пусть выхлопывают. Батя точно отписал: ни одной лошаденки в Забытом.

— Ну, ты рассказал им про свой разговор с Ильичем?

— Как же. И адрес его дал, чтобы всем селом отблагодарили, когда получают коня.

— Ничего не запомнил?

— Не упомянул только сказать, чтоб Подарком коня называли.

— Эх ты!..

— Растерялся я малость.

Вечером того же дня курсанты писали письмо в село Забытое. Первым делом про то, чтобы Подарком коня нарекли. «А если выйдет какая задержка с получением,— писали они,— сообщите Павлу, он Ленину лично доложит».

— Так, что ли, Паша? — спросил кто-то из них.

— Так,— ответил Павел.— Лично доложу. Все-таки будет коняга в нашем селе.

СУББОТНИК

Железнодорожные платформы на запасном пути поскрипывали под штабелями заснеженных бревен. Мороз к вечеру усилился, и было неясно, отчего бревна скрипят — оттого ли, что пробрал их холод, или от собственной тяжести.

Когда рабочие, наспотыкавшись о заваленные сугробами рельсы, подошли к поезду, им даже не по себе стало — то ли декабрьские сумерки так быстро нагрянули, то ли состав был действительно таким длинным, но до конца его разглядеть было невозможно.

— Да-а... Тут не только дотемна — до утра не управишься! — вздохнул кто-то негромко, но так, что все слышали.

На человека, сказавшего эти слова, тоже негромко, но дружно зашикали:

— А ты не робей, дело ведь добровольное.

— Хочешь, ступай домой, мы и без тебя бревешки перекидаем.

— Без меня не перекидаете, потому как я отсюда никуда не уйду.

— Вот это другой разговор!

И субботник начался. Сперва не дружно, не споро, но вот высоко над платформами зазвучало извечное:

— Раз-два, взяли!..

Еще минута, и песня, как всплеск буферов, пока-тилась по всему составу:

— «Еще ра-ази-ик! Е-еще раз!»

Казалось, уже никто и ничто не в состоянии нарушить этого ритма, этого веселого шага «Дубинушки». Но в самый разгар работы песня вдруг оборвалась так же неожиданно, как вспыхнула, — от платформы к платформе, из уст в уста передавалось, подхватывалось одно и то же слово:

— Ленин!..

Невысокий, в черном пальто и треухе, он вырос откуда-то из снежной кутерьмы и, поздоровавшись с незнакомыми ему людьми, сразу растворился в толпе, попытавшейся было его приветствовать.

И вот уже вместе с двумя рабочими он подымает и тащит с платформы плавно покачивающееся, облепленное снегом бревно, и снова перемещивается с воющим ветром на минуту притихшая песня...

Увлеченный работой, Ленин не сразу замечает, что бревна, под которые он старается подставить то одно, то другое плечо, все какие-то удивительно легкие, почти невесомые. Ему сначала даже кажется, что причиной тому — знакомая с детства «Дубинушка», распрямлявшая спины грузчиков и бурлаков в далеком Симбирске.

Но вот Ильич, громко рассмеявшись, спохватывается:

— Ну и мудрецы! Кого провести захотели!

Как это он сразу не сообразил! Двое его напарников, берущих бревно с двух концов, намного выше, сильнее его, и он, идущий между ними, еле-еле дотя-

гивается до громоздкой ноши, едва касается ее своим плечом!

— Не-эт, товарищи, так дело не пойдет! Давайте по-честному, или я уйду в другую бригаду.

— Владимир Ильич, мы по-честному. Вам показалось...

— Ну так вот, чтобы никому ничего не казалось, я встану с краю, а вот вы... — Ленин дотронулся пальцем до могучей груди одного из парней, — вы вставайте в середину, вот сюда, на мое место. Перегруппировка сил иной раз бывает полезной. Пожалуйста!

Поменялись местами. Понесли.

Но как на грех, бревно опять почти висит в воздухе где-то над самым ленинским плечом, а Ильичу за воротник только ржавый снежок сыплется!

— Да что же вы вытворяете?! — рассердился Ленин.

— Владимир Ильич, это бревно горбатое. Как ни поверни, все топорщится. Сейчас другое возьмем.

Ленин не сказал больше ни слова, только, слегка покачав головой, с осуждением взглянул на смущенных хитрецов. Потом, глубоко запустив руки в карманы пальто, по-военному резко повернулся — пошел искать себе новых напарников.

Ленин работал вместе со всеми, пока весь состав не был разгружен. А было в том составе больше сорока четырехосных платформ, и на каждой бревен — целая гора.

Но странное дело: к кому бы из рабочих в тот вечер ни подходил Ильич, в чьей бы бригаде ни грел озябшие руки у костра — все люди казались ему великанами, чудо-богатырями! И за какое бы бревно он ни брался, под какое бы ни подставлял плечо — все были легкими, одно легче другого, и словно пушинки сами плыли по воздуху.

ВАРЕЖКИ

Это письмо из Москвы пришло к Дарье, когда она еще не перестала его ждать, хотя все соседи в один голос говорили:

— Не напишет, Дарья. Некогда ему сейчас в переписке с тобой находиться.

Дарья и сама понимала: адресат ее очень занят, но надеялась — ответ ей все-таки будет.

— Дело у меня серьезное. Человека касается.

И вот однажды утром на виду у всей деревни почтальон дядя Саша Каланча, спрямляя снежную тропку, с тяжелой сумкой на плече пробрался к старухиной хатке, постучал по краешку наличника:

— Важный пакет тебе, Дарья. Отворяй.

Никто не узнал тогда, что говорилось в том пакете, но по всему видно было — своего старуха добила. И жители деревеньки вздохнули с облегчением: хлопотала Дарья за обиженную кем-то учительницу — одинокую, хворую, тоже совсем старую.

А через неделю деревенские удивились еще больше. Дарья, которая вот уже лет десять не отходила далеко от дома, быстро семенила в сторону станции...

Город встретил ее шумом, сутолокой, но старуха прямо с вокзала, нигде не задерживаясь, направилась к центру и вскоре добралась до места.

— Вы к кому, бабушка? — остановил ее возле кремлевской башни человек в военной форме.

— Мне самого повидать надобно.

— Пропуск иметь полагается.

— Знаю, что полагается, да времени у меня маловато — нынче приехала, нынче и обратно. Ты уж сам, сынок, скажи кому следует.

Еще в поезде обдумала Дарья, что и как скажет при встрече с Ильичем, а вышло все по-другому. Когда переступила порог кабинета, в котором работал Ленин, все приготовленные слова вдруг забыла. А он быстро поднялся ей навстречу из-за стола и заговорил первый:

— Здравствуйте, Дарья Семеновна. Садитесь вот сюда, к свету, и рассказывайте.

Дарья помолчала, еще раз попыталась собраться с мыслями, но так и не пришло ей на память ни одно из тех задуманных слов.

— Просто спасибо пришла сказать. За учителку нашу. — Встала, подошла совсем близко и развязала принесенный узелок. — Это тебе. Ты не серчай, прими, как от матери принял бы.

На край стола легли, серые варежки. Легли так мягко и так тихо расправили на зеленом сукне свои

пушистые складочки, будто задумчиво вздохнули о чем-то.

Вырвался еле заметный вздох и у старухи,
— Наши, простецкие. Носи на здоровье.

Ленин взял одну варежку и примерил. Пришлась она в самую пору.

— В наших краях тоже такие вот вяжут. Крученая шерсть. Спасибо вам большое.

Хотел еще что-то сказать, но старуха суетно стала прощаться:

— Ты уж извини, спешу.

И ушла так же неожиданно, как появилась.

Однако, выйдя из стеклянных дверей, она вдруг перестала торопиться и пошла по огромному, как город, двору медленно, степенно, как по своему собственному. И как-то почти по-домашнему, по-деревенски сажился ей на укутанные платком плечи сухой, гра-
ненный снежок января.

Старуха остановилась, в задумчивости оглядела все вокруг — золотые купола старинных храмов, зубчатую розовую стену, ровные ряды давно отшумевших пушек.

Дважды вспыхнул и отлетел за реку Москву — в вечеряющее Зарядье — перезвон курантов, а она все стояла и улыбалась своим мыслям.

У Боровицких ворот ее неожиданно окликнул кучер, сидевший в санях-розвальнях:

— Вы Дарья Семеновна?

— Я, — удивленно ответила старая.

— Ленин велел вас до вокзала довести.

Вернулась Дарья в деревню довольная, веселая. Односельчане, послушав ее рассказ, не удержались от шутки:

— Ты вроде бы помолодела даже!

— А чего мне делается? Вон пушки в городе стоят под снегом, поди, триста зим — не ржавеют...

Не знала вот только Дарья, носит ли варежки тот, кому они были связаны.

— Да на кой они ему, ты сама рассуди, — говорили соседи, — у него небось фабричные есть.

— Это верно, — соглашалась Дарья Семеновна. — А может, все-таки носит в морозные-то дни?..

Вскоре деревенские парни побывали в городе. Воротились и первым делом к Дарье:

— Носит! Сами видели.

Дарья слушала парней молча, а возле самых очков ее поблескивали на ранней вечерней зорьке остро отточенные стальные спицы.

Рядом на подоконнике лежали готовые варежки. Шерстяной палец одной из них торчал так, будто она уже натянута на чью-то богатырскую руку.

— А эти кому, Дарья Семеновна?

— А эти Ильичеву кучеру. А еще почтарю нашему, Саше Каланче. Вишь, какую тяжелую сумку с письмами таскает он по морозу-то каждый день.

...Много лет прошло с тех пор. Нет Ленина, давно нет и самой Дарьи. Другой почтальон спрямляет по утрам снежные тропки в Дарьиной деревне, но спицы, которыми вязала старуха свои бесценные подарки, живут и работают, видать, без отдыха.

Соседу нашему, герою-летчику, пришла недавно от земляков посылка из деревни, что «за Можаем». Открыли — варежки! Точь-в-точь как те.

ПОСЫЛКА

По несколько раз в день Дзержинский просматривал свежую почту. Корреспонденций всегда было много — правительственных и самых обыкновенных.

С далекой границы докладывали об операции против контрабандистов. Волжане просили срочно оказать помощь голодающим детям. Из Сибири сообщали о том, как идет отправка в центр России продовольствия и семенных грузов...

Дзержинский на каждое письмо, на каждую телеграмму отвечал не откладывая, точно и по существу. Сейчас, перед дальней командировкой, он делал это с особой тщательностью и готов был просиживать на работе до утра, лишь бы не оставить после себя «бумажных хвостов». Он все поторапливал секретаря:

— Ну как там? Какие еще есть депеши?

Секретарь то и дело входил в кабинет. Для удобства он раздобыл где-то поднос и на нем носил Феликсу Эдмундовичу свежую почту.

Дзержинский давно заметил это, но все не находил времени, чтобы пожуричь парня за чрезмерное усер-

дие, и разговор о подносе откладывался до подходящего случая. Сегодня утром он наконец не выдержал:

— Совсем как в старинном романе: граф проснулся, позвонил в колокольчик, и ему принесли на подносе письма и черный кофе!

— Если бы кофе...— тихо сказал секретарь.

— Вот именно, если бы! А то поднос большой, а толку мало — нóсите с утра до вечера одни бумаги. Может, это и удобно, но, знаете ли, как-то не очень питательно.

Бледные, худые, они стояли друг против друга — юноша и нарком, — и шутка помогла им обоим на одно мгновение забыть о голоде, о тифе, о враге.

— Это где же вы раздобыли такую посудину?

— Эта посудина, Феликс Эдмундович, действительно как в романе, восемьдесят четвертой пробы. Реквизировали у одного недобитого буржуя.

Дзержинский поглядел на секретаря так, что тот, позванивая пустым подносом, вышел из кабинета, недоуменно пожав плечами:

— Все ведь думаешь, как лучше...

Это он сказал уже в приемной, и Дзержинский не слышал его слов. Не слышал и секретарь, как вдогонку ему тяжело вздохнул Дзержинский. Не видел он сейчас и лица Феликса Эдмундовича — еще молодого, но тронутого глубокими шрамами усталости.

«Да-а, — думал секретарь, — не очень-то весело нынче день начался. К вечеру быть грозе».

Не знал он, что грянет она значительно раньше. Принес наркому очередную почту — не на подносе, нет, о нем больше и речи быть не могло! — тут и началось.

— Я видел утром в приемной фанерный ящик в сургучных печатях. Почему не докладываете?

— Феликс Эдмундович, я отложил это на конец дня. Посылка из Баку от товарища Хандалова пришла. Неслужебная. Одним словом, сюрприз.

— То есть как это сюрприз?

— Распаковывать без вас я не стал, но и так слышу — на всю приемную аромат, аж голова кружится...

Когда вскрыли ящик, глазам своим не поверили — тяжело стукаясь друг о друга бордовыми боками, по всему столу раскатились огромные, щедро налитые могучим бакинским солнцем яблоки...

От яблок подымаясь и полз по комнате одуряюще вкусный запах.

— Знаете что? Запакуйте это и унесите отсюда. Немедленно! — Дзержинский потянулся к блокноту, резким движением вырвал из него зубчатый листок бумаги.

— Сейчас унесу...

— Нет, сначала напишите текст моего ответа в Баку.

— Диктуйте, Феликс Эдмундович.

Под диктовку Дзержинского секретарь стал наносить на бумагу стенографические иероглифы.

— Записали?

— В точности.

— Прочтите, пожалуйста, вслух.

— Пожалуйста. «Председателю Азербайджанской ЧК Хандалову. Уважаемый товарищ, благодарю вас за память. Посылку вашу получил и передал в санитарный отдел для больных чекистов. Должен, однако, заметить, что не следовало бы вам, как председателю ЧК и коммунисту, ни мне, ни кому-либо другому делать такие подарки. Дзержинский».

— Ну вот, это будет, кажется, и справедливо и гуманно. Отправляйте. А яблоки сейчас же передайте по назначению.

— Слушаюсь.

— Когда вернетесь, соедините меня с товарищем Лениным.

Минут через десять секретарь возвратился. Вид у него был такой, что и без доклада можно было понять — все распоряжения выполнены.

— Феликс Эдмундович, соединяю.

— Владимир Ильич? Здравствуйте, говорит Дзержинский...

Подробно доложив Ленину о делах, Феликс Эдмундович в конце разговора сказал:

— Озадачил меня сегодня один наш товарищ, разозлил даже. Прислал, видите ли, на мое имя продуктовую посылку! Я ему ответил, может быть, немного резковато, но, на мой взгляд, в общем, справедливо. По поводу этого ответа я хотел бы с вами посоветоваться. Не слишком ли я его?

Дзержинский пересказал Ленину содержание своего письма Хандалову.

— Как ваше мнение, Владимир Ильич? Не слишком?..

В трубке что-то зарокотало и замерло. Дзержинский переступил с ноги на ногу.

— Да, уже отправил...

Секретарь внимательно вглядывался в лицо Феликса Эдмундовича и никак не мог догадаться, что происходит на другом конце провода.

Дзержинский слушал Ленина, растерянно улыбался и едва успевал отвечать:

— Ясно. Понимаю. Согласен. Большое спасибо...

Поздно вечером, перед самым уходом домой, Дзержинский в последний раз вызвал секретаря:

— Значит, завтра мы с вами отбываем в Сибирь. Все у нас с вами в порядке?

— В полном, Феликс Эдмундович!

— Тогда по домам!

Обычно после таких слов, попрощавшись и повернувшись через левое плечо, секретарь исчезал до следующего дня, но сегодня он что-то медлил.

— Вам что-нибудь не ясно?

Секретарь нарисовал ногтем на краю стола замысловатую фигуру.

— Поднос, надеюсь, на складе?

— На складе, Феликс Эдмундович.

— А яблоки?

— У больных чекистов.

— Так что же вас беспокоит?

— Могу я узнать, что о посылке Хандалова товарищ Ленин сказал?

— А-а! Вон вы что! Только, чур, между нами. Строго конфиденциально.

— Ясное дело, Феликс Эдмундович.

— Так вот, отругал меня Владимир Ильич. Отругал. И знаете, в какой деликатной форме он это сделал? Вот, говорит, все зовут вас Железный Феликс, а вы, в сущности, добрейший и мягчайший человек. Я бы этого товарища из Баку еще не так разделал. И вынес бы ему строгий выговор. С предупреждением. Да, да, да. Понятно?

Это «понятно?» Дзержинский произнес как-то так, что было неясно, Ленин ли обратился с таким вопросом к нему, или Дзержинский спрашивал своего секретаря — понятно ли, мол, вам, как рассердился Ленин?

Секретарь еще раз внимательно глянул на Феликса Эдмундовича и на всякий случай ответил:

— Понятно!..

ХРУСТАЛЬНАЯ ВАЗА

Ленину стало известно об удивительной вазе от Луначарского. Нарком просвещения давно почувствовал во Владимире Ильиче тонкого ценителя всего настоящего талантливого и не устал поражаться тому, какой острый глаз у него, как зорко умеет увидеть прекрасное даже в малом. Поэтому, когда Луначарскому показали хрустальную вазу, он, залюбовавшись ею, тут же позвонил Ленину и попросил его найти время, чтобы взглянуть на это чудо из чудес.

В одно из воскресений Ленин объявил домашним, что проведет с ними почти весь день, отлучится только на час, самое большее — полтора. Родные обрадовались, что Владимир Ильич наконец-то сможет немного отдохнуть.

Но напрасно они ждали его к обеду. Уже под самый вечер с улыбкой провинившегося перешагнул он порог дома.

— Достоин наказания и прощения одновременно. Но когда услышите, из-за чего задержался, уверен — помилуете.

И, не раздеваясь, тут же, в передней, начал рассказывать о вазе.

— Это действительно чудо! Луначарский совершенно прав. Да, да, подлинное чудо! Тут нет никакого преувеличения.

Владимир Ильич взглянул на родных, ничего еще толком не понявших.

— Вы можете себе представить букет гвоздик из горного хрусталя? Даже не букет — целый сноп хрустальных цветов! Они-то и приворожили меня, околдовали просто. И знаете, почему я пробыл там так долго? Ни за что не поверите. Солнца дожидался! Анатолий Васильевич сказал, что ваза особенно красива при солнечном освещении, а день, как назло, выдался пасмурным. Только под конец стало немного проясняться, и мы увидели нечто непередаваемое. Каждый цветок переливался, как перья жар-птицы. Упадет на какую-нибудь грань солнечный луч — и по-новому вспыхнет цветок, даже очертания его меняются. Сколько фантазии и вместе с тем какая гармония! Мертвый, холодный материал оживает в каждом лепестке, в каждом сочленении стебелька. Просто уму непостижимо, как

могли сотворить такие человеческие руки! Обязательно свезу вас посмотреть вазу.

Ленину не представилось случая показать вазу своим близким, но вмешаться в ее судьбу ему пришлось самым непосредственным образом.

О «русском чуде» скоро прослышал кое-кто из иностранцев. Богатые собиратели всяческих редкостей любыми путями мечтали завладеть сокровищем. У одного заморского воротилы так разгорелись глаза, что он в азарте предложил за вазу... пять новых паровозов. Об этом доложили Ленину.

— Пять паровозов?..

— Пять! Мощных и на полном ходу!

Ленин возбужденно зашагал по комнате.

— Так, так, так... Тут есть над чем призадуматься.

— В том-то и дело, Владимир Ильич. Для России это нынче целое состояние.

— Согласен. Целое состояние. Ну и каково же ваше мнение?

— Мы решили прежде всего вам доложить.

— Я один этого тоже решить не могу. Давайте вместе взвесим все «за» и все «против». Вы хозяйственники, вам первое слово.

— Россия разрушена, Владимир Ильич. Без транспорта задыхается. Пять паровозов не шутка. Хорошая, стало быть, цена.

— М-да... Цена немалая, что говорить.

— Ну вот и мы так рассудили, Владимир Ильич. Нищая Россия-то. Беднее нас, пожалуй, нету теперь державы.

— Нищая, говорите? — Ленин помрачнел. — Да... Разорены, разграблены до предела, приходится признать, как это ни обидно. Но... вы сами-то вазу видели?

— Какая б она ни была, Владимир Ильич, паровозы нам сейчас нужнее.

— Но все-таки? Видели? Или нет?

— Видели.

— Понравилась?

— Не то слово, Владимир Ильич. Красавица!

— А коли так, давайте думать не о том, как ее выгоднее продать, а о том, как надежнее сохранить. Поймите, это уникальное произведение искусства, созданное талантливыми умельцами, которыми всегда был богат наш народ.

Хозяйственники слушали Ленина, а он увлекался все больше:

— Вспомните каслинских мастеров на Урале. Удивительнейшие изделия отливают из чугуна. Миниатюры ювелирной работы. А палешане с их поразительной лаковой росписью? А волжская Хохлома? А Мстёра? А Федоскино? Целые семьи, целые деревни народных талантов на Руси! Так что, если хорошенько разобратся, мы при всей своей бедности обладатели огромных богатств, несметных сокровищ. И надо во что бы то ни стало сберечь, сохранить все это. Конечно, теперешняя нужда может заставить принести и новые жертвы. Но будем разумными хозяевами. Словом, изыщите любые возможности, но только вазу ни в коем случае не продавайте.

Когда хозяйственники ушли, Ленин подошел к замерзшему окну, подышал на его ледяную корку, через образовавшуюся проталинку взгляделся в заметенную снегом Москву.

«Да-а... Трудное время. Голод. Холод. Разруха. Людям не хватает самого насущного. Третьего дня прямо на заседании Совнаркома товарищу Цюрюпе стало плохо. Врач констатировал: голодный обморок. Нарком продовольствия, человек, ведающий снабжением всей страны, падает в обморок от хронического недоедания! «Какой чудовищный парадокс!» — скажет кто-нибудь. Тут нет никакого парадокса! Именно потому-то мы и держимся, что существуют такие бескорыстные, преданные делу, высокие духом революционеры. А куда десники, смастерившие вазу? Если сегодня, в этих адских условиях, люди способны на такое, то какие же шедевры подарят они миру завтра!...»

Мысли Ленина были прерваны вошедшим секретарем:

— Владимир Ильич, вам звонят.

— Кто — простите?

— Опять все те же. Чего-то снова не ясно им насчет вазы.

Владимир Ильич взял трубку:

— Я слушаю... Ах вот оно что! Вы бы так сразу и сказали. Сейчас вместе сформулируем. Пишите? Пишите! «Ваза не продается. Ни за пять паровозов, ни за двадцать пять. Да будет известно господину покупателю, что это бесценное сокровище...» Записали? Превосходно. Да, добавьте вот еще что: «Вазу создал

гениальнейший художник современности — рабочий класс России». Теперь прочтите, пожалуйста, что у нас получилось... Так, так, так... Спасибо. У вас возражения есть? Тогда действуйте. И будем считать, что решение по данному вопросу принято.

ПЕЛЬМЕНИ

— Владимир Ильич, пришли бы вы к нам в воскресенье, — сказал неожиданно в конце телефонного разговора старый знакомый Ленина Николай Матвеевич Степанов. — Очень просим. У нас ничего и никого не будет. Посидим, поговорим. Может, чайком побалуемся. Обсудим все заветные дела. Пора бы нам и на охоту нацелиться.

Ленин согласился.

— Посидеть, помечтать часок-другой не мешает. И Наденьку сагитирую. Одним словом, ждите! Только, ради бога, никаких чаев. Это твердо, обещаете?

Несмотря на строгое предупреждение, забегала, засуетилась жена Николая Матвеевича, заволновался и сам хозяин.

— Он когда-то страсть как пельмени любил. Настоящие сибирские, морозцем сбитые. Помнишь?

— Помнить-то помню, только...

— Барахолка рядом.

— Ну и что? Серебра у нас с тобой сроду не было, а за тряпки наши ничего не дадут — одно старье.

— Что бы такое все-таки придумать?

Начали Степановы вместе перебирать сундук. На самом дне его чудом сохранилась беличья муфта Веры Спиридоновны — та самая, которую подарил ей Коленька в годовщину их свадьбы. С тех пор прошло много лет, но муфта выглядела еще прилично. Переглянулись старики, повертели ее в руках и понесли на Сухаревку.

Так в доме нежданно-негаданно появились мука и мясо. Для полной удачи надо было бы раздобыть еще хоть несколько капель уксуса и головку лука, а говядину провернуть через мясорубку пополам со свиной, но и так пельмени получились отменными.

Стали ждать гостей, а те, как на грех, запаздывали.

Николай Матвеевич каждые пять минут взбирался

на подоконник, через форточку запускал руку за обе рамы, где подвешенные в белом мешочке пельмени погромыхивали на ветру, замороженные по всем правилам.

— Настоящие сибирские! Первый сорт!

Как раз за этим занятием и застал его Ленин.

— Эй! Что это вы там делаете? — еще со двора крикнул Владимир Ильич.

Когда гости вошли, пельмени уже беззвучно перекатывались в крутом кипятке, приправленном перцем.

В давно не топленной квартире пельменный дух распространился мгновенно. Первым уловил его Владимир Ильич.

— Наденька, а нас с тобой, кажется, предали.

— Не предали, а решили порадовать, — из-за фанерной перегородки поправила его смущенная хозяйка.

— Нет, нет, именно предали. Мы ведь с Николаем Матвеевичем условились — никаких угощений. Если б я знал, не пришел бы, честное слово.

Владимир Ильич, натыкаясь на стулья, нервно расхаживал по тесной комнате.

— Сибирские, — торжественно возвестила Вера Спиридоновна, появившись в дверях с пышущей паром кастрюлей.

— Я же учуял, что сибирские, но откуда? Из каких закромов?

Когда на шумовку упали первые пельмени и Ленин, наклонившись, увидел, что сделаны они из белой, ослепительно белой муки, он даже зажмурился, и щека его перекосилась, как при зубной, нестерпимой боли.

Глянув на Степановых, он сказал глухо и тихо, но совершенно отчетливо:

— Ну вот что, дорогие хозяева. Сердитесь на меня или не сердитесь, я эти пельмени есть не буду. Да, да! Не знаю, у кого как, а у меня они в горле застрянут.

...Утром в понедельник Ленин пришел на работу мрачный, каким его уже давно не видели. Одного за другим вызвал к себе всех товарищей, в той или иной мере ответственных за борьбу со спекуляцией. Всем надавал срочных и сверхсрочных заданий, а под конец строго-настрого предупредил:

— Проверять буду сам. Рабочие пухнут с голоду, а господа с барахолок благоденствуют и жиреют.

Когда вызванные работники, записав полученные распоряжения, разошлись, Ленин попросил соединить его с Николаем Матвеевичем.

Пока секретарь накручивал урчащую ручку аппарата, Ильич, как бы разговаривая сам с собою, сказал задумчиво и уже совсем нестрого:

— Надо помириться со стариками. Они-то мало в чем виноваты. Честные, хорошие люди.

Ленин не хотел было напоминать Степанову о случившемся, но как-то само собой получилось, что разговор с первых же слов завязался вокруг вчерашнего.

— Николай Матвеевич! — говорил Ленин. — А об охоте мы так и не условились? Может, двинемся в следующее воскресенье, а? Вот убьем медведя, тогда я к вам на пельмени сам напрошусь, а Сухаревку презираю и ненавижу! Слышите? Пре-зи-раю! Так и передайте Вере Спиридоновне от нас двоих.

— Так и передам, Владимир Ильич.

РЕПОРТЕР

Куда бы Ленин ни ехал, куда бы ни шел, везде и повсюду безмолвно сопровождал его один странного вида человек. Не молодой, не старый, не грустный, не веселый. Ленин потихоньку все приглядывался к нему, все думал: «Кто таков? Зачем и откуда? Может, из охраны? Надо будет сказать Дзержинскому, чтобы категорически избавили меня от этих телохранителей».

Но чем пристальнее наблюдал Ленин за таинственным незнакомцем, тем больше терялся в догадках. Однажды не вытерпел и спросил:

— Извините, товарищ, что это вы там все время строчите?

— Информацию пишу в газету. Репортер я, Владимир Ильич, из «Правды».

— Репортер?! А я думал совсем другое. И признаться, даже хотел подать жалобу на вас. Но как к коллеге у меня к вам претензий пока нет. Только очень прошу, будьте всегда точны и аккуратны. В нашем деле иначе нельзя

— Буду стараться, Владимир Ильич.

И в газете действительно печатались заметки без лишних слов, без всякой отсебятины. О выступлении

Ленина перед ткачихами «Трехгорки», о его поездке в подмосковную деревню, где, пофыркивая синим дымком, переворачивал первые пласты чернозема первый в России трактор, о беседе с комсомольцами железнодорожного депо...

Но однажды все-таки произошла осечка.

Выступил как-то Ленин на одном важном собрании, а к нему в самом конце вдруг подошел репортер и спросил:

— Владимир Ильич, повторите, пожалуйста, в двух словах, о чем говорили вы здесь сегодня?

— То есть как это о чем? А вы где же были?

— Я опоздал...

— Не понимаю...

— Опоздал, Владимир Ильич. Трамваи не идут, току нет по всей линии.

— А как же вы? Способом пешего передвижения, стало быть?

— Стало быть, так. Сначала быстро шагал, потом утомился — и вот...

Ленин внимательно поглядел на смущенного репортера и тут впервые заметил: он не то что «не молодой, не старый», а именно старый, совсем-совсем старый, совершенно седой человек.

— И все-таки опаздывать не годится.

Репортер не мог сразу и в толк взять, шутит Ленин или говорит серьезно.

Но Владимир Ильич не шутил. Он еще раз поглядел на репортера и сказал без тени иронии:

— А теперь отойдем в сторонку, запишем, о чем разговор у нас был с рабочими.

Они уединились в конторке начавшего быстро пустеть цеха и вышли оттуда не скоро.

Вечерняя смена давно заступила, в пролетах снова стало шумно и дымно, а Ленин и репортер все разговаривали. Вернее, говорил один, второй быстро писал, едва успевая перевертывать листки блокнота.

Когда Ленин кончил диктовать, кончилась и записная книжка репортера.

— Вот жалко, — сказал Ильич, — всего одной-единственной странички не хватило, и у меня с собой, как на грех, ни листочка!

— Владимир Ильич, диктуйте, я запомню, а в редакции все запишу слово в слово, — попросил репортер.

— Нет, нужна бумага, в нашем деле без бумаги нельзя, — улыбнулся Ленин.

Тут дверь конторки тихонечко отворилась, вошел начальник цеха, протянул репортеру пропитанный маслом клочок зеленой линованной бумаги — видно, бланк для наряда.

— Нет, нет, это мне, — остановил его Ленин.

Ильич резким движением пододвинул к себе табурет, сел за крохотный шаткий столик начальника цеха, размашисто написал на зеленом листке несколько слов, протянул записку репортеру:

— С этим завтра же зайдите в Совнарком, к управляющему делами.

Сказав эти слова, Владимир Ильич пожал руку начальнику цеха, репортеру и уехал.

Через несколько минут покинул задымленную конторку и репортер. Утром следующего дня с запиской Ильича он направился в Совет Народных Комиссаров. В той записке было сказано, что в распоряжение корреспондента «Правды» необходимо выделить лошадь с упряжкой, что человек он немолодой и что трудно ему целыми днями бегать по заданиям редакции.

Ленин ошибся, может быть, первый раз в жизни: никогда еще репортер не чувствовал себя таким молодым, таким бесконечно неутомимым человеком, как сегодня!

РЫЖИЙ ЛЁНТЯ

Сиротская судьба привела Лёнтю под крышу детского дома. Нелегко и здесь приходилось мальчишке. Черный сухарь, жидкая похлебка к обеду. И еще работа — дежурство, уборка, слесарное дело.

«Но все-таки детдом не асфальтовый котел, — думал Лёнтя, — жить можно».

Особенно повеселел бывший беспризорник в тот день, когда директор сказал за обедом:

— Крупу нам прислали. Целый мешок. От Ленина.

Директор не просто сказал — притащил мешок из кладовки, торжественно развязал его на глазах у ребят.

Все население дома столпилось вокруг мешка. Каждый норовил поглубже запустить руку в его содержимое, но ни одна крупинка на пол не упала. Лёнтя

смотрел на крупу, медленно стекавшую сквозь растопыренные пальцы директора, и никак не мог понять: откуда взялась она в голодной Москве?

А на другой день произошло еще одно чудо. Завхоз, снаряжая ребят в баню, выдал каждому по куску настоящего мыла. Отмокая в теплой банной воде, пахнувшей березовым листом, окунаясь в нее с головой, Лёня сказал мывшемуся рядом мальчишке:

— Может, Ленин и насчет белья распоряжение даст? Вот было бы здорово!

— «Здорово, здорово»! — передразнил его сосед и озорно плеснул Лёнте мыльной пеной в глаза. — Не болтай, отмывай свои конопушки.

Каково же было удивление ребят, когда в предбаннике они увидели завхоза с охапкой ослепительно белых рубах!

— Получайте, граждане, новое обмундирование. Солдатское. По личному распоряжению товарища Ленина.

Лёня обрадовался больше всех. Он хоть и не мог толком понять, почему не сам Ленин, а его товарищ позаботился о белье, но сейчас было не до рассуждений. Завхоз объявил, что время, отпущенное детдому, кончилось и через три минуты все должны быть на улице.

Рубахи оказались ребятам не по размеру, особенно Лёнте, но, шагая по морозу, съезжившись, стараясь подольше сохранить банное тепло, Лёня улыбался и думал о счастье, хотя и не знал еще, каким оно бывает. «Может, счастье — это когда человеку не холодно? И не только после бани, а каждый день?» С этой мыслью он добрался до детского дома, она согревала его потом еще долго, весь вечер, всю ночь, и только утром, когда пришла пора вылезать из-под одеяла, Лёня сказал:

— Сейчас бы в баню...

Шутка была грустной, но на нее отозвалось сразу несколько голосов:

— Ай да новенький! Рыжий, а соображает!

Лёня не ответил, хотел обидеться, но не успел — в комнату вошел директор, построил наскоро одевшихся ребят и объявил, что в детдом собираются шефы. Слово «шефы» было малопонятно, а точнее, совсем непонятно Лёнте, он даже поднял руку, чтобы спросить директора, но кто-то вовремя дернул его за рукав и шепнул:

— Шефы — это дрова!

За спиной Лёнти раздался смех, но вечером вместе с другими мальчишками он рисовал плакат: «Добро пожаловать, дорогие шефы!»

Шефы, человек десять — двенадцать рабочих соседнего завода, пришли в субботу, когда ребята, сидя за столом, погромыхивали пустыми мисками, — дрова были сырые, осиновые, ужин, как всегда, запаздывал.

Пожилая женщина в самодельных тряпичных валенках первой приблизилась к ребятам.

Лёнтя не помнил своей матери, но ему сейчас почему-то подумалось, что она была такой же, как эта женщина, — улыбающейся, немного сгорбленной, чуть-чуть седой. И руки у нее, наверно, были такие же — грубоватые, смуглые, уставшие от работы.

Женщина помолчала, поглядела в пустые миски и сказала:

— Так вот что, ребята. С этого дня у каждого из вас будет семья. Понятно?

— Нет, непонятно... — ответил ей Лёнтя, как будто вопрос был обращен к нему одному.

— А чего же тут неясного? Разберем сейчас всех по домам. Будет вам все-таки немного лучше.

— Это что же, насовсем берете или как? — подал голос кто-то из дальнего угла.

— Ну пока на воскресенье, а там видно будет. Согласны?

Директор стоял за спинами пришедших рабочих и подавал знаки ребятам, но они смотрели только на эту женщину, не зная, что говорить.

— Ну так как же? — повторила она свой вопрос.

— Молчание — знак согласия! — за всех ответил директор.

Кто-то облегченно вздохнул:

— Правильно.

— Ну вот видите, как хорошо! — Женщина в тряпичных валенках обернулась к директору: — А вы к понедельнику тут истопите немного. Сухие дрова будут сегодня же — наш литейный цех специально на субботу ушел.

— Истоплю, — ответил директор и повел шефов дальше — на кухню, в спальню, в мастерскую.

Шефы осмотрели все комнаты, обследовали все уголки детдома, записали что-то и ушли. Каждый увел с собой двух-трех ребят.

В доме стало вдруг непривычно пусто и как-то особенно холодно.

Когда директор, проводив всех, вернулся в дом, он не сразу заметил, что в спальне, в самом темном ее углу, насупившись, сидел рыжий Лёня.

— А ты что же? Где же ты был?! — воскликнул директор.

— А я никуда не пойду, — равнодушно ответил тот.

— Это почему еще? Что за фокусы?..

— Не фокусы. Мне и тут хорошо. Дежурный я. Завтра буду с вами печку топить.

— Дежурный? — удивился директор. — Впрочем, это тоже неплохо. Мне одному тут не управиться.

Поздно ночью директор и Лёня разгружали с саней, кололи и складывали в сенцах присланные литейщиками дрова. Спать легли только под утро.

И приснился мальчишке в ту ночь, вернее, в остаток той ночи, удивительный сон.

...Только было пригрелся Лёня под тремя одеялами, взятыми с пустых коек, в наружную дверь постучали. «Неужели, — подумал, — наши так быстро от шефов воротились?» Отбросил одеяла, босиком побежал открывать. Снял ржавый крючок с петли и вздрогнул: на пороге прямо перед ним стоял Ленин — точно такой, каким Лёня уже давно его себе представлял: высокий, в военной шинели и сапогах. Вошел, поздоровался и спрашивает:

«А ты кто тут такой?»

«Я Лёня. Наши все к шефам уехали».

«К шефам? А ты что же?»

«Я дежурный».

«Дежурный? Ну-ка, показывай мне свои владения».

Лёня повел Ленина по комнатам.

«Вот мастерская. Вот столовая. Вот спальня — видите, наш директор как крепко спит? Не будите его, устал он очень. Всю ночь со мной шефские дрова колот».

Ленин подул в кулаки, поежился.

«А у тебя здесь нежарко! Где же твои дрова?»

«Мы хотели топить поближе к приходу наших, чтобы не выстудило, но могу и сейчас».

«Топи, конечно! Я-то человек привычный, а ты тут и сам промерзнешь насквозь, и всех остальных заморозишь».

Лёня приволок охапку поленьев, растопил печурку, поставил перед ее железной дверцей скамейку.

Ленин сел рядом с Лёнтай:

«Как, говоришь, тебя зовут-то?»

Лёнтя ответил не сразу. Помолчал, поежился.

«Рыжим меня ребята зовут. Но по-правдашнему я Лёнтя. Так даже у директора в книжке записано, можете посмотреть».

«Верю и без книжки. А почему же все-таки, Лёнтя, шефы тебя с собой не взяли?»

«Вам честно сказать?»

«Ну разумеется, только честно».

«Да оттого, что рыжий, вот и не взяли! Это я точно знаю...»

Ленин рассмеялся. Но не каким-нибудь там обидным смехом, а так, легонечко, одними глазами.

«Что не взяли, это действительно, Лёнтя, очень досадно, а что рыжий, так это же сущие пустяки!»

Ленин посидел несколько минут молча, потом задумчиво провел рукой по своим вискам и сказал:

«А теперь, Лёнтя, едем ко мне, чаю попьем. Хочешь?»

«Чаю?.. А сахар у вас есть?»

«Сахар? Думаю, что немного найдется».

«Тогда едемте! Я не помню, когда с сахаром пил...»

«Одевайся скорее! А ребятам я непременно скажу, чтобы рыжим тебя больше не звали — только Лёнтай. Согласен?»

«Ага!..»

Плохие сны снятся всегда до конца, даже с продолжением. Хорошие всегда обрываются на самом важном и интересном месте. Вот и этот оборвался не ко времени.

Лёнтя раз десять отчаянно пробовал поплотнее укутаться одеялами, перекладывая с места на место шуршавшую соломой подушку, но сон больше не приходил.

А тут еще половицы — скрип-скрип, скрип-скрип...

Открывает Лёнтя глаза — перед ним директор стоит. Веселый, торжествующий:

— Вставай, дежурный, скоро наши явятся — пора печку топить! Шефы звонили, сказали, что дров нам еще привезут.

Вскочил Лёнтя с кровати, побежал умываться, как его директор учил. Умывшись, мельком глянул

в разбитое зеркало и невольно улыбнулся — ему показалось вдруг, что вовсе он и не рыжий. Это просто первый солнечный луч в его давно не стриженных вихрах заблудился.

ОПЕРАЦИЯ

Ранения эсеровскими пулями надолго вывели из равновесия крепкий организм Ленина. Но как только раны зарубцевались. Владимир Ильич, почувствовав себя, как он говорил, «вполне прилично», включился в активную работу. Однако весной 1922 года здоровье его стало опять ухудшаться. Начались приступы головных болей, наступила изнуряющая бессонница.

Ленин никому не жаловался, только сетовал на то, что не успевает за день сделать все намеченное.

— Устал ты, Володя. Очень, очень устал, — говорила Надежда Константиновна. — Тебе бы сейчас знаешь куда? В Альпы. Гуральский топорик в руки, и айда путешествовать. Нужно подышать горным воздухом хотя бы неделю. Я знаю, это пока неосуществимо, но дай мне слово, что при первой возможности...

— Да, да, Наденька, да: при первой возможности направимся с тобой куда-нибудь в горы. Впрочем, если вдуматься, Кремль ведь стоит на горе, и воздух там, следовательно, горный! А тут, среди этих берез и елей, на крутых тропках, бегущих к Пахре? Само название чего стоит — Горки!

Крупская понимала, спорить с Ильичем в данном случае бесполезно, но состояние мужа внушало ей все большие опасения. Она советовалась с крупнейшими медиками, просила их принять все самые решительные меры к тому, чтобы избавить Владимира Ильича от мучений.

Врачи говорили, что все беды происходят от чрезмерной перегрузки работой и что, конечно, последствия ранения еще долго будут сказываться.

Как известно, Ильич был ранен двумя пулями. Одна, раздробив левую ключицу, засела глубоко в грудной клетке. Другая, пробив верхушку левого легкого, остановилась в шейных мышцах.

В апреле, после того как Ленину вновь стало худо, из Берлина был приглашен профессор-терапевт Клем-

перер. Он приехал срочно. Осмотрев больного, высказался за то, чтобы эта вторая пуля была изъята, так как именно она, по его мнению, может быть причиной головных болей. Другой берлинский профессор-хирург, Борхардт, и наш отечественный специалист Розанов, тоже опытный хирург, однозначного ответа сразу не дали. Ведь пуля, засевшая в человеческом теле, обрастает плотной тканью, которая обволакивает любой инородный предмет. В то же время инородное тело все-таки есть инородное тело.

— Будем думать все вместе и каждый в отдельности, — сказал Розанов после первого дня консультаций трех врачей. — Тут есть о чем подумать.

Когда об этом доложили Ленину, он ответил:

— Давайте взвесим все «за» и «против». И медики пусть посоветуются, и их пациент поразмышляет.

Он именно так и выразился — «пациент», а не «больной».

На том и порешили.

В ту ночь много часов подряд Ленин листал медицинские книги. Делал закладки, выписки, а наутро, явно повеселевший, попросил Надежду Константиновну передать врачам, чтоб они к нему больше «не приставали» с этой операцией.

— Клемперер все-таки настаивает на оперативном вмешательстве, Володя. И профессор Борхардт склонился к точке зрения Клемперера.

— А Розанов? — спросил Владимир Ильич. — Он же, как я понял, вовсе не сторонник операции, скорее наоборот...

— Я только что говорила и с ним. Он сказал, что окончательный совет они будут держать после разговора с тобой. А в общем-то, ты хочешь знать, какого он мнения?

— Он обещал подумать, Наденька.

— Подумал, Володя. Всю ночь думал. Все от тебя зависит, говорит. Как ты скажешь, так и будет. Весь его опыт, все умение его — к нашим услугам.

— С каких это пор врачи стали такими покладистыми? Первый случай в моей жизни!

— Это особый случай, Володя. Исключительный. Розанов подчеркнул несколько раз — от тебя все зависит. Через час они позвонят и спросят о твоём решении.

Ленин посмотрел на часы:

— Хорошо. Если нужно, я готов оперироваться

хоть сию минуту. Так и скажи им. Я понимаю, иностранцам надо, очевидно, домой торопиться?

— Они оба заявили, что пробудут в Москве столько, сколько потребуется.

Ровно через час последовал звонок от Розанова. Надежда Константиновна сообщила ему, что Владимир Ильич целиком и полностью полагается на него и его коллег. Розанов на это ответил, что в таком случае завтра положение пуль будет еще раз проверено в рентгеновском кабинете Института биологической физики, и попросил разрешения с утра заехать за Владимиром Ильичем.

На другой день в условленное время Ленин и Розанов отправились в институт.

По дороге Владимир Ильич спросил профессора:

— Что же вы, товарищ Розанов, так быстро меняете свою позицию? А? Я на вас так надеялся, а вы взяли и капитулировали! Как понять вас?

— Владимир Ильич, в нашем деле, как ни в каком, наверно, другом, актуальна пословица — семь раз отмерь, один раз отрежь. Я даже уверен, что ее именно хирурги и придумали.

— Интересная мысль, интересная, хотя и не новая! — воскликнул Ильич и задумался.

Уже во дворе института, выходя из машины, глянув на Розанова, Ленин повторил:

— Любопытнейшая мысль. Хирурги, говорите, придумали? Вполне возможно. Впрочем, вы знаете, политики ее тоже могли придумать, вы не находите? Я имею в виду честных политиков.

Розанов был сосредоточен на другом:

— Нам надо торопиться, Владимир Ильич. Вот сюда, пожалуйста. А теперь сюда...

Из института они ехали опять вместе.

— Ну, что вы там увидели, товарищ Розанов? — Ленин дотронулся до своей груди. — Ведь давно известно, где и как сидят эти пули. Не путешествуют же они?

— Нет, конечно, Владимир Ильич, не путешествуют. Но немного менять свое положение иногда могут. Вот мы и решили на всякий случай перед самой операцией...

— Кстати, на какой день она назначена? — довольно равнодушно спросил Ленин.

— Мы хотели просить вас дать свое согласие на утро 23-го, то есть на завтра, Владимир Ильич. Опе-

рация будет производиться под местным наркозом, займет примерно полчаса — минут сорок. Оперировать будет Борхардт, а я взялся быть его ассистентом. Вы можете приехать в Солдатенковскую больницу к девяти утра?

Ленина устроили все эти условия. Особенно он был удовлетворен тем, что Розанов, которого он так ценит и так уважает, будет лично принимать участие в операции.

— Вы добрый, гуманный человек, товарищ Розанов. У меня завтра очень напряженный день. Вы представить себе не можете, сколько дел запланировано на завтра!

Розанов упрямо покрутил головой:

— Если вы думаете, что мы вас сразу допустим, то глубоко заблуждаетесь, Владимир Ильич. Будем стараться побыстрее, но...

— Значит, зря я вас похвалил, товарищ Розанов. Никакой вы не гуманный и не добрый.

— Врачей вообще ни хвалить, ни благодарить не полагается, особенно прежде времени, Владимир Ильич.

Утром 23-го машина с Лениным и Розановым въехала в длинный двор Солдатенковской больницы, остановилась у хирургического отделения. Пройдя по лабиринту полутемных коридоров, они оказались в залитой матовым светом операционной. На белой металлической тумбочке полыхала васильковым огнем спиртовка, остро пахло эфиром, камфарой. В никелированной ванночке клокотала вода, перекатывая с места на место шприцы и ланцеты.

Ленин, поздоровавшись с врачами и сестрами, спросил, не заставил ли себя ждать.

— Что вы, Владимир Ильич! — вырвалось у кого-то. — Минута в минуту!

Скоро Ленин оказался на операционном столе. Обезболивающие уколы перенес спокойно — ни один мускул не дрогнул на его лице.

Ему положительно нравилось, как четко, слаженно работали люди в белых халатах, он любовался ими в эти минуты, хотя из лежачего положения не все достаточно хорошо было видно. О многом скорее догадывался — не первый раз имел дело с врачами.

Вот он отчетливо услышал, как тяжело и звонко

что-то звякнуло, ударившись о дно эмалированного лотка, поставленного одной из сестер. Не «что-то», а пуля, самого себя поправил Ильич, самая настоящая, черт возьми!

Вслед за этим звуком вырвался вздох облегчения у Розанова, Борхардта, у всех, кто участвовал в операции, — это Ленин тоже очень хорошо слышал.

Когда начали накручивать длинные бинты, Владимир Ильич попытался было спросить, как идут дела, но сестра, стоявшая так, что взгляд ее все время встречался с его взглядом, красноречиво приложила палец к губам, и он покорно умолк.

— А вот теперь можно! — через какое-то время воскликнул Розанов, видно довольный не только работой врачей, но и поведением Ленина. — Что вы хотели спросить, Владимир Ильич?

— Покажите мне эту дрянь, пожалуйста, — Ленин протянул руку.

На ладони его оказалась злосчастная пуля. Он слегка подбросил ее, как бы взвешивая.

— И только-то! Стоило из-за такой мелочи подымать шум на всю Россию, — Ильич посмотрел на Розанова. — И на всю Германию, — он перевел взгляд на Борхардта.

— Как вы себя чувствуете, Владимир Ильич? — спросил Розанов. — Не больно? Скоро начнет отходить заморозка.

— Я чувствую себя, как бы вам сказать? Хорошо, совсем хорошо, прекрасно даже, но неловко. Стольким людям причинил уйму хлопот! И все из-за какой-то дурацкой железки. Верно сказано — пуля дура...

И вдруг без всякого перехода задал вопрос, относящийся непосредственно к Розанову:

— Сколько я здесь пробуду, товарищ Розанов? Вы обещали отпустить меня быстро.

— Я так не говорил, Владимир Ильич, вы неверно меня поняли.

— Ну а все-таки? — настаивал Ленин.

— Прежде всего, мы отправим вас в палату, Владимир Ильич. Там и поговорим обо всем.

На носилках Ильича перенесли на второй этаж, поместили в отдельной палате. Это была маленькая угловая комната. Железная койка, тумбочка, два стула.

Когда все ушли и остался только Розанов, Ленин сразу же заговорил о том, что его волновало в эту минуту:

— Больница перегружена, товарищ Розанов, а вы мне такие апартаменты выделили.

— Не так уже и перегружена, Владимир Ильич. Нормально...

— Нормально? Больные лежат в коридорах, я же видел. Нет, нет, нет, товарищ Розанов, меня не надо вводить в заблуждение. И потом, я уже сказал вам — работы вот столько! — Он провел рукой по белому бинту на шее, и острая боль отразилась на его лице.

Розанов заметил это:

— Вот видите! Отдохните после операции, Владимир Ильич. Сейчас вам сделают еще один укол, и поспите. Чем больше будете спать, тем лучше.

Поздно вечером профессор снова сидел возле койки Владимира Ильича.

— А вы мне нравитесь, — сказал Розанов после осмотра Ленина.

— И мне тоже! — поддержал пришедший к Ильичу главный врач больницы Соколов. — Температура нормальная, пульс приличный, давление налаживается.

Ленин удовлетворенно заметил:

— Раз мы друг другу так нравимся, значит, договоримся!

— Что вы имеете в виду, Владимир Ильич? — спросил Розанов.

— Очень простую вещь, товарищ Розанов. Я ваше указание выполнил? Выполнил! Выспался так, как давно уже не высыпался. Обещаю вам и ночь провести хорошо, но при одном условии. Непременном.

— При каком же, Владимир Ильич?

— Завтра будем думать о разгрузке больницы. У меня созрел целый план. Начнем, конечно, с этой палаты. И именно завтра. Вы меня поняли, товарищ Розанов? И вы, товарищ Соколов?

Оба вынуждены были ответить, что поняли.

— Ну, я же знал, мы обязательно договоримся! — воскликнул Ильич.

На следующий день, 24 апреля, после перевязки Ленин уехал домой. Его опять сопровождал Розанов.

По дороге Ленин долго молчал, о чем-то сосредоточенно думая, и только в самом конце пути повторил вчерашнюю фразу:

— Целый план, товарищ Розанов, целый план! С этой Солдатенковской больницей надо что-то делать.

К концу 1922 года состояние здоровья Ленина, который стал было приходить в себя после тяжелых ран и операций по удалению пуль, снова ухудшилось. Возобновились головные боли, начала мучить бессонница. Сильный когда-то организм слабел. Все это хорошо видели, но никто не хотел с этим мириться. Прежде всех, конечно, сам Ленин: чем хуже ему становилось, тем настойчивее боролся он за выздоровление. Ему нельзя было волноваться — читать, писать, встречаться с людьми. Он же рвался к работе.

— Мне сегодня легче! — решительно объявлял он даже тогда, когда «легче» не было. Сразу за этим следовала просьба срочно послать за какой-нибудь книгой или немедленно соединить по телефону с каким-нибудь человеком. Так бывало уже не раз в последние недели. Так было и сегодня.

— Как вы себя чувствуете, Владимир Ильич? Вам лучше после новых моих порошков? — войдя утром к Ленину, спросил врач.

— Спасибо, доктор, лучше! Как только вас увижу — чувствую себя исцеленным.

— Очень, очень польщен, Владимир Ильич! Рад безмерно! — воскликнул врач, взяв руку Ленина в свою, щелкнув крышкой карманного серебряного «Лонжина» и сосредоточившись на его секундной стрелке. — Значит, надо мне чаще тут появляться. Я бы с удовольствием, Владимир Ильич, вообще на время переселился в эту комнату. Нам с вами места много не надо, правда ведь? Вон возле той стены можно пристроить еще одну небольшую кровать. Согласны?

— Ни в коем случае, доктор! Абсолютно исключается.

Врач удивился:

— Я не помешал бы вам, Владимир Ильич. Вел бы себя точно по пословице — «Тише воды ниже травы».

— Вы-то не помешали бы мне, я бы вам помешал. Сам не сплю и другим не даю.

— Сегодня опять плохо спали? — спросил врач, хотя и без того знал — ночь была бессонной, тревожной.

— Сегодня-то как раз ничего, особенно под утро. Без четверти четыре уже сон видел...

Ленин понял, что проговорился. Если человек

с точностью до минуты знает, когда заснул, значит, вряд ли он спал вообще.

Врач, однако, сделал вид, что не заметил оплошности своего пациента, и даже попробовал поднять его настроение:

— То-то, я смотрю, вид у вас совсем другой, не то что вчера или третьего дня, Владимир Ильич.

— А пульс? Как ведет себя непостоянный товарищ?

— И пульс получше. Дайте-ка еще разик проверим на всякий случай.

Снова щелкнула и сверкнула серебром крышка «Лонжина». Снова услышал Ленин полные оптимизма слова:

— Я вами доволен, Владимир Ильич.

Едва приметная улыбка шевельнула бледные щеки Ленина. Он сказал:

— Мы квиты, доктор.

— Не понимаю, Владимир Ильич, — признался врач.

— Вы сегодня прелестны, как никогда, доктор. Впредь буду рабски выполнять все ваши предписания.

— Ну зачем же «рабски»? — спросил врач. — Рабов у нас теперь нет, Владимир Ильич.

Ленин на мгновение задумался, поднял на врача грустные и в то же время торжествующие глаза:

— Прекрасно, что слова эти вы, беспартийный интеллигент, говорите мне, профессиональному революционеру. Превосходно! Но я должен по секрету сказать вам: один раб в России все же остался. Ваш покорный слуга. Повелевайте мной, доктор, я в ваших руках целиком и полностью.

Услышав такое, врач приготовился к очередному наступлению со стороны больного. И не ошибся. Только никак не мог предположить, что наступление это будет таким мощным, неостановимым и начнется сразу же, почти без подготовки.

Ленин теперь уже не сводил с врача своего полугрустного-полуторжествующего взгляда. Врач едва успевал отвечать на вопросы больного.

— Хотите, доктор, чтоб пульс был лучше? Лучше, чем вчера, чем третьего дня?

— Конечно, дорогой Владимир Ильич, конечно!

— А чтоб пациент ваш спал более или менее сносно?

— И об этом мечтаю и пекусь, вы знаете.

— Ну и отлично! Тогда выслушайте меня внимательно, доктор, но не через трубочку вашу и не с по-

мощью «Лонжина». Им не всегда полностью доверять следует. Выслушайте, как человек человека. Могу об этом просить?

— Разумеется, Владимир Ильич, разумеется... — все так же искренне, но уже более сдержанно ответил врач.

— Давайте договоримся по-доброму. Я буду исправно лечиться, а мне будет предоставлено право работать. Регулярно, систематически. Да, да! Не смотрите так удивленно. Настаиваю на праве ежедневно работать, пусть самое короткое время. Тогда все хвори быстрее уйдут, уверяю вас, доктор.

— Что вы имеете в виду, Владимир Ильич? — Цепочка, на которой врач носил часы, перекрутилась жгутом, словно и ее удивили слова больного. — Книги вам носят? По телефону соединяют?

— «Носят», «соединяют» — спасибо! Но я должен приступить к гораздо более активным делам. И вы эту возможность дадите мне, доктор. В противном случае все ваши лекарства...

Фраза осталась недоговоренной, но в то же время в ней все было сказано.

— Это что, ультиматум? — спросил оторопевший врач и, не дождавшись ответа, вынужден был сам ответить на собственный вопрос: — Ультиматум, я понял вас, Владимир Ильич.

— А раз поняли, соглашайтесь! — тихо, но твердо сказал Ленин.

— Я понял, что вы имеете в виду, — уточнил врач, — но выполнить вашей просьбы пока не могу, Владимир Ильич, не имею права.

— В таком случае переговоры наши заходят в тупик. А жаль — мы вполне могли бы договориться.

Ленин бросил на врача взгляд, в котором категорическое требование соединилось с деликатнейшей просьбой, почти с мольбой.

Вслух больной сказал своему врачу:

— Стоит ли из-за таких пустяков терять дружбу и препираться?

— Как это из-за «пустяков»? Это не пустяки, Владимир Ильич...

Не дав врачу договорить, Ленин приподнял над одеялом руку с плотно сжатыми пальцами. Жест был достаточно выразительный, но Ильич решил все же расшифровать его с предельной ясностью:

— Пять минут, доктор. Всего пять минут в день, понимаете? Пя-ать. И соглашайтесь, пока не выдвинул более серьезных требований. Гораздо более серьезных, предупреждаю.

«Еще один ультиматум, — подумал врач. — Два ультиматума подряд — не много ли? Многовато. То ли еще будет дальше! Придется, видимо, пойти на маленькие уступки».

— Пять минут, говорите? Я правильно вас понял, Владимир Ильич? Ловлю вас на слове — ровно пять!

— Правильно, доктор. Хоть пять для начала, прошу вас.

— На это соглашусь, пожалуй, Владимир Ильич. Но только на пять и ни на одну минуту больше, учтите. И то в виде исключения. И никаких «гораздо более серьезных требований», пожалуйста, не выдвигайте, Владимир Ильич. Я не железный.

— Не железный, — согласился Ильич. — Просто хороший, очень хороший человек. Спасибо вам, доктор, огромное!

В комнате стало тихо, так тихо, что слышно было, как перебирает своими шестеренками докторский «Лонжин».

Тишину первым нарушил Ленин, и самым неожиданным вопросом:

— А когда можно начать, доктор? Дел у меня накопилось много, и все срочные.

— Во всяком случае, не сегодня, Владимир Ильич, вы утомились, я же вижу. С меня и то семь потов сошло.

— Если бы мы меньше спорили, больше сил осталось бы для работы, доктор.

— Значит, во всем виноват стрелочник? Так, Владимир Ильич, получается?

— Оба виноваты. Оба, доктор. И вместе давайте исправляться. Хочу изложить вам свой план, послушайте. Я статью тут одну пишу для «Правды». Уже несколько дней подряд...

— Статью?.. — удивился врач. — Когда пишете?

— По ночам чаще всего, когда теряет бдительность сестра или когда не спится. Сегодня, правда, совсем немного писал.

— До без четверти четыре? — осуждающе заметил врач. — Сознавайтесь... Вам же запрещено было.

— Правильно — было. Я тоже ловлю вас на слове,

доктор. Было! А теперь мне лучше, вы же сами установили. Вот и пишу. В голове, конечно,— он опять выпростал из-под одеяла руку,— а сейчас вызовите мне, пожалуйста, стенографистку.

Врач в очередной раз отступил перед больным. Но отступил с предельной осторожностью. Перед тем как дать согласие на вызов стенографистки, спросил:

— Материал, надеюсь, не секретный, Владимир Ильич?

— В том-то и дело, что секретный. Совершенно секретный, доктор...

— Вы же сказали, что статью будете диктовать. Разве бывают секретные статьи?

Ленин смутился, но только на мгновение:

— Вы знаете, доктор, иногда бывают. В первом варианте. Так что, когда начну диктовку, вы уж меня извините...

— О, разумеется, разумеется, Владимир Ильич! — воскликнул врач, но на всякий случай красноречиво подбросил в ладони цепочку «Лонжина». Выйти-то из комнаты я, мол, выйду, но дальше — ни шагу, имейте в виду. Как прикованный цепью буду сидеть под вашей дверью.

Тяжелый вздох вырвался из груди больного. Но если быть совершенно точным — он торжествовал: пусть крохотная, но опять победа. Где пять минут, там и десять, где десять, там и все полчаса. А главное — работа начинается сегодня же, совсем скоро!

Спустя какое-то время пришла к Ленину стенографистка. Врач сразу вышел, плотно притворив за собой чуть скрипнувшую дверь.

Ленин приступил к делу и, конечно, не заметил, как прошли, промчались отпущенные ему драгоценные минуты.

Скоро дверь снова скрипнула — на пороге стоял неумолимый доктор:

— Все, Владимир Ильич. Все, все, все! Уговор дороже денег.

Стенографистка собрала свои бумаги, стала прощаться:

— До свидания, Владимир Ильич. До свидания, доктор.

— До завтрашнего утра,— уточнил Ленин и сказал, что завтра они поработают, может быть, немного больше.

— Я могу на это рассчитывать, доктор? Или нет?

— Ничего определенного обещать не могу,— ответил тот.— Все будет зависеть от вас, от вашего самочувствия, Владимир Ильич.

— Самочувствие будет хорошим. Сон — нормальным. Пульс — ритмичным, глубокого наполнения,— уверил больной врача. И, дождавшись, когда стенографистка вышла, добавил: — Особенно если бы вы были так добры и прислали бы ко мне еще и мастера.

— Какого мастера?..— удивился врач.— Когда и зачем?

— Обыкновенного столяра. И сегодня, непременно сегодня. Я бы попросил его об одном одолжении.

— Ничего не понимаю, Владимир Ильич. Объясните, пожалуйста, мне, бестолковому.

— Все проще простого, доктор. Завтра с утра придет стенографистка с расшифрованным текстом, вы слышали. Текст надо будет вычитывать. Тогда-то очень пригодится мне такая полочка вроде пюпитра для нот. Положу на нее страничку, выправлю, и двинемся дальше. Я во всех деталях уже продумал конструкцию полочки.

— Но ведь я еще не знаю, разрешу ли вам завтра вообще работать,— запротестовал врач.— Это, повторяю, под большим, под очень большим вопросом, Владимир Ильич. Сегодня было сделано исключение.

Рука больного опять показалась над одеялом. Пальцы ее по-прежнему были плотно прижаты друг к другу.

— Мы же договорились, доктор. Пять минут в день — разве это много?

— Много, Владимир Ильич. Для вас пока много.

— А, вот видите: пока, то есть сегодня, много. Стало быть, завтра будет в самую пору. А послезавтра — тем более! Логично?

— Не вижу никакой логики во всем нашем разговоре, Владимир Ильич. Одни силовые уступки с моей стороны, одни бесконечные компромиссы.— Врач безнадежно махнул рукой.

И снова, во второй раз уже в это утро, дрогнули бледные щеки больного.

— Значит, согласны? Зовете мастера? Сейчас же? Немедленно? Спасибо, доктор, огромное спасибо! Не случайно, как только вижу вас, у меня сразу подымается настроение, мне становится лучше, много лучше. Совсем хорошо!

— Вы это уже говорили мне, Владимир Ильич. Не надо так часто и так сильно меня расхваливать — я бог знает что о себе подумаю.

— Ну и думайте на здоровье, доктор. Думайте! Если я хвалю вас, значит, имею на то основания. Поверьте, я научился кое-что понимать в докторрах...

ВАЖНАЯ БУМАГА

Когда Иван Лукич сказал соседу своему Тимофею, что собирается в Москву, тот удивился:

— Чего тебе не сидится на месте, Иван? То в деревню, то в Лодзь, то вон удумал куда! Ну, в деревне у тебя, знаю, сестра. Ну, в Лодзи, допустим, дружки-приятели. А в стольном городе? Ни единой знакомой души!

— И в стольном есть один не чужой человек. Только ты, Тимоха, не смейся и никому ни слова об этом, слышь? К Ульянову-Ленину вот так нужно попасть!

Тимофей удивился еще больше:

— К кому, к кому?

— Не смикитил еще? К самому главному. К Владимиру Ильичу.

Тимофей ухмыльнулся, покрутил головой. Отговаривать, однако, не стал. Известно давно — что в голову Лукичу взбредет, так тому и бывать. Тем более знал — с Ульяновым судьба свела Ивана смолоду, когда начал ходить по кружкам да по митингам, пристрастился запретные книжки почитывать. За это был схвачен жандармами и получил как «политический» свой первый срок — семь месяцев. Бесконечно долгими показались ему тогда эти месяцы. Каждый день считал, со счету сбился. Потом сразу же, без передышки, уехали на второй срок. По той же самой статье — по «политике». Целый год хлебал холодную баланду в Петропавловске. Оттуда перевели Ивана в Москву, еще в одну тюрьму. «Башней» называлась.

Тимофей вспомнил сегодня все это, вспомнил и мысль, которую Ульянов якобы высказал при одной из встреч с Лукичом: «Вот они нас по тюрьмам рассаживают, из одного каземата швыряют в другой. Простой вещи не поймут: мы тут еще теснее спланиваемся для совместной борьбы».

Из рассказов соседа знал Тимофей и о том, что дороги Ильича и Ивана пересекались не раз и не два. Когда Проминского вместе со всей семьей сослали в далекую Шушу, там опять встретился с Ильичем, бывал у него, тоже ссыльного, дома. О многом переговаривали тогда зимними вечерами под завывание лютой сибирской вьюги. О жизни, о революции, которая вот-вот грянет над Россией. Снова и снова повторял Ильич слова о том, что люди, которых царь ссылает, гонит на каторгу, в кандалы заковывает, становятся еще крепче, закаленнее, еще лучше начинают понимать и ценить друг друга.

Обо всем этом вспомнил сегодня Тимофей, но ехать Лукичу в Москву все-таки не посоветовал:

— Холод, Иван, голод, разруха. Доедешь ли? Да и Ульянов твой Ленин вон куда вымахал! А ты как был смазчиком вагонов, так и остался. Верно говорю?

— Верно, — соглашался Иван. — Однако поеду, проведу. Только свижусь, и вся недолга. А что? Бесплатный билет полагается, расходов особых не будет. На харчи только. Так я мигом — туда и обратно.

Через день-другой Иван Лукич перекинул через плечо тощий мешочек, а Тимофей долго из своего окошка смотрел вслед человеку, шагавшему в сторону станции, и дивился тому, до чего наивные люди на свете. «На что ты нужен сейчас Ленину, старик? Самое время ему заниматься бывшими знакомыми по тюрьмам да ссылкам. Самое времечко!»

Неделю спустя они опять сидели рядом. Два друга-приятеля. У одного настроение было явно возбужденное, приподнятое. Другой смотрел на приехавшего с любопытством — не терпелось узнать, как все сложилось у человека, не послушавшего доброго совета.

— Ну, что там Белокаменная? Какие новости? Как доехал? Выкладывай.

— На месте Москва. А доехал, честно сказать, с трудом — повсюду останавливают, документы требуют. На вокзале еле-еле отбил от всяких проверяльщиков. Ну, а уж когда до Ленина пробираться начал, и вовсе устал объяснять, кто такой и откуда, как и по каким неотложным делам прибыл к Владимиру Ильичу. Так или иначе, своего, конечно, добился. Был принят супругой Ильича Надеждой Константиновной. Хозяина дома не было в тот день с самого раннего утра до самого позднего вечера.

Тимофей понимающе кивнул.

— Об чем я и говорил! Сидел бы на печке, грел бы свои старые кости. И самому лучше, и людям спокойней...

— погоди, не спеши, — перебил соседа Иван. — Во-первых, с супругой я тоже знаком хорошо. Нам было о чем поговорить и что вспомнить. Часа два меня, застывшего с дороги, чаем отпаивала, обо всем расспрашивала, сокрушалась, что вряд ли удастся встретиться сегодня с Ильичем. Поинтересовалась, не нужна ли мне какая помощь от них. Я сказал: благодарствую, не нуждаюсь ни в чем...

— В это самое время тебе бы подняться, поблагодарить и уйти, — сказал Тимофей приятелю.

— Я так и сделал, точно так, — успокоил Тимофея Иван. — Поблагодарил, стал прощаться, извинился, что отнял столько времени, просил передать Владимиру Ильичу привет, пожелал им обоим доброго здоровья и велел ей беречь мужа, не разрешать так много работать. Это, говорю, наш общий вам рабочий наказ, Надежда Константиновна: беречь, беречь и беречь! И что же ты думаешь? При этих самых словах распахивается дверь — на пороге он, Владимир Ильич... В пальто, с черной шапкой, зажатой в руке. Как глянул на меня, так и кинулся навстречу. «Здравствуйте, — говорит, — милейший Иван Лукич! Здравствуйте, здравствуйте! Представить себе не можете, как рад вам!»

Тимофей все с большим удивлением глядел на Ивана, а тот продолжал свой рассказ:

— Не раздеваясь, присел Ленин к столу, сказал, что вернулся неожиданно рано и, к сожалению, ненадолго, через час с небольшим у него неотложное дело, но этот час они проведут вместе, поговорят обо всем, обсудят все, что накопилось за годы разлуки. «Сколько мы с вами не виделись, Иван Лукич? Вечность, целую вечность! Итак, вы гость, вам первое слово!»

Ленин заставил Ивана Лукича поведать обо всем, что пережито, передумано, обо всех бедах и радостях. Про семью расспросил — про каждого человека. И очень радовался, когда узнавал, что этот жив, а тот не только жив, но и здоров, работает, полон сил и энергии:

«Вот это, батенька, нам сейчас вот как важно! Вот как! Такая работа предстоит! Такая гигантская работа, что болеть нам, старой гвардии, не годится, ни

в коем случае не годится, милейший Иван Лукич! Сами-то вы как?»

Этот последний вопрос Ивану Ленин задал в течение беседы будто бы несколько раз. Человек, дескать, вы уже не молодой, такой путь прошли, такое на плечах своих вынесли, а должность у вас не из легких. Под силу ли вам? Не подыскать ли чего полегче? Я, говорит, если надо, напишу куда и кому угодно.

Один рассказывал, другой время от времени чуть посмеивался в сизые усы. Иван Лукич в какое-то мгновение это ясно заметил, хотя сосед ухмылку свою тщательно скрывал. Только в самом конце полушутя-полусерьезно спросил:

— Ну и что же? Чем дело-то кончилось?

— А тем и кончилось, что душу свою отвел — Ленина повидал, хотя и трудно было добираться. Обратный путь легче был. Намного легче!

— Что ж, он тебе автомобиль свой дал? Или как? — уже с откровенной усмешкой спросил сосед.

Иван Лукич неуместной шутки этой решил не заметить:

— Ты знаешь, Тимоха, дал. Дал! До самого вокзала довез, велел еще приезжать, когда посвободней будет. И телеграмму в Иннокентьевское депо обещал отстучать. Так, мол, и так, прошу перевести человека на Алтайскую дорогу — там и продукты, дескать, дешевле, и работу свободней подобрать другую. Вот так, сосед! Понял?

Тут Иван Лукич смерил Тимофея торжествующим взглядом, чтоб у того не осталось никаких сомнений в том, что именно так все и было в Москве. А потом еще достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, бережно расстелил его на столе, аккуратно разгладил ладонью:

— Читай.

Тимофей склонился над сверкавшим белизною листом. Глаза его сразу остановились на словах, напечатанных не крупно, но четко типографскими буквами в левом верхнем углу: «Российская Федеративная Советская Республика. Председатель Совета Народных Комиссаров».

— Так. Теперь тут читай, ниже. Его рука, сосед! — Пропитанный насквозь мазутом, битый железом и временем палец Ивана указал на строки, которые прочесть сразу оказалось затруднительным делом: напи-

сано было действительно от руки, к тому же бегло, размашисто. Тимофей наярив зрение, расшифровывая плохо поддающиеся ему строки.

— Так и быть, подсоблю, дай-ка, — сказал Иван, который за длинную дорогу текст ленинской записки не только разобрал — наизусть выучил. — Слушай и на ус мотай: «Предъявитель сего Иван Лукич Проминский мой старый товарищ по тюрьме и ссылке». Понял? Слушай дальше: «Прошу все железнодорожные и другие организации оказывать ему, — это мне, стало быть, — всяческое содействие и необходимую поддержку»...

Тимофей все еще с недоверием глядел на лежавшую перед ним записку. Неразборчивые слова ее становились постепенно все понятнее, все яснее. Подпись он разобрал уже сам, без помощи Ивана. Прочитал ее вслух:

«Ульянов-Ленин. Предсовнаркома»...

— Правильно, сосед. Предсовнаркома! — подхватил Иван. — Грамотный ты, погляжу, человек, культурный, не зря целых три класса церковноприходской окончил. Так вот с этой бумагой ехал я обратно — кум королю! Представляешь? Важная бумага!

Тимофей задумался. Еще раз склонился над сверкавшим ослепительной белизною листом. Удивила Тимофея еще одна вещь — как могло получиться, что удостоверение, которое Иван предъявлял в дороге небось десятки раз, осталось таким чистым, не захватанным руками бесконечных «проверяльщиков»? Спросил об этом Ивана.

Тот удивился еще больше, чем Тимофей:

— Что ты! Кому предъявлял? Ни разу не показал никому за весь путь. Ни единому человеку, ни-ни! Разве можно? Говорю ж тебе — важная бумага! Хранить буду до края жизни.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Когда Ленину доложили, что к нему хочет попасть одна заморская художница, он тяжело вздохнул, с укором посмотрел на секретаря.

— И что же? Вы обещали устроить эту встречу?

— Владимир Ильич, я не могу ни обещать, ни отказать, но художница, ходят слухи, хорошая...

— Значит, я прав — обещали?

— Владимир Ильич, она говорит, во что бы то ни стало должна сделать ваш скульптурный портрет. По лицу Ленина пробежала тень плохо скрываемой досады. Он даже немного повысил голос, что случалось с ним очень редко:

— Вы же знаете, какое это для меня испытание! Только-только от одного служителя муз избавились — другой на пороге. Я поклялся себе никогда больше не позировать художникам. Все мое существо сопротивляется этому. Это пытка для меня, самая настоящая пытка! А помните, сколько глины он сюда натащил? И все время отрывал от работы.

— Владимир Ильич, эту даму мы предупредили строго-настрого сидеть тихо, вопросов не задавать, не заставлять вас «позировать». И чтобы никакой глины.

Еще глубокий вздох вырвался из груди Ильича.

— Я поставлен в нелепое положение. В нелепейшее. Убедительно прошу: оградите меня в дальнейшем от подобного рода посетителей. Ог-ра-ди-те!

Это «в дальнейшем» означало, что Владимир Ильич, так и быть, сделает на сей раз исключение, но последнее. Самое последнее.

Постояв с минуту молча у окна, он обернулся к секретарю, спросил примирительным тоном:

— И когда же явится ваша художница?

— Завтра с самого утра она хочет ждать вас в приемной, и как только вы позволите...

— А вы спросили госножу, знает ли она, когда у нас с вами начинается утро?

— Мы обо всем поставили ее в известность, Владимир Ильич.

Ранним утром следующего дня, направляясь в свой кабинет, Ленин сразу заметил в углу приемной необычного вида посетительницу. Она настороженно сидела в окружении бесчисленных ящичков и ведерок.

«Точь-в-точь как тот», — подумал Ленин, но, чтобы не быть невежливым, сам подошел к даме, слегка поклонился, спросил, знает ли она о его условиях.

— О да, господин Ленин, о да! Мне все объяснили: работать тихо, не задавать вопросов, не просить вас позировать...

— И по возможности уложиться в один день, мадам, вы уж извините.

— И эту просьбу буду стараться как-нибудь выполнить, господин Ленин, и эту...

— Тогда прошу вас, — Владимир Ильич пропустил художницу вперед. Следом за ними в кабинет прошли двое красноармейцев — они перенесли сюда ящики и ведерки художницы, аккуратно опустили их на пол, на заблаговременно постеленные газеты.

Владимир Ильич сел за стол, художница разместилась поодаль, на таком расстоянии, чтобы не мешать хозяину и в то же время достаточно хорошо его видеть.

Ленин принялся за свою работу, художница — за свою. Только шелест перелистываемых Лениным книг да бульканье воды в ведерках художницы нарушали тишину кабинета.

Через каждые несколько минут входил секретарь с кипами бумаг, молча раскладывал их в каком-то одном ему ведомом порядке на столе перед хозяином кабинета. Вооружившись ножницами, Ленин сам вскрывал плотные конверты с сургучными печатями, быстро пробежал глазами содержащиеся в них послания, вполголоса отдавал распоряжения, которые секретарь записывал в блокнот, и удалялся.

Время от времени Ленин просил соединить его по телефону с тем или иным человеком. С каждым говорил коротко, четко, делая какие-то пометки в своей записной книжке.

Над головой Ленина висели часы, на которые все чаще поглядывала художница. Неумолимо выстригали они своими стрелками из отпущенного ей дня минуту за минутой, час за часом.

Неожиданно дверь распахнулась, и вошел человек, лицо которого показалось ей почему-то очень знакомым. Острая белая бородка клинышком, добрые внимательные глаза за стеклами очков в металлической тонкой оправе. Ленин сразу же встал и шагнул ему навстречу. Затем они отошли в дальний угол кабинета, начали тихо, но возбужденно разговаривать. Из всего, что говорил Ленин, до слуха художницы отчетливо доносились только два слова — Михаил Иванович. Да она, разумеется, и не прислушивалась — покорно сидела на своем месте, ждала, когда наступит удобная минута, чтобы снова приняться за свое дело. Честно сказать, она была даже рада этой маленькой передышке — работа ее началась на рассвете, а сейчас за окнами уже блуждали первые сумерки.

Но вот человек с бородкой стал прощаться. Она опять обратила внимание на то, как почтителен был с ним хозяин. Долго тряс протянутую ему руку, спросил, не хочет ли выпить чаю. Тот отказался, сославшись на неотложное дело. Ленин проводил его до двери, потом обратился к художнице:

— Но вы-то, надеюсь, не откажетесь от стакана чая, мадам?

Художница почему-то смутилась, Ленин попросил секретаря:

— Будьте так добры — два стакана чаю нам. Погорячей и, если можно, покрепче.

В кабинете было явно не жарко, хозяин поеживался. Художница поймала себя на мысли, что она не только замерзла, но и смертельно устала, устал, наверно, и этот человек, не сделавший в своей работе за весь день и самого краткого перерыва.

Внесли на подносе два стакана чая. Дымящегося, крепкого, судя по всему, как раз такого, какой правился хозяину.

— Даже с сахаром! — воскликнул он, увидев на самом донышке каждого из стаканов колеблющиеся, быстро оседающие крохотные белые пирамидки. — Спасибо огромное! Угощайтесь, мадам.

Сделав первый глоток, художница поняла, что сахар был, пожалуй, больше символом, чем реальностью. Сколько ни мешала она ложечкой в стакане — чай слаще не становился.

Перехватив взгляд иностранки, Ленин сказал:

— Приезжайте к нам лет через десять, мадам. Вы пережили только одну войну. А на нашу долю выпало целых три. Одна за другой — империалистическая, гражданская и еще надо было всем встать на защиту своей республики. Так что не обессудьте.

После чая художница проработала еще около двух часов. Потом силы окончательно покинули ее — еще никогда в жизни не трудилась она так долго.

— Не ругайте меня, господин Ленин, но я не уложились в отведенный срок. Буквально одного часа не хватило. Будьте великодушны, разрешите закончить завтра?

— Но это честно? Действительно один час, мадам?

— Один-единственный. А сегодня и вы устали, и я ног под собой не чувствую. Будем считать наш общий рабочий день на этом законченным?

Ленин в ответ слегка улыбнулся.

Художница решила, что завтра она непременно должна будет схватить эту улыбку — едва заметную, начинавшуюся где-то в уголках глаз, вернее в самих глазах. Поймать ее, однако, не так-то легко — всего два раза за весь день осветила она это умное, задумчивое лицо, изборожденное глубокими шрамами усталости. Первый раз Ленин улыбнулся во время разговора с тем посетителем, неким Михаилом Ивановичем. Второй — сейчас, когда она сказала об их закончившемся рабочем дне и о том, что оба они имеют теперь право на полный отдых.

«Во что бы то ни стало надо будет понять природу этой редкой, но такой доброй улыбки. В России много загадок, очень много. Загадки просто на каждом шагу. Разгадаю постепенно все, разгадаю и эту!» — думала иностранка, выходя из ленинского кабинета в приемную.

Открывшаяся здесь картина заставила ее вздрогнуть и на мгновение застыть на месте. В довольно большом помещении, которого утром, волнуясь, она не сумела как следует разглядеть, было полно людей. Они сидели на стульях, расставленных вдоль стен, — кто в одежде рабочего, кто в крестьянских лаптях, кто в солдатской шинели.

Провожая художницу, секретарь на ходу обратился к собравшимся:

— Все идет по программе, товарищи, строго по программе. Прием начнется точно в назначенное время. Вот гражданочку провожу, соединю товарища Ленина с директорами двух заводов, и сразу же начнем. Примем всех до единого. Ваша очередь первая, товарищ Серегин, — сказал он, поравнявшись с сидевшим у самого выхода пожилым человеком в островерхом шлеме с красной звездой. — А потом вы, вы и вы... По списку.

«НЕИСПРАВИМЫЙ»

Январь 1921 года. Только что закончился VIII съезд Советов, с трибуны которого были сказаны Лениным знаменитые, облетевшие потом весь мир слова: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

Надо было срочно разъяснять решения съезда, звать массы на их выполнение. Впереди — огромная работа. С чего и как лучше начать? Как форсировать дело?

Так думал Ленин вечерним зимним часом на пути из Москвы в Горки. Так думал и так решил...

Посидев немного дома с полузакрытыми глазами в кресле-качалке, он окликнул проходившую мимо Надежду Константиновну.

— Наденька, помнишь того крестьянина в рыжем тулупчике? Высокий такой, все приглашал нас к себе в гости.

Надежда Константиновна, держа в руках только что вскипевший чайник, вспоминая, остановилась.

— К нам столько ходит людей, Володя. И каждый непременно зовет к себе...

— Но этого забыть нельзя, Наденька, — борода дремучая, глаза огромные, светлые, а изба у него, мол, небогатая, но просторная — на всю многодетную семью сам рубил, так что места всем хватит.

— Да, да, начинаю припоминать, кажется. Это на прошлой неделе было, в последний раз?

— В последний раз это было полчаса назад, Наденька. Остановили нас в темноте какие-то люди, извинились. Один из них, самый высокий, сказал: это я, Шульгин, Владимир Ильич, не забыли такого? А вот и дом мой. Нескладен, зато просторен — народишку много поместится. Хорошо бы, говорит, не откладывать больше, Владимир Ильич.

— И что ты ему ответил? — не без укоризны спросила Надежда Константиновна, которая, конечно, уже обо всем догадалась. — Ты же совсем не отдыхаешь, Володя.

Ленин помолчал, обнял жену за укутанные вязаным платком плечи, потом тихо, но твердо сказал:

— Собирайся. Я обещал, что приедем вдвоем. Прямо сейчас. Чаем нас там угостят. Из самовара!

Скоро сани с морозным скрипом остановились возле избы крестьянина Шульгина деревни Горки. Гостей встретили у крыльца, провели в дом. Там было уже полно народу. Многие сидели на скамьях, табуретах и стульях, принесенных, очевидно, из соседних домов, и даже на подоконниках, но для Владимира Ильича и Надежды Константиновны было запасено два места у стола, посреди которого действительно клокотал начищенный до блеска медный самовар.

Свет в избе был хоть и тусклый, керосиновый, но разглядеть можно было все — и уставшие лица собравшихся, и возбужденные их глаза. Не ускользнуло от внимания Ильича и то, что стол по торжественному случаю был накрыт белой накрахмаленной скатертью, вышитой любимой Лениным старинной русской вышивкой «крестиком».

Надежда Константиновна это тоже, конечно, заметила и легонько дотронулась до локтя мужа. Смотри, дескать, нас тут и впрямь ждали, да еще как! Ильич, ответив ей едва заметным кивком, стал почтительно за руку здороваться со всеми собравшимися, извиняясь за то, что заставил себя ждать.

— Что вы, Владимир Ильич! — отвечал ему каждый. — Мы сами только-только с работы. Даже домой не успели зайти.

Это и так было видно — на одежде иных еще поблескивали граненые звездочки не успевшего растаять снега.

Ленин обошел всех, сел на отведенное ему место, спросил Шульгина:

— Какой главный вопрос у нас сегодня на повестке дня?

— У вас собраний-заседаний всяких хватает, Владимир Ильич, — ответил хозяин. — Хотелось с вами просто по душам поговорить. А души у нас деревенские, стало быть, интересуемся знать, какой деревня при Советах будет — и не через тыщу лет, а вскорости, годков этак через десяток, что ли. Еще лучше — через пяток...

— Теперь все понятно. — Ленин удовлетворенно кивнул головой и стал рассказывать о только что закончившемся VIII съезде Советов, о том, какие перспективы ждут страну, какие трудности предстоит одолеть — и крестьянам, и рабочим.

Говорил Ленин прямо, честно, без утаек и умолчаний, и каждый невольно становился участником этого разговора. Кто вопрос задаст, кто реплику бросит, кто такого перцу подсыплет, что только держись. Реакция Ильича при всех поворотах беседы была спокойной, доверительной. Люди не могли не оценить этого, каждый, как мог, старался подчеркнуть, что задачу свою мужики понимают и выполнять, что положено, будут «всем миром».

Беседа затянулась допоздна. Могла бы длиться еще

и еще, уходить никто не хотел, но надо ж было такому случиться, что как раз в тот момент, когда Ленин сказал о том, как дружно поддержал съезд идею электрификации всей России, подвешенная под потолком лампа начала сильно чадить, в воздухе остро запахло фитильным перегаром, свет стал меркнуть, и через минуту-другую все погрузилось в полную темноту...

Изба загудела, хозяин смутился, зачем-то достал кресало и принялся остервенело сечь им по кремню. Ленин опять нашел самые нужные слова:

— Вот еще один довод в пользу решений съезда! А сейчас давайте пока закончим.

Прощаясь, Ильич пообещал, что первая лампочка зажжется в Горках в ближайшие месяцы. Он сделает для этого все возможное.

По дороге домой Ленин молчал, погруженный в свои думы.

Спать в эту ночь лег поздно, намного позже обычного. Долго-долго сквозь сон слышала Надежда Константиновна его мягкие, осторожные шаги. Утром она застала мужа за письменным столом. Подошла со спины, опустила руки ему на плечи. Первое, что бросилось ей в глаза в ту минуту, были лежавшие на столе листы бумаги, густо исчерченные замысловатыми знаками.

— Что это, Володя? Чем ты занят?..

Ильич положил свои руки на руки Надежды Константиновны.

— Плохой из меня чертежник, да? — не без огорчения спросил он. — После вчерашнего разговора пробовал вот изобразить схему электрификации в самих Горках и во всех селениях вокруг.

— А это что за странная линия?

— Это берег Пахры.

— А эти палочки? Их тут миллион!..

— Ты, может быть, будешь смеяться, Наденька, но это... столбы. Самые настоящие столбы. Я должен был подсчитать, сколько их потребуется, и, представь себе, подсчитал. Примерно, конечно, но прикинул. Их нам нужно будет около...

Надежда Константиновна несердито, но довольно решительно перебила его:

— Володя, меня сейчас интересует не количество столбов, хотя я понимаю, это очень серьезно и важно,

но мне не менее, а может быть, еще более важно знать, во сколько ты лег вчера? Врач тебе что сказал? Ты вынуждаешь меня жаловаться.

Ленин не знал, что ответить. Он начал аккуратно собирать в папку бумаги с чертежами.

А Надежда Константиновна, стоя подле него, продолжала сокрушенно повторять:

— Уверяю тебя, буду жаловаться...

Как бы там ни было, а первые «лампочки Ильича» вспыхнули в Горках, на берегу Пахры, в июле того же, 1921 года. Это теперь всем известно. Во всех концах света.

ПЛАСТИНКА

Когда-то существовало в Москве такое учреждение — Центропечать. Помещалось оно на Тверской улице, в доме под номером 38. Теперь и улица та называется по-иному, и в доме номер 38 другие прописаны учреждения. И все же запомним именно этот адрес: Тверская, 38. Здесь в 1919—1921 годах записывали на граммофонные пластинки голос Ленина.

Самые первые записи осуществлялись в Кремле в специально каждый раз подготавливаемом помещении, но это было сопряжено с большими трудностями по перевозке аппаратуры, были и другие сложности, и в конце концов пришлось перебазироваться в Центропечать. Правда, при этом возникали дополнительные хлопоты для Ленина, и работники Центропечати не сразу решились обратиться к нему с просьбой о перемене места записи. Не хотели лишний раз отрывать и беспокоить. Узнав об этом, Владимир Ильич сказал:

— Для полезного дела время всегда выкроим. Еще немного позже будем ложиться, еще немного раньше вставать — вот и решена проблема! Не правда ли, как просто?

Так или иначе, удалось записать пятнадцать речей Ленина: «Обращение к Красной Армии», «Что такое Советская власть», «О III Коммунистическом Интернационале», «О крестьянах-середняках», «О продналоге»...

Слух о том, что появились пластинки с голосом Ильича, стал быстро распространяться. В Центропечать потянулись люди с заводов, из деревень, из красноармейских частей. Приходили на Тверскую, 38, и просили, чтоб им сейчас же, немедленно завели граммофон. Прослушав хотя бы одну из речей Ленина, заявляли:

— Это как раз то, что нужно! Этому поверит любой.

Спрос на пластинки возрастал с каждым днем, их не успевали изготавливать в нужном количестве. Единственная в России Апрелевская фабрика под Москвой не справлялась, пришлось срочно создавать вторую.

Ленину, конечно, было известно обо всем этом, он старался оказать помощь товарищам из Центропечати — учитывал, в каких сложных условиях приходилось им работать.

Регламент записей был жесткий — каждая речь Владимира Ильича должна была непременно уложиться ровно в три минуты. Первое время никак не получалось — то «перелет», то «недолет»... Люди, возившиеся со сложными аппаратами, волновались, нервничали. Ленин, как мог, успокаивал их:

— Это я виноват. Не могу сразу приноровиться. К очередной записи подготавлиюсь более тщательно.

И в следующий раз являлся с выверенным во времени текстом.

— Видите, стараюсь! Мне хочется, чтоб наша пропаганда всегда была на высоте. Рабочие, крестьяне и красноармейцы, которые штурмуют Центропечать, ведь не какого-то отдельного человека слышать хотят — им хочется, чтоб к ним обращалась партия, чтоб власть наша Советская с ними разговаривала, правильно?

— Правильно, Владимир Ильич. Но им нужно о планах и мыслях партии и народной власти услышать именно от вас. Так все ходоки в один голос заявляют.

— Вы это серьезно? Так и заявляют? — Ленин прищурил глаза.

— Именно так, Владимир Ильич. У кого угодно спросите.

— Тогда тем более надо стараться!

Готовую запись Ленин в большинстве случаев прослушивал сам. Иногда спрашивал, похож ли его голос,

и недоверчиво пожимал плечами, когда ему говорили, что похож очень, что прекрасно воспроизведены все его оттенки и интонации. Особенно в этом отношении удалась пластинка с речью «О крестьянах-середняках».

Но однажды произошла досадная осечка. Произнося перед записывающим аппаратом речь, Владимир Ильич раза два оговорился. Заметили это, когда изготовили первые экземпляры пластинки. Необходимо было сделать новую запись, но стеснялись попросить Ленина заново читать уже читанный им текст. Придумали целую легенду — техника, мол, часто подводит, иглы тупятся и т. д. Все это было очень похоже на правду, но правдой не было. Владимир Ильич сразу почувствовал фальшь и попросил завести забракованную пластинку. Слушал ее внимательно, а после окончания лукаво поглядел на собравшихся в студии.

— Техника, говорите, подводит? Иглы тупятся? Намек ясен! Все понял, приношу свои извинения, будем переписывать.

Через несколько дней была сделана новая запись, но в этот раз Ленин не уехал, пока не убедился, что теперь никаких «опечаток» нет.

Забракованную пластинку работники отдела упрятали подальше, на самый верхний стеллаж, чтоб не напоминала Ильичу о его оговорках. А он, приезжая на следующую запись, непременно находил ее, просил «прокрутить» с начала до конца и смеялся в тех местах, где два-три слова его «не послушались». Как-то завел даже такой разговор:

— Очень прошу вас, товарищи, подарите, пожалуйста, мне эту пластинку в личную коллекцию. Сделайте такое одолжение. Можно?

Находившиеся в студии работники сначала подумали, что Ленин шутит, и не знали, как на шутку отреагировать.

Но Владимир Ильич говорил, оказывается, без всякой иронии, совершенно серьезно:

— Обзаведусь когда-нибудь граммофоном, буду иной раз заводить и слушать. Со всеми замеченными «опечатками». Полезное дело — учиться на ошибках. Полезнейшее! Согласны?

Кто-то ответил:

— Тут спору нет, Владимир Ильич...

— Вот и товарищ такого же мнения. Превосходно! Раз уж мы условились с вами, что с помощью пластинок партия говорит с народом, то пусть говорит на чистом, предельно внятном языке.

Пришлось работникам Центропечати выполнить необычную просьбу Ленина. Неизвестно вот только, довелось ли когда-нибудь Ильичу прослушать ту пластинку еще хоть раз. Говорят, граммофоном он так и не «обзавелся».

Не знаю даже, сохранилась ли вообще та пластинка. Скорей всего нет. Но, услышав однажды эту историю, я уже не могу забыть о ней.

Так и крутится в моем воображении черный диск, так и вертится. Бежит, слегка дребезжа и подпрыгивая, по его бороздкам игла, которая с течением годов не тупится, нет, не тупится. Становится еще острее ее серебристое перышко — отчетливо, чисто, четко выводит живое ленинское слово.

О Коммунистическом Интернационале.

О Красной Армии.

О Советской власти...

СЕМЕРО В ОДНОЙ МАШИНЕ

Не было, пожалуй, ни одного завода, ни одной воинской части, ни одного учреждения, откуда ни звонили бы к Ленину с просьбой приехать, ответить на вопросы, поговорить о новой жизни. И чем чаще ездил Владимир Ильич, чем чаще выступал, тем все больше и больше становилось желающих встретиться с ним. Да Ленин и сам охотно шел на эти встречи — связь была налажена плохо, радио почти отсутствовало, а надо было миллионы людей держать в курсе событий, советоваться с ними, наиболее точно и своевременно, «из первоисточника» информировать массы о решениях партии, обо всем самом важном в ее тактике и стратегии.

Представители иных организаций даже дежурили в приемной Ильича, чтобы, уловив удобный момент, увезти его с собой, хоть на самый короткий срок.

Количество таких «дежурных» особенно возрастало в моменты, когда вставали на повестку дня коренные

вопросы жизни народа и государства. Так было, например, сразу после X съезда партии, на котором было принято решение о новой экономической политике. Уже в кулуарах съезда ждали Ильича посланцы трудовых коллективов Москвы, Подмосковья и даже совсем отдаленных мест.

Спускаясь по лестнице из зала заседаний, Ленин оказался в тесном кольце ожидавших его людей. Со всех сторон до него доносилось:

— Владимир Ильич, вы нам обещали.

— Мы за вами, Владимир Ильич.

— Товарищ Ленин, все работники нашего наркомата уже собрались. Тут всего двадцать минут езды.

Ленин внимательно взгляделся в лицо представителя наркомата, не без удивления переспросил:

— Как? Уже собрались?..

— Собраны, Владимир Ильич. Мы звонили вашему секретарю неделю назад. Хоть на полчаса...

Ленин вынул из жилетного кармана часы, сокрушенно покачал головой. Видно было, что он куда-то опаздывает. Наркоматовец, однако, не отступал, шел за Лениным по пятам. Чуть отставая от них, спускались по лестнице и те, кому Ленин не мог дать пока никакого ответа.

Возле самого выхода из подъезда Ленина ждала его машина. Рядом, прижавшись почти вплотную к ней, стояла другая, незнакомая. Это и был автомобиль того наркомата, где все «уже собрались».

— Отступать мне, значит, некуда? — опять покачал головой Ленин. — Ну что ж, пусть будет по-вашему, но только на полчаса, учтите.

Извинившись перед остальными, Ленин шагнул было к своей машине, но вдруг резко обернулся к работнику наркомата.

— Послушайте, товарищ, зачем же нам вдвоем с вами раскатывать на двух лимузинах? Нелогично. Может быть, я сяду с вами? И горючее сэкономим, и товарища Гиля отпустим пообедать и отдохнуть. Не цугом же нам ехать?

— Ну конечно, Владимир Ильич, конечно! Мы так и имели в виду.

— Только у меня к вам будет огромная просьба, — сказал Ленин. — Позвольте?

— Разумеется, Владимир Ильич, любая ваша просьба...

— Ну так уж и любая! — прервал Ленин. — Не будем в данном случае мыслить такими категориями. Просьба самая элементарная: довезите меня потом на своей машине еще в одно место. Ладно? Опять же, ради экономии бензина и времени.

— Безусловно, Владимир Ильич, безусловно. Куда вам будет угодно.

— Вот это интеллигентно. Заранее благодарен. Послушайте, дорогой товарищ, а не убить ли нам с вами сразу двух зайцев, раз ваш наркомат такой добрый и сознательный?

Собеседник вопросительно поглядел на Ленина, сясь понять, о чем идет речь. Вид у него был озадаченный, мысль Владимира Ильича нуждалась в пояснении.

Ленин пересчитал глазами стоявших возле него людей и спросил:

— Семеро пассажиров в вашей машине поместятся?

— Не знаю, сейчас выясним у водителя...

— Не выясняйте, я знаю: с перегрузкой, конечно, но семь человек могут войти. Попросите, пожалуйста, шофера от моего имени, пусть разместит нас с вами и вот этих товарищей, к которым я не смогу сегодня поехать. Они послушают мое выступление у вас, разъедутся по своим организациям и расскажут там все, что услышат сегодня о съезде. Логично? И еще как! — обрадовался Ильич неожиданно пришедшему решению.

Он слегка подтолкнул своего собеседника к водителю, а сам почти незаметным жестом пригласил пятерых огорчившихся было, а теперь сразу воспрянувших духом людей в машину.

Через минуту-другую донельзя перегруженный автомобиль с трудом тронулся с места и понемногу начал набирать скорость.

Сквозь рев надрывающегося мотора Ленин крикнул водителю:

— Если лопнут рессоры, всю вину беру на себя, не волнуйтесь!

На полуобернувшемся лице водителя блуждала смущенная улыбка. Ленин это хорошо видел. У него самого настроение было в тот миг отличным.

В НОЧЬ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Двенадцать часов ночи.

Час.

Два.

Начало третьего...

Когда же вернется Владимир Ильич? Сысоева, домашняя работница семьи Ульяновых, никак не в состоянии была привыкнуть к тому, что Ленин так мало спит, никогда не отдыхает нормально. Пробовала даже деликатно высказывать свое отношение к «полуношничеству». Владимир Ильич еще более деликатно выслушивал Александру Михайловну, соглашался с тем, что дальше так продолжаться ни в коем случае не может, обещал «всене непременно» исправиться, но все оставалось неизменным и, пожалуй, даже шло к худшему.

Вот и сегодня. Уже далеко за половину третьего перевалило. Чайник десять раз подогрет и столько же раз остыл. Александра Михайловна хорошо знала, в случае чего Владимир Ильич и вида не подаст, что чай недостаточно горяч, все равно похвалит ее за внимание, но и мысли не могла допустить, что после такого изнурительного труда, поздней зимней ночью человек лег спать, не подкрепившись. Снова и снова ставила на плиту крутобокую эмалированную посудину, нетерпеливо покачивавшуюся на чугунных колосничках, словно поторапливая безнадежно запаздывавшего хозяина.

Александра Михайловна поглядывала на старинные часы, маятник которых раскачивал на латунном диске тусклое отражение одинокой лампочки, свешивавшейся с высокого серо-белого, казалось, покрытого инеем потолка. Уж не случилось ли чего с Владимиром Ильичем?

Где-то совсем около трех Сысоева сквозь тревожную полудрему вздрогнула, рванулась к двери, за которой ей слышались знакомые шаги. Но что это? Слышались и... замерли. Не могла же она ошибиться? Не могла. Шаги Ильича с другими не спутаешь. Не забыл ли чего-нибудь на работе, не воротился ли обратно? Она приложила ухо к дверной щели и вдруг стала невольной свидетельницей тихого, но отчетливо доносившегося до нее разговора двух людей.

Один спрашивал, другой отвечал:

— Вам, вероятно, очень холодно, товарищ?

— Терпеть еще можно, Владимир Ильич.

— Значит, я прав, холодно. Давайте так сделаем. Я сейчас отомкну дверь, мы вместе войдем ко мне, выпьем по стакану горячего чая и согреемся.

— Не могу, Владимир Ильич, не положено.

— Но вы же сами признались, что замерзли. В случае чего объясним, кому следует, что с моего разрешения. Нас поймут, никаких неприятностей не будет, уверяю вас.

— С поста сойти не имею права, Владимир Ильич.

— Это даже я, штатский человек, понимаю, но речь идет всего-навсего о каких-то минутах.

— И на секунду не могу отлучиться, Владимир Ильич. Служба.

— Может, все-таки сделаем маленькое исключение? Пусть, в крайнем случае, меня накажут. На гауптвахту ведь не пошлют?

— Вас не пошлют, Владимир Ильич. А я даже говорить с вами и то не должен...

После этих слов тихий разговор оборвался. Сысоева едва успела отпрянуть от двери, как в замочной скважине вкрадчиво шевельнулся ключ.

Через несколько мгновений Александра Михайловна помогала Ленину снять пальто. Он смущенно отстранял ее:

— Тысяча извинений за опоздание, милая Александра Михайловна. Тысяча! Сам не сплю и другим мешаю. А вы все хлопочете?

— Какие хлопоты, Владимир Ильич? Вот любимого вашего чайку вскипятила.

Владимир Ильич остановил уставший, но внимательный взгляд на чайнике.

— Сегодня от угощения не откажусь.

— Сразу наливать? — спросила Сысоева. — Или...

— Сразу, — против обыкновения не дал договорить ей. — Сразу, и, если можно, два стакана, Александра Михайловна. И покрепче, пожалуйста!

Александра Михайловна не без удивления переспросила:

— Сразу два? Так ведь один остынет, пока будете пить.

Сысоева прекрасно знала, для кого предназначался второй стакан, но ей не хотелось показывать, что она

слышала, о чем и с кем говорил в коридоре Ленин. А он повторял мягко, но решительно:

— Сразу два, милая Александра Михайловна, сразу два. Мне и часовому. Он замерз, а с поста отлучиться не может даже с моего разрешения. Ни на какие уговоры не поддается. Как вам это нравится?

— И не поддастся, Владимир Ильич. Я парня этого уже хорошо знаю.

— Знаете? — удивился Ленин. — А я, честно сказать, вижу его впервые.

— Он новенький, верно, но характер успел показать.

— Характер, говорите? Это становится интересным! Люблю людей с характером. И все-таки, невзирая ни на что, отнесите-ка ему стакан чая, очень прошу вас, Александра Михайловна. Или, если вам неудобно, я сам отнесу и поставлю возле него на тумбочку. Выбирайте, что вам больше подходит.

— Нет, отчего же, мне и удобно и совсем не трудно, Владимир Ильич.

— Ну и отлично, Александра Михайловна. Человеку холодно, и никто его стаканом чая, выпитым «не по уставу», надеюсь, не попрекнет.

Сысоева налила два стакана. Ленин, сощурившись, посмотрел на свет сперва один, потом другой и сказал:

— Вот этот ему, пожалуйста. Он, кажется, покрепче.

— Это только кажется, Владимир Ильич. Оба одинаково крепкие, по вашему вкусу. Совершенно одинаковые.

— Да, да, конечно, Александра Михайловна, совершенно одинаковые.

Ленин опять поглядел стаканы на свет и полусерьезно заметил:

— Особенно вот этот. Его и несите, Александра Михайловна, пока не остыл.

Сысоева покорно и быстро направилась к часовому и так же быстро вернулась с нетронутым стаканом на подносе.

— Отказался? — воскликнул Ленин.

— Отказался, Владимир Ильич.

— Что хоть сказал при этом? Какие слова?

— А ничего не сказал, Владимир Ильич. Молча воротил меня обратно, вот и весь сказ.

Ленин задумался. Отхлебнув глоток-другой чая, спросил Сысоеву:

— А что скажете вы по этому поводу, уважаемая Александра Михайловна? Ваше мнение? Только честно.

Сысоева ответила почти без колебаний:

— По-моему, оба правы. Вы хорошо сделали, что предложили, Владимир Ильич. Он хорошо поступил, отказавшись. Действительно ведь устав караульной службы не позволяет. У меня отец был военным, я все это знаю. Но главное не в уставе, а в парне. Устав иной раз как угодно можно повернуть, это мне тоже известно.

Сысоева умолкла, хотела дождаться, когда Ленин допьет чай до конца, чтобы убрать посуду. Но он пить почему-то больше не стал. Долго сидел, погруженный в свои мысли, молча вращая ложечкой в стакане, наблюдая при этом за густой черной вьюгой чайнок.

После продолжительной паузы первой заговорила Сысоева:

— Могу я задать вам один вопрос, Владимир Ильич?

Черная вьюга чайнок чуть замедлила круговорот в стакане Ленина.

— Конечно, Александра Михайловна, конечно.— Он с любопытством поднял уставшие глаза на Сысоеву.

— Интересно, а что вы, Владимир Ильич, думаете об этом парне? Ведь о нем сейчас ваша мысль?

— Совершенно верно, Александра Михайловна! О нем. И вот к какому все больше прихожу выводу: именно с такими людьми можно, дорогая Александра Михайловна, строить новую жизнь. Именно с такими! И очень даже можно! Голод, холод, разруха, а они честно и до конца исполняют свой долг. А? Ну не прекрасно ли это?

Черная вьюга чайнок снова пришла в быстрое движение в стакане Ленина.

— Разве я не прав?

— Как всегда, совершенно правы, Владимир Ильич,— сказала Сысоева.— Как всегда...

Они помолчали. Каждый думал о своем. У каждого были свои заботы и обязанности, свои дела. Первым тишину нарушил Ленин:

— Пожалуйста, Александра Михайловна, помогите устроить мне встречу с этим парнем. Мне обязательно

надо поговорить с ним, и чем скорее, тем лучше. Непременно! Может, и в самом деле выпьем с ним по стакану чая? Обязательно постараюсь выкроить для этого хоть немного времени.

Сысоева кивнула с тяжелым вздохом.

— Я понял вас, милая Александра Михайловна. Иду и попробую уснуть. Скоро уж вставать надо. Да? Это вы хотели сказать? Вот ведь какая пора пришла! Самого существенного не успеваем сделать. С самым нужным человеком поговорить некогда. Когда мы с ним теперь встретимся, откровенно сказать, не знаю. Он ведь наверняка сменится, пока я еще буду в горизонтальном положении. А потом моя «смена» наступит... Можно вас попросить, Александра Михайловна, чтоб кто-то проследил за часовым и сразу после того, как он закончит дежурство, пригласил его сюда, вот за этот стол и напоил чаем? Кто это может сделать?

— Я, наверно, Владимир Ильич, кто же еще? Я все время на месте.

Ильич поблагодарил и пошел к себе. На пороге обернулся.

— Это ни в коем случае не отменяет нашей скорой встречи с ним, Александра Михайловна. Очень прошу вас устроить так, чтоб мы могли потолковать с ним по душам, и, если можно, еще на этой неделе. Хорошо?

— Эта неделя кончилась, Владимир Ильич. Сейчас, считайте, уже воскресенье.

— Вы опять совершенно правы, Александра Михайловна. Воскресенье, расписанное, кстати сказать, до последней секунды. Ну тогда, может, в понедельник или во вторник? Запишите и передайте секретарю мою убедительную просьбу. Именно такие часовые позарез нужны теперь советской власти. Позарез, милая Александра Михайловна!

— Конечно, Владимир Ильич, конечно, передам все в точности, не беспокойтесь.

Ленин ушел, аккуратно притворив за собой массивную белую дверь.

Сысоева принялась за свои дела, размышляя обо всем, что услышала, чему была свидетельницей.

В доме стало тихо — приближалось воскресное утро, которое вот-вот должно было решительно вступить в свои права. И очень скоро вступило — не прошло

и получаю, как массивная белая дверь вновь бесшумно распахнулась. На пороге перед Сысоевой возник Ильич, так до сих пор и не «попробовавший уснуть». Посмотрев на Александру Михайловну, он сказал, чуть расслабив узел галстука на шее:

— Александра Михайловна, вы, может быть, будете удивлены, но я вернулся, чтоб уточнить одну важную мысль.

Сысоева вскинула на Владимира Ильича удивленные глаза. Он приблизился к ней и, чуть коснувшись укутанного шалью плеча, спросил:

— О часовых вы меня, надеюсь, не слишком буквально поняли? А? Я ведь не только их имел в виду, Александра Михайловна. Далеко не только их одних — вообще всех нас. Всех вместе и каждого в отдельности. Вам ясно, какие люди нужны сейчас революции — на всех постах, больших и малых?

— Думаю, поняла вас точно, Владимир Ильич. Не первый день здесь работаю, многому научилась за это время.

— Это прекрасно, Александра Михайловна! Чем больше преданных делу людей, тем ближе и реальная цель, стоящая перед нами. Вы согласны?

— Конечно, согласна, Владимир Ильич.

Сысоева помолчала, еще раз глянула на Ильича — теперь уже восхищенно. Но спросила все-таки с едва заметным осуждением:

— Из-за этого спать до сих пор не легли? Специально вернулись?..

— Из-за этого, — сознался Ильич. — Но дело, как вы сами понимаете, Александра Михайловна, чрезвычайно серьезное. Может быть, самое серьезное в данный момент.

— И с этим не спору, Владимир Ильич.

— Что ж тогда смотрите на меня так строго? Что-нибудь все же не так сделал? Не то сказал?

— Все так и все то, Владимир Ильич. Но чтобы выполнить все, что вами задумано, вы должны бы здоровье свое поберечь. Хоть капельку...

Сысоева бросила сокрушенный взгляд на часы, маятник которых продолжал настойчиво, неумолимо отсекал последние минуты воскресной ночи.

УПРЯМАЯ ЛАМПА

Часто за полночь мерцал огонек в окне большого, давно уснувшего дома. На фоне мглистой Москвы расплывался он в блеклое, едва различимое пятнышко.

Никто из поздних прохожих и не догадывался, что это свет лампы, зажженной над рабочим столом.

Никто не знал, что это Ленин не спит — сидит с карандашом и книжкой в руках. Прочитает страницу, запишет что-то и дальше: пододвинет лампу поближе — и снова за чтение.

А лампа та еле-еле светится — Ленин сам распорядился вернуть именно такую.

— И ни одной свечой больше!

Родные пытались протестовать, уговаривать:

— Нельзя, врачи не позволяют. Так ведь зрение можно испортить:

А он:

— Ничего! Я часок почитаю и лягу.

Вскоре огонек действительно исчезал.

Немногие знали, что это вовсе не сон, а рассвет пробирался в комнату Ленина.

— Ну вот и отлично. Теперь можно и погасить. — Ленин устало смотрел через окно на золотой купол, отразивший первую зыбкую блестку зари.

И снова шелест страниц тревожил настороженную тишину еще не иссякшей ночи.

Никто в точности не знал, когда засыпал Ленин, во сколько просыпался. Он сам себе установил шестнадцатичасовой рабочий день и сам же его то и дело нарушал.

— Вот еще полчасика — и все...

Однажды домашние, чтобы хоть как-то облегчить изнурительный труд Ильича, потихоньку от него заменили тусклую лампу на чуть более яркую. Ленин сразу заметил «подлог», очень рассердился, потребовал «восстановить порядок».

— Это мое рабочее место, и, кроме меня, никто не должен здесь распоряжаться. Никто! Вся Россия сидит без света, а вы мне тут целую иллюминацию устроили. Зачем? На каком основании? Запомните — пятнадцать свечей, и ни одной свечой больше!

Надежда Константиновна попробовала робко возразить:

— Но как же быть с шестнадцатью часами? Тогда и тут надо условиться совершенно твердо — шестнадцать, и ни одним часом больше!

Сказала она это так мягко, что Владимир Ильич вдруг перестал сердиться.

— На такие условия почти согласен!..

— Что значит — почти? Мы все на этом просто настаиваем.

— Ну хорошо, хорошо, согласен без всяких оговорок. Только за временем следить буду сам.

За работой Ленин все чаще и чаще забывал взглянуть на часы. Но после этого случая почти каждый раз, перед тем как сесть за стол, тихонько, чтобы никто не заметил, приподнимал купол зеленого абажура: проверял, та ли лампочка ввинчена.

Разные люди глядели на ту лампу, на ее желтую, слабую, еле тлевшую нить. Разные при этом у людей были мысли, разные возникали чувства.

Один посмотрел-посмотрел и сказал:

— Россия во мгле...

Другие видели дальше и думали:

«Рассвет над Россией!..»

ЛЕГЕНДА

Мы приехали в Горки с первым утренним поездом и за день осмотрели там все: и дом, и парк, и окрестности. В доме проникли в самые заповедные уголки, осторожно поднялись по скрипучей, почти вертикальной лесенке с перильцами для обеих рук — Ленин подымался по ней, когда начал поправляться после тяжелой болезни. Тихо постояли в маленькой комнате с окном, настежь распахнутым прямо в кипень весенней листвы, — тут встретил он свой смертный час. В парке обошли все тропочки, по которым когда-то ходил Ленин. Увидали леса и поля, в строгом молчании раскинувшиеся вокруг.

Возвращаясь в Москву уже вечером, переполненные впечатлениями, приумолкшие от нахлынувших мыслей и чувств. Было такое ощущение, будто побывали мы не в музее, а в доме у живого Ильича.

Видно, никогда не может стать далекой историей все то, что связано с Лениным, с его памятью. Но ветер

времени все-таки настойчиво шумит в ветвях могучих дубов старых Горок, и по местам тем давно уже кочуют предания и легенды. Одна удивительнее другой.

Необыкновенную историю рассказал нам в вагоне случайный попутчик, старый солдат, медали которого позвякивали в такт колесам бегущего поезда.

...Когда Ленин умер и настал срок проводить его последний раз в занесенную снегами Москву, комендант Горок сбился с ног: мост, что стоял на дороге от дома Ильича к станции, совсем расшатался, истлел, а по нему должны пройти тысячи людей.

Что делать? Как быть?

Построить новый мост и в обычных условиях дело трудное, а тут — горе горькое всем и каждому застит глаза. И стужа лютая все крепчает — топоры из рук валятся. Знамена покрываются инеем — не видать, где кончается красный, где начинается черный цвет.

Из Москвы срочно вызвали инженеров, специальные воинские части. Рано утром двадцать второго января саперы партиями начали прибывать в Горки.

— Ничего не скажешь, быстро приехали, — вздохнул солдат с медалями, — да только не успели ко времени...

— Как это не успели! Не может быть! — перебил кто-то из нас солдата. — Ты толком расскажи.

— Я толком и рассказываю. Приехали, значит, инженеры, а старого моста в Горках уже нет, будто сроду его там и не было. Вместо него новый стоит. Не подумайте, чудо какое, — мужички сами за ночь построили. Деревень вокруг много, каждый двор по бревну приволок, каждый — костер запалил. Ну а остальное-прочее — русская смекалка. Самое трудное было — землю строгать. Закоченела насквозь — ни огонь, ни кувалда не берут. Ломом ударят — как чугун об чугун. К утру поддалась, однако.

Честно говоря, никто из нас не знал, верить солдату или не верить, а он помолчал, закурил, скосил глаза в оконную темень и опять за свое:

— Инженеры ходили вокруг моста, постукали молоточками по бревнам. Потом еще саперы целым батальоном по мосту раз десять туда-обратно протопали. Хоть бы что! Стоит мосток, не шелóхнется! Признали инженеры мужицкую работу справной, выдали тому мосту паспорт, чтобы по всем правилам...

— Легенда! — снова перебил кто-то увлекшегося солдата. — Но придумано хорошо, складно.

— Не знаю, легенда или не легенда, — поднялся со своего места солдат, — как хотите считайте, а мост тот батя мой своими руками строил, царство ему небесное.

Солдат стал не спеша пробираться к выходу. В самом конце вагона он обернулся в нашу сторону, сказал негромко, но так, что всем нам было слышно его совершенно отчетливо:

— Легенда так легенда. Пусть будет по-вашему. Только и я по тому мосту двадцать второго-то января самолично сапером шагал. Раз десять туда и обратно. Так-то вот!..

Поезд остановился. Солдат сошел на крохотной станции. Мы тронулись дальше.

Долго еще, до самой Москвы, сквозь стук колес все слышалось мне, как позвякивали медали на груди старого солдата.

В БЕРЕЗКАХ ЗВОНIT КОЛОКОЛ

Это произошло в самые первые годы Советской власти.

Сгорела в селе Березки церковь. Была она деревянная, старая. Сто лет мокла под дождем и снегом, сто лет сохла на ветру и солнце. Как вспыхнула — до последней щепки сгорела. А колокол даже расплавился. Круглая медная лужа от него осталась на пелище.

Погоревали мужики, покручинились, решили письмо в Москву послать: так, мол, и так, помочь просим.

Развели чернила, раздобыли листок бумаги, сели вокруг стола, а писать-то и некому — был один грамотный, и тот, как на германскую ушел, пропал без вести. Новые писаря не подросли еще.

— Да и ходит ли сейчас почта? Лучше самим ехать, — сказал пастух Никодим. — Для верности прямо к Ленину пробиться надо.

— Ну уж ты хватил, к Ленину! — засмеялись мужики.

— К нему! — настаивал пастух. — Он нашу жизнь понимает душевно. Он уважит, только подход к нему надо иметь.

— Ну раз ты такой умный да прыткий, тебе и ехать!

— А что ж, пожалуй,— поскреб за ухом Никодим.

Не знал он тогда, какой тяжелый крест сам себе выбрал. Нелегко было до Москвы доехать. Сколько буферов согрел своим телом пастух, сколько раз отставал от поезда!

Но главные трудности ждали его уже там, в кабинете Ленина.

Переступил Никодим порог и вдруг оробел. Ленин расспрашивает его, как доехал, как дела в деревне, а Никодим вокруг главного ходит, никак не скажет об истинной причине своего появления в Кремле.

Достал пастух из туеска пресную лепешку, угощает Ленина. Ильич улыбается:

— Вкусно. Очень вкусно! Но вы все-таки признайтесь честно, зачем в такую даль приехали?

— Ежели честно, Владимир Ильич, мы к вам за колоколом. Церковь у нас сгорела...

— Вы это вполне серьезно?..

— Серьезно, Владимир Ильич. Всем народом кланяемся вам низко.

Ленин в полном недоумении встал из-за стола, развел руками.

— Превосходно! Нет, это просто очаровательно! К самому завзятому безбожнику пришли просить колокол! Этого бы и сам Лев Толстой не смог выдумать!..

— Да я... да мы... Может, кто зимой с дороги собьется — ударим в набат, чтоб, значит, спасти человека,— не очень ловко оправдывался пастух, которому вся эта затея с колоколом показалась и впрямь нелепой.

Ленин мелкими шажками ходил перед Никодимом, смеялся так громко и так заразительно, что пастух, глядя на него, начал виновато и обескураженно улыбаться.

Но было ему, в общем-то, не до шуток.

А Ленин вдруг, будто вспомнив что-то, направился к своему столу. Когда он обернулся, на его лице от смеха одни морщинки остались:

— Дорогой товарищ Никодим, не мне вам рассказывать, в каком положении страна. Нет не только хлеба и топлива, нет и металла. Мне вот срочно надо поговорить с одним заморским господином — вторую

неделю не могу соединиться: порваны все линии, и нет меди на провода.— Ленин стал совсем серьезным.— Вам все ясно, товарищ Никодим?

— Все, Владимир Ильич.

— Ну, тогда по рукам! Извинитесь за меня в селе. Так и скажите: не дал Ленин колокола, но причина у него уважительная.

— Так и скажу, Владимир Ильич.

Вернулся Никодим в свое село, рассказал мужикам все, как было, те только головами покачали:

— Зря человека от дела оторвал.

— Зря,— согласился Никодим,— а дел у него, видать, много, есть, стало быть, и поважней нашего.

А весной, когда уже все перестали вспоминать о Никодимовой поездке, в село из Москвы привезли колокол...

— Принимайте,— сказал подоспевшему Никодиму рабочего вида человек, сопровождавший необыкновенную посылку. Все село собралось посмотреть на диковинный колокол. Был он небольшой, чуть побольше обычной ступки, но майское солнце так играло на его светлых боках, что казался он огромным слитком серебра в руках Никодима, который подымал колокол над своей головой.

Стоявший подле пастуха рабочий громко прочел собравшимся надпись, славянской вязью горевшую на бортике колокола:

— «Мастер лил в городе Валдае...»

Он оглянулся вокруг, пристально поглядел в глаза притихших людей и сказал:

— Товарищи! Владимир Ильич просил передать вам, что он есть самый главный безбожник на Руси и во всем мире. Ну а дальше вы уже сами соображайте.

К зиме в Березках построили школу. По этому случаю собрались мужики и порешили:

— Церкви все равно у нас пока нет. Давайте колокол над школой повесим, а там видно будет.

По звонкому колоколу ребята окрестных деревень начали с книжками в школу бегать.

Вскоре создали в тех краях первый колхоз — колокол стал звать крестьян на работу, на труд, который впервые за всю историю страны был счастливым и радостным.

Когда началась Великая Отечественная война, над округой прокатились тревожные волны набата, и все

люди от мала до велика сразу узнали звук родного колокола. Пошел народ защищать Отчизну.

Подаренный колокол и сейчас висит у школы, сияя серебром на солнце. Кто хоть раз побывает в Березках, тот никогда не забудет этого колокола, отлитого русским умельцем давно, но по сей день не утратившего чистоты своего голоса.

В Березках звонит колокол. И мне даже сдается, что с каждым годом звучит он все чище, все дальше слышится.

ПО НОВОМУ АДРЕСУ

Года три назад из газет, а затем и из писем своих парижских знакомых я узнал, что ленинская квартира на улице Мари-Роз, так бережно хранимая французами, подверглась нападению бандитов. «Они заявили в пять часов утра, — говорилось в одном письме. — У них в руках были железные палки. Ворвавшись в помещение, стали уничтожать все, что попадалось под руку. А когда поднялась тревога, трусливо исчезли».

Но маленький парижский музей Ильича не прекратил своего существования, не исчез с лица французской земли. Можно уничтожить драгоценные реликвии, исковеркать мебель, сжечь книги, но нельзя, невозможно искоренить любовь трудового Парижа к Ленину. Вскоре после этого случая, который обеспокоил парижан, на месте старой таблички с названием «Мари-Роз» появилась новая. На ней грифелем пока было написано: «Рю де Ленин». Трудно было сказать, удержится ли это название, станет официальным или вернется старое, привычное. Одно было несомненным — в сердцах многих уже родился, существует этот адрес в Париже.

Рассказывая об этом своим землякам в Москве, я не раз говорил, что, если они окажутся в Париже, сядут в такси и попросят свезти их на улицу Ленина, шофер переспрашивать не будет. Правда, при этом я всегда вспоминал, как плохо парижане знают свой город, как часто видел я там полицейских с картой в руках, долго объяснявших приезжим, как попасть в тот или иной район столицы. И вот я снова в Париже. Выхожу на вокзальную площадь, разыскиваю такси.

— Силь ву пле, месье! Мне нужно на улицу Ленина.

Только одно короткое мгновение длится раздумье таксиста. Лукавый взгляд, веселый щелчок двумя пальцами — и мы мчимся в другую часть города. Впрочем, «мчимся» — выражение фигуральное. В Париже миллионы автомобилей, часто образуются пробки. Ну а мне кажется, что я вообще никогда в жизни не ехал так медленно.

Наконец нужная улица, и на ней дом, возле которого шофер сам, без моих объяснений, останавливает машину. Подымаюсь по лестнице, звоню. Дверь открывает человек, уже знакомый мне. Это месье Антуан Лежандр, хранитель ленинского музея. Приняв привезенную мной библиотеку — подарок московских писателей парижскому музею Ильича, Лежандр душевно благодарит. Долго листает каждую книгу, рассматривает автограф за автографом и, когда встречает написанные по-французски слова, растроганно прижимает руку к груди.

— Мерси боку, мерси боку! — восклицает Лежандр и приглашает осмотреть музей.

— О, здесь многое изменилось с тех пор, как вы тогда приезжали. Очень многое! Кое-кто пытался нам помешать, это правда. Но смотрите, как мы благодаря заботам ЦК Французской компартии восстановили все! Мы даже прикупили еще одно помещение, чтобы разместить экспонаты, которых становится все больше и больше.

Не все еще удалось собрать, что хотелось бы. Трудно отыскать, скажем, книги, изданные не позднее 1912 года, например «Войну и мир», — Ленин читал ее здесь по-русски. Не удалось разыскать книгу генерала Ключэре. Лежандр слышал, что один экземпляр этой книги есть в Женеве, в библиотеке «Общества любителей чтения». Я подтверждаю — есть, я видел там в прошлом году это издание. Оно хранится библиотекарем, с которым я имел удовольствие познакомиться. Его зовут господин Пико. Лежандр говорит, что завидует библиотеке, у которой такие бесценные сокровища. Он с гордостью показывает мне один из самых дорогих и новейших экспонатов музея — скульптурный портрет Владимира Ильича, выполненный Томским.

Многие люди из разных стран стараются оказать свою помощь музею. Лежандр рассказывает, что ему

удалось под вмонтированным в стену зеркалом обнаружить прекрасно сохранившийся кусок обоев, которыми комната была оклеена при Ленине, в 1912 году. Попробовали сделать по этому образцу обои в Париже. Обратились в один синдикат, нашли хороших рисовальщиков, но дело застопорилось — предприниматель заломил огромные деньги: «Иначе не могу. В серию такие обои теперь не запустишь».

— Решили написать письмо в Москву, в Центральный музей В. И. Ленина, — говорит Лежандр. — Ответа не было месяца два или три. Мы подумали, что задали русским товарищам невыполнимую задачу. Но в один прекрасный день пришла посылка. Когда распаковали ящик, обнаружили в нем рулоны обоев — точь-в-точь таких, какие нам были нужны! Теперь ими оклеена комната Владимира Ильича. Вот полюбуйтеся.

Лежандр долго трясет мою руку, словно я самолично рисовал эти алые цветы, делал макеты, стоял за печатным станком.

Спрашиваю Лежандра, как часто приходят сюда люди.

— У нас сегодня какое число? Двадцатое? — Лежандр раскрывает книгу посетителей. — Вот вам строки, написанные всего час назад, а день еще только начинается.

Вот еще записи. Их сотни, тысячи. Нескончаем поток людей, устремляющихся сюда, в эти крохотные комнатки, со всех концов земли.

ТРУБКА ГЕНОССЕ ДОЖДИКОВА

Так случилось, что со старым немецким коммунистом Эрвином Бекиром я повстречался в Берлине перед самым моим возвращением домой из короткой командировки в ГДР. До отхода московского поезда оставалось немногим более двух часов, когда в моем номере раздался телефонный звонок и мембрана донесла до меня густой незнакомый голос:

— Вы искали меня? Я есть Бекир. Меня не было в Берлине. Теперь я есть совсем рядом, хочу заехать за вами в отель. Это можно?

— Конечно, Эрвин, конечно! И чем скорее, тем лучше.

Через несколько минут порог комнаты в гостинице на Унтер ден Линден перешагнул высокий добродушного вида человек и, протянув мне сразу обе руки, заговорил, перемешивая русские слова с немецкими:

— Гутен абенд, геноссе! Я уезжал в Лейпциг. Как хорошо, что мы все-таки встретились.

Я ответил тоже на чистом «русско-немецком»:

— Зер гут, геноссе Эрвин, зер гут! Я так много слышал о вас! Не повидаться было бы обидно. Только вот ведь какая досада — теперь я уезжаю из Берлина. Поезд в Москву в двадцать сорок...

Приветливая улыбка на лице немца сменилась озабоченной, словно это он, Бекир, несет персональную ответственность за то, что иные зарубежные командировки столь скоротечны. На высоком лбу его завязался тугой узел морщин.

А я, принеся Эрвину тысячу извинений за царивший в комнате предотъездный беспорядок, сбегал к дежурной по этажу, раздобыл у нее подаренный кем-то из русских электросамовар и объявил гостю, что, несмотря ни на какой цейтнот, чайку мы все-таки выпьем.

Бекир, глянув на часы и убедившись в том, что времени остается действительно совсем мало, принялся помогать мне собраться в дорогу.

— Дас ист нихт швер! — объявил он. — У меня большой опыт.

Вдвоем мы довольно быстро уложили мои повсюду разбросанные вещи. Через каких-нибудь полчаса готовый в путь чемодан сверкал застегнутыми пряжками.

Эрвин, довольный нашей работой, торжественно сформулировал:

— Русский темп плюс немецкая аккуратность!

— Драйсиг минутен чистой экономии! — постарался я внести свою долю в формулу.

— Я, я, я, — обрадовался Эрвин, — драйсиг минутен! Значит, успеем еще ко мне домой. Фрау Бекир ждет нас, геноссе, будет очень рада.

Я вынужден был огорчить его еще раз:

— А к вам, Эрвин, все равно никак не успеем. Передайте мои извинения фрау. За мной сюда скоро заедут и повезут на вокзал.

— Кто заедет? — удивился Бекир. — Это не секрет?

— Не секрет. Мои друзья, немецкие пионеры, — сказал я как о чем-то само собой разумеющемся. — Русским владеют не хуже нас с вами. Раздобыли где-то микроавтобус, ждите, говорят, в двадцать ноль-ноль.

Эрвин от неожиданности сел верхом на чемодан:

— Браво! Прекрасно, геноссе! Русского, участника войны с фашизмом, придут в Берлине провожать в Москву немецкие пионеры! И я уверен, с цветами придут. Думали вы о таком в сорок первом году, геноссе? А?..

Я сознался, что не думал и много позже, но вот судьба распорядилась так, как ей было угодно.

— Хорошая судьба! — воскликнул Бекир. — Отличная!

Он, продолжая сидеть на чемодане, еле заметно улыбнулся. Мысль его, как мне показалось, витала в тот миг где-то далеко-далеко. Где именно? — силился угадать я и не мог этого сделать. А Эрвин, немного помолчав, пробасил:

— Раз уж речь зашла о судьбе, я должен вам кое-что показать. Айн момент, геноссе, айн момент...

Он запустил руку во внутренний карман пиджака, и передо мною замелькали листки старого блокнота, вдоль и поперек исписанные мелким почерком. Листки рассыпались, пальцы не слушались немца. Узел морщин над его бровями затягивался между тем все туже — мне было видно это теперь особенно явственно.

Я знал историю антифашиста Бекира, знал, как нелегко складывалась подчас его жизнь, особенно в военную пору, и подумал: ищет что-то, связанное с войной. Сказал ему об этом. Бекир полусогласился:

— Не совсем так, геноссе, не совсем так. Но близко к тому, очень близко! Как это в детстве было — холодно-горячо, да?

Я ответил, что у русских, как и у немцев, тоже существует такая игра, и даже попытался еще раз продемонстрировать свое знание немецкого. Хватило меня, однако, только на первое слово — «кальт».

Эрвин помог мне найти другое, а сам, продолжая листать блокнот, вдруг с досадой хлопнул себя по лбу.

— В другом блокноте? — спросил я.

Эрвин кивнул:

— Склероз... Я сильно спешил и все перепутал,

геноссе. Неужели мы не сможем заехать ко мне? Это есть совсем близко. Я хотел показать вам некоторые свои записи. Там есть и то, что вас очень заинтересует. Воспоминания о Дождикове.

Пришел мой черед удивляться:

— О Дождикове?..

— О геноссе Дождикове, — повторил Бекир, встал с чемодана и шагнул к столу.

Я вынужден был признаться, что о «геноссе Дождикове» никогда раньше не слышал.

На это Эрвин ответил:

— А я был знаком с ним. Вот смотрите.

Из другого кармана Бекир осторожно извлек бумажник, из бумажника — целлофановый пакет с фотографиями. Разложив их передо мной, он сказал:

— Смотрите внимательно.

Фотографий оказалось много, десятка полтора. С одних на меня глядел пожилой человек в темной морской форме. На других была запечатлена курительная трубка, каких я видел в жизни сотни, если не тысячи. Трубка эта никакого интереса у меня, честно сказать, не вызвала. Что касается моряка, то в его лицо я стал всматриваться самым пристальным образом. Однако, сколько ни вглядывался, ни одной знакомой черты обнаружить не мог. Пришлось признаться в этом Эрвину. Он повторил, что имел честь лично знать Дождикова.

Эрвин снова сел верхом на чемодан и в оставшееся до прихода пионеров время рассказал мне про Дождикова, про его трубку и про многое другое.

...Это было вскоре после войны. Праздновался юбилей Ленинграда. Эрвин получил возможность приехать на торжества — должен был по просьбе одного берлинского издательства сделать фотоальбом, посвященный знаменитому городу. Ходил по улицам, по площадям и фотографировал, фотографировал с утра до ночи.

Однажды на стадионе имени Кирова Бекир увидел колонну старых большевиков. Подошел, стал разговаривать. Особенно один человек понравился.

— Не молодой, но и не совсем старый. Такой, как мы с вами, — полувесело-полугрустно заметил Эрвин. — Да, да, этот самый, которым вы сейчас любуетесь. Правда, красавец? Усы и брови белые, как в морской пене.

Познакомившись с моряком, Эрвин узнал, что тот почти полвека проработал в Арктике, стоял на вахте в любую погоду, так что она, пена эта, не воображаемая, а, можно считать, самая настоящая, соленая.

Я согласился с Бекиром: даже в ресницах моряка, казалось, поблескивали кристаллы соли.

Немец сказал, что сразу пришел тогда к решению начать свой ленинградский альбом именно с Николая Дождикова — очень уж колоритным был весь его облик. Вечером того же дня специально встретился с ветераном и твердо понял — в выборе своем не ошибся.

В дни Октября Дождиков работал в Петрограде на радиостанции. Редкая у него была для тех времен профессия. Один из немногих радистов, Дождиков понадобился революции сразу же, немедленно. 27 октября 1917 года к нему, только что отстоявшему смену, явился посыльный и прямо с порога объявил: «К вам срочное дело, товарищ Дождиков». Николай и без всяких объяснений понял — зря в такой поздний час человека тревожить не станут. Поглядел поверх занавески и окончательно в том уверился — под окном стоял легковой автомобиль с невыключенным двигателем. Уже в дороге спросил, от кого, мол, поручение и какое. Шофер и посыльный молча переглянулись: неужели, дескать, непонятно, от кого могут сейчас исходить самые важные поручения?

Лишь оказавшись в Смольном, узнал Дождиков, какой достался ему жребий. Предстояло передать по радио первостепенной важности документ. Почему именно на него, Дождикова, пал выбор? Да потому, объяснили, что будто бы сам Ленин о том распорядился. И не «будто бы», а совершенно точно. Через несколько минут радист уже стоял перед Владимиром Ильичем, и тот объяснил причину их неотложной встречи. Только что Всероссийский съезд Советов принял Декрет о мире. Необходимо было сделать так, чтобы люди сейчас же об этом узнали.

— Вам все понятно, товарищ Дождиков? — спросил Ленин. — Не подведет ли техника? Надежны ли товарищи на радиостанции?

От этих слов Ильича Дождикову, как он откровенно признался Бекиру, стало страшновато. В себе-то он был уверен — все сделает точно как надо. И в товарищах не сомневался. А вот техника... Капризная штука!

Не скрыл этого от Ленина. Так, мол, и так, Владимир Ильич, боюсь я за чертовы эти волны. Волна есть волна — что в море, что в небе. Неизвестно, какой трюк выкинет.

— А вот бояться не надо, товарищ Дожди́ков, все нормально будет, уверяю вас, — попробовал успокоить радиста Ленин, хотя сам был возбужден до крайности, только старался того не показывать.

— Так все ли вам ясно, товарищ Дожди́ков? — повторил свой вопрос Ленин. — Учтите, ответственность мы с вами берем на себя огромную — и вы, и я.

Дожди́ков чуть было не спросил: а вы-то почему, Владимир Ильич? Но вовремя остановился. Понял — просто решил Ленин поддержать человека, которого взяла оторопь. Тут радист и действительно немного успокоился, даже попробовал пошутить:

— Раз такое дело, за аппарат сядем оба, Владимир Ильич: я и вы. Для надежности.

Ленин от шутки той был в восторге:

— Справитесь, товарищ Дожди́ков. Теперь я точно знаю — справитесь! И техника не посмеет ослушаться, если совесть у нее есть. Есть у нее совесть, товарищ Дожди́ков? Классовое сознание? Ведь свои же, рабочие руки ее мастерили.

— Свои, рабочие, — согласился Николай. — Постараемся, Владимир Ильич.

— Ну и прекрасно, товарищ Дожди́ков. Я твердо верю в успех.

Сказав это, Ленин вручил радисту скрепленные булавкой листки с машинописным текстом. Потом велел дать Дожди́кову машину и во весь опор мчать его в Царское Село, где находилась тогда главная радиостанция России.

Пока добирались до места, Дожди́ков при зыбком свете начавшей заниматься зари читал-перечитывал радовавшие сердце строки. И чем внимательней вчитывался, тем в большее приходил волнение. «Всем, всем, всем!.. — подумать только! Пройдет совсем немного времени, и это услышат за морями-океанами...»

Когда подъехали к Царскому Селу, Дожди́ков текст декрета знал почти наизусть и в случае чего мог, пожалуй, передать в эфир без бумажки.

На радиостанции Дожди́кова уже ждали — из Смольного звонили, оказывается, сто раз, справлялись, все

ли в порядке. И сто раз предупредили: когда кончится передача, пусть Дожди́ков лично доложит Ленину.

— Ну разве могла после этого «подвести техника»?! — воскликнул Эрвин. — Нет, конечно, не подвела, хотя поволноваться заставила всех.

А из Смольного, как только там стало известно, что Дожди́ков благополучно прибыл на станцию, всякие звонки вдруг прекратились. Только потом узнали, в чем дело: Ленин попросил не тревожить людей, дать им возможность сосредоточиться на своей работе.

Николай Дожди́ков рассказал Эрвину Бекиру, как выдержали радисты в тот день труднейший за всю свою жизнь экзамен.

Когда декрет наконец «отстучали», у Дожди́кова едва хватило сил подойти к телефону, а нужных слов не нашлось и вовсе. Ленин заговорил первый:

— Спасибо, товарищ Дожди́ков, я все уже знаю. Огромнейшее спасибо!

В конце короткого этого разговора Владимир Ильич якобы спросил радиста, чем и как можно отблагодарить его. Дожди́ков сперва не понял Ленина. Тот повторил вопрос. Разобравшись, о чем идет речь, Николай засмутился, сказал, что очень плохо слышит, мешают, мол, помехи.

Ленин будто бы усмехнулся в ответ:

— Значит, техника все-таки подводит? Не в том, так в этом? Вы находитесь всего в тридцати верстах, а моих слов не слышите. Придется вам, товарищ Дожди́ков, еще раз приехать в Смольный. Если можно, сразу приезжайте. Можете?

Часа через два-три радист снова вошел в уже знакомый ему кабинет. Ленин, увидев Дожди́кова, устремился ему навстречу через толпу стоявших вокруг людей. Подошел, пожал руку, сказал громко, чтобы все слышали:

— Еще раз благодарю за отличную работу. — Посмотрел на Николая внимательно, прищурился и чуть тише добавил: — А это вам от меня. На память. Вы, кажется, курите? Тогда оцените — английский «Брауэр».

В руках у Дожди́кова оказалась курительная трубка.

— Да, да, эта вот, — заметив мой жест, подтвердил Бекир. — Самый настоящий «Брауэр». Из вишневого корня.

К сожалению, лишь много позже понял Дожди́ков,

сколь символичен был ленинский подарок: ведь не какой-нибудь, а о мире Декрет передал он тогда «всем, всем, всем!». Стало быть, и трубка не простая — трубка Мира! Очень жалел Николай, что разгадал тот символ с большим опозданием. Но трубку хранил долго, бережно, не решался даже курить из нее, хотя курильщиком был заядлым, да к тому же моряком. Один флотский умелец изготовил для Дождикова копию того «Брауэра», а «Брауэр» подлинный годы и годы покоился в бархатном, специально пошитом чехле, сопровождал полярника во всех походах. Однажды чуть не пошел ко дну, когда старая посуда под названием «Двина» штормовой ночью села килем на мель в районе Шпицбергена. После этого случая Дождиков решил сделать побольше фотографий «Брауэра» — для корабельного музея, для дружков и вообще про всякий случай.

Несколько из этих снимков и было преподнесено Бекиру Николаем Дождиковым во время их встречи в Ленинграде. Ну а «первого радиста революции» Эрвин многократно сфотографировал сам — и анфас, и в профиль.

Мы с моим гостем принялись снова рассматривать Дождикова, пристально вглядываясь в черты человека с белой морской пеной на усах, с белыми кристаллами соли в бровях и ресницах.

— Если нравится, могу подарить, — угадав мое желание, сказал Эрвин.

— Не жалко? — спросил я.

Эрвин рассмеялся:

— Жалко, конечно, но вы ведь все равно попросите?

— Попрошу, — подтвердил я. — Считайте, что уже попросил.

— Ну вот видите. Я есть психолог! — воскликнул Эрвин.

В эту минуту в коридоре слышался шум голосов, в дверь постучали, и комната сразу наполнилась пионерами. Они пришли с чисто немецкой пунктуальностью — ровно в двадцать ноль-ноль, как было условлено, и, как предсказал Эрвин, — с цветами.

Поблагодарив ребят за внимание и точность, я спросил их, не откажутся ли они отведать с нами русского чая. Они согласились без всяких уговоров. Тем более что мои друзья оказались и друзьями Эрвина — он не так давно выступал в их школе, обещал в скором вре-

мении прийти еще, и его уже ждут, так как не все смогли принять участие в прошлой встрече.

— Все свои люди, выходит! — обрадовался я и принялся накрывать на стол.

— Я, я, я! — поддержал меня кто-то из ребят. — Все свои.

— Ну а если свои, помогайте, — попросил я, — времени у нас мало. Кто умеет хозяйничать?

Помощников нашлось сколько угодно. Кто бросился разогревать успевший остыть самовар, кто вытаскивал из шкафа и перетирал и без того сверкавшие чистотой блюда и чашки, кто растягивал за углы собравшуюся гармошкой скатерть. Я походным ножом вспарывал коробку с сувенирным набором конфет.

— «Мишка на Севере»! — сразу определил один из гостей. — Бэр им Норден! Зер гут, зер шён!

Эрвин принялся отыскивать куда-то вдруг подевавшийся целлофановый пакет для фотографий. А фотографии тем временем ходили из рук в руки. И чуть ли не каждый, у кого они оказывались, восклицал:

— Геноссе Дождикив!

— Я, я! Николай Дождикив. Русский радист, моряк!

— Трубка геноссе Дождикова!..

Хорошо было у меня на душе в те минуты. Думаю, и у Эрвина.

Чаепитие получилось, к сожалению, недолгим. Через каких-нибудь четверть часа мы вынуждены были подняться из-за стола и тронуться в путь.

По крыше и бортам микроавтобуса тихо зашелестели широко распростершие свои мягкие весенние ветви деревья, такие похожие на наши, московские!

Мне бы всю дорогу глядеть и глядеть в окно — на полыхавшие неонам улицы вечернего Берлина, которого не видел со времен войны и неизвестно, когда увижу еще. Я же не сводил глаз с Эрвина. Особенно когда заметил — узел морщин на лбу его ослаб, развязался, словно сроду и не завязывался...

ПЛУГ И САБЛЯ

В. А. Федотову

Когда-то Бутырский хутор был далеко за чертою Москвы. Тронутые ржой рельсы Савеловской железной дороги тихо проползали мимо него к городу по пусты-

рям, заросшим лопухами, чертополохом и цикорием, забрызганным мазутом и нефтью. Рядом с хутором было кладбище паровозов — истерзанное гражданской войной железо, приводившее в уныние меня и моих сверстников мальчишек, любивших забираться в уцелевшие кое-где будки машинистов. Даже самые несмышленные из нас понимали: когда-то это железо мчалось, гудело, изрыгало дым и пламя. Теперь только ветер зловеще завывал в котлах и трубах, изрешеченных пулями и осколками. Некоторые паровозы были до того изуродованы, что казались вывернутыми наизнанку. До сих пор звучит у меня в ушах скрежет бесформенных листов металла, сдираемого ветром с перебитых хребтов локомотивов.

Таково одно из наиболее острых моих впечатлений той поры. Сказал как-то об этом своему соседу по даче Зеленцову. Сказал, не помню в связи с чем, — какая-то железяка в хозяйстве понадобилась, что ли. Услышав про хутор, про кладбище паровозов, Зеленцов оторвался от грядки, которую в тот момент перекапывал.

— Так мы с тобой, выходит, соседи не только по даче, но и по Бутырскому хутору! я и по сей день хуторской, а ты?

Я ответил, что жил там, но очень давно, совсем еще пацаном.

— Но паровозы уже тянули к себе? — не то спросил, не то сам себе ответил Зеленцов.

— И тянули, и жуть наводили, — сознался я. — Уж больно страшны были.

— Что верно, то верно, страшны. И кругом, куда ни погляди, разруха, запустенье... — Зеленцов задумался, постучал по штакетнику лопаткой, зажатой в крепкой загорелой руке. — Что верно, то верно, — повторил, — дрянь дела были. Дрянней некуда. Но кое-где уже копошилась и новая жизнь, я постарше и все помню ясно.

Зеленцов вонзил лопатку в землю, провел рукавом по вспотевшему лбу.

— Никогда не забуду мастеров с машиноиспытательной станции, ютившейся недалеко от того кладбища. Человек пять их было, в общем целом, не больше. Мороковали над техникой для села. Ты про сноповязалку Маккормика ведаешь что-нибудь?

— Заграничная? — спросил я.

— Она самая. Чудом техники считалась в те дни. Так

вот это чудо наши улучшить удумали. День и ночь колдовали. Ни инструмента путного под рукой, ни материала. С разбитых паровозов кое-чего откручивали. Толково?

Я согласился с Зеленцовым. Он продолжал убежденно:

— Толково! Разумно с кладбищем тем распорядились. Очень даже разумно.

Я от других соседей слышал про Зеленцова разное. Беспокойный, дескать, человек, увлеченный, чуть ли не романтик. И до всего-то ему есть дело, до всего буквально. Я иные из этих характеристик пропускал мимо внимания. Какой, считал, он, скажем, романтик? Но самые уши в грядки свои зарылся. С ним и словом-то не перемолвишься. До романтики ли ему? Всю весну, все лето, всю осень в земле. Спины не разгибает. И даже зимой небось только одним садом-огородом занят.

В тот октябрьский день взглянул на Зеленцова совсем по-иному. Что-то неожиданное открылось в соседе, когда он, перешагнув через разделявший нас штакетник, вдруг разговорился. Про гражданскую. Про революцию. Про Отечественную. Про историю и свое к ней отношение.

Черты Зеленцова помолодели, глаза из голубых стали синими, такими синими, каких я еще никогда не встречал. И паровозного кладбища — как не бывало! Оказалось, что даже само слово «кладбище» в этом случае соседу моему не по нраву.

— Какое, к дьяволу, кладбище? Старые, побывавшие в переделках паровики — да! Но хоронить их нельзя было — все равно что живого человека в гроб заколачивать, запомни. У тех паровиков нужных деталей на всю Россию можно было набрать. А то и на две.

— Двух Россий быть не может, — полушутя-полусерьезно заметил я.

Зеленцов согласился:

— Точно! Россия на свете одна.

Подумав немного, продолжил:

— И по смекалке одна, и по беспечности нашей извечной. Никакой державе не сравниться с ней ни в том, ни в другом.

Я попробовал было что-то возразить, но был решительно остановлен.

— Не спорь, мне лучше знать. Факты упрямая штука.

Я и не спорил, тем более что дальше сосед стал развивать свою мысль в более подходящем для меня направлении:

— Сноповязалка Маккормика — машина, конечно, хорошая, но только русские руки могли ее до ума довести.

— Могли или довели? — спросил я.

Зеленцов от прямого ответа уклонился. Поднял упавшую с дерева ветку, стал черенком ее рисовать под ногами замысловатые линии, приговаривая:

— У американцев было так, а нам надо было так. У нас же другие совсем условия, климат другой, почва иная, все не такое как там...

Черенок ветки продолжал просекать землю тропинки, на которой мы стояли. Перед моими глазами постепенно возникала угластая, не совсем понятная, честно сказать, картина.

Перехватив мой озадаченный взгляд, Зеленцов съязвил:

— А еще владелец участка! Дальше клубники дело у тебя никуда не пойдет, учти.

Я сказал, что пшеницу сеять не собираюсь. Зеленцов воскликнул:

— Человек на землю зачем пришел? Клубнику выращивать?

— И клубнику тоже, — возразил я.

— Правильно. И клубнику. Но на Руси самый первый овощ все же не клубника, хоть я ее уважаю. А тогда, в первые годы Советской власти, нам вообще не до клубник было.

С этим я, естественно, спорить не стал, почувствовал, Зеленцов переполнен воспоминаниями, которые ищут выхода, и главная моя задача была в тот момент помолчать, послушать, и я приумолк.

Зеленцов стал вести рассказ дальше. Про Маккормика (сноповязалку его, оказывается, до ума все-таки довели), про другие машины всякие-разные, про умельцев с испытательной станции — кого из них как звали, кто чем отличился конкретно. Больше всего, скажу откровенно, трогала меня в Зеленцове эта обстоятельность. Уже через какие-нибудь полчаса нашего разговора вся тропинка из конца в конец была исчерчена чертежами — один другого сложнее и замысловатей.

А черенок ветки, зажатой в загорелой руке, все вспахивал и вспахивал мокрую осеннюю землю. Зеленцов увлекался все больше. Единственное, что его малость расхолаживало, так это моя почти полная некомпетентность в сельхозтехнике. Некомпетентность эту я старался, понятно, хоть как-то скрывать, чтоб не обидеть собеседника, он, конечно, скоро это усек, начал слегка подшучивать:

— Пословицу знаешь — «один с сошкой, семеро с ложкой»?

Я ответил, что знаю.

— Молодец. А между сошкой и сошником разница есть?

— Небольшая, по-моему. Точней, никакой, собственно, разницы. Одно и то же. Почти. Правильно?

— Не различаешь, короче говоря,— опять съязвил Зеленцов.— А вот Ильич, между прочим, различал, хотя и не его была специальность.

— Какой Ильич? — с удивлением спросил я.

— Тот самый! — губы Зеленцова шевельнула едва заметная улыбка.— Тот самый. Мог бы тебе и об этом кой-чего сообщить. Но в другой раз как-нибудь, при случае.

— Чудной, однако, ты человек! — Я пожал плечами. Давай, мол, сейчас выкладывай, Зеленцов, коли уж разговорились. «Другой случай» — то ли будет он, то ли не будет.

— Уж больно ты мрачен,— упрекнул меня Зеленцов.

Я сказал, что до будущей весны не появлюсь тут, а в Москве у каждого свои дела, свои заботы, свой «сад», свой «огород».

Зеленцов ухмыльнулся:

— Что верно, то верно. Свой сад, свой огород, свои заботы и хлопоты. Стало быть, сейчас готов слушать?

— Именно сейчас,— подтвердил я.

— Так и быть, по-соседски,— откашлявшись, сказал он.— Слушай, крути на ус. К Бутырскому нашему хутору прямое отношение имеет.

И Зеленцов рассказал мне историю, о которой я раньше ничего не ведал, хотя где-то в душе считал и считаю себя тоже отчасти «хуторским».

В 1921-м дело происходило. На четвертом году Советской власти.

— Всего на четвертом, заметь,— акцентировал мое внимание на этом обстоятельстве Зеленцов.— Таким же вот дождливым октябрем, как нонешний. Прошел по хутору слух, будто со дня на день туда должен Ленин приехать.

— Ленин? На Бутырский хутор? — воскликнул я. — Быть того не может! Зачем?

Зеленцов ответил убежденно:

— Может. Очень даже может, в общем целом. И не только может, но и был в действительности. Сам не являюсь тому свидетелем, но один старик все видел, все слышал. От него знаю. По заданию Ильича на Брянском заводе был построен первый в России электрический плуг. Его привезли на Бутырский хутор, чтоб испытать в присутствии Ленина. Хитрая была машина, умная, но капризная. Что-то попервоначально не клеилось. Механики, инженеры с ног сбились. К нужному сроку, однако, управились, отладили многокорпусную балансирную конструкцию...

— Многокорпусную? Балансирную? — переспросил я.

— Темный ты человек, сосед, дремучий, в общем целом. Тебя просвещать и просвещать по всем пунктам. Ты про саблю Наполеона, скажем, слышал что-нибудь? — ни с того ни с сего задал мне странный вопрос Зеленцов.

— Про саблю Наполеона? Да какое мне дело до нее? Заодно и до самого Наполеона? Не слишком ли далекая древность? — воскликнул я.

— Не слишком,— ответил сосед.— Я ко всему, что происходит и происходило на белом свете, приглядываюсь, присматриваюсь. Вырезки из печати по многим темам имею. Недавно вот выстриг из какой-то газеты сообщение про то, что в одном нашем музее хранится сабля, принадлежавшая вояке, намеревавшемуся завоевать Россию. Мог бы показать тебе, но ты, смотрю, мало чем интересуешься. До лампы все тебе? да?

Я спросил у Зеленцова, в чем суть заметки.

— Суть, суть... — с досадой пробурчал он.— До чего ж, елки зеленые, дремучи мы и не любопытны! А ну, заходи в хату. Заходи, заходи!

Я, подчиняясь воле хозяина, вошел и сразу же очутился в тесном лабиринте самодельных книжных полок. С одной из них Зеленцов решительным жестом

снял синюю папку, извлек из нее газетную вырезку и, надев очки, воскликнул:

— Ты только послушай! В ссылку на остров Эльба Наполеона сопровождал генерал-адъютант Александра I граф Шувалов. Он считал для себя делом чести доставить французского императора на место ссылки живым и невредимым. Узнав, что на Наполеона по пути готовится покушение, Шувалов предложил ему свою шинель и свой головной убор. В знак благодарности Наполеон подарил Шувалову саблю...

— Читать дальше? — глянув на меня поверх очков, спросил сосед.

Я попросил дочитать до конца, тем более что у меня очков с собой не было.

— Тогда еще немного терпения,— сказал Зеленцов и продолжал: — «В России граф передал саблю племяннице — графине Воронцовой-Дашковой, которая со временем устроила в своем имении, в нынешней Кировоградской области, музей, посвященный войне 1812 года. Прошли десятилетия. В России совершилась революция, началась гражданская война. У красногвардейцев не хватало оружия. Тогда и решили воспользоваться запасами музея Воронцовой-Дашковой. Сабля Наполеона оказалась в руках Петра Алексеева, сражавшегося в составе Первой Конной. В одном из боев с врангелевцами Алексеев был тяжело ранен. Демобилизованный, проезжая на Дальний Восток через Москву, он сдал саблю, как реликвию, в музей».

Узкая газетная вырезка возвратилась на свое место в синюю папку. Зеленцов, завязывая шелковые тесемочки, спросил:

— Ну, как? Понял, к чему я про это?

— Понял. Случай действительно довольно занятный.

— Ни черта ты не понял, сосед. Не в «занятности» дело, а в том, что какую-то паршивую саблю сохранить сумели и даже ореолом славы овеяли, а плуг, построенный по заданию Ленина и при нем испытанный, не сберегли. Нормально ли это?

Я сказал, что ничего не слышал конкретного ни про плуг, ни про то, как его испытывали.

— О чем я и говорю! — воскликнул Зеленцов. — Ни про первый русский электроплуг, ни про то, как

его строили и испытывали. От самого плуга того следов почти никаких не осталось. Поразительное дело! В моей башке просто не укладывается. А в твоей?

Зеленцов, возбужденный, несколько минут молча ходил из угла в угол комнаты, поскрипывая половицами. Молчал и я, боясь задать какой-нибудь вопрос невпопад. Сосед поглядывал на меня поверх очков изучающе. Наконец сказал:

— Будь ты чуток любознательней, мог бы тебе и еще кой-чего выдать. Про то, например, как прошли испытания плуга. И про многое другое. Но ты торопишься, да? Говорят, съезжать с дачи собрался?

— Собрался, — ответил я, — но время пока есть и про испытания послушал бы с удовольствием. И прямо сейчас, если можно. Можно или нет?

— Все в наших руках, в общем целом.

С этими словами Зеленцов остановился у той же самой полки, снова стал развязывать тесемочки уже другой папки — ярко-красной. Развязывая, приговаривал:

— Нормально прошли испытания. Люди всю душу в тот плуг вложили, ночей не спали. Задание Ильича — шуточное ли дело! Нервничали, конечно. Рвался металлический трос. Его связывали, подправленная рулевой машина продолжала бороздить землю восемью лемехами.

— Восемью? — удивился я.

— Сказал же тебе, плуг был многокорпусным, о шестнадцати лемехах. Восемь на одной половине, значит, восемь на другой. Вот глянь чертеж, без него не понять тебе.

Я взял в руки протянутый мне лист ватмана. Зеленцов стал водить по нему пальцем.

— Вот общий вид конструкции. Вот штурвал управления. Вот штурвал глубины. Вот трос. Электротягачами плуг тащили с одного края до другого — за машиной оставалось восемь борозд, пропаханных первыми восемью лемехами. Потом конструкция поворачивалась на балансирной оси. Вот она, в самом центре эта ось, смотри. И в землю вонзались другие восемь лемехов — возвратного движения. Плуг ходил по полю, как челнок, понятно?

— Теперь вроде понятно, — не особо твердо ответил я.

— Я сам, честно сказать, не сразу скумекал что

к чему. По отрывочным, кое-где найденным данным сводил концы с концами.

Я еще раз внимательно взгляделся в чертеж, похвалил его. Зеленцову это пришлось по душе. Довольный, он продолжал, я слушал.

Перед моим мысленным взором постепенно вырисовывалась довольно четкая картина.

...Ранним октябрьским утром машина Владимира Ильича появилась со стороны Дмитровского тракта, быстро приблизилась к полю, где шли испытания. Вместе с Лениным к людям, склонившимся над первыми бороздами, пропаханными в земле Бутырского хутора, подошли Калинин, Надежда Константиновна и сестра Ильича — Мария Ильинична. Работа на несколько минут приостановилась. Ленин представил испытателям своих спутников:

— Знакомьтесь, главные мои консультанты и советчики по многим вопросам. А товарищ Калинин в данном случае — главный из главных. Что скажете, Михаил Иванович? Ваше крестьянское слово первое.

— Рабоче-крестьянское, — спрятав улыбку в усах, уточнил Калинин.

— Прекрасная поправка! — воскликнул Ильич. — Итак, что скажете, дорогой Михаил Иванович?

Калинин нагнулся, поднял горсть вывернутой плугом земли, взвесил ее на ладони, процедил через пальцы.

Ленин внимательно смотрел на Калинина, тот, понимая, что от его ответа зависит многое, не спешил с выводом. Снова и снова нагибался к сырой земле, подносил ее к самым глазам, казалось, изучая каждую песчинку. Потом отвел Ленина чуть в сторону. Они несколько минут разговаривали один на один, наконец одобрительно закивали головами.

— Хорошая, стало быть, пахота, Владимир Ильич? — не вытерпев, громко спросил кто-то из испытателей.

— Хорошая, — ответил Ленин, — придраться не к чему. Так Михаил Иванович считает, от имени крестьян говорит, и я с ним согласен. Теперь от рабочего класса пусть скажет.

Калинин и Ленин вплотную подошли к электроплугу, застывшему в той позиции, в какой застал его приезд гостей.

Михаил Иванович попросил, чтобы плуг поработал еще немного. Вновь загудели лебедки, натужно за-

скрипели тросы, готовые вот-вот оборваться. Но не оборвались, словно понимали ответственность момента. Через несколько минут по сигналу Ленина пахота была приостановлена. Приехавшие принялись рассматривать сложную конструкцию. Особенно внимательным был Калинин.

— Вы уж извините меня,— говорил он,— русский человек любит все рукой потрогать.

Он буквально обшарил все узлы машины. Ленин, дождавшись конца осмотра, сказал:

— Итак, еще раз ваше слово, Михаил Иванович.

Калинин и в этом случае с ответом не торопился. Долго оглаживал детали машины, заглядывал под поднятую на сорок пять градусов ее половину — там можно было хорошо рассмотреть сверкавшие острые сошники. И опять все, кто стояли вокруг, почувствовали, что и тут претензий вроде бы не предвидится. Так и вышло. Ленин с Калининным тихо посовещались между собой минуту-другую, потом Владимир Ильич, обращаясь к собравшимся, подвел результаты того совещания:

— И со стороны рабочего класса одобряется! Конечно, это только начало, но начало обнадеживающее. Первый опыт удался, однако отнесемся к нему именно как к самому первому опыту. О дальнейшем подумаем. Вполне можно допустить, что электропахота будет особенно эффективной на больших просторах России, а не на таком крохотном клочке земли. Тут и развернуться-то трудно: только успевай менять позицию машины. Вы согласны с нами?

— Согласны, Владимир Ильич,— негромко, но внятно сказал кто-то из испытателей.— Нам ваше одобрение нужно было. Мы его получили, это многого стоит.

Ленин удовлетворенно зачерпнул пригоршню земли и размашисто швырнул ее перед собой, как сеятель швыряет зерна.

Перед тем как покинуть поле, где проводились испытания, Владимир Ильич крепко пожал руку каждому рабочему, каждому инженеру, каждого ободрил:

— Все хорошо будет, уверяю вас!..

— Похоже на правду? — неожиданно прервал свой рассказ Зеленцов и поглядел на меня внимательно, будто я мог усомниться хоть в одном его слове.

— То, что похоже на правду, чаще всего и есть сама правда,— ответил я.— Такова моя точка зрения.

— Лично я уверен,— сказал Зеленцов,— что именно так все и было, и иначе быть не могло, в общем целом.

На этом мы расстались. Я всю ночь под шум осеннего дождя думал о нашем разговоре. На следующий день мне предстояло закончить дачный сезон и отправиться в город на полуторке, которую обещали прислать с работы. Перед отъездом, когда прибыла машина, пошел попрощаться с соседом. Дело было под самый вечер, смеркаться начало. В доме Зеленцова не оказалось. Не нашел я его и в огороде. Кто-то из проходивших мимо, узнав, что я разыскиваю «романтика», посоветовал мне заглянуть в сарай за домом:

— Он любит там копошиться еще больше, чем в огороде.

Из сарая до меня донеслись какие-то звуки. Обе половинки железных ворот были притворены, но не очень плотно — из их узкого створа вырвался наружу размытый серым туманом неяркий свет.

— Можно? — робко спросил я, приоткрывая одну из половинок ворот.

Зеленцов смутился, но только на одно мгновение:

— А, это ты!

— Прощаться зашел, в Москву уезжаю. Всю ночь дождь лунил пополам со снегом. Заоктябрило как следует. Может, сообща двинемся? Место в машине найдется.

— Заходи, поговорим,— услышал я глухой, простуженный голос соседа.— У меня еще дел тут невпроворот.

Я вошел, но тут же дорогу мне преградило какое-то сооружение, немного похожее на комбайн, но в уменьшенном виде.

— Заходи, заходи смелей, только не зашибись, не поранься. Темный ты человек, городской,— повторил Зеленцов сказанную вчера фразу.

С этими словами сосед возник передо мной. Вид у него был таинственный. В его руках на металлической дужке раскачивался старенький керосиновый фонарь «летучая мышь». Выкручивая фитиль до максимума, Зеленцов восклицал:

— Узнаешь? Или нет? Вот штурвал управления. Вот штурвал глубины. Вот балансирная ось. А вот тебе и лемеха — один, второй, третий...

Я не верил своим глазам. Сосед спокойно, обстоятельно продолжал растолковывать:

— В натуральную величину стряпаю. Будь моя воля, я бы штучку эту для всеобщего обозрения выставил. На Бутырском хуторе, на той самой земле! Модель, но более-менее точная получается. А лемеха острее любой сабли, даже той, про которую в статейке напечатано. И сталь, доложу тебе, что надо! Не отличишь от той, Бонапартовой. Сам ковал, сам калил, сам затачивал. Скажи там в Москве кому следует. Пусть приедут, посмотрят.

Помолчал и добавил:

— Недельки через полторы, в общем целом.

ТРОПИНКА

Я часто живу в деревне в одном из самых живописных уголков средней полосы России.

...Чистые речки, задумчивые зеленые озера, лесные поляны, до краев наполненные солнцем, грибами и земляникой. Есть где побродить, где остаться наедине с самим собой, есть что показать приезжему, еще не бывавшему здесь человеку.

И когда ко мне нагрянет в гости кто-нибудь из друзей, я немедленно тащу его в эти леса, в эти поля, к этим чистым и светлым родникам, будто с гордостью показываю ему свой собственный дом, где все еще не обжито, но все уже дышит теплом настоящего человеческого счастья.

...По дну таинственного оврага вечно куда-то торопится студеная Вертушинка. На опушке дремучего Глуховского леса возвышается знаменитое кресло Берендея — семейство берез, выросших из одного корня и образовавших стволами гигантский трон сказочного царя. В зарослях ивняка за Ликановым логом в любой день и час можно встретить лосей, гордо несущих на высоко вскинутых головах короны роскошных рогов.

Но больше всего я люблю показывать новому человеку даже не эти достопримечательности, а одну юркую лесную тропинку, которая мне дороже всех красот природы.

Она бежит напрямик, через овраги и болота, перепрыгивая через сваленные грозой стволы старых деревьев, крадется по шатким жердочкам, повисшим над глубокой водой лосиного водояма, скачет на одной ножке по плоским камешкам Бабьего ручья, скользит по зыбкому льду первых заморозков, вязнет в глубоких сугробах января, топает по синим лужам марта.

В жару и в холод, днем и ночью бежит тропинка, аукаясь и рассынаясь смехом, играя в чехарду с разбросанными в лесу валунами, затеявая «салочки» с березками и кленами. Бежит и похлопывает ладошками по звенящим стволам деревьев. На секунду остановится, как бы прислушиваясь к лесной тишине, перекликнется с кукушкой разок-другой — и снова в путь: с горки на горку, с камня на камень...

Эта тропинка связала между собой две деревни — Глухово и Вертушино.

Есть и другие дороги для тех, кому надо понасть из одной деревни в другую. Можно, например, добраться проселком — пешком или на попутной полуторке (стоит только вовремя «голоснуть», чтобы шофер успел остановить машину). Но трудно найти путь из Глухова в Вертушино удобнее и лучше, чем эта веселая скачущая тропинка. Протоптали ее глуховские ребята, которые каждое утро торопятся в школу, расположенную в Вертушине.

Всегда торопятся, всегда опаздывают и всегда приходят вовремя...

Вот и сегодня издалека можно услышать над лесом гомон их быстрой стайки. Они спешат, наверное, снова опаздывают и, конечно, опять прибегут вместе со звонком. За плечами у них туго набитый книжками ранец, на шее пионерский галстук цвета зари, над головою ветер шелестит листвой осенних берез и кленов.

Сейчас ребята войдут в школу, сядут за парты, раскроют книжки, и молодой учитель будет рассказывать им о том, что прямая линия — это кратчайшее расстояние между двумя точками.

Я могу поручиться — это совершенно верно: на узкой лесной тропинке, ведущей из Глухова в Вертушино, есть следы и моих башмаков. Между нашими деревнями нет пути короче и прямее, нет пути прекраснее!..

ХУДОЖНИК

Мы с другом решили провести отпуск, путешествуя по дорогам, исхоженным в годы войны.

Километрах в ста сорока от Москвы остановились в одной деревне возле памятника погибшим воинам,

стали фотографировать. В этот момент к нам подошли две заплаканные женщины — одна совсем старая, другая помоложе — и робко заговорили:

— У Грачевых в доме покойник. Последний мужик в семье. Сделайте уважение, снимите на карточку. Обычай у нас такой. Вам нетрудно, а бабам долгая память будет.

Все четверо мы молча побрели к избе Грачевых, возле которой уже стояла тесная толпа людей. Еще издали услышали чей-то надсадный, хриплый плач.

Мы вошли в дом. Народу было так много, что мы с трудом пробрались к столу, где, убранный цветами, лежал огромный, широкий в кости старик. Подслеповатые окошки бросали в избу два таких жидких и прозрачных луча, что они не рассеивались, а только подчеркивали царивший тут полумрак.

Заметив нашу растерянность, кто-то объяснил нам, что вчера здесь была сильная гроза и молния разбила электростанцию, света нет во всем районе.

— Это понятно, — шепнул мне тихонько Олег, — но снимать в такой темноте нельзя, а магния у меня с собой нет.

— Ты все-таки попробуй. Нельзя обижать людей. А может, нарисуешь? Считался ведь ты в школе когда-то художником.

— Вот именно — считался, — вздохнул Олег и зябко поежился.

Но делать было нечего. Мой друг достал из кармана блокнот, карандаш и, пробравшись к центру избы, начал рисовать.

Когда набросок был сделан, Олег, записав адрес Грачевых, стал прощаться.

— Дома закончу работу, пришлю. Здесь у меня ни красок, ни кистей. Вы уж извините.

Мы уехали.

— Никогда еще не доводилось писать мне таких портретов, — говорил Олег. — Ты понимаешь, рисую, а сам все думаю: вот похоронят они его, кое-как с бедою своей справятся, а через месяц или через два придет к ним по почте моя мазня, и как ножом по сердцу — снова эти венки, эти нелепые бумажные цветы...

Слушая Олега, я отчетливо представил себе, с каким чувством будут ждать его посылку в доме Грачевых, и мне стало как-то не по себе.

— А может, не рисовать, вовсе бросить эту затею? И тебе проще, и им легче.

— Нет. Это будет еще хуже. Раз обещали, бабы ждать не перестанут, ты ведь их знаешь. Вот и растянется горе их.

Всю дорогу мысль о Грачеве не оставляла Олега. Где бы мы ни ехали, куда бы ни шли, все про старика вспоминал.

— Соседи сказали, он тоже воевал в Белоруссии. Наш землячок, получается! Наверно, где-то тут через Березину чапал. А вот здесь «тигров» лупил, а здесь лежал под бомбежкой...

Вернувшись в Москву, мы расстались с Олегом. Каждый занялся своим делом. Встретились только зимой.

Когда после долгой разлуки переступил я порог Олегова дома, разговор у нас сам собою сразу же о Грачеве зашел:

— Ну как? Нарисовал? Чем закончилась вся эта история?

— Нарисовал. И даже в ответ письмо получил из деревни.

Олег подошел к столу, порылся в ящике.

— На, почитай. Очень интересно.

Я развернул клочок исписанной карандашом бумаги и прочел:

«Спасибо вам, дорогой товарищ Олег Николаевич. От всей семьи, от всей деревни нашей низкий поклон вам. Присланный вами портрет у нас в клубе повесили. Люди со всей округи идут посмотреть нашего батю...»

Оторвавшись от письма, я с недоумением поглядел Олегу в глаза:

— Что же ты нарисовал им такое?

Он взял меня за локоть и повел в другую комнату, где стоял его рабочий стол.

— Вот, взгляни на эскиз. Себе на память оставил.

С прибитого к стене куска сурового полотна прямо на меня шагал могучий веселый старик. Развернув плечи, он шел по пояс в бушующей золотом ржи. Две медали на его груди — за войну и за труд — сверкали так ярко и были выписаны так отчетливо, что казалось — они слегка позвякивают в такт широкому шагу хозяина.

На высоком чистом лбу Грачева горели лучи еще совсем теплого осеннего солнца.

Приехав в Орджоникидзе, я остановился у Азамата Агузарова — у меня было письмо к нему от одного нашего общего знакомого. Хозяин оказался человеком радушным и гостеприимным.

— Будешь доволен, — сказал Азамат в первые же минуты нашего знакомства. — А главное — Казбек рядом!

— А где тут у тебя Казбек? — Я подошел к распахнутому окну.

— Сначала скажи: ты слыхал что-нибудь о Казбеке?

Я пробормотал какие-то еще в школе заученные слова, хотел стихи прочесть, но горец меня перебил с улыбкой:

— Это все верно, а знаешь ты, например, сколько в нем силы? Друзья к Казбеку идут со всех сторон, враги летят от него во все стороны. И это не предание, не легенда какая-нибудь. Я всю жизнь на Кавказе прожил. Был тут и во время войны — ополченцем. Окопы рыли мы день и ночь — до сих пор мозоли, потрогай! Только не дошел до наших окопов немец. Издалека поглядел и назад! Мы даже растерялись немного. Что, думаем, затевает такое? Но оглянулись и видим — за нами Казбек! Это все равно что Волга за русским человеком. Понимаешь?

— Так тем более показывай скорее свой Казбек!

— Казбек рано утром бывает. Да и то не каждый раз — только в хорошую погоду. Разбужу тебя как-нибудь, посмотришь.

Я думал, что хозяин тут же забыл о нашем разговоре, и сам скоро перестал вспоминать о Казбеке: дел было много, на романтику в командировочном удостоверении время не запланировано.

Все дни я бегал по городу, а вечерами у аппарата редакции местной газеты караулил Москву. Возвращался домой совсем поздно, когда у Агузаровых уже все спали. Тихонько пробирался в отведенную мне комнатенку, всякий раз находил на одном и том же месте специально для меня приготовленный шашлык, но есть уже не мог — не раздеваясь валился на узкую ковровую кушетку.

Однажды, когда, намаявшись за день, я спал особенно крепко, хозяин разбудил меня на рассвете:

— Вставай, дорогой. Казбек смотреть будешь!..

Спросонья мне показалось, что Азамат смеется, и я даже немного обиделся:

— Нашел время шутить!

Но Азамат стоял надо мною с совершенно серьезным видом.

— Вставай, а то поздно будет. Казбек ждать не любит.

Проклиная в душе кавказскую восторженность, я нехотя поднялся.

Как я и предполагал, никакого Казбека не было и в помине.

— Ну где же он, твой Казбек?

— Смотри хорошо, сейчас будет.

Хозяин подошел ко мне так близко, что я почувствовал на своем плече его горячее дыхание.

— Смотри вот сюда. Это он!..

Я перегнулся через подоконник и вздрогнул от неожиданности. В сиреневой глубине неба действительно росла коническая громада горы.

Вот по снежной вершине скользнул первый солнечный луч, и великан из холодного вдруг стал раскаленным, по нему, как по расплавленному металлу, побежали быстрые синие струйки.

Я зажмурился.

А когда через несколько мгновений снова раскрыл глаза, Казбек уже невозможно было узнать: из соломенно-желтого он сделался пепельным и формою стал похож на клюв гигантского орла, взмывшего в ветреном небе утра.

— Ну как? — гордо и торжественно спросил Азамат.

Я хотел было что-то ответить, но Казбек вдруг распростер над нами могучие белые крылья, бесшумно взмахнул ими и... исчез.

— Говорил же тебе, торопись. Теперь иди домой. До подходящего случая.

Но я уж больше не уснул в то утро. А на следующее сам встал очень рано, подошел к окошку, да без толку — сплошная стена облаков стояла между мной и каменным исполином.

— А, понравился тебе наш Казбек! — услышал я знакомый голос откуда-то снизу.

Оказалось, Азамат уже не спал. Подвязывая в саду

виноградные лозы, он как бы ненароком поглядывал в ту сторону, где вчера Казбек показался.

Я понял — Азамату очень хотелось еще хоть разок показать мне гору во всей ее красоте. Но небо по утрам просыпалось все более сумрачным.

Казалось, так и уеду, не повидавшись больше с каменным чудом Кавказа. Но как-то утром над виноградниками, над домом Азамата, над всем городом, как гром, прокатился торжественный крик, возвещавший о том, что Казбек появился на горизонте:

— Это он, это он!..

Вы, наверное, уже догадались, что это не Азамат кричал на всю округу ранним утром.

Если б Казбек в довершение ко всем своим достоинствам обладал еще и слухом, он всей громадой своей вздрогнул бы в ту минуту от голоса вашего покорного слуги:

— Эй, кто еще спит в доме? Вставайте все! Казбек смотреть будем!..

ДОРОГА

Это было в тысяча девятьсот... Впрочем, не так уж существенно, когда именно. Важно, что это не выдумки, так уверил меня старик дагестанец, рассказавший, как ехал он однажды в молодости из Гумара в Чумчи по узкой горной тропе, на которой всадники старались не встречаться друг с другом.

— Это одна из самых опасных дорог в горах. То слева пропасть, то справа, — вздохнул старик и задумался.

Как все старые люди, он медлил с рассказом, а мне уже не терпелось:

— Вам, наверно, попадался когда-нибудь встречный там?

— Да. Один раз случилось.

— Ну и как же вы?

— Я на буланом ехал. Он на гнедом.

— Ну-ну! — не очень вежливо поторопил я своего собеседника.

— Если два всадника над пропастью съедутся, один должен уступить дорогу другому. Таков древний и мудрый обычай горцев.

История становилась все интересней, но из старика приходилось вытягивать буквально по слову.

— Кто же из вас уступил кому? Вы или он?

— Уступают тому, у кого более важное дело.

— У кого ж из вас важней было?

— Он к другу своему торопился. Железо вез для подков.

— А вы?

— Я на свадьбу к брату спешил.

— Значит, один торопился, другой спешил? Какая разница? Как решили в конце концов?

— Я ему предоставил решать — он намного старше был. У нас в горах все старший решает.

— Прекрасно. Как же он поступил?

— Он сказал: «Я старший, слушай меня. Приказываю, говорит, тебе ехать на свадьбу к брату. Свадьба всегда есть свадьба — самое важное дело на земле после того, когда виноград уже собран. Одним словом, тебе дорога!»

— И что же? — опять не слишком деликатно перебил я своего собеседника.

— Сам понимаешь. Одним добрым конем в тот день на свете меньше стало. Пришлось сбросить ему своего гнедого в пропасть.

— Как сбросить?

— Я же сказал тебе: место узкое, двоим никак не разъехаться, будь они самыми трезвыми людьми на всем Кавказе.

Поняв наконец, в чем дело, я умолк, откровенно говоря, не зная, верить всему этому или не верить.

Старик достал кожаный кисет, и мы закурили. Крепкий табак сделал на минуту и меня чуть ли не горцем, и я спросил в тон дагестанцу:

— Успели на свадьбу?

— Успел. Буланый все слышал, все понял, и к утру я был уже на месте.

Он посмотрел куда-то вперед, за дымку горизонта.

— А уступившего вам дорогу отблагодарили потом?

— За полвека ни разу не встретил его нигде. Горы! Но за мною не пропадет! — Старик улыбнулся, и улыбка на один миг вдруг разгладила все его бесчисленные и глубокие, как пропасти, морщины.

Рассказ был окончен. Я молча сидел против дагестанца и глядел на него словно на какое-то чудо. Он, поняв мое состояние, заговорил первым:

Ну что? Поправился тебе наш обычай? Только честно давай, душой не криви.

Я ответил совершенно честно:

— Поправился. Жестокий, конечно, но в общем-то справедливый, наверно, обычай. А уж красивый-то наверняка.

— Почему жестокий? Только справедливый! Ты хорошо подумай, дорогой. Сто раз подумай.

Я думал долго. Несколько дней, потом несколько лет. И только сегодня, получив телеграмму от любимой, понял наконец, как прекрасен обычай горцев!

Правда, ехать мне пришлось не в горах, не верхом, всего лишь на поезде и пока что не на свадьбу, но торопился я очень. И все пятьсот километров под стук колес вспоминал рассказ дагестанца. А сам всю дорогу неотрывно смотрел в окно — нет ли встречного поезда: путь из Онежек в Дубну до сих пор у нас однокольный...

ПЕТУХИ

С Ниной Жвания я познакомился у своих друзей на подмосковной даче прошлым летом. Нина была художницей и каждое утро отправлялась рисовать пейзажи. Мне с первого же дня пришлось по душе увлечение грузинской гостыи.

Нина выходила из дому еще по росе. Я бодро вышагивал следом, помогая тащить громоздкий брезентовый зонтик, раскладную скамеечку о трех ножках, желтый этюдник, до отказа набитый кисточками и красками.

Рисовала Нина отлично. Беззаботно и весело слоняясь по лесу, я бродил вокруг того места, где располагалась художница, и все время заглядывал через ее плечо на березку, которая под быстрой кистью с каждой минутой становилась все более прекрасной.

— Вам хорошо здесь? — спросил я как-то Нину, залюбовавшись ее работой.

— О! У вас тут чудесная прелесть! — воскликнула художница и вдруг удивленно прислушалась к собственным словам. — Что это я сказала такое? Чудесная прелесть?

— Да, именно так и сказали.

Нина сокрушенно вздохнула:

— Как плохо я говорю по-русски! Такого масла масляного вам, конечно, еще не приходилось слышать?

— Я всю жизнь занимаюсь языком, но впервые понял, что тавтология, в сущности, прекрасная вещь. Просто прелесть!

— Чудесная?

— Чудесная прелесть!

Мы расхохотались так громко, что лес вокруг зашумел, зааукал.

— А что же вам нравится больше всего?

Нина смотрела на меня и молчала.

— Ну, не стесняйтесь, не стесняйтесь, ведь мы же свои люди...

— «...И пусть нам общим памятником будет построенный в боях социализм».

— Вот видите, говорите, что плохо знаете русский, а русского поэта наизусть помните.

— Маяковский все-таки родился в Багдади.

— А вы?

— Я — в Вардзии.

— Это, наверно, очень красивое место?

— Очень.

— Еще красивей Подмосковья?

— Мне трудно сравнивать. Тут все так живописно, так поэтично и ново. А березы, березы!..

— Они-то больше всего и понравились?

— Они, пожалуй, больше всего.

— А еще?

— Смеяться не будете?

— Над чем смеяться? Не буду, конечно.

— Тогда прислушайтесь.

— Я ничего не слышу такого.

— Прислушайтесь как следует.

— Неужели кузнечики?

— Кузнечики тоже хороши. Но дальше, дальше, за лесом... Слышите?

Я наярл слух, но ничего особенного так и не смог расслышать.

— Петухи, петухи! — не выдержала Нина.

— Петухи?!

— Да! Это, несомненно, одна из самых чудесных прелестей Подмосковья.

Я с трудом уловил еле слышимые всплески утренней петушиной песни.

— А ведь в самом деле красиво.

— Правда? Это же настоящая музыка! Жаль, что этого нарисовать невозможно.

— Да, нарисовать это, наверно, трудно. Ну вот видите, я совсем не смеюсь над вами.

— Это потому, что самого смешного я вам еще не сказала.

— Чего же именно?

— Таких красивых петухов можно услышать еще только знаете где?

— Не знаю.

Нина вздохнула, взяла с меня обещание, что ни в коем случае не обижусь, и наконец убежденно сказала:

— В Вардзии! Уверяю вас, только в Вардзии так божественно поют петухи по утрам...

КОНЬ

Веселый, огромный, занимающий почти полнеба конь стоял у меня под окном. Я давно любовался им, но долгое время не хотел этого показывать. Все мне чудилось: узнают люди, что конь живет только в моем воображении, — посмеются.

Особенно побаивался я одного соседа по дому, старика. Его окна тоже были нацелены прямо на мохнатое облако ракиты, в котором нежданно-негаданно пригрезились мне черты красавца коня — точь-в-точь как тот, что запомнился мне с самого детства. Орёлик его звали.

Как-то я заметил, однако, что и старик сидит, уставившись слезящимися, очевидно ничего уже не различающими глазами в серебристо-зеленые ракитовые ветви, и думает, думает о чем-то своем, заветном. О чем? Может, тоже молодость вспоминает? Может, сквозь шелест листвы слышатся и ему голоса далекого детства?..

А конь все стоял и стоял, все рыл копытами землю, которая, впрочем, тоже была скорее всего плодом моей фантазии; не видно земли много лет под сплошным серым асфальтом нашей улицы.

И все-таки конь был великолепен! Ветер расчесывал его волнистую гриву, солнце сияло на его крутых, чуть подрагивавших боках, глаза улыбались, губы двигались — ну совершеннейший Орёлик!

Мне было сладко следить за тем, как задумчиво и лениво жевал он облака и звезды и звезды и облака...

Дня не проходило, чтобы не полюбовался я сказочным конем, не провел с ним наедине хоть несколько коротких минут.

За этим занятием и застал меня как-то человек, которого я больше всего боялся. Подошел ко мне на улице неслышным стариковским шагом, когда я думал, что никого поблизости нет, и спросил:

— Вдыхаешь?

Я вздрогнул от неожиданности.

— Нет... Не вдыхаю, а что?

— Да так, ничего. А я вот вдыхаю и день, и ночь.

— Что такое? Обидел кто-нибудь?

— Никто меня не обидел. На ракиту эту вот гляну — душа и займется.

Я не знал, что ответить, как поступить.

— А ты ничего не замечал? Признавайся.

— Нет, — солгал почему-то я. — А вы?

— А я, как бы тебе сказать, молодые годы свои вспомнил. Эскадрон свой, буланого своего. Одним словом, не дерево — конь у меня под окном! Понял? Приглядись-ка. И ушами прыдет, и губой шевелит, настоящий Турчак — и только!

Я поглядел на дерево, покрутил головой, будто выбирая лучший угол зрения. Наконец воскликнул:

— А ведь верно, конь! Ишь ты — морда, и грива, и вообще... Как, вы говорите, его звать-то?

— Турчак.

— Турчак? Очень странное имя.

Старик рассердился:

— Да что ты понимаешь в настоящих конях! Запомни, мил человек: в настоящих!

Именно с этого дня стал разглядывать я своего Орёлика уже без всякой утайки. Люди шли мимо, а я стоял и глядел сколько душа запросит.

Тем более что у моего Орёлика появился напарник — Турчак. Они теперь двое поджидали меня под окном.

Задумчиво плыли над ними облака и звезды. Но уже не только звезды и облака моего детства — тревожное, наискось раскроенное саблями небо Каховки и Перекопа полыхало над моей головой, когда я глядел на развевающуюся по ветру серебристо-зеленую гриву ракиты.

СТАРЫЙ ДУБ

Несчастья одно за другим сваливались на плечи старого дуба. Из войны он вышел инвалидом первой группы: ствол его был исклеван пулями, тяжелая корона, срезанная не то миной, не то снарядом, валялась поблизости комлем книзу, так что издали можно было подумать — растет подле старого новый дуб. Но это только казалось. Скоро листья отшибленной кроны завяли, сделались жестяными и противно заскрежетали на ветру.

Дерево еще продолжало борьбу, как вдруг новая гроза пронеслась над ним. Гроза в полном смысле этого слова.

Среди бела дня небо вдруг почернело, опустилось, загромыхало, и раскроенный надвое могучим ударом ствол стал огромной, расщепившейся почти до самой земли рогатиной.

Эта последняя рана была смертельной, но люди, жившие по соседству со старым дубом и за войну вдоволь насмотревшиеся в глаза смерти, не хотели в это верить. Они притащили проволоку, веревки, жерди, вооружились баграми и лестницами. Дуб обнесли лесами.

Кто-то из суетившихся вокруг него то и дело покрикивал:

— Давай, давай! Спасай вояку!

Кто-то поддакивал:

— Склеим еще, оживет! Ну-ка!

Незнакомый человек мог, пожалуй, подумать, что тут идет строительство силосной башни. Во всяком случае, вряд ли кто-нибудь из посторонних сразу догадался бы о том, что здесь происходит.

Люди, только что вышедшие из войны, сами еще не залечившие как следует ран, боролись за спасение старого дуба, и каждый старался изо всех сил, у каждого был свой план, своя идея.

Пока одни туго-натуго стягивали большие и малые трещины, другие конопатили их, шпаклевали, третьи густо замазывали образовавшиеся швы корабельным суриком, целую банку которого невесть откуда прикатил к дубу бывший моряк Малентьев.

Но, несмотря на все это, раненый все-таки умирал...

Казалось, уже никто и ничто не сможет ему помочь. Он, вероятно, так и ушел бы от нас — тихо и бес-

следно. Распилили бы дуб на дрова. Постепенно все трудней и трудней было бы повстречать в этих краях человека, помнившего историю старого дуба.

Только удивительно мудро и тонко кое-что устроено на нашей земле.

Проснулся я как-то утром, подошел к распахнутому окну и вижу — под искалеченным дубом ходит мальчишка лет семи-восьми, не больше. Босой, оборванный, чумазый. Ходит, нагибается, что-то собирает в траве.

— Эй, приятель, что ты там ищешь?

— Желуди.

— Желуди? Зачем тебе?

— А так... Может, завтра в школу снесу...

Пока я спускался, чтобы поговорить с ним, его и след простыл.

В глубокой задумчивости стоял я под деревом, гремевшим над моей головой красной жестью последней листвы. Потом тоже нагнулся, поднял несколько нагретых на осеннем солнце желудей, положил их в карман.

А старый дуб, видно, понял нас, меня и мальчонку, — так и сыпал напоследок свои все-таки созревшие плоды, так и сыпал...

Бронзово-золотой становилась земля под их щедрым тяжелым дождем.

ТЕЛЕГРАММА

Бывают весны просто веселые. Бывают веселые и задумчивые. Идешь такой весной по лесу и дивишься — март уже наступил, пора бы птицам петь, а они молча раскачиваются на длинных упругих ветвях берез.

Такая весна была, например, в прошлом году.

Какая нынче получится? Пока трудно сказать. До весны еще далеко, но, очутившись в лесу, я уже в феврале прислушиваюсь к его движениям и шорохам.

Узкая лесная тропка скрипит под ногами, как половица в новом доме, и чтобы попытаться уловить первые весенние звуки леса, надо остановиться и некоторое время постоять не двигаясь.

Часто прохожу я этой тропкой — утром и вечером.

И все напрягаю слух, ловлю себя на мысли о том, что весна в этом году будет особенная.

Правда, птицы все еще молчат, но поселок наш говорит с самого раннего утра на все более удивительных языках и наречиях. И о чем только не заводит он разговоров!

Где-то глухо и деловито бормочет неутомимая кузница. Новую песню разучивает клуб. Беспрерывно щебечет только что отстроенная почта.

Почтовое отделение разместилось в маленьком деревянном домике на самом краю поселка. Когда идешь мимо, то через распахнутые форточки слышишь трели телефонных звонков и упругие удары штемпельных молоточков.

Скоро на почте будет установлен и телеграфный аппарат, а пока что тексты телеграмм передаются по телефону на какую-то промежуточную станцию. Девушка, прильнув к трубке, громко, внятно, по слогам, чтобы не напутать, читает одну телеграмму за другой. И часто чуть не весь лес становится невольным свидетелем разговора человеческих сердец. Чего только не услышит он, к каким только страстям не прикоснется!

Одна телеграмма быстрее другой, как белка, бежит где-то по самым верхушкам деревьев:

«Возвращайся немедленно, жду...»

«Поздравляю днем рождения, целую, желаю счастья...»

«Буду шестнадцатого четырнадцатым, вагон шесть...»

«Срочно оформляй отпуск, приезжай, хочу тебя видеть...»

Теперь мне понятно, почему здесь так долго не поют птицы — молча раскачиваются на ветвях и слушают. В такие минуты им так же, как и мне, наверно, кажется, что вся Руза влюблена, вся ревнует, вся ждет и встречает, вся клянется в верности и верна. Ей все меньше и меньше идет это название — Старая Руза!

Сейчас зайду на почту и тоже дам телеграмму. Пусть продиктуют ее срочно, непременно при мне.

— Девушка, можно передать «молнию» в Москву?

Через минуту птицы, задумчиво раскачиваясь на ветвях, снова слушают веселый девичий голосок:

— «Срочно приезжай, я жду, я люблю тебя!..»

Убедившись в том, что моя телеграмма передана точно, без каких-либо искажений и сокращений, бережно свертываю и прячу квитанцию, выхожу на ули-

цу и снова углубляюсь в лес. Меня нагоняют чьи-то замечательные слова:

— «Встречай, вылетаю самолетом...»

Может быть, это мне отвечают так быстро?

Ответят и мне! Не напрасно же, в самом деле, у нас в поселке почту построили.

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРАБЛИК

Бакенщик Мокшин доживал свой век на берегу когда-то тихой, уютной, а ныне становившейся все более беспокойной Зырянки. Крохотный, шоколадного цвета домик Мокшина прилепился в подъярье, недалеко от устья, где река неожиданно сужалась, и образное название местечка — Журавлиное горло — было удивительно точным.

Бакенщик проработал тут почти пятьдесят лет, и когда начальство вдруг предложило ему перебазироваться в верховье, отказался наотрез и с обидой, хотя по всему было видно — трудно старому справляться на «бойком перекрестке».

Внешне жизнь Мокшина мало изменилась с тех пор, как по Зырянке засновали стремительные теплоходы, как прокатилось по ее берегам могучее ржание сирен, но внутренне он весь как-то напрягся, сосредоточился и всякий раз сокрушенно качал головой, завидев милый сердцу древний буксиришко «Онега» или еще более стародавний «Касимов», слышав, как раздумчиво перебирают они волну плицами медленных колес.

Никому не было известно в точности, о чем он думает в такие минуты, но догадаться об этом и как-то понять бакенщика было можно.

Один знакомый инженер в Коломне рассказал мне, что в тот день, когда их паровозостроительный завод перешел на выпуск тепловозов и последний «СУ», вздыхая и дымя, покидал заводской двор, многие старые рабочие сняли шапки и глядели ему вслед со слезами на глазах.

— Это не паровоз уходил — целая эпоха отчаливала, — резюмировал инженер.

Я часто вспоминал об этом разговоре, наблюдая за своим новым знакомым Мокшиным. Застану его в тот

момент, когда он печальным взором провожает какую-нибудь зарывшуюся посом в воду посудину, и про себя пожалею бакенщика. Иногда даже подсяду к нему, похлопаю по плечу, скажу словами инженера-коломенца:

— Переживаешь? Сочувствую. Эпоха уходит целая...

Не сразу догадался я, что старик такого терпеть не мог. Один раз его просто передернуло от моих неуместных утешений.

— Да что вы все, сговорились, что ли? Эпоха, эпоха!.. Без вас все понятно.

Но хотел этого Мокшин или нет, а время колесных тихоходов действительно кончалось. На смену ему все уверенней заступал другой век — век иных скоростей и мощностей, и еще никто не знал толком, какие сюрпризы готовил он в своих доках и проектных мастерских.

Старое все гуще перемешивалось на Зырянке с новым, с наиновейшим. Латанные-перелатанные «Онеги» и «Касимовы» все чаще оставались за кормой судов на подводных крыльях, на воздушных подушках и еще бог знает на каких диковинных придумках атомного столетия. Пролетит, промчит на ракетной скорости какой-нибудь «Спутник» или, скажем, «Космос», Мокшин только вздрогнет, только седой головой поведет, а того уж и след простыл — одни белые буруны растут, ширятся, как инверсионный след самолета. Промчит, скроется в белесоватой дали, а за ним — чап-чап — невеличко суденышко, которому Мокшин, как доброму другу, помахнет рукой. Потом глянет на меня почти дружелюбно, будто уже совсем и забыл про нашу с ним перепалку, и вдруг проймет его лирическое настроение. Тут выяснится, что всю анкету любого старика буксира Мокшин помнит лучше, чем свою собственную. Он расскажет мне, как именовался «сей красавец» до семнадцатого года, чей он был, как беляков гонял и все такое прочее.

— Общество «Кавказ и Меркурий», конечно, не знаешь?

— Откуда мне?

— И «Самолет»?

— И «Самолет».

— А «По Волге»?

— И «По Волге» тоже.

— Ну вот. А я, братец, каждый пароход из-за косы, бывало, по голосу узнавал.

— А теперь?

— И теперь. Хоть года мои и выходят, не спутаю ни одного гудка во всем пароходстве.

— А насчет эпохи ты, Мокшин, все-таки зря обиделся. Я ведь просто так, не сердись.

Бакенщик ничего не ответит, лишь рукой махнет. Мне остается только гадать, какие слова проглотил он вместе с клубком махорочного дыма.

Недалеко от домика Мокшина прожил я почти целое лето. И все это время, когда позволяли дела, наблюдал за бакенщиком, за его работой, за тем, как внимательно глядел он из-под ладони на ползущие через Журавлиное горло допотопные лохани, на летящие во всю мощь «Спутники» и «Космосы».

Неожиданно наши встречи с Мокшиным прекратились. К старику привезли погостить внучонка из деревни, и все свободные часы бакенщик отдавал теперь ему. Я только издалека, с яра, видел их под окнами мокшинского домика. Мальчишке было года три, не больше, и старый не брал малого ни на рыбалку, которую так любил, ни к бакенам. Чаще всего дед мастерил внуку какие-то игрушки. Мне сверху не разглядеть было, какие именно, но я хорошо различал поблескивание охотничьего ножа на солнце, белую пену стружек и догадывался, что дед с внуком времени зря не теряют.

Выбрав как-то свободный час, я спустился к Мокшину. Картина, открывшаяся мне под окнами дома бакенщика, тронула меня до глубины души: целый флот кораблей всех видов и классов бороздил зеленое море травы палисадника! Мальчонка был в полнейшем восторге, он ползал среди игрушек, бережно переставлял их, придавая флоту какой-то особый, ему одному ведомый порядок.

Дед сидел на завалинке и, едва заметно кивнув мне, продолжал что-то прилежно строгать. Вид у него был сосредоточенный, серьезный, но не сердитый, как всегда. Березовое полешко ловко поворачивалось в его руках, подставляя быстрому, резко поблескивавшему на солнце лезвию ножа то одну, то другую боковину.

— А это, дед, чего получается? — уставился на новую игрушку внучонок.

— А это его вон спроси, — Мокшин глянул в мою сторону, — это больше по его специальности.

Еще раз посмотрев на дедову работу, я замер на месте от удивления — из вороха душистых стружек совершенно отчетливо вырисовывались контуры современного корабля, и не какого-нибудь, а... на подводных крыльях!

Я был удивлен, с какой точностью и технической грамотностью воспроизводил нож Мокшина красивые динамичные черты последнего чуда судостроения.

— Ну, теперь твоя душенька довольна? — блеснул на меня стеклами очков Мокшин.

Пока я подбирал слова восхищения, бакенщик поднял готовую модель над запрокинутой головой мальчонки, бережно сдул с корабля все до единой пылинки и рассмеялся.

— Эпоха — она, брат, для всех эпоха. Ясно? — Мокшин с гордым видом протянул игрушку ее законному владельцу: — Ну-ка, герой, спускай судно на воду. Звать его будем знаешь как? «Эпоха»! Слышишь? Э-по-ха!

— Эпоха, эпоха, эпоха!.. — подхватил мальчишка непонятное, но сразу почему-то понравившееся ему словечко и, пританцовывая, с деревянным корабликом в руках помчался вдоль забора.

В ТОЙ СТЕПИ...

Совхоз назвали «Комсомольцем». Более точного имени никто не мог бы для него придумать — из Москвы, Ленинграда, Киева приехали сюда парни и девчата с комсомольскими путевками в руках.

Сначала жили в палатках, в вагончиках. Потом огляделись, стали устраиваться всерьез и надолго. И вот уже ровные ряды саманных домиков вытянулись вдоль кипящего пшеницей клина поднятой целины.

Семь лет назад здесь не было ничего, кроме ветра и солнца. И спящая в ковылях земля сама не знала, что может она родить под этим ветром и под этим солнцем. И пришедшие сюда люди этого тоже толком еще не знали.

Тем, кому в год основания совхоза было по восемнадцать, тем и теперь всего-навсего по двадцать пять. Но есть тут народ и еще более молодой. Одному из самых юных жителей совхоза недавно исполнилось

семь лет. Это ровесница «Комсомольца» Люся Левашова.

У кого в семье есть дети, тот знает, сколько с ними счастья, сколько с ними забот. А в краю необжитом, далеком — тем более. Так и с девочкой Люсей. И хотя в совхозе любят Люсю и стараются при случае хоть чем-нибудь ее немножко побаловать, она, как и все здесь, живет жизнью и радостной, и суровой.

Даже игрушки, которые мастерит для Люси единственный старик «Комсомольца» пастух Чиграй, не такие, как у всех других детей на свете: то притащит ей грабли, сделанные из сломанной лыжной палки, то прикатит лопнувшую и списанную в расход бакелитовую шестеренку...

А осенью задала Люся задачу всему совхозу. Незаметно подошел к «Комсомольцу» седьмой сентябрь. Стали девочку собирать в школу. Кто букварь несет, кто тетрадку, а Чиграй даже ранец раздобыл где-то. Где он его откопал, неизвестно, только ранец как ранец — хоть и старенький, но совсем неплохой, чем-то похожий на самого пастуха, весь в черно-буро-желтой шерсти с проседью.

— Надевай, дочка! Лосевая вещь. До самой старости хватит!

Но когда экипировка Люси была полностью закончена, выяснилось, что ближайшая школа находится... за сорок километров.

Родители, трактористы Левашовы, не на шутку растерялись. Да и не только они.

Лишь пастух Чиграй, как всегда, был совершенно спокоен. Неожиданно исчезнув куда-то на два дня, вернулся веселый, важный, даже обычная, вразвалочку, стариковская походка его вдруг изменилась. Гордо и необыкновенно молодо прошагал он мимо саманных домиков «Комсомольца»...

Чуть не весь совхоз пришел в то сентябрьское утро в степь, к зеленому кургану, где впервые в жизни дал тормоз дальний, клокочущий паром поезд.

— А ну, где тут ва́ша Люся? Давайте ее сюда! — крикнул в толпу спрыгнувший с подножки проводник в высокой форменной фуражке. — Будьте спокойны, доставим прямо к звоночку!

Паровоз вздохнул, отстукал традиционную чечетку, и состав растворился в густом настое пыли, дыма и ковыля.

А вечером все свободные от работы жители совхоза опять пришли к тому кургану. И опять остановился в голой степи запыленный поезд.

— Получайте вашу Люсю! — еще из тамбура крикнула встречавшим девушка в фуражке с лакированным козырьком. — Первый учебный день кончился!

К зиме в совхозе начали строить школу.

Пройдет еще немного времени, и дальние поезда снова будут без задержки, на полной скорости, пересекать бескрайнюю степь. Но сейчас они два раза в сутки — утром и вечером — делают короткую передышку у «Комсомольца».

Нет здесь ни вокзала, ни перрона, ни даже самой обычной платформы. Распаленный в беге паровоз пускает белого барашка, поравнявшись с едва приметной скамеечкой, возле которой торчит прямо из сугроба жидкая жердочка с шершавым фанерным флажком.

На флажке чьим-то угластым почерком выведено:

Станция «Люся».

А чуть ниже — другая прыгающая строчка:

Поезд стоит одну минуту.

ПЛАНЕРНАЯ

Чем ближе станция Планерная, тем явственней встает в памяти Рагозина теперь уже далекое прошлое: заводской кружок планеристов, первый полет на «Стрекозе», чуть было не ставший последним. И конечно, инструктор Банников — как положил однажды руку на плечо, как терпеливо напутствовал:

— Отдельное дерево справа видишь?

— Вижу.

— Силосную башню — слева?

— И силосную тоже.

— Ориентиры. Точно между ними держать!

Когда стартовая команда, натянув резиновый трос, как из рогатки метнула вперед «Стрекозу», Рагозин в одну секунду забыл обо всех наставлениях.

«Отдельное дерево», вынырнув из-под крыла, кинулось на «Стрекозу» справа. Рагозин сделал отчаян-

ную попытку развернуться — его бурей понесло на краснокирпичную башню.

Очнулся уже у доктора. Рядом сидел Банников. Его рука опять лежала на плече Рагозина.

— Вот ведь как все получилось... — пролепетал незадачливый планерист. — А «Стрекоза»? С ней-то чего?

Банников вздохнул. Он готов был, наверно, рявкнуть что-нибудь сердитое, вроде «сам понимаешь!», но сказал спокойно:

— Вообще-то, знаешь ли, такая история...

Он был хорошим человеком, их инструктор. А они все — молодые и настойчивы: уже спустя полгода в небе Планерной засверкали белизной крылья новой «Стрекозы» — опять сработанной своими руками, опять на собственные копейки.

Когда в одно прекрасное утро снова подошла очередь Рагозина забирать в кабину, инструктор волновался больше него. Он даже ориентиры перепутал:

— Отдельное дерево слева, силосная башня справа...

Рагозин, заметив это, еще крепче вцепился в штурвал, а через минуту все повторилось сызнова — сперва проклятое дерево летело на него в упор, потом — ненавистная башня... Чудом каким-то проскочил невредимым.

После полета первым к Рагозину подбежал Банников:

— Ну, теперь совсем другое дело! Молодец, одним словом! Молодчага! Только бледный как бобик. Честно: волновался?

Рагозин, кажется, ничего не ответил, тем более что у самого-то инструктора ни кровинки в лице не было.

С тех пор прошло много лет. Рагозин сам перед войной и долго еще после нее учил заводских ребят летать на планерах. Часами стоял на земле, широко расставив ноги, до боли в позвонках запрокинув голову. Его уже весело называл кое-кто «стариком», а он и душой, и телом был любому новичку чуть ли не ровесником.

Но время есть время. Незаметно, исподволь подобралась к Рагозину пора, когда его уже не в шутку — всерьез все на заводе «стариком» величать начали. Дальше — больше, потом уж и не до полетов стало.

— На смену планеризму — радикулизм, — невесело острил Рагозин при встрече с приятелями.

Сегодня он едет по местам своей молодости. Мрачноватый, ссутулившийся, хотя еще крепкий на вид. И открытое окно ему нипочем.

Подъезжая к Планерной, Рагозин откладывает газету, которую задумчиво листал, поднимается с места, до пояса высовывается в проем окна навстречу холодному ветру. Еще один поворот — и Планерная. Поезд идет без остановки, но заметно сбавляет скорость. Словно специально для того, чтобы Рагозину — да и не ему одному — было лучше видно, как взлетают и парят планеристы.

Старик волнуется. Распрямились его плечи, разметались седые волосы, но чувств своих он не показывает. Смотрит как все — тихо, безмолвно, только губами чуть-чуть шевелит. И вдруг вскипает сразу все его существо.

— Это что такое, скажи на милость? — обращается он к соседу, незнакомому человеку лет двадцати. — Это как, полет называется? — И не дожидаясь ответа: — Техника новая, высший класс, можно сказать, а еле-еле оторвался, целую версту хвост волочил. Э-эх, нет на них Банникова!

— Кого нет?

— «Кого», «кого»! — Рагозин садится, отворачивается от окна и снова достает газету.

Пусть другие охают, ахают. Что знают они? Что видели? В вагоне, куда ни глянь, все юнцы — с рюкзаками, с гитарами. Трень-брень. И в небе-то небось мелкота одна.

Ворчит Рагозин себе под нос, неизвестно на кого сердится. Чтоб никто не заметил этого, напускает на себя равнодушие — будто совершенно безразлично ему, кто и как там летает. В самом деле, что сейчас ему до всего этого?

Но глаза старика поверх очков, мимо газетной полосы, сами, против его воли, устремляются в окно, упрямо ищут там ослепительную белую птицу. Ищут, находят, нашли уже, не могут от нее оторваться...

— А этот вот, смотри: ничего, пожалуй! Что-то вроде бы получается. И красив, разбойник, красив! Как скажешь?

— У этого порядок, — соглашается сосед.

— Теперь сюда глянь, сюда! Силосную башню видишь?

— Ну, вижу.

— А дерево? Отдельное?..

— И дерево. А что?

— А то, что он, мерзавец, разобьется сейчас... Прямо на башню прет! Или на дерево?.. Эй! Куда несет тебя? Влево давай, влево, чертушка!..

Теперь уже весь вагон прилип к окнам, замер в волнении. Спокоен, пожалуй, только сосед Рагозина.

— Зря вы его, отец, так, — говорит он, когда планер, ловко пройдя между ориентирами, благополучно взмывает вверх.

— Нет, не зря! Видел, куда он катил? Нервы мотал на катушку.

— Это просто сбоку так кажется. Нормально взлетел, еще лучше летит. Знаменитая у них тут школа!

— Ну уж хватил, знаменитая! В Крыму не бывал, случайно? Вот там точно была знаменитая.

— Как же, слышал, сам крымчак. Но здешняя, уверяю вас, особенная. Я читал где-то...

Рагозин глядит на соседа задумчиво, а тот, потянувшись к полке, решительно извлекает из чемодана огромный морской бинокль, несколько секунд шарит им по небу и говорит восхищенно:

— А этот вот просто артист! Хотите взглянуть? Быстрее только...

Рагозин не спеша берет бинокль, подносит его к глазам, настраивает, на мгновение замирает в этой позе и вдруг садится на место, чем-то пораженный до глубины души.

— Что с вами, отец?

Рагозин вытирает вспотевший лоб, потом снова встает и целится биноклем в уже оставшееся позади небо Планерной.

— Нет, нет, ничего. Все нормально. Душновато только нынче в вагоне, дышать просто нечем. — Опять садится, протягивает бинокль хозяину и говорит: — Благодарствую. Линзы давно промывал?

— Линзы? Ни разу еще. Да он у меня новый совсем.

— Значит, старость виновата, — вздыхает Рагозин. — Название смешное прочел на крыле. Померещилось...

— Вам тоже показалось?! — восклицает сосед. — То же, да? Значит, точно, а я никак разобрать не мог.

А правда смешно: крылья — во! — богатырские, и вдруг... «Стрекоза», надо ж так назвать! Но летит хорошо, отлично даже летит — легко и красиво!

ПЕСНЯ

Веселые стройные парни в парашютных комбинезонах шагают по белому полю. По совершенно белому, хотя совсем не зима — июнь в Белоруссии в полном разливе.

Под ногами парней то тут, то там вспыхивают звезды ромашек. Таких огромных, ослепительно белых, как эти, нигде нет на всей земле. Они-то самыми первыми и забегают в глаза.

Ребята идут не спеша, вразвалку. Они всегда так идут после прыжков. Запыленные, уставшие, ремни — на последнюю дырочку. Скорей бы до дому, до хаты, до палаточного городка. Приумолкли. Любимая песня и та никак не сорвется с пересохших соленых губ, хотя и пытается.

Но ребята счастливы, как никто никогда не был счастлив. Это я вам говорю, а уж кто-кто, но я-то знаю толк в настоящем счастье: собственной персоной вышагивал по тому белому полю, на этих вот плечах трепетал раздуваемый ветром синий новенький просторный комбинезон.

Я и сейчас ощущаю всем телом, мускулом каждым сладкий трепет того комбинезона. Помню даже, на сколько номеров был он велик мне. И не мне одному. Старшина, бывало, обрядит нас, построит, окинет хозяйским глазом и скажет:

— Подрастем, хлопцы, — станут в самую пору!

Брагой звали старшину. На вид суровый был, а сердце доброе, щедрое. Все песни учил нас сивать — украинские, русские. И про Ермака, и про садик вишневый около хаты, и про чернявую. Но больше всего о строевой хлопотал, о походной, о той, что бодрость придает солдату. О «Махорочке» больше всего — озорной и задорной.

Мы скоро заметили, что с ней, с этой самой «Махорочкой», и впрямь как-то лучше и легче шагается. Постепенно полюбили песню, ну а вместе с ней — и старшину-запевалу. А он как затянет, как затянет!

Голос красивый такой, чистый и высокий — аж до самого неба:

Эх, махорочка, махорка,
Подружились мы с тобой!
Вдаль глядят дозоры зорко —
Мы готовы в бой!

Из всех моих однополчан-десантников старшину Брагу вспоминаю, пожалуй, особенно часто.

Недавно я побывал в тех краях, где служил, откуда пошел на Отечественную. Сколько раз порывался — тянуло вот так! — а выбрался только теперь, да и то случайно. Командировка попутная выпала.

Километров за триста до Минска, еще за облаками, стал нетерпеливо протирать ладонью круглые стекла окошек — то с одного борта, то с другого. А в Минске, даже не заглянув в министерство, прямо с аэродрома покати́л на вокзал, сел в пригородный поезд и через час был в дорогах сердцу Песковичах. Там со станции тоже не шел, а мчался, словно куда-то опаздывая. На спуске к Березинке уже сама дорога меня несла. А навстречу — звезды ромашек! Они разгорались все ярче, ярче. Еще минута-другая, и мне показалось, будто под ногами, как встарь, — белое, совершенно белое поле.

А палаточного городка как не бывало. Никаких его признаков. Да и то сказать — столько лет пролетело! Но ошибки быть не могло: то самое место, заветное. И лесок в стороне, и Березины крутой зигзаг — «лебе-диная шея».

Затарактевший за лесом трактор на какой-то миг отозвался в сердце моторами «ТБ-3», из люков которого мы когда-то прыгали...

Недоставало Браги нашего, старшины. Комбинезона на плечах не хватало. И конечно — старшинской песни...

Но сколько я ни старался, как память ни напрягал — выглядывала «Махорочка» одним краешком из дальнего далека и тут же скрывалась. Всеми правдами и неправдами кое-как удалось припомнить лишь несколько разрозненных строк.

Весь вечер, пока ноги не подкосились от усталости, ходил по ромашковому полю, подбирая под песню шаг, под шаг вспоминая песню. Чуть не опоздал на последний поезд, идущий в сторону Минска.

Возвращался один в абсолютно пустом вагоне. Долго, задумавшись, стоял у распахнутого окна, смотрел

на летевшие мимо звезды — раскаленные, красные, почему-то все время сгоравшие на лету дотла, словно это были не звезды, а искры из паровозной трубы.

И стало вдруг грустно-грустно. Зачем, для чего тащился сюда? Душу хотел отвести? Отвел? Зачем неизбежно тянет нас всегда в ту далекую страну, имени которой никто из нас никогда не знает? Что ищем и что находим там? И находим ли хоть когда? Что я сегодня сыскал? Только ромашки. И только песню. Не песню даже — один припев, еле-еле аукнувшийся...

Я отошел от окна, перекочевал в соседний вагон, чтоб покурить, скоротать сразу ставшую невеселой дорогу с любым случайным попутчиком, но и там оказался единственным пассажиром. Было такое ощущение, что поезд пуст из конца в конец и мчит меня, сам не зная куда и зачем.

И все-таки хорошо, подумал я, что съездил в Песковичи. Будет что вспомнить, что написать Зырянову, единственному человеку из роты, с которым, как ни старалась, не разлучила война.

С этими мыслями подошел к другому окну, распахнутому в ту же самую ночь, только на противоположную сторону.

Те же красные, быстро сгоравшие звезды бесконечно неслись мимо.

Та же холодная тишина властно, неотвратимо вторгалась в вагон сквозь железный лязг.

И вдруг среди всего этого — какой-то странный, неожиданный звук.

Я высунулся в окно и увидел: по проселку, приблизившемуся к поезду почти вплотную, посылая вперед два вздрагивающих пучка жидкого света, мчалась полуторка. Кого и куда везла она с такой скоростью и в такой поздний час, одному богу было известно. Но, расслышав как следует рвущиеся из нее голоса, я вздрогнул и весь превратился в слух.

Через несколько секунд проселок метнулся куда-то в сторону, грузовик растворился во мгле. Но задорные, молодые, почти мальчишечьи голоса, упрямо и уверенно пронзавшие быстро увеличивавшееся расстояние, долго еще продолжали доносить до меня слова, от которых обыкновенная дорожная рубашка начала трепетать на моей груди хлеще всякого комбинезона:

Э-э-эх, махорочка, ма-хорка!..

ПОСЫЛКА ИЗ-ПОД АСТРАХАНИ

Как-то меня попросили выступить по радио, рассказать об однополчанах. Я выступил, рассказал. Про героев, с которыми довелось прошагать по военным дорогам. Про тех, кто вернулся с победой, и про тех, кто живет теперь только в народной памяти.

Вскоре после передачи пошли письма. Было их много, едва успевал отвечать. Писали и на радио, и домой. Так, мол, и так, чаще о воинском подвиге вести разговор надо бы, особенно с молодыми, войны не видавшими.

А однажды раздался телефонный звонок от работников радиокомитета:

— На ваше имя посылка...

— Наверное, не посылка, — поправляю, — очередная порция писем. Перешлите, отвечу каждому.

— Нет, — говорят, — именно посылка. Откуда-то из-под Астрахани... Приезжайте, пожалуйста, и побыстрее. Меня взяло любопытство:

— От кого? И что в той посылке?

— Точно не можем сказать, — слышу в ответ, — но пахнет так вкусно, что невозможно работать.

Я объяснил, что приехать, к сожалению, не могу — ангина с высокой температурой. И добавил:

— А если работать все равно невозможно, посылку под мышку — и прямым ко мне!

Минут через тридцать — сорок меня поднял с постели другой звонок — в дверь. Порог моей квартиры перешагнули два дюжих молодца, один из которых торжественно, как драгоценность, держал в руках увесистый, солидных размеров ящик.

Поприветствовав необычных гостей, я снова нырнул под одеяло и оттуда объяснял, где у нас можно найти клещи или стамеску.

Еще до того как ящик был вскрыт, в горле у меня запершило от волшебного запаха вяленой воблы. Отворотили фанерную крышку — так и есть: деликатес из деликатесов.

Парни стали перекладывать рыбу на стол, восторженно приговаривая:

— Вот это да! Надо же!..

Когда ящик разгрузили, пришли в еще большее удивление — на самом дне его обнаружили червонец.

— Это еще что должно значить? — воскликнул я.

— Сейчас все пойдем, — ответил один из радистов. — Тут еще и записочка.

Он развернул промасленный клочок бумаги, прочитал вслух послание, которое я запомнил на всю жизнь:

— «Прошу вас, купите цветов, снесите на могилу Неизвестного солдата. Мне кажется, там лежит мой родной брат. Он был героем...»

— А подпись? — спросил я. — Кем подписано?

— Неразборчиво... — с досадой сказал парень.

Общими силами мы с трудом разобрали: автором письма была Прасковья Гавриловна Миляева, колхозница из села Пришиб Астраханской области.

— Что делать? — с недоумением я поглядел на парней.

— Когда одолеете ангину, сходите к могиле Неизвестного солдата.

В ответ на эти слова я решительно отбросил одеяло, стал одеваться.

Парни попробовали протестовать.

— Мне легче уже, — отстранил я их. — Машина у вас есть?

— Редакционная.

— На ней и двинем.

— Куда? Зачем?

— За цветами, естественно.

Через полчаса с целыми охапками гвоздик мы уже были возле Вечного огня, пылавшего над чугунным жерлом в центре гранитной пятиконечной звезды. Я смотрел на летящее пламя, на сразу посуровевшие лица моих молодых спутников и только тут понял, как правильно сделал, что поехал вместе с ними, и не откладывая.

Возвращались молча. Каждый думал, наверное, одну и ту же думу. Ведь и на самом деле вполне вероятно, что именно он, родной брат Прасковьи Гавриловны, лежит у Кремлевской стены. В полыханье того огня мне представилось это особенно ясно.

Когда машина остановилась возле моего дома, парни стали прощаться.

— Нет уж, други! — решительно протестовал я. — Подыдемся на минутку.

Мне удалось уговорить ребят взять всю рыбу с собой на работу, поделиться со своими сослуживцами.

— А вы как же? — смущенно спросили ребята.

— Мне глотать больно. Вот выздоровею, тогда

другое дело. К тому времени, глядишь, еще кто-нибудь возьмет да и подбросит воблочку.

Ребята рассмеялись. От угощения отказаться не смогли. Уехали довольные. При прощании опять посерьезнели.

А я оказался пророком. В ответ на мою сердечную благодарность вскоре пришел еще один ящик. Теперь уже на домашний адрес. И опять от Прасковьи Гавриловны...

Позвонил на радио. Знакомые мне ребята оказались в командировках. Пришлось закатывать пир у себя дома. Усадил за стол целую компанию из соседей-фронтовиков. Их у нас в подъезде ни много ни мало — пятеро. Мы друг друга однополчанами зовем, хотя воевали все в разных частях и даже на разных фронтах, в разных госпиталях раны залечивали.

Рассказал я ветеранам про первую и про вторую посылки из-под Астрахани. Самый старший из нас, самый умудренный и многоопытный, ефрейтор Клёпиков сказал:

— Я астраханский сам, норов тамошнего люда знаю очень даже прекрасно. Теперь жди ящичек к каждому празднику, — он посмотрел в мою сторону.

Невероятно, но факт: Клёпиков-то тоже оказался пророком! С того времени что ни красная цифра в численнике, то посылка от старой русской женщины, у которой ни единой живой души не осталось после войны. Только одинокой она себя все равно не считает. Ни в коем случае! «Вот вы же мне не посторонние? — пишет Прасковья Гавриловна в одном из недавних писем. — Вы и вся ваша семья...»

«Не посторонние», — строчу в ответ. Совсем это слово для нас не подходит.

И в самом деле. Вот уж сколько времени длится наша переписка. Идут из-под Астрахани письма и посылки в Москву, из Москвы — под Астрахань. Повидаться, правда, пока не довелось, но, думаю, повидаемся.

Скоро Новый год. Со дня на день, с часу на час позвонит наш почтальон Валя. Отворю, а она с улыбкой, но в то же время и вполне серьезно скажет:

— Вам писем опять вагон! А еще извещеньице на посылку. — Помолчит, обобьет снег с сапожек и вздохнет. — Все от этой, от Миляевой вашей.

— От Прасковьи Гавриловны, — подчеркну.

— Понятно, — ответит, — ее у нас давно и хорошо все знают.

Вся наша почта. Нешуточное дело: сестра того героя, что у Кремлевской стены лежит!

— Сестра героя, — соглашусь я.

— Ясненько, — еще раз вздохнет Валя. — Вам посылку доставить? Или сами получите? У нас под праздник работы-ы!..

— Сам получу. Надо по свежему снежку пробежаться. Не сегодня-завтра ко мне гости пожалуют.

— Однополчане ваши?

— И все-то вам известно, Валя, до капельки. — Меня совсем не удивит такая осведомленность Вали, но я все равно спрошу: — Откуда, собственно, вы в курсе про все это?

— Сколько ящиков я вам перетаскала за эти три с лишним года! Сколько раз угощали вы меня и всех наших тараночкой! И все из-под Астрахани, из-под Астрахани... А пишут вам, погляжу, ну чуть не со всего света. Друзей у вас много.

— Что верно, то верно, — соглашусь я.

— Счастливый вы человек! — воскликнет Валя. Я опять спорить не стану.

— Счастливый, — отвечу. — И еще какой!..

ТОПОЛЬ

Это деревцо всегда теперь стоит у меня перед глазами. Его необыкновенную историю рассказал мне один старый колхозник в маленькой подмосковной деревеньке.

...Когда пришли сюда немцы, они прежде всего устроили в Вертушине лагерь для военнопленных — срубили сотни две или три тополей, понаставили столбов, натянули на них усеянную шипами проволоку.

Только глубокой ненастной ночью удавалось кое-кому из местных крестьян прокрасться к страшному забору, просунуть руку сквозь ржавые колючки, тихо положить прямо на землю какую-нибудь снедь, завернутую в тряпицу.

Потом немцев погнали. Бегство их было таким скоростным, что они не успели учинить расправы

над пленными. Несколько дней кряду в деревне отогревали, отпаивали кипятком полузамерзших людей.

Вскоре началась весна. Весна нашего первого наступления.

Однажды утром ребяташки Вертушинской школы, проходя мимо бывшего лагеря, мимо скованных железом столбов, заметили невероятное...

Прибежали ребята к учительнице и, перебивая друг друга, загалдели:

— Татьяна Николаевна, он растет!..

— Кто — он?

— Столб растет. Если не верите, идемте, покажем.

Когда Татьяна Николаевна подошла к тому месту, куда тащила ее детвора, она увидела, что кусок дерева, скованный со всех сторон железом, действительно ожил! На его изрубцованном теле туго набрякли большие клейкие почки и, казалось, вот-вот лопнут, прорвутся зеленым пламенем первого листа.

Постояли ребята, посмотрели на оживающее дерево и вдруг все, как будто сговорились, понеслись наперегонки в деревню, а оттуда — обратно: кто с клещами, кто с топором, кто с чем...

Вытащили из дерева длинные скрюченные гвозди. Размотали проволоку. Взрыхлили землю вокруг.

Тополь начал набирать силу, выбросил устремленные к солнцу побеги, зашумел еще недружной, не смелой, но уже ярко-зеленой листвой...

С тех пор прошло много лет. Красавец тополь так разросся, что сейчас трудно поверить в то, что он был кургузым обрубком, в два метра высотой. Спленный верх его оброс со всех сторон ветвями, обтянулся свежей корою, и венчает его такая мощная островерхая крона, что сразу и не разглядишь, где тот горизонтальный срез, когда-то тупо нацеленный в низкое зимнее небо. Только посеревшие от времени столбы, стоящие в одной шеренге с деревом, красноречивее человека рассказывают нам историю своего собрата.

Вот как в маленькой деревеньке Вертушино началась много лет назад весна нашего первого наступления.

Глубоко в землю ушли корни тополя, однажды погибшего и родившегося снова, чтобы не умирать уже больше никогда.

Около этого дерева пионеры любят разводить костры. Делают они это осторожно, чтобы не опалить

листвы, не повредить ветвей. Даже отгоняют дым в сторону огромной фанерной звездой, которая невесть кем прислонена к тополю, как будто это не дерево, а памятник.

НОЧНЫЕ ОГНИ

Окна нашей квартиры обращены к фасаду огромного восьмиэтажного здания. Это общежитие нескольких московских институтов — авиационного, нефтяного, медицинского. Я всегда с большой симпатией относился к его населению — дружный, веселый, трудолюбивый народ! Но с некоторых пор начал проникаться к моим соседям особым уважением.

Проснулся как-то ночью, подошел к форточке глотнуть морозного зимнего воздуха и вижу такую картину: все окна общежития освещены, все восемь этажей пылают таким ярким пламенем, что им залиты и сквер, и улица, и даже моя собственная комната.

Ну, думаю, проспал! Вся Москва уже давным-давно на ногах.

Беру будильник, чтобы встряхнуть его как следует, но он, оказывается, ни в чем не виноват и по-прежнему служит мне верой и правдой — пружина боя заведена до отказа, ножницы стрелок аккуратно выстригают секунды и минуты, а времени в общей сложности всего-навсего четыре часа утра...

В полном недоумении звоню в общежитие, своему знакомому коменданту:

В чем дело? По какому случаю такая иллюминация?

Он отвечает заспанным и даже немного сердитым голосом:

— Это не иллюминация, а сессия. Спи себе спокойно.

Именно с этой-то ночи я и потерял всякий покой. Стал, как старик, просыпаться и в два, и в три, и в четыре часа. Встану, подойду к фортке, чтобы набрать побольше кислорода в легкие, а сам не то машинально, не то сознательно считаю: сколько опять окон светится! И никак не могу сосчитать: в одном погаснет огонь — в двух других вспыхнет, в тех двух угомонятся, лягут спать ребята — им на смену поднимаются другие...

И так все время. Сегодня сессия, завтра сессия, послезавтра сессия. Долго ли еще будет она продолжаться?

Снова звоню коменданту. Он терпеливо разъясняет:

— Это не сессия, это диплом. Спи, дружище.

Сегодня диплом, завтра диплом, послезавтра... Когда же, думаю, они, горемычные, защитят его?

А мой старый знакомый комендант опять «вносит ясность»:

— Это вовсе не диплом. Это заочники понаехали. Досыдай свое.

И так каждую ночь. Только один раз заметил я, что работяги наши, переделав наконец все свои дела, спокойно уснули сном праведников — ни огонька в их доме, ни блесточки!

— Сегодня-то уж твои подопечные отсыпались на славу, — доложил я утром коменданту, встретив его у газетного киоска.

— Не думаю. На новом месте всегда человеку плохо спится, особенно первые дни. Они ведь только что все на целину укатили.

Однако затишье длилось недолго. Примерно через неделю опять засияли все восемь палуб идущего в ночи корабля...

Снова стал я считать спросонья его бесчисленные огни. И скажу по совести — не было еще у меня в жизни такого радостного беспокойства. Чувство это начинает, кажется, передаваться и коменданту. Во всяком случае, он теперь почти совсем не сердится, когда я поднимаю его с постели, и, по-моему, даже чуть-чуть улыбается сквозь неожиданно прерванный сон.

— Это опять ты? Здорово! А у меня пополнение — студенты из стран народной демократии прибыли. Все как один полуношники вроде наших. Теперь, почитай, будет все сразу — и сессия, и диплом, и остальное-прочее: вишь, как смолят всю ночь. Но я не протестую — такое уж у них дело. А ты все-таки спал бы себе да спал. До утра ведь еще далече.

Но разве можно уснуть в такую ночь?

Вот и мои окна льют свой прозрачный, теплый свет на тихую московскую улицу.

Я тоже сажусь за работу.

ПЕСНЬ О ГЕРОЯХ

Забрел я как-то на выставку картин одного художника. Забрел просто так, ни на что особенное не рассчитывая, скорее всего машинально. Но то, что я увидел там, с первых же минут тронуло меня до глубины души.

Чем пристальнее вглядывался я в холсты, тем отчетливее вставали предо мной ожившие в красках просторы России — тихо, но явственно шелестели березы, тяжело покачивались хлеба, с крутого горячего неба солнце спускалось прямо к моим ногам.

А в самом неприметном уголке небольшого зала внимание мое привлекла картина, которой я и вовсе залюбовался.

...По широкой степи катилась пестрая лавина конницы. Высоко вскинутые сабли, пики наперевес, красное, широко развернутое на ветру знамя и... песня. Да, да! Я не оговорился. Именно песня — сперва еле слышимая, чуть клубящаяся, как легкая пыль, где-то под самыми копытами коней, но постепенно нарастающая, поднимающаяся в полный рост и вот уже летящая впереди знамени, впереди самого первого всадника:

С неба полуденного
жара — не подступи...

Стою зажмурившись, слушаю, медленно вспоминаю знакомые с пионерского детства слова, а песня не ждет, торопит застоявшуюся память, сама подсказывает:

Конная Буденного
раскинулась в степи...

Да, да, правильно! Конная Буденного! Это она и есть на картине. И песня та самая, про Первую Конную. Как это я сразу не сообразил?

И мне уже все труднее понять — кажется это или я действительно слышу, как потрескивает рваный кумач на ветру, как позвякивают тонкие, сносившиеся в долгом пути подковы...

Ощущение, сначала призрачное, будто ненастоящее, захватывает меня целиком, и некуда уже от него деться.

А песня все летит, все увереннее набирает силу. Я уже не только различаю слова — чувствую на себе ее обжигающее дыхание, будто и сам я в том конном строю с гиком и свистом скачу по выжженной солнцем

степи и лавина коней катится за мною — след в след, копыто в копыто.

Сон ли?

Явь ли?

Кто вокруг?

Чего доброго, смотрят на меня сейчас люди, за чу-дака принимают, перешептываются.

Очнувшись от нахлынувших видений, резко оборачиваюсь — за спиной ни души. Впрочем, один седой, смуглощекий, не сдавшийся годам человек все-таки стоит посреди зала в двух шагах от меня, уставившись в ту же картину. Стоит, смотрит, переступает с ноги на ногу, в такт еле заметно шевелит впалыми изрубцованными щеками, будто тихо говорит сам с собою, По движению губ догадываюсь:

С неба полуденного...

ТАМАРА, ЛЕВКА И Я...

Когда мы учились в седьмом классе, у нас были очень сложные отношения. Я, наверное, уже был влюблен в Тамару. Она, не без оснований считая меня своим самым близким другом, рассказывала мне, что обожает Левку. А тот, совершенно ни о чем не догадываясь, всегда при нас громко вздыхал, глядя на Светку Павлову...

Я все чаще и чаще начинал задумываться над тем, как бы мне совершить какой-нибудь героический поступок. Пусть не на глазах у Тамары, но так, чтобы слух о нем рано или поздно все-таки дошел до нее.

Когда в городе случался пожар, я на своем гоночном велосипеде катил к месту происшествия следом за брандмайором. Я мечтал первым ворваться в горящий дом, вынести из огня ребенка или спасти старуху, но к моменту моего прибытия все люди и даже звери уже бывали спасены, и мне оставалось таскать багром какие-то громоздкие тлеющие корзины со звенящей рухлядью.

— Ты что, вчера на пожаре был? — ехидно посмеивалась Тамара на другой день.

— Был.

— Ну и как? Опять самовары спасал?

— Я вместе с пожарными ехал...

— Эх, ты! Вместе с пожарными! Вот если бы Лева...

Всегда этот Лева оказывался между нами. Я несколько раз даже давал себе слово поссориться с ним, но ничего из этого не выходило. Он и знать не знал о моих терзаниях и всегда хорошо, безоблачно улыбался, если я пробовал завести с ним разговор о Тамаре.

— Тамара? Она подарила мне самую редкую и красивую марку — синюю гвинейскую треуголку со штемпелем. Одного только не могу понять — почему она не дружит со Светкой?..

Не найдя у Левки ни сочувствия, ни поддержки, я снова и снова ждал возможности отличиться. В самых неожиданных ситуациях искал я подходящего случая. Даже на уроке литературы, когда было задано сочинение на вольную тему, я написал, например, о том, как довелось мне побывать у военных моряков и с борта крейсера «Парижская коммуна» в водолажном костюме спуститься на самое дно Черного моря.

Вечером, встретив меня на набережной Сейма, Тамара оставила подруг, быстро подошла ко мне и сказала сердито, но, к счастью, негромко такое, от чего у меня похолодело сердце:

— Даже девчонки знают, что «Парижская коммуна» не крейсер, а линкор. И вообще ты страшная тюря.

Я никогда с ней не спорил: видно, и вправду родился я таким невезучим.

Но однажды во время каникул мне все-таки посчастливилось: я с Левкой попал в Севастополь, к нашим новым шефам морякам — и воочию убедился в том, что «Парижская коммуна», которую я считал рядовым крейсером, в действительности была линейным кораблем самого первого класса. В составе команды мы даже приняли участие в больших летних маневрах флота и вместе со всеми получили благодарность контр-адмирала за отличное выполнение боевой задачи.

А когда человеку в первый раз повезло, ему обязательно повезет и во второй. Шефы познакомили нас со своими друзьями подводниками, и на «амфибии» я и в самом деле погрузился в морские глубины.

— Ты что, верно, на подводной лодке плавал? — спросила меня Тамара в первый же день сентября, когда мы снова рядом уселись за партой.

— А что?

— Как это что? Ты же самый настоящий герой!

— Мы вместе с Левкой спускались...

— Ну, за него-то я не беспокоюсь, он все может, а вот ты... молодец.

Она сказала это так, что я не знал, огорчаться мне или радоваться. И я опять промолчал.

На другой день, как и после того злополучного сочинения, мы с Тамарой снова столкнулись нос к носу на берегу Сейма. Она остановила меня и отвела в сторону.

— Ты не сердись. Тебя и Леву у нас серьезно теперь все героями считают. Я горжусь вами.

Тут-то мне и высказать бы ей все, что накипело у меня на сердце. И про себя, и про нее, и про Левку. Но язык мой никогда в жизни не был еще таким сухим и тяжелым. Я пробормотал:

— Мы решили стать моряками — уезжаем в училище. Лева тебе не рассказывал?

Мы стояли с Тамарой, опершись о чугунную решетку набережной, глядели в глубокую и быструю воду Сейма и невзначай встретились взглядами в зыбком зеркале волны как раз в тот самый момент, когда к нам тихо подкрался Левка и крепко обнял обоих за плечи.

Я до сих пор не знаю, кому улыбнулась в тот миг Тамара — Левке, мне или мыслям своим?

Еще и не такое померещится, когда влюблен.

...Тамара любит Левку.

Сердце Левки томится по Светке Павловой.

Я готовлюсь к новым подвигам на суше и на воде.

ПОДСОЛНУХИ

Два раза в день проходила Марьяша этим полем — рано утром и под вечер, на работу и домой. И странное дело — с какой бы стороны она ни шла, с запада ли, с востока ли, подсолнухи, миллионы желтых глаз, глядели прямо на нее. Она сперва не замечала этого, а когда заметила, стала проверять, не ошиблась ли. Выйдет чуть свет на крылечко — и первым делом на поле взгляд: смотрят подсолнухи на нее? Смотрят! После рабочего дня возвращается из леспромхоза и уже издале-

ка присматривается к подсолнечному полю: куда там глазают ее друзья? На нее!

Так продолжалось уже третье лето. Удивлялась девушка и радовалась. Она даже сочинила озорную песенку, и когда знакомая дорожка приводила ее на залитое солнцем поле, пела:

Золо-золо-золо-золотые,
Луно-лупоглазые мои...

Марьяша не знала, как она хороша собой, иначе, пожалуй, подумала бы, что подсолнухи просто любят-ся ею.

Если бы Марьяша захотела, она могла бы, конечно, вспомнить, как учитель на уроке ботаники рассказывал про подсолнухи, которые потому так и называются, что под светилom живут — куда солнце, туда и они головы поворачивают.

Шагает утром Марьяша на запад — солнце светит ей в спину, подсолнухи обращены к ней лицом. Вечером тройка ведет девушку с запада на восток — солнце сидит у нее на загорелых плечах, подсолнухи опять обращены к ней.

Вот и вся загадка! Так объяснил Марьяше и молодой сосед, инженер, недавно приехавший в гости к своей матери. Объяснил все по науке и даже добавил, что после захода солнца головки подсолнухов возвращаются в исходное положение.

— Вот так, смотри,— сказал он и смешно крутнул перед нею рыжим чубом.— Понятно?

— Понятно. Только...

— Что только?

— Как это у них стебелек выдерживает? Тяжело небось, глядишь — и совсем отвертится.

Инженер рассмеялся.

— Не отвертится!

Сказал так, а сам все-таки потрогал рукой свою шею, которая в последние дни начала у него почему-то побаливать, и вдруг покраснел: а что, если Марьяша уже заметила, как он из окошка следит за нею, буквально за каждым ее шагом?

Девушка, улыбнувшись, зашагала прочь, навстречу уставившимся на нее подсолнухам, и снова над полем вспыхнула песня-самоделка.

Марьяша пересекла все поле, ни разу не обернувшись, хотя знала, чувствовала, как вместе с мил-

лионами желтых глаз глядит на нее сейчас еще одна пара — серо-зеленых, еще более пристальных, неотрывных.

Девушка совсем скрылась из виду, а песенка ее все порхала где-то у самого уха инженера:

Золо-золо-золо-золотые,
Луно-лупоглазые мои!

СИНЕЕ НЕБО

Собрание в библиотечном коллекторе было скучным. Храмов рисовал синим карандашом чертиков второй час подряд, и они уже заполнили больше половины блокнота. Чертики корчили гримасы, бегали по страницам вверх и вниз, кувыркались, падали.

— А вы, оказывается, художник! — услышал Храмов шепот за своим плечом и обернулся.

Белокурая девушка с любопытством смотрела на его рисунки. Храмов знал девушку в лицо — они иногда виделись на собраниях. Правда, до этого дня не обмолвились и словом, а тут вдруг разговорились.

— Вы, наверно, веселый-веселый человек, — сказала девушка.

— Почему вы решили?

— По этим смешным зверькам.

— Не угадали.

— Очень жаль.

— Почему?

— У меня сегодня такое настроение!

— Какое?

— Все кругом улыбается и звенит!

— Звенит?

— Еще как! Послушайте.

В эту минуту в президиуме резко звякнул колокольчик председателя. Храмов улыбнулся, но снова принялся за своих чертиков. Под его быстрым карандашом они продолжали сказочный танец. Только рожицы их — девушка это отлично видела — были грустные.

— Нарисуйте что-нибудь мне на память.

— Что вам хотелось бы?

— Если можно, небо.

— Небо? — задумался Храмов. — Почему именно небо?

— Смотрите, какое оно сегодня синее! Еще только конец зимы, а уже все васильки мира в нем.

Храмов внимательно поглядел на девушку.

— Вот глаза у вас действительно синие.

— Нарисуйте, прошу вас.

— Глаза?

— Не-бо! От такого неба с ума сойти можно.

Храмов послушно открыл блокнот на чистой странице. Девушка следила за каждым движением карандаша. Храмов чувствовал возле самого уха горячее ее дыхание.

Когда закончил свою речь последний оратор, Храмов вырвал из блокнота листок, испещренный синими завитками, протянул его девушке.

— Только, чур, не ругать — мазня какая-то вместо неба. Но лучше не умею.

Девушка почему-то покраснела.

— А мне нравится, честное слово! Это же замечательно! Спасибо, большое спасибо...

В ту же минуту они очутились в толпе, которая захватила их, понесла к выходу, а потом разъединила, не дав сказать больше ни слова.

Уже вечером, дома, Храмов подумал о том, что он был, пожалуй, не слишком приветлив. Девушка с ее восторженностью показалась ему вдруг необыкновенно красивой, возвышенной, так не похожей на всех, а он, толстокожий увалень, даже не догадался узнать ее имени...

«Ну ничего, — утешал себя Храмов, — встречал же ее раньше, встречу еще».

С того дня не было среди библиотекарей Москвы более ревностного участника всех собраний в коллекторе, чем Храмов. Каждый раз он приходил одним из первых, чтобы занять именно то место, на котором сидел тогда.

Но белокурая больше не появлялась.

Незаметно наступила и промелькнула весна. Потом — лето с его отпусками. За летом — осень. В самый разгар ее Храмов уехал в длительную командировку. Вернулся только под Новый год. В течение зимы он еще несколько раз бывал в коллекторе, но девушки ни разу так и не увидел.

Когда по московским улицам зашагала еще одна весна, Храмов все глядел на высокое небо и удивлялся: какое оно действительно синее и бесконечное...

Так прошло два года. Был опять конец зимы, Храмов сидел в зале библиотечного коллектора, когда почувствовал на себе чей-то взгляд. Он обернулся и вздрогнул. Это была она. Ее волосы были просвечены солнцем, в широко раскрытых глазах отражался уголок синего неба.

— Здравствуйте! --- тихо сказал Храмов.

--- Здравствуйте,— еле слышно ответила девушка.

— Где же вы были столько времени?

— О-о! Где только не была я...

— Здесь вас, во всяком случае, не было.

— И вы заметили?

— Ну как же! Конечно!

— Я уезжала на Дальний Восток.

— Надолго?

— Надолго. Очень надолго. Мне пришлось уехать вскоре после того дня.

«После того дня! — чуть не закричал от радости Храмов.— Значит, она тоже его запомнила, тот день!»

--- А небо-то сегодня опять синее! Вы обратили внимание? — Он посмотрел в уже знакомое им обоим окно.

— Да, пожалуй. Но уже не такое, как в тот раз.

— Облака не в счет! — решительно сказал Храмов.— Я о цвете говорю. Смотрите — синее-синее! Точь-в-точь как тогда!

Девушка опять улыбнулась. Храмов не заметил, что в улыбке ее было что-то задумчивое.

— Не совсем такое. В тот день оно было особенное, неповторимое. Потом такого неба я уже нигде не видела.

— Сегодня точно такое же, уверяю вас!

— Ну что ж, может быть, вы и правы. Но мне все-таки кажется, то синее было. Намного синее.

— Вот именно — кажется! Тот же февраль на дворе, то же небо над нами. Просто надо взглядеться внимательно, только и всего.

— То было знаете каким? Сказать или не сказать?

— Скажите.

Девушка щелкнула замком сумочки, извлекла из нее аккуратно сложенный листок от блокнота, бережно расправила его на узкой ладони.

— Вот каким было в тот день небо! Узнаете?..

ЖУРАВЛИ НАД МОСКВОЙ

Осень наступила.

Сегодня в прозрачном московском небе проплыли построившиеся в треугольник журавли. Проплыли медленно, на ходу выравнивая строй, несмело набирая высоту, отряхивая с крыльев последние песчинки земли и роняя пушистые перья.

Ученые утверждают, будто журавли летят так медленно потому, что хотят сэкономить силы: впереди тысячи и тысячи километров, в пути встретятся бури, снежные тучи, над океаном стая не раз войдет в многоярусную полосу плотного тумана, крылья покроются грозной ледяной коркой, станут тяжелыми и жесткими, на них уже нельзя будет лететь — только планировать, выискивая хоть маленький клочок суши, хоть мачту корабля, где можно было бы перевести дух.

Все это верно, но в то же время достаточно ли верно все это?

Дай-ка я мысленно поднимусь по ступеням невидимой лестницы, приближусь к колеблемому ветром строю уже высоко взмывших птиц и постараюсь поглядеть на них в полете, с самого близкого расстояния. Ведь с земли все разглядеть невозможно.

Поднимаюсь. Гляжу в упор.

Вот вожак. За ним — крыло в крыло — его верные товарищи. Крылья каждого движутся, как руки опытного пловца, — вверх идут заторможенно, расслабленно, зато опускаются с большой силой, энергично, так, что даже слышен свист рассекаемого воздуха.

И все-таки эта обращенная к югу стрела перемещается и относительно земли, и относительно вот этих облаков в самом деле совсем-совсем медленно. Иногда даже кажется, что она замерла на месте или вот-вот остановится.

«Ученые правы», — думаю я и хочу уже возвращаться на землю, как вдруг встречаюсь взглядом с вожаком журавлиной стаи.

Еще никогда в жизни не приходилось мне видеть таких глаз! Они раскрыты так широко и светятся такой щемящей тоской, какой я не встречал еще ни в чьих глазах на свете.

И вот что меня поражает больше всего: вожак не мигая смотрит только вперед, за дымку горизонта, остальные тоже не мигая глядят вниз, окидывая долгим

пристальным взглядом, может быть, в последний раз проплывающую под крыльями землю.

Поэтому-то они и летят так медленно!

Ученые правы самое большее наполовину: надо очень любить эту землю, чтобы расставанье с ней было таким трудным.

...Треугольник журавлей долго висит над осенней Москвой. После того как он скроется из виду, к твоим ногам, может быть, упадет несколько перьев. Я не боюсь прослыть слишком сентиментальным и хочу подать тебе один совет: собери эти перья и зашей их в подушку своего ребенка.

СОДЕРЖАНИЕ



<i>М. Синельников. Энергия «малой прозы» .</i>	3

П О В Е С Т И

Рапохин, Клавуня, Олег и другие	14
Парашютисты	44
Все по местам!	132
Полюнь на снегу . . .	247
Ничего не случилось... .	349

Р А С С К А З Ы

Вкус арбуза

Аверьяновские теремки	396
Черные Бурки . . .	402
Горская легенда	414
Каменный брод .	418
Вкус арбуза .	430
Дыхание костра .	448
Солдатская ложка	481
Азбука Морзе	485
Возле Старых дорог	488
Тенеко	494
Сысоев	503
Но пасаран!	508
Часы	512
Елагин	517
Снежные горы . . .	521
Операция «Голуби»	524
Бессонные ночи .	540
Манускрипт . . .	549
Березовый сок	554

Ключ и кинжал	. 558
Белый шелк	565
Интервью в самолете	571

Первые слова

Те дни и ночи, те рассветы...	. 583
День отдыха	587
Первые слова .	592
Подарок	598
Субботник	603
Варежки	. 605
Посылка	608
Хрустальная ваза	612
Пельмени	615
Репортер	617
Рыжий Лёнтя	619
Операция	624
Пять минут	630
Важная бумага	636
Рабочий день	640
«Неисправимый»	644
Пластинка	. 648
Семеро в одной машине	651
В ночь на воскресенье	654
Упрямая лампа	660
Легенда	661
В Березках звонит колокол	663
По новому адресу	666
Трубка геноссе Дождикова	668
Плуг и сабля	676

Журавли над Москвой

Тропинка	688
Художник	689
Казбек	692
Дорога	694
Петухи	696
Конь	698
Старый дуб	700
Телеграмма	701
Деревянный кораблик	703
В той степи...	706

Планерная	708
Песня	712
Посылка из-под Астрахани	715
Тополь	718
Ночные огни . . .	720
Песнь о героях . . .	722
Тамара, Левка и я...	723
Подсолнухи	725
Синее небо	727
Журавли над Москвой .	730

Тельпугов В. П.

**Т 31 Бессонные ночи: Повести; Рассказы. / Вступ.
статья М. Синельникова.— М.: Худож. лит.,
1988.— 734 с.**

ISBN 5-280-00529-0

В книгу современного советского прозаика Виктора Тельпугова включены лучшие повести и рассказы, созданные автором более чем за тридцать лет литературной работы.

Т $\frac{4702010201-423}{028(01)-88}$ 24--89

ББК 84Р7

